



Мариам Юзефовская

И пусть кукольному театру далеко до оперного, но и тут была сцена с ее запахом пыли, были медленно гаснущие огни перед началом действия, были откидные стулья с потертыми бархатными сиденьями...

Только и ждет душа,
Чтоб вздрогнуть,
чтоб быть задетой.
Ну право,
не странно ли это,
Что гибель так хороша?!



Владимир Перцев



...И косеют мои глаголы,
и кривеют мои слова,
голодный, и нищи, и голы,
еле слышимые, едва

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Стихи Эльмиры Котляр
Повесть Андрея Десницкого
Статьи и очерки
Игоря Виноградова, Михаила Копелиовича,
Дмитрия Поспеловского, Валерии Пустовой,
Татьяны Сотниковой, Виктора Тополянского,
Геннадия Трифонова, Виктора Шендеровича
А также наши постоянные рубрики

СВИДЕТЕЛЬСТВА МЕДЖУГОРЬЯ
и
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«КОНТИНЕНТА»

«Человека
идеи» мир
волнует не
невольнo и
случайно -
да и то лишь
как объект
приложения
идеи.

Владимир
Холкин



*За время, пока готовился этот номер,
памятный календарь нашего журнала
отметил три знаменательных для нас события:*

*75-летие замечательного ученого,
доброе друа нашего журнала,
члена редколлегии «Континента»
ВЯЧЕСЛАВА ВСЕВОЛОДОВИЧА ИВАНОВА.*

*75-летие префасного русского писателя,
нашего постоянного автора
ЕВГЕНИЯ БОРИСОВИЧА ФЕДОРОВА.*

*70-летие выдающегося общественного деятеля
современной России, члена редколлегии «Континента»,
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА АФАНАСЬЕВА.*

*Сердечно поздравляем наших дорогих юбиляров
и желаем им долгих лет жизни, доброго здоровья,
радости и новых творческих свершений.*

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит 4 раза в год

121

2004, № 3
июль — сентябрь

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

*Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ*

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатель:

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “КОНТИНЕНТ”»**

Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(095) 924-91-51

Internet: www.magazines.russ.ru/continent/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала “Континент”»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР

Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС

Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА,
Александр КЫРЛЕЖЕВ, Сергей ЛЕБЕДЕВ,
Александра ОПАРИНА, Светлана ОПАРИНА,
Мария РЕМИЗОВА, Владимир СОТНИКОВ

Представители «Континента»

АВСТРИЯ

Елена ВОРОНЦОВА
Buchengasse 133/2/32
1100, WIEN, OSTERREICH
☎/fax 0043-1-607-30-23

БОЛГАРИЯ

Наталья ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ

Юлия АРОНС
Kaltenhoferstraße 2,
86154 AUGSBURG, BRD
☎ (821) 42-26-58

ИЗРАИЛЬ

Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

КАНАДА

Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША

Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek
nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США

Марина АДАМОВИЧ
315 Oak Street
Garwood NJ 07027

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ

1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ

Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chaligny, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА

26 rue de la Paroisse
78000, VERSAILLES, FRANCE
☎/fax (1) 30-21-64-37

ШВЕЙЦАРИЯ

Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА

15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ

Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ

Из новых стихов 9

Мариам ЮЗЕФОВСКАЯ

Бэса ме мучо. *Главы из романа* 12

Владимир ПЕРЦЕВ

Перепись в Вифлееме. *Стихи* 108

Андрей ДЕСНИЦКИЙ

Русский Амстердам. *Повесть* 113

Эльмира КОТЛЯР

Театр Николая Васильевича Гоголя. *Стихи* 203

РОССИЯ И МИР

У книжной полки

Татьяна СОТНИКОВА

Рыцарь детских слов 211

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Комментарий к событиям российской жизни
/май — июль 2004 г./ 219

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Проблемы российской истории и современности
в русской периодике первого-второго кварталов 2004 г. 257

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Виктор ТОПОЛЯНСКИЙ

За парадным фасадом «великого перелома» 269

РЕЛИГИЯ

Дмитрий ПОСПЕЛОВСКИЙ

На пути к соборности 280

Свидетельства Меджугорья

Сестра ЭММАНУЭЛЬ

Меджугорье. Война день за днем. *Фрагменты из книги* 292

Основные события церковной жизни
в зеркале прессы (*июнь — август 2004 г.*) 324

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Религиозная мысль в русской периодике первого-второго кварталов 2004 г.	331

ГНОЗИС

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Философская, социологическая, историософская и культурологическая мысль России в русской периодике первого-второго кварталов 2004 г.	345

ПРОЧТЕНИЕ

Игорь ВИНОГРАДОВ

«Ну-ка, что ты за человек?...» По поводу двух определений искусства у Льва Толстого	359

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

К 80-летию со дня рождения Виктора АСТАФЬЕВА (1924–2001)

Геннадий ТРИФОНОВ

Без Астафьева	394

Владимир ХОЛКИН

Два странника	403

Культовые фигуры литературной ярмарки

Валерия ПУСТОВАЯ

Серый мутированный гот с глазами писателя	422

У книжной полки

Михаил КОПЕЛИОВИЧ

Шестидесятые в лицах	444

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная литература и критика. Второй квартал 2004 г.	454

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

Неправда ли, поэт сказал,
что слух давно мне отказал,
а я и не заметил
и, собираясь на вокзал,
замешкался и запоздал,
стихов своих не встретил...

И вот теперь они в толпе
блуждают сами по себе,
в толкучке привокзальной,
без слов, без эха и т.п.,
и не плеснуть им по судьбе
волною в берег дальний.

* * *

Не на пустоши вереск,
за окном, в жардиньерке,
понижающий пленник,
точно зэк на поверке,

точно зэк на исходе
бесконечного срока,
когда мысль о свободе —
это только дорога

**Наталья
ГОРБАНЕВСКАЯ**

— родилась в 1936 г. в Москве, окончила ЛГУ. Автор четырнадцати поэтических сборников, последний «Последние стихи того века» (Тверь, 2001) и «Русско-русский разговор. Избранные стихотворения. 1956-2000. — Поэма без поэмы. Новая книга стихов. 2001» (М., ОГИ, 2003). В настоящее время в издательстве ОГИ готовится сборник «Русско-русский разговор. Избранные стихотворения. — Поэма без поэмы. Новая книга стихов». С 1967 г. активная участница правозащитного движения, одна из основателей «Хроники текущих событий». В 1986–1992 гг. — зам.главного редактора «Континента». Живет в Париже.

от барака до вахты
и от вахты до дому,
но ахти! и куда ж ты?
а до хаты до дому
возвращаться другому.

* * *

Кто я? Что я? Где я?
И какая мне идея
присветила на земле,
в этом долгом корабле,
не дошедшем до конечной,

знаю: чаю жизни вечной,
но пока не невидим
этой жизни чад и дым,
вот чем душу выручаю:
встретить то, чего не чаю.

* * *

Забываю — и не жалею,
замираю — и не боюсь,
и ни с холодом, ни с жарою
не сражаюсь и не борюсь.

И косеют мои глаголы,
и кривеют мои слова,
голодный, и нищий, и голый,
еле слышимые, едва

говоримые членораздельно
неразжатым движеньем губ,
и живут от меня отдельно,
как от дерева лесоруб.

* * *

Л.Лосеву

Темная ночь.
Жарит Бетховена радиоточка.
Сон для сыночка.
И за поля удлиняется строчка.

Чем бы там ни были
наши печали,
не было прибыли,
да и не чаяли.

Убыли, прибыли —
тьмой ли, лучами ли.
Нас от гибели
не отлучали.

Чайная роза.
Отчаяние и угроза.
И без наркоза
на рифмы порублена проза.

* * *

Выцвести
как выцветает от солнца косынка
Вытрясти
как вытрясают в окно половик
Вымолить
дом из картонки и крышу из цинка
Выманить
черные буковки на беловик.

С проседи
вымахни пух и репейник и перья
Простыни
выстирай выглади и постели
Господи
о междометье меж сенью и дверью
Просто ли
туфельки выменять на постолы

* * *

Школы окошко,
шкафчика дверца.
Кое-что, кое-что
крутится, вертится.

Жесткая койка,
дождь над Парижем.
Кое-как, кое-как
вытерпим, выживем.

Тише и кротче
дождик в оконце.
Кое-чем, кое-чем
всё и окончится.

БЭСА МЕ МУЧО¹
(Журнальный вариант)

1

Он проснулся около полудня. В комнате царил полумрак. Посмотрел в окно. Взгляд уперся в облупленную стену соседнего дома. Дожди и просоленные ветры, доносящиеся с океана, сделали свое дело — стена чуть ли не до третьего этажа была побита темно-зелеными пятнами лишая...

Квартиру эту сняли сразу по приезде. Не остановили ни грохот метро, ни сырость, таящаяся по углам, ни то, что все окна выходят в колодец двора. Вернее, никто из них троих: его жена Нюся, теща Наталья Петровна и сам Нюсик — всего этого не заметил. Они прилетели в Нью-Йорк в начале знойного лета. Этот город, состоящий из островов и разделяющего их океана с его заливами и протоками, после восхода солнца превращался в удушливую парную.

Было уже около четырех пополудни — гиблое время раскаленного асфальта, когда потрепанный «бьюик» агента по недвижимости наконец припарковался у дома в районе Санкоста, где стояли Нюсик, его жена и теща. Все трое были обессилены долгим ожиданием, жарой и ослеплены беспощадно-жгучим солнцем. Увидев их, агент небрежно махнул рукой и устремился к подъезду. Они гуськом потянулись следом. Покопавшись в связке ключей, агент открыл дверь, и на них пахнуло прохладой.

Массивная люстра, камин, зеркала, мраморный пол и колонны, открытые восточной росписью, ошеломили Нюсика: это была едва ли не копия вестибюля Черновицкого дома культуры, перестроенного из особняка то ли дворянского, то ли купеческого собрания. На миг показалось, что он и Нюся вместе с кукольным театром опять приехали на гастроли

¹ Целуй же меня!

**Мариам
ЮЗЕФОВСКАЯ**

— родилась в 1941 г. в Ярославской области. Окончила Одесский электротехнический институт связи. Печататься начала в конце 80-х. Проза публиковалась в «Рабочей смене», «Литве литературной», «Знамени», «Дружбе народов», «Континенте», а также «Sinn und Form», «Bremische Seiten» (Германия) и др. В 1993 г. повесть «Октябрина» была выдвинута на Букеровскую премию. Автор книг «Дети победителей» и «Разлад». Живет в США, штате Нью-Джерси.

в этот сонный городишко и где-то неподалеку находится приземистый кирпичный флигель — гостиница для засезжих актеров. Там, в угловой комнате на втором этаже, они стали мужем и женой. Случилось это в самом начале гастролей, 3 июня... Он сверился с календарем на часах и ахнул: «Да ведь сегодня третье!». Обычно жена вела всю эту канцелярию, каким-то чудом не пропуская ни одной памятной даты. Он сам жил в другом времяисчислении: премьер, генеральных репетиций, гастролей. И то, что она забыла день, который отмечался ими неукоснительно из года в год более двадцати лет, свидетельствовало о разрушении дома и порядка. Это вызвало в нем протест. Не желая поддаваться обстоятельствам жизни, Нюсик локтем коснулся жены и, подмигнув ей, переплел указательные пальцы, что означало на их языке самую страстную «бэсаму». Жена с шутливой укоризной покачала головой. «Нашел время», — прошептала она, как всегда, считая этот жест неприличным и зная, что мужу нравятся ее поддразнивать. Они переглянулись, точно дети, таящие от всех свой секрет, и рассмеялись. В гулкой пустоте вестибюля их смех прозвучал громко и неуместно. Агент с недоумением оглянулся.

За годы совместной жизни у них накопилось множество знаков и словечек, понятных лишь им двоим: ласкательных, смешных, порой не очень приличных. Но «Бэсама» было самым главным. Иногда во время какой-нибудь вечеринки или застолья Нюсик цепко брал жену за руку и при всех, дерзко улыбаясь, тоном капризного ребенка говорил: «Нюсенек, хочу бэсаму». Она краснела, прерывала разговор и, следуя за ним, ускользала в прихожую, где оба поспешно напяливали на себя пальто и убегали, ни с кем не прощаясь. Они выскакивали на середину мостовой, останавливали первую попавшуюся машину. И мчались домой. При этом Нюсик садился рядом с шофером, подгоняя его дикими историями об оставленной горячей плите, рыдающем ребенке и взбадривая обещанием сказочных чаевых. А Нюся, сцепив зубы, беззвучно плакала от смеха на заднем сидении. Изредка, оборачиваясь назад, он с фальшивым участием говорил хорошо поставленным актерским голосом: «Потерпи, мой дружок. Мы уже почти у цели». Показывал ей сплетенные пальцы. И эта двусмысленность вызывала у нее новый бешеный приступ смеха.

Местом зачатия «бэсамы» был дикий пляж неподалеку от их театра. Туда вела заброшенная, головоломно-крутая лестница без перил. Полуразрушенные ее ступени, поросшие бурьяном, пахучей степной полынью и вьюнком, сбегали прямо к скале, уходившей уступом далеко в море. Обычно горожане сюда редко заглядывали. Их отпугивали каменистый берег и дно, покрытое острыми осколками ракушечника, неожиданно круто обрывающееся и уходящее сразу на большую глубину. Хотя вода здесь была прозрачная и чистая. И лишь окрестные жители знали, что за скалой есть тихая бухточка, усталая мелким желтым песочком. Здесь труппа кукольного театра устраивала свой самый главный сабантуй — открытие сезона.

В тот год, когда Нюта после окончания музучилища пришла в театр, Нюсик задержался в отпуске на три дня. Все подшучивали по этому поводу, говорили, что не иначе как причиной тому новая «девушка его мечты». А директор театра, Евгений Подоляка, по прозвищу Жмэня, прилюдно грозился уволить и кричал: «Я пушу Вольфсона на кислород!» Как это бывает после отпуска, обиды, накопившиеся за сезон, забылись. И, соскучившись, все преувеличенно-громко разговаривали, с интересом оглядывая друг друга.

Нюся оказалась самой младшей и к тому же чужой. Приняли ее не очень приветливо — прошел слух, что в театр она попала по блату. И это была истинная правда: если б не энергичная мать, ни о каком театре не могло быть и речи. Нюсе с ее оценками была прямая дорога в сельский клуб. Она чувствовала себя одиноко и отчужденно. И каждый день, собираясь на работу, думала лишь о том, как бы уйти из этого «гадючника». Миновала неделя, пока, наконец, решилась сказать об этом матери. Та, естественно, взмыла. Начала тоном, не терпящим никаких возражений, поучать, что в жизни главное — умение сходитьсь и ладить с людьми. Любовь коллектива нужно заслужить. Впрочем, как и любовь близкого человека. А если тебя не уважают, то ни о каких отношениях не может быть и речи. Нужно уметь соответствовать. При этом мать бросала на отца красноречивые взгляды. Нюся поняла — последнее относится не к ней. Тот, как обычно, отмолчался. И ушел спать на кухню, на свой короткий диванчик, к которому на ночь подставлял табуретку. Но Нюся и без слов знала — отец переживает за нее. Он прокрался чуть свет в Нюсину комнату и, хоть мать еще спала, сказал сдавленным шепотом: «Доця, бросай эту работу к едреной фене, иди учиться дальше». Но для нее консерватория была страшнее застенка, а на меньшее мать не соглашалась. Нюся поняла, что обречена, и поплелась на работу.

С утра была репетиция. И, барабана на пианино элегию тающей сосульки, Нюся думала о том, что жизнь, в сущности, не удалась. А после дневного спектакля, где в течение двух часов с перерывом на антракт честно наяривала песенки о страстях заячьего бытия, собралась домой. Но ее остановил директор театра: «А вы шо ж намы брэзгуэтэ? Сегодня ж видкрыття сезону». И Нюся подумала, что мать наверняка уже имела с ним беседу. Под его присмотром позади орущей толпы, груженной сумками с едой, бутылками, двумя гитарами и объемными рюкзаками, она потащилась на дикий пляж. Было еще жарко, хотя на горизонте пылал лишь краешек багрового солнца. Все бросились в воду. Но у Нюси не было с собой купальника. Она села в крохотный клочок тени возле скалы и начала наигрывать на гитаре.

Как бывает на юге в начале осени, вдруг подул холодный ветер, стало быстро темнеть. Директор, выйдя из воды, сложил руки рупором и закричал: «Хлопцы! Запаляйтэ костэр! Не то помэрзнем к такой-то матери!» Из сгущающейся темноты доносилось хлопанье волн, крики и визг купающихся. Нюся издали наблюдала за суетой вокруг костра: как поджигают высохшие колючки перекати-поля, как женщины раскладывают еду,

расставляют бутылки. И угрюмо думала о том, что если б не эта чертова крутая лестница, самое время во тьме улизнуть домой.

«Сидайтэ вжэ, сидайтэ», — подгонял директор. Подойдя к Нюсе, приобнял ее за плечи, посадил рядом с собой и сказал: «Зовыть меня по-простому, Женя».

Разлили по стаканам вино, и покатилося застолье. Все как-то быстро захмелели, стали громко кричать, перебивая друг друга. Потом начались танцы. Нюсе было отчаянно скучно и неловко среди этих подвыпивших чужих людей.

«Разрешите познакомиться. Как вас зовут, милая девушка?» — услышала она басистый мужской голос. Обернувшись, увидела в свете пляшущего пламени копну спутанных мелко вьющихся черных волос и блестящие глаза. «Нюта, Нюся», — простодушно ответила она, не подозревая, что эти домашние имена, которых ужасно стеснялась, завтра станут известны всему театру. «Нисон Давидович, — представился и чопорно поклонился мужчина, — позвольте!» — не дожидаясь ответа, взял за запястье, потянул за собой. Его горячая ладонь легла на Нюсину спину. Именно в то место, где ее опоясывал бюстгальтер. Нюся смущенно поехала, надеясь сдвинуть руку. Он, словно не замечая этих попыток, вел ее в танце и вдруг, жеманно хихикнув, игриво произнес женским контролем:

— Голубушка, Нюся, разве мама не говорила вам, что это негигиенично носить такие тугие лифчики? Особенно летом, — почувствовав, как вздрогнула ее спина, тихо возликовал: «Ну, спесивая гусыня, погоди! Я сейчас тебе перья пообщи́паю». Его уже который день раздражали Нютина, как он считал, заносчивость, вежливая снисходительность и безразличие к работе.

— Пашка! — перейдя на бас, повелительно крикнул в сторону костра, — сбайдай-ка нам «Бэса ме мучо».

— Вольфсон, кончай свои коники! — заволновался директор, почуяв неладное.

— «Бэса ме мучо» — это аргентинское танго, его танцуют в портовых борделях и кабаках, — менторским тоном произнес Нисон, не обращая внимания на директора, и вывел Нюсю в центр площадки. Властно похлопал по спине: — Расслабьтесь. А теперь вошли в образ: вы — путана, я — матрос, — играя голосом, перешел на хрипотцу морского волка, — мы провели вместе ночь и должны навсегда расстаться. Впереди у меня другие страны, другие женщины. Вы желаете, чтоб я к вам вернулся, и страстно хотите вырвать последний поцелуй. Ясно?! — отрывисто спросил он.

Нюся, ошеломленная натиском, покорно кивнула, хотя точно знала, что он все переврал и это вовсе не аргентинское танго, а мексиканская песня.

— Теперь обнимите меня за шею. Раз, два, три, начали, — скомандовал Нисон. И, рывком притянув ее к себе за талию, повел быстрым скольльзящим шагом.

«Вываться и убежать», — мелькнула у нее мысль. Но он все крепче и крепче прижимал ее к себе, все быстрее и быстрее кружил. Внезапно почувствовала неудержимое желание с ним слиться. Нисон ощутил, что она припала к нему, и рывком отбросил ее. Нюта чуть было не потеряла равновесие. Но в последний миг подхватил, притянул к себе и прижал так крепко, что у Нюты перехватило дыхание. Снова начал кружить, а рука его медленно скользила вдоль ее спины, устремляясь к затылку. Вдруг сделал глубокий выпад левой ногой, крепко держа Нюсю за талию, и, резко перегнувшись вместе с ней, поцеловал в губы. Нюсю пронзило с головы до ног. И, глядя на низкий купол южного неба, на холодные сияющие звезды, обреченно подумала: «Я пропала!»

На следующий день Нисон подошел к ней и глухо пробормотал: «Передайте директору, что я извинился перед вами за вчерашнее».

Весь сезон Нюся ужасно страдала из-за того, что он ее не замечает. А когда сталкивались, ограничивался лишь равнодушным кивком. По театру бродили слухи о новой «девушке его мечты», и она искренне этому верила, потому что едва выдавался свободный день, как он куда-то исчезал, а несколько раз даже просил подмены. Директор громил Вольфсона на всех собраниях. И лишь когда они стали близки, Нюся узнала, что той осенью у него долго и мучительно умирала мать.

Много позже она обнаружит среди его имущества общую тетрадь в красном коленкоровом переплете с надписью «Мысли и чувства».

— Можно? — спросила тогда Нюся.

Не дожидаясь ответа, открыла наугад и выхватила взглядом строчки, написанные его мелким неразборчивым почерком:

Грозит, маячит смерти черный жупел.
Манит и тянет алчная земля.
Беспомощней слепых тряпичных кукол
Мы на подмостках шатких бытия.

— Не смей больше никогда копаться в моих бумагах! — с внезапным озлоблением крикнул Нюсик и выхватил у нее тетрадь.

Лишь тогда она поняла, что поэт со смешной фамилией Носатик, никому не известный, кроме Нисона, чьи стихи тот с упоением читал на всех сборищах, есть не что иное, как мистификация. Поняла, но промолчала. И только после замужества хитростью вырвала у него признание в авторстве. В этом был он весь — с его бравадой и скрытностью, уязвимостью и насмешливостью. Их совместная жизнь в первое время напоминала Нюсе детскую игру с улитками. Завидев на ветке винограду хрупкую ракушку, витую словно тюрбан маленького Мука, она сажала ее на ладонку и начинала заклинать: «Равлик-павлик, высунь ножки! На четыре стежки», — терпеливо ожидая, когда из округлого отверстия начнет настороженно выползать бледно-матовая головка с двумя рожками.

Почти через год в украинском пыльном городишке Черновицы родилась их «бэсама». Для Нюси это были первые гастролы. В театре она

совмещала в одном лице концертмейстера, аккомпаниатора, а по ходу дела еще должна была подпевать, мяукать, пищать, шаркать ногами, хлопать в ладоши. В афише ее имя писалось мелкими буквами, в самом низу. И вместо полного имени Анна по ошибке поставили кургузое Н. В то время на гастролях труппе предоставляли лишь расстроенное пианино. Кастаньеты, маракасы, гитару, аккордеон и даже барабан — всё приходилось возить с собой. Она отчаянно трусила из-за свалившихся на нее обязанностей и оттого держала себя неприступно, гордо. Но отутюженные туго накрахмаленные манжетики и воротнички школьницы, привычка краснеть — с головой выдавали ее молодость. Все — от рабочих сцены до директора, звали ее Нюсей. А после женитьбы за их спаянность и неразлучность с чьей-то легкой руки присвоили общее имя — Нюсики. Хотя за несколько месяцев до свадьбы Нюся думала, что все безвозвратно рухнуло.

Это произошло в день премьеры спектакля «Аленький цветочек». Нюсик, вставив куклу-чудище в специальный пояс, работал только ее головой. Хвост и лапы были на попечении его ассистентки Тани, широкоплечей и мужиковатой, неизвестно каким ветром занесенной в южный приморский город из Сибири. Из-за этой Тани, нависающей над Нюсиком, точно скала, и произошел первый серьезный скандал в их совместной жизни. Нюся вспылала ревностью. Все это было не вдруг и имело под собой основание. За пылким, необузданным и не знающим ни в чем меры Нюсиком волочился шлейф поклонниц. Среди них были «закадычные подруги», «просто приятельницы» и «женщины моей мечты», как называл их Нюсик. Четкой границы между этими категориями не было. И, глядя на то, как во время спектакля соприкасаются руки и тела Тани и Нюсика, она впала в безумную ярость. Хотя знала, что Таня давно и прочно причислена к разряду закадычных подруг.

Совсем потеряв голову от переживаний, Нюся то и дело не вовремя вступала с музыкальным сопровождением, сбивалась, путалась и едва дотянула до антракта. А когда задернули занавес, Нюсик, схватив ее за руку, потащил в декораторскую, где пахло клеем, затхлостью и мышами. Среди картонных растрепанных пальм, идилических березок и старинных замков он грубо заорал на нее: «Дура! Ты завалила премьеру!». И когда она в свое оправдание начала что-то нерешительно лепетать о Тане, заиграл желваками: «Я был, есть и буду свободным человеком. Думай сейчас, пока не поздно!» Хотя твердо знал, что уже не в силах отказаться от нее. Но у него не было и тени сомнения, что Нюся примет его кабальные условия. Причин тому было немало, но главная — то, что произошло в Черновицкой гостинице.

По традиции начало гастролей праздновали всей труппой в номере у Вольфсона. Нюся молча просидела целый вечер в углу кровати рядом с директором, который не спускал с нее глаз. И все втихомолку подсмеивались, потому что раньше ничего подобного за Подолякой не водилось. А потом Нюся вызвалась убрать посуду, хотя ее об этом никто не просил

и даже, наоборот, отговаривали. Но она, настояв на своем, долго и неумело копалась, а когда все разошлись, умоляюще посмотрела на Нисона и прошептала: «Давайте станцуем “Бэса ме мучо”». — «Сейчас?» — с удивлением спросил он. Заметив его недоумение, Нюся покраснела и сказала: «Это не важно, что без музыки». И, прижавшись к нему, обняла за шею.

Она отдалась без всяких колебаний, сомнений и ломания. Отдалась с такой молниеносной скоростью, как будто это было для нее обыденным делом. И когда Нисон понял, что он ее первый мужчина, оцепенел от изумления. «Маменькина дочка, ошалевшая от свободы», — подумал он и решил держаться подальше. Но на Нюсином круглом лице, обрамленном мягкими белокурыми кудряшками, отражались, как в зеркале, все оттенки его настроения. Вдобавок она пыталась заботиться о нем. Бегала чуть свет на местный базарчик и тайком ставила ему под дверь газетные кульки, в которых находил запотевшие банки с деревенской ряженкой, подернутой толстой коричневой пенкой, щедро посыпанные сахаром плюшки и зеленоватые, недозревшие яблоки белый налив.

К концу гастролей на смену его настороженности пришло снисходительное любопытство. Так Нюся начала вкрадываться в его жизнь со своей робостью, безмолвным обожанием и по-детски нежной шелковистой кожей, от одного соприкосновения с которой в нем вспыхивало желание. Его поражало, что в постели, превозмогая стыдливость и застенчивость, она не задумываясь шла навстречу его фантазиям. И в этом не было ни тени жертвенности или покорности рабыни. Загораясь от его огня, она раскрепощалась и взлетала на такие вершины импровизации, что порой Нюсик едва поспевал за ней, хоть был много опытней и искушенней в этих делах.

Стараясь, чтоб она не заметила, он часто любовался ею. За то время, что они были вместе, она разительно изменилась: грудь ее налилась, бедра округлились, чуть раздались, исчезла подростковая угловатость и скованность. Ему нравилось командовать и наставлять ее. По его требованию она укоротила свои монашеские юбки много выше колен, сняла бесформенные балахоны и пошила туго обтягивающие грудь кофточки. После нескольких месяцев его муштры, мало чем отличающейся от армейской, освоила легкую походку с прямой спиной и вздернутым подбородком.

Как ни смешно, но все ее нынешние достоинства Нюсик приписывал исключительно себе. Откуда ему было знать, что он наконец дал волю той буйной наследственности, полученной Нюсей от отцовской ветви, которую Наталья Петровна глушила в дочери с детства всеми доступными ей средствами. Отсюда проистекали Нюсины мешковатые, под горло платья, запрещение останавливаться перед зеркалом более пяти минут, перлюстрация всех ее писем и даже тайного дневника, записи в котором Нюся кодировала, как разведчица. Хотя скрывать было абсолютно нечего — к моменту окончания музучилища у нее на счету еще не было ни одного свидания, не говоря о поцелуях. Но мать не забывала: в роду ее мужа текла гремучая смесь казацкой и черкесской кровей. Со свадьбами в этой пересыпской семье почти всегда опаздывали. Их

праздновали обычно вместе с крестинами первенцев. Случалось — и много позже. «Ото ж дитина будэ, тода и сватов засылайтэ. Яка тоби дивка попалась, можно пизнаты тилькы писля того як мамкой станэ, тоды вона сладость набыраз, як та дыня-таракуцка на сонэчке», — говорил глава клана дед Василий, неукоснительно следовавший законам Пересыпи, славящейся своими свободными босяцкими нравами и практичным здравым смыслом.

Нюсик был старше на пять лет, прошел через скоропостижно скончавшийся студенческий брак и два неудачных романа, после чего твердо сказал себе: «Стоп! Хватит трепыхать крыльями. Это все уловка природы. Элементарный механический процесс, основанный на законе трения. А что до женщин, то они все одинаковы». Начал заводить ни к чему не обязывающие короткие интрижки. И когда появилась Нюся, решил — это его последняя попытка. Оттого так крепко держал в руках бразды правления их союзом, так жестко schoлил ее.

Они стояли в декораторской, а за дверью кипела чужая праздничная жизнь. Это был дневной спектакль, из коридора доносились возбужденные детские голоса и топот. Через высокое зарешеченное окно лился яркий солнечный свет. Нюся беззвучно плакала. Ее губы и нос по-детски распухли. «Ну, — сказал грозно Нюсик, — что будем делать?» И вдруг растроганно поцеловал ее. Она, не смея поверить в свое счастье, прильнула к нему. Среди паутины и сора, прижав Нюсю к давно не беленной стене, он неожиданно для себя поспешно, по-мальчишески нагло овладел ею. Она стояла ошеломленная, боясь шевельнуться. Одернув на ней платье и стараясь не смотреть ей в глаза, отрывисто сказал: «Приведи себя в порядок. Не опаздывай, скоро звонок». И ушел. Она прокралась в туалет для зрителей, вымыла лицо и пристально посмотрела на себя в зеркало. Почувствовала, что опять подступают слезы, и внезапно нервно засмеялась, вспомнив, как в самый критический момент на Нюсика чуть было не упала картонная пальма. А после спектакля в знак покорности и примирения, прилюдно попросила Таню быть свидетельницей в загсе.

Для Нюси это замужество было исполнением мечты, которая не давала ей покоя начиная с четвертого класса — приобщиться к чему-то великому и служить ему всю жизнь. Она заранее уготовила для себя роль вedomой. Бороться с этой пагубой было выше ее сил. Нюта унаследовала это от матери. В течение десяти лет Наталья Петровна истово служила Анютиному отцу, твердо веря, что этот выходец с Пересыпи — самородок и его истинное назначение — наука. Откуда у нее взялась такая убежденность, позже и сама не могла понять. Но ради этого жила вместе с ним за английские неправильные глаголы, с усердием чертила эпюры и даже одолела сопромат. Понукаемый ею, он закончил вечернюю школу, затем техникум и, с грехом пополам, институт. Но дальше дело не пошло. Вскарabкавшись на эту высоту, вдруг скис и махнул на все рукой. Мать на время отступилась, обрушив всю свою энергию на Нюту, из которой с детства готовила пианистку с большой буквы.

Каждый сезон в филармонии покупались абонементы на концерты классической музыки, осваивалось туше и стаккато. Мать даже начала впрок коллекционировать ноты Шумана и Малера. Нюта во всей этой затее видела лишь один волнующий ее момент — вечерние туалеты. Она давно мечтала сшить себе длинное панбархатное платье с треном. Страсть к шитью и фасонам проснулась в ней лет в шесть. Едва в ее руки попадала новая кукла, как она сдирала с нее приютское платье в скромный линиялый цветочек и из лоскутков и ленточек мастерила шикарный наряд. Мать, считая, что эти затеи отвлекают от музыки, прятала под замок иголки и нитки. Со временем Нюта смирилась с этим, но все ее тетради были разрисованы юбками годэ, солнце-клевш, блузами с подкройными кокетками и рукавами разных фасонов. Закончив музучилище, она наотрез отказалась поступать в консерваторию. Мать долго, упорно пыталась ее переубедить, но в конце концов, презрительно процедив: «Отцовская порода», отступилась. Доказательства были налицо: трое отцовских братьев с трудом одолели ремесленные училища, а две сестры едва успели получить аттестат зрелости до родов. Но главным козырем был сам дед Василий, не признававший никакой учебы. «Всё должно итти из нутра», — твердил он. По праздникам, выпив законный стакан водки, налитый бабкой Марусей с филигранной точностью ровно всклянь, он выходил во дворик, застроенный одноэтажными домиками из ракушечника. И начинал наяривать на гармошке. Случалось, на балалайке или гитаре, в зависимости от настроения. При этом репертуар его простирался от «Ты ж мэнэ пидманула» до неаполитанских песен, исполняемых «отым чернявым хлопчиком», так звал он Робертино Лоретти. Но когда был в ударе, то снимал со шкафа жемчужину своей коллекции — тульскую гармонь с колокольчиками. На ней исполнялась только «Казацька», автором которой, по убеждению деда, был сам Тарас Бульба или, в крайнем случае, один из его сынов.

Нюта, как дед, в охотку, без труда подбирала на слух любую мелодию и с легкостью осваивала разные музыкальные инструменты. Однако ничто не доводилось до лоска и совершенства. Она видела свое призвание в ином — в возвышенном служении. Но чему именно, ясно себе не представляла. Родись веком раньше, определилась бы в монастырь или ушла бы в народovolки. Это уж как карта легла бы. Однако судьба ей подарила Нюсика. Строптивного, привередливого, с бесчисленными идеями и задумками. И она поставила себе целью — стать незаменимой, превратиться в его тень и тем самым заслужить любовь. Именно заслужить. И хоть ладить с ним было совсем не просто, но Нюта приновилась.

На свадьбе подвыпившая Таня лезла к Нюсику целоваться, повторяя точно заведенная: «Вот ты какой! Поматросил и бросил! А я все равно тебя люблю», — и, оглядываясь на Нюсю, добавляла: «Люблю как артиста и мастера!» «Да! Как мастера!» — пьяно настаивала на своем Таня. Все смеялись. Нюся лишь сдержанно улыбалась, но уже не из ревности — наоборот, за это слепое преклонение перед Нюсиком она Тане все простила.

Ее жгла обида за Нюсика, которому как раз в канун свадьбы на фестивале театрального содружества соцстран вручили почетную грамоту первой степени. В ту пору он уже имел пяток разных дипломов. Но эта была самая важная — за лучшую роль и режиссуру. Фактически все — от сценария до постановки — Нюсик сделал сам, не считая костюмов, которые придумала и сшила Нюся. И это не какой-нибудь «Колобок» или «Айболит», а спектакль для взрослых — «Бравый солдат Швейк». Выбор его был не случаен. В семидесятых антагонисты вдруг оказались в большом почете. Вскипала новая волна свободомыслия и не только в империи, раскинувшейся от моря до моря, но и в странах-вассалах. Трактирщик Паливец с его фигой в кармане, предназначенной любым властям, с его шкалой ценностей «Всею одна цена — дерьмо», пришелся как нельзя ко времени. Он представлял в толковании Нюсика героем скрытой фронды. Все это породило множество крамольных разговоров и слухов.

Однако за свадебным столом, где собралась их труппа, никто, кроме Тани, и словом об этом спектакле не обмолвился. И всё — из желания угодить директору, Жене — Жмэне, с которым Нюсик был на ножах. Автором прозвища был, конечно, Нюсик. Он вкладывал в него ядовитое презрение и к отчаянному крестьянскому скупердяйству, и к неистребимому гуцульскому акценту директора. Вражда эта то затихала, то вспыхивала вновь. И выйдя замуж, Нюся стала ее полноправным участником. После каждого скандала она как парламентарий бегала по театру от одного к другому. Нюсик, едва завидев ее, кричал чуть не в голос: «Ты как хочешь, а я уезжаю. С меня хватит!»

Его постоянно переманивали то в Петрозаводск, то в Хабаровск, то в Ижевск. А она трепетала. Ей страшно было бросать с таким трудом обретенное гнездо: после нескольких лет беготни и унижений, после тайных и хитроумных маневров Натальи Петровны, Нюте как молодому специалисту наконец дали ведомственную квартиру, крохотные две комнатки на пятом, последнем этаже. И когда она получала ордер, плотный отставник, ведавший этими делами, строго сказал: «Помните! При расторжении контракта с театром вы в недельный срок должны будете освободить жилье. Распишитесь, что ознакомлены с этим условием». Нюся покорно поставила свою скромную торопливую закорючку в толстой канцелярской книге, прошитой суровыми нитками. Она была на седьмом небе от счастья, а Нюсик с его обостренным чувством свободы разбушевался: «Я не нуждаюсь в этой хижине дяди Тома! Узаконенное рабство! Они хотят посадить меня на цепь, как дворового пса!» — но увидев слезы на глазах Нюты, смягчился: «Черт с ними! Переезжаем!» Ему, в пятнадцать лет уехавшему из маленького местечка и с тех пор кочующему по общежитиям и временным пристанищам, понятие дома было чуждо. Он нуждался лишь в ночлеге. Основная жизнь вершилась в театре, в дружеских посиделках и на гастролях. Другое дело Нюта, выпорхнувшая из-под материнского крыла. Вокруг Натальи Петровны всегда царил образцовый, раз и навсегда установленный поряд-

док. Здесь бытие протекало среди хранимых в семье, как святыня, стульев с высокими резными спинками, портьер с бархатными бомбошками, вышитых салфеточек и тюлевых занавесей на высоких окнах, выходящих на знаменитый оперный театр, где когда-то работала костюмером бабушка Нюты. Окружение всех этих мелочей придавало жизни видимость прочности и незыблемости. И Нюта, унаследовавшая от матери страсть к устойчивости, приходила в отчаяние при мысли, что нужно разрушить сотворенный ею уют и мчаться куда-то в неизвестность. Опять мотаться по чужим углам, опасаться косых хозяйских взглядов, обивать пороги чиновничьих кабинетов, выпрашивая хоть сколько-нибудь сносное пристанище. И было неясно, как сложится у Нюсика на новом месте. Будут ли терпеть его капризы и выходки. К этому времени она уже знала, что Нюсик бывает груб, несправедлив и распушен. Иногда, не чувствуя перед ответственным спектаклем нервной дрожи, которая ему нужна была как воздух, он доводил себя до нужной кондиции скандалом. Случалось — интрижкой. Нюсе очень хотелось верить, что мимо-летней, не заходившей дальше прилюдных поцелуев, объятий и кокетства. Но при этом его ореховые глаза начинали возбужденно блестеть. И этот блеск оскорблял ее и сеял сомнения. Однако, помня историю с Таней, научилась все скрывать за шутками и смехом. И лишь когда они оставались наедине, давала себе волю, выплескивая чувства в неистовой «бэсаме», как бы скрепляя этим их союз.

Вскоре после свадьбы в ее жизни появилось еще одно божество, которому Нюся хотела истово и безропотно служить — дочь Алена, родившаяся в конце апреля. Незадолго до гастролей. И Нюся, как язычница, заматалась между двумя идолами. В конце концов она не решилась отпустить Нюсика одного на целых два месяца, и чаша весов качнулась в сторону гастролей. Так крохотная Алена попала в крепкие руки Натальи Петровны.

В нежном детском возрасте у Аленки обнаружилась неудержимая тяга к танцам, унаследованная от Нюсика, которого в армии за прыгучесть, умение бить чечетку и виртуозно танцевать вприсядку даже чуть было не откомандировали в ансамбль песни и пляски. Экзальтированная Наталья Петровна тотчас усмотрела в этой тяге высокое предназначение для Алены. Похоронив мечты вывести в люди мужа, а дочь — в знаменитости, она с восторгом восприняла замужество Нюты и с первого дня зачислила Нюсика в небожители. Он был для нее не зять, а *человек театра*! Благодаря ему словно вернулась в свою юность, в актерскую атмосферу нервного парения, которая когда-то витала в родительском доме. И пусть кукольному театру далеко до оперного, но и тут была сцена с ее запахом пыли, были медленно гаснущие огни перед началом действия, были откидные стулья с потертыми бархатными сиденьями. Не пропуская ни одной премьеры, будь то сказка или спектакль для взрослых, Наталья Петровна стала завсегдатаем этого театра. Она приводила с собой не только друзей, соседей и родственников, не толь-

ко читателей городской библиотеки, где уже сорок лет бессменно трудилась в отделе искусства. Наталья Петровна умудрялась вербовать зрителей в очередях, на базаре и в собесе. В конце спектакля, когда актеры, одетые в черные трико, выходили кланяться, она с незабытой меткостью значкистки ГТО кидала на сцену букет цветов, который неизменно приземлялся у Нюсиковых ног. «Бра-во, Вольф! Бра-во! Вольф!» — восторженно оглядывая зал из гостевой ложи, скандировала Наталья Петровна, элегантно отсекая от фамилии зятя второй слог, казавшийся ей неблагозвучным. Однажды Нюсик взбунтовался против этого самоуправства. Но теща искренне изумилась: «Разве псевдонимы не в традициях мирового театра?», одним махом разрезая пуповину, связывающую Нюсика с бесталанной толпой местечковых сородичей. Давая при этом понять, что между интеллигентными людьми нет места ни фобиям, ни великоросскому высокомерию.

Рождение внучки Наталья Петровна ознаменовала разводом с Нютиным отцом. Фактически это было признание в окончательном и полном поражении, причина которого коренилась в недопонимании сути мужской натуры. Оказалось, в течение многих лет проявление пылкого темперамента она воспринимала как несомненный признак одаренности. «Твой отец как был, так и остался босяком с Пересыпи», — небрежно объяснила она Нюте. И, ободряя не то себя, не то дочь, огорченную известием о разводе, сказала: «Теперь, когда мои руки наконец-то развязаны, я смогу полностью посвятить себя ребенку». В ее голосе прозвучала непоколебимость реваншистки.

Свое обещание Наталья Петровна выполнила с лихвой, открыв в Аленке страсть к танцам. Дальше все покатилось по пути, проторенному еще с Нютой: детский ансамбль, музыкальная школа и — как предгорье вершины — школа для одаренных детей, где были балетные и музыкальные классы, которые вели знаменитые педагоги из Ленинграда и Москвы, заманенные в город мягким климатом, морем и южным изобилием. Жизнь Алены была регламентирована, как расписание литерного скорого: два часа экзерсисов у балетного станка, час игры на пианино, шесть часов класса и поздним вечером, уже куняя носом, уроки. Алена жила в мире батманов, арабесков и кабриолей. И не мыслила себя вне этого. Ее заветной целью стало выдвинуться к шестнадцати годам в первую линию кордебалета. Каждые каникулы они с бабушкой совершали паломничество в балетную Мекку — Ленинград, пропадая днем в музеях, а вечерами — в Кировском театре, с одной из билетерш которого Наталья Петровна путем подкупа, лести и хитрости свела тесное знакомство. Нюта отчетливо понимала, что бабка раздувает и неустанно поддерживает в Алене огонь неистовой одержимости и тщеславия. Она пыталась опустить дочь на землю, осторожно втолковывая ей о превратностях балетных судеб, о ненасытности этого молоха, который пожирает силы и молодость, давая взамен лишь краткий миг парения. Но Наталья Петровна резко обрывала ее: «Не мели чепуху! Артист обязан вкладывать в работу собственную жизнь! И это будет оплачено

сторицей. Перед ней откроется мир. Она сможет увидеть Париж, Лондон, Барселону!» Мать перечисляла с восторгом, и глаза ее начинали блестеть. «А ты вся в своего отца. В тебе нет ни грана страсти, темперамента, не говоря уже о честолюбии», — не сдерживая раздражения, резала Наталья Петровна, хотя отдавала себе отчет, что чего-чего, а страсти и темперамента и в бывшем муже, и в дочери даже с избытком. Осознание этого факта вызывало еще большую досаду. «Не понимаю, что Нисон нашел в тебе», — пренебрежительно роняла мать, безотчетно уязвляя Нюсю в самое больное место.

Наталья Петровна относилась к внучке как к самому ценному семейному достоянию и пресекала в корне любые посягательства на их отношения, которые ее стараниями походили на дружбу девочек-подростков. Порою Нюта с трудом узнавала мать с ее новыми увлечениями и замашками: конский хвост, перетянутый аптечной резинкой, узенькие в обтяжку брючки, ритмы «Битлз», полуподпольные книги о Дягилеве и Нижинском и даже некоторая угловатость, порывистость в движениях. При этом Алене разрешалось дерзить, манерничать и устраивать бойкоты по любым пустякам, о чем Нюта в детстве и помыслить не могла.

С момента рождения Аленки между Нютой и ее матерью началась тихая необъявленная война, прерываемая редкими вынужденными перемириями, вызванными болезнью девочки. В эти периоды их объединяли опасность и страх. Нюта понимала, что с ее отъездом воспитание Алены окончательно перейдет в руки матери. И это тоже был один из камней преткновения, едва заходила речь о переходе в другой театр.

Жизнь Нюсиков протекала на виду у всей труппы. Знали и о сманивании Нисона, и о школе для одаренных детей, и о Наталье Петровне. После каждого скандала с Нюсиком Жмэня, набычившись и бегая из угла в угол по тесному кабинетику, громыхал так, что было слышно в фойе: «Интриган! Скандалыст! Пусть катится! Скатертью дорога! А ты оставайся. Мы тебя в обиду не дадим». Лицо Нюси заливала пунцовая краска. Она стояла, потупившись, словно провинившаяся школьница. Но в душе ей хотелось затопать ногами, грохнуть графином с водой об пол и заорать на весь театр: «Бездарь! Не смей оскорблять моего мужа!» А за кулисами в это время Пашка, администратор, невысокий кражистый крепыш с шеей атлета, успокаивал Нюсика, осторожно похлопывая по плечу и обращаясь по имени-отчеству: «Брось, Нисон Давидович! Ты же знаешь Жмэню! Ни уха, ни рыла не смыслит в театре, а туда же — царь и бог, и воинский начальник».

Всей труппе было известно: в гневе Нюсик становится неприступно-гордым, не терпит ни фамильярности, ни актерского панибратства.

Нюсик целиком был поглощен театральными делами, требуя того же от Нюси. И любое ее отвлечение, даже Алену, воспринимал как измену. Неудержимую ее тягу к рукоделию считал просто бабской блажью и если мирился с ней, то лишь потому, что только Нюте доверял придумывать и шить костюмы для своих кукол, а иногда и самих кукол. Она виде-

ла, как выкладывается Нюсик на вечерних спектаклях для взрослых, сколько времени проводит в подготовке к ним. Случалось, отблеск его успеха озарял и ее — после каждой премьеры Жмэня чуть ли не силком вытаскивал Нюсю на сцену. Но вскоре постигла потайную, не праздничную сторону его ремесла — нервозность, раздражительность. А главное, возбуждение и бессонницу после каждого ответственного спектакля. Его спасало лишь одно средство — он должен был ублажить свое тело. И Нюся искусно, то сдерживая, то прищипывая своей горячностью, вела по крутой винтовой лестнице «бэсамы», стараясь при этом изгнать из его сознания театр. Но часто после близости, когда умиротворенная и расслабленная, в чем мать родила она уже уплывала в дрему, Нюсик, точно обретя второе дыхание, начинал ласкать и тормозить ее — с тем чтобы поделиться внезапно пришедшей ему в голову мизансценой или новой идеей. И Нюта вставала, зевая и пошатываясь со сна, приносила бумагу, ручку. Послушно записывала его соображения и мысли, которые он утром будет нещадно критиковать, а Нюта, наоборот, отстаивать. Хотя ночью они казались ей полным бредом, потому что, диктуя, он поглаживал и распаллял ее, словно черпая силу во вновь нарастающем в ней желании. Она машинально, не вникая, писала ничего не значащие для нее слова, вздрагивая от его прикосновений и стараясь ускользнуть от его рук. И эта игра еще больше подстегивала Нюсика. Он бегал голышом взад-вперед по их тесной спальне, стараясь каждый раз, словно невзначай, коснуться ее чувствительных местечек, и сыпал задумками. Спустя какое-то время Нюта с гордостью и изумлением узнавала их, уже претворенными в жизнь. Но особенно дорожила, когда читал ей свои новые стихи, как бы проверяя их звучание. И тут Нюся, ошалевшая от накала страсти, случалось, вдруг приходила в себя. Что-то срабатывало в ее сознании, она начинала здраво, строго судить, отмечая тяжеловесность или неточность выражения. Он безропотно соглашался, даже иногда приходил в восхищение, хотя через несколько дней мог, словно ненароком, и подковырнуть ее за это. Она понимала, что это их самые счастливые минуты. Томясь, гася в себе желание, терпеливо ждала, когда он, наконец, выхватит бумагу из ее рук, швырнет на пол. И они начнут творить «бэсаму», заводя друг друга. Ради всего этого готова была терпеть его придирки, требование иметь ее под рукой в любую минуту дня и ночи, необоримое желание внушать окружающим, включая саму Нюсю, что он вольная птица.

Погруженная целиком в жизнь Нюсика, она часто себя ловила на мысли, что уже который день не виделись с Аленой. С той поры как дочь поступила в школу для одаренных детей, она окончательно переехала к Наталье Петровне, чей дом был всего в квартале от школы. Нюсик считал это разумным — их ведомственная квартира была в районе новостроек, от нее до центра было не меньше часа езды.

«И потом, в присутствии ребенка будет не “бэсама”, а тихая пододевальная возня», — внушал он Нюсе. А она, отчаянно скучая по дочери и грызя себя за предательство, спорила с ним. Вечером, если не было спектакля, Нюся названивала Алене по телефону, пытаясь на расстоянии

вникнуть в ее жизнь. Но в разговор ревниво вклинивались то Наталья Петровна, то Нюсик. Едва намечающаяся близость между ней и дочерью сразу гасла, все сводилось к обмену ничего не значащими словами.

Когда Алене исполнилось четырнадцать, Нюту письмом вызвали в школу. Она бродила по знакомому с детства вестибюлю, дожидаясь конца урока, а потом ее пригласили в учительскую. И тут Нюте открылось то, что от нее скрывали больше года, — абсолютная непригодность Алены для балета. Вступив в переходный возраст, дочь начала превращаться в широкобедрую и полногрудую восточную женщину, назначением которой должна была стать не эфемерная, а реальная жизнь с ее циклами, зачатиями и родами.

Это коварство неистребимых семитских генов, которые, маскируясь и дожидаясь своей поры, дремали в шуплом детском теле Алены, потрясло Наталью Петровну. Но она не сдалась. Благодаря ее хлопотам и стараниям окончательное решение отложили на год. Были назначены диета, специальные упражнения, массаж. Но все оказалось впустую. Природа брала свое. В порыве отчаяния Наталья Петровна начала настойчиво склонять внучку то к музыковедению, то к хореографии. Но тут Алена проявила характер, твердо взяв линию на общеобразовательную школу. И поставила перед собой новую цель — наверстать дотоле упущенные радости жизни.

В отличие от Натальи Петровны, Нюсики к резкой перемене в судьбе дочери отнеслись спокойно и даже вздохнули с облегчением. Нюсик балет не понимал и не любил. Считал его слишком вычурным, отживающим свой век видом искусства, а самих балерин худосочными и манерными. Другое дело танцы! Что до Нюси, то она с самого начала была не в восторге от материнской затеи, считая, что для женщины семейная жизнь и балет несовместимы. В память о балете у Алены остались желание повидать другие страны, несколько странная походка с вывороченными ступнями, прямая спина и неудержимое стремление быть на виду. Нюта начала со страстью обшивать ее, словно беря реванш за те балахоны, которые во времена своей молодости вынуждена была носить по указу Натальи Петровны. Белокожая в Нюту, с большими семитскими карими очами, Алена теперь без устали выплясывала на школьных вечерах, при этом юбки-годе обвивались вокруг ее стройных ног, которые сводили с ума как старшеклассников, так и молодых учителей. Мать била во все колокола, но Нюсикам в ту пору было не до Алены.

2

Еще в середине восьмидесятых Нюсик написал на обороте счета из прачечной:

Мы все — лишь пленники времен.
Эпоха властвует над нами.
Как враг вторгается в наш дом
И топчет жизни сапогами.

И вот за это «топчет жизни сапогами» Нюся клевала его: «Во-первых, глупо и неосторожно записывать мысли где попало. Во-вторых, чего, собственно говоря, не хватает?» Они проживали в ту пору счастливое время, когда их отношения вошли в накатанную, но не опостылевшую колею и в театре у Нюсика все ладилось.

— Ты просто манерничаешь, — нападала она, — играешь в мировую скорбь.

— Но я так чувствую, — неуверенно оправдывался Нюсик.

И эта неуверенность ее почему-то очень тревожила. За те годы, что прожили вместе, привыкла к его напористости, категоричности.

А тут грянул канун девяностых. И вдруг то, что вчера казалось неизбежным, начало рушиться на глазах у всех. Происходящее смахивало на камнепад в горах. Вначале у подножья зашуршали мелкие камешки, за ними покатались покрупнее. А следом неудержимо, стремительно загрохотали глыбы. И никому уже не под силу было это остановить, хотя многие желали. И даже была попытка вооруженного мятежа. Вот тогда Нюсе вспомнились проклятые топчущие сапоги и она с суевренным страхом подумала о Нюсике: «Накаркал!» Правда, все дальнейшее походило на неудачный спектакль. Толпа, вырвавшись на улицы, без репетиций, но, как всегда, достоверно, сыграла героический свободолюбивый народ. И лишь единицы понимали, что не каждому будет суждено уцелеть, выбраться невредимым из-под обломков империи. Как и предполагается массовке, после своей мизансцены она разошлась по домам. С тем чтобы зачинать и рожать детей для грядущего, зарабатывать хлеб насущный и умирать — кто от болезней, кто от старости. А кто от неразделенной любви к минувшему или от несбывшихся надежд. Смерть не вникает в эти тонкости.

Кукольный театр, где работали Нюсики, кипел и бурлил, обезумев от свободы.

И даже решили свергнуть Жмэню. Состоялся тайный сабантуй, на который были приглашены все, кроме Жмэни. За исключением Нюсиков, труппа собралась в полном составе. Пили молодое душистое молдавское вино, закусывали пахнущими степью пунцовыми помидорами, плавлеными сырками и черным ржаным хлебом с чуть кисловатой корочкой. Много, по-актерски преувеличенно, горячо витийствовали о новой жизни. И хоть все уже с месяц говорили, что лучшей кандидатуры, чем Нюсик, не найти, решено было проголосовать и составить протокол.

На переговоры с новым диктатором Нисоном Вольфсоном вызвался ехать весь коллектив. Но администратор Паша настоял на своем и поехал один. Под пристальным взглядом Нюси, кутающейся в купальный халат, он аккуратно пошаркал подошвами ботинок о половик. Когда в прихожую вышел Нюсик точно в таком же халате, с легким укором выпалил:

— Почему не пришли?

И смутился: «Вот так раз! Похоже, я их вытащил из постели!» По театру гуляла легенда о безоблачной супружеской жизни Нюсиков. И Нюся сознательно усиленно культивировала ее, тем самым как бы закрепляя право собственности на Нюсика. Паша с завистью подумал о том, что одним Бог дает все, а другим — ничего. В ту пору он разводился со своей второй женой — заведующей пошивочным ателье, которая на проверку оказалась такой же жмотиной и стервой, как первая — товаровед универсама.

Ни на секунду не забывая о цели своего прихода, слегка захмелевший Пашка торжественно, и даже с долей некоего подобострастия, провозгласил начало новой эры в жизни театра:

— Нисон Давидович, народ единогласно за тебя. Завтра можешь приступать.

Он рассчитывал, что на него обрушится шквал радости. Но Нюся, выразительно посмотрев на часы, выглянула в окно и деликатно напомнила — внизу ждет такси. После ухода Пашки отключила телефон, закрыла дверь на цепочку и вошла в спальню:

— Давай доругиваться, — решительно сказала она.

Но Нюсику не улыбалось смаковать и копаться в их споре. Ну, не пустила она его на это сборище — и черт с ним. Действительно, как-то позорно и неловко за спиной Жмэни спихивать его с престола. Да, она права, это ему не нужно. Его дело — творчество. Всё! Забыли! Хотелось заключить почетный мир. В ознаменование своей победы на выборах выпить немного вина, потому что, как ни крути, а лестно — тем более, что единогласно. Подурачиться, сотворить грандиозную «бэсаму» и уснуть. А завтра явиться в театр, в торжественной обстановке, прилюдно отказаться от короны и потом, наедине, принести извинение Пашке, которого они так бессовестно спровадили, даже не налив полагающуюся по такому случаю рюмашку. Он не стал говорить Нюсе о своем решении, тем более каяться. Это было не в его правилах. Следуя намеченному плану, начал стаскивать с нее халат, добродушно бормоча:

— Баиньки, баиньки. Поезд ушел. Ты опоздала с последней репликой. Сейчас будешь доругиваться со стенкой.

Но она грубо оттолкнула его:

— Твой Пашка мошенник и вор. В каких гостиницах размещает нас на гастролях?! Какие билеты покупает на поезд?! Ты нужен ему для прикрытия, он знает, что, ни черта не понимая в делах, ты будешь подмахивать бумаги не глядя. Вот и лебезит перед тобой. А Жмэня его держит в кулаке, оттого он вас все время и ссраливает!

Услышав это, Нюсик вначале опешил: она посмела замахнуться на святое, на его дружбу с Пашкой! Потом что есть силы швырнул ее на кровать. Ни слова не говоря, схватил свою подушку и ушел спать в другую комнату.

На следующее утро Нюся, как обычно, позвала его к завтраку. И он, стараясь сделать вид, что вчерашнее забыто, посмотрел на кухонные ходики и, как всегда, скомандовал:

— Через десять минут выходим!

Но про себя решил в дальнейшем ни в коем случае не обсуждать с ней никаких серьезных дел и вообще держать на коротком поводке, потому что совсем распустилась. Придя в театр, отозвал Пашу в сторону и сказал свое решительное «нет». И чтобы как-то подсластить эту жизнь, а заодно поставить Нюсю на место, стал напропалую приударять за своей новой ассистенткой, неповоротливой молодой дурехой. Но Нюся не стала, как всегда, залиристо хихикать, чтобы всем показать, как она дико рада, что ее муж такой неутомимый плейбой. Она просто повернулась и ушла. И этим испортила ему всю игру, потому что ассистентка уже порозовела от нежданно свалившегося на нее счастья и, кокетничая, начала блудливо косить глазами. Нюсик, как было заведено у них, должен был незаметно подтолкнуть Нюсю локтем, чтобы она непременно отметила это в «карманнике». Так называли они маленький блокнотик, который она безропотно таскала в своей сумочке и где бисерным четким почерком описывала смешные жесты и гримасы. В нужный момент он примерял их к тому или иному герою, как примеряют платье. Таких блокнотиков уже набралось с полдюжины. И вот теперь из-за бабских капризов упущена такая деталь! Вечером, чтобы проучить ее, снова улегся спать в другой комнате, надеясь, что Нюся к нему придет с повинной. Но она сделала вид, что не замечает его отсутствия в супружеской постели. И тогда решил, что благоразумней замять эту историю. Раздевшись до носков и водрузив на голову медный таз для варенья, пришел в спальню и сказал:

— Гражданка, перед вами пожарный инспектор. Я обязан проверить имеющуюся у вас в наличии пещеру Аладдина на предмет ее возгорания.

И хоть они смеялись чуть не до колик и долго вспоминали его выходку, а пещера Аладдина отныне заняла свое достойное место среди понятных лишь им одним словечек, однако в отношениях появилась трещинка, о которой не хотелось ни думать, ни вспоминать.

Вскоре Нюсик, урывая время у сна, начал корпеть над пьесой «Изгнание из рая», что держал в строжайшей тайне от всех, даже от жены. Но по клочкам исписанной бумаги, на которые она натыкалась то здесь, то там, Нюся поняла: затевается нечто грандиозное. Действительно, им был задуман спектакль с двумя напольными куклами, Адамом и Евой, в полный человеческий рост. Ночами, углубляясь в свой призрачный мир, он ясно видел их — наивных, неискушенных, вслепую нащупывающих путь к наслаждению под пристальным взглядом зрителей, которых в ту пору в Эдеме было раз-два и обчелся. Вникая в характер выдуманного им героя, он словно прояснял для себя свою собственную натуру. Втайне робкий и нерешительный, Адам так старательно изображал забяку и храбреца, что это превращалось в его второе я. Глядя в глаза глупышки Евы, играющей от скуки своими грудями, ощущал собственную значимость и неповторимость единственного мужчины на свете.

Написав вчерне первое действие, Нюсик никак не мог решиться на читку, зная, что Нюся выпечена из того же теста, что Белинский и Добролюбов. В ней изредка проявлялась эта сторона ее натуры: бескомпромиссность, скрупулезность и въедливость. Но «Рай» буквально выпирал из него, Нюсик засыпал и пробуждался с мыслями о нем. Иногда даже говорил репликами героев, играя голосом и переходя с грубого баса Адама на Евино контральто. И Нюся, заинтригованная, лестью вынудила его на читку. Но дойдя до конца, он пожалел о своей слабости. Хотя Нюся постаралась смягчить свой приговор вопросительной ноткой:

— Тебе не кажется, что это перепев «Потерянного рая» Милтона?

— У каждого свой рай, — самолюбиво отрезал Нюсик и тотчас переревел разговор в другое русло, — ты можешь сделать аранжировку «Бэса ме мучо»? Я хочу использовать ее в спектакле.

Эта идея пришла ему в голову сию минуту, и он посчитал ее удачной.

— Все понятно, — саркастически ответила Нюся, которую охватила ярость при мысли, что он, в угоду своим амбициям, готов превратить их спальню в зрительный зал. — Итак, это история проститутки и моряка, место действия — портовый бордель «Эдем» на улице красных фонарей. Но я не поняла, в чем интрига? Его корабль должен вот-вот отвалить от пристани или он не может наскрести пару монет еще на одну ночь? — и, не давая мужу сказать ни слова, добавила: — Кстати, я давно хотела тебе сообщить, что это не аргентинское танго, а мексиканская песня — лавстори, в которой мужчина боится, что возлюбленная захочет его покинуть, и страстно умоляет ее о поцелуе.

— Ты как была, так и осталась высокомерной дурой! — выкрикнул Нюсик и, побелев от гнева, выскочил из квартиры, громко хлопнув дверью.

Нюся с ужасом подумала, что это конец. Но он вернулся. И она, пытаясь загладить свою вину, писала вокруг него круги. Нюсик делал вид, что ничего не случилось, но «бэсама» стала нечастой гостьей в их жизни. Нюся, по своему обыкновению, молча страдая, начала его подозревать. Однако все выглядело естественно — ему было не до того: ночами на кухне он упрямо дописывал пьесу. А Нюсю физически тяготило ее соломенное вдовство. Эту сторону своей натуры она считала постыдной и скрывала от мужа, как могла. Он то ли не замечал, то ли не хотел вдаваться в причину ее раздражительности и бледности. К тому же о какой «бэсаме» можно было вести речь, когда теперь с ними жила Алена?!

После горячей закадычной дружбы с внучкой Наталья Петровна с ней вдруг рассорилась. Не просто рассорилась, а разочаровалась и, спустив с небесных высот, выговорами, замечаниями, как когда-то Нюсю, начала подгонять Алену к земным стандартам. Заодно обрушила свой гнев и на Нюсиков — как на никчемных родителей. Все кончилось страшным семейным скандалом. И никто из них не мог взять в толк, что творится. Почему разлад, царящий в империи, начал разрушать их театр, а теперь докатился и до семьи.

В театре, действительно, творилось нечто невообразимое: разделившись на группировки, все начали склоничать и враждовать между собой. Были собрания, на которых ничего нельзя было решить, потому что каждый тянул одеяло на себя. Жмэня то и дело вскакивал, кричал сорванным голосом: «Хлопцы! Не губить театр!» Он совсем издергался от этой неразберихи, в которой вдруг оказался мальчиком для битья. Все группировки были единодушны только в одном: «Жмэня ни к черту не годится». Нюся попыталась вступить, но ее никто не хотел слушать. И Жмэня добровольно согласился уйти на пенсию, тем более что пришло время, ему стукнуло шестьдесят. Но не в силах окончательно порвать со своим детищем, устроился помощником декоратора. Вместо него директором выбрали Пашу.

Нюсик ни во что не вмешивался, он пробивал свою пьесу. По сравнению с прошлыми временами это оказалось относительно несложно. Исчезли рогатки и препоны. Все упиралось только в деньги, театр грозил отлучить от груди кормилицы-власти. А труппу буквально разрывали на части. Каждый вечер при полном аншлаге шли спектакли для взрослых: «Швейк», «Дон Кихот», «Кармен». Осаждали с приглашениями на гастроль. И народ во главе с Пашей решил, что собственный кошт им будет только на руку. Хватит кормить чиновников и всякую шушеру!

В это смутное время Нюсик пришел к Паше подписать заказ на изготовление кукол — Адама и Евы. После многих мытарств и поисков нашел, наконец, фабрику, которая готова была взяться за дело. Увидев сумму, проставленную в договоре, Паша схватился за голову: «Откуда взять такие деньги?!» С той поры как занял кресло Жмэни, его точно подменили. Вечно озабоченный и рассеянный, он все время где-то пропадал. В театре появлялся лишь в дни зарплаты. Случалось, собрав всех, начинал многословно объяснять:

— Везде сплошной обман, платежи от гастролей задерживают, инфляция все сжирает. Нужно потерпеть, затянуть ремни — выплата будет через пару недель.

Нюсика это мало касалось. Хозяйственными делами ведала Нюся, он в это не вмешивался. Так сложилось в их совместной жизни — финансы оказались в ее руках. Хотя все начиналось с того, что Нюсик, не выпуская семейный кошелек из-под своего контроля, на первых порах наставлял ее и даже потребовал вести тетрадь расходов. Этот совет он случайно вычитал в какой-то газетенке. И Нюся подчинилась. Разграфив ученическую тетрадь, аккуратно вписывала в раздел еда: «хлеб — 18 коп., молоко — 25 коп». И тут же — «торт ореховый — 2 руб. 40 коп., вино — 3 руб. 15 коп.». Против торта и вина стояла маленькая закорючка «Ню», что указывало: покупка сделана Нюсиком. В конце месяца, когда не на что было купить ни хлеба, ни молока и Нюсик, горя праведным гневом, с возмущением вопрошал, куда девались деньги, она показывала ему итоговую цифру расходов, полностью совпадавшую с приходом. Вскоре эта бухгалтерия ему наскучила, в результате чего зарплаты, премии, командировочные, гастрольные — стали стекаться к Нюсе, с тем,

чтобы потом львиная часть их ухала в ненасытную утробу — хозяйственные расходы, а остаток растекался по трем руслам: Нюсик, Алена и Нюся. Нюсин ручеек был самым мелководным и прерывистым. Для себя она вечно что-то перешивала, перекраивала, довязывала, чем вызывала раздражение Нюсика: «На что ты тратишь время?! Неужели нельзя пойти в магазин и купить?» Она отговаривалась скудостью ассортимента, нежеланием стоять в очередях, нестандартностью своей фигуры — осиная талия при пышном бюсте. Находя десятки уверток, умудрялась скрывать простую истину — при самой свирепой экономии и ее хозяйственно-кулинарных ухищрениях их заработков едва хватало на необходимое. Любая мало-мальски крупная покупка, как-то: зимняя обувь или одежда — пробивала брешь, которую латала, занимая до полочки у матери. Нюсик в это не посвящался. Деньги были вне сферы его интересов. А она старалась не досаждать ему скучными мелочами бытия. Если иногда случались левые концерты, то была категорически против, строго выговаривая при этом, что грех ему растрчивать себя по мелочам. Вот почему Пашины зигзаги с зарплатой Нюсика не очень трогали. Но когда тот отказался подписать заказ на кукол, стал на дыбы:

— Пашка, ты — говенный хозяйственник, — на правах старого друга бесцеремонно, подковырнул Нюсик, — давай попросим Жмэню, пусть поможет разобраться. Все равно околачивается без дела.

Паша укоризненно покачал головой, подмахнул бумагу, поставил печать и сказал:

— Ты клюешь мне печень.

Однако год выдался неудачным. Фабрика бессовестно затянула изготовление кукол, и премьера откладывалась на неопределенный срок. По настоянию Нюсика были распределены роли и даже начались вялые репетиции, но прежнего накала не было. Театр начал потихоньку хиреть, нищать, разбредаться. И Нюсик впервые почувствовал себя не у дел.

Весной Алена без особого напряжения окончила школу, и он решил: пора проявить твердость.

— Что ты собираешься делать дальше? — как можно строже спросил Нюсик.

Алена на миг оторвалась от зеркала, глядя в которое пыталась соорудить новую прическу из таких же пышных кудрявых черных волос, какие в молодости были у отца, и сказала рассеянно:

— Выйду замуж, и мы уедем в Америку или в Израиль, а может быть, в Австралию. Еще точно не решили.

— Не решили? — растерянно переспросил Нюсик.

— Папа, у нас есть выбор! — с легким раздражением ответила она, но тут же подскочила к отцу и, положив ему руки на плечи, запела: «Дальние края, дальние края. Едем за туманами и ты, и я».

Пританцовывая, потащила за собой Нюсика. Подстраиваясь под ее темп, он думал о том, что балет дал ей не только стальную сильную спину, но такую же волю. И что бы он ни сказал, она сделает по-своему.

Через неделю Алена пришла с симпатичным молодым пареньком. Он, пыжась от гордости, обстоятельно рассказал о своей родне, рассеянной по всему свету. О том, что фактически семья сидит на баулах, и если бы не эта история с Аленой, то уже давно снялась бы с места. Но все можно сделать в темпе фокстрота: расписаться, оформить документы. Для его родителей это не проблема. Единственная остановка — за разрешением на выезд для Алены, которое они должны подписать. И Нюсики безропотно подписали бумагу о том, что не будут препятствовать выезду дочери за границу. После этого Алена наскоро собрала кое-какие свои вещички и заметалась было в поисках свежей пижамы. Но мальчик сказал:

— Да на кой черт она тебе нужна?

Едва за ними захлопнулась дверь, как Нюся безутешно, навзрыд заплакала. Нюсик принялся хорохориться, говорить, что все это не страшно и не следует делать из пустяка трагедии. Ему хотелось ее отвлечь, утешить. И он шепнул:

— Нюсенок, хочу бэсаму.

Но оба думали об одном и том же — на другом конце города их Алена и этот мальчик лежат в одной постели и любят друг друга. И когда поняли, что никакой «бэсамы» у них сегодня не получится, крепко обнялись, почувствовав себя вдруг сразу постаревшими.

Через несколько месяцев Алена с мужем, окончательно сделав свой выбор, уехали в Нью-Йорк.

Ближе всего к сердцу этот отъезд воспринял Нюсик. Не находя места, слонялся из комнаты в комнату. Все валилось у него из рук. И едва телефон начинал издавать прерывистую трель, что бывало только при звонках из-за границы, как он тотчас хватал трубку. Алена обычно начинала с одной и той же фразы: «Ну, что вы решили?» — припирая родителей этим коротким вопросом к той грани, через которую им было не под силу перешагнуть.

А Нюсикам и без того было тошно. О чем бы теперь ни заходил разговор, все сводилось к одному: ехать или не ехать? Но Алена из раза в раз долбила свое: ей одиноко, она дико скучает. При этом голос ее дрожал и рвался. И когда Нюся пыталась урезонить, объясняя, что папа не может бросить театр, Алена кричала через океан:

— Рано или поздно ваш театр окончательно развалится. Вы тянете время. Я знаю — это папина блажь, а ты ему всю жизнь потакаешь.

Рассказывая о своих делах, Алена хорохорилась, рапортовала об умопомрачительных заработках и успехах. Как и планировала в детстве, ей удалось выйти в первый ряд кордебалета. Но где она танцует, не говорила, и едва Нюсики начинала напирать, как тотчас жаловалась на плохую слышимость и прощалась. Сами они звонить ей не могли, потому что деньги в одночасье обесценились, зарплату месяцами не платили и на магазинных полках было аскетически пусто.

Это был момент исторического равноденствия, когда старое уже рухнуло, а новое еще не родилось. Театр к этому времени разорился, но

перед этим Нюсик все-таки получил с фабрики свою Еву, ростом чуть ниже его. С округлым нежным лицом, полногрудая, с осиной талией, тонкими лодыжками и стройными ляжками — она удалась на славу. Руки у нее сгибались в локтях и плечах, ноги — в коленях и паху. Что до Адама, он бесследно исчез. И когда Нюсик стал разбираться в бумагах, то оказалось, что заказ на него был аннулирован. Кем и когда, установить не удалось, потому что Паша Лопатин, никому не сказав ни слова, внезапно уволился из театра. Вскоре прошел слух, что уехал в неизвестном направлении. Одни говорили — в Израиль, другие — в Америку. Хотя вроде в тех краях у него никого никогда не водилось. Вся родня его обреталась то ли в районе Пензы, то ли Рязани.

На смену Паше опять позвали Жмэню. И он пришел как ни в чем не бывало, начал править, ни на кого не держа зла. В эту пору городскому зрителю, думающему о хлебе насущном, стало не до зрелищ. Проявляя изобретательность и самоотверженность, Жмэня мотался по деревням — весям, уговаривая прижимистых, несговорчивых крестьян на одно-два представления. Иногда ему это удавалось, и тогда остатки труппы садились в старый театральный автобус и ехали в какое-то захолустье, где, наскоро отыграв, поспешно грузились в тот же автобус, с тем чтобы засветло попасть домой. На обратном пути все лихорадочно-оживленно поглядывали на узкий проход между сиденьями, где стояли тугие мешки с картошкой, мукой, свежей свиной тушей, пахнувшей кровью и паленой щетиной. Это был их гонорар, который тот же Жмэня методично, поровну, не принимая во внимание заслуги и регалии, делил между всеми. Но платить за аренду и отопление театра было нечем.

Зимой, в морозы, лопнули отопительные трубы, вздыбился паркет, пришла в негодность большая часть декораций и кукол. Рано утром Нюсикам позвонил вахтер, и когда они примчались в театр, то увидели убитого горем Жмэню, вылавливающего из мутной жижи то, что можно было еще спасти. Вынув Еву из футляра, Нюсик чуть было не расплакался. С ее лица исчезли брови и розовый румянец, а волосы повисли спутанными прядями. «Можэ, визьмитэ до сэбэ? Воно усе ривно сгные», — Жмэня умоляюще смотрел на Нюсиков. Они уложили все в коробки и отвезли домой. Нюсик натянул веревки везде где мог и развесил на них кукол.

Неделю в квартире стоял удушающий запах сырости, подвала, но Нюся стоически терпела. Они еще на что-то надеялись, но вскоре театр закрыли. Нужно было выживать. Нюся стала искать уроки пения и музыки в частных школах и детских садах, которые только-только начали открываться, а то и просто на дому. Моталась целыми днями по городу, она приходила обессиленная, садилась в прихожей на маленький, еще Аленин стульчик и бросала вопросительно-испуганный взгляд на Нюсика: «Звонила?»

От дочери не было никаких вестей около месяца. Нюсик тоже не находил себе места. С той поры как театр закрыли, он почти не выходил из дома и, чтобы заглушить тоску и занять себя, целыми днями возился с куклами, перебирал свои рукописи, приводя все в порядок.

Наконец, решено было звонить самим. Нюся несколько раз набирала номер, в ответ женский голос что-то невнятно бормотал на чужом языке. Слышимость была отвратительная, в трубке все время пощелкивало. Империя рухнула, но ведомство, в прошлом отвечающее за нравы и настроения, все еще действовало.

— С ней что-то случилось, — обреченно сказала Нюся, — это мне кара за то, что я была плохая мать.

Нюсик тряхнул ее за плечи и заорал:

— Дура! Прекрати панихиду! Ты накличешь на ребенка беду!

Как ни странно, но именно теперь, когда Алена выросла и стала жить своей взрослой жизнью, его не переставая когтила тревога за дочь. Конечно, Наталью Петровну берегли и в курс этих дел старались не вводить, отделиваясь общими фразами: «У Алены все в порядке», «Работает, учится». Но она тоже начала тревожиться.

А в конце лета неожиданно объявился Пашка Лопатин, который, оказывается, обретался тоже в Нью-Йорке по соседству с Аленой. И когда Нюся удивилась такому совпадению, Паша покровительственно засмеялся:

— Ха, вы не знаете, что такое наш Санкост. Русские уже лет двадцать, как захватили этот район. Мы там, как сельди в бочке, тремся друг о друга целыми днями.

Он привез письмо от Алены, в котором она сообщала телеграфным стилем, что свекровь у нее оказалась стерва, а муж — слюняй и бездельник. «Но я расплевалась с ними. Теперь — вольная птица, — писала она таким же скверным неразборчивым почерком, как у Нюсика, — работаю на нескольких работах. Собираю деньги, чтобы перетащить вас сюда. Остальное узнаете у дяди Паши. Жду вашего приезда. Целую. Скучаю».

— Что за работы? — спросила Нюся с дрожанием в голосе.

Пашка принялся перечислять, отгибая один за другим пальцы, начиная с мизинца, украшенного золотым перстнем:

— Русский ресторан. Днем работает герл-бас: убирает посуду, накрывает столы, а вечером пляшет в подтанцовках. По понедельникам, когда ресторан закрыт, подрабатывает в танцевальном клубе в Манхэттэне.

Заметив, что у Нюсиков вытянулись лица, накинулся на них:

— Чистоплюи! Привыкли, что здесь вас и кашкой накормят, и на горшок посадят. А там, если чего-то хочешь достичь, нужно крутиться.

Он сильно изменился за эти несколько лет. Стал резким, самоуверенным. И со всеми, даже с Нюсиком, говорил свысока, чего раньше за ним не водилось. По случаю его приезда организовали сабантуй, хотя трупна уже два года не собиралась. Все расспрашивали об Америке.

— Главное, не растеряться и найти свое место у этого громадного пирога. Богатейшая страна, — хмелея от общего внимания, рассказывал Пашка, — у меня уже есть свой бизнес. — Он вытащил из кошелька визитку, и она пошла по рукам. — Компания называется «Пол Арт», — солидно пояснил он, — Пол — это по-нашему значит Павел, арт —

искусство. Вообще-то я приехал за лоскутными одеялами, домоткаными половиками и деревянными ложками. Втюхаю американцам за сумасшедшие деньги, это у них нынче в большой моде. Они все отмороженные. Швыряют долларами направо, налево. У них денег — куры не клюют. Если пошастать вечером по улицам, то на свалке можно подобрать мебельный гарнитур, телевизор, а иногда и холодильник.

Слушая Пашку, народ восхищенно и недоверчиво ахал. А Таня даже всплакнула. Она давно жила без холодильника — старый испортился, а на новый не было денег, и продукты, как во времена ее детства, держала за окном в авоське. Женщины с восторгом смотрели на Пашку. Вальяжный, самоуверенный, пересыпал свою речь непонятными словами: мани, рент, гарбич². Им казалось, что он человек из другого мира. Но тут подвыпивший Жмэня стал нехотать цепляться к Паше со старыми счетами и недостатками. На Жмэню начали шикать, он обиженно умолк. После этого всем стало стыдно и неловко, как опозорившимся бедным родственникам.

— А кукольный театр там есть? — перебил тягостную тишину Нюсик.

И Пашка, утверждавший до этого, что в Америке есть абсолютно все, что имеет место быть на этом свете, удивленно посмотрев на него, хлопнул себя по лбу:

— А ведь это идея! У них только маппетс, — снисходительно пояснил: — это марионетки на пальцах, — и тут же сделал деловое предложение: — приезжай. Мы с тобой сделаем хорошие мани. Я сниму зал на Бродвее. Яблоку негде будет упасть.

Так Пашка бросил гирию на чашу весов с надписью «ехать». И хоть Нюся все еще колебалась, но Нюсик уже был настроен решительно:

— Хуже, чем здесь, не будет! Все равно год сижу без работы. — И даже начал строить радужные планы: — Заработаем денег и махнем в отпуск в Париж.

Эта была его идея фикс увидеть Нотр-Дам и Монмартр с когда-то известным Мулен Гатэ, где в начале века процветал знаменитый театр теней.

Оставалось уломать Наталью Петровну, что, к их удивлению, оказалось делом нетрудным.

— Хоть мир повидаю на старости лет! — восторженно воскликнула она и начала распродавать статуэтки, настенные тарелочки и библиотеку.

Когда вскоре Нюсики навестили ее, то увидели сиротски-голый книжный шкаф, ободранные стены. Наталья Петровна, обычно всегда шеголеватая, нарядная, ходила по холодной, опустевшей квартире в валенках и старой кацавейке. Так их семья вступила в новую полосу жизни, которая проходила под лозунгом: «Все продадим и станем миллионерами».

В ту пору рублей уже не существовало. Счет шел на тысячи. Нюсик, как всегда, в финансовые дела не вникал. Главным для него были его куклы и футляр с Евой. Чтобы их вывезти, бегал по учреждениям, пла-

² Деньги, плата за квартиру, мусор.

тил грабительские сборы, хотя предусмотрительный Жмэня еще той зимой, когда прорвало трубы, оформил бумаги на списание.

В последнюю ночь перед вылетом Нюся решила еще раз перепаковать один из баулов. Но Нюсик, притянув ее к себе, сказал:

— Сейчас мы устроим нашу последнюю «бэсаму» под этой крышей.

Она недоуменно посмотрела на него и вдруг осознала — завтра начнется новая жизнь. И нужно прощаться с пятном на потолке от новогоднего шампанского, со стенами в мелких дырочках от гвоздей для картин и с обоями в спальне, испещренными мелкими уже выцветшими и оттого едва приметными букетиками роз, которые возникали вновь на том месте, где когда-то стояла кровать. Самой кровати уже не было, она была продана, как и вся остальная мебель, и они расположились на полу. Не было и стаканов. Вино пили по очереди прямо из горлышка. А в полночь погасла под потолком голая, без абажура, лампочка — город давно жил в режиме строгой экономии. При свете луны они сотворили «бэсаму». А потом, обнявшись, любовались через незанавешенное окно тополем, вымахавшим у них на глазах за эти годы выше их пятого этажа.

— Это «бэсама» нашей печали, — сказал Нюсик.

Нюся принялась его смешить, обещая в первый же отпуск в Париже отпустить одного на площадь Пигаль, прославившуюся на весь мир своими публичными заведениями, а потом будут Амстердам, Генуя с их портовыми кабачками. Да мало ли в этом мире мест, где можно, потягивая вино, любоваться красивыми, страстными женщинами. Хотя ей хотелось не паясничать, а броситься на пол и завывать по-бабьи от тоски. Он как-то вяло отозвался на ее шутку. А когда улеглись и поцеловались на сон грядущий, оба почувствовали привкус солоноватой влаги на губах, и каждый подумал, что это его слезы.

На другой день Нюсики, навьюченные баулами и коробками, слились с толпой новых вольноотпущенников, разбредавшихся по всему миру в поисках счастья. Казалось, от эпицентра внезапно рухнувшей империи расходятся необозримо-широкие круги, назначение которых будоражить полусонные, благополучные страны и вливать в их вены свежую, жизнестойкую кровь эмигрантов.

3

...Прохлада вестибюля приятно холодила лица. Солнечные лучи, просачиваясь через стекла витражей разноцветными мазками, не жгли, а лишь безобидно пятнали мраморные плиты. Нюсики, словно по уговору, стараясь не наступать на эти пятна и, как в молодости, взявшись за руки, подошли к двери квартиры, гостеприимно распахнутой агентом. В комнатах царил полумрак. Свет едва пробивался сквозь узкие щели спущенных жалюзи.

— Это то, что вам нужно, — уверенно сказал агент и защелкал выключателями. Тотчас заурчал холодильник, зашелестели кондиционеры,

вспыхнул свет, — числится как квартира с одной спальней. Но если повесите здесь легкую шторку, то выйдет прекрасная комнатка для машины, — и, заметив их нерешительность, добавил: — Я вас не уговариваю. Эта квартирка за такую цену у меня уйдет сегодня же. Ну, так что решаете? — спросил агент и глянул на часы. — Давайте сделаем так, — он задумчиво посмотрел на Нюсика, — вы идите, подумайте. Ко мне сейчас сюда должны придти другие люди. Вы же понимаете, мы с Бэлл не чужие, но бизнес есть бизнес. Я не могу держать для вас эту квартиру, хоть она и трезвонит мне по три раза на день и умоляет срочно что-нибудь подыскать. Вы, кажется, у нее остановились?

Нюсики и Наталья Петровна сконфуженно переглянулись. Они уже больше недели ютились у Пашки. И все трое, особенно шепетильная Нюся, чувствовали себя крайне неловко.

По плану их должна была встретить Алена. Однако за месяц до отъезда, когда уже были получены паспорта и куплены билеты, она позвонила и, задыхаясь от счастья, сообщила, что уезжает на гастроли по Америке. Танцевальная группа «Герлс» с ней подписала контракт на два года. Конечно, кабала: без праздников, без выходных, каждый день до обеда репетиции — и все время на колесах. Но это неслыханная удача! А ведь когда шла на просмотр, то ни на что не надеялась. Но в Америке протекция многое значит. За нее замолвила словечко Роз. Американка из танцклуба в Манхэттене. Та самая, которая однажды пригласила на ланч. Ее родители родом из нашего города.

Ошарашенная Нюся робко спросила: «А как же мы?» Алена зачастила в трубку:

— Не беспокойтесь! Вас возьмут под крыло дядя Паша и его новая жена Бэлл. Она страшная пройдоха, знает всё и всех. Я буду звонить каждый день. В этой стране пропасть невозможно, конечно, если не хлопать ушами.

Действительно, Пашка встретил их в аэропорту и привез к себе на квартиру. Дверь им открыла Бэлл, хрупкая холеная женщина с капризным выражением лица. И едва они втащили баулы, как тут же позвонила Алена:

— Прилетели? Все благополучно? Пока! Сейчас мой выход!

После суматохи сели за стол. Паша, сразу взяв на себя роль тамады, поднял тост за их новую прекрасную родину.

— Вы сделали правильный выбор, — торжественно сказал он, — главное в этой жизни оказаться в нужном месте и в нужное время.

После третьей рюмки вдруг загорелся идеей показать зал для спектакля:

— Поехали, — настаивал он, — нужно быстрее внести оплату.

Нюсик было уже поднялся, но Нюся, потянув его за локоть, усадила снова за стол. Ей с трудом удалось уговорить отложить это дело и снять вначале квартиру.

— Мы даже не представляем, во сколько нам обойдется жилье, — пламенея от смущения, оправдывалась она.

— Ну-ну, как хотите, — сразу поскуцнел Паша, — но если тянуть, то можно потерять этот зал. Поймите, Америка, это вам не Рашка. Здесь все делается быстро, без бумажной волокиты. Потому что тут люди верят на слово друг другу.

На следующий день спозаранку Нюсики, оббегав с Бэлл несколько учреждений, зарегистрировали свое прибытие. И тут Нюсик вдруг осознал, что не может заполнить ни одной анкеты. Нюся это делала играючи и даже храбро попыталась вступить в беседу с каким-то чиновником. Не зря чуть ли не каждый вечер перед отъездом часами висела на телефоне, разговаривая по-английски с кем-то из своих школьных учителей. И ему твердила: «Зубри язык». Однако дальше нескольких слов у Нюсика дело не сдвинулось. Английский для него был темным лесом — в их местечковой школе на все классы была одна учительница немецкого, которая все годы шпыняла Нюсика за его идишисткий распев. «Хорошо тебе», — жалобил он жену: Наталья Петровна, готовя Нюсю к гастролям по всему земному шару, с пяти лет водила ее на уроки английского и испанского к старушке, осколку богатой и могущественной семьи Бродских, застрявшей в их городе со времен гражданской войны.

— Не забивайте себе голову, — приободрила Бэлл. — Вы — артист кукольного жанра. Будете работать в Санкосте. Здесь люди живут десятилетиями лет, имеют дома, бизнес, ни слова не зная по-английски. В Америке нужно уметь делать деньги. Все остальное покупается.

Вечером того же дня Лопатины решили показать им Нью-Йорк. Они повезли их в богатый квартал, где особняки с колоннами и подъездами, похожими на театральные, были окружены лужайками, цветниками, фонтанами и вычурными, сработанными под старину, фонарями. Бэлл называла заоблачные цены. Со значением поглядывая на Нюсиков, говорила, что деньги лучше всего помещать в покупку недвижимости. А Пашка ей поддакивал:

— Умные люди на этом в свое время сделали состояния, — и сетовал на то, что поздно приехал. — Лет десять назад здесь тысячи сыпались на голову. Теперь каждый доллар достается с кровью.

Они вернулись за полночь. Высадив женщин из машины, Пашка задержал Нюсика:

— У вас деньги есть? — участливо спросил он.

— Конечно! — ответил Нюсик и простодушно назвал цифру.

— Вы с ума сошли! Такую сумму таскать с собой! Завтра Бэлл положит их на свой счет в банк.

Рано утром позвонила Алена. Узнав про затею с банком, грубо наорала:

— Никому ни доллара. Эта проныра охотится за вашими деньгами. Про «удобно — неудобно» забудьте! Я оплатила Бэлл ваш месячный постой. И без моего ведома не смейте подписывать никаких бумаг.

— Знаешь сколько лет моей дружбе с Пашкой?! — вскипел Нюсик.

— Папа, — оборвала его Алена, — вечером я дам тебе возможность прочитать мне лекцию о любви и дружбе, а сейчас тороплюсь на репе-

тицию. Насчет банка не беспокойтесь, немедленно переговорю с Бэлл. Пока, — и положила трубку.

Нюся, слышавшая весь разговор по параллельному телефону, тихо ахнула:

— Какая она стала грубая! — и, жалобно посмотрев на Нюсика, робко добавила: — Что мы скажем Бэлл?

Но та и словом не обмолвилась о банке. Дав телефоны нескольких агентов, умчалась по делам. За неделю они так ничего и не нашли. Все, что им показывали, не подходило: то высокая цена, то кухня без окон и двери, то просто полуподвальная трущоба. Паша что ни день наседа:

— Когда начнем работать?

Нюсику самому порядком надоела сумбурная, праздная жизнь среди баулов и коробок. И, не устояв перед натиском агента, они тут же, на месте, подписали договор и внесли деньги, став законными жильцами дома с вестибюлем, напоминающим Черновицкий дом культуры.

На следующий день после переезда в новую квартиру пошли смотреть зал, который был расположен здесь же, в районе Санкоста. Это оказалось небольшое грязное, захламленное помещение человек на пятьдесят, с плохим освещением и крохотной сценой. Нюсики разочарованно переглянулись. Пашка, перехватив их взгляд, пошел в наступление: «Для начала шикарно. Помоем, приберем, расставим стулья, и все будет о'кэй». Они прошли за кулисы и оттуда узким коридорчиком в полутемный закуток.

— Подходит? — по-русски спросил сидевший за столом грузный мужчина, обращаясь к Бэлл и словно не замечая ни Нюсиков, ни Пашки.

Та утвердительно кивнула.

— Тогда реклама за вами. Оплата наличными прямо сейчас. Вот билеты, и гуд лак³. — Покопавшись в ящике стола, он вынул пачечку синих билетиков, перетянутую резинкой, потом взял клочок бумаги, написал четырехзначную цифру и небрежным тычком двинул его в направлении к Бэлл.

— Ну как? — Пашка передал клочок Нюсику. — Согласен? — и, не дожидаясь ответа, нетерпеливо тронул Нюсю за локоть. — Деньги у тебя? Давай!

— Сколько? — спросила она, бросила взгляд на клочок бумаги и покраснела от волнения. Требуемая сумма странным образом совпадала с содержимым ее сумочки.

— Ты же видишь! — возбужденно произнес Пашка.

— Но отчего так дорого? — робко спросила Нюся. — Чтобы оправдать такие затраты, каждый билет должен стоить около сотни долларов. Нам нужно подумать, — с отчаянной решимостью покрепче зажала сумочку под мышкой, стараясь не замечать грозного взгляда Нюсика.

— Это не базар, а солидное учреждение. — Мужчина решительно встал, и Нюсю поразил его маленький рост. Сидя за столом, он казался

³ Счастливо!

высоким и значительным. — Мы практически безвозмездно хотели оказать помощь вновь прибывшим артистам. Но они этого не оценили. Прошу освободить помещение.

Нюсики и Лопатины вышли на улицу. Бэлл, не прощаясь, помчалась вперед. Пашка попытался было ее нагнать, но, махнув безнадежно рукой, вернулся к Нюсикам.

— Бэлл — американка. Из-за тебя она потеряла свое лицо, а это дороже любых денег, — набросился он на Нюсю, — люди ей доверяют миллионы, а ты затеяла склоку из-за нескольких тысяч. С этого дня вы — конченные люди. Никто теперь не захочет с вами иметь бизнес. Здесь слухи распространяются со скоростью ветра.

— Кончай истерику, — холодно оборвал Нюсик.

— Скажи спасибо своей жене, всю жизнь тебя на шелковом поводке водит! Можешь теперь поставить крест на своей карьере. Артист погорелого театра! — рывкнул Пашка и потрусил рысцой догонять супругу.

— Ты этого хотела? — с еле сдерживаемым бешенством бросил Нюсик и, не оборачиваясь, круто свернул на одну из улочек, ведущих к океану.

«Почему он такой безрассудный? — бушевала Нюся, ускоряя шаг и пытаясь не отстать от мужа, — мы в чужой стране. Без языка, без работы. Такой риск. Можем остаться без гроша. А главное — за что платить? За этот хлев? Я избаловала его. Он ведет себя как капризное дитя».

— Большая часть этих денег — мамина! — выложила она самый весомый козырь.

— Отдай мне мою долю, — глухо сказал Нюсик, — я хочу сам распоряжаться своими деньгами. И не смей больше вмешиваться в мои дела.

Побледнев от гнева, ни минуту не колеблясь, открыла сумочку и отсчитала ему часть денег.

С этого дня те деликатные нити, что связывали их, вдруг стали тончать и рваться одна за другой, хотя за столько лет Нюся привыкла считать их наипрочнейшими. Иногда думала, живи они одни, без матери, она бы как-нибудь перекинула мосток через эту внезапно возникшую между ними пропасть, которая с каждым днем неуклонно углублялась и ширилась. Ведь кроме обыденной серой жизни со всеми ее трудностями и неурядицами у них был свой заповедный рай — «бэсама». Но в присутствии матери всякие заигрывания и взаимные поддразнивания — все, что было в суеде дня как бы напоминанием, отголоском «бэсамы», выглядело пошлым и стыдным. Теперь все то потаенное, что было между ними, вдруг оказалось под чужим пристальным взором. И это странным образом сковывало и разобщало их. Нюсики старались даже во сне не касаться друг друга, чтобы не будоражить себя. Однако и отселить мать, которая уже сама стала заметно тяготиться совместной жизнью, не было никакой возможности — все упиралось в деньги. Те планы, что строились там, на родине: собраться одной семьей в просторном светлом доме на берегу океана, жить дружно и весело, устраивать вечерние посиделки за общим столом, — все рассыпалось в прах. Они оказались в сырой, душ-

ной квартирке, где никто не имел своего угла и где не налаженный, сумбурный быт и непрочность положения вызывали общее взаимное раздражение. А тут еще между Нюсей и матерью то и дело стали возникать мелкие и стыдные недоразумения: Наталья Петровна, не признавая ни Нюсиных вкусов, ни ее уборки, ни готовки, все порывалась делать сама, отгесняя дочь от хозяйства и валясь с ног от усталости. Что до отношений с зятем, то они и вовсе балансировали на грани скандала. Одно дело сцена, где она видела в нем артиста, другое — каждодневный совместный быт в крохотной необустроенной квартирке. И педантичная Наталья Петровна ни в чем не давала Нюсику спуска. Спор между ними вспыхивал по любому поводу: плохо закрытый тюбик зубной пасты, обувь, небрежно брошенная в прихожей, или его утренняя привычка оставлять на столе недопитый стакан чая.

Нюсику такая дрессировка была в диковинку, и он, точно разъяренный зверь, сразу становился на дыбы. Как и в первый год совместной жизни, снова стал скрытным и резким. Ни слова не говоря, начал уходить из дома и пропадать где-то целыми днями, чем повергал Нюсю в состояние паники. Ей почему-то казалось, что он без знания языка или попадет в полицию или, того хуже, заблудится. И хоть Алена, аккуратно звонившая каждый день, однажды даже накричала на нее: «Мама, ты сходишь с ума! Оставь свои фобии. Он не маленький ребенок!», но Нюсе это мало помогло.

Она и без Алены чувствовала, что с ней творится что-то неладное. Стала замечать за собой какую-то пугливость и дерганость. У нее появились, как она называла это про себя, пунктики. Среди них главным была почта, ключ от которой не доверяла никому. Каждый раз, открывая почтовый ящик и выгребая оттуда рекламные проспекты, счета и письма, Нюся ощущала смутную тревогу. Выбрасывая из этого вороха любую бумажку, тряслась при мысли, что это может быть нечто важное и судьбоносное для семьи. Счета воспринимались ею с мистическим ужасом — деньги, привезенные с собой, таяли, точно сугроб под весенним солнцем. Нужно было срочно искать работу. Но где и какую, Нюся не представляла. Ее идея с уроками музыки, на которые так надеялась, с треском провалилась: тут была другая мудреная система обучения, но главное, необходим был английский, чтобы общаться с учениками. Нюся с натугой выталкивала из себя лишь отдельные слова. При этом практически полностью не воспринимала булькающие, картавые и протяжные звуки, ни в какое сравнение не шедшие с размеренностью и плавностью речи самоучителей и преподавателей. Это воздвигло между Нюсей и окружающим миром непреодолимую, как ей казалось в ту пору, преграду.

Алена из своего далека ежедневно наставляла: «Звони в любые справочные, музеи, телефонные компании, заговаривай с людьми. Через пару месяцев все придет в норму. У тебя музыкальный слух». Но Нюся со страхом и отвращением брала в руки телефонную трубку, а о том, чтобы самой обратиться к кому-нибудь с вопросом, и в мыслях не было. Иногда

мельком взглянув на себя в зеркало, отмечала загнанность во взгляде и приниженное выражение лица.

А Наталья Петровна, напротив, неожиданно быстро освоилась в новой жизни. Сама храбро ездила в Толстовский фонд, где сразу же добровольно стала помогать в библиотеке и участвовать в различных вечерах, чаепитиях. Из небытия вдруг возникли какие-то ее бывшие сослуживцы, соседи и соученицы, у которых она иногда пропадала целыми днями. А спустя какое-то время даже завела привычку с субботы на воскресенье оставаться ночевать, виновато оправдываясь, что так ближе добираться в церковь к заутрени. И этим окончательно повергла Нюсю в недоумение. Мать в той, прошлой жизни, не только не была набожной, но в штывы воспринимала все эти крашенки, пасхи, кутьи — всё то, чего строго придерживался дед Василий с Пересыпи. Алена ведь о переменах в характере Натальи Петровны восприняла с двусмысленным смешком, а Нюсик даже не заметил. Если раньше он целые дни проводил в бегах, то теперь, закрывшись в спальне, возился с куклами и репетировал. Из всего этого Нюся сделала вывод — что-то затевается.

Через неделю в киосках и магазинах Санкоста появились размером с тетрадный лист невзрачные афишки: «Компания Пол-Арт представляет незабываемое шоу для детей “Куклы”. Продюсер Пот Пат». И хоть Нюсик нигде не упоминался, она сразу догадалась, что — за этим всем стоит он, а Пол Пат не кто иной, как Пашка Лопатин. Смущаясь и труся, решила предложить свою помощь. Но Нюсик окатил ее ледяным взглядом и мстительно бросил:

— Спасибо, ты мне уже один раз помогла.

В воскресенье он ушел спозаранку, прихватив с собой ящик с куклами и черное трико для выступлений. И Нюся разволновалась, потому что знала, ему в день спектакля обязательно нужно как следует выспаться, плотно поесть, а перед самым выходом выпить чашку горячего крепкого чая.

Она пришла за несколько минут до начала, заплатила за билет и, пройдя в самый конец уже знакомого зала, села в последнем ряду. Народу было немного, несколько взрослых и человек десять детей, которые вели себя шумно и развязно. Спектакль долго не начинался, видно, пытались заполнить зал. Наконец из-за ширмы вышел Нюсик с куклами в руках и поклонился. Но дети, словно не замечая его, продолжали переключиваться и бегать между рядами. Лицо Нюсика стало бледным и растерянным. Он произнес несколько вступительных фраз, и Нюся поняла: это провал — голос у него дрожал и рвался. С ним и раньше случалось такое: переволновавшись до начала представления, он в первые мгновения никак не мог совладать с собой. Но в той жизни рядом были ассистенты, музыка, освещение, декорации — все это давало возможность собраться и повести за собой спектакль. Здесь он оказался один на один с залом, где резвились дети, выросшие на чуждой ему культуре и разговаривающие между собой на чуждом для него языке. Нюся едва дождалась перерыва и, пряча глаза, выскочила из зала. Он

пришел под вечер, бросил в прихожей коробку с куклами, свое черное трико, прошел в спальню и закрыл за собой дверь. А через час позвонила Бэлл и потребовала его к телефону.

— Он отдыхает, — твердо сказала Нюся.

— Передай ему, пусть принесет деньги.

— Какие деньги? — испугалась Нюся.

— А он разве не говорил? — фальшиво удивилась Бэлл. — Я взяла под спектакль заем в банке. Но по его вине все с треском провалилось. Кто же платить будет? Я, что ли? Кстати, у меня есть его расписка.

Нюся так и застыла, прижав к уху трубку, пока до нее не дошло, что оттуда раздаются отрывистые короткие гудки. Кому она могла рассказать об этой беде? Только Алене. Нюсе и самой было странно, что дочь, которая, казалось, еще совсем недавно, прибежав разобиженная, утыкалась ей в колени, в этой новой жизни стала для нее единственной опорой и поддержкой.

Алена отреагировала молниеносно и грубо:

— Гиена ненасытная. Она свое получит.

А через день сообщила:

— Мама, не волнуйся, все в порядке. Расписка у тебя в почтовом ящике.

Порви ее.

Действительно, Нюся нашла в конверте без обратного адреса лист бумаги с текстом на английском языке с Нюсиковой подписью-закопкой в самом низу.

— Как тебе это удалось? — спросила она дочь.

— Ты забываешь, что я больше года проработала в ресторанах Сан-коста, а это хорошая школа, — рассмеялась Алена. — Просто к вам с папой пытаются применить старый прием. Он называется «особое внимание вновь прибывшим». Пока новичка не обчистят, до той поры не успокаиваются.

После провала спектакля Нюсик резко изменился. Он стал угрюмым и подавленным. Поздно вставая и рано ложась, большую часть времени проводил в постели. Вечером выходил на улицу, брал в соседнем киоске ворох не распроданных русских газет. Пробегая глазами страницы, он даже не пытался вникнуть в смысл. Случалось, взгляд его застыл — перед ним возникали картины прошлого: музыкальный павильон горсада, булочная на углу их дома, скверик с двумя позеленевшими от времени грозными львами на пьедесталах. Но больше всего пугали преследовавшие его видения. Едва ли не в каждом встречном чудилось знакомое лицо. Однажды целый квартал гнался за плотным мужиком с круглой наголо обритой головой, твердо веря, что это Жмэня. Когда, запыхавшись, наконец заглянул в лицо, чуть не расплакался от досады.

Он старался быть подальше от людей и суеты. Бесцельно гуляя по набережной, сравнивал океанский прибой с морским и не находил в них разницы. Та же мутно-зеленая вода, тот же шорох волн, та же прибрежная полоса песка, такие же ненасытные крикливые чайки. Ему каза-

лось, что жизнь вокруг замерла. Он задавал себе один и тот же вопрос: «Что, если мое прошлое — семейное счастье, увлеченная игра с куклами — лишь иллюзия и самовнушение? А теперь пришел в себя и понял — все фальшь и обман. И нужно начинать опять с самого начала, как в молодости». Но не было ни прежних сил, ни воли. Он спрятал в кладовку баул с куклами и футляр с Евой, а сценарий «Рая» порвал на мелкие клочки и выбросил. Иногда Нюся пыталась его растормошить, даже заигрывала с ним, но он бросал на нее угрюмый тусклый взгляд и, как тяжело больной человек, опускал веки, отгораживаясь от всего мира. Вдруг исчезли его былые раздражительность и вспыльчивость. И это больше всего пугало Нюсю, которая многие годы терпеливо сносила вспышки Нюсиковой ярости, внушая себе, что брак — прежде всего смирение и компромисс. Однажды, не выдержав, поделилась с Аленой своей тревогой:

— По-моему, папа болен. Он все время молчит и почти ничего не ест.

— У него депрессия, — отрезала Алена. — Ты ничем не поможешь. Жизнь в эмиграции — это не служба спасения на водах. Человек должен пытаться выплыть сам. Он рассчитывал въехать в Нью-Йорк на белом коне с плюмажами, под гром аплодисментов. Но здесь не деревня Петушки, а столица мира.

— Алена, какая ты стала жестокая, — печально сказала Нюся.

Теперь она все чаще задумывалась о взаимоотношениях родителей. Но не как дочь, а как невольный свидетель крушения их союза. И когда мать в очередной раз стала точить ее, что позволяет Нюсику бездельничать, неожиданно для себя спросила:

— Мама, почему вы развелись с отцом? Он так гордился твоим умом, знаниями, манерами. А ушел к простой работнице с кондитерской фабрики, — и смешалась: между ней и матерью было не принято обсуждать такие вопросы.

— Редкий мужчина не устает и не теряет вкус к жизни, дойдя до определенного возраста, — сурово ответила Наталья Петровна, — и тогда никакая сила не может его удержать. Ему все становится ненавистно. И дом, и жена.

— А постель? Разве это не привязывает мужчину? — вырвалось у Нюси, но вспомнила отцовский короткий диванчик на кухне и запнулась: «Мать, вероятно, допускала его к себе лишь за особые заслуги».

— Всеу приходит конец. И этому тоже, — пожалала плечами Наталья Петровна.

«Но когда гаснут страсти, что-то должно прийти взамен», — думала Нюся. И, пристально глядяваясь в Нюсика, пыталась найти это неуловимое что-то.

А денег становилось все меньше и меньше, хотя Наталья Петровна почти полностью отдавала свое небольшое пособие в общий котел. Нюся, выстояв громадную очередь среди чернокожих матерей-одиночек, безработных и неимущих, подала прошение на пособие и продуктовые талоны. Но оно, видно, затерялось среди других бумаг, и пособие они получили только к концу осени. К этому времени уже приняла реше-

ние поступить продавщицей в русский магазин, хотя Алена запрещала даже думать об этом, внушая, что более гиблого места нет:

— И денег не заработаешь, и с языком с места не сдвинешься: вокруг все будут говорить только по-русски, — и все наставляла: — Ищи, не сиди сложа руки.

Однажды позвонила далеко за полночь:

— Мама, пляши! Я тебе нашла работу. Пока временная, до Рождества, а дальше будет видно. Роз хочет взять тебя к себе. Ну да, та самая, которая помогла мне устроиться в «Герлс». И не вздумай отказываться. Удача — не почтальон, дважды в одну дверь не стучится. Роз тебя ждет завтра к девяти.

— Что я должна буду делать? — разволновалась Нюся.

— Стараться ей угодить, — ответила Алена.

— Думаешь, я смогу? — неуверенно спросила Нюся.

— Ни секунды не сомневаюсь. У тебя богатый опыт по этой части. Ты уже больше двадцати лет угождаешь папе, — рассмеялась Алена.

4

Нюся пришла по указанному адресу за двадцать минут до назначенного времени. Она сверилась с номером дома, посмотрела на вывеску — на ней сияли холодным неоновым огнем большие вычурные буквы «Семейное гнездышко». Потом подошла к витрине, завешенной яркими тканями. Пол витрины был устлан ковром, на нем в причудливо-художественном беспорядке лежали пестрые подушки.

— Вы мама Элен? — Нюся услышала за спиной низкий хрипловатый голос и, обернувшись, увидела невысокую стройную женщину на высоких каблуках, в короткой юбке и меховом жакете.

— Я — Роз, поддержите, пожалуйста, — протянула Нюсе бумажный пакетик и картонный стакан с крышечкой, от которого пряно пахло кофе.

Покопавшись в сумке, женщина вытасила связку ключей, отперла дверь и через узкий коридорчик провела Нюсю в небольшую комнату, где стояли письменный стол, книжный шкаф, забитый толстыми альбомами, и черное кожаное кресло.

— Как вас зовут? — Роз небрежно сбросила жакет, изучающе посмотрела на Нюсю.

— Анна, — чуть слышно произнесла Нюся.

— Итак, что вы умеете делать?

— Играть на пианино, стирать, убирать, готовить, — пролепетала Нюся, выдавливая из себя английские слова и чувствуя, как ее тело покрывается испариной.

— Я никогда не ем дома, слушать музыку предпочитаю в Карнеги Холл, со стиркой и уборкой уже десять лет прекрасно справляется моя Сэлма, которая приходит ко мне раз в неделю. И я не собираюсь ее менять. — Роз рассеянно улыбнулась, при этом кожа вокруг рта и глаз покрылась сетью мелких морщинок.

— Что еще вы умеете? — Она бросила пытливый взгляд на Нюсю, взяла из маленького изящного портсигара сигарету, шелкнула зажигалкой и затянулась. — Вам более сорока лет. У вас взрослая дочь. Неужели все эти годы вы только и делали, что тарабанили на пианино, готовили, стирали и убিরали? — Ее выпуклые черные глаза насмешливо блеснули. — Ваш английский позволяет понять, о чем идет речь?

— Мой английский очень плох, — убитым голосом произнесла Нюся.

— Послушайте, — вспыхнула вдруг Роз, — вы пришли продать свой труд или разжалобить меня? Так знайте, я подаю только в день Благодарения. Вы опоздали.

Секунду Нюся стояла, точно окаменев, и вдруг неожиданно для себя выпалила:

— Я не нищая! — Ярость, что охватила ее, подобно буре, взбаламутила и подняла со дна памяти слова и выражения, затверженные когда-то в детстве под нажимом старушки Бродской.

— Отлично, — засмеялась Роз, — наконец-то вы проснулись. Теперь я вижу: это мать своей дочери. Кстати, она одевается с большим вкусом. Я бы даже сказала, с европейским шиком. И все вещи у нее нестандартные. По ее словам — ваша работа. Кто шил вам это? — Роз указала на Нюсину крепдешиновую блузку, вышитую английской гладью.

— Я сама, — ответила Нюся.

— Покажите, как отделаны швы.

Нюся расстегнула манжет и закатала рукав.

— Четыре доллара в час. Согласны?

Нюся молча кивнула, не помня себя от радости.

— Пошли. — Роз ввела ее в комнату, где в ряд стояли три швейные машинки, стол для раскроя ткани и гладильная доска. — Здесь будет ваше место. Вы не возражаете, я буду звать вас Энн, — властно сказала Роз и, не дожидаясь ответа, показала на машинку, стоящую у окна. — Сейчас придет Мадлен и даст вам работу.

Мадлен оказалась маленькой, смешливой толстушкой с чуть заметными усиками на верхней губе. Окинув взглядом стройную фигуру Нюси, засмеялась и похлопала себя по пышным бедрам:

— Здесь моя итальянская еда: спагетти, пицца.

А потом дала Нюсе работу — ручную подрубить занавеси из легкопрозрачного шифона. Нюся работала медленно и кропотливо, чуть ли не примеряясь к каждому стежку. А гора работы возле ее места росла с ужасающей быстротой: подушки, шторы, покрывала. Мадлен, выбегая из зала, где она принимала заказы, подкладывала и подкладывала. К концу дня Нюся еле разогнула спину. Она едва добрела до дому и упала, как сноп. Всю неделю работала, не поднимая головы. В пятницу Мадлен вручила ей конверт и, красноречиво поглядев на ворох несделанной работы, сокрушенно покачала головой:

— Роз придет из отпуска, скажу, что нужна еще одна помощница. Ничего не поделаешь, скоро Рождество, самое горячее время в бизнесе. А тут, как назло, у нашей Эмми заболела дочь, и она умчалась к ней

на Филиппины. Не человек, а машина. Она бы все это сделала за полдня.

Мадлен улыбнулась и, как бы в знак ободрения, похлопала Нюсю по руке. Нюся подавленно кивнула в ответ. В понедельник пришла заговешая, оживленная Роз:

— Как дела, Энн? — спросила она Нюсю.

— Хорошо, — ответила та, не поднимая головы от машинки.

А про себя подумала: «Сегодня она уволит меня. Ну и черт с ним. Все равно мне не выдержать этого темпа».

Но день прошел относительно спокойно, если не считать того, что Роз в ее присутствии наорала на Мадлен за какую-то оплошность и пригрозила вышвырнуть из «Гнездышка», как тряпку. В шесть, когда Нюся собралась уходить, Роз позвала ее к себе в кабинет. Едва Нюся вошла, как тотчас увидела на письменном столе декоративную подушку, которую сшила в пятницу.

— Вам нравится сочетание ядовито-зеленого и телесно-розового? — спросила Роз, кивнув на стол.

Нюся неопределенно пожала плечами.

— Вы бы сделали такую для себя? — напирала Роз.

Нюся отрицательно покачала головой.

— Почему же вы это хотите всучить клиенту? Может быть, Мадлен вам приказала так сделать?

— Да, — пролепетала Нюся.

И это было истинной правдой.

— Допускаю! Эта особа в каждом новом человеке видит прежде всего конкурента и не любит, когда кто-то дышит ей в затылок. Впрочем, кто это любит? Но почему вы согласились? Или у русских подчинение превыше достижений и принципов? — Она грозно свела тонкие брови. — Послушайте, если вы из тех, кто даже под пыткой не признается, что его любимый цвет голубой, из опасения обидеть красный или лиловый, то вам здесь нечего делать. А сейчас останьтесь и все переделайте: отпорите эту тесьму, подберите вместо нее что-нибудь подходящее. И не надейтесь получить за эту работу сверхурочную плату.

В тот вечер Нюся прокорпела до восьми часов. А когда пришла домой, мать тотчас накинулась на нее:

— Тебя эксплуатируют, а ты молчишь. Неужели здесь нет профсоюзов?

И даже Нюсик, который с уже с месяц играл в молчанку, язвительно бросил:

— Доллар превыше всего.

Нюся, ничего не ответив, легла спать, решив про себя: «Плевать! Доработаю до Нового года, а там Роз меня сама уволит. Все равно у нее на всех работы не будет».

Перед Рождеством Роз раздала всем по два конверта. Один был обычный, другой — с Санта-Клаусом. Нюся первым раскрыла тот, что с Санта-Клаусом. В нем оказались поздравительная открытка и две купюры: сто-

долларовая и двадцатка. К двадцатке была приколота записка: «Это за зеленую подушку. Роз». После Нового года Роз вызвала ее к себе. Нюся уже подготовилась к увольнению и даже накануне собрала свои вещи в пластиковый мешок, чтобы потом не копаться на глазах Эмми и Мадлен. Но Роз ее встретила улыбкой:

— Мне удалось получить хороший заказ. Клиент из ваших. Вероятно, вор или мошенник, потому что денег не считает. Говорят, в России сейчас легко заработать целое состояние. — Она покосилась на Нюсю и закурила. — Мы должны привести в порядок его квартиру. Она находится в верхнем Ист-Сайде Манхэттена. Вы когда-нибудь занимались этим?

— Нет, — честно ответила Нюся, — никогда.

— Вы хотите сказать, что нанимали для своего дома декоратора? — засмеялась Роз. — Все нужно пробовать. Как говорится, живи и учись. Поехали со мной.

Они сели в ее низкую спортивную машину. Роз включила зажигание, и автомобиль резко рванул с места.

— Энн, вы всегда такая тихая? Почему все время молчите? Я опасюсь тихонь — стоячая вода глубокая, — выворачивая руль и чертыхаясь, Роз мастерски лавировала между пешеходами и машинами, — или стесняетесь своего английского? Быть может, боитесь потерять эту работу? Но вокруг сотни бизнесов, а вы молодая, здоровая, крепкая. У вас отличные руки. Главное — верить в себя. — Она посмотрела на Нюсю и улыбнулась. — Вы похожи на испуганного ребенка. Хорошо, побеседуем на другую тему. Расскажите мне о своем городе. Вероятно, вы знаете, что мои родители родом оттуда?

— Да, — ответила Нюся и, словно на уроке английского, начала рассказывать монотонным голосом: — Мой город расположен у моря.

— Правда? — перебила ее Руг и рассмеялась. — А я думала, что высоко в горах или в пустыне. Кстати, чем ваша семья там занималась? Как зарабатывала на жизнь?

— Мой муж был артист, я тоже работала в театре.

— Он знаменит? — с интересом спросила Роз.

— Просто хороший артист, — на секунду запнувшись, ответила Нюся.

— Здесь без связей этим прокормиться невозможно. Что же он делает сейчас?

— Пока не работает.

— Понятно, — усмехнулась Роз. — А моя мама через неделю после приезда пошла на швейную фабрику, а папа — в скобяную лавку, хотя до конца своих дней так и не забил ни одного гвоздя. Дедушка его готовил к карьере ребе. Но когда дом полон голодных ртов, то выбора нет. А в ту пору не существовали ни пособия, ни талонов на питание. — Она покосилась на потупившуюся Нюсю. — Не думайте, что я упрекаю вашего мужа за те крохи, что перепадают ему от пирога Дядюшки Сэма. Я ведь и сама не прочь стянуть у него ломтик-другой. Но человек без работы гибнет. Вот мы и приехали.

Она ловко запарковала машину, втиснувшись между двумя фургонами. Они поднялись на лифте, и Роз открыла дверь. Квартира оказалась светлой, большой, с высокими лепными потолками и громадными окнами, выходящими прямо в парк.

— У этого русского есть вкус. — Роз вынула из сумочки рулетку и открыла папку с разграфленными листами. — Начнем с плана квартиры. Сейчас я покажу, как это делается, в следующий раз вы сможете обойтись без меня.

Роз вихрем носилась по квартире, рулетка так и шелкала у нее в руках. Через три часа все было готово. Они спустились на лифте в фойе, Роз оставила ключ у охранника, затем бросила папку на заднее сидение и сказала:

— Здесь неподалеку есть хороший японский ресторанчик. Я думаю, вам понравится. Пойдемте. Мы с вами сегодня заработали хороший ланч.

— Спасибо, — смутилась Нюся, — у меня на ланч пирожки.

— Что это? — удивилась Роз. — Я не помню, чтобы у нас в доме делали пирожки. В детстве я очень любила цимес. Еще мама готовила кнеделех, струдель, фарфелки.

— Пирожки — это тесто с начинкой, — пояснила Нюся.

— Вот как! — Роз вздернула брови. — Вы меня хотите ими угостить? Спасибо, но я предпочитаю рыбу. Пожалуйста, составьте мне компанию.

Они вошли в ресторан. Официант провел их к столу, подал два меню. Нюся открыла картонную папку, скользнула взглядом по ценам. «Я не могу оставить здесь свой дневной заработок», — сказала она себе и храбро вынула из сумочки пакет с пирожками.

— Клянусь, ваш ланч меня не разорит. — Роз посмотрела на нее и засмеялась. — Кстати, здесь рядом мой танцевальный клуб. Там я познакомилась с вашей дочерью. За этим столиком мы однажды вместе ужинали. Вы с ней совсем не похожи. Но каждая из вас красива по-своему. Моя слабость — красивые люди и вещи. — Она закурила, с улыбкой посмотрела на смутившуюся Нюсю. — Вы покраснели как девочка. Разве мужчины не приучили вас к мысли, что вы красивая женщина? Вы же вращались в артистической среде, а там довольно свободные нравы. Или в вашей стране по-другому?

— Видите ли, — Нюся пожала плечами, — мы с мужем работали вместе и...

— Понятно, — захохотала, перебив ее, Роз, — и он никого не подпускал к вам. Что ж, это разумно с его стороны. А до замужества вас держали в строгости. Я отгадала? — Официант принес узорный маленький чайничек и начал разливать по пиалам ароматный янтарный чай.

— Хорошо, перейдем к нашему проекту. — Роз погасила сигарету и сделала несколько мелких глотков из пиалы. — Вы имеете представление об эскизе?

— Я делала наброски к декорациям, — неуверенно пробормотала Нюся.

— Для начала неплохо. Вопрос в том, чего хочет от нас этот господин Кошелек Набитый Долларами, — полагаю, смесь русской избушки

с Версальским дворцом, — Роз с аппетитом принялась за салат и вдруг капризно потребовала, — а ваши пирожки? Когда же мы будем их пробовать?

Нюся суетливо разложила на тарелке румяные пирожки.

— Выглядят аппетитно. — Роз взяла один, надкусила и восторженно выдохнула: — Восхитительно, хотя, думаю, в них до черта холестерина. Где вы их купили? На Санкосте? Говорят, там масса вкусной русской еды.

— Это испекла моя мама, — ответила Нюся.

— Она может на этом сделать хороший бизнес, — оживленно отозвалась Роз.

— Что вы! Какой бизнес! — искренне удивилась Нюся. — Мама уже десять лет на пенсии. Ей больше шестидесяти пяти.

— По-вашему, это много? — Роз присвистнула. — В таком случае мое место давно на кладбище, — озорно подмигнула смуглившейся Нюсе, — но пока я еще жива, давайте попробуем эту рыбу.

Она начала есть не спеша, смакуя и наслаждаясь. При этом деликатно отводила глаза от Нюсиных рук, которые судорожно путались в ножках, вилках и салфетках.

— Скажите, Энн, это правда, что жизнь в русских домах сосредоточена в двух точках — в спальне и на кухне? — Она пытливо посмотрела на Нюсю. — Как вы считаете, вам под силу взять на себя эти два помещения в верхнем Ист-Сайде? Попробуйте! В жизни нельзя упускать ни одного шанса.

Роз кивнула официанту. Тот принес счет. Она внимательно просмотрела его, подписала и приложила три доллара чаевых. Заметив Нюсин взгляд, сказала:

— Поверьте, это адская работа. Я сама когда-то начинала с нее. Ну что, прогуляемся по Манхэттену?

Роз и Нюся вышли на улицу. В этот час было полно прохожих. Они куда-то спешили. Казалось, тут все друг друга знают: люди на ходу оживленно переговаривались и перекликались между собой. Роз тотчас слилась с толпой, став ее неотделимой частью. А Нюся с затаенной завистью смотрела на отлично одетых и уверенных в себе людей. В своем тяжелом, нелепом пальто и грубых ботинках она чувствовала себя жалкой замарашкой.

— Идемте, — Роз подхватила ее под руку, — мне нужно зайти здесь в одну лавчонку, антик — моя слабость, — и потянула Нюсю на другую сторону улицы.

Они вошли в магазин, где Роз, очевидно, хорошо знали.

— Вы получили мое сообщение на автоответчике? — Плотный смуглый мужчина кинулся к Роз. — Из Ирана поступил ковер ручной работы, которым вы интересовались. — Он увлек Роз в глубь магазина.

Нюся начала бродить, рассматривая гобелены и картины, развешенные на стенах. Внезапно откуда-то вынырнула Роз, возбужденная, с сияющими глазами.

— Это настоящее чудо, — восторженно сказала она, — я такого еще не видела. Не удержалась, купила, хотя он заломил черт знает какую цену. Если честно, то у меня весь дом забит коврами. Бедная Сэлма стоит от них. Ковер, как женщина, должен быть на виду, иначе он блекнет и стареет. Вот ей и приходится с ними возиться — заворачивать и разворачивать, перетаскивать с места на место.

Они опять слились с толпой. Но теперь поток людей стал меньше. Время ланча было на исходе, многие уже разошлись по своим офисам и рабочим местам.

— Сейчас самое время для вас. Побродите, поглазейте, разберитесь с тканями, аксессуарами и мебелью, — Роз быстро набросала в блокноте список магазинов, вырвала листок и подала его, — там же вы можете посмотреть журналы по дизайну, — и вдруг схватила Нюсю за руку: — Посмотрите на это пасхальное блюдо! — Она словно девочка прильнула к витрине. — Давайте зайдем, — и ринулась к двери.

Они долго ждали, пока освободится продавец. Роз бродила вдоль полок, ласкательным жестом касаясь каждой вещи, которая привлекала ее внимание. Наконец, продавец открыл витрину и подал блюдо. Роз вынула из сумочки лупу, повернула блюдо обратной стороной и пробормотала: «Германия».

— Сколько стоит эта вещь? — решительно спросила она.

Продавец назвал цену. Нюся подумала, что ослышалась. На эти деньги ее семья могла прожить безбедно несколько месяцев. Роз вынула чековую книжку, заполнила чек, подала его продавцу. Он завернул блюдо в тонкую бумагу и перевязал тесьмой:

— Я сейчас проверю чек, и сможете его забрать. Вы сделали прекрасную покупку. Серебро. Восемнадцатый век.

Роз оглянулась на Нюсю, вызываясь тряхнула головой, словно говоря: да, я знаю, что трачу сумасшедшие деньги на свои прихоти, но в конце концов это мои деньги, и я ни перед кем не собираюсь оправдываться. Прощаясь, сказала:

— Энн, у вас четыре дня, включая субботу и воскресенье. Работать можете дома.

В понедельник утром вызвала Нюсю к себе и, словно обрывая ту незримую нить близости, которая наметилась между ними, сухо спросила:

— Эскизы готовы?

Нюся положила на стол свернутые в трубку листы.

— Что это? — Роз безразлично указала на рулон. — Для такого дела существует папка. Ну, показывайте, — и с раздражением грохнула на стол два альбома, прижимая с обеих сторон скручивающиеся листы. — Начните с кухни.

— Предлагаю кухню выдержать в русском стиле «Гжель». Мебель из светлого дуба: буфет, шкафы, стол для завтрака и две скамейки с резными спинками. Оборудование устанавливаем в одну линию и размещаем в углублении. В качестве декора используем «Гжель» — роспись кобальтом по белому фаянсу. Декор будет повторяться на кафеле, в на-

стенных тарелках и в посуде, установленной на открытых полках. Прилавки и пол — мраморные.

— Не слишком ли изысканный вид у вашей кухни? — язвительно спросила Роз. — Вы забыли о клиенте. Насколько мне известно, его род не имеет ничего общего ни с английскими лордами, ни с русскими князьями.

Нюся, ни слова не говоря, скатала верхний лист и отложила его в сторону:

— Второй вариант. Самовар, расписные ложки, обливные горшки.

— Предоставим ему выбор, — голос Роз подобрел. — Перейдем к спальне.

Нюся скатала еще один лист:

— Я предлагаю обыграть фиолетовый цвет. Использовать всю гамму от светло-сиреневого до лилового. Мебель должна быть из полированной карельской березы. Напротив окна повесить от потолка до пола зеркало в серебряной раме.

— По-моему, заказчику это покажется слишком пуританским. Насколько мне известно, он не женат. А девушки, нанимаемые на час, в восторге от бордовых оттенков, — проворчала Роз. — Ладно, рискнем. Сейчас придет художник, оформит эскизы для показа. Возможно, вам придется с ним задержаться, чтобы кое-что уточнить. Сверхурочные часы я оплачу в полуторном размере. В пятницу ланч с заказчиком. Наденьте свою блузку с английской гладью. Чем больше он будет пялиться на вас, тем меньше — вникать в эскизы.

Заказчик оказался высоким худощавым брюнетом с орлиным носом и приятной улыбкой. Он сухо представился: «Дэниэл». По-английски говорил ничуть не затрудняясь. Держал себя сдержанно и скупое ронял слова. Просмотрев эскизы, сразу одобрил спальню. Но когда увидел вариант кухни с самоваром и ложками, отрывисто рассмеялся:

— Что это? Последний крик моды в Рашке? — с издевкой сказал он и покосился на Нюсю. — Настоящий кич.

В это время Роз ловко, точно фокусник, достала из папки эскиз в стиле «Гжель».

— Тоже ваша работа? — Он повернулся к Нюсе, с интересом посмотрел на неё и снисходительно похвалил: — Интересное решение.

Настоятельно потребовал в столовой заменить бордовый цвет обивки на пастельные тона, предусмотреть место для рояля, а главное, переработать в корне весь кабинет:

— У меня большая библиотека, шкафы обязательно должны быть застекленными, чтобы книги не пылились. Кроме того, здесь будут стоять несколько компьютеров, большой письменный стол, диван и кресло-качалка.

Роз с ним отчаянно кокетничала, сыпала шутками. И все пыталась перевести разговор на Россию, напирая, что Энн всего полгода как оттуда. Он вежливо улыбался в ответ. Затем Роз назначила цену. Дэниэл отрицательно покачал головой:

— Это нереально. Сбросьте пятнадцать процентов.

И хоть Роз пыталась торговаться, спокойно сумел настоять на своем. Прощаясь, посмотрел Нюсе в глаза и сказал по-русски:

— Приятно было познакомиться, — перекачивая букву «р» на американский лад.

Роз, возбужденная переговорами, вызвалась подвезти Нюсю к метро. По дороге несколько раз, словно невзначай, повторила:

— Вы заметили, какие у него глаза? Настоящий аквамарин! И эта легкая седина на висках! Очень красивый мужчина. Но что больше всего мне понравилось — не дал себя надуть. И оказался совсем не таким деревенским увальнем, как я себе представляла. Интересно, какой у него бизнес? — прощаясь, пригрозила Нюсе пальцем: — А ведь он влюбился в вас. На вашем месте я бы не раздумывала. Умение зарабатывать деньги в сочетании с роялем и библиотекой — редкость для мужчины. А кресло-качалка! Чего доброго, окажется, что пишет стихи. Вы, русские, — народ с изюминкой!

«Спасибо! Поэт у меня уже есть», — с горечью подумала Нюся, ныряя в метро.

Целый месяц Нюся работала как каторжанка, не зная ни выходных, ни свободных вечеров. С разрешения Роз взяла одну из машинок на дом и даже подключила к делу мать. Вся спальня была усеяна лоскутами, обрывками ниток. Нюсик переселился в другую комнату, его раздражали хаос, мелькание женщин перед глазами и беспрерывный стрекот машинки. Роз страшно нервничала, подгоняла. У нее были проблемы с кафелем, строителями и мебельщиками. Наконец все было сделано. В один из дней она пришла торжественная и сияющая:

— Представляете, Энн! Он даже дал мне чаевые. А это просил передать персонально вам. Откройте! Я сгораю от любопытства, — и протянула конверт.

Нюся разорвала его, вынула две сотенных купюры и коротенькую записку, написанную по-английски: «Спасибо. Дэниэл».

Увидев деньги, Роз грозно нахмурилась:

— У меня не принято, чтобы клиент платил моим сотрудникам.

Нюся покорно положила купюры на стол.

— Вы сошли с ума, — вдруг разозлилась Роз, — вы понимаете, какую громадную работу сделали за этот месяц? Теперь слушайте внимательно. Ни цента из этих денег вы не отнесете в свою семью. Купите себе приличную обувь. А сейчас мы поедем в первоклассный салон. За мой счет вам сделают стильную стрижку, научат макияжу. Я подберу вам кое-что из своей бижутерии.

Охваченная новой, внезапно пришедшей на ум идеей, Роз выскочила из-за стола и пробежалась по кабинету:

— У вас должен быть вид деловой женщины. Я хочу, чтобы вы присутствовали при заключении одного контракта. Быть может, нам удастся выиграть заказ на гостиницу во Флориде. Вы — прирожденный продавец. Ненавязчивая, но цепкая. Ваши манеры пугливой кошечки в со-

четании с моей бульдожьей хваткой должны принести хорошие деньги, — внезапно замерла на месте. — Черт, что делать с вашим английским?! Отлично все понимаете, но боитесь открыть рот. Ладно, еще есть время. Вместо того чтобы дать вам премию и повысить зарплату, я оплачу уроки английского. Запомните, при условии, что будете заниматься не ниже «Б». В противном случае вычту эти деньги из вашего чека. Ненавижу бросать доллары на ветер. И не делайте несчастных глаз. Нужно планировать свое будущее, а не тратить весь заработок на еду и оплату квартиры. Бог помогает только тем, кто не сидит сложа руки. И разберитесь с этими несчастными ножами, вилками. Рыбу нельзя кромать ножом, это опасно! Разрезанной косточкой можно подавиться.

Роз не отступила от своего плана ни на йоту и отвела Нюсю в салон, который сама регулярно посещала уже много лет. Нюся оттуда вышла с незнакомым чувством обновления, словно царевна-лягушка, сбросившая старую кожу. Перемену в ее внешности дома восприняли по-разному.

— Какая же ты у меня красавица! — восхитилась Наталья Петровна.

Нюся сконфуженно покраснела — мать была скупа на похвалы и ласку.

Нюсик же, внезапно выйдя из привычного оцепенения, злобно прошипел:

— Пойди умойся и причешись! У тебя вид валютной проститутки.

От обиды у нее навернулись слезы, но она попыталась обратить все в шутку:

— Ты забыл, что мы в Америке. Тут не только проститутки, а все трудящиеся зарабатывают в валюте, — натянуто улыбнулась Нюся.

— На что ты намекаешь? — вдруг крикнул он. — На жалкие гроши, за которые вкалываешь с утра до ночи в этой убогой лавчонке?!

— Моя дочь не заслуживает такого обращения! — ворвалась в разговор Наталья Петровна. — Нюта своим трудом содержит... — и чуть было не швырнула Нюсику «вас», но перехватив яростный взгляд Нюси, умолкла и насупилась.

Однако было уже поздно. Нюсик ошетинился и перешел в глухую оборону:

— Меня содержит Америка, а не ваша дочь, — отрубил он с кривой ухмылкой.

Как повелось в последнее время в их доме, все кончилось скандалом. С неделю стояла гробовая тишина, и всем троим совестно было смотреть друг другу в глаза. Как ни странно, но эта ссора для Нюси прошла почти незамеченной, хотя раньше любой разлад в семье ранил очень глубоко и она долго даже после воцарения мира перемалывала в себе обиду. Быть может, причина была в ее занятости с утра до вечера.

Теперь сразу после работы, перехватив что-нибудь по пути, бежала на урок. Самое смешное, что Бетти, преподавательница английского, которую наняла Роз, чем-то неувлимо напоминала старушку Бродскую. Та же церемонность, сочетающаяся с дикой настырностью, когда дело

касалось учебы. Такой же носик клюковкой и небольшие глазки цвета хмурого неба. У Нюси от этого сходства через несколько уроков пропала скованность. Теперь даже строча на машинке, она слушала песенки Синатры, от дикции которого Бетти была в восторге. В метро писала сочинения на заданную тему и заполняла клеточки кроссвордов. Все это скрупулезная Бетти потом внимательно проверяла и правила. Мало того, она не оставляла Нюсю в покое даже дома. Ровно в одиннадцать часов вечера раздавался телефонный звонок и Бетти, расставшаяся с Нюсей час назад, вновь церемонно приветствовала ее по всем правилам этикета — точно жила не в современном Вавилоне, где все куда-то спешили, а в чопорной старой Англии.

— Энн, я желаю вам покойной ночи и умоляю, думайте перед сном только по-английски. А это мой подарок, — произносила она с размеренностью и четкостью старой жительницы Манхэттена.

За этим следовала какая-нибудь идиома или поговорка, которую Нюся на завтра должна была обязательно вернуть в разговоре. По субботам и воскресеньям они проводили с Бетти почти целый день. Ходили по бесплатным музеям и концертам, ели в дешевых кафе, любовались витринами. Бетти говорила, что все это входит в программу. Однажды Нюся опасливо спросила, какой у нее средний балл за учебу.

— Какой балл? — удивилась Бетти.

И узнав об угрозе в случае плохой учебы вычесть стоимость обучения из Нюсиной зарплаты, расхохоталась:

— О! В этом вся прелесть моей Роз. Она ненавидит бездельников и не упускает ни цента. Вы не представляете, какая у нее была семья. Никчемный отец, забитая мать и трое детей — все девочки. Роз оказалась самая везучая и крепкая из них. Ей удалось своими силами выкарабкаться наверх. Но с детства работает, как вол, и не завела семьи. Людей уважает или за талант, или за деньги. Остальных не ставит ни в грош. У меня нет ни того, ни другого. Но мне прощается по старой дружбе. Мы знакомы с детства. Наши мамы — дальние родственницы, и обе были родом из одного города.

Новая жизнь все больше и больше поглощала Нюсю. Она уже не пыталась бороться за Нюсика, не вникала в причины раздоров между ним и матерью, просто старалась как можно реже бывать дома. «У меня для этого нет ни сил, ни времени», — оправдывалась перед собой. Хотя иногда думала, что в ней проклевывается другой человек — жесткий и эгоистичный. Душу отводила только с Аленой. У них установились отношения ровни, чему Нюся тихо радовалась. Она не желала, как это случилось между ней и матерью, играть в жизни Алены роль инспекционного генерала, вторгающегося в гарнизон лишь затем, чтобы устроить разгон.

Нюся с головой ушла в работу: с азартом придумывала дизайны, копалась в журналах. Щупала и рассматривала в магазинах ткани, тесьму, стеклярус и блески. Она открывала для себя новый мир, а главное — что может жить одна, без Нюсика. Казалось, тот человек, которого любила, чьей неотъемлемой частью давно привыкла себя считать, остался

там, за океаном. Она осознавала, что прошлую жизнь, как и прежнего Нюсика, вернуть невозможно. А нынешний, выгоревший дотла, стал ей неинтересен и безразличен. Его внезапно вспыхивающая злобность, желание унижить ее были для Нюси просто несносны, хоть она и научилась воспринимать все выпады с ледяным молчанием. Лишь однажды, не выдержав, презрительно бросила:

— Зачем ты с таким усердием топчешь меня? Неужели только для того, чтобы возвыситься в своих собственных глазах?

Он ничего не ответил и вышел из дома. Вскоре вернулся с бутылкой виски и устроился на кухне. Эта была его новая привычка — купив бутылку дешевого виски, от которого несло за версту самогоном, выпивать ее до конца в одиночестве и молчании.

Нюся, глядя на мужа, испытывала чувство омерзения. В ней начисто угасло желание ощущать рядом с собой его тело, напротив, появилась даже брезгливость. И когда он окончательно перебрался на диван поближе к телевизору, в душе была несказанно рада.

Однажды в метро кто-то окликнул: «Нюсики!» Она обернулась не сразу — успела отвыкнуть от этого имени. Это оказались бывший осветитель и его жена, служившая в театре билетершей. Они поговорили несколько минут, Нюся, завидев подошедший поезд, поспешно попрощалась и вскочила в него, хотя потом ей пришлось пересаживаться и ехать в обратную сторону.

На день Благодарения Нюся и Роз поехали во Флориду, совмещая несколько дней отдыха с неделями работы, по темпу не уступающей марафону. Это был стиль жизни Роз. Своими маленькими ухоженными ручками она все-таки вырвала заказ на отель. Вклад Нюси в этом деле был минимальным. И это тоже радовало Роз, потому что втайне она уже слегка ревновала Энн к своему детищу. Ею задумывались коренные перемены. Роз порядком надоели показная простоватость Мадлен, ее кантри-стиль и шумные итальянские шуточки. Она решила переоборудовать магазин. Внести в него утонченность, европейский шик. А Энн с ее умением одеваться и разговаривать с клиентами должна была как нельзя лучше вписаться в этот интерьер. И Роз была в самом прекрасном из своих настроений. Мастерски насвистывая мелодию давно забытого канкана, кокетничала перед Нюсей своим возрастом:

— Видите, Энн, какая я старая.

В самолете, вступив в игру с молодым стюардом, начала ему строить глазки. И даже неожиданно сорвалась перед Нюсей на откровенность:

— Я по натуре Диана-охотница. Погоня за любовью — это прекрасно. Зато сама любовь — просто большая тюрьма. Знаете, какой мой самый впечатляющий роман? — спросила она. — Это роман с самой собой, — и засмеялась, довольная Нюсиным недоумевающим взглядом. — Не беспокойтесь, я не имею в виду ничего противостественного: рукоблудства и всяких извращений. Все гораздо серьезней и глубже. В этом союзе не боюсь ни измены, ни подлости. Я полностью доверяю своему партнеру, то есть самой себе. Этот роман кончится только с моей смер-

тью. Боюсь, Энн, вам этого не понять. Вы склоны к жертвенности. Не могу только взять в толк: это свойство славянской натуры или следствие деспотичной системы? Простите, но меня поражает ваше равнодушие к своему красивому телу.

— Что вы имеете в виду? — настороженно спросила Нюся, по-пуритански скрытная и замкнутая.

— А то, что вы живете без мужчины, — Роз открыто посмотрела Нюсе в глаза, — это по всему видно. Я уже не говорю, что это плохо для здоровья, вашего внешнего вида и настроения. Вы обкрадываете себя. Это какое-то добровольное гетто. Очевидно, в юности начитались русских глупых книжек и считаете, что любовь — отречение от своего «я». Вам нужен повелитель. Моя мама тоже была такой. Всю свою жизнь она знала только одного мужчину — моего отца. Так что мне приходится наверстывать за нее.

5

Вернувшись из Флориды домой, Нюся обнаружила, что мать съехала. Нюсик был в подпитии и, как всегда в таком состоянии, на все вопросы отвечал грубо, невразумительно. И только Алена внесла ясности:

— Мама, не пугайся! Бабушка сбежала под венец с потомком бывшего гусара. Она прислала его фотографию. Между прочим, мужчина не чета моему деду с Пересыпи — голубая кровь, член ассоциации «Любителей русской старины». Они познакомились в библиотеке Толстовского фонда. Бабушка меня держала в курсе дела с первого дня. А тебя ужасно стесняется. И все время причитает: «Какой пример я показываю твоей маме!» Так что будь с ней поласковой. Записывай ее телефон.

Трубку взял мужчина с приятным голосом. Узнав, кто звонит, представился Георгием Георгиевичем и сразу пригласил в гости. Но Нюся, словно новобранец, выторговывающий отсрочку, малодушно сослалась на усталость с дороги и попросила перенести свидание на завтра. Думая о предстоящей встрече с матерью, она заранее предугадывала неловкость и фальшь. На другой день после работы, купив торт и шампанское, поехала по указанному адресу.

Дверь открыла мать. Увидев Нюсю, всплеснула руками и восторженным голосом институтки прошептала:

— Аннушка, я так счастлива! — Затем повернулась в сторону пожилого мужчины с ничем не примечательным лицом: — Знакомьтесь!

Они пили чай из чашек, о которых мать с придыханием говорила, что это настоящий кузнецовский фарфор. В хрустальных розетках золотились ломтики айвового варенья. На столике рядом с лампой лежал открытый томик Тютчева. Георгий Георгиевич, проследив за Нюсиным взглядом, многозначительно отметил: — Ваша матушка очень тонко чувствует поэзию. У нее безупречный литературный вкус. В наше время это большая редкость.

— Не захваливай меня! Не захваливай! — воскликнула мать своим новым восторженным голосом и по-девичьи зарделась.

Начала взалхлеб рассказывать, что Георгий Георгиевич, хоть и родился на чужбине, но всю жизнь был увлечен Россией. Прекрасно пишет и читает по-русски и кроме английского владеет немецким и французским. К сожалению, ему не удалось получить образования, но у него врожденная интеллигентность, и это самое ценное, что может быть в человеке. Мать стала упрашивать, чтобы он показал что-нибудь из своей коллекции. А когда Георгий Георгиевич вышел в другую комнату, буднично сказала, что пенсия у него маленькая, чуть больше ее пособия. Но он приготовился к старости. У него в Нью-Джерси есть домик. Конечно, глушь. Без машины ни шагу. Но домик уютный. И жить там они будут безбедно. Человек он неплохой и не мелочный, а что до его причуды с коллекцией, то это не так страшно, потому что собирает мелкие копеечные вещи, охотясь за ними на блошиных рынках. Но тут вошел Георгий Георгиевич, и она снова переменилась. С живым, неподдельным интересом начала перебирать пуговицы и значки с советской символикой. Потом они стали строить планы. Через неделю переехать в свой дом и обустроиться. А весной, до которой уже рукой подать, отправиться путешествовать.

— Я хочу отвезти Натали в Барселону. Это ее мечта.

— А твои блошинные рынки? — лукаво сказала мать и кокетливо погрозила пальцем.

Нюся, холодно глядя на нее, ощутила укол ревности: «Перед отцом она никогда так не лебезила. Неужели причина только в материальных обстоятельствах? Или это еще одна попытка раствориться в жизни другого человека?»

После чая Нюся стала прощаться, неловко и многословно оправдываясь за свою торопливость и обещая в скором времени навестить опять, хотя в душе понимала, что сюда ее больше не заманить. Наталья Петровна пошла провожать и, прощаясь, прошептала:

— Постарайся наладить отношения с мужем. Поддержи его. Теперь, когда не буду путаться между вами, надеюсь, тебе это удастся.

— Спасибо, мама, — сказала Нюся сдавленным голосом и поцеловала мать в щеку, а про себя подумала: «Я — бесчувственная дрянь. И не только по отношению к матери, но и к Нюсику тоже, хотя они оба этого не заслужили».

Придя домой, прошла в комнату, где обосновался Нюсик, села на его диван и, сама не веря в свои слова, устало сказала:

— Послушай, давай попробуем жить по-человечески, как прежде.

— Не мешай мне, — грубо отрезал он, — выйди и не смей заходить сюда без стука.

Она, сама не зная зачем, начала объясняться, что да, что-то сломалось между нами, но все еще можно исправить. Нюсик, нажав на кнопку пульта, усилил звук телевизора и притворно засмеялся. Шло какое-то шоу. И, не понимая в нем ни слова, он смотрел его, как немое кино.

Когда Нюся наконец ушла, открыл настежь окно, чтобы проветрить комнату. Он ненавидел приторно-сладкий дух, исходящий от кремов и помад. Это ассоциировалось у него с продажной любовью, которую ради любопытства испробовал в юности. И потому, как только сошлись, строго-настрого запретил Нюсе всякие женские уловки, внушая — все должно быть натуральным: «Красота или есть, или ее нет. У тебя с этим делом все в порядке». И, словно удостовераясь в сказанном, начинал оглаживать ее. Нюся заливалась счастливым смехом: «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои». Ластясь, точно кошка, подставляла всю себя его губам, ладоням и страшно гордилась тем, что с первого дня их близости он как бы стал хозяином ее тела. И то, что теперь Нюся, напужанная, напудренная, с подведенными глазами, смела появляться перед ним — появляться в таком непотребном виде, — вызывало бешенство. Нюсик воспринимал это как вызов. А ее попытка примирения казалась лживой уловкой, имеющей скрытую подоплеку. «Она хочет затаскать меня к себе в постель. Ей нужен мужчина», — злорадно думал он.

На улице бесновалась метель. Попадая в колодец двора, пометавшись между стенами домов, умиралась, утихала и стелилась покорной поземкой. Нюсик отошел от окна и окинул взглядом комнату — разномастные стулья, колченогий комод, стол с ободранными ножками, продавленное кресло. Все эта мебель по приезде была ими подобрана на свалке, а затем Нюсиными руками вымыта, вычищена и застелена пестрыми шалами, накидками, и салфетками. И это желание замаскировать унижительную нищету, которая все равно проглядывала то там, то здесь, угрюмо демонстрируя выбоины, извилистые следы шашеля и глубокие царапины, вызвало в Нюсике прилив ярости. Он начал со злобой срывать пестрые куски материи, призванные скрыть убогую действительность их нынешней жизни. «В этом она вся, со своей показухой, фальшью, обманом, — Нюсик с ненавистью топтал жалкие тряпки, точно в них было заключено все зло мира, — я презираю эту бабу, хоть она и содержит меня». Теперь он Нюсю иначе как бабой не называл, добавляя при этом те самые грязные позорные слова, которые были в ходу в компании прыщавых подростков их местечка. И вдруг увидел на полу тряпичную куклу. Не отдавая себе отчета, нагнулся и взял её в руки. Она была старая, потрепанная. Нюся сшила её для Алены, когда той исполнился год. Кукла получилась потешная — с крошечным алым ротиком, черными дугами бровей и широко раскрытыми голубыми глазами. Алена назвала её мама-Нюта. Нюсик бережно расправил на ней пестрое платье и начал пристально разглядывать, точно увидел в первый раз. Внезапно понял, что она чем-то неумовимо напоминает ему юную Нюсю: то же наивное выражение лица, та же распахнутость глаз. В тот же миг в нем ожил прежний свежий запах её кожи, схожий с запахом едва проклюнувшейся молодой листвы. И это вызвало новый прилив ярости. «Ненавижу!» — выдохнул он сквозь стиснутые зубы, отшвырнул от себя куклу и с маху бросился на диван. Накрылся с головой одеялом, повернулся лицом к стене. И тут в глубинах его тела

возникло желание. Скорчившись, он крепко сжал взбунтовавшуюся плоть и неожиданно для себя всхлипнул.

После неудавшегося примирения Нюся старалась приходить домой ближе к полуночи. Она оставалась как можно дольше на работе, а потом ее выручало метро. Садилась не глядя на любой поезд, ездила по разным маршрутам, тупо уставясь в окно или пробегая глазами по строчкам какой-нибудь книги. Ее опора — интересная работа, которой отдавалась всей душой, внезапно иссякла. Теперь Нюся только тем и занималась, что строчила целыми днями, следуя указаниям Мадлен. Роз если и появлялась, то изредка и ненадолго. О чем-то коротко переговорив с Мадлен, тут же исчезала. И когда Нюся однажды решила напомнить ей о флоридском заказе, посмотрела невидящим взглядом и прошла мимо. А Мадлен, отбросив всякие церемонии, притесняла Нюсю, где только могла, выговаривая за любую мелочь. Эмми работала молча, не ввязываясь ни в какие разговоры. У нее на Филиппинах остались трое детей, она только о них и думала.

Нюся понимала — нужно срочно менять работу, после ухода матери все расходы легли на нее. Нюсик по-прежнему не работал. Его мизерного пособия и тех денег, что она получала в «Гнездышке», едва хватало. Нюся долго раздумывала, наконец решила взять день отпуска, с тем чтобы поискать место в одном из магазинов нижнего Манхэттена. У выхода из метро внезапно наткнулась на Роз. Нюся хотела было проскользнуть незамеченной, но застыла: ее поразили одутловатое, желтое лицо Роз, нелепая чалма на голове и неожиданно крохотный, почти детский росточек. Лишь спустя мгновение сообразила, что в первый раз видит Роз в туфлях без каблучков.

— Что вы здесь делаете в рабочее время? — отрывисто спросила Роз.

Нюся начала было оправдываться, краснея и лепеча, и вдруг, разозлившись на себя, пошла в открытую:

— Ищу работу.

— Понятно. Того, кто падает, подталкивают. — Роз усмехнулась, и у Нюси упало сердце. Перед ней стояла старушка, в которой не осталось и следа от энергичной и уверенной в себе Роз. — Эта дуреха Бетти все растрезвонила. Она с детства не отличалась особым умом. Не удивительно. Чем человек добрей, тем глупей.

— О чем вы? — спросила ошеломленная Нюся.

— Вы ничего не знаете? — Роз пожалла плечами. — Хотя что это меняет? Идемте со мной. Мне может понадобиться ваш совет.

Они подошли к витрине одной из лавочек, где были выставлены парики.

— Этот ничего. Как по-вашему? — Роз ткнула пальцем. — Зайдем, посмотрим. Еще совсем недавно хозяином этого заведения был Карлос, гей из Гринвич Виллидж. Когда-то я отделявала ему квартиру. Полгода назад он умер от ВИЧ. Хотя какая разница от чего. Главное, чтобы не скоропостижно. Я не люблю неожиданностей. К любому делу нужно

подготовиться. В том числе и к смерти. — Они поднимались по лестнице, Роз останавливалась на каждом марше. — У вас в семье здоровая наследственность? Это очень важно, — задыхаясь спросила она.

— Роз, что с вами? — крикнула чуть не в голос Нюся.

— Только, пожалуйста без этих русских истерик, — поморщилась Роз. — Мой папа бился головой об стенку, когда умерла мама. Знаете, что я ему сказала? «Лучше бы ты это делал, когда мама была жива». И поверьте, я не пожалела ни разу о своих словах. Потому что он, как все мужчины, был эгоист и себялюбец. Ну что вы смотрите на меня так? Со мной случилось то же, что и с моей мамой! У меня — рак! — с вызовом бросила Роз.

Их взгляды скрестились, и Нюся с ужасом подумала: «Боже мой, это правда! У нее глаза потерявшейся болонки».

— Конечно, я лечусь. Хотя и не ставлю всю их медицину ни в грош. Они испортили мне грудь. Оставили какой-то сморщенный мешочек. Вы помните, я загорала во Флориде топless? Мне не стыдно было обнажить свою грудь. Она у меня была, как у молодой девушки.

Нюся молча кивнула: «Так вот что значат ее слова, которые однажды обронила, словно невзначай: “Не хочу никому ничего оставлять в наследство — ни денег, ни болезней”. Это сидело в ней как заноза».

— И теперь травят меня какой-то дрянью, — угрюмо продолжала Роз. — Уверю вас, это узаконенный способ грабежа. Полагаю, скоро умру, если не от рака, то от их лечения. Из всех сестер я осталась последняя. Но одно время надеялась, что мне удалось обмануть природу. Была такая идиотская теория — все дело в недостатке мужских гормонов. С какими ублюдками я спала ради этих гормонов! Меня до сих пор воротит с души. Но я говорила себе: «Роз, это вроде лекарства». Знаете, сколько я вобрала в себя этих гормонов? — Роз громко рассмеялась. — Больше, чем у меня здесь было волос. — Она сдернула чалму, и Нюся увидела голую, маленькую головку. — Ну, как вам это нравится?

— По-моему, стильно, — храбро сказала Нюся, — туфли на низком каблуке, бритая голова, рубашка навыпуск, две верхние пуговицы должны быть расстегнуты и, заправленный под ворот, мужской галстук припущен.

— Я от вас рехнусь, Энн, — рассмеялась Роз, — вы невинны, как рождественская овечка. Иметь дочь на выданье и не знать этого скабрезного анекдота о припущенном мужском галстуке. Послушайте, о чем вы разговаривали со своими подругами? Надеюсь, не только о ваших любимых пирожках?

— У меня не было подруг, — ответила Нюся. — Были знакомые, сослуживицы, соученицы, а подруг не было. — И внезапно подумала, что раньше даже не замечала их отсутствия — вся ее жизнь была заполнена Нюсиком.

— У меня тоже. Бетти не в счет, это моя семья, — печально сказала Роз. — Я еще в детстве решила: моим самым надежным другом в жизни будет банковский счет. Ведь дружба, как и любовь, норовит сожрать тебя

всю без остатка, а я всегда дорожила своей независимостью и отпущенным мне временем.

Роз уже перевалила за середину сеансов химиотерапии. Теперь каждая инъекция сопровождалась судорогами, тяжелыми приступами одышки и тошноты. Она обдумывала ситуацию, прикидывая и так, и эдак. Даже вовлекла в это дело Бетти, чем привела ту в состояние волнения и паники. Бетти не могла припомнить ни одного случая за время их сосуществования, когда Роз потребовался бы ее совет.

— Давай я за тобой буду ухаживать, — поспешно, с обмиранием сердца вызвалась она. А в мыслях было лишь одно: «Значит, дело обстоит совсем плохо».

— Еще чего! — решительно отвергла Роз. — Бью пари, у тебя от волнения обязательно случится сердечный приступ. И тогда я на своих трясущихся старых ногах, обрыгивая полы, буду бегать по лестницам, вызывать чертова доктора, подносить лекарство, мешки со льдом и компрессы.

— Может быть, попросишь Сэлму? — робко предложила Бетти.

— Она слепая, как сова, и реагирует только на доллары.

— Тогда найми медсестру.

Но Роз находила разные увертки:

— Во-первых, ты отлично знаешь, сколько у меня антиквариата. Я хочу умереть своей смертью, а не быть застреленной или, хуже того, задушенной в собственном доме. Во-вторых, я на дух не терплю этих клоунов в белых халатах. Выгодней позвать гробовщика. За свои деньги я получу добротный дубовый гроб и кусок земли, который до прихода Мессии будет непрерывно расти в цене, — упиралась Роз, доводя своими мрачными шутками Бетти до слез.

— Как же быть? — спросила сломленная безвыходной ситуацией Бетти.

— Что ты думаешь об этой русской девочке? — как можно небрежнее бросила Роз.

— Энн прекрасный человек. Тонкий, добрый, честный.

— Прекрати лить сироп! — оборвала ее Роз. — Скажи членораздельно: да или нет.

— Да, да, да!

Так Нюся пересекла порог дома Роз в верхнем Ист-Сайде. Дома, где тучами летала моль, а под кроватями и диванами лежали свернутые ковры, где на столах, стульях и креслах с золочеными гнутыми ножками валялись неразвернутые покупки из антикварных магазинов, а узорный паркет был весь в грязных разводах.

— Ну, как вам мое гнездышко? — с вызовом усмехнулась Роз. — Не смотрите такими глазами. Это все, на что способна моя Сэлма. Она приходит сюда повозить тряпкой по полу и выпить чашку хорошего кофе с марочным ликером. Я ничего не могу требовать — она в моих годах. И плюс у нее дикий артрит. Но мне на этот беспорядок всегда было наплевать. Я сюда никогда никого не приглашала, даже Бетти.

Единственное, в чем нуждалась — свежая постель, чистая ванна и порядок в моем шкафу. Я в этот дом приходила только принять душ, переодеться и переночевать. У меня раньше каждый вечер был заранее расписан. Раз в неделю я ходила в танцевальный клуб и обедала с Бетти. По средам встречалась со своим бойфрендом, вторник, четверг — бассейн и спортзал, у нас собиралась неплохая компания. Остальные дни — театры, загородный дом, деловые встречи.

— Но теперь вам нужен в доме чистый воздух. Где пылесос и швабра?

— Я не разрешаю вам ничего здесь делать. Вы моя служащая, и это неэтично, — воспротивилась Роз. — Конечно, если вы позволите оплатить свой труд, то..

— Роз, оставьте. Я не хочу, чтобы при разговоре со мной у вас в уме мелькали цифры. Кстати, со следующей недели я уже не ваша служащая. Меня взяли на работу в «Миссис».

— Вот как! — ошетижилась Роз. — Значит, вы не верите, что я выкарабкаюсь.

— Вы выкарабкаетесь, Роз. Но я хочу быть независимой. Не намерена больше ни за кого цепляться. И не желаю, чтобы кто-то имел право грозить, что выбросит меня как тряпку.

— Вы намекаете на мои отношения с Мадлен?

— Роз, я хочу с вами держать дистанцию, хотя в этой стране вы единственный человек, к которому я привязалась. Но с некоторых пор я стала бояться сближения с сильными людьми. Они стараются подчинить себе если не весь мир, то хотя бы тех, кто их окружает.

— О господи, я вас представляла совсем другой. Думала, вы из сорта плюшевых, как моя Бетти. Той обязательно нужно вокруг кого-то обвить, чтобы иметь опору. Иногда мне с ней становится тесно и душно: она пытается связать меня по рукам и ногам своей беспомощностью.

— Вы угадали. Я тоже когда-то была такой. Но эмиграция изменила меня. А может быть, ваше влияние, Роз. Вы столько сделали для меня и Алены!

— Что вы понимаете в нашей еврейской бухгалтерии? — перебила Роз. — Мне за каждое мицву⁴ в книге судеб списывается грех.

— Послушайте, Роз, — расхохоталась Нюся, — вам известно, мы с вами почти родственники? Мой Бог, Иисус, родом из простой рабочей еврейской семьи. Так дайте мне шанс тоже списать пару грехов. Что для этого я должна делать? Каждые пять минут наводить справки о состоянии вашего здоровья? Или вы мне позволите начать с уборки?

— Начните со счетов, — пробурчала Роз и кивнула на письменный стол, заваленный пожелтевшими от времени квитанциями. — Терпеть не могу оплачивать телефон, электричество и прочую чепуху. Каждый раз, когда выписываю им чек, мне кажется, я отдаю свой последний доллар.

В конце июня истек срок аренды квартиры. Нюся хотела уехать из этого района, смахивающего на большой крикливый рынок. Несносны были грохот поездов над головой, грязь на улицах, а главное, самодо-

⁴ Доброе дело.

вольство и незыблемость укоренившегося провинциального уклада, который нынешние обитатели Санкоста контрабандой привезли сюда с другого континента. Выветрить этот дух оказалось не под силу ни столице мира, ни океанским ветрам.

Иногда ей казалось, что причина не столько в Санкосте, сколько в Нюсике. Теперь она ни в чем не находила в нем сходства с тем прежним, ради которого была готова в огонь и воду. Он и внешне стал другим: обрюзг, опустился, погас. Нюся корила себя за предательство — но ничего не могла поделать. При виде него накатывали глухое раздражение и пронзающая жалость к себе.

Алена идеи переезда не одобряла:

— Мама, это удовольствие вам будет стоить кучу денег. Подожди, пока папа придет в себя и начнет работать. Тогда вы сможете найти что-нибудь приличное.

Но Нюся упрямо гнула свою линию:

— Это несчастливая квартира. Я больше не хочу в ней оставаться. И потом папа...

— Вот именно, папа. Что между вами происходит? — попыталась ее припереть к стенке Алена.

— Мне тяжело с ним под одной крышей, — выдавила Нюся — и только произнесла это, вдруг поняла, что больше так продолжаться не может и она хочет жить одна.

Теперь предстоял нелегкий разговор с мужем. Нюся долго колебалась, откладывая его со дня на день. Иногда в ней просыпалась детская вера в чудо. Она представляла, что Нюсик грубо и властно, как прежде, скажет: «С чего это ты надумала разъехаться? Совсем сбрендила?!» И они начнут все заново. А потом вдруг пугалась: «Он будет цепляться за меня. И я не смогу его бросить. Тогда все затянется на неопределенный срок. А может быть, и до конца жизни. Разве мало пар, которые тянут свою ляжку изо дня в день, уже ни на что не надеясь? Нет, я не хочу повторять жизнь моих родителей», — твердила она.

Нюся металась, продумывая и обосновывая причину их разъезда. Но все решилось просто и буднично.

В воскресенье утром они столкнулись на кухне. Нюсик вышел из своей комнаты в обвисшей майке не первой свежести с трехдневной щетиной на лице. Он подошел к холодильнику, открыл его и застыл в раздумье. Это глупая привычка всегда нервировала Нюсю. Но раньше она приписывала ее тому, что муж, погруженный в мысли о театре, просто не замечает жизненной мелочевки. «Интересно знать, о каких глобальных проблемах он думает сейчас», — мелькнула у Нюси досадливая мысль. Внезапно ее раздражение прорвалось наружу:

— Закрой холодильник, ты же знаешь, что эта рухлядь плохо морозит! Здесь все дышит на ладан. Отсюда нужно съезжать.

— Переезжай одна, так будет лучше для нас обоих, — угрюмо сказал он.

— Как ты собираешься оплачивать квартиру?

— Что-нибудь придумаю, — безучастно пожал плечами Нюсик. — Не бойся, не пропаду.

— Я тебе оставлю денег на месяц, — пробормотала она.

И ей стало совестно перед собой: «Хочешь откупиться?»

Но другая, новая Нюся, черствая и холодная, взбунтовалась: «Беги, пока он не передумал. Беги отсюда! Спасайся! Ты устала! Тебе не под силу тащить этот груз!»

— Хватит водить меня на помочах! Я не дитя. Переезжай быстрее. Не жди конца аренды, — жестко сказал он и ушел в свою комнату.

За несколько дней Нюся присмотрела недорогую крохотную квартиру в частном доме на втором этаже, в районе Бенсон, заселенном итальянцами. И для верности внесла задаток.

Нюсик в ее дела не вникал. Теперь, потеряв власть над ней и ее телом, он вдруг почувствовал, что Нюся стала ему совершенно безразлична. И это новое чувство несказанно обрадовало его. Точно сбросил с души тяжкую ношу. В нем возникло давно забытое ощущение свободы, легкости и даже уверенности в себе. Он начал строить планы: «Выйду из этой добровольной тюрьмы, устроюсь на работу — безразлично какую, лишь бы содержать себя. И покончу с этим позором, с зависимостью нахлебника. Господи, это же надо, что я с собой сделал!»

Нюсик решил отпраздновать начало новой жизни. Со вчерашнего дня у него оставалось несколько глотков виски. Он достал бутылку из шкафчика, снял отвинчивающуюся пробку, и на него пахнуло острым спиртным запахом. Внезапный спазм сжал его желудок, Нюсик передернулся не то от боли, не то от омерзения. Вылил остатки в раковину. И со счастливой мыслью, что скоро станет единственным жителем этой квартиры, лег спать. Под утро приснилось, будто переплывает Брацлавку — заросшее озеро вблизи их местечка. С каждым взмахом руки его, пугаясь в водорослях, тяжелели от усталости. Страх сковывал движения, он знал, какая глубокая вода под зеленой ряской, какое скользкое, вязкое и засасывающее дно. Чувство безысходности уже начало цепко сжимать сердце, когда вдруг услышал, как зовут его с берега. Босая и простоволосая мать металась с криком отчаяния. «А-а-а, — с болью подумал сквозь сон, — значит, и там, в небытии, нет ей покоя из-за меня». Почти обессиленный, замахал рукой: «Ма, не волнуйся. Я здесь». Так всегда откликался в детстве, когда она тревожным голосом звала его, выглядывая из окна. С силой молотя воду ногами, быстро поплыл к берегу. И уже знал, что доплывет. Должен доплыть.

Утром чуть свет проснулся, несколько минут лежал, собираясь с мыслями. И вдруг почувствовал, что внутри его стали зреть созвучия. Поспешно схватил карандаш и клочок бумаги. Записал еще не совсем сложившиеся строчки. Это было, как замутненное стекло, которое по мере осмысления просветлялось, становилось ясней, ясней, пока к концу дня не стало совершенно прозрачным:

Быть может, смерти нет.
Со сцены — за кулисы,

В жизнь Зазеркалья, в царство девочки Алисы.
Тогда зачем душе — смятение и боль?
Неужто для того, чтоб лучше вжиться в роль?

Это были его первые стихи в эмиграции. И Нюсик понял, что вступает в новую полосу жизни.

В субботу Нюся затеяла переезд. Он вышел на улицу, чтобы помочь грузить ее вещи, хотя особой необходимости в этом не было. Шофер, которого она наняла, с легкостью справился бы один с ее несколькими чемоданами и коробкой. Из общих вещей Нюся взяла лишь немного постельного белья. Она почти все оставляла Нюсику за исключением чудом уцелевших из их разоренного прошлого каких-то мелочей, которыми страшно дорожила.

Среди них был дешевый металлический зажим для галстука, впопыхах купленный ею для Нюсика по случаю вручения ему награды за «Швейка». Нюсина непарная пластмассовая клипса, подделка под перламутр. Вторую она потеряла в Черновицкой гостинице в день рождения «бэсамы». И старая тряпичная кукла мама-Нюта.

Роз, узнав о том, что Нюся переехала, вспыхнула от гнева:

— Почему вы такая скрытная? Никогда не знаешь, что у вас на уме. У меня есть прекрасная студия неподалеку отсюда, в среднем Манхэттене. Она вся завалена барахлом. В ней никто не живет, — с раздражением выговаривала Нюсе. — Я купила ее в свое время за бесценок, чтобы вложить деньги. Мне даже выгодно было бы вам ее сдавать.

— Вы опоздали со своим предложением, — мягко сказала Нюся, разгадав наивную хитрость Роз покрепче привязать ее к себе. И подумала: «Хватит. Я не хочу больше ни привязанностей, ни обязательств».

— Плевать, живите среди этих итальянских мафиози, — сердито сказала Роз и тут же встрепенулась: — Кстати, о мафиози. Вы еще помните этого русского, которому мы делали квартиру в Ист-Сайде? Я навела справки. Оказалось — приличный человек. В Америке около двадцати лет. Конечно, деньги у него новые, но он профессионал. Программист. Сейчас на них сумасшедший спрос. Кроме того, держит школу программистов в среднем Манхэттене. Туда громадный наплыв. Но основной свой капитал заработал на бирже. Я думаю, в год делает не меньше трехсот тысяч, не считая акций.

— Роз, вы случайно не из налогового управления? Откуда такие данные?

— Вы глупышка, Энн. В этом районе Манхэттена друг о друге все знают. Я имею в виду, как только у человека появляются серьезные деньги, на него сразу обращают внимание. А в моем бизнесе нос должен быть по ветру. Я отлавливаю богатых людей везде, где можно: на вечеринках, в спортклубе, на отдыхе. И хоть у нас не принято говорить о своих доходах, но люди догадываются, кто сколько стоит.

— Выходит, я ничего не стою? — усмехнулась Нюся.

— Энн, у вас в голове дикая путаница. Можно иметь кучу денег и быть настоящим дерьмом. К сожалению, это часто встречается. Заметили, у нас не принято жаловаться друг другу на здоровье или обстоятельства? Ни у кого нет ни времени, ни желания вникать в чужое горе. Людям свойственно сторониться неудачников и бедолаг. Считается, что несчастье заразной, чем бубонная чума. Я это видела в детстве на примере своих родителей. Никто, кроме матери Бетти, не навещал нас. Поэтому бессмысленно плакаться в жилетку, если знаешь, что под ней бронированный сейф. А у вас и у Бетти под жилеткой — сердце.

— Я себя плохо знаю, — смущенно пробормотала Нюся, тут же подумав о своем безучастном отношении к матери и Нюсику. У нее даже чуть было не вырвалось: «Вы ошибаетесь». И чтобы перевести разговор, спросила с легким смехом: — Откройте секрет, Роз, какие сокровища хранят в вашем сейфе?

— Чувства и деньги. Все под замком. И чем больше денег, тем меньше места для сантиментов. А денег всегда не хватает, сколько бы их ни имел. Можете смеяться, но когда я бываю в районе Уолл-стрит, то ощущаю в воздухе запах долларов. И это разжигает аппетит. Я понимаю этого русского, который хочет нажать состояние. Кстати, Дэниэл не женат. — Она со значением посмотрела на Нюсю.

— Вы меня сватаете, Роз? Это ваш новый бизнес?

— Когда женщина прекращает спать с мужчинами, единственное, что ей остается — устраивать чужое счастье, чтоб было за кем подглядывать, — засмеялась Роз.

— Но, как вам известно, я замужем.

— Энн, не морочьте мне голову! И не стройте иллюзий. Нужно уметь смотреть правде в глаза. Мой вам совет, не таскайте за собой свое прошлое. Научитесь жить, как змея. Сбрасывайте старую кожу. А теперь о деле. Этот русский приобрел дом в Лонг-Айленде. Хочет, чтоб мы им занялись.

— Но, Роз, я работаю.

— Тут никто не отказывается от приработка — все в долгу у банков и живут не по средствам. Трать и зарабатывай — на этом держится Америка. Вы все еще ни черта не понимаете в здешней жизни, — глаза Роз азартно заблестели, — быстрее открывайте свое дело. Это единственный способ обвести Дядю Сэма вокруг пальца.

— Клянусь! Сто из ста, вы выкарабкаетесь. Зачем вам мужчины? Самый главный роман жизни у вас с Дядей Сэмом, — засмеялась Нюся. — Хорошо, давайте вместе возьмемся за этот дом.

— Не исключено, что я могу не дотянуть до конца договора. — Роз пылливо посмотрела на Нюсю, словно от той зависел срок ее жизни.

— Все мы не вечны. Но упускать из-за этого такой лакомый кусочек просто глупо. Представляете, какой ковер сможете отхватить на этот куш, — неловко отшутилась Нюся, чувствуя, как от жалости и сострадания у нее першит в горле.

— Вы настоящая акула, Энн. Только переговоры — за вами. Не могу же я появиться перед этим Дэниэлом, таким красивым мужчиной, в чал-

ме и практически без бюста, — с наигранной кокетливостью вострепелась Роз.

— Мы скажем, что вы поменяли пол и перешли в мусульманство. Вы же сами меня учили: главное — поразить воображение клиента, — в тон ей отозвалась Нюся.

6

Была середина сентября. Нестерпимая липкая удушливая жара уже спала. Цветы, трава, деревья, словно очнувшись от обморока, вдруг обрели новое дыхание и краски. Казалось, их подстегивало предчувствие близящейся зимы.

В субботу утром Дэниэл заехал в Бенсон за Нюсей. Ей предстояло снять размеры и оговорить вчерне план реконструкции дома.

— Эnn, вы не хотите взять купальник? — неожиданно предложил Дэниэл. — Дом на берегу океана, вы сможете поплавать. Я предлагаю поехать на целый день.

— На целый день? — неуверенно переспросила она.

— А почему нет, если вы располагаете временем? — и пожал плечами. — Ко мне приедут гости, будет барбекю, а потом я вас отвезу домой. Но если вы против, то, как только закончите дела, я вас подброшу до электрички.

Нюся поднялась к себе. Махнув рукой на условности, переделась в легкий сарафан и босоножки. Захватив полотенце и купальник, вышла на улицу. Увидев ее, он распахнул дверь серебристого «Порше»:

— Устраивайтесь поудобней. Извините, один звонок, — вынул из кармана сотовый телефон, набрал номер. — Я на пути в Лонг-Айленд. К восьми буду дома. Целую, хани⁵, — захлопнул крышку телефона. — Поехали! — и завел машину.

«Значит, у него кто-то есть, — равнодушно подумала Нюся. — Ну что ж, по крайней мере, не будет приставать».

— Открыть верх? — предупредительно спросил он, нажал на кнопку, крыша, сложившись в гармошку, откинулась назад. — Меня подкупило, что дом стоит на берегу океана. Люблю плавать. Ничего, что я говорю по-английски? Мне так легче.

— Все равно, — вежливо кивнула Нюся.

— Это хорошо, — одобрительно сказал он и включил музыку. — Вы не возражаете?

— Мне нравится.

— Вы знаете, откуда это? — Он искоса посмотрел на Нюсю.

— Да. Вивальди. «Времена года».

— Вот как, — неопределенно хмыкнул он и умолк.

Нюся наслаждалась ветром, который бил в лицо, мягким ходом машины, музыкой и внезапно ниоткуда взявшимся ощущением беззабот-

⁵ Душенька.

ности и покоя. Ей хотелось ехать и ехать, не останавливаясь. И когда машина затормозила у двухэтажного особняка с балконом, невольно вздохнула.

Они вошли в дом. Нюся начала снимать план помещений. Дэниэл куда-то исчез, а потом вдруг появился в шортах, фартуке и сказал:

— Все готово для барбекю. Можем начинать жарить мясо.

— У меня не закончена работа, — воспротивилась Нюся, — и потом ваши гости еще не приехали.

— Им было назначено на 12. Я не привык никого ждать, — с раздражением сказал он, потом взял Нюсю за локоть и указал через застекленную веранду на океан. — Искупаемся?

Она поднялась на второй этаж в одну из спален и переоделась. Выглянув через окно, увидела, что Дэниэл все еще топчется на берегу, очевидно, ожидая ее. «Что ему нужно от меня?» — с досадой подумала Нюся. Выйдя на задний двор и стараясь не смотреть в его сторону, она побежала к воде. Дэниэл ее догнал, разогнавшись, нырнул, обдав брызгами прохладной воды, и исчез из вида. Нюся отплыла подальше, легла на спину и, глядя в небо, залюбовалась пушистыми скользящими облаками. Одно из них смахивало очертаниями на горбоносый мужской профиль. Она вскользь подумала, что оно чем-то напоминает Дэниэла. Но тут подул ветер, облако начало менять свою форму. «Все вокруг так же непрочно, как это облако, — мелькнула у нее печальная мысль. — Смешно строить планы и растрачивать время на копание в себе. Пора научиться жить сегодняшним днем». Когда она вышла на берег, Дэниэл поспешил ей навстречу с полотенцем в руках. Нюся смутилась, съежилась и пробормотала:

— У меня есть свое.

— Послушайте, — он холодно посмотрел на нее и заносчиво сказал: — Если вы думаете, что я хочу вступить с вами в близкие отношения, то глубоко ошибаетесь. Я нанял вас для определенной цели и только. А что касается чаевых, которые вам тогда прислал, то это был жест благодарности. Вопросы есть?

— Нет. — Нюся зло прищурила глаза. — Дайте мне свой адрес, завтра я отошлю их обратно.

— Мне это нравится, — он перекинул полотенце через плечо и засмеялся. — Мне вообще многое нравится в вас: вы не такая крикливая и развязная, как американки, знаете, кто такой Вивальди, не обхватываете себя руками, перед тем как зайти в воду, не приседаете, не визжите и плывете ровным хорошим кролем. Вы умеете молчать, а это вообще уникальное качество. У вас осмысленное выражение лица, что большая редкость для женщины с красивой фигурой. — Он скользнул взглядом по ее плоскому, подтянутому животу и подумал, что мышцы ее лона, наверное, такие же упругие и тугие; с вызовом спросил: — А каким требованиям должен соответствовать мужчина, с которым вы хотели бы иметь секс? — и небрежно добавил: — Мне просто любопытно. Я уехал из Рашки юнцом. Никакого опыта общения с русскими женщинами, в

этом смысле, приобрести не успел. Так что это абстрактный вопрос и не имеет к нам с вами никакого отношения.

— А также к работе, для которой вы меня наняли, — усмехнулась Нюся. — Но я отвечу. У меня нет требований. Я должна его любить.

— Если бы вы посмотрели сейчас на себя, вы бы умерли от смеха: волосы мокрые, губы синие от холода, вся в песке. И туда же, о любви. Не слишком ли многого вы хотите от этой треклятой жизни? Идите в дом, примите горячий душ, а я пока приготовлю чай. И не экономьте на полотенцах. Я вкалываю, как раб на галерах, не для того, чтобы мои гости после душа вытирались своими носовыми платками.

Когда Нюся спустилась вниз, то увидела, что приехали его гости. И вздохнула с облегчением. Это были две русские пары средних лет. Говорили они на смеси русского с английским, что звучало комично. Из разговора Нюся поняла, что все они занимаются программированием. Дэн представил ее как дизайнера, и одна из дам тотчас стала приставать к ней с вопросами: легко ли найти работу, как она оплачивается. Потом начался совершенно не интересный для Нюси спор, куда вкладывать деньги. И тут мнения разделились. Одни говорили — в акции, другие — в покупку домов. Дэнисл в спор не ввязывался. Только, усмехнувшись, сказал:

— Деньги — это слуги. Они должны работать день и ночь на своих хозяев. Но за ними, как и за слугами, нужно следить в оба.

Было суматошное застолье, и Нюся, тихонько ускользнув в дом, занялась делом. В семь начали разъезжаться. Дэнисл залил угли водой, проверил, все ли окна закрыты, и они сели в машину.

— Вы не хотели бы по пути изложить свои пожелания? — предложила она. — Завтра я их оформлю и вышлю вам по факсу. Вы внесете замечания. И тогда составлю окончательный вариант для договора.

— Я не обсуждаю такие вещи на ходу, — отрывисто сказал он.

— Тогда назначьте мне время и место, где мы можем все обсудить.

— Назначаю. Записывайте, — Нюся послушно взяла ручку и открыла блокнот, — через пятнадцать минут в моей спальне. Кстати, я ею не пользуюсь.

— Почему? — упавшим голосом спросила она.

— Вы не учли, что в спальне со шторами цвета фиалок нужно спать с женщиной, а не одному. Ну так куда мы едем? Сейчас будет развилка. Решайте быстрее.

«Когда-нибудь это должно случиться, — подумала Нюся, — не с ним, так с другим. Я не хочу жить как монашенка и не желаю цепляться за то, чего уже не существует».

— У меня нет выбора. Я должна исправить свою оплошность, — резко сказала она.

И машина свернула в сторону Манхэттена.

Все произошло не так, как она себе представляла. Он оказался деликатным, внимательным, и она даже испытала удовольствие. Но после, словно опомнившись, отодвинулась на край кровати и натянула на себя

простыню. Из столовой лилась тихая музыка. Она звучала приглушенно, точно издалека.

«Успокойся, — сказала себе Нюся, — да, это не “бэсама”. Ну и что с того? Зато теперь ты свободна. Кончилось это наваждение».

— У меня давно не было секса. Это заметно? — обронил он.

— У меня тоже, — чуть слышно прошептала она.

«Боже милый, — мы с ней как жертвы кораблекрушения», — подумал Дэниэл и придвинулся к Нюсе. Их плечи соприкоснулись.

— Вы поверили, что у меня кто-то есть, когда я говорил по телефону?

— Да, — ответила Нюся, а про себя подумала: «Какое мне до этого дело? Сейчас я встану, схожу в душ и все с себя смою. Плохо, что мне придется с ним встречаться. Если бы не Роз, я бы плюнула на этот контракт и распрощалась».

— Послушайте, — он потянулся и нажал на кнопку автоответчика, стоящего на тумбочке. «Целую, хани», — раздался его голос из автоответчика. — Я позвонил сам себе, — смущенно засмеялся Дэниэл.

— Зачем? — удивилась Нюся.

— Откуда я знаю? А вдруг бы вы оказались стервой, которая охотится за мужиком с деньгами. Такие здесь сплошь и рядом.

— Но теперь вы убедились, что это не так. И будете изредка привозить меня сюда, иметь со мной секс. И вам не нужно будет опасаться за ваши деньги. Они будут верно вам служить днем и ночью — и даже во время нашего полового акта.

«Остановись! — приказала она себе. — Это истерика», — и прикусила губу.

— Ничего, Энн, все пройдет, — он обнял ее, притянул и погладил по голове, — там, где вы сейчас, я тоже был. Мне страшно вспомнить, что творилось со мной в первые годы. Как я рвался назад, в свое прошлое, и как презирал благополучных и сытых. Пока не захотел стать одним из них. И тогда все стало на свое место.

...Они начали встречаться. Ходили по ресторанчикам средней руки, в кино, на концерты. Иногда коротали вечера у него дома. Он работал на компьютере, а Нюся рисовала эскизы для его заказа или копалась в библиотеке. У него было множество нот, книг по музыке, художественных альбомов и английских романов. Однажды, неожиданно для себя, наткнулась на полку с эротическими книгами. Она без интереса пролистала одну из них. Потом взяла альбом и открыла его наугад. Страницы были разделены матовыми листами тончайшей шелковистой бумаги. Нюся осторожно отвернула один из них и замерла в изумлении. На развороте был изображен триптих. Слева — женщина с гривой медно-рыжих волос, разметающихся, словно от ветра. На беззащитном оконечном мысике ее тела курчавая поросль перерастала в алый цветок с распахнутыми лепестками. Справа — мужчина, меж раздвинутых ног которого примостилась хохлатая птица с загнутым клювом и распростертыми сильными крыльями, уже изготовившаяся к взлету и хищно нацелившаяся на цветок, что пламенел, как открытая рана. А в середине,

разделяя мужчину и женщину, к небу вздымался высокий столб огня. Нюся прочла надпись: «Грех» и взбунтовалась. Неужели то, что когда-то неразрывно связывало ее и Нюсика, их «бэсама» — всего лишь грех?

— Энн, у вас вид подростка, подглядывающего через замочную скважину. — Дэниэл посмотрел через ее плечо и рассмеялся. — Неужели вы никогда не видели таких книг — Хау ю мэйд лав⁶?

Нюся глянула на него исподлобья и чуть не заорала в голос: «Я не делала любовь! Она была внутри меня, распирала, как плод, и подкатывала к самому сердцу». Но совладала с собой и все свела на шутку:

— Хотите стать моим учителем? Я не против. Только вы заранее должны предупреждать: «В следующий уикенд отрабатываем номер 54». Я буду готовиться.

— Послушайте, — неожиданно резко сказал Дэниэл, — оставим технику секса в покое. Хотя еще римляне говорили: «Учись всему». Вы в своей Рашке привыкли везде и во всем выезжать на вдохновении и порыве. Если хотите пробиться в этой стране и обскакать местную братию, — нужно все делать на отлично. Не потому, что они такие высококлассные специалисты. Я бы этого не сказал. Но эмигрант начинает с низов, с самого дна. И для него существует только один глагол — «должен». Перечеркнуть прошлое и вывернуть себя наизнанку — другого пути нет. Я примчался сюда после школы. Один. Хотел поступить в Джулиар⁷. Молодой талант. Сыночек мамин. Ни денег, ни связей. Жил в подвале с мексиканцами и спал на матрасе, подобранном со свалки. От него разило мочой, потом и чужим семенем. Перевозил мебель вместе с черными, а у меня руки до этого ничего, кроме клавиш, не знали. Двое из них были гомики. Как они надо мной издевались, какие шутки откалывали! Я поклялся: сдохну, но прорвусь. И — прорвался. Хотя на музыке пришлось поставить жирный крест.

Она подумала: «А что получил взамен? Кучу барахла плюс страх, что с тобой хотят спать только из-за твоих денег». И язвительно спросила:

— Никак не могу взять в толк, к кому вы себя причисляете? Вы отмежевались от России, но и американцев не считаете своими.

— Я гражданин своей собственной державы. Если мы с вами сумеем понять друг друга, то нас станет двое. И это будет неслыханный демографический взрыв в моей стране. — Он притянул ее к себе и поцеловал в кончик носа. — У вас здесь очень смешное местечко, Энн. Когда вы злитесь, ваши ноздри начинают раздуваться, как у молодой лошади.

Они разговаривали на чужом для нее языке, в котором не существует родного «ты»; он называл ее холодным именем Энн. И это воздвигало между ними незримый барьер. В минуты ярости наличие этой преграды почему-то несказанно радовало Нюсю. «Я допускаю тебя до своего причинного места, но не дальше. И делаю это исключительно ради того, чтобы

⁶ Как вы делали любовь.

⁷ Музыкальная академия в Нью-Йорке.

ублажить себя. В мою сердцевину тебе хода нет и не будет», — со злорадством думала она по-русски. Нюся не понимала, что удерживало ее рядом с ним. Скука жизни? Страх перед одиночеством? Или потребность тела, нуждающегося в мужской плоти?

...На Рождественские праздники они полетели на Багамы. Здание аэропорта с крышей, крытой пальмовыми ветками, было украшено гирляндами цветов. Влажный, жаркий, пропитанный запахами каких-то экзотических растений воздух окутывал с головы до ног. После заснеженного Нью-Йорка все казалось нереальным и зыбким. Их привезли в отель. У входа стояла громадная, украшенная шарами искусственная елка. А рядом с ней среди густой, зеленой травы — олени, запряженные в сани, и Санта-Клаус. Служащий отеля, смуглый латинос в шортах и рождественском красном колпачке, отороченном белой опушкой, подхватил чемоданы.

Им отвели трехкомнатный номер с крытым патио. Нюся вышла во дворик и ахнула: вокруг маленького пруда, в центре которого бил фонтан, высоко поднимая ноги, точно в церемониальном марше, вышагивали цесарки. Их белоснежное оперение переливалось на солнце серебряными блестками. Изредка одна из них останавливалась и, выгнув гибкую шею, погружала клюв в воду. А на противоположной стороне — возле пальмы с плоской кроной, раскрывшей веером свои листья, застыли розовые фламинго. Нюся глядела во все глаза, замерев от восторга.

— Вам нравится? — Дэниэл положил ей руку на плечо. — Тут еще есть павлины. Я здесь не первый раз. Это очень дорогое место, но оно стоит таких денег.

И в его самодовольном тоне, и в упоминании о цене ей почудился отголосок их недавней ссоры.

— Да. Здесь действительно хорошо, — отстранившись, сухо сказала Нюся. — Пойду приму душ и прилягу с дороги. Где мне можно расположиться? — спросила она, желая подчеркнуть свое положение гостьи.

— В любой комнате, — процедил он и выругался про себя: «Злопамятная дрянь».

Нюся стояла под струями прохладной воды, в голове ее роились горькие мысли: «Это тупик. Нужно немедленно рвать. Нас ничего не связывает, кроме постели. К тому же он ошалел от своих денег. Конечно, мои 8 долларов в час для него просто смех. Он ясно дал мне понять, что смотрит на меня как на нищенку».

Их раздор, внезапно вспыхнувший за неделю до отъезда, начался с того, что она захотела внести половину платы за отпуск. Дэниэл сперва по-барски небрежно бросил:

— Вам это не по карману. Конечно, вы можете влезть в долг по кредитной карточке. Но это капкан. Люди годами не могут из него вырваться, — а потом вдруг сорвался на крик: — Мне надоело потакать вашей гордыне! Свой отпуск я хочу провести так, как привык. Хватит того, что таскаюсь с вами по каким-то обжоркам, ведь вы каждый раз

требуете отдельный счет. Но хорошего понемножку. Я не буду лететь в самолете, поджав ноги, ютиться целую неделю в крохотной комнатке и заталкивать в себя пищу. Зачем я работаю, как проклятый?

Конечно, ей нужно было смолчать, но в нее словно бес вселился:

— Мне кажется, — сказала она со всем ехидством, на которое была способна в ту минуту, — что я тоже не соответствую уровню ваших доходов. Для пятизвездочной гостиницы вам нужно что-то помоложе и поэффектней.

Она в первый раз увидела его в такой ярости. И даже слегка струхнула.

— Дура, — просипел он, — носитесь со своей бедностью как курица с яйцом. Почему не учитеесь? Почему не водите машину и довольны своей голубятней в Бенсоне? Красивая женщина с хорошим вкусом — это не профессия. Через пять лет от этой идиотской работы в «Миссис» у вас ноги станут, как колоды. Что вас там держит?

И здесь Нюсе нечем было крыть. В отделе тканей, где она работала продавцом-консультантом, с утра до вечера толпились капризные покупательницы, стреляли глазами фискалящие друг на друга товарки. Штат состоял из таких же, как Нюся, свежеиспеченных эмигранток. Американкой была лишь высокомерная женщина-менеджер, худая, мужиковатая, носившая грубые ботинки на шнуровке и прямые блузы навыпуск. Она устраивала Нюсе вежливые, но беспощадные выволочки по любому поводу. Правда, до Нюси дошли смутные неясные слухи, что все поправимо. И Рождество самое подходящее для этого время. В отделе даже ходил подписной лист. И хоть Нюся посчитала это унижительным, но все же достала из кошелька десять долларов.

После ссоры Нюся и Дэниэл, точно испытывая характер, несколько дней не перезванивались. А потом оба опамятались, начали юлить друг перед другом. Но осадок остался. И когда Дэн мимоходом упомянул о том, что это дорогой курорт, Нюсе послышалась в его голосе нота самодовольного превосходства. «С ним все понятно, — сказала она себе, — ему не хотелось ехать одному в отпуск, а найти другую женщину в такой короткий срок не так-то просто. Но зачем ты-то потащишься следом? Когда, наконец, научишься слову “нет”? Или ошалела от одного слова “Багамы”?»

Она вышла из ванной, надела пижаму и легла на диван, стоящий против окна. Из него была видна пальма с ее зелеными листьями и кокосовыми плодами. Подул ветер, раздался сухой шорох жестких листьев. И вдруг вспомнила декораторскую их кукольного театра. Историю с Таней. Картонную пальму, что чуть было не обрушилась на Нюсика в самый критический момент. И заплакала.

«Напрасно я затеял эту историю, — Дэниэл лениво покачивался в гамаке, глядя на волны, — нужно было ехать одному, как это было в прошлые годы. Хорошо, что захватил лэптоп и учебник по «Джаве»⁸. Будет чем заняться. А с ней нужно кончать. Устал от ее капризов. Наверно, у нее

⁸ Компьютерный язык.

проблемы с бывшим мужем, хотя Роз сказала, что между ними все конечно. Какое мне дело до этого? Я не собираюсь участвовать в похоронах ее прошлого. Она вещь в себе. Мы встречаемся уже три месяца — и ни разу не обмолвилась ни словом ни о своей взрослой дочери, ни о матери. Всё тайна — даже то, что имеет музыкальное образование. К тому же ненамного моложе меня, с ней невозможно завести детей. А без этого нет семьи. Нельзя тянуть, в моем возрасте уже заводят внуков. Нужно через агентство вызвать из глубинки России — Свердловска или Саратова — тихую образованную девочку. Домовитую, без претензий и ненавязчивую. Я не могу растрчивать себя на эмоции при таком сумасшедшем темпе. Работа и так сжирает меня с потрохами. Но без этого невозможно заработать настоящих денег. У меня нет выбора. Так что лучше сразу взять женщину с ребенком — развитым, способным, послушным мальчиком лет трех, чтобы мог начать, не откладывая, лепить из него человека. Пора строить тыл».

— Сэр.

Он повернул голову и увидел официанта, который подкатил тележку с коктейлями. Дэниэл кивнул, заказал мартини со льдом и попросил, чтобы принесли костюм для подводного плавания. Он уже отдохнул и решил обследовать прибрежное дно. «Я не имею права портить себе отпуск. Год был тяжелый, необходимо восстановиться, — его лицо стало суровым и жестким, — а следующий будет еще хуже. Нужно готовиться к спаду. Пересмотреть свои акции и ликвидировать те, что не внушают доверия».

Тренер принес костюм для подводного плавания и помог его надеть. Дэниэл, шлепая лапами, пошел к кромке берега, где уже ждала лодка. Он вернулся через полчаса, неся в резиновом мешке свою добычу. «Для первого раза неплохо», — похвалил себя и, сняв костюм, высыпал на столик собранные со дна ракушки, обломки кораллов и камешки, один из которых с яркими красными и золотистыми вкраплениями ему особенно понравился. Он положил его на солнце. На его глазах камешек начал блекнуть, сереть. В досаде отбросил его и вдруг под ногами увидел точно такой же. «Это твой стиль жизни, — горько усмехнулся Дэниэл. — Ты не привык брать то, что само идет в руки. Тебе нужны препятствия. И там, где их нет, ты их создаешь, — снова подумал об Энн: — Может, тем она тебя и привлекает, что ее нужно завоевывать».

Дэниэл взял полотенце и пошел в гостиницу. В номере было тихо. Он заглянул в комнату, дверь из которой вела в патио. Энн лежала на диване, вытянув сомкнутые ноги, со сжатыми в кулаки руками. Он заметил на ее лице следы слез, опущенные уголки губ. «Боже милый, она точно стойкий оловянный солдатик, который может надеяться в этом мире только на себя». Все его рассудочные мысли вдруг улетучились. Ему захотелось прижать ее к себе, защитить. И он не мог понять, то ли это внезапно вспыхнувшая человеческая жалость, то ли плотское желание.

Нюся открыла глаза. Он наклонился, чтобы сказать ей какие-то душевные теплые слова, но не нашелся и, скрывая смущение, стал дурчаться:

— Мадам, перед вами старый одинокий человек, — подsunул одну руку ей под шею, другую под коленки и притянул к себе, — в прошлом — профессиональный жиголо. У меня есть дипломы, солидный стаж и рекомендации от особ королевской крови. Вы хотите посмотреть их, мадам?

— Я вам верю на слово, — засмеялась Нюся, невольно включаясь в игру.

— Позвольте научить вас французскому поцелую. Поверьте, вы ничем не рискуете. Мне от вас ничего не нужно. Но если я вам неприятен... — вопросительно посмотрел на нее. Нюся поняла — это не шутка, что-то дрогнуло в ней, и она положила руки ему на плечи. Тотчас тон его стал повелительным, строгим: — Закройте глаза, сосредоточьтесь. От головы до пяток вы сейчас принадлежите мне. Ну как? — спросил он через несколько секунд.

— Я стараюсь, — серьезно ответила Нюся, лежа с послушно закрытыми глазами.

Дэниэл нежно обхватил ее лицо руками и начал осыпать его частыми мелкими поцелуями: виски, лоб, веки, щеки, уголки губ. По телу Нюси пробежала волна тепла. И вдруг всплыла дразнящая картинка «Грех»: хищная птица и пылающий цветок. Она невольно притянула Дэниэла к себе. И в ту же секунду он впился в ее рот властным поцелуем, губы ее раскрылись, и она, как до смерти оголодавший птенец с широко распахнутым клювом, жадно подалась навстречу ему.

Они проснулись на закате и решили до ужина поплавать в океане. Пока Дэниэл мешкал на берегу, Нюся вошла в воду и быстро поплыла вперед. Ей хотелось побыть одной, чтобы разобраться в наваждении, которое внезапно охватило ее. «Что произошло за эти несколько часов? — думала она, заплывая все дальше и дальше. — Да, он всколыхнул меня, достал до самого донышка. Со мной давно такого не было. Но это только постель, не больше. Дело в другом. Кажется, я начинаю понимать: его пунктик — деньги. Быть может, пытается с их помощью защититься от безумия этого мира? Ведь он страшно одинок. А ты? — спросила себя Нюся. — Алена и мама не в счет. У них своя жизнь». Стремясь отогнать эти тревожные мысли, нырнула и поплыла под водой.

Дэниэл не спеша, наслаждаясь вечерней прохладой, прошел к пристани, изредка бросая взгляд на ее пестрый купальный чепчик, мелькающий между волнами. Окинул взглядом горизонт. Снова посмотрел в ту сторону, где по его расчетам должна была быть Энн. Не найдя ее, понял, что потерял из вида. Небо стало быстро темнеть. Волнуясь, решил поплыть навстречу и бросился в воду. Но тут вблизи послышались всплески.

— Энн! Дарлинг⁹, свитхарт¹⁰, это вы? — крикнул он.

Всплески приближались. Прерывисто дыша, она подплыла, ухватила за его плечо и сказала по-русски:

⁹ Дорогая.

¹⁰ Любимая.

— Не говори мне больше никогда этих фальшивых слов: «дарлинг», «свитхарт». У меня от них просто мороз по коже. И я не хочу слышать от тебя этого имени «Энн». Меня зовут, — она хотела сказать: Нюся, но что-то кольнуло ее, и она вытолкнула из себя: — Анна, — подпрыгнув, обхватила руками и ногами его туловище.

Он качнулся, но устоял. И рассмеялся. Она повисла на нем, по-детски прижалась холодным носом к его щеке и прошептала в самое ухо:

— Как тебя звали дома?

— Дома? — неуверенно, хрипло повторил он вслед за ней по-русски. — Даня, Даник. Я был долгожданным и единственным.

На Рождество у них был зарезервирован ресторан. Он еще в Нью-Йорке предупредил ее, чтобы захватила с собой вечернее платье. Нюся вначале опешила, потому что никакого вечернего платья у нее никогда не водилось. А потом помчалась в магазин тканей, где среди немерных кусков со скидкой купила набивной шифон и в тон ему кусок шелка. Целый вечер она убила, раскладывая материал так и эдак, потому что его было в обрез. В конце концов решила сделать лиф с глубоким вырезом и тонкими бретельками, скрещивающимися на спине, а юбку короткую, почти мини спереди, плавно переходящую в трен. И вот теперь, стоя перед зеркалом в этом платье, с волосами, подобранными вверх, Нюся подумала: «А ведь я не так уж стара. И впереди еще целая жизнь». Она открыла дверь и позвала его в спальню. Он вошел уже одетый в токсидо. Белая рубашка оттеняла его загорелое и помолодевшее лицо. Стал за ее спиной, осторожно поправил бретельку и поцеловал в затылок.

— Сколько стоит это платье? — спросил Дэниэл и прижал ее к себе. — Наверно, кучу денег. Я хочу заплатить за него. Это будет мой новогодний подарок.

— Сэр, — торжественно произнесла Нюся, — перед вами женщина, не имеющая привычки бегать по модным магазинам. Она покупает в лоскутном магазине остатки и сама шьет из них себе наряды. Вас не оскорбляет моя голая спина?

— Глупышка, — произнес он по-русски. — Ненавижу расфуфыренных баб, которые прячут свои жировые складки, оборачиваясь рулонами материи. Скрывать такую спину — преступление против человечества. — Его пальцы заскользили вдоль Нюсиного позвоночника и нырнули в низкий вырез платья.

— Тебе повезло, будь там еще один кусок, я бы соорудила что-то вроде косоворотки, под самое горло, — засмеялась Нюся, а ее тело, откликаясь на прикосновения, уже невольно напряглось. — Давай не пойдем в этот дурацкий ресторан. — Она свела лопатки, прогнулась, и, закинув голову, посмотрела на него в зеркало. — Отмени заказ. Тем более что эта затея стоит сумасшедших денег.

Дэниэл насторожился, точно услышал фальшивую ноту. Что происходит? Она непрерывно бравирует своим аскетизмом и не только не стесняется своей бедности, но даже выставляет напоказ. Конечно, это

уловка. Как он не догадался раньше? Другие женщины грубо требовали от него или добивались капризами подарков и удовольствий, она же исподволь, хитростью пытается обрести над ним власть. Но его не проведешь, он много лет живет начеку, блюдя принцип: «Не открывай ни перед кем ни своего кошелька, ни сердца». Лицо Дэниэла стало холодным, недоверчивым:

— Мне еще не приходилось видеть женщин, которые не любят, когда на них глазеет толпа мужчин, — а рука его, словно не в силах остановиться, продолжала скользить по Нюсиному телу, живя своей отдельной сладострастной жизнью.

— Я не люблю толпу. Давай проведем вечер вдвоем. Расстегни мне платье.

Он сморщился, рывком дернул замок. Нюся ловким движением сбросила с плеч бретельки. Платье соскользнуло на пол, смеясь, она переступила через него и, пряча свое смущение за игривостью, спросила:

— Сэр, вы не желаете повторить с бедной девушкой урок французского поцелуя?

— Я — скромный человек, — Дэниэл бросил на нее иронический взгляд, — знаю, чего стою. Неужели мои фамильные ценности произвели на вас такое впечатление? — двусмысленно усмехнулся. — Уверен, есть мужчины значительно богаче меня и не только в этом отношении. Этот ресторан как раз такое место, где можно с ними завести знакомство. — Он хотел еще что-то добавить, но Нюся, вдруг резко развернувшись, ударила его по щеке.

— Все! С меня достаточно! — гневно выкрикнула она. — Пошел к черту со своими ценностями. Я плевать на них хочу!

Он недоуменно посмотрел на нее и неудержимо начал смеяться. И вдруг цепко схватил за плечи, яростно потряхнул и произнес грубое русское по-русски.

— Надеюсь, вы знаете это слово. В мое время в Рашке им были написаны все заборы. Это и есть фамильная ценность. Даже в стране победившей нищеты, по которой вы так скучаете, мужчине оставили этот предмет, иначе как бы он мог делать детей? — взял ее за подбородок, посмотрел в глаза. — Чего ждете? Плюйте! — и вдруг хрипло сказал по-русски: — Я — дерьмо! Прости! Мне показалось...

— Ты не виноват, все дело в том, что тебя не раз обманывали, — прошептала она.

— Ты не представляешь, во что превращаются люди, когда дело касается денег. Они готовы на все, даже убить друг друга.

— И ты такой же? — тихо спросила Нюся.

— А чем я лучше? — ответил он по-русски. — Это не оправдание, но чтобы их заработать, ухлопал добрую половину моей жизни.

Незадолго до полуночи они вышли из номера в купальных халатах, нагруженные пледами, полотенцами, бутылкой вина и сэндвичами. Давясь от смеха и перемигиваясь, сдали невозмутимому портю ключ от номера. Но в последний миг не удержались, обернулись и, перехватив

его изумленный взгляд, расхохотались. Выйдя из гостиницы, наперегонки бросились на пляж. Было тихо и пустынно. Они сдвинули два топчана. Нюся застелила их пледом. И, сбросив купальные халаты, нагишом вошли в воду. Небо было ясное, усыпанное крупными яркими звездами.

— А у нас там, — вдруг с тихой печалью сказала Нюся, — совсем другое небо. Ты заметил? Здесь не видно луны!

— Давай договоримся никогда ничего не сравнивать. Yesterday — history, tomorrow — mystery, today is today¹¹, — и прижался к ней.

— Поплывем? — Не дожидаясь ответа, Нюся легла на воду.

«Он прав, — подумала она, — хватит мусолить прошлое». Дэниэл взял ее за руку, и они поплыли, разрезая водную гладь. Вслед им серебристыми бурунчиками вскипали мелкие волны. Они вышли на берег продрогшие и зверски голодные.

— А сейчас мы возьмем на ложе патрициев. — Дэниэл тщательно, как и все, что он делал, вытер Нюсю полотенцем, надел на нее халат, закутал в плед и, откупорив бутылку, заставил ее сделать несколько глотков. Потом примостился рядом и с аппетитом начал есть сандвич. — У меня еще никогда не было такого рождества, — сказал он, отряхивая крошки.

Но Нюся ничего не ответила. Она спала, крепко обхватив его руками. Он долго лежал, боясь пошевелиться. Потом тоже провалился в сладкий сон, а когда проснулся, то увидел, что небо начинает медленно, словно нехотя, светлеть. Через серую дымку утреннего тумана стали пробиваться мазки ярких лучей, как отблески далекого пожара. На его глазах небосвод постепенно заливало розовым заревом. Он хотел разбудить Нюсю, чтобы она увидела восход солнца. Но, посмотрев на детское выражение ее лица, вдруг почувствовал укол жалости и заботливо подоткнул плед у нее за спиной. Внезапно ему стало страшно. «Что со мной происходит? Зачем я приманиваю ее? Она не представляет себе секса без тех близких искренних отношений, от которых я давно отвык и боюсь как огня. То, что оказалась из редкой породы бессребрениц, особенно опасно. От нее не откупишься. Все это сущее безумие. Зачем впускаю ее в свою жизнь? Я привык жить один, никому не доверяя ни самого себя, ни своих денег». Но тут она зашевелилась. Не открывая глаз, выскользнула из халата и прижалась к нему теплым сонным телом. Как громадная волна, его настиг, подхватил и понес прилив крови. И он забыл о своих трезвых рассуждениях, о знобких страхах. Забыл все, кроме той тайной науки природы, которой был одарен, как и все живое, при рождении.

...Новогоднюю ночь Дэниэл и Нюся решили отпраздновать в открытом маленьком ресторанчике. Было ветрено. Брызги прибоя изредка долетали до веранды, нависшей уступом над океаном. И тогда пламя свечи, стоящей на их столике, колебалось и опадало. Они заказали креветки по-

¹¹ Вчера — это история, завтра — неизвестность, а сегодня — это сегодня.

цыгански, рыбу барракуду, белое вино и сидели в ожидании официанта. Между рядами ходил небольшой музыкальный ансамбль: коренастый мужчина в сомбреро, с гитарой, и две хрупкие девчушки. Подойдя к их столику, мужчина на ломаном английском спросил Дэниэла, что исполнить для дамы его сердца, и вопросительно посмотрел на Нюсю. Та внезапно смеялась, секунду помедлила и вдруг сказала: «Бэса ме мучо».

Они запели на три голоса. Безыскусно и трогательно. Нюся слушала, прислонившись к плечу Дэниэла, покачивая в такт ногой и улыбаясь, глядя, как одна из девчушек, подняв руки, шелкала кастаньетами, а другая — потряхивала маракасами. Но внутри Нюси шла тайная работа. Она точно прислушивалась к себе — больно или не больно. В это время на маленьком столике подвезли вина. Бармен взял одну из бутылок, обернул ее в салфетку и, налив на дно бокала, дал попробовать Дэниэлу. Тот одобрительно кивнул, бармен разлил вино по бокалам. Нюся сделала несколько мелких глотков.

— Отличное вино, — сказала чуть осевшим голосом. И, пристально глядя на колеблющееся пламя свечи, печально подумала: «Со времен Черновиц это мой первый Новый год без Нюсика. Всё. Нет “бэсамы”». Умерла». Но другая Нюся, опытная, битая жизнью женщина, как-то умудряющаяся уживаться все эти годы с восторженной девочкой, рассудочно покачала головой: «Все имеет свое начало и свой конец. Ничего нет вечного».

В канун отъезда, прогуливаясь по берегу, они случайно набрали на рыбацкую деревушку. В центре ее высилась крохотная церковка, вокруг которой теснились низкорослые бунгало, окруженные заборами. Солнце уже клонилось к закату. Жара стала спадать. Но на улице все еще было безлюдно. Из-за угла, попыхивая короткой трубочкой, появился пожилой негр. Увидев Нюсю и Дэниэла, стал знаками приглашать войти в один из дворов: «Сувенир, сувенир, дешево», — повторял он. Под навесом на скамье сидела худая женщина. Рядом с ней высилась груда разноцветных ракушек. Она ловко нанизывала их на леску. Увидев гостей, женщина сдержано кивнула, встала и вошла в дом. Через широко распахнутую дверь Нюся увидела глинобитный пол, два топчана, покрытые домоткаными покрывалами, и стол. Женщина вынесла во двор связку бус, несколько браслетов и пару безделушек. Все они были сделаны из ракушек и мелких кораллов. Она разложила их на скамейке и вопросительно посмотрела на Нюсю.

— Наверное, нужно что-нибудь у нее купить, — неуверенно пробормотала Нюся.

— Только если понравится, — небрежно сказал Дэниэл и, взяв коралловый браслет, начал его разглядывать.

Женщина выбросила в воздух две растопыренных пятерни.

— А у мадам губа не дура, — засмеялся Дэниэл и положил браслет на место.

Старик заискивающе улыбнулся, обнажив ярко-розовые младенчески-беззубые десны, и сказал, отстраняя женщину в сторону: «Пять».

Насупившись, женщина села на лавку и вновь принялась нанизывать ракушки. Но вдруг насторожилась и, ни слова не говоря, выскочила со двора, а следом за ней — старик. Нюся и Дэниэл недоуменно переглянулись и тоже вышли на улицу. Со стороны океана, в облаке пыли показались пикап. Через несколько минут он затормозил около двора. В открытом кузове, на бумажных мешках, громоздились одна на другой большие серебристые рыбы в муаровых темно-серых разводах. Самая верхняя, с округлой головой и уже чуть затянувшимся пленкой, но все еще ярким глазом, в котором, казалось, отражается голубизна безоблачного неба, простерлась во всю длину кузова. Её хвост, распластавшись веером, закрывал заднее стекло кабины. Женщина, подбежав к машине, вскочила на подножку, что-то возмущенно прокричала, дернула на себя дверцу, ударила мужчину кулаком в грудь и заплакала. Смеясь, он пригнул ее к себе и начал целовать. Затем мягко отстранил, спрыгнул на землю, подошел к кузову, откинул задний борт, посмотрел в сторону Нюси и Дэниэла и сказал на ломаном английском:

— Не уходите. Сейчас жена будет жарить рыбу на вертеле. Вы никогда еще не ели такой рыбы. — Покосился на женщину и усмехнулся: — Сердится на меня. Говорит: «Почему задержался на два дня?» — он пожал плечами. — Разве ей объяснишь? Шел косяк. И я остался, хоть знал, что она волнуется.

Он кивнул старику, и они вместе начали разгружать пикап. Через полчаса посреди двора была установлена жаровня, на которой пылал огонь. Женщина ловко вращала прут с нанизанными кусками рыбы. Капли прозрачного сока, падая на угли, шипели, издавая можжевельный запах.

В гостиницу Нюся и Дэниэл возвращались уже затемно, взявшись за руки. Они шли босиком по самой кромке берега. С тихим плеском накатывали волны. Вода приятно холодила ноги. От дневной духоты уже не осталось и следа.

— А рыба действительно отличная. Я такой не пробовал ни в одном ресторане, — сказал Дэниэл.

— Иногда мне кажется, — задумчиво проронила Нюся, — для счастья нужно не так уж много.

— Угу, — насмешливо откликнулся Дэниэл, — просто судьба должна время от времени подкидывать белого человека с кошельком, полным зеленых бумажек, и косяк рыбы, который сам прет в твои сети.

«Значит, зеленые бумажки и полные сети превыше всего», — с горечью подумала она, стараясь незаметно освободить пальцы из ладони Дэниэла.

Утром следующего дня Нюся начала паковать вещи. И когда что-то не влезло в ее чемодан, стала утрубовывать его. Он задумчиво смотрел на ее сосредоточенную возню и вдруг сказал небрежным тоном:

— Не мучайся! Положи ко мне. Все равно съезжаться, — точно речь шла о простом и обоюдно решенном деле.

— Ну-ка помоги мне, сядь на чемодан, — словно не слыша его, потребовала Нюся. Наконец защелкнула оба замка, выпрямилась, отвела со лба волосы и, серьезно глядя ему в глаза, сказала: — Я еще не готова к переезду.

— Хорошо. Съедемся, когда будет закончен дом, — равнодушно произнес Дэниэл. А сердце забилося, точно благополучно прошел над пропастью и не сорвался. Но в то же время почему-то было ужасно досадно. И он никак не мог разобраться в этом запутанном клубке охвативших его чувств.

Нью-Йорк встретил их снегом, завихрой и пронизывающим ветром. Дэниэл взял такси. Когда подъехали к Нюсиному дому, не стал выходить из машины. Наскоро поцеловал ее в щеку и, помахав рукой из окна, вздохнул с тайным облегчением. За неделю соскучился по своей упорядоченной, одинокой, наполненной работой жизни. Шофер донес Нюсин чемодан до двери, попрощался, приложив два пальца к фуражке. Она проводила взглядом машину. И потащила по крутой лестнице на второй этаж свой чемодан. А когда открыла дверь, зазвонил телефон.

— Мама! Наконец-то! Приехала! А у меня новость! Поздравь! Через месяц буду вести сама целое отделение. Уже есть макет афиши: «Пляски гетеры», — возбужденно частила Алена в трубку, — мне нужна легкая туника, на манер древнегреческой, и длинный шарф. Постарайся как можно скорей пошить и вышли по почте.

— Значит, ты опять не прилетишь? — упавшим голосом спросила Нюся.

— Мама, извини, не могу. Ты же видишь, как все складывается, — и вдруг спросила делано небрежным тоном: — Как вы там с Дэниэлом? У тебя это серьезно?

— Не знаю, — помедлив, ответила Нюся, — понимаешь, он чужой. Я не чувствую с ним родства, мы — разные. Когда встретила папу, меня сразу оглушило. А тут...

— Почему не звонишь ему? — ревниво выпалила Алена. — Вы двадцать лет были родными людьми. Столько вложили друг в друга. Ну, хорошо, кончилась любовь. Разошлись. Но что-то же осталось? Например, я, — и нервно хихикнула.

— Не звоню? — растерянно повторила Нюся. — Но это выше моих сил! Я с таким трудом вырываю его из себя, — с болью сказала она, — корешок за корешком. Иногда кажется — кончено. И вдруг опять прорастает. Не могу!

— Все может наладиться, — неуверенно начала Алена.

— Наверное, во мне начинает проклевываться старческий эгоизм, — перебила Нюся, — но с меня хватит. Хочу быть самой собой, а не чьим-то придатком.

— Это называется свободой, мама. Странно, мне всегда казалось, что она тебе ни к чему.

После того как жена съехала с квартиры, Нюсик вдруг ощутил необычайный прилив энергии, точно ее присутствие связывало его по рукам и ногам. У него возник простой, ясный план дальнейшей жизни — заработать побольше денег и вернуться домой. О том, что дома как такового уже нет и в помине, не задумывался. «Где-нибудь прислонюсь, не впервой, — решил он, внезапно почувствовав себя вновь молодым и полным сил. — Начну все сначала. Соберем со Жмэней народ, организуем труппу. Будем ездить по маленьким городишкам, быть может, махнем в Сибирь, на Камчатку. У Жмэни есть связи, он толковый директор. А там, глядишь, и театр снова затеем». Ему даже смешно стало, как не догадался до этого раньше и целый кусок жизни ухнул впустую.

Он разорился на несколько свежих русских газет и, внимательно просмотрев колонку объявлений, выбрал наугад с десятка. Ему было совершенно безразлично, чем заниматься. Главное — быстрее заработать деньги. На следующий день спозаранку сел на телефон. К вечеру уже понял: везде требуются лишь молодые, хваткие, привычные к любой работе мужчины. Это совершенно обескуражило его. Но тут вспомнил, как Нюся в их первую осень в Нью-Йорке собиралась устроиться на работу в русский магазин, и воспрял духом.

С утра тщательно побрился, надел свежую рубашку и вышел на улицу. В эту пору было еще малоллюдно: с десятка озабоченных прохожих, спешащих на работу, да три-четыре старухи, выгуливающие собак. Черноволосые, коренастые, широкоскулые мексиканцы подметали тротуары, поливали их из шлангов, выносили столы, раскладывая на них овощи и фрукты. И Нюсик подумал: такая работа ему под силу.

Войдя в первый попавшийся русский магазин, он увидел на стене прямо против входа большой плакат: «Покупатель, посмотри на наши прилавки — и ты поймешь: твоя жизнь удалась!» Нюсик невольно усмехнулся и спросил у женщины, стоящей за кассой, где можно увидеть директора. Та удивленно вскинула подрисованные брови.

— Я имею в виду хозяина, — смутился Нюсик.

— Зачем он вам? — грубо спросила женщина.

— Я ишу работу, — несмело ответил он и тотчас обозлился на себя за непонятно откуда взявшуюся робость.

— Вам нужен менеджер. — Женщина окинула его оценивающим взглядом с ног до головы и крикнула куда-то вглубь магазина: — Сэм, к вам пришел мужчина!

Менеджер оказался невысоким полным брюнетом средних лет. К поясу его была пристегнута увесистая связка ключей. Он зорко посмотрел на Нюсика.

— Ишет работу, — угодливо улыбнулась кассирша.

— Вы от кого? — спросил менеджер. Нюсик растерянно молчал. — Документы есть? — и вдруг прикрикнул на кассиршу: — Займись делом! — Та съежилась, засуетилась. — Иди за мной, — приказал Нюсику

и двинулся в подсобку. — Давно приехал? — на ходу бросил он. — Кем там работал? — внезапно резко остановившись, повернулся к Нюсику лицом. — Четыре доллара в час кэшем¹². Будешь раскладывать товар, разгружать машины, работа с семи утра до десяти вечера. Недостача высчитывается из жалованья. Поймаю на воровстве, избыю, сдам в полицию. Завтра принесешь документы. Какие есть, — и пошел, даже не оглянувшись.

Нюсик вышел из магазина оглушенный и униженный. С ним еще никогда в жизни никто так не разговаривал. Он решил, что ноги его больше здесь не будет. И начал методично, один за другим прочесывать кварталы Санкоста, не пропуская ничего — будь то жалкая лавчонка или шикарный ресторан. В некоторых его встречали, точно нищего — гнали прямо с порога, в других — вступали в переговоры, в третьих предлагали зайти завтра или через неделю, а то и через месяц, авось что-нибудь появится. Но почти везде разговор начинался с вопроса: «Кто вас прислал?» К концу дня Нюсик подвел итог: больше, чем у Сэма, ему нигде не заработать. И даже сделал грубый подсчет. Вышло, что при свирепой экономии ему нужно будет от силы проработать до конца лета, после чего — вольная птица! На радостях позвонил Жмэне, и тот чуть не расплакался:

— Шо за вопрос? Будешь жить у меня! Я ж один, як перст. Места хватит. Мож и правда театр подымам разом. А как же Нюся?

Нюсик резко оборвал разговор и попрощался. Лишь в эту минуту он осознал, что Нюся для него окончательно, бесповоротно потеряна. И это его пронзило, точно кто-то саданул в глубине, за ребрами, тупым ножом. Он подождал несколько минут, но боль не проходила, а, напротив, усиливалась. «Неужели она так много значит для меня и я не смогу без нее существовать? Но это абсурд! Жил же до нашей встречи, даже бывал счастлив».

Нужно было немедленно прояснить природу этой боли, до конца понять. Иначе было не ясно, как в дальнейшем с ней уживаться: дышать, спать, двигаться. Чтобы успокоиться, стал, рассуждая, расхаживать по квартире. «Из-за кого я убиваюсь? Из-за этой приспособленки? Там она пылинки с меня сдувала. Потому что я был известен, имел имя. А здесь чуть ли не с первого дня стала смотреть сверху вниз, словно я — ничтожество, и указывать, как жить. А едва стала на ноги — бросила».

«Но неужели человек может так разительно измениться за год? — спросил он себя. — Вероятно, я многого не замечал. Ведь главным всегда была работа. Не ври, — бесстрастно уточнил Нюсик. — Не работа, а успех у публики. Пошли дальше. Итак, ты считаешь, что там она использовала тебя? А помнишь, как изображал из себя мачо? Когда не ладилась работа и жизнь для тебя теряла вкус, ты делал вид, что приударяешь за кем-то. Это встряхивало ее. Она в возбуждении начинала часто облизывать губы. Они чуть обветривались, слегка вспухали, становились пунцовыми, а

¹² Наличными.

каемочка, очерчивающая их, коралловой. Ты дергал ее за ниточку, как марионетку, а потом исподтишка наблюдал за вскипающей в ней яростью. По опыту знал — все переплавится в такой жар, что вы оба несколько недель будете ходить как шальные. В театре поражались вашему нескончаемому медовому месяцу, и никто не догадывался, что ты, провинциальная посредственность, намеренно держишь ее в струне. Конечно, способный и вдобавок упертый. Но таких великое множество! Имя вам — ремесленники. Великое, Божеское — не для вас. Поэтому каждый новый взлет для тебя был мукой. Ты постоянно нуждался в трамплине. И этим трамплином тебе служила Нюся. Она должна была опять и опять отвоевывать тебя. На волне ее обожания тебе иногда удавалось прыгнуть выше своей головы. Так кто кого использовал? Это ты ее всегда рассматривал только как свою функцию. Она обязана была следовать за тобой, подчиняться твоим порывам, замыслам, планам. Но все развалилось — вначале империя, в которой вы жили, затем тот мирок, что вас окружал. С тебя облезла вся позолота, не стало ни декораций, ни свиты. Вот тогда Нюся наконец разглядела тебя. И увидела, что ты никакой не король, не гений, а обыкновенная бездарность. А как добытчик — полное ничтожество».

То ли от этих гнетущих мыслей, то ли от знойной влажности нью-йоркского лета ему стало невыносимо душно. Он подошел к окну и рывком его открыл. Из колодца двора пахнуло застоявшимся раскаленным воздухом. На стене дома напротив гибкий вьюнок с пожелтевшими пожухшими листьями рвался к свету, упрямо цепляясь за поросшие лишаем кирпичи.

«Все живое хочет жить, — подумал он, — но ведь и она часть природы. Хотя наверняка это не осознает. Что с того, что приспособленка? Разве ее учили воздействовать на обстоятельства? Ей вдолбили, что она должна приноравливаться к ним. Ею всегда кто-то помыкал: вначале мать, потом — ты, теперь какая-нибудь миссис Смит. И неизвестно, что лучше — тихо плыть по течению жизни или быть лживым рабом. Помнишь, как ненавидел, проклинал и втихомолку подтачивал ту систему, за что срывал дешевые аплодисменты от таких же рабов, как ты? Как в то же время принимал подачки и награды? Гордился ими. А когда система рухнула, ты стал вольноотпущенником и оказалось, что свобода тебе не по зубам. Ты даже не можешь заработать на кусок хлеба насущного. — Нюсик едко усмехнулся. — Молчишь? Хочешь продолжать свою игру в куклы, не вникая в действительность? Парения тебе не хватает? Ну удалось несколько раз, похлопав крыльями, как петух, оторваться от земли и пролететь пару шагов! Что из того? Приземлялся ты у той же навозной кучи и опять тянул свою лямку! — Он обхватил голову руками. — Господи, о чем я? Весь вопрос в том, как дальше жить?» — почти сломленный прошептал он. И вдруг в памяти всплыло:

Ты в этом мире не один,
Доколь есть собеседник эхо —
Всех сиротливых душ утеха
На родине и средь чужбин.

«Сколько же мне было, когда я это написал? Шестнадцать? Семнадцать? Что я тогда мог знать о чужбине и сиротстве? Откуда это? Неужели предчувствие?» — но тотчас грубо оборвал себя: — Перед кем опять раскукарекался?»

На часах был уже первый час ночи. Нюсик вспомнил, что завтра у него начинается жизнь рабочего человека, завел будильник и провалился в сон.

Сэм встретил его хмурым взглядом:

— Пришел? Где документы?

Нюсик протянул ему паспорт и разрешение на работу.

— А похож на нелегала, — сказал Сэм, и в его голосе Нюсику слышалось разочарование. — Петя! — крикнул Сэм, не отрывая взгляда от каких-то бумаг.

В кабинет вошел худой мужчина в переднике. — Вот тебе помощник.

— Но я справляюсь сам, — мужчина враждебно посмотрел на Нюсика.

— А кто жаловался, что много работы? — прикрикнул Сэм. — Всё. Идите.

Они спустились по узкой лестнице в подвал, где вдоль стен были установлены стеллажи, забитые до верха коробками, а по углам громоздились мешки и бочки.

— Погрузи на подъемник. — Петр кивнул на одну из бочек и спросил: — Сколько он тебе обещал?

— Четыре доллара в час.

— Скажи спасибо, если получится три, — отрывисто засмеялся Петр. — Не веришь?

— Как же так? — опешил Нюсик.

— А вот увидишь сам. Меня полгода назад тоже взяли, как тебя. А того, кто работал до меня, уволили. Значит, теперь пришел мой черед.

— Вы что, уснули? — раздался откуда-то сверху голос Сэма. — Где селедка и огурцы?

Петр кивнул на бочку, стоящую в дальнем углу. Нюсик рванулся туда и, неумело обхватив ее руками, попытался сдвинуть с места.

— Ты рехнулся, паря? — удивился Петр. — Так грыжу можно нажить! Ты дома кем работал? Не хочешь говорить, не надо. Смотри, — накренив бочку, покатил ее к подъемнику. — Таких за день нужно погрузить штук десять с соленьями, да сотню коробок с бакалеей, еще молочные продукты, хлеб, мясо, рыба. Не, паря, это нелегкая работа. Ну что уставился? Тащи следующую.

К обеду Нюсик едва держался на ногах. Увидев, что Петр присел на ящик и развернул пакет с едой, опустился прямо на пол подсобки и прислонился к стене.

— Здесь не вокзал и не комната матери и ребенка! — заорал неведь откуда взявшийся Сэм. — Когда один обедает, другой работает. Давай, поворачивайся, — прикрикнул он на Нюсика. — Ходишь, как

беременная корова, а в зале очередь, — и подтолкнул его к лестнице в подвал.

«Сейчас я ему дам в морду», — подумал Нюсик и сжал кулаки. Но тут же взял себя в руки, покорно спустился в подвал.

К концу дня, когда магазин уже был закрыт и Нюсик, шаркая шваброй, мыл зал, пришла машина с арбузами и дынями. Нужно было срочно ее разгрузить.

Домой Нюсик припелся за полночь. Отперев дверь дрожащими от напряжения руками, лег на пол, вытянувшись во весь рост, и закрыл глаза. Он очнулся под утро, принял душ и повалился на постель. Его разбудил пронзительный звонок будильника. Первой же мыслью было бросить к черту эту работу. Все мышцы страшно болели, точно кто-то вчера месил его, как тесто. Но Нюсик пересилил боль и встал. «Три месяца перетерплю, а потом свобода», — утешил он себя и стал собираться на работу.

— А я думал, ты не придешь, — встретил его Петр. — Уж больно хлипкий на вид.

Второй день оказался тяжелей, чем первый. И Нюсик принял решение дотянуть до конца недели, получить свои честно заработанные триста долларов и уйти. Но когда в субботу, вслед за Петром, пришел к Сэму за деньгами, тот обозлился:

— Тебя звали? Чего приперся? Иди работай! Новичкам я плачу через две недели.

Нюсику стало неловко, точно пришел за милостыней. Смешавшись, отошел от стола. Выходной ему выпал на понедельник. И Нюсик провалялся в постели до вечера, словно после тяжелой болезни, то впадая в дрему, то выныривая из нее. А когда пришел на работу, оказалось, что теперь будет работать один.

— А где Петр? — удивился Нюсик.

— Зачем тебе это было? — зыркнул Сэм и презрительно оттопырил губу. — Сам справишься. Все равно все на тебя грузил. Думаешь, я не видел?

Нюсик хотел вступить за Петра, но почему-то оробел и промолчал. Теперь ему приходилось работать без передышки. То и дело на него сыпались окрики и указания. Он скатывался чуть ли не кубарем в подвал, грузил подъемник, нажимал на кнопку, потом взлетал по лестнице, перегружал все на тележку и вез в подсобку или к прилавку. В субботу он снова пришел за деньгами, и Сэм отсчитал ему три сотни.

— А где остальные? — спросил Нюсик. — Я отработал две недели.

— Охренел?! — недобро засмеялся Сэм. — Неделю тебя бесплатно учили, а ты хочешь за это еще получить деньги?! — и нырнул в темный коридор подсобки.

Несколько секунд Нюсик стоял, не двигаясь. Внезапно его подбросил восторг бешенства. Почудилось, что он наконец нашел истинный источник всех своих несчастий. И невозможность заниматься любимой работой, и уход Нюси, и его нынешнее униженное состояние просите-

ля — все сосредоточилось в этом оплывшем самодовольном лице, в этой презрительно оттопыренной губе. Нюсик в несколько прыжков нагнал Сэма, схватил за горло, начал душить. Тот захрипел, замахал руками. Нюсика это отрезвило. Он отшвырнул от себя менеджера.

— Полиция! Помогите! Хэлп ми! — тонким сдавленным голосом закричал Сэм.

Нюсик, не оглядываясь, выскочил в зал, проскользнул между покупателями и, петляя по улочкам, вышел к океану. Двинулся в сторону разоренного, давно не работающего луна-парка, над которым возвышалось застывшее, покрытое ржавчиной чертово колесо. Увидел заброшенный павильон с небольшой сценой и вдруг подумал: «Здесь можно было бы поставить “Рай”. Этот вид на океан выразительней любых декораций. Бездонный простор — вот что нужно! Ведь на земле еще ничего нет».

Он вернулся домой, когда уже стемнело. Вытащил Еву из футляра, посадил в углу дивана. И, обращаясь к ней, точно к живой, произнес:

— А ведь ты и Адам — марионетки в руках Творца! И ваше изгнание из рая — трагедия, поставленная ИМ в назидание. Но кто в ней мы, люди? Лишь зрители? Или нам отведена роль массовки, греческого хора, вторящего героям: «О, горе вам, низверженным из рая!» Может, мы — призраки вашей вины, неотступно следующие за вами по пятам? Жерты первородного греха? Или каждый из рода человеческого обречен переживать трагедию собственного грехопадения? Меняются лишь костюмы и декорации в зависимости от эпохи.

И вдруг почувствовал, как у него похолодело в груди. Это был знак, которого, случалось, ждал месяцами. Поспешно схватил лист бумаги, начал записывать: «Адам и Ева — напольные куклы. Мотивы — инстинкт, страсть. Театр теней — преследующие их призраки вины».

— Но главное действие на авансцене! — Забормотал, торопливо черкая, чтобы ничего не упустить: — Живые актеры: мужчина и женщина из плоти и крови. Их страсть и грехопадение.

Нюсик прикрыл глаза. Представил танцовщицу в телесном трико, сладострастно изгибающуюся и протягивающую между ног символ похоти — алый шарф. Лицо ее было разительно похоже на Нюсино.

— Но концовка?! — Нюсик задумался. — Не могу нащупать верно-го хода.

«Мы скользим по поверхности жизни, как водяные пауки по речной глади, не вникая в суть и боясь познать всю ее глубину. Скрыты сами от себя толщей условностей. Что движет нами? Какое начало? Телесное или духовное? — ощутил, словно наяву, в своих руках чужое горло — мягкое, податливое — и его передернуло от гадливости. — Сегодня, когда душил этого подонка, был зверем, а сейчас — созидатель воображаемого мира! Где граница между этими моими “я”?»

Походил по комнате, развернул лист обратной стороной и записал сразу без помарок:

В этом мире вещей и идей,
В море горьких ошибок, потерь
Наши души — сиротские дети,
Ищут нас средь пожарниц страстей.

Но тут зазвонил телефон, и Алена, как всегда, чуть запыхавшимся голосом с едва заметной детской картвинкой, которая страшно умилила Нюсика, спросила:

— Ну как твоя карьера работника пищеторга «Жизнь удалась»?
— Я ее задушил в зародыше своими руками, — засмеялся он.
— Что случилось? — встревоженно вскрикнула Алена.
— У меня оказалась полная профнепригодность, — уклончиво ответил Нюсик.

— Папа, все чепуха на постном масле, — откликнулась Алена, — главное — не события, происходящие с нами, а наше отношение к ним. Можно быть смертельно больным, старым, одиноким, бедным и радоваться жизни. К сожалению, в большинстве случаев получается наоборот: любая чепуха приводит нас в отчаяние.

— Откуда у тебя это? — От страха за дочь у Нюсика защемило в груди.

— Не пори панику. Я уже взрослая и даже начала потихоньку стареть. Идет естественный процесс познания. Что ты теперь собираешься делать?

— Посмотрим, — как можно беспечней откликнулся он.

Утром отобрал несколько марионеток-зверушек, взял старый коврик, привезенный хозяйственной Натальей Петровной из прежнего дома. Уложил все в сумку и направился в луна-парк. Подошел к заброшенному павильону, огляделся. Вокруг не было ни души. Он поднялся по полусгнившим ступеням на сцену, постелил коврик, достал марионеток и начал работать. Пальцы плохо слушались, и он покрылся испариной от страха, что загубил руки. Пересиливая боль, начал разминать кисть, повторяя одни и те же движения.

На противоположной стороне улицы, заполненной лавчонками старьевщиков, появился высоченный негр с граммофоном. Медный расруб, отражая солнечные лучи, отливал золотом. Негр поставил граммофон на ящик, завел его, и улица наполнилась ритмами бразильской самбы. Нюсик бросил взгляд на голубую гладь океана и сливающееся с ней небо. Казалось, одна стихия перетекает в другую. Его руки и ноги задвигались в такт. Он забыл, что вокруг все мертво — и карусели, и американская горка, и колесо обозрения. Что это не театр, а всего лишь полуразрушенная фанерная будка. Вместо подмостков — грязная, замусоренная площадка. Там, где положено было быть занавесу, — свисали махры пыли. Но ничего этого Нюсик уже не замечал. Главное, он снова работал на сцене! С другой стороны улицы негр замахал ему рукой, засмеялся, блеснув белоснежными зубами, захлопал, широко разводя большие розовые ладони. И Нюсик почувствовал всплеск охватившего его счастья.

ные мускулистые негры с Джамайки, и шумные испанцы, и степенные арабы в белых длинных рубашках, и надменные сикхи в замысловатых чалмах. К своему удивлению, Нюсик вскоре почувствовал что-то вроде родства с этими людьми. Как и он, вырванные с корнем из своей среды, почти безъязыкие, они умудрялись изъясняться с ним знаками и улыбками. Он расстилал коврик, включал магнитофон, ставил коробку для денег и начинал работать. За день набиралось долларов двадцать, в хорошие дни — тридцать.

Нюсик свирепо экономил и покупал только еду. Да и то в лишь в конце дня, после девяти часов, когда в лавочках за бесценок продавали обрезки и остатки. Но к концу лета едва наскреб на половину билета — все пожирала плата за квартиру. Алена, которая аккуратно названивала ему по несколько раз в неделю, предложила помочь с деньгами. Но Нюсик из гордости отказался наотрез.

— Папа, ты работаешь там, где у людей на счету каждый доллар. Тебе нужно податься в Манхэттен, — посоветовала Алена.

— В Манхэттен?! — переспросил Нюсик, чувствуя, как у него засало под ложечкой от страха. — Но...

— Папа, перебори себя. Здесь такой же зритель, как и везде. Американцы даже более щедры и падки на развлечения. Мне тоже вначале было не по себе. А теперь прошло. Лучше всего езжай в Сипорт. Там по вечерам собирается много туристов.

Она толково, обстоятельно объяснила, как туда добраться.

И Нюсик начал осваивать Манхэттен. Выйдя из метро, подхваченный нескончаемым людским потоком, он оказался перед двумя рядом стоящими небоскребами, устремленными к облакам. Подняв голову, залюбовался ими. И его охватила гордость за человеческий род. «Как это несовершенное существо, распятое между низменным и высоким, беззащитное перед раздирающими его страстями и разрушающим временем, оказывается способным на такое?!» — с восторгом подумал он. И, смешавшись с разноликой толпой, почувствовал единение с ней. Его поражала разумная стройная планировка улиц, блистающие стеклом и металлом громады зданий, перемежающиеся храмами. Проходя мимо церкви с высоким портиком и массивными колоннами, услышал русскую речь и замер от неожиданности. На ступенях стояла группа людей с фотоаппаратами и камерами, а пожилой гид в бейсбольной шапочке что-то рассказывал.

— Перед вами собор Святой Женеьевы, — подойдя поближе, услышал Нюсик. — Посмотрите на двери. Это копия фасада Нотр-Дам. Они были вывезены из Франции и на целый век старше самого собора.

Преодолевая неловкость, Нюсик обогнул экскурсантов, поднялся вверх по ступеням и приблизился вплотную к резным дверям.

— Как видите, внизу изображена сцена искушения: Адам, Ева и обвившийся вокруг дерева змей с лицом женщины. Наверху — сцена «Покаяние». Слева — кающийся Адам с протянутой рукой, как бы умоляющий Творца: «Подними из греха меня!» Справа — торжествующая

Ева. Обратите внимание на ее улыбку. И между ними — Дева Мария с Младенцем в окружении ангелов. Это уникальная копия. Я даю вам десять минут на съемку, и далее мы с вами направимся в место, где протекает художественная жизнь города, так называемый Нью-Йоркский Монмартр, к отелю «Сохо гранд».

Гид отошел в тень платана и закурил. Нюсик, не в силах сдержать волнение, робко приблизился к нему.

— Скажите, как по-вашему, в чем смысл этой композиции? Почему в фрагменте «Покаяние» между Адамом и Евой — символ непорочного зачатия?

— Простите, вы из нашей группы? — Мужчина окинул Нюсика внимательным взглядом. — Я вас что-то не припоминаю. Если хотите, можете присоединиться сейчас. Учитывая, что вы пропустили начало, с вас пятнадцать долларов.

Нюсик покраснел, точно его уличили в краже. Ему хотелось объяснить: дело вовсе не в экскурсии. А в том, что людской род оказался в западне. Потому что все мы — и предки, и ныне живущие, и потомки — обречены на грех уже фактом своего рождения. Как разорвать этот круг порока? И если общими усилиями найти ответ на мучительный вопрос, то это изменит не только наши собственные жизни, но жизни многих других: и бездумно шелкающих фотоаппаратами экскурсантов, и куда-то спешащих прохожих. Он пристально посмотрел гиду в глаза, понял — все напрасно. Извинился и отошел в сторону. Дождавшись, когда группа сядет в автобус, вновь поднялся на ступени, вплотную подошел к двери и начал пальцами, точно слепой, ощупывать теплую от солнца резьбу. Постоял несколько минут в задумчивости и пошел в сторону океана. «Парадокс, — размышлял он, проходя по Уолл-стрит мимо здания биржи, — я хочу разгадать тайну целого. А сам — его мизерная частица. Значит, и во мне заключена доля этой тайны».

Сипорт встретил его прохладным солоноватым ветром, деловито снующими яхтами и трехмачтовым парусником, пришвартованным у дебаркадера. Дощатая пристань с бухтами просмоленных канатов и стоящими между ними скамейками соединялась с мощенной булыжником площадью живописно выгнутыми мостиками, украшенными разноцветными флажками. Нюсик огляделся вокруг. Двух-, трехэтажные старинные здания с узкими маленькими окошками, забранными витыми чугунными решетками, кадки с живыми цветами и скверик, огороженный невысокой литой изгородью, показались ему смутно знакомыми. Точно видел когда-то во сне. На старинных часах, в центре площади, пробило шесть. И, словно откликаясь, в ближайшей церкви зазвонили колокола. Вслед им раздался басовитый гудок, к пристани причалил однопалубный кораблик. Из него высыпали туристы. И тотчас все ожило. Открылись двери лавочек и ресторанчиков, забегали официанты, вынося на улицу столики. Показались зазывалы: кто в пиратском костюме, кто на ходулях, кто в костюме Микки-Мауса. Под часами заиграл маленький джаз-бэнд. На пристани появилась девушка в короткой юбочке черного кружева,

вскочив на одну из скамеек, она стала отплясывать канкан, высоко поднимая ноги. А на углу, на маленьком помосте в виде барабана, который услужливо подкатил негр, неподвижно застыла египетская мумия, облаченная от макушки до пят в золотой балахон. И лишь подойдя совсем близко, по ярким белкам глаз и движению зрачков можно было догадаться, что внутри живой человек. Кораблики причаливали один за другим, площадь наполнялась, зажглись фонари, огни витрин и гирлянды маленьких разноцветных лампочек, обвивающих стволы и ветви деревьев. Он попал в сказочный нарядный мирок, словно наконец-то осуществилась мечта его серого местечкового детства.

И Нюсик загорелся идеей попробовать себя в Сипорте. Единственное, что останавливало, — программа. «Марионетки здесь не диковинка, — рассуждал Нюсик, — для представления с перчаточными куклами нужен сюжет, текст». Ему хотелось создать нечто новое, поражающее воображение под стать этому праздничному миру. Внезапно осенило: а что если поставить фрагмент «Рая», танец Евы и Адама?! «Но где взять деньги на костюмы, маски, на еще одну куклу в человеческий рост? И как быть с ассистентом? Ведь одному с двумя куклами не управиться», — думал он по пути к дому. Доставая из кармана ключ от двери, замер точно вкопанный: «А разве театр — не желание тиражировать свое “я” в сознании зрителей? Что это? Видоизмененный инстинкт размножения? А если так, то религия, философия, искусство — попытки воспроизводства подобных не телом, а духом! Быть может, это и есть непорочное зачатие?! Так вот в чем грех Адама! Он овладел Евой, как животное, не одарив ее и частицей души, который вдохнул в него Творец». Эта оформившаяся мысль поразила Нюсика. «А чем ты лучше? — с тихой печалью спросил себя. — Разве хотел поделиться с Нюсей шепоткой своего “я”? Хотя какой может быть спрос с нищего духом?»

После ночных размышлений Нюсик решил, что ничего лучше, чем танец с Евой, ему не придумать. Теперь нужно было подобрать музыку. Он долго колебался, помня Нюсины нападки, но все-таки остановился на «Бэса ме мучо». И даже было какое-то глубинное суеверное чувство, что это его талисман, который обязательно должен принести удачу. Несколько дней ушли на репетицию. Но что делать с костюмом? Черное трико, в котором обычно работал, выглядело нелепо и убого рядом с нарядной Евой, для которой Нюся перед отъездом, отжалев и оплакав занавеску, пошла испанский костюм.

Впервые за долгие годы он вынужден был все до мелочей обдумывать сам, без Нюси. Открыв дверь кладовки, начал копаться в старых вещах. Вытащил забытый ею узелок с лоскутами. Нашел кусок черной материи, вырезал из него треугольник. Повязал нижнюю часть лица. Надел черную широкополую шляпу Нюсиного отца, привезенную Натальей Петровной, словно трофеем, и оставленную за ненадобностью в новой жизни. Туго обмотал талию алым кушаком. «Очень даже неплохо! — похвалил себя, глядя в зеркало. — Настоящий мачо!»

В пятницу, придя заранее, занял место неподалеку от итальянского закусочной. И ровно в шесть, с боем часов, начал работать. Без отдыха кружил Еву в танце до позднего вечера. Возле него все время толпился народ, образуя плотное кольцо. И лишь когда один за другим начали гаснуть огни ресторанчиков и лавочек, он, расстав по карманам деньги, уложил Еву в футляр и пошел к остановке метро. Дома, бросив вещи в прихожей, кинулся считать заработок. Получилось сто семь долларов семьдесят центов. И это всего за шесть часов работы! Не поверив себе, снова начал пересчитывать, разложив купюры и монеты разных достоинств по кучкам, пересчитал в третий раз.

«Если так пойдет дело, в конце сентября сброшу с себя это ярмо и заживу другой жизнью», — возликовал он и тут же решил позвонить Жмэне. Но к телефону никто не подходил, и это раздосадовало Нюсика. «Где его носит? Сейчас у них семь утра!» Полистав свою записную книжку, нашел телефон Тани и набрал его. В трубке раздался ее хрипловатый голос: «Алло».

— Не узнаешь? Это — Нюсик, — и засмеялся. — Слушай, где Жмэня? Никак не могу дозвониться. — С той стороны не доносилось ни слова, только прерывистое дыхание, похожее на помехи в линии. — Таня, что ты молчишь? — крикнул он.

— Нет нашего Жмэни. Ждал тебя с Нюсей до последнего дня, — зарыдала Таня.

— Как — нет? — гневно заорал он. — Оставь свои идиотские шутки. — Ему почудилось, что она сейчас захохочет, и всё окажется глупым розыгрышем. Но Таня продолжала всхлипывать. — Когда? — тихо спросил он.

— Завтра девять дней...

Он осторожно положил трубку. Из горла вырвалось несколько отрывистых лающих звуков. Ощутил на глазах набежавшую влагу. И провалился в вялую дрему...

Нюсик потерял счет времени. Не выходил из дома, не отвечал на телефонные звонки и почти ничего не ел. Однажды очнулся от оглушительного стука в дверь. Через силу встал, крикнул: «Кто?», поплелся в прихожую, щелкнул замком. На пороге стоял Пашка Лопатин.

— Что ж ты, сволочь, делаешь? — закричал Пашка и потряхнул его что силы. — Алену с умаводишь! Звони, а то она мне не поверит! Две недели ни слуху, ни духу.

— Ты знаешь, Жмэня... — и запнулся, страхась произнести это короткое слово.

— Знаю, — злобно, сквозь зубы процедил Пашка. — Знаю! А то, что ты и я умерли, наплевать? Жмэня прожил жизнь при деле. А мы? Нас нет! Посмотри на себя. Что от тебя осталось? Только имя! Кто ты здесь? Эмигрант! Отброс! Ничто! Почему все рухнуло? Почему нас придавило насмерть? Почему?! В чем наша вина?!

— Все рухнуло, и нас придавило насмерть, — точно эхо, отозвался Нюсик, схватил Пашку за плечи, притянул к себе. Пристально глядя

ему в глаза, горячо забормотал: — Ты ни черта не понял! Мы с тобой тоже рушили ту систему. Нам хотелось свободы, хотелось другой жизни. А когда все ахнуло в тартарары, то потянуло за собой театр, дом, семью, тебя, меня — всех, потому что мы были частью той системы. Но разве нам с тобой нужна свобода? Мы — холопы, рабы! Это заложено в нас. И куда бы ни забросило, в любую точку мира, останемся холопами.

— Звони! — Пашка ткнул Нюсика кулаком в грудь. — Звони, сволочь! Если б у меня была такая дочь! — заорал он, и лицо его скривилось.

Через неделю, уступая напору Алены, которая то стыдила его, то уговаривала, как ребенка: «Папа, работа спасает от всех бед», Нюсик снова по вечерам начал выступать в Сипорте. Но не было ни запала, ни восторга. Да и туристов становилось все меньше и меньше. Наступала осень. Уже начались дожди, и порывы ветра, срывая с деревьев багровые листья, швыряли их пригоршнями на серый булыжник. Иногда, оставив футляр с Евой в закуской, где его уже знали, он отправлялся бродить по Манхэттену. В один из таких дней ноги сами привели его к собору Святой Женеьевы. Он поднялся по ступеням. Вновь, точно слепец, пробежал пальцами по резьбе, осязая все впадины и выпуклости. И подумал: «Я всегда был частью чего-то — государства, театра, семьи, той жизни. Все кончилось, прошлое рухнуло. Теперь свободен от всех связей и пут. Отдельная единица. Отныне могу быть самим собой. Но, кажется, эта разлука сломала мне хребет». Он спустился со ступеней, побрел в сторону Сипорта. Дошел до пристани. Начало моросить. Нюсик подошел к витрине запертой на зиму лавочки, машинально двумя короткими росчерками нарисовал на мокром стекле парящую птицу. «Два крыла — страдание и наслаждение — движут человеком, — пробормотал он. — Как всякий раб, я хочу только наслаждений. Но если бы не было падений, разве человек ощущал бы радость взлетов? Падать и подниматься. Быть может, каждое падение — новая ступень для подъема? Хорошо, я готов принимать удар за ударом. Но в чем конечная цель? Куда и к чему я стремлюсь? Мне нужно за что-то зацепиться. Во имя чего вся эта канитель? Или жить, как многие, бессмысленной растительной жизнью в ожидании конца?» Вечером того же дня записал в свою тетрадь:

Быть неприкаянной частицей мироздания
В плену времен, страстей и бытия.
Томиться, жить как в зале ожидания,
Терзаясь, выбирать меж властью «мы» и «я».

В конце ноября он решил перебраться из Сипорта в метро. Долго колесил по разным веткам. Выходя на остановках, приглядывался к толпе. Выбирал площадку, где можно было бы танцевать с Евой. Не топтаться же на пятачке. В конце концов облюбовал остановку на 42-й улице, где скрещивались маршруты всех районов Нью-Йорка. И решил посоветоваться с Аленой.

— Отличное место, папа, — рассеянно одобрила она и добавила словно невзначай: — А знаешь, Энрико со мной начал релетировать сольную программу.

— Кто это Энрико? — насторожился Нюсик.

— Наш хореограф, — она запнулась и выпалила: — Папа, я взрослая женщина!

— Ты его любишь? — у Нюсика почему-то пересохло в горле.

— Мы партнеры. Ну да, секс. Что тут особенного? Пока я приглядываюсь к нему.

— Что ты имеешь в виду? — осторожно спросил Нюсик.

— Не желаю повторять мамину ошибку — никаких восторгов и кумиров. Ты всегда был для нее существом высшего порядка. Вот ей и не по плечу оказалось видеть тебя потерянным, — печально сказала Алена. — А вообще-то я устала быть сиротой! Пора вам мириться.

Первый день на 42-й Нюсик работал с марионетками. До обеда картонная коробка для денег оставалась почти пустой. Люди проносились мимо, обгоняя друг друга, не оглядываясь по сторонам и напряженно смотря прямо перед собой. И лишь после полудня вокруг него начал собираться народ. Приунывший было, Нюсик воспрянул духом и решил, что, пожалуй, место это не хуже Сипорта. Но тут подошел высокий худой негр с коляской и, хмуро глядя на Нюсика, отрывисто произнес какую-то фразу. Нюсик, не понимая ни слова, но ощутив холодок, пробежавший вдоль спины, на всякий случай улыбнулся и дружелюбно кивнул, не прерывая работы. Негр, гневно вытаращив глаза и вращая белками, выкрикнул что-то и поддал ногой коробку с деньгами. Монеты покатались по цементному полу. Нюсик, точно зачарованный, следил, как они скатываются через решетку на нижнюю платформу, как мчатся под уклон прямо под ноги прохожим. Негр, пинком отбросив коврик Нюсика, начал раскладывать свои вещи. Достал усилитель, саксофон и складной стульчик. По-хозяйски уселся, опершись спиной о стену и перекинув ногу на ногу. Приложив к губам саксофон, точно примериваясь, издал несколько пронзительных звуков. Нюсик, презирая себя и внутренне корчась от униженности, под настороженным взглядом негра уложил в сумку коврик и марионетки, собрал оставшиеся деньги, сошел вниз по лестнице. Постоял, прислушиваясь к звукам саксофона. Негр играл что-то слащавое, то и дело сбиваясь и фальшивя. И это отчего-то несказанно обрадовало Нюсика, словно развязывало ему руки. Он представил, как со всего маха ударяет по раструбе саксофона. Как откидывается назад голова с вытянутым затылком, вся в обрамлении множества косичек мелкого плетения, а из толстых, словно вывороченных, ярко-красных губ течет на подбородок алая струйка крови. Взлетев вверх по лестнице и став против негра, несколько секунд вызывающе смотрел на него в упор. Потом расстелил коврик и начал работать, подлаживая танец марионеток в такт саксофону. Около Нюсика снова начали останавливаться зеваки, бросать деньги в его коробку. Негр вскочил и затряс в ярости кулаками. Кинулся к Нюсику, рас-

талкивая всех на своем пути. И тут Нюсик, скорчив уморительную гримасу, стал изображать драку. Марионетки хлестали друг друга, бились на кулачках, лягались, выкрикивая ругательства разными голосами, переходя с визгливого тенорка на низкие басы. Толпа, уже окружившая Нюсика плотным кольцом, то и дело взрывалась хохотом и восхищенными «вау». Саксофонист, зло ощерившись, круто повернулся и ушел. Нюсик, проработав еще с час, собрал вещи, нырнул в толпу, вскочил в первый попавшийся поезд.

В полдень следующего дня налегке отправился на 42-ю, засунув за пазуху лишь несколько миниатюрных тряпичных кукол, надеваемых на пальцы. Придя на то же место, поставил коробку для денег и начал работать, зорко вглядываясь в толпу. Как и предполагал, саксофонист пришел не один. Их было трое. «Вот и хорошо, — думал Нюсик, работая под пристальными угрожающими взглядами и чувствуя, как его охватывает кураж, — если уж будут бить, так насмерть». Эта троица долго стояла возле него, громко перекликаясь между собой и вызываясь пересмеиваясь. Потом один из них красноречиво показал Нюсику здоровенный кулак. К концу дня куда-то исчезли.

Вечером, когда выходил из метро, Нюсик все время оглядывался, сторонился темных улиц. А дома, достав из ящика кухонного стола перочинный ножик, открыл его. Попробовал пальцем лезвие. Недовольно покачал головой. «Вот тебе и высокая философия, — издевался над собой, разглядывая нож. — Человечка лишь чуток поскрести, и предстанет образина с когтями и клыками. А туда же, тайнами природы интересуемся. Смысл жизни ищем. Но все просто, мы и есть часть этой дикой природы. Если завтра кто-нибудь из этой троицы сунется, я его пырну». На ручке ясно была видна надпись: «Завод им. Красного Интернационала». Он громко рассмеялся и вдруг подумал: «А ведь я, пожалуй, созрел, чтобы снова взяться за “Рай”».

«Ну, хорошо! Ты напишешь, а где ставить?» — проскрипел рассудочный голос. Но Нюсик отмахнулся от него, схватил первый попавшийся под руку лист бумаги, написал крупными печатными буквами «ПРОЛОГ». И словно под чью-то диктовку, начали нанизываться строчки:

Мы все — герои личной драмы.
Без репетиций — сразу ввод.
Играем Еву иль Адама.
Себя играем. И народ.
Без грима, рамп и суфлера.
С минуты первой — бенефис.
Творец под маской режиссера.
Но жизнь не повторить на бис.

Чуть отступив, стал набрасывать план пьесы. В колодец двора уже вползал скудный зимний рассвет, когда решил хоть ненадолго прилечь. Сделал в уголке пометку: «Не забыть важную деталь — черные повязки на глазах танцоров Адама и Евы. Их любовь слепа». Перед тем, как

провалиться в сон, подумал: «От греческого хора придется отказаться. Но можно вставить рефрен. А слова? Какие должны быть слова?» И в ускользающем сознании мелькнуло:

Творец, не ставь преград перед слепцами!
Дай замысла постигнуть глубину.

Проснувшись в полдень, немедленно направился на 42-ю. «Я не имею права упускать ни минуты. Надо работать — изготовление Адама будет стоить кучу денег», — подгонял он себя. В два часа появился саксофонист с тележкой. Увидев Нюсика, он застыл на месте, словно не веря своим глазам. Потом оскалился и грозно двинулся в его сторону. Нюсик подумал о перочинном ножике, лежащем в часовом кармашке брюк. Бросил презрительный взгляд и цыкнул слюной под ноги саксофонисту. Он хотел крикнуть что-то вроде: «Ну, давай, падлюка! Бей! Шо стоишь?!» Так у них в местечке, обычно, начинались драки между мальчишками. Но тут вдруг вспомнил, что негр ни слова не понимает по-русски. Его стал неудержимо душить нервный хохот. Не выдержав, Нюсик громко прыснул. Саксофонист оторопело попятился, выругался и пошел вниз по пандусу, толкая перед собой тележку и бормоча: «Крэйзи»¹³.

После отпуска Дэниэлу позвонил знакомый агент по недвижимости: — Вы — счастливчик! У меня есть покупатель, который нацелился на ваш дом в Лонг-Айленде. Просто прикипел к этому месту. Думаю, оно напоминает ему вид из его фанзы. Причем страшно торопится. Я его буквально держу за фалды.

— Я не собираюсь продавать этот дом, — оборвал его Дэниэл.

— Он готов выложить наличными. На сорок тысяч больше, чем вы заплатили.

— Ничего не получится! — отрезал Дэниэл. — Я уже делаю там косметический ремонт.

— Тем лучше! Дайте мне ключи от дома, я выторгую у него под это дело еще, — не отступал агент. — Нельзя упускать такого клиента. Фортуна — дама капризная. Может навсегда отвернуться.

— Хорошо, — процедил Дэниэл. — Но меньше чем на пятьдесят я не согласен.

— Понял, босс, — рассмеялся агент. — Надеюсь, мне удастся выбить у него эти деньги. Он совсем зеленый — несколько недель как приехал со своего острова.

В полдень агент сообщил, что покупатель подписал договор не торгуясь.

— Я перезвоню через час, — сказал Дэн.

Он еще ни разу не нарушал принципа: деньги должны делать еще большие деньги. Покупай дешево, продавай дорого — это было его правило. Не будь истории с Энн, ни минуты бы не раздумывал насчет продажи, хотя о таком доме мечтал давно. И то, что она, пусть невольно, стала

¹³ Сумасшедший.

причиной его колебаний, вызывало протест и раздражение: «Черт возьми, эта женщина умеет, ничего не требуя, сковывать по рукам и ногам! В конце концов, нужно основательно разобраться со всей этой историей».

Он взял лист бумаги, чтобы сейчас, вдали от Энн, взвесить все за и против. «Секс», — написал он и поставил восклицательный знак. Здесь у него не было никаких сомнений. Хотя вначале показалась пассивной, скованной. И он даже отнес это за счет традиционно-аскетического российского воспитания. Но на Багамах с ней произошла вдруг такая перемена — просто диву давался. Откуда что взялось! Следовал за ней как неопытный мальчишка. И никакой фальши, заученности. Только азарт и импровизация. Дэниэл сделал глубокий вдох и добавил еще один восклицательный знак. «Дальше», — подстегнул он себя, направляя мысли в другое русло. «Не падка на деньги» — написал, но тут же усомнился и поставил знак вопроса. «Быть может, еще не успела войти во вкус». «Непритязательная, мягкая». Он задумался: «Тогда почему я перед ней или выплясываю на цыпочках, или гарцую?» Дэниэл начал анализировать, пытаясь уяснить причину своей несвободы в ее присутствии. И вспомнил, как несколько раз перехватывал ее холодный, отстраненный взгляд: «Да ведь она дотошно изучает меня, и я это подспудно чувствую! Итак, во мне уже поселилась зависимость от этой женщины!»

Он порывисто разорвал листок и набрал номер телефона агента по недвижимости:

— Привозите договор — я согласен.

Вслед за этим связался с Роз:

— Пожалуйста, срочно остановите декор. Пришлите мне все счета. Со строителями я договорюсь сам, — рубил он, не давая Роз вставить ни слова. — Завтра вышлю чек, покрывающий ваши расходы, включая материалы и работу.

— Можно полюбопытствовать, в чем дело? — взвилась Роз.

— Наш договор аннулируется в одностороннем порядке, материалы остаются в вашем распоряжении, — резко перебил Дэниэл. Но затем, спохватившись, попытался сгладить грубость: — Я чрезвычайно удовлетворен сотрудничеством с вашей фирмой и при случае буду охотно ее рекомендовать, миссис Роз!

— Называйте меня мисс, я не замужем, — отрезала Роз, — и страшно этим горжусь. У меня хватило здравого смысла понять еще в девичестве: мужчина, независимо от веры, подобен муэдзину на минарете. Пока свое не откричит — не умолкнет.

Роз грохнула трубкой и сжала в порыве гнева кулаки: «Ничтожество! Он посмел говорить со мной в таком тоне! Я столько идей вложила в его дом. Наверняка это мой последний проект, — она полистала папку с эскизами. — А может, Господь Бог посылает тебе знак, что пора закрывать лавочку, Роз? — швырнула папку в ящик стола. — Конечно, Энн в курсе дела. Она неглупа и, вероятно, уже прибрала этого самовлюбленного павиана к рукам. — Роз в досаде прикусила губу. — Но почему не предупредила? Очевидно, у них в этом деле есть общий ин-

терес! Постель сплошь и рядом превращает любовников в партнеров. А какую трогательную открытку прислала на Хануку! Я прямо разнужнилась. Воистину лицемерие и ложь — оружие человека». Роз решительно потянулась к телефону и набрала номер Энн.

— Как дела? — начала она, давая Энн последнюю возможность повиниться.

Но та завела разговор об успехах Алены.

Нервно покачивая ногой, Роз нетерпеливо слушала. И вдруг поймала себя на мысли — ей хочется припереть Энн к стенке, с тем чтобы посмотреть, как та будет врать и изворачиваться. Роз ласково пропела:

— Милочка, вы не могли бы сейчас приехать в «Гнездышко»? Мы так давно не виделись. Нам нужно кое-что обсудить. Захватите эскизы. Я буду вас ждать.

Чтобы как-то скоротать время, Роз вышла в зал. Мадлен, заметив ее, бросилась к покупательнице, которая в нерешительности перебирала образцы материи. «На кого я оставлю дело? На эту ленивую клячу? — Роз окатила Мадлен ледяным взглядом. — Ей нужен кнут. Здесь без меня все загубят».

Она вернулась в кабинет, придирчиво посмотрела на себя в зеркало и позвонила Бетти:

— Собирайся! Мы едем во Флориду! Я заказываю гостиницу! Только такие дуры, как мы с тобой, зимой околачиваются в Нью-Йорке.

— А как же твоя работа? — робко пробормотала Бетти.

— По-твоему, из-за этих паршивых денег я должна гробиться до последнего дня? — вскипела Роз. И вдруг загорелась: — А давай махнем в Россию, пока ноги носят! Мы с тобой давно хотели побывать в городе, откуда родом наши матери.

— Дождемся лета, — пролепетала Бетти, сраженная крутым поворотом дела.

— Когда ты поумнеешь?! Я не могу откладывать. Бог сжалился и подарил мне еще пару лет. Я обязана прожить их с толком. Они, как школьные каникулы, пролетят — не заметишь.

— Хорошо, поехали, — сказала Бетти с подозрительным дрожанием в голосе.

— Только не хлюпай носом. Я в полном порядке. И даже вчера сделала модную прическу — короткий ежик и чубчик сосульками. Стильно и очень молодит. А Сэлма в моем парике пользуется бешеным успехом. Она подцепила пожарника в отставке. Все прекрасно, но ее смущает, почему он уклоняется от секса. Я ей говорю: «Сэлма, что вы хотите? Человек давно не имел дела с огнем». Не смейся! Для женщины это вопрос жизни. Ну, ладно! Собирайся! Какая тебе разница, куда мы поедем? Главное — не сидеть дома камнем.

Она положила трубку. С минутой подумала и связалась со своим адвокатом:

— Привет, Фил. Не могли бы вы срочно внести дополнение в мое завещание? Я уезжаю. Пока еще точно не решила, куда. — Роз несколь-

ко раз подхихикнула дежурным шуткам Фила и перешла к делу: — Речь идет о Бетти Розенберг. Впишите: «До конца жизни выплачивать ежемесячно две тысячи, с индексацией на девальвацию». Предусмотрите, чтобы никто, кроме нее, не мог пользоваться этими деньгами. И придумайте какую-нибудь закорючку, чтобы обойти Дядю Сэма. Я не собираюсь и с того света оказывать ему материальную поддержку. Остальное без изменений — в пользу моего танцевального клуба. Единственное место, где я получала удовольствие от того, что мне приходилось подстраиваться под мужчину.

Энн приехала неожиданно быстро. И в этом Роз нашла лишнее подтверждение своим подозрениям: «Дэниэл, вероятно, ее подвез и теперь ждет где-нибудь за углом».

— Как движется работа? — отрывисто спросила она.

Нюся показала ей эскиз спальни с белыми атласными занавесями.

— Белый атлас? — не выдержала Роз, — отличная идея. Теперь у меня есть шанс сшить из него себе саван. Он обойдется мне абсолютно бесплатно и будет очень эффектно выглядеть. Могу же я побаловать себя, ведь по бумагам числюсь невинной девушкой. — Она едва не задохнулась от гнева. — Вам, конечно, известно, что заказчик разорвал с нами договор?! При этом великодушно оставляет нам все материалы и оплачивает полностью работу. — Роз впилась глазами в лицо Энн.

— Что случилось? — встревоженно спросила та.

— Значит, вы ничего не знаете? — Роз устало откинулась на спинку стула и подумала: «Это многое меняет».

— Он планировал, что после ремонта мы съедемся и будем жить в этом доме... — голос Энн был растерянным.

— Не беспокойтесь! Ваш милый жив и здоров, — отрывисто засмеялась Роз. — Бью пари, он испугался. Это синдром старого холостяка. Не вздумайте устраивать ему сцены или унижаться, если вы действительно хотите его заполучить. Молчание — самое действенное оружие. Он должен, как плод, созреть и упасть вам в ноги.

— Я не уверена в том, что мне это нужно, — пожала плечами Нюся.

— Вы думаете, легко быть одинокой? Поверьте, ничто не может заменить близкого человека. Даже деньги. — Роз исподлобья посмотрела на Нюсю. — Но для того чтобы человек стал близким, нужно решиться подпустить его к себе. А вы не торопитесь.

— В этом деле нет никакой гарантии. Сегодня самый близкий, а завтра — чужой, хоть вы от него никуда не отлучались. Все происходит незаметно, день за днем. И вдруг ты оказываешься перед руинами, — невесело усмехнулась Нюся.

— Вся беда в том, что мы путаем два понятия: «счастье» и «жизнь». Очевидно, это так же несовместимо, как молочное с мясным в кошерной кухне. Посмотрите на меня. Я так боролась за свою жизнь, а теперь не знаю, что с ней делать, как употребить ту малость, что мне осталась. Полагаю, блаженны лишь покойники. Надеюсь, вы не собираетесь киснуть по этому поводу?

— Это бессмысленно, — засмеялась Нюся.

— У вас практичный ум. Мне это нравится, — задумчиво сказала Роз. — Вы не желаете взять в свои руки управление «Гнездышком» на год? Это даст вам возможность что-то скопить. Я не люблю связывать себя обязательствами, но если мы сработаемся, возьму вас в долю. Или вы откроете свое дело, станете моей конкуренткой и уведете с собой моих клиентов. — Она бросила насмешливый взгляд на вспыхнувшую Нюсю. — Бизнес есть бизнес, не отнекивайтесь. А я хочу попробовать жить не спеша: путешествовать, почувствовать себя бездельницей. Не пугайтесь, я вас не брошу, как котенка в воду, — поспешно сказала Роз, видя колебания Нюси. — Вы знаете мой характер: буду звонить, наставлять, командовать. У вас получится. И для этого даже не нужно оставлять вашу высокую должность в «Миссис». Будете приходить сюда в выходные и по вечерам. Этого вполне достаточно, чтобы взбадривать Мадлен. Ленивей этой дуры, набитой пищей и макаронами, нет во всем Манхэттене, если не считать мою Сэлму. Вы не должны упустить шанс вырваться наверх.

И Нюся дала согласие.

С этого момента ее жизнь превратилась в неумолимо вращающееся беличье колесо. Она постоянно спешила, каждая минута у нее была на учете. Жалея время на еду и сон, снова, как в первый год работы у Роз, умудрялась перехватывать на ходу и дремать в поездах метро. Из семи дней недели выкраивала для себя лишь воскресное утро. «Гнездышко» буквально поглощало ее всю, без остатка. Роз звонила из-за границы по нескольку раз на день, отчаянно скучая по делу. И жаловалась на любознательную Бетти, которая методично, не пропуская ни одной достопримечательности, указанной в путеводителе, протащила ее уже через пол-Европы. Но никакие красоты Шотландии и Венеции, вместе взятые, не могли отвлечь мысли Роз от «Гнездышка».

— Путешествия — кормушка для мошенников, орудующих в туристическом бизнесе, — кричала она через моря и океаны. — В сущности, везде одно и то же. Разница лишь в погоде и языке. Весь бизнес держится на том, что ослам и мечтателям трава всегда кажется зеленей по другую сторону забора.

Нюся подсмеивалась, подтрунивала, хотя ей было не до шуток. На нее обрушились заказчики, поставщики и счета. Мадлен с искусством опытного политика вела осадно-выжидательную тактику: ни мира, ни войны. К любому Нюсиному замечанию относилась свысока. «Никто в этом мире не застрахован от ошибок. Все мы — люди», — философствовала она, попивая кофе и листая журналы, точно местом ее постоянного проживания была башня из слоновой кости. А Нюся, мечась между залом и мастерской, окончательно спустилась с высот солидарности пролетариев всех стран на грешную землю.

Она все чаще стала замечать за собой вспыльчивость и ожесточенность. «Мое нынешнее существование — работа и сон. Я превратилась в машину для зарабатывания денег. Но у меня нет другого выхода. Это

единственная реальная возможность стать на ноги. Мне не на кого надеяться», — с горечью думала она.

После истории с домом отношения с Дэниэлом разладились. Связь между ними слабела с каждым днем. Однажды он предложил встретиться в греческом ресторанчике неподалеку от «Гнездышка». Нюся вначале хотела было отказаться, сославшись на занятость, но, подумав, согласилась. Она чуть запоздала. И когда вошла в зал, то увидела Дэниэла, сосредоточенно утрамбовывающего кармашек пиццы жареным сыром, зеленью и оливками. Увидев Нюсю, коротко кивнул и, недовольно пробормотав: «Наконец-то! Уже все остыло», — положил ей на тарелку начиненную питу.

Они ели, перекидываясь ничего не значащими словами, точно расстались вчера и между ними не было никакой недосказанности. Но когда подали кофе, Дэниэл вскользь, не глядя Нюсе в лицо, сообщил, что лонг-айлендский дом продан. В ответ она лишь молча пожала плечами. Посмотрел на Нюсино хмурое замкнутое лицо, и его охватило раскаяние: «Я должен был сказать ей об этом в тот же день». И ему захотелось загладить свою вину.

— Знаешь, как в этой стране делаются деньги? — он тронул Нюсю за руку и заглянул ей в глаза. — Сейчас я объясню с цифрами в руках, — достал из кейса калькулятор. — За дом мною получена прибыль 20 процентов, — пощелкав клавишами, показал ей результат. — Затем я вкладываю всю сумму в акции, которые растут, как трава после дождя. Допустим, я получу за год тот же процент. А теперь прикинь, сколько лет ты должна работать, чтобы положить на свой счет такую сумму.

— На мой взгляд, акции — просто бумажки. Неизвестно, что с ними будет завтра, — не сдерживая раздражения, парировала Нюся. — А дом и земля — реальные ценности.

— Ты злишься из-за того, что откладывается наша совместная жизнь? — ошетинился Дэниэл, оскорбленный тем, что она не оценила великодушного порыва посвятить ее в святая святых его жизни — финансы. — Насколько я понял на Багамах, ты не очень торопишься. Мадам должна всесторонне обдумать этот вопрос, — саркастически добавил он. — Или ваши планы вдруг круто поменялись?

Они сидели в маленьком зале, выходящим окнами на улицу, где шел дождь, перемежающийся мокрым снегом. А на побеленных стенах висели безыскусные яркие литографии: чистенькие домики с красными плоскими черепичными крышами, мощенные крупным булыжником узкие улочки, припыленные оливковые рощицы, ветряные мельницы, рыбаки, тянущие сети. Везде — слепящее солнце и зеленовато-голубое море.

«А ведь он прав. Я действительно злюсь, — подумала Нюся. — И дело не в том, что он продал дом, не предупредив меня, и тем самым указал мне на мое законное место прихлебательницы. Все гораздо хуже — я успела привыкнуть к мысли, что буду жить в этом доме. Подниматься на второй этаж в спальню по витой лестнице с резными балясинами. Засыпать и просыпаться под шум прибора. А на веранде устрою зимний

сад». И этой веранды, отделанной светлыми дубовыми панелями, с окнами от потолка до пола, из которых был вид на горизонт, где небо сливалось с океаном, ей было особенно жаль.

Они кончили ужин в напряженном молчании. Перебросившись несколькими отрывистыми фразами, сухо попрощались и, не договариваясь о следующей встрече, разошлись. Нюся осознала, что это конец. «Просто счастье, что не успела с ним срастись», — утешала она себя. И потому была поражена, когда через несколько месяцев, в одно из воскресений, Дэниэл позвонил ей в семь часов утра.

— Мне нужно с тобой срочно увидеться, — почти прокричал он в трубку.

— Я только проснулась, — сказала она еще чуть охрипшим со сна голосом.

— Это неважно. Ты одна? Или у тебя кто-то есть? — настороженно спросил он.

— Одна, — коротко бросила Нюся.

— Тогда открой мне. Я возле твоего дома.

И это было особенно странно. До этого он никогда не изъявлял желания переступить порога ее квартиры. Накинув халат, она нажала на кнопку домофона. Дэн, перешагивая через ступени, взлетел по лестнице. Она встретила его в дверях.

— Что с тобой? Ты болен? — сдержанно спросила Нюся, глядя на его осунувшееся небритое лицо.

— Хуже, — ответил он, усмехнулся и сел на диван. — Я пролетел с акциями. Не могу понять, как это случилось. Все было предусмотрено. Мой брокер делился с Инвестбанком, — затравленно посмотрел на Нюсю. — Забудь. Я сказал лишнее.

— Ты можешь объяснить, что произошло? — Нюся тронула его за плечо.

— Биржа, — бесцветным голосом ответил Дэн. — Котировки акций упали со ста долларов до семидесяти пяти центов. А мой брокер получил сведения, что нужно играть на повышение. Чтобы вновь подняться, понадобится лет пять, при условии, что не будет спада. Но это нереально. Уже седьмой год идет подъем. Он не может длиться до бесконечности. Послушай, мне нужно узнать у тебя очень важную деталь. — Дэниэл взял ее за руку и притянул ее к себе. — Помнишь, ты сказала: «Акции просто бумажки, неизвестно, что с ними будет завтра, а дом, земля — реальные ценности». У тебя было предчувствие?

— Никакого предчувствия. Сболтнула, да и все, — удивилась Нюся.

— Я понимаю, ты ничего не смыслишь ни в акциях, ни в моих делах. — Он смотрел на нее снизу вверх поблекшими глазами, похожими на оловянные стертые пуговицы. — Но мне кажется, у тебя есть внутреннее чутье. Ты приносишь удачу. Мне никогда еще так не везло на бирже, как этой осенью.

Он зажал Нюсю между колен, широко развел скользящие атласные полы халата и поцеловал ее чуть ниже притененной неглубокой впа-

дины пупка. Нюся инстинктивно подалась вперед. Но вдруг замешкалась, словно прислушиваясь к себе, и резко отстранилась. Туго запахнув халат, завязала кушак на узел. Дэниэл растерянно посмотрел на нее, затем усмехнулся. Порывисто встал, окинул взглядом комнату:

— У вас здесь бедненько, но мило, — с фальшивой снисходительностью выдавил из себя и уже у порога небрежно бросил: — Позвоните.

Проскрипели ступени лестницы, отрывисто хлопнула входная дверь.

«Мне не под силу взваливать на себя чужие проблемы, — угрюмо подумала она. — Я уже знаю, каково быть рядом с тем, кого приперло к стенке». Перед ней выплыло лицо Нюсика с опустошенным тусклым взглядом.

Она подошла к окну, выходящему на крыши соседних домов. От снега остались только почерневшие окраешки, залегшие у желобов водосточных труб, блеснувших в лучах восходящего солнца цинковой изморозью. И вдруг осознала, что обжигающее плотское желание потеряло над ней власть. «Что со мной произошло? — Нюся медленно провела руками по телу. — Неужели во мне умерла женщина?» В этот миг в ней что-то дрогнуло, по телу пробежала сладкая судорога, отголосок полузабытой «бэсамы», и ей отчаянно захотелось заорать во весь голос. Проклясть эту жизнь, которая отобрала у нее прежнего Нюсика с его фантазиями, стихами, куклами. Но тут зазвенел будильник. Она привычно шелкнула клавишей звонка. Не отдавая себе отчета, стала собираться на работу. Выйдя на улицу, вдохнула едва уловимый запах юной, пробивающейся на волю травы и чуть слышно пробормотала: «Я живу, как механическая кукла. Вопрос только в том, на сколько хватит завода».

Апрель выдался странным — дожди и холод сменились вдруг ужасной жарой. Был канун Истера. Нюсика отчего-то познабливало. Накануне он провел ночь без сна — забыв обо всем, дописывал последнее действие «Рая». Разумнее всего было остаться дома и выспаться, но предпраздничная суэта сулила хороший заработок. Нюсик приехал на 42-ю около четырех часов. Толпа в переходе все прибывала и прибывала. Он прикинул, что если все сложится удачно, то сможет себе позволить уйти в десять, чтобы сегодня пораньше лечь спать, а завтра перечитать от начала до конца «Рай», хотя в душе отчаянно боялся этого. И причину своей сегодняшней взвинченности, озноба видел в этом страхе перед окончательной читкой. Погруженный в свои мысли, он даже не заметил саксофониста. А тот, злобно зыркнув, выругался и стал собирать пожитки. Нюсик мельком подумал, что главная решительная стычка между ними еще впереди.

Он начал готовиться к работе: повязал нижнюю часть лица черным платком, надел черную широкополую шляпу, обмотал талию алым кушаком, включил аппаратуру и достал из футляра Еву. Закинув себе за шею Евины руки, оправил на ней платье и повел в танце, держа за талию. «Бэса ме, бэса ме мучо», — разносился страстный голос певца,

Луиса Мигеля, под сводами метро, перекрывая шарканье ног и шум толпы.

Вокруг Нюсика стал собираться народ. Вращаясь с Евой в танце, краем глаза замечал, что в коробку уже начали щедро бросать деньги. Он плавно кружил Еву. Изредка его руки скользили ниже ее талии, они ныряли под короткую кружевную юбку, где он нажимал на специальные кнопки, расположенные у Евы на бедрах. Ноги ее сгибались в коленях, зад сладострастно оттопыривался, а туловище чуть откидывалось назад. И это, как всегда, вызвало бурю восторга у зрителей. Все шло хорошо. Но Нюсика беспокоила слабеющая резинка на левом башмаке. И он решил в перерыве, не откладывая, заменить ее. Сделал еще несколько кругов. Поклонился. Посадил Еву на стул, скрестил ее длинные ноги и натянул на них юбку. В толпе раздался смех, аплодисменты, одобрителные возгласы. В коробку посыпались деньги. Нюсик еще раз низко поклонился, сняв шляпу. Выпрямился и вдруг словно почувствовал изнутри какой-то толчок, а сердце почему-то забилось и подпрыгнуло высоко, к самому горлу.

Он поднял глаза и замер — на него пристально смотрела Нюся. Лицо ее было растерянным, губы застыли в натянутой улыбке. Ему на миг показалось, что он обманулся. С той поры как разъехались, такое случилось не раз. Вновь машинально поклонился и, со страхом подумав, что она может исчезнуть за это мгновение, порывисто выпрямился. Нюся стояла перед ним так, как он когда-то ее учил: оперев руку в бедро и выставив ногу вперед.

— Ребята, начинайте! Я опаздываю на свидание, — крикнул кто-то из толпы.

— Пусть будет без музыки, — прошептала она и обняла его за шею.

— Раз, два, три, начали, — чуть слышно произнес Нюсик.

И повел быстрым скользящим шагом. Он все крепче и крепче прижимал ее к себе, все быстрее и быстрее кружил. Она припала к нему всем телом, и у Нюсика произвольно перехватило дыхание. Они не замечали ни обшарпанных грязных стен и сводов нью-йорского метро, ни окружавшей их толпы, которая одобрително свистела, смеялась и оглушительно хлопала. Нюсики всматривались друг в друга, не отрывая глаз, точно встретились первый раз в этом непостижимом и жестоком мире, который почему-то называется нашей жизнью.

*Fort Lee, NJ
2003*

ПЕРЕПИСЬ В ВИФЛЕЕМЕ

* * *

Печь вся потрескалась и закоптилась сажей.
Провисли потолки, в дверях косяк сажень.
И пол поет синицами, и стул
Рассохся и скрипит, и рамы сгнили.
Возьмешься за косяк — в руке горсть гнили.
Буфет источен и звенит не в тон.

Простая жизнь и вся как на ладони.
Как много лет все не менялось в доме.
И я по обстановке узнаю
Всю исповедь нехитрую жилища:
Забота о земном — тепло и пища,
Как всюду в этом сумрачном краю.

Преображение

Весь сад усыпан яблоками. Боже
наш праведный, такого урожая
лет десять мы не видывали. И
случился ветер на Преображенье,
и дул весь день порывами. И вот
усыпал сад тяжелыми плодами.
Повсюду яблоки: на тропке, на траве,
На крыше шиферной дощатого сарая.
Не соберешь, не выберешь, не съешь.
Наполнены корзины, ведра, сумки,
кадушки, ящики, тазы, кастрюли...
А яблоки всё падают. Их стук
пугливых птиц на ветках не пугает.
Весь день, всю ночь, поодиночке, градом,
гремя о шифер, доски, тычась в грунт,
в крапиву, в лопухи, текут шары тугие
медлительно, солидно, не спеша.

**Владимир
ПЕРЦЕВ**

— родился в 1963 году в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Окончил Ярославское художественное училище. Автор поэтических сборников «В затонах золотых» и «Очнуться в сумерках зимы». Живет в городе Гаврилов-Ям.

Спадают, вызрев. Разве их удержишь?!
Как чудо, вызревавшее по капле
и вдруг преобразившее в минуту
земную плоть в сияющий эфир.
И слез еще не вытерли — одежды
готовы новые, что чище серебра,
торжественней тяжелого атласа,
воздушнее ажурных кружев. Это
за каторгу, за мшелые землянки,
за срубы черные, за пост, за схиму, за...
Минует все, и только торжество
минутного того преображенья
нетронутым останется. За чудо
благодарят ли? Ведь оно неожиданно.
Чем дольше ждут, тем все-таки неожиданней,
как дар, как озарение и как
ребенка долгожданного рожденье —
банально и торжественно, как всё,
что Бог дает. Благодарю же, Боже!
Я терпкий плод и тот еще орешек.
Все это так, но нынче торжество,
и новые одежды раздают,
и старые заканчивают счеты,
и слезы превращаются в вино.

Лесное озеро

Вода озерная таится.
Шагнешь — она из-за ветвей,
Как будто белка или птица,
Перепорхнет еще левей.
И вот среди замшелой чащи
Оконце светлое встает.
В осоке ломкой и шуршащей
Соринка-лодочка плывет.
И как молчальник и пустынный
Шалаш свой выставит под дождь,
Оно топорщит свой пустырник
На берегах, заросших сплошь.
Скудна библейская природа
И много требует труда.
Легка озерная свобода,
Чиста озерная вода.

* * *

Сорока принесла мне весть,
Спланировав из-за ограды,
Усевшись-свесившись на шест
И снег просыпав. Что за радость
Вдруг подожгла меня?! Чудес
Каких еще мне напроорочит?
Хвостом выравнивая вес,
Сорока на шесте стрекочет.

Остров сирен

Только и ждет душа,
Чтоб вздрогнуть, чтоб быть задетой.
Ну право, не странно ли это,
Что гибель так хороша?!

Привязанная и к кресту,
И к корабельной мачте,
О счастье томится, плачет,
Предназначенная Христу.

А дело гребцов — грести,
Не взирая на слезы и корчи.
Мало ли что она хочет.
Главное — дуру спасти.

* * *

Мы в сумерках обречены
Бродить у омута вины,
Налитого бездонной синью.
Как непробудно-тяжелы
Пустынной комнаты валы,
Которой просто не осилю.

Забудусь и обступят сны,
Где я Сизифа валуны
Таскаю на гору и маюсь.
Проснусь и в сумерках жилых,
Где нет ни мертвых, ни живых,
В стекле бездонном отражаюсь.

Город Мышкин

Приваливает белый теплоход.
И ощупью идут по шатким сходням
туристы иностранные гуськом
обозревать российскую глубинку,
какой-то город Мышкин — на холмах
три сотни домиков. На волжской кругизне
над желтыми обрывами березы,
как бабы деревенские, вздыхают
и шепчутся, завидя иностранцев.
Заманивает солнце в куполах
двух-трех церквушек. В липовых аллеях
кричат вороны, ездит детвора,
сверкая спицами, разбрызгивая лужи.
По склонам сплошь заросшим бродят козы
и, замерев и полуобернувшись,
расставив уши, слушают шумы
от пристани, от площади, оттуда,
где целый день в палатках и рядах
торгуют всевозможными мышами
все жители от мала до велика,
забросив ферму, поле, огород.
Там в елочках, набросив не пальтишко,
а крепкий цельнокожаный тулуп,
широкоплечий и широкозадый
стоит купчиной мышкинским Ильич,
прищурившись хитро и плоскогато
на милицейский вяленый патруль,
скучающий, вразвалочку лениво
туда-сюда бродящий меж рядов.
Налево глянешь — вниз до самой Волги
бежит асфальт, срывается к реке.
Направо глянешь — выпирает в небо
асфальтовая лента. А с холма
открыта рассыпная панорама
крыш, огородов, парков и садов.
Сверкают стекла, сушится белье,
сидят старухи, носятся собаки,
мычит корова, писает мужик...
А за домами ждет, полощет флагом
пристроившийся белый теплоход,
как клуб, как сельсовет с простором окон,
в которых проплывают облака.

Перепись в Вифлееме
(по картине Питера Брейгеля)

С утра пускается неспешный
Некрупный снег. И хрупкий лед,
Зеленоватый лед прибрежный,
К полудню ровно занесет.
И с ночи заметенный, хмурый
Стоит народ в очередях.
Горят костры, грохочут фуры,
Дежурит стража на углах.
Мальчишки носятся, собаки.
И возникают там и тут
Неразбериха, ругань, драки.
Старухи нищие снуют.
И сонный служащий лениво,
Поверх очков окинув зло,
Записывает молчаливо
Род, имя, звание, число...
Между торговыми рядами
Ложится снег в колесный след.
И слава богу, между нами
ЕГО не может быть и нет.

РУССКИЙ АМСТЕРДАМ

повесть

1. Рейс — нерусское слово

А он все равно не верил.

Больше с интересом, чем с аппетитом выуживал из хрустящих прозрачных упаковок и пережевывал аэрофлотовский ужин — и радовался ужину. Наклонялся к иллюминатору, стараясь не разбудить дремавшего соседа (ну почему так несправедливо — спит всю дорогу, а кресло у иллюминатора досталось именно ему!), и пытался разглядеть в мутной темноте признаки ожившей географической карты — и радовался карте, оживавшей скорее в воображении, чем в иллюминаторе. Пытался угадать, когда именно они пересекут воздушную границу Советского Союза и объявят ли об этом по бортовому радио — и не угадал, а объявили только «пролетаем над Копенгагеном». Надо же — Копенгаген! А про границу, пожалуй, правильно не сказали — а то исторглось бы почти шутовское «ура» из десятка актерских глоток...

Да, он не верил. Сбоку слева все дремал этот несоветский сосед со своим диковинным аппаратом на коленях. Около часа назад он выудил из глубин замшевой сумки черный футлярчик, достал хитрый прибор, затем еще раз нырнул в сумку за плоской квадратной коробочкой с изысканно голой бабой и названием какой-то маловразумительной группы на обложке, вынул из нее маленький зеркальный диск всех цветов радуги и вставил в устройство. А потом надел наушники, откинулся и то ли уснул, то ли затащился.

— Компакт! — жарким шепотом справа отозвался Венька Савицкий. — Ух, сила! Европа, мать!

Справа был Венька, но он-то не в счет.

А позади — очередь, несуразные поручения и прощания, как будто не замеченные два килограмма перевеса — всё консервы мамы, будь они неладны; молодое, тупое и внимательное лицо в будке на паспортном контроле, да тюбики с зубной пастой и кремом для и после бритья — из-за них он зазвенел на контроле, и совсем про них забыл, и пришлось

**Андрей
ДЕСНИЦКИЙ**

— родился в 1968 году в Москве. Окончил классическое отделение филологического факультета МГУ. Кандидат филологических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН, консультант Института перевода Библии. Автор стихов и переводов, научных работ по библеистике и смежным областям, а также публицистических статей. Художественная проза публикуется впервые. Живет в Москве.

под бесстрастные взоры иностранной публики и подначки собратьев по театру разоблачаться перед сержантом, выкладывая из карманов на обозрение мыло, разговорник и всякую дребедень — и откуда только все это набралось? И солдаты с автоматами у входа в железный коридор (точно подкоп под железный занавес!), и вежливые стюардессы, и взлетные огни Шереметьева...

А он — не мог поверить.

Почему, почему так круто? Ну как это так — их, да на гастроли? Театр-студию, непонятный гибрид, о котором неясно, как и говорить — он или она? Нечто, немного известное в узких кругах Садового кольца в Москве да Обводного канала в Питере? Конечно, конечно, гениальный, пробивной Сам, богатые да охочие до экзотики иностранцы...

И как так все это подвернулось — в Европу, да на горяченькое, к Рождеству западному, героями. Ведь обязательно будут объявлять перед спектаклем, что всем составом, да по первому зову, да на защиту демократии... Уж не по этому ли поводу и визу дали с запасом, на целый месяц?

Позади был тоскливый августовский дождик, горящие у неумелых баррикад костры, чахлая из-за сажащихся батареек «Свобода», сцепившиеся за руки в нелепой противотанковой обороне люди.

— Ну чё, пацан, руки-то дрожат? Да не стесняйся, чё там.

— Уж скорее бы начинали, вот чего.

— Да начнут скоро, вон, объявляли только что.

А что, и начнут. И сомнут тогда баррикаду, и театр вот так же сомнут, только бы успеть вернуться из-под гусениц и Нинку вытолкнуть первой, а Самого, если придется, — то и грудью закрыть, для искусства. Впрочем, в такой-то толчее — как увернешься, куда побежишь? Нет, вряд ли успеем. Ну, теперь уж как карта ляжет.

И вдруг — победители. Мы тусовались, тусовались и победили.

А за иллюминатором! Разредились облака, и земля проглянула четкими линиями огней и правильными фигурами освещенных пространств — геометрия прямо, а не география! А среди островков света — черный глухой проблеск воды, пятнами, полосками и тонкими линиями. Всюду, насколько было видно, вода пробиралась в сплетение огней и срасталась с ним странным узором, а где-то там, совсем с краю, огни пропадали и начиналась темная громада Северного моря.

И все это медленно поворачивалось, проплывало и уходило за крыло самолета, и вот уже быстрее — да и ближе, кстати, — и пробудился от встряски сосед, и заерзал Венька. Вот оно, и толчок снизу, еще один — и в иллюминатор вбежали огоньки аэродрома, замедлились и отдалились, а на их место торжественно въехал прямоугольник освещенного здания с главной, немислимой и тарабарской надписью: **AMSTERDAM**.

Ночной аэропорт был чист, тих и светел. Заблудиться было невозможно даже неискушенному колхознику, и театр рассыпавшейся вереницей побрел в направлении неоновых стрелок. Перед стойкой паспортного контроля пришлось затормозить. В один проход устремлялись,

слегка помахивая перед носом у пограничника европейскими паспортами, вальяжные дамы и господа, а у другого прохода выстроилась разноцветная очередь, держащая в потных ладонях корочки всех немыслимых государств и расцветок. Туда же и с нашими краснокожими. В маленьком загончике перед самой линией пересечения границы обреченно переминались три негра, а еще один стоял перед таможенником, и тот безразлично листал его паспорт, такой же черный и потрепанный, как и его владелец. Взмахом руки он отправил негра в загончик и что-то сказал напарнику за соседней стойкой.

А что, если и их так? Но на полированную стойку лег первый серпасто-молоткастый, сверкнул и оставил свой отпечаток на визе пограничный штемпель — «...декабря 1991 года» — и, ласково кивнув, таможенник вновь сообщил что-то напарнику, но уже с явной теплотой в голосе: «Рюсланд».

Выполз на длинной извилистой гусенице и был расхвачан багаж. Тут же — гостеприимные тележки, и совсем бесплатно, ставьте, граждане приезжие, так удобнее. И — на выход, к таможене... По мере приближения — новые страхи: а ну как нельзя пять поллитровок, счастливо пронесенных в обман таможи советской? А запрятанные в глубины запасных трусов и лифчиков серебряные полтинники; а дедушкина коллекция марок между страницами детектива? Родину-то как иначе распродавать за свободно конвертируемую? Но у Саши — ничего такого, потому что нечего.

А на контроле — миловидная барышня в форме. Прямо перед Сашей с трудом толкала свои картонные коробки немолодая советская тетка. Барышня улыбнулась:

— Good evening, madam, what is this?¹

— А, это шмотки, шмотки, — не смутилась тетка.

— ОК! — новая улыбка и жест: проходите.

Шмотки так шмотки! Как не понять молодую демократию.

Сашу девица одарила улыбкой просто так, и вот вывалился он с потрепанной своей сумкой наружу, в суету встречающих.

А тут — куда же? Над толпой, над поцелуями и рукопожатиями вознесены несколько самодельных плакатиков: какой-то университет... ассоциация... А вот это приколы: «Petrovich A.I., Semyonovna S.G., Alfredovna D.L.» Наверно, европейцы, непривычные к нашей анкетной форме «фамилия-имя-отчество», приняли последнее в этой обойме начертание за фамилию, и будут теперь именоваться совграждане (уж не та ли тетка с коробками среди них?) не иначе как мистер Петрович и миссис Семеновна. Да и поделом, пожалуй.

А вот и название театра! Собирается кучка вокруг богемного бородача, который тусовался у них этим летом два месяца, жмут руки, обнимаются, глядишь, и первая поллитра на свет вот-вот вылезет. Но нет: в машину!

¹ Добрый вечер, мадам, что это? (англ.)

Вежливо разлетаются стеклянные двери, бредут актеры с тяжелым своим скарбом по огромной бетонной стоянке... Вот и блестящий микроавтобус, распахали багаж, расселись — теперь-то уж место у окна досталось — и понеслась за окнами, не меньше сотни км в час, Голландия, провалы глухой темноты в разрывах фонарей и неоновой японской экспансии: SONY, TOSHIBA...

Что же это, правда — я за границей?

2. Европа, здравствуй!

Поселили, конечно, так себе. Но по нашим меркам — вполне сносная общага, к тому же в самом центре! Им досталась комната на четверых — конечно, вместе с Венькой, да еще двое ребят, но без чужих, это уже хорошо.

А Венька исчез прямо в ночь, как приехали. Пока Саня непривычно обминал чужой матрас под прохладной простыней и дисциплинированно боролся за сон на чужой земле, его друг — счастливый — бродил по неизвестному городу в центре Европы... А рядом безмятежно спали двое, словно им — что Амстердам, что Конотоп.

Утром Сане досталось его будить. Сбор труппы был назначен прямо в их общежитии, в 12⁰⁰, что, конечно, в облом, и Венька натягивал на голову одеяло и вяло шевелил левой пяткой, оказавшейся на свободе в компенсацию за голову. Саня глотал баночную кильку в томате и время от времени теребил эту самую пятку, получая в ответ в лучшем случае — «убью, гад!» Без четверти настала пора решительных действий, и Савицкий с содранным после краткой борьбы одеялом капитулировал. Первые десять минут расспрашивать было явно бесполезно, но Веньку вдруг прорвало:

— Слушай... Нет, ты прикинь — вот так вот идешь, да — витрины, витрины, витрины, а в них... — вся фигура Веньки изогнулась: пластичная рука, кокетливое подрагивание бедер и дебильная на заспанной физиономии улыбка не оставляли сомнений насчет того, что было в витринах.

— Девки! — выдохнул Венька.

— Серьезно, что ли? Прямо так?

— Ну, пошли, покажу, тут рядом совсем... А, сбор... Ну да, потом. И вообще, конечно, посмотрел. Дворец королевский, корабли там, каналы, все такое... Это тебе не Речь Посполита, панове!

Венька уже бывал за границей — но только челноком, в Варшаве. Собственно, с того и жил, играя вечерами по подвалам у Самого. Один из немногих оставшихся первых мальчиков, не очень талантливый, но слишком преданный ученик — он так и просуществовал все недолгие годы их студии, а потом театра-студии, на второстепенных ролях по ту сторону кулис и в качестве неизменного участника всех главных событий — по эту, актерскую сторону.

На сбор они, конечно, опоздали, но не настолько, чтобы это было замечено. Сам произнес краткое поздравление господам актерам в связи

с началом первых настоящих гастролей и пространное напутствие о личной ответственности за судьбу российского театра на международной арене, затем перешел к уточненной программе. Играть им предстояло не так уж и много, но довольно хлопотно — на разных сценах и в разных городках, причем на подготовку иногда оставался только кусочек дня между утренним приездом и вечерним спектаклем. Словом, концертные условия для настоящих спектаклей, и это при сверхзадаче заставить старушку-Европу заговорить о них. Довольно странный был расклад аудитории — студенты, дом престарелых, еще какие-то малопомянутые сборища. Словом, халтурка по провинциальным домам культуры, вот только за границей.

Зато предстояло поехать по стране. Ради этого Саня был готов терпеть и все неудобства, тем более что в географическом списке неожиданно вырисовалась Бельгия. Благо, визы для всего Бенилюкса единые.

Бородатый голландец молча и одобрительно кивал головой, кое-как понимая по-русски, а больше делая вид, и создавал эффект присутствия принимающей стороны. Но ничего, кроме протокольного приветствия, на его долю так и не выпало.

Для заключительной части Сам мудро передал слово Татьяне Аковне, и та грудным сладострастным голосом обрисовала общую картину предстоящего шопинга — где, что, почему. Выходило, что можно найти не так уж и мало и не так уж и дорого. Учитывая суровый режим оплаты и практически полное отсутствие суточных, это было очень здорово. Венька заранее приготовился купить подержанные «жигули», с тем и привез сколоченную в Польше пачечку зеленых. Сане, конечно, до такого роскошества было далеко, но вот доступность кожаных курток его немало порадовала.

Сбор кончился достаточно быстро. Первый спектакль был только завтра, в университетском театре, на репетицию им отвели одно завтрашнее утро, и сегодня запарка предстояла осветителю, звукотехнику и, разумеется, Самому.

А день принадлежал актерам.

Веня пошел в комнату завтракать консервами, а Саня прихватил Лешу и Нину — и они спустились по крутой лесенке, толкнули тяжелую темную дверь и вышли в город.

До конца своих дней он будет вспоминать этот выход в столицу Королевства Нидерландов. Как рассказать о нем человеку, никогда не попадавшему из промозглой декабрьской Москвы в серую и ветреную голландскую зиму — точнее говоря, в голландскую осень, которая просто сделалась в декабре не такой ненастной и ждет февраля, чтобы смениться голландской весной? Этот мир полутонов серого цвета, ветра и моросящего дождя, сиротливых голых деревьев и влажной мостовой, легких курток с капюшонами и высоких длинноногих девушек...

Как передать тому, кто не попадал из нашего привычного совкового и постсоветского пространства, из наших хрущоб и черемушек в этот

мир узких каналов и горбатых мостиков, ровных острых крыш с завитками по бокам и прозрачных буржуазных окон под ними? В первой же лавочке Саня купил карту города. Съев немножко валюты, она дала им свободу передвижений. Амстердам лежал на ней мозаикой разливных клочков земли между причудливых линий каналов. Северной частью он прилегал к неведомому заливу — то ли морю, то ли реке с причудливым названием II. Едва они развернули этот пестрый ковер, к ним подошел пожилой господин с палочкой и с ходу по-английски слепил пару простеньких фраз, а потом, не мудрствуя, ткнул пальцем: *You are here*², — хотя его вроде и не просили, и побрел себе дальше. Оказалось, они были почти в самом центре, немного к западу. Расстояния выходили крошечными: сантиметр на карте — квартал на местности, и они все ходили и ходили по центру... С загадочного залива дул пробирающий ветер, но словно и не было холодно.

И еще — как описать тому, кто не покидал впопыхах Москву, матерящуюся по очередям конца 1991-го года, город, где еда в магазине — не пожарный набат, а симфония Моцарта?

Нинка торчала у каждой, буквально у каждой витрины. В сырную лавку они все-таки вошли внутрь, и горько пожалели. На полках красовалось то, что в Союзе давно утратило множественное число, — там лежали *сыры*. Невозможно было даже обозреть все сорта, не то что выбрать. Продавец о чем-то спросил их, тут же сам перешел на английский, и Нинке не оставалось ничего другого, как схватить первый попавшийся кусок и обреченно протянуть продавцу — этот!

— *Anders noch iets? Something else?*³ — осведомился продавец. Ну, ясно: «чего еще изволите».

— Ой, не надо, — с ужасом ответила Нинка по-русски и выскочила из магазина.

Как объяснить, что такое Европа?

Не так уж много их и было в этом городе, но со своими довелось встретиться дважды. Первой была Татьяна Акоповна, уже приступившая к шопингу, — она выходила с разноцветным пакетом из какого-то универмага. Они, пожалуй, не прочь были бы зайти туда тоже, но на первый день это было бы слишком. Да и купленный сыр болтался крохотным пакетиком на руке у Нинки как безмолвный упрек в растрате пяти гульденов сорока пяти центов.

Вторым был, конечно, Венька. Леша увлек их на тихий поэтический канал с невероятно длинным названием, и они шли по узкой полоске бульжника между водой и домами, как вдруг перед ними вдали возникла необычная картинка. Напротив невидимой им витрины стоял и счастливо распускал слюни всклокоченный человек, и этим человеком был Венька. У чугунного столбика метрах в трех от него примостились двое голланд-

² Вы находитесь здесь (англ.).

³ Что-нибудь еще? (нидерл., англ.).

ских мальчишек лет по десять, бесстыдно хихикали и показывали на него пальцем, но сами к витрине не подходили. Венька так и не заметил своих, пока не столкнулись вплотную, — а из витрин глазело кокетливо прикрытое, толстенное и нагловатое тело. Больше всех смутился почему-то именно Саша, а Венька рассмеялся счастьем первооткрывателя:

— Ну где еще русским в Европе встретиться, как не у борделя? Саня, я ж тебе рассказывал, вот же они. А вот там еще дворец королевский, видели? А на заливе были уже?

Нинка обронила с видом принцессы:

— Ну что, мальчики, ко дворцу пойдем или тут посмотрите?

— Да ла-адно, — отпаривал Венька, — смотреть-то не на что, страшные они. Да и дворец тоже не Эрмитаж, так себе. А на залив сходите, там корабль клевый, старинный.

И они пошли на залив. Ветер усилился, пробирал насквозь, но и они не сдавались. Леша обнял продрогшую Нинку, и стало ясно, что в калейдоскопе актерских романов возникает новое сочетание.

Скученность домов распахнулась навстречу воде и небу, и перед ними встали тонкие вертикальные линии мачт, а чуть позже, за оживленной магистралью, на пространстве серой незамерзшей воды — легкие контуры яхт, и в отдалении — огромный парусный корабль, пиратский фрегат из мальчишеских снов.

И тут Саша — поверил.

А потом они все-таки замерзли и в маленьком угловом кафе пили горячий и прекрасный капучино, не решаясь на что-нибудь съестное, а за окном все ярче и призывней разгорался неон, и они поняли, что там уже стемнело.

И пешком обратно, извиваясь пальцем по карте и путаясь в сумасбродных названиях улиц, шараясь в проулках от шальных велосипедистов и вновь застревая у больших витрин. Ноги гудели, озноб во всем теле все явственнее грозил отозваться простудой, но глаза снова и снова требовали Европы, и невозможно было им отказать.

Они шли и глазели, голодные, замерзшие и счастливые.

3. Неплохо для начала

На следующий день утром был прогон, а вечером — первый спектакль. Они привезли с собой две вещи, очень разные и призванные представить собой два полюса современного русского театра — чеховского «Дядю Ваню» и «Орфея и Эвридику», инсценировку поэмы некоего латыша, имя которого одни не могли правильно выговорить, а другие — вспомнить. Но поэма была славна именем переводчика — Даниэль, как гласило предание, сидел с автором в одном лагере и там от тоски взялся ее перевести. Поэтому пьеса получилась как бы произведением Даниэля и о Даниэле, стало быть — о диссидентстве вообще.

Первым шел «Дядя Ваня». Не имея мхатовского блеска и традиций, их театр неизбежно должен был стать противоположностью — оттал-

киваясь от Смоктуновского, подкупать «совершенно новым», как это называлось в критических эссе, «прочтением», хотя не вполне понятно, что же это такое — прочитать классическую пьесу так, как никто до тебя. Саше-то казалось, что прочитали они ее просто так, как случилось прочитать вдвоем за бутылкой Самому с Первым.

Сам он всегда был — Сам С Усам. В меру талантлив и в меру удачлив, в меру осторожен и в меру диссидент, он с задорных шестидесятых сумел сохранить и пыл, и активность, и убеждения, и умел все это прекрасно вписывать в «нашу прозу с ее безобразием», как говорил Пастернак. Будь у него дворянский герб, он начертал бы на нем один лозунг: самодостаточность. Ни слава, ни карьера, ни деньги не имели для него никакого значения в сравнении с возможностью делать то, что он считает нужным, причем именно тогда и так, когда и как он считает нужным. Не худшее качество для режиссера, хотя и утомительное порой для актеров. Театр-студия принципиально не могла принести ни широкой известности, ни денег, да собственно, ничего, кроме огромных возможностей для самореализации. Но они любили его, а он любил их — а это уже немалая редкость в театральном мире. Пусть порой и странную любовью...

А Первый, неразрывный спутник и заклятый друг Самого, был, если честно, не первым — единственным. Прослужив два десятка лет в академическом театре на вечных вторых ролях, он в момент крутых разборок между тамошними первыми не выдержал и ушел в подвалы к Самому. Только он в этих подвалах обладал школой и опытом, только он выпивал со всеми звездами экрана и, судя по его рассказам, добрую половину из них подменял на сцене во дни киносъемок и запоев. Только он сумел вспомнить и примерить знаменитое цезаревское «лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме» и ушел с головой в эту их деревню, распушив в полном блеске свой собственный талант, — разумеется, так и не оцененный за годы верного служения академическому театру.

«Дяде Ване» не требовалось столь сложной сценографии, как музыкальным «Орфею и Эвридике», поэтому неутомимый Сам лихо махнул на «Дядю» рукой и взялся за обкатку «Орфея». Сцена была удобная и прогон шел легко. Саша сам пел довольно плохо и поэтому в «Орфее» только проплывал несколько раз на заднем плане какой-то аллегорией. Пели другие, в первую очередь Леша и Нинка, у которых это действительно здорово получалось, — Орфей и Эвридика.

Диссидентство латыша простиралось даже на классическую мифологию, с которой он был явно несогласен, поэтому у него Эвридика спускалась в Аид (читай — лагерь), чтобы вывести оттуда Орфея (читай — Даниэля). Поэма была так себе, но Сам вдвоем с подвальным рок-ком-позитором и певцом Сережей сочинили музыку и, что самое главное, сумели подобрать эту музыку к конкретным людям, заставить ее зазвучать в них, нашли скромный реквизит и яркую одежду. Словом, сделали за полгода конфетку, а потом еще и около года домучивали спектакль

уже на сцене, приводя филигранность постановки в соответствие с грубостью наличного материала — то одна отправлялась в декрет, то у другого садился голос, а то и просто «не шло». Но в Европу повезли спектакль уже в том состоянии, когда улучшать нельзя — потенциальные возможности труппы исчерпаны, люди разыгрались, но еще не устали, публика еще не исчерпалась и не успела безнадежно помолодеть и измениться.

Быстренько отстрелявшись на прогоне, Саша хотел было улизнуть бродить по городу до вечера, но Сам вовремя отловил его:

— Слушай, ты ведь с английским?

— Ну так, со школы...

— Ну ты можешь, я помню. В общем, после спектакля намечена встреча, так что давай подумаем, как и что.

— Вы же хорошо по-английски, Юлий Ива...

— Да я-то да, а вот вы — как? Кроме меня и Первого, только ты более-менее сечешь. Так что давай. — И с ходу была составлена краткая программа импровизации, рассказа о театре и московской околобогемной молодежи, чтоб не стыдно было.

И только потом Саше были дарованы еще три-четыре часа — снова погрузиться в Амстердам. На сей раз в одиночестве: нашел на карте Самый Большой Музей — Rijksmuseum — и потратил целую десятку... А в общем-то, Венька прав, с Эрмитажем не сравнить. Лучше бы еще по улицам побродил...

Спектакль пошел хорошо, по-накатанному. Узость сцены заставила чуть-чуть упростить сценографию, приходилось немножко меньше двигаться, но в целом рисунок сохранился. Саша играл Астрова — роль явно не по возрасту, но на эту проблему в их театре смотрели широко. Саша лепил из Астрова энергичного, несколько потрепанного и самовлюбленного специалиста, каким ему и самому, пожалуй, хотелось бы стать, не будь он актером.

Войницкий в исполнении Первого был неожиданно комедиан — в этом и состояла главная новизна прочтения, принесшая их постановке некоторую славу. Серебрякова играл довольно талантливый актер несчастливой судьбы, еще не старый и еврей, что придавало спектаклю странный националистический привкус, который явно не был задуман ни Самим, ни тем более Чеховым.

Аплодировали мощно. Как ни трудно разгадать смысл реакции иноязычного и инокультурного зала, но на этот раз было видно, что их приняли.

А после спектакля их всех пригласили задержаться в небольшом зале в том же помещении студенческого театра Амстердамского университета. Туда прошла и немалая часть зрителей, как-то моментально образовался фуршет, и едва актеры с удовольствием принялись выпивать и закусывать, как над собранием возвысилась некая невзрачная фигура и на неплохом русском языке начала речь: «Дами и господа! Ми ради при-

ветствовать в стенах нашего университета известный московский театр»... — и дальше много такого, что даже Сам о них бы не сказал, не то что они о себе. Впрочем, к застолью перешли довольно быстро.

Оказалось, что все Сашины приготовления к пытке английским были напрасны — большинство присутствующих неожиданно заговорили по-русски. В основном это были студенты-русисты, их преподаватели и бывшие жители Союза. Впрочем, эти категории, как оказалось, часто пересекались. Рядом с Сашей пристроился статный парень, поднес ему к водке кусочек соленого огурца, выразил свою благодарность за спектакль. Через несколько фраз Саша спросил:

— А ты сам здесь давно?

— В университете?

— Нет, в Голландии?

— С пяти лет. До этого мы с родителями жили в Суринаме.

— Ну?! А зовут тебя — ?

— Ян ван дер Велд. Можно — Ваня.

— Ян ван...

— ...ван дер Велд. Просто Ваня, больше ничего не надо. А тебя как?

— Да меня-то Саша... Я думал, ты русский...

Этот высокий парень с нордически-вытянутым овалом лица и явно неславянскими чертами говорил по-русски не то что без акцента — а именно что с московским выговором, как на нашей кухне. Нет, ну надо же! Он, правда, учился пару лет в России, но чтоб так...

Впрочем, пока что разговор с ним особенно не состоялся, и Сашино внимание привлекли женщины справа. Тут же одна из них, русская дама лет тридцати в роскошном платье принялась объяснять, что все они ничего не понимают в Чехове, и что вообще все они совки (и спорить было бесполезно), но от нее удалось скрыться в укромный угол.

И тут к Саше подошла высокая миловидная девушка со светлыми волосами и приятно улыбнулась:

— Hoi! English, Franzais, Deutsch?

— English is better. I do not speak French, only know some words. Nein Deutsch!⁴

(И все-таки придется напрячься, — подумал Саша, — а говорю-то совсем неуклюже, не по-английски как-то!)

— OK. I want to thank you for the performance — I really enjoyed it.

— Thank you.

— Your Astrov was magnificent — a real Russian, as you call it, intelligent.

— Do you think so? I thought that Voinitsky is more typical.

— Why, I didn't like the way his part was played tonight.

— You didn't like what? — не понял Саша.

— The actor, the way he did it.

⁴ — Привет! Английский, французский, немецкий?

— Лучше английский. Я не говорю по-французски, только знаю несколько слов. Нет немецкий! (*нидерл., англ., франц., нем.*)

- Oh, he is a star...
- Really?
- Certainly.
- Honestly, I liked your acting better⁵.

Такая лесть Саше уже не по зубам. Что хорошо — ладно, но чтобы лучше Первого...

- Oh, thank you very much... I don't know...
- Are you playing a role tomorrow too?
- Yes, but very small.

— By the way, my name is Ingrid⁶, — и изящно протянутая ладонь. Эта девчонка и сама неплохая актриса!

- And my name is Alexander, Sasha⁷.

Знакомство состоялось. А потом было еще много суетливых разговоров и бурных знакомств, по большей части не оставлявших в памяти ничего, кроме имени, да и то смутно. Саша перемещался от выпивки к выпивке и от закуски к закуске. И то, и другое не могло задерживаться на актерском фуршете, стол скоро оскудел, и общество начало расходиться. И когда уже и Саша направился в сторону выхода, его перехватила Ингрид:

— We're having a party next evening not far from here. Would you like to join us after the performance?

- Yes, gladly. Thank you. Isn't it too late?

— Not at all. You'll be just in time. Shall I ask Jan to accompany you after the performance?

- Jan?..
- Jan van der Weld. He's going to be there too.
- Yes, Thank you.
- OK. See you tomorrow!
- Good bye.

⁵ — Отлично. Я хотела поблагодарить вас за спектакль — мне очень понравилось.

— Спасибо.

— Ваш Астров был великолепен — настоящий русский, как вы это называете, интеллигент.

— Вы серьезно? Мне кажется, Войницкий более типичен.

— Ну нет, мне не понравилось сегодняшнее исполнение этой роли.

— Что не понравилось?

— Актер, его манера.

— Но ведь он звезда...

— Да?

— Ну конечно.

— Честно говоря, мне больше понравилась ваша игра (*англ.*).

⁶ — Ну что вы, спасибо вам большое...

— Завтра вы тоже играете?

— Да, но очень маленькую роль.

— Кстати, меня зовут Ингрид (*англ.*).

⁷ — Меня зовут Александр, Саша (*англ.*).

— Bye-bye!⁸

Вечер как нельзя более удачно завершился приглашением на новую вечеринку. И девчонка очень даже симпатичная! И, как ни стыдно в этом признаваться, можно будет пожрать и выпить на халяву... Не все же мамиными консервами питаться. А о том, чтобы драгоценную валюту тратить на еду, страшно и подумать. Вот, проходили тут мимо кафешки: меню «всего» за 25 гульденов! Это же... да... долларов 15... а в рублях это будет... в общем, целое состояние за какой-то комплексный обед! Словом, спасибо тебе, Ингрид.

Правда, на обратном пути Савицкий, который приглашения не получил, прожужжал все уши, что свинством было с его стороны не добиться приглашения на вечер с вином и девочками для лучшего друга. Саня отшучивался про незваного-гостя-хуже-татарина (у Веньки дед был из Казани) и насчет того, что с Венькиной-то рожей да в Европы... Не упустил и козырнуть похвалой: выше Первого оценили! А насчет лучшего друга, усмехнулся он при этом про себя, — ведь и правда, пожалуй.

4. Наедине с собой и с границей

Утро третьего голландского дня было чистым и солнечным, впервые за все это время. Саша уже твердо помнил не только дорогу от общаги до театра, но и все ответвления — канальчики, лавочки, подворотни. Вышел на узкую торговую Калверстрат, сотканную из маленьких лавочек и супермаркетов. Здесь у домов как будто не было стен, а только распахнутые двери и витрины, и они засасывали, как омут — выйдя из магазина, он не всегда помнил, откуда в него зашел, и часто направлялся в обратную сторону, пока вдруг не замечал, что здесь он уже проходил. К концу пути Саша был обременен поношенной кожаной курткой всего за полсотни гульденов, несколькими парами носков, деталями дамского туалета для мамы, да и еще какой-то дрянью, которую он потом не без удивления рассматривал у себя в номере.

Куртка была кофейно-коричневой и казалась почти новой. Ближайшие несколько дней они с Венькой занимались поиском скрытых дефектов, а с Нинкой — поиском путей к их устранению. Выходило, что все прорехи в подкладке можно залатать, а главное, куртка прекрасно сидела и хорошо защищала от ветра, воды и холода одновременно.

⁸ — Завтра у нас будет вечеринка, здесь неподалеку. Не хотите присоединиться после спектакля?

— С удовольствием. Спасибо. Это не слишком поздно?

— Ничуть. Как раз вовремя. Может, попросить Яна проводить вас после спектакля?

— Яна...?

— Яна ван дер Велда. Он тоже придет.

— Да, спасибо.

— Отлично. До завтра!

— До свидания.

— Пока! (англ.)

Параллельно Калверстрат шел величественный проспект с двойным именем — Дамрак-Рокин, исполненный неторопливого достоинства, туристических агентств и сувенирных магазинов. Зашел Саша и туда. В первом же сувенирном стал набирать ерунды для родни и приятелей — и оказалось, что при всем внешнем разнообразии выбор крайне невелик. Несколько видовых открыток, пара фарфоровых домиков — все это как-то еще годилось, а основная масса сувениров была явно рассчитана на всеядных американцев: что-то в стиле родных слоников на комод, только на тему мельниц, каналов, деревянных башмаков и, для разнообразия, мужских половых органов.

Впрочем, хватит на сегодня шопинга. Захотелось вжиться в текущую мимо толпу, словно он сам себе задал такой вот этюд на актерское мастерство. Вот выходят из шикарного кафе две богатые старушки, блистательные и ухоженные леди с неизгладимой печатью банковского счета на лицах. Несется и хохочет стайка нагловатых, но незлых мальчишек-подростков, кажется, среди них и одна девчонка — а впрочем, у них и не разберешь. Деловая дама выпархивает из неверно припаркованной машины и бросается в чрево какого-то туристического заведения, а машина остается ждать, лживо мигая поворотниками прямо посреди мостовой... Что, что в них особенного? Почему они не такие, как мы?

Выдернулась из толпы рука в шевиотовом пальто, махнула Саше — пожилой господин чем-то интересовался. Оставалось только спросить:

— Do you speak English, sir?

— Yes. I asked you where's a bus stop.

— Sorry, I don't know. I'm a stranger here.

— Are you from England?⁹ (О, какая незаслуженная лесть для Сашиного английского!)

— No, I'm from Russia.

— Ru-sha? where's it?

— Moscow, Soviet Union.

— Oh, Rusland! Mikhail Gorbachev! To-va-rish Yeltzin! Gorbachev is a good man. He is better than Stalin. Stalin was a killer, I know. Do you agree?

— Of course. Sorry, I've no time¹⁰. — Саша выматерился по-русски и быстро зашагал прочь.

Так какие они, какие? И какой — я сам?

⁹ — Господин, вы говорите по-английски?

— Да. Я спросил вас, где автобусная остановка.

— Простите, не знаю. Я нездешний.

— Вы из Англии? (*англ.*)

¹⁰ — Нет, я из России.

— Ра-си? Это где?

— Москва, Советский Союз.

— Ах, Рюсланд! Михаил Горбачев! То-ва-риш Йелтцин! Горбачев хороший человек. Он лучше Сталина. Сталин был убийцей, я знаю. Вы согласны?

— Конечно. Простите, у меня нет времени (*англ.*).

Если честно — Саня и сам не знал, почему стал актером. Благополучный московский мальчик, единственный сын в средней семье того круга, что звался (и поделом!) советской интеллигенцией, он довольно рано начал ощущать свою «инаковость», и эту инаковость в нем, в отличие от большинства детей, так и не заглушили. Его не обошел стороной положенный набор занятий — языки, музыка и теннис, — но ничего из этого так и не закрепилось всерьез. Уже в старших классах стало понятно, к чему лежала душа и мозги: математика. Пошли районные и городские олимпиады, на горизонте, бесспорно, маячил мехмат МГУ и уже нащупывался некоторый бла́т.

Когда Саше было пятнадцать, от внезапного инфаркта умер отец, заместитель главного редактора одной из московских газет. Оказалось, что налаженность этой жизни зависела почти исключительно от его высокого положения, и все прежние двери не то чтобы резко захлопнулись, но как-то вяло открывались, давая четко понять: по старой памяти, из уважения к покойному пока что можете обращаться, молодой человек. И Саша решил по-американски стать *self-made man*¹¹, не рассчитывая на милостивую протекцию «друзей отца».

В 16 лет он пришел к Самому впервые, еще в государственный театр — приятель пригласил. Потом уже за кулисами, как-то в шутку попробовал повторить один эпизод из его роли — и эта шутка не осталась просто шуткой ни для Саши, ни для Самого, который случайно стал свидетелем. А дальше был уход Самого и всей его компании в многообещающую неизвестность, романтика перестроенных подвалов и болезненная влюбленность Саши в несуразную их студию, и, наконец, всего через неделю после окончания школы — первый выход на сцену со словами — кажется, всего четыремьа.

А по другую сторону занавеса... он не прошел в первый раз на мехмат по недобору баллов и во второй раз — прошел с тремя пятерками и одной четверкой. Отучился два курса и ушел в какой-то странный академ по липовой справке об экзотической болезни в преддверии блистательного провала сессии. Вгрызался зубами в программирование и вылавливал по знакомым конторам свободные компьютерные часы, как правило, ночные и нелегальные. Подрабатывал всеми пристойными способами и добился материального самообеспечения.

Его академ завершился, он даже что-то успел сдать из угрожавшей отчислением сессии — но на все не хватало ни времени, ни желания, и он решил просить второй академ. Это оформили уже как отчисление с правом восстановления, и так было честнее и приятнее: захочу — вернусь, захочу — нет. Тем более что знакомые девчонки в деканате устроили так, что районный военкомат по-прежнему числил Сашу среди студентов. Долго так продолжаться не могло, но передышка была дана. И с течением времени Саша все яснее сознавал, что возвращаться он уже вряд ли захочет. Только пока не надо говорить об этом маме.

¹¹ Человек, сделавший себя сам (англ.).

А по эту, главную сторону... Он явно не вписывался в то, что должно было считаться образцом актерства. Впрочем, как и весь их театр. Еще на заре сценической карьеры он однажды беседовал с дальней маминной родственницей, бывшей актрисой доброй дюжины областных драмтеатров.

— Ты — актер? — говорила она тогда, — ну что ты. Возможно, ты смог бы стать неплохим режиссером.

— Почему так? — удивлялся Саша.

— Понимаешь, актер... Это когда тебе на репетиции говорят: стань кверху жопой! — и ты сразу: вот так, да? Или так лучше? И стал. А ведь ты тут же задумаешься: зачем это кверху жопой? Может, как-то иначе? А вот это уж дело режиссера.

Приговор оказался не только доходчивым по форме, но и справедливым по содержанию. Саша играл неплохо, но до краев был налит какой-то вымученной серьезностью — а этого Сам не любил. Да и школы никакой у него не было — а что такое талант без шлифовки? Можно было, конечно, промаяться, поступить в театральное, конечно, при поддержке Самого... Но ведь — не было у Щукина щукинского диплома, не было и мхатовского у первых мхатовцев. К чему скучные, обрыдлые еще по мехмату лекции, если можно — просто играть?

И он играл, и пару раз был отмечен рецензиями, многократно — Самим и заходжими околотеатральными друзьями. И все-таки пока не было ни одного главного, безусловного признания, чтобы Саша понял — он актер. Он сознавал, что талантлив, иногда, как и всякий актер, не отказывал себе в удовольствии пометчать о своей гениальности — но состоится ли все это на подмостках? Что он был не математик — уже ясно, его обычное юношеское стихотворство тоже не сулило ему стать в один ряд с Пушкиным, а вот на сцене — как?

И эта невыясненность подстегивала, гнала на репетиции по чердакам и квартирам и на премьеры по убогим клубам и дворцам культуры, заставляла улавливать во вздорных иной раз требования Самого («встань кверху жопой») то неуловимое и существенное, что делало Самого — Самим, а его исполнителей — актерами. Но тот главный актерский стержень, который Саша должен был в себе обнаружить — или уйти со сцены — пока никак не удавалось нащупать. Многообещающий мальчик... А дальше-то что?

Ну а пока — бегом на репетицию, не опоздать бы! Потом еще погулять можно будет, до спектакля. И вообще, репетиции на первых зарубежных гастролях — изощренная китайская пытка. «Есть такое слово “надо”», а не будь его — все они в полном составе разбежались бы в разные стороны, включая Самого...

5. Белорусская чаша

Спектакль в тот вечер казался неожиданно долгим, но ускорить его Саша был не в силах. Во-первых, в «Эвридике» он был почти статис-

том, а во-вторых, время окончания спектакля, как известно, зависит не от скорости подачи реплик, а от неких мистических причин, которые актерам не дано разгадать.

У выхода его уже ждал Ян, и Саша бросил Веньке в ответ на недоуменно-обиженный взгляд:

— Ну, давай. До вечера.

— Да уж небось до утра, — парировал Венька.

Оказалось, что помимо Саши приглашены были Нинка, Леша и рок-певец Сережа, который и заведовал музыкальной частью «Эвридики». Хотели позвать и Первого, но тот собрался посидеть втроем с Самим и голландским бородачом — по хорошо усвоенной гастрольной традиции они отдыхали за русской водкой от многохлопотных семей, которые у всех троих были к тому же не первыми по счету.

Вечеринка проходила неподалеку, в однокомнатной квартире, совсем небогатой и вполне во вкусе московских студенческих берлог, даже и с горкой пустых бутылок на балконе. Саша так и не понял до конца, чья была квартира и в честь чего торжество. Народу было помимо них человек пятнадцать или даже больше — довольно тесно, и вечеринка была в самом разгаре.

Сережа — единственный из всех наших — оказался достаточно догадлив и богат, чтобы принести бутылку вина. Ее и подарили как бы от всех русских. Добропорядочный Ян тоже запасся бугылкой, и обе они влились в пеструю толпу напитков на низеньком столике.

Компания, к огорчению советских гостей, не ела, а лишь закусывала. Впрочем, соленые орешки, маслины и прочая мелочь не шла ни в какое сравнение с российской закусью. Им вручили бокалы, велели наливать себе самим (приказ исполнялся неукоснительно) и постепенно представили обществу.

Саша, как и полагается, начал с пива, но и вино решил не упускать из поля зрения. Впрочем, не успел он перейти от «де Конинк» к «Божоле нуво», как некий господин средних лет вовлек русских в разговор на их родном языке:

— Господа, а как вы относитесь к распаду Советского Союза?

— Да пусть распадается, — махнул рукой уже душевно принявший Леша, — ну его, надоел.

— То есть вы одобряете создание се-не-ге?

— Одобрямс, как водится, — кивнул Леша, — а чё это?

— Как, вы не знаете?

— Да и в самом деле — что же это такое?

— Я в Таиланде был, вернулся совсем недавно, — мягкой и как бы извиняющейся улыбкой отозвался Сережа.

— А, это Ельцин с Кравчуком и с этим белорусом что-то придумали вместо горбачевского Союза суверенных республик, — кивнула Нина.

— Да, да, — ухватился господин, — белобрыс... белорус был Шушкевич. Они собрались в... Белорусской Чаше, так, кажется... и объявили, что СССР больше нет.

— Нет, кроме шуток?! — До Саши наконец-то дошло.
— Это так. Теперь они сделали — это называется... Содружество независимых государств. Три славянские республики.

— Без чурбанов?

— Как-как? — не понял господин.

— Ну, Средняя Азия, братские народы, хрен им в редьку, — пояснил Леша.

— Нет, — лицо господина еще больше вытянулось от непонятного, но очевидного расизма этих милых русских, — только Россия, Украина и Белоруссия. Столица в Минске.

— Во-во, туда их, министров обделанных, — обрадовался Леша.

— Мальчики, в Молдавии такие фрукты... и вино такое домашнее бывает... Изабелла... — размечталась Нинка. — Это что, уже заграница?

— Ну. Считай, Румыния.

Господин сидел молча и несколько подавленно, не понимая реакции русских на развал последней в мире империи.

— Господа, но вам... не жаль?

— Горбатого? — угадала Нинка. — Знаете, такой анекдот: Шарапов с Желловым разоблачают «Черную кошку»...

— Нин, да откуда ему, тут ведь не показывали.

— Да, а жаль. Не худшая роль Высоцкого. И такая неожиданная.

Господин подобрал спасательный круг и стал говорить о бардах и загадочной русской душе. Но ему не дали. Саша неожиданно резко встал, даже в нарушение этикета:

— Ребята, надо выпить. За конец прекрасной эпохи.

— Стоя, не чокаясь, — поддержал Леша.

— Да, конечно! (Сергея)

— Мальчики, там бордо... (Нинка)

— Who's commemoration?¹² — донеслось из англоязычного угла.

— Sowjetunie,¹³ — ответили из голландского.

И люди начали — почти всерьез — подниматься. Огромный негр-американец безукоризненно точно и красиво запел без слов мелодию советского гимна.

Все стояли. Они вчетвером подняли бордовые бокалы под мелодию, поднадоевшую за всю предшествующую жизнь и тихо скончавшуюся несколько дней назад, пока они паковали чемоданы и не обращали внимания на телевизор... У кого было налито — присоединились, а остальным уже было бы неудобно булькать под траурный тост.

Хохма перестала быть хохмой. Смущенные, они сели.

— Да что вы, ребята, — озираясь, пробормотал Леша, — это ж так. It's a joke...

— Сергей, а вы споете нам? — неожиданно вступила из другой половины комнаты девушка с тонкими чертами лица, каштановыми воло-

¹² Кого поминаем? (англ.)

¹³ Советский Союз (нидерл.).

сами и резким голландским акцентом, делавшим из слова «вы» что-то похожее на «фю».

И Сережа взял как бы случайно принесенную гитару, подобрал ослабевшую струну, чуть-чуть разыгрался и запел:

Над твердью голубой
есть город золотой...

Он пел не очень долго и принят был с большим энтузиазмом, особенно голландской частью компании, которой тут же стал объяснять, что на самом деле песня-то не Гребенщикова, а Леша Хвостенко, да Леша уже и сам об этом слабо помнит, а Гребенщиков поет ее не вполне правильно. Голландцы слушали и делали вид, будто знают, кто такие Гребенщиков и Хвостенко.

Вечеринка снова распалась на маленькие группы; опустошались бутылки и темы разговоров, но тут же предлагались новые, и Саша, отяжелев после долгого дня и изрядного количества бордо, вяло переключался с бокала на бокал и с человека на человека, не принимая участия в броуновском движении гостей по тесной квартирке.

Пришлось немного порассуждать о проблемах русского театра, похвалить баррикадной романтикой августа, живописать пустынную московских магазинов и тут же заверить, что возврата к старому «нормальные люди не хотят». Впрочем, это все было скорее на иностранную публику, а Сашу занимала проба вин и закусок, да еще хотелось понаблюдать общую атмосферу вечера и окружающих его людей. С кем-то он уже обменялся телефонами, с кем-то познакомился и кому-то наговорил вдосталь теплых слов на русско-английской смеси, но в целом вечеринка смотрелась безликой массой, вроде опустошенных бутылок на балконе.

Наконец по всем признакам настал момент уходить. Голландская часть компании уже подрассосалась. Сережа и Нинка с Лешей собрались идти вместе, и надо было к ним присоединиться, но прежде — попрощаться с Яном и Ингрид, которые и привели его сюда. Ингрид была совсем неподалеку, и он привстал по направлению к ней:

— I think it's time to go.

— Yes. Shall we leave together?¹⁴

Надо же, подумал Саша, вроде я сам зову ее с собой. Надо было сказать иначе, «I shall go»¹⁵, что ли. Но... почему бы и нет?

— OK.

— We can use my bike if you ride and I'm... achterop.

— Ахтероп?¹⁶

¹⁴ — Кажется, пора.

— Да. Уйдем вместе? (англ.)

¹⁵ Я пойду (англ.).

¹⁶ — Отлично.

— Можно поехать на моем велосипеде, но только ты повезешь меня... на багажнике.

— На багажнике? (англ., нидерл.)

Ингрид молча похлопала рукой позади себя и покрутила воображаемые педали. Ага, на багажнике. Ладно.

— Let's go¹⁷.

Ингрид тоже попрощалась с кем-то, вдвоем они оказались рядом с Яном. Саша кивнул ему:

— Ну, мы пошли.

— Приятно было познакомиться, — ответил Ян по-положенному, не удивляясь новому «мы».

— Ну, еще увидимся, — а сам подумал, что навряд ли.

— Конечно. Пока!

И они вышли. Везти на багажнике рослую девушку, сохраняя равновесие, оказалось делом довольно трудным, велосипед все время вилял, а Ингрид смеялась и показывала дорогу. Потом пошло лучше, но Ингрид все равно смеялась, и он уже чувствовал ностальгическую нежность к ней, словно возвращалось что-то из отроческих дачных каникул, когда он тоже катал одну девчонку на багажнике... Только эта была совсем другой, взрослой, яркой, уверенной в себе, и с ней было хорошо.

Так они добрались до ее дома. Что же теперь, неужели тащиться отсюда до общаги, ночью? Да нет, вряд ли затем она его позвала.

— I'm afraid there're no trams now, — словно угадала Ингрид, — what time does your day begin tomorrow?

— At 10 o'clock we meet in the hotel.

— Why don't you stay at my place tonight?¹⁸

А действительно, почему бы и нет?

Ингрид засмеялась и наклонилась к велосипеду, словно это он был ее героем в эту ночь. Оказалось, она приковывала своего скакуна толстой цепью к металлической решетке. А потом она взяла Сашу за руку и повела наверх.

6. Почему бы и нет?

Утром он еле успел в общагу, подхватить свои вещи. Венька злорадно усмехнулся:

— Ну?

— Порядок.

А больше поговорить не успели, срочно погрузились в тот же автобус, теперь уже со значительным количеством багажа. Саша пристроился у окошка, рядом, конечно, плюхнулся Венька, горячо задышал и стал требовать подробностей. Саша сразу дал понять, что их не будет, и стал нарочито громко рассказывать о соленых орешках к пиву, что были так хороши на вечеринке. Венька отстал, и Саша предался созерцанию пейза-

¹⁷ — Пошли? (англ.)

¹⁸ — Боюсь, трамваи уже не ходят... Во сколько тебе завтра на работу?

— В 10 мы встречаемся в гостинице.

— Может, у меня переночуешь? (англ.)

жа за окном. Каналы чередовались с коровами и коровы — с каналами, мелькали разнообразные постройки, а вдалеке четкая линия горизонта пересекалась только редкими деревьями и подчеркнуто вертикальными шпилями церквей. Скоро это надоело, и Саша провалился в сон — вдобавок бурной этой ночи.

Но поспать не удалось — автобус уже через полчаса встал на маленькой площади около маленького отеля и им пришлось спешно выгружаться. Ящики, ругань, вздохи Самого: как вогнать спектакли в прокрустово ложе крохотной сцены? И сразу, с колес, репетиция... А Саша все плавал в какой-то мутной тяжести — состояние человека, несколько раз за последние сутки уснувшего, но так толком и не поспавшего. Но кончилась и эта колготня — теперь бегом досыпать в гостиницу. Саша, собственно, до сих пор не знал ни названия гостиницы, ни имени города.

Уснул не сразу, но проспал-таки пару часов. С черного дна его не без усилий вытащил голос звукотехника и рабочего сцены Васи Стрелова, с которым они делили номер на двоих.

— Саня, вставай, посетители.

— Мма... ну...

— Вставай, чудила, клевая телка подвалила.

Что? Э?

Тёлка. Тёл-ка. Кле-ва-я.

А... А?!

И он открыл глаза. Над ним склонилась Васиная голова, от нее пахло сырокопченной колбасой.

— Подвалила, говорю, тёлка.

Саша приподнялся на локте и оглядел комнату. На прикроватной тумбочке красовался натюрморт: свежесваренный, еще дымящийся стакан чаю рядом с кружочками той самой колбасы и увядшей полбуханкой бородинского. На Васиной кровати лежали свитер, джинсы и рубашка. Васа, замотанный по бедрам полотенцем, стоял рядом. В дверях была Ингрид.

— Hoi!¹⁹

— Привет... То есть Hallo.

— Have had a nice sleep?

— Yes... very nice²⁰.

Саша сел, сбросил одеяло, вспомнил, что сидит в одних трусах, бросился за брюками —

— Sorry...

— Not at all. I saw it already. What about having a walk through the city?

— How did you find me?

¹⁹ — Привет! (нидерл.)

²⁰ — Привет.

— Хорошо поспал?

— Да... Очень хорошо. (англ.)

— T'was easy. I knew the concert hall you were going to play in, cause someone had told me yesterday, so I came there and they told me about the hotel. T'was easy.

— Oh! What's the name of the city?

— Don't you even know? It's Utrecht. What about a walk, I asked you? We've got three hours before the performance starts²¹.

Вася, уже одетый, вышел из ванной:

— Спроси, может, чаю ей?

— Would you like some tea?

— Actually, I'd like some coffee²².

— Кофе просит, Вася.

— Нету кофе. Ноу кофе, мадам... то бишь мадмуазель.

— Well, — Ингрид взяла инициативу в свои руки, — we can go down for a nice cup of coffee and then have a walk. OK?

— OK²³. Вася, мы пойдем, пройдемся.

Саше даже стало стыдно, что он не знал названия города. Утрехт! Слово, знакомое по «Тилю Уленшпигелю» и засевшим в голове обрывкам европейской истории (Утрехтский мир), веяло чем-то таинственным, средневековым и прекрасным.

Уже начинало темнеть, на улицах и мостах зажигались огни и над самой водой — маленькие квадратики окон, чьи искаженные копии колебались на воде. С парапета можно было войти в кафе, но Ингрид предложила сперва подняться на колокольню утрехтского собора, пока совсем не стемнело. В самом соборе оказался музей уличных органов, но он был закрыт. Надо же, оказывается, не только большевики из соборов музеи делали.

Они взбирались по бесконечной каменной лестнице, миновали зал, где некогда была подписана Утрехтская уния и положено начало государственности Нидерландов, и еще выше, и еще круче — к колоколам. Они бродили по узкому пространству камня, опоясывающему колокола, а под ними открывался весь город, окруженный полями и озерами... Город погружался в серую ветреную ночь, где терялись отдельные фигурки людей и автомобилей, зажигал все новые огоньки, цепочки огней, и целые островки света. А они подождали, пока пелена сумрака и дождя не скрыла наполовину их самих, и стали целоваться.

²¹ — Извини.

— Не за что. Я уже видела. Не прогуляться ли нам по городу?

— Как ты меня нашла?

— Запросто. Я знала, в каком зале вы должны играть, мне кто-то вчера сказал, так что приехала туда, а оттуда меня отправили в гостиницу. Запросто.

— Ну! А как называется город?

— А ты что, не знаешь? Утрехт. Так что, прогуляемся или нет? У нас есть три часа до спектакля (англ.).

²² — Хочешь чая?

— Пожалуй, лучше кофе (англ.).

²³ — Ну так пойдем выпьем кофе и потом прогуляемся. Идет?

— Идет (англ.).

Потом спустились на землю, к каналу, нырнули под мост, в уютную дверь, чтобы отогреться кофе и пирожными. В этом маленьком полупустом и полутемном зале со свечами на столиках, казалось, с минуты на минуту мог появиться сам Тиль со своими гёзами и проститутками, заказать на всех ром и капучино, немножко побуянить, а потом расплатиться кредитной карточкой и нырнуть через тяжелую дверь обратно, в наружный блеск празднично-рекламных огней, отраженных чернотой канала.

Ингрид пресекла его рыцарскую попытку расплатиться и сказала, что она сегодня — хозяйка, и поэтому платит за все. Тонкая рука нырнула в изящную сумочку, достала бумажник, а из него — пластиковую карточку. Официант унес ее в дебри кафе, вернул вместе с чеком, Ингрид вынула серебристую ручку и наложила на чек незамысловатую роспись. А потом, поколебавшись, бросила на столик пару монет — на чай.

— The service was OK, I think we can tip him²⁴.

А потом они еще бродили по улицам, нехотя приближаясь к зданию театра. Их обтекали предрождественские потоки обывателей-покупателей, нагруженных цветными пакетами и приятными заботами. С ними заигрывал рекламный Синта-Клаас в бутафорском епископском облачении и с негритенком. Они вклинивались в бесцеремонную стайку американских провинциалов в ковбойских шляпах и японских фотографов-любителей в безупречных костюмах.

Целовались и были счастливы. Хотя едва ли — влюблены. Им просто было очень хорошо друг с другом, хорошо и просто, и вряд ли стоило разрушать это праздничное, нестойкое счастье попыткой заглянуть дальше сегодняшнего вечера.

Договорились встретиться после спектакля в гостинице, и Саша, голодный и невыспавшийся, помчался играть Астрова.

— Слушай, после спектакля погуляешь часок, а? — бросил он на ходу Васе, и Вася понял.

Играл он в этот вечер спешно, как самому казалось — плохо, а как сказала ему Лариса Солодова (Соня) — с неожиданным зарядом эротизма по отношению к ней, который от Астрова вроде бы исходить не должен.

И после поклонов, не задерживаясь на очередной маленький выпивон с местными ценителями, бежал в гостиницу по гулким утрехтским проулкам. Даже с пути сбился один раз.

Так началась их полуторанедельная поездка по стране. Театр переезжал из города в город, задерживаясь в каждом не более двух суток, а чаще всего — сутки. Играли, иногда дважды за день, на маленьких сценах, приводивших Самого в священный ужас, но все как-то устраивалось. Принимали очень тепло, и знакомый бородач почти каждый день притаскивал Самому очередную местную газету, а то и две-три, со статейкой о них, где, как правило, умеренные похвалы прикрывали путаницу в фактах — не то чтобы злостное вранье, а так, журналистская прибли-

²⁴ Обслуживание было нормальным, полагаю, можно дать чаевые (англ.).

зительность, когда Самого называли Антоном Павловичем, Чехова — латышским диссидентом, а «Дядю Ваню» путали с солженицынским «Иваном Денисовичем».

А для Саши началась какая-то сумасбродная жизнь: ко всем переездам добавилась Ингрид. Она приезжала, когда сама хотела — забросив на день-два свой университет, отправлялась в Леуварден или Роттердам (а это им как из Москвы в Клин съездить), вытаскивала Сашу побродить по городу, поила за свой счет бесконечным кофе и пивом, а после спектакля они выставляли из гостиничного номера очередного Сашиного соседа. Последним поездом она возвращалась в Амстердам отсыпаться, и никто не мог сказать, захочет ли она приехать завтра в новый город.

Саша вовсе не был сексуальным революционером (как и никто из их актерского круга, несмотря на внешнюю бравату) и не уважал трах ради траха, но с Ингрид... Оба они хорошо друг к другу относились, и вечерний секс в гостиничном номере становился еще одним невинным удовольствием после прогулки, кофе и пива — так почему бы и нет?

Этот тон — «почему бы и нет?» — задан был Ингрид с самого начала их европейского романа, и Саша не находил ни причины, ни желания этот тон переменить. Он понимал, что здесь, на Западе, бои сексуальной революции уже отгремели и отбирать ее завоевания уже никто не собирается. Они с Ингрид падали на очередную гостиничную койку не так, как революционер встает на баррикаде в рост со знаменем и кричит в нацеленные стволы что-то о конституции и избирательном праве, а как буржуа в погожий выходной отправляется к избирательной урне за своим всеобщим, прямым, тайным и равным.

Во всем этом была какая-то несуразность, но... Так было просто и хорошо, и они так дружили с Ингрид. Она знакомила его со страной, уводя его в уголки, до которых он бы сам ни за что бы не добрался, и рассказывала вещи, которых он никогда бы сам не узнал. Не любовь, не интрижка, а еще одно маленькое чудо в чужой стране, чудо с длинными светлыми волосами и длинным носиком — в дополнение к башням и каналам... Такая яркая, теплая, сексуальная, в конце концов. Ну зачем, в самом деле, отказываться от такого? Никому же не мешает.

Но все спуталось, и не оставалось ни отдельных часов и суток, ни разрозненных точек на карте: некое сказочное пространство и время, тридевятое царство, тридесатое государство. Заполненное до отказа всем, чем только можно, до воспаления обостряющее все органы чувств... Он пил, вдыхал и впитывал его кожей и чувствовал, что оно подходит к концу, по мере того как приближается западное Рождество.

Последний пункт их гонки находился уже на территории Бельгии, в городе Брюгге. Они должны были сыграть «Дядю Ваню», погрузиться в автобусы, вернуться в Амстердам, переночевать все в той же общаге и утром отправиться в аэропорт. Не оставалось времени на прощание со столицей, да и на прощание с Ингрид тоже — в Брюгге она ехать не собиралась. Весь конец их романа должен был уложиться в краткие ночные часы сочельника, когда все благонравные семьи, сходя в церковь, садятся за

праздничный стол... Это было щемяще грустно — уезжать в праздник, не увидев того самого торжества, к которому так обстоятельно и радостно готовилась вся страна, к которому и были подгаданы их гастроли.

Они сидели на узкой кровати гостиничного номера — впервые ему деликатно предоставили одиночный, без соседа — и Ингрид неспешно собирала в охапку свои роскошные волосы, а потом снова распускала их, чтобы начать новую прическу. Она уже сказала ему, что не поедет в Брюгге, и как-то легко отнеслась к надвигавшемуся концу их романа. Сейчас она спокойно оденется и пойдет на вокзал — как всегда, к последнему поезду. Проведет сочельник в Амстердаме, наверно, сходит в кирху, потом переночует с ним, проводит, может быть, до аэропорта и поедет к своим родителям в маленький городок на севере Голландии порадоваться семейному торжеству.

А пока эти упрямые волосы, ее игрушка, словно важнее всех встреч и расставаний на свете — а может быть, она просто хочет, чтобы он запомнил ее такой, полуодетой, растрепанной, чтобы потом в морозной и вьюжной России каждый извив этих светлых локонов возвращался все отчетливей и мучительней?

Но все было проще — и более по-европейски.

— Sunny,²⁵ — так переделала она русское «Саня», — you know what I mean... Why don't you stay for a week more? You can sleep at my place. You know, I'm single.

— Yes, but...²⁶ — Саше это даже и не приходило в голову.

— But what?

— The ticket has a fixed date.

— Can't you change it?

— I don't know... It may cost some money.

— If you need it, you can earn it.

— How?

— Don't you know, silly boy? There are some ways. You can wash dishes in a restaurant without any residence permit, or something. It's not like getting a meal ticket, but still a chance. May be you even find a place in a theatre, in due course²⁷.

²⁵ Санни — «солнышко» (англ.).

²⁶ — Знаешь что... Может, останешься на недельку? Можешь ночевать у меня. Я ведь живу одна.

— А как же... (англ.)

²⁷ — Что?

— В билете проставлена дата.

— Что, ее нельзя изменить?

— Не знаю... Это, наверно, денег стоит.

— Так если нужны деньги, заработай.

— Как?

— А ты не знаешь, дурачок? Есть способы. Без вида на жительство можно мыть посуду в ресторане или что-то в этом роде. Это, конечно, не талоны на усиленное питание, но все-таки. А со временем, может, и место в театре найдется (англ.).

И, оставив в покое так и не убранные волосы, стала одеваться. Они попрощались на этой полусказанной мысли, и она ушла в ночь, а Саша лег, и чувствовал только прохладу постельного белья и приятную тяжесть во всем теле, после которой засыпаешь мгновенно и спишь глубоким и освежающим сном.

7. Доктор Астров из города Брюгге

Напоследок Европа решила показать ему лучшее из того, что имела. Времени между прибытием и спектаклем было совсем немного, и Саша выскочил в город, чтобы успеть хоть что-нибудь увидеть. Но его бегущий московский шаг гас на булыжной мостовой.

Этот город — средневековые с «ситроенами». Стены домов застыли в XVII веке, если не ранее, а жизнь за этими стенами потихоньку шла вперед. Фламандскому кружеву всех фасонов и видов было тесно в магазинчиках, и оно нетерпеливо выплескивалось на узенькие улочки, от которых отличалось лишь относительной недолговечностью материала и строго симметричным строением. А люди здоровались друг с другом на улице, и целовались, сидя на парапете узенького мостика, и пили пиво за столиками на тротуаре.

В одном из маленьких переулков он увидел девочку-подростка; она шла, уткнувшись в пеструю книжку, и что-то внимательно вычерчивала там пальчиком. Наверно, ищет дорогу по путеводителю — и Саша как-то невольно подошел поближе, взглянул на обложку: атлас Европы. Ищет дорогу домой по атласу Европы — или просто купила для школы, а теперь рассматривает? И он неожиданно для себя поздоровался с ней по-голландски:

— Хой!

— *Noi...*²⁸ — несколько растерянно протянула девочка.

— *Мах ик?*²⁹ — и протянул руку к атласу. Девочка выпустила книжку из рук, Саша перелистнул несколько страниц и добрался до той, где желтел в необычной кривой проекции краешек знакомого громадного пятна, нависавшего над пестрой Европой то ли угрожающим монстром, то ли первобытным океаном, который всегда окружал обжитой мир на картах древности.

— *Ик — хир*³⁰, — и ткнул пальцем в точку уже у обреза карты, словно на краю света, с надписью *Moskau*.

— *Ben je van Mos-kau?* — по слогам прочитала девчонка. — *Wat leuk!*³¹

Протянула руку за атласом, потрянула рыжеватыми хвостиками волос и пошла себе дальше, бросив ему какое-то непонятное прощание.

²⁸ — Привет!

— Привет... (*нидерл.*)

²⁹ Можно? (*нидерл.*)

³⁰ Моя здесь (*искаж. нидерл.*).

³¹ Ты из Мос-квы? Вот приколы! (*нидерл.*)

Атлас теперь беспомощно трепыхал страницами в ее руке — маленькая пестрая книжка, которая ни ей, ни ему не нужна, чтобы добраться до дома.

Дома... В Шереметьево будет, наверно, метель, такси слишком дорого, и автобусов нет... Дома — консервные банки и пачки макарон под маминой кроватью, розовые червонцы с Ильичом, которых слишком мало и в то же время слишком много, потому что в магазине на них все равно ничего не купишь... Дома — бегать от военкомата, делать перед мамой вид, что и в самом деле собрался учиться этой проклятушей математике, а перед Самим — что нет для него ничего святее их подвального театра. А на самом деле что? А ничего. Сугробы и вьюга. Бредешь, бредешь по зимней улице, дошел до теплого угла — вот тебе и хорошо. Остограммился — вообще никаких вопросов не осталось.

А куда дошел, зачем... Зачем весь этот наш русский быт, бессмысленный и беспощадный, а вернее — безытность. Зачем? Раньше — ради коммунизма, или за свержение советской власти, ну вот свергли мы ее — а дальше? Почему вот они могут тут жить среди кружев и каналов, вот эта вот девчонка, которая ничуть не лучше тысячи таких девчонок в Москве, Сарапуле или деревне Гадюкино. И почему, почему, когда у меня будет свой ребенок — он никогда не будет жить так, как она? Как это несправедливо, если задуматься...

Может быть, и правда, остаться на время? Вот и виза еще не закончилась. Вряд ли за просроченный билет возьмут дорого, да может, и вовсе ничего не возьмут. Денег уже, правда, не осталось, но можно будет подработать, Ингрид сказала. Ингрид, Ингрид, как ее бросить, такую... такую яркую и сочную, и она ведь сама предложила ему остаться. А вдруг это всерьез? Вдруг он упустит свое счастье?

Нет, надо, конечно, ехать. Дома мама, приятели, возможный роман с чудной девочкой Дашей из химико-технологического, все свое и родное. Брось дурить, ты, в конце концов, должен — зазвенел в голове чужой металлический голос. Среди актеров незаменимые — это как раз актеры молодые и неизвестные. Заболел Смоктуновский, на гастролях Доронина, запой у Евстигнеева — так для кого же из вечных актеров второго состава не честь, что на сцену выпустят их, дадут проявить и оценить себя по высшей шкале зрительского признания, на фоне звезды? Но Сашу-то никто не будет заменять. Значит, скандал с Самим. Возможно, вплоть до ухода из театра. А если сказать про безумную любовь с местной девушкой? Ну не наркота же, дело понятное и простительное. И придет на Сашино место другой мальчик, не лучше и не хуже, просто еще один из тех, кто бредит сценой, и, наверное, зря. Мальчиков много. Актеров мало.

Должен? А почему? Почему с октябрятских лет и по сей день он должен жить не так, как хочется, а так, как велят — партия, Родина, ту-совка, круг приличных людей, этот их несуразный театр, наконец?! Может быть, на самом деле это нас так ловят на эти красивые слова, ловят те, кто беззастенчиво пользуется нами? Мало кому он на самом деле в

этой жизни что-то должен, мало кто пострадает от его отсутствия — да что там пострадает, мало кто заметит. Мама поволнуется и успокоится, Даша слишком девочка с обложки, чтобы это было всерьез. Приятели обойдутся. Вот только театр... Если бы знать, что я актер, что это — мое и навсегда, тогда никаких сомнений. Но какой он, в конце концов, актер... Так, клубная самодеятельность, сойдет для сельской местности.

Ведь не в том же дело, что здесь слаще есть и мягче спать. Да, от этого сыра, от этого кофе пьянеешь еще хлеще, чем от водки, не стыдно голодному в том признаться, но другое гнетет и не пускает. Не может он так, по-отмеренному. Две недели вольного ветра — и снова пожалуйте головой в парашу. Он вышел тогда на баррикады для того, чтобы быть свободным и решать за себя самого. И сейчас он не может, просто не может подчиниться очередному свистку под названием «Родина зовет» и «есть такое слово “надо”». Ему с детства всегда хотелось ответить «есть такое слово “на хер”», и может быть, сейчас — последний шанс сказать это, хотя бы один раз в жизни.

Саша стоял на горбатом каменном мостике и долго смотрел в мутную воду канала. Под ним проплывали лодки с туристами, так близко, что он мог бы нагнуться и потрогать их головы. Он все смотрел и смотрел в эту воду, словно и не жадился полчаса назад увидеть до спектакля как можно больше, словно и не было в этом городе ничего примечательнее свинцовой водной глади — и вдруг понял, что никуда он отсюда не поедет.

И очнулся, побежал, расталкивая локтями публику, но повезло не заблудиться, успел ко времени явки на спектакль.

Первый, обстоятельно гримируясь в Войницкого, по обыкновению рассказывал непрофессиональному своему окружению профессиональные актерские байки. На сей раз это была история первых оттепельных гастролей московского цирка в Германии. Эту Саша уже слышал. Да и кто ж ее не слышал — раз по десять?

— ...и тогда Никулин поступался в номер к сопровождающему, вошел и вежливо спросил: «Скажите, пожалуйста, как будет по-немецки “Я прошу у вас политического убежища?”» И этой гэбэшной сволочи пришлось всю последнюю ночь караулить в коридоре, пока Никулин сладко спал в своем номере...

— Да, теперь-то хоть всем театром оставайся, — сказал кто-то.

— Ну да, только железный занавес теперь с другой стороны строится. Без парткомов и берлинских стен, но ничуть не менее прочный. Очень тут все нас ждут, аж рыдают.

— Ну, как сказать. Видел, как нас принимают? «Рюсланд — дружба навэки!»

— Дык, в зоопарке тоже на слона приятно посмотреть. А к себе в квартиру — слона пустишь?

— Не-ет, все ж таки можно остаться. Только к чему? — резюмировала Нинка, безуспешно пытавшаяся перевоплотиться в «сырую, мало-подвижную» (по Чехову) старушку-няню Марину.

— Да ведь в этой стране... — начал было эпизодический Вася-«рабочник».

— То есть в той.

— Ну да, ведь в той стране никогда ничего...

— А чё ж ты не остаешься?

— А в этих странах — кому мы нужны? Посмотри лучше, парик — нормально?

— Вот тут чуть-чуть. Все, давай. А все-таки — чё не остаешься-то? Не остаёсси-та чё, паря? — начала входить в старушечью роль Нинка.

— А я вот остаюсь, — сказал Саша.

— А от он остаётся... Слушай, Саш, что, правда? — опомнилась она.

— Навсегда? — равнодушно спросил Вася.

— Не думаю, — честно сказал Саша, — останусь, посмотрю.

— Значит, навсегда, — резюмировал Вася и подошел к окну. Он уже был готов и хотел покурить, а по джентльменскому соглашению с некурящими дым следовало пускать в окно. Повозившись с фрамугой, он впустил в тесную гримуборную порцию сырого холодного воздуха, и разговор как-то стих.

— Саня, да ты что, — вступила серьезная и восторженная Лара Солодова (Соня), — ведь у нас, в России, все еще только начинается. Вот сейчас, когда уже без коммуны, когда свобода...

— Саша, а театр? — не отставала Лариса. — Кто будет играть?

— Незаменимых, как учил товарищ Сталин... — Саша попробовал отшутиться.

Лариса только махнула рукой. Вася смотрел в сумеречную пустоту и счастливо затягивался дорогой иностранной дрянью. Первый, уже в полном гриме, держал в руках свой шелковый галстук и смотрел то ли на Сашу, то ли на некую пространственную точку рядом с ним.

— Саша... Если это серьезно, то подожди. До завтра время еще есть. Посидим вечером, выпьем. Понимаешь... ты ведь актер. Ты правда — актер.

И горячая волна сомнения, благодарности и теплоты поднялась в Саше к самому горлу, почти до слез — и отступила.

— Спасибо, Дмитрий Федорович. Я же так с вами не расстанусь.

Но свет уже начал зажигаться, они с Нинкой вышли на сцену, и вот она уже налила стакан остывшего чаю, подала, неумело играя старческую немощь:

— Кушай, батюшка.

— Что-то не хочется, — ответил он и по роли, и от себя, на их «останься».

Спектакль покатился по гладко наезженной колее, реплики и движения возникали как бы сами собой, и Шашино сознание, как это обычно и бывало, могло отключиться в достаточной мере, чтобы думать о вещах совершенно посторонних — и при этом без риска спутать текст. Эту способность Саша в себе не любил и считал ее признаком дурного актера — он не знал, что такое перевоплощение, он жил на сцене собственными повседневными заботами. Но не удавалось переломить это

в себе, начать думать за своего героя, а не за себя. Верно говорила многожуродная тетка.

— Я стал чудачком, нянька... Поглупеть-то я еще не поглупел, Бог милостив, мозги на своем месте, но чувства как-то притупились. (Казалось, за всю эту поездку в нем только и осталось, что обнаженные, переполненные чувства — и лучше бы они и вправду притупились...)

— Ничего я хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю... Вот разве тебя только люблю, — склонился Саша в заботливом поцелуе над Нинкиным затылком. Вот она, вот она, интеллигентщина наша проклятая, вот та литературщина, в которой тонет Россия! А если — хочу, нужно, и даже люблю?! Что, неинтересно тогда?

— Может, ты кушать хочешь? — ответила «старушка» заботой на заботу.

— Нет. В великом посту на третьей неделе...

Ах, как стыдно нам хотеть кушать! Великий пост идет в стране не третью, а тридцать третью неделю, и разговор не предвидится — а мы все делаем вид, что не в том проблема, что нам бы искусство спасти, культуру от разрушения, Шестая симфония в блокадном Ленинграде. А кто же кушать не хочет — на самом деле? Только тот, у кого есть что покушать...

Вышел из дома выпавшийся Первый-Войницкий, пожаловался, что ест на обед разные кабули и пьет вина (а на самом деле Первый ест консервы и пьет то водку, то пиво, то смешивает) и как это все нездорово (водку с пивом — точно, а вот кабули эти загадочные — ой ли?), и как это плохо, что он спит, ест, пьет и не работает...

А потом Первый с Сашей стали обсуждать достоинства жены профессора, и проблему ее верности — фальшиво это или нет. Господи, когда, где и почему были все эти проблемы? Кто в России, кто в Голландии мучается проблемой супружеской измены, кто придает ей псевдофилософскую глубину? Хочешь — изменяй, не хочешь — нет, ноу проблем.

А потом пришли мужики, все насчет пустоши — и вот только тут ничего не изменилось. Как не давали им пустошь при Чехове, так не дали и при большевиках, не дадут и при демократах, и все они будут ходить за ней к разномастным барам, а пустошь так и будет пустошью, и ничего на ней никогда не вырастет. В России, разумеется, не здесь. Здесь земля отвоевана у моря ценой человеческих жизней, здесь и слов тех нет, которыми так богат наш великий и могучий: пустошь, распутица, хлябь, бездорожье... Здесь не будут ломать голову над мировыми проблемами, не будут, как профессор, писать о реализме и натурализме, а будут жить — реально и натурально. Да, приземленно, да, без Чехова и Мейерхольда, но разве это хуже?

Но спектакль шел своим чередом, вне зависимости от внутренних, неслышных монологов его участников, и доктору Астрову подошло время произносить свою ударную речь о красоте и гибели русских лесов, до которых Саше, в общем-то, дела было не больше, чем гипотетическому доктору Астрову до красот города Брюгге, где ликовал и мучился Саша.

А когда Саша ушел со сцены, в маленькой комнатке, служившей им всем гримуборной, пело радио — кто-то опробовал новоприобретенный дорогой и сложный магнитофон. Это был мягкий рок не очень высокого пошиба, на окне бурлил кипятильник в стакане, и Саша успел с комфортом выпить чая с московскими сушками, прежде чем пойти изображать голодного и пьяного Астрова.

Словно нарочно все сошлось наоборот — он играл не то, что чувствовал, и говорил прямо противоположное тому, что думал. Наверное, так было не в первый раз, но впервые все это резало так остро — может быть, потому, что играли они в этом чудном средневековом городе, где страдания российских мелкопоместных интеллигентов выглядели не менее экзотическими, чем повесть о вожде с острова Мумбу-Юмбу и его кокосовой пальме.

В антракте Сашу перехватил Сам.

— Да ты что, Смирнов, гребанулся?

— Что вы имеете в виду? — задал Саша неизбежный риторический вопрос, а сердце упало куда-то в желудок: ну вот, началось. Теперь не скоро кончится.

— А ты не понимаешь? Да ты думаешь, раз не Янаи — то раздолбай, все уже можно, уже никто и ничего? Ты остаешься, а нас всех — вот, и вот, и вот (энергичные жесты Самого однозначно пояснили, в какой именно позиции ему предстоит подвергнуться принудительному половому акту).

— Да ну что вы, Юлий Иванович. Время не то.

— Ага, а ты у нас Ростропович! Только кто за тебя играть будет?

— Вы говорили, у Андрюши неплохо получается.

— Молод еще Андрюша. Ладно, ты мне лапшу-то не вешай, давай так — иди играй, не буду тебя дергать, но после спектакля подойдешь и скажешь: ты с нами или как.

— У меня тут, Юлий Иванович, девушка. И не пацан я, в конце концов! Могу хоть что-то решить за себя?

— Можешь? Ну... — но Сам только махнул рукой и добавил: — Всё, на сцену.

Второй акт прошел уже на каком-то автопилоте, Саша внутренне проигрывал разные линии поведения с Самим, но ничего не получалось. Но отступить он уже тоже после всего этого не мог: мол, сдуру брякнул, простите мальчишку. Хотя, пожалуй, и впрямь сдуру...

А после спектакля они действительно сидели и выпивали — прямо в автобусе, по дороге в Амстердам, на заднем сиденье, чтобы побольше народу уместилось. С одного боку Саше жарко сопел в ухо Венька, то ли жалея о решении друга, то ли завидуя его смелости; с другого — дружески обнимал нехмелеющий Первый, подливая новые и новые порции «Московской». Он все говорил и говорил хорошие слова и вроде бы отговаривал — но не сказал ничего главного, решающего, ради чего стоило бы забыть обо всей ерунде и спокойно вернуться в Москву, тянуть

лямку несуразного и любимого театра. Не то чтобы Саша ждал этих слов — но после неожиданной похвалы, полученной им сегодня от Первого, что-то такое могло прозвучать.

Может, Первый только слегка поугovarивал, а вот уговорить, заставить сделать выбор — не считал себя вправе? А может, Саша просто играл сегодня бездарно, и все сказанное до начала спектакля относилось лишь к неожиданному и спонтанному блеску его первых амстердамских спектаклей? Блик, который неожиданно вспыхнул и пропал, мимолетный и несамостоятельный, как ответ фонарных огней на черной воде каналов? Говорят, нет такого графомана, что не написал бы одного гениального стихотворения... Вот и Саша, наверно, — бездарный актер двух-трех гениальных спектаклей.

Но уже Саша опьянел — и то ли плакал, то ли дремал на плече трезвого Первого, все больше убеждая себя в собственной никчемности, а разговор замирал, скатываясь в дружелюбные междометия, пока автобус отмахивал километры автострaды на пути к Амстердаму.

Уже в номере гостиницы к нему пришел Сам. Лично. Саше стало просто страшно, что он, вдребезги пьяный, сейчас скажет или сделает что-то такое, после чего Сам на него и посмотреть не захочет.

— Что решил, Смирнов?

— Я... Юлий... эээ... Ива...

— Что решил, я спрашиваю? Ваньку-то не валяй, не на сцене!

Саша не валял ваньку. К горлу внезапно подступила мучительная и неодолимая тошнота, и он боялся, что сейчас вместе со словами его вырвет, и позор будет гораздо страшнее дилеммы «оставаться или ехать».

— Эээ... щас... прос-тите.

Саша шагнул в сторону туалета. Один его знакомый хиппарь про такое говорил: помолиться фарфоровому богу. Точно, ничего нет сейчас важнее, чем склониться в поклоне над унитазом.

— Я щас.

Когда Саша вышел, Самого уже в номере не было. Он не вынес того простого факта, что сперва собирались ответить унитазу, а потом уже ему. Что ж, может, так оно и лучше.

Саша проснулся рано, сам, к собственному удивлению, раздетый и в кровати, хотя конца вечера не помнил совершенно. Он успел покидать свои вещи в сумку, чтобы вовремя выйти к подъезду общаги. Стоял серенький ветреный денек, солнце уже поднялось, а актеры рассыпались по узкому тротуару в ожидании автобуса. У Саши неожиданно ломило голову с похмелья, все актерские лица слились в какую-то серую кашу, которая то с безразличной симпатией, то с радушными напутствиями хлопала его по плечу и чмокала в щеку. Сам его в упор не замечал.

Откуда-то взялось «на посошок — счастливо оставаться», и от водки на голодный желудок прояснила похмельная голова, расхотелось спать. Он помогал распахивать пополневшую поклажу в тесное багажное подполье автобуса, чувствуя себя все еще нужным человеком, и пожал

холодно протянутую руку Самого, на лбу которого огнем горело: «Предатель!» — и еще раз обнялся и поцеловался с кем-то, и просил кому-то что-то в Москве передать, ведь написать он не успел даже маме — ну, короче, увидимся, бывай...

А вот и Венька, и он тоже почему-то не едет с ними — ах ну да, он же вчера уже рассказывал, только с пьяных глаз Саша ничего не запомнил — торговал-таки машину, и даже не «жигуль», а настоящую «ауди», хоть и сильно подержанную, и теперь своим ходом домой, через Германию и Польшу. Транзитную немецкую визу заранее раздобыл, жучила.

— Ну все... бывай, автовладелец. Поаккуратней там, бандюки на дорогах.

— И ты бывай, первый любовник.

И вот автобус плавно затворил дверь и тронулся, а Саша поволок по тротуару сумку, не особенно сознавая, куда идет...

Потом он сидел в каком-то парке на скамейке, кутаясь в воротник кожаной куртки и разглядывая толстых самоуверенных уток на берегу канала. Одна из них поднялась и неуклюже полетела, вызвав легкую рябь на свинцовой незамерзшей воде, — и словно огненной вспышкой промелькнул в похмельном мозгу полубред-полувидение: огромный белый самолет с нарисованным на хвосте красным флагом разворачивается и замирает перед взлеткой, наращивает вой турбин и медленно начинает разгон, постепенно пропадая в мутной дали — и все-таки успевает оторваться от бетонной тверди и подобрать из-под крыльев шасси, прежде чем окончательно растаять в сером мареве низких дождевых облаков.

Саша посмотрел на часы: точно. Минута в минуту. Он встал и, рывком стряхнув с плеча маленькую веточку, вдруг понял, в какой части города находится и как пройти отсюда к Ингрид.

8. Королевство, в котором Рождество

И на полпути к Ингрид он понял, что здесь сегодня Рождество. Значит, торопиться некуда. Ингрид уехала к родителям и вернется только поздним вечером. Впервые за суматошные эти дни ему было некуда спешить и нечего делать.

Улицы были пустее и тише обычного. Утро еще не кончилось, и из серокаменной массы протестантского собора доносилось пение под орган. Саша толкнул тяжелую незапертую дверь и вступил в пространство чужого праздника.

Служба была по-французски, но храм явно не походил на католический — не было ни икон, ни статуй. Теплый золотисто-серый оттенок голых стен отсвечивал, но не согревал огромное воздушное пространство. На полупустых скамейках сидели нарядные люди, в основном дамы лет под 50, но были и семьи. Посредине церкви сидел маленький симфонический оркестр, человек семь музыкантов, а над ними возвышался на кафедре галантный проповедник. Он что-то вдохновенно говорил, но Саша знал по-французски только отдельные слова и понять смысла не

мог. Он тихонечко пристроился с краю последней скамейки, и едва он сел, как проповедник пригласил всех помолиться. Люди встали, раскрыли красные книжечки и запели под изысканное органное сопровождение.

Саша чувствовал себя дураком — надо же, не сообразил взять такую книжечку при входе, где лежала целая стопка, и теперь не только не знает, что они поют, но и выглядит глупо с полураскрытым ртом и недоуменным взглядом. Но молитва скоро закончилась, люди сели, и не-обременительная служба плавно потекла к естественному концу. Немного поиграл оркестр, еще немного помолились, а потом проповедник спустился с кафедры, поднялись со своих мест прихожане, все стали посреди церкви в круг. Проповедник настойчиво, но ненавязчиво обращался и к тем немногим, кто остался сидеть на местах, и Саша спешно поднялся и встал в этот же круг — было как-то даже невежливо отказывать этим людям, так тепло приглашавшим его к себе.

Он наконец-то понял, к чему призывает проповедник. Начиналось причастие. На большом серебряном блюде были разложены куски хлеба вроде лаваша. Появилась на свет чаша, тоже большая и серебряная, а потом еще отдельный поднос с маленькими чарками. Проповедник отдал хлеба и отпил из чаши, а потом пустил их по кругу. На полшага позади чаши шла, словно официантка на приеме, женщина с подносом, и каждый мог по желанию причаститься из общей чаши или воспользоваться (несомненно, в гигиенических целях) маленькой отдельной чарочкой. Саша отпил из большой — было бы опять как-то невежливо показывать им, что он брезгует.

И почти сразу после причастия, прочитав еще пару коротеньких молитв, публика начала расходиться — так же молча и самостоятельно, как и сидели в церкви. Сашу — все так же за компанию — вынесло на улицу, но, в отличие от остальных, его не ждало тихое семейное торжество. И его Рождество должно было наступить еще только через две недели, парадоксальным образом после Нового года.

Пожалуй, Саша считал себя верующим. Он был с детства крещен, несколько раз причащался на Пасху — сперва заодно с другом, потом и сам — по какому-то смутному, но острому внутреннему толчку. Это было действительно хорошо и важно, особенно когда что-то не так, когда мерзко и одиноко. Настораживала только требовательность и навязчивость всех, кто стоял на божественной лестнице хоть на одну ступеньку выше него самого: без исповеди к причастию нельзя, три дня поститься и каноны вычитать, с полуночи ничего не есть, не пить, не курить, а вот еще правило, и еще, и еще... Он как-то удачно избегал всех этих строгостей, а когда в последнюю Пасху на общей исповеди его чуть было не завернули и пустили причащаться только «ради праздника», он несколько обиделся и решил больше к тому священнику ни за какой мелочью не подходить, не то что на исповедь. Впрочем, с тех пор и у других бывать не доводилось.

И тут эта странная служба... Их открытость и вместе с тем безразличие: прочитал он каноны или нет, постился ли он (а он не то что не

постился, а уже и опохмелился с утра), да и вообще кто он такой, крещеный ли. И все же не было того радостного успокоения: ну вот, теперь причастился, вроде как долг какой-то вернул Богу, до следующей Пасхи в расчете. Как на чужую вечеринку заглянул. И как турист, Саша на выходе посмотрел название церкви: *Waalse kerk*³². Церковь вальсов, что ли? Вальсы тут танцуют? Может, и танцуют, если вспомнить, что в утрехтском соборе устроили музей уличных органов. А что, и оркестрик тот, может быть, по вечерам играет, люди танцевать приходят.

Ехидно усмехнувшись собственной, скорее всего неправильной, догадке, Саша пошел бродить по праздничным и неприветливым улицам. Московское Рождество бывало совсем иным. Пьяным, морозным и веселым, с неизменными тусовками и стихами Бродского про кораблик, и тоже зачастую с заходом в церковь, где тесно от шуб и старушечьих серых платков, где все по-другому.

Весь этот город, который Саша прежде торопился проглотить, не разжевывая, лежал теперь перед ним — без спешки, но и без смысла. Редкие прохожие торопились по праздничным делам, моросил мелкий холодный дождь и не было даже привычного голландского ветра. Картинки не задерживались в сознании — как на школьной экскурсии по ленинским местам. Надо же — здесь, в этом королевстве сегодня Рождество.

Он пошел к дому Ингрид и долго ждал ее у подъезда. Она появилась, когда начало темнеть, а Саша уже проголодался и продрог до такой степени, что все казалось безразличным. Ингрид бросила дежурное приветствие — ничего необычного, день как день. И открыла дверь.

Взобрались на третий ее этаж по лестнице, где мебель крупнее табуретки не пройдет (и человеку с сумкой сложно), про себя отметил: так вот на что у них крюки под самой крышей! Мебель на веревке через окна втаскивают.

Теперь было время осмотреть ее квартиру — не то что в первый раз. Одна комната метров на шестнадцать и совсем тесная кухонька. В одном из углов комнаты стояла низкая широкая кровать, покрытая уютным клетчатым пледом, а в другом — обшарпанный письменный стол с горделивым новеньким «Макинтошем». Над столом книжные полки, а на них десятка два обложек — и судя по всему, больше книг в этой квартире не было. Вдоль противоположной стены, от угла до угла, стояли в ряд шкафчик, тумбочка с маленьким телевизором, другая тумбочка побольше и на ней — какие-то нераспакованные свертки. Елки нигде не было. В комнате было довольно прохладно даже по европейским меркам, и Саша никак не мог согреться.

Ингрид упорхнула на кухню. Почти сразу же появилась снова со столовыми приборами в руках, сгребла на дальний край письменного стола тетради и бумаги и стала расставлять посуду. Саша вызвался помочь, и она передала ему из холодильника пару бутылок пива «Хролш»

³² Валлонская церковь (*нидерл.*).

(а Саше бы как раз чего погорячее!) и еще откуда-то — пачку картофельных чипсов.

Ужин состоял из полуфабрикатов — довольно вкусных и, возможно, дорогих, но Саша как-то с самого начала настроился на рождественскую романтику с милыми домашними радостями и шампанским, и все было не то чтобы плохо, но как-то совсем *не так*. Впрочем, ел он с огромным аппетитом (ведь впервые за весь день), наконец осоловел, согрелся, по эскимосскому методу — плотной едой.

Для Ингрид у него уже был приготовлен подарок — сережки из московского сувенирного магазина, под малахит. Совсем недорого, но очень изящно. После ужина он извлек их из сумки, попросил Ингрид закрыть глаза и вложил в раскрытую ладонь. Отмерив положенное удивление и радость, она достала из маленькой тумбочки изящно перевязанный сверток и отдала Саше. Это был кожаный бумажник. Мда-а... В его-то положении — не то изящная издевка, не то стимул к действию: чем заполнишь?

А потом они вместе убрали со стола, Ингрид смотрела телевизор, а Саша в благодарность за угощение мыл посуду. Ему уже мучительно хотелось спать, и он мог только мечтать о том моменте, когда кончится этот несуразный рождественский вечер. Он подумал, что сегодня, наверно, им надо быть с Ингрид вместе, но он не находил в себе ни сил, ни желания. Когда он вернулся в комнату, Ингрид уже стелила постель. Он неуверенно подошел к ней сзади — и с облегчением услышал:

— Not tonight, Sunny. I can't³³.

9. Совершенно новый год

Дни рождественских каникул были наполнены какой-то хрустальной прозрачностью и пустотой. Они с Ингрид отсыпались после бурных гастролей и вставляли несколько дней подряд почему-то точно в половине двенадцатого. В Сашином мозгу свербела мысль «надо бы пойти что-нибудь сделать», но делать совершенно ничего не хотелось, да и нечего было. Представительство Аэрофлота наверняка было закрыто на выходных, да и телефонной книги не было под рукой. Так что узнать о новой дате вылета было невозможно. Саша понимал, что нельзя постоянно жить на деньги Ингрид, а свои уже кончились. Но и для поиска «левого» заработка лучше было подождать конца рождественских каникул и возобновления деловой активности.

Впрочем, если признаться самому себе, просто не хотелось разрушать безмятежность существования, и все дела сами как-то выстраивались в запутанную цепочку причин и следствий, конец которой находился вне пределов Сашиных способностей. Надо позвонить в Москву маме, да пожалуй, и Даше, но для этого нужны деньги, а значит — сперва надо устроиться на работу. Надо что-то решить и со сроком отъезда,

³³ Не сегодня, солнышко. Мне нельзя (*англ.*).

но для этого надо сначала побывать в конторе Аэрофлота и, похоже, опять-таки устроиться на работу, ведь наверняка придется что-то доплативать. Надо, что ли, пойти в университетский театр и справиться насчет места, но для этого надо разобраться со всем остальным.

Выходило — прежде конца каникул заботиться не о чем и незачем. Время было наполнено невольной ленью, и от этого особенно долгими казались ранние вечера. Казалось невероятным, что еще несколько дней назад все это было — вновь, взхлеб, до дрожи... Куда все это делось? Неужели только скорый отлет раскрашивал во все цвета радуги эти сумрачные голландские города и этот технически безупречный секс с Ингрид? Теперь приходилось буквально совершать над собой усилие, чтобы заполнить время маленькими развлечениями, вроде прогулки по вечернему парку или похода в кафе по соседству. Однажды они пошли в гости к Яну. Отменная вежливость не позволила ему удивиться, что Саша остался, — или же он подозревал о чем-то подобном с самого начала.

Плавное течение полусветской беседы на хорошем английском буквально усыпило Сашу, да и его языковые способности явно отставали от уровня Яна и Ингрид. Саша подумал даже, что им совершенно не стоило отказываться от родного языка в его пользу — он бы мог подремать и под голландскую беседу. Но неожиданно всплыла новая тема. Ингрид упомянула Сашино желание найти работу, и Ян наконец-то перешел к осязаемым материям. Он пообещал справиться у своих знакомых по русской церкви — и так неожиданно выяснилось, что тут, в Амстердаме, есть русская православная церковь, и Ян в нее ходит и даже поет в хоре. Заодно последовало приглашение на православное Рождество, которое тут, как и в России, справляли по юлианскому календарю, седьмого января.

А потом наступил Новый год.

Они решили встречать его по-амстердамски — на улицах, среди фейерверков. Уже за несколько дней до праздника то тут, то там над городским небом взлетали с ревом и свистом миниатюрные модели баллистических ракет — амстердамцы опробовали припасенные фейерверки. Апогей, конечно, должен был наступить в новогоднюю полночь в центре города.

Они оказались там около половины двенадцатого. На улицах уже собирался народ, который явно не хотел встречать праздник за накрытым столом. Впрочем, душевно принять кое-кто успел заранее. Слегка возбужденные кучки народа перемещались по улицам и поглядывали на часы, а наиболее домовитые заняли позиции наизготовку у дверей собственного дома, с фейерверками в положении «ключ на старт».

Саша с Ингрид переминались с ноги на ногу на одном из мостиков. И вдруг — с угрожающим шелестом прямо рядом с ними ушла в небо первая ракета, рассыпалась наверху снопом желтых брызг, и чей-то истошный бас пророкотал под ухом: «Gelukkig Nieuw Jaar!»³⁴

³⁴ С Новым годом! (нидерл.)

И началось. Саша ожидал ярких впечатлений, но что это будет *так*, он и представить себе не мог. Вверх и вдоль улиц, с одной стороны на другую и из окон вниз летели со свистом, воем и грохотом петарды, ракеты, шары, и то, чему нет и не может быть названия, — и все это вертелось, шипело и взрывалось на лету. Саша оглох, а потом утянул беспечную Ингрид к стенке, в более безопасное место, и не зря — в центре мостовой рвалось гораздо чаще, чем у стен. На противоположной стороне улицы уже вовсю горели обе шины чьего-то велосипеда, а через некоторое время показалась машина скорой помощи, с трудом продиравшаяся через толпу.

На двадцатой минуте нового года Сталинградская битва потихоньку превратилась в обычное мирное веселье. Тогда они влились в хаотичную праздничную толпу и отправились бродить по улицам. Выпивки было куда меньше, чем бывает по такому случаю в России, да и народ был не так раскрепощен, общего веселья не наблюдалось. Гуляющая толпа все-таки состояла из отдельных личностей и групп личностей, каждая из которых свято уважала свободу других. Только поздравляли друг друга иногда...

Вернулись домой уже под утро и сразу же завалились спать.

На следующий день Сашу ждало небольшое объяснение с Ингрид. Нормальная русская девчонка, наверное, постаралась бы сделать ребенка или завести парня на стороне, стала бы динамить или завлекать — смотря по уму и характеру. А может, закатила бы истерику с заламыванием рук и бесконечной цепочкой риторических вопросов: «Ты что, меня разлюбил? У тебя другая? Это правда?» — и пришлось бы давать дежурные успокоительные ответы, думая про себя, что и любви-то особо никакой не было, так, перепихнулись. И Саша не начинал такого разговора именно потому, что терпеть не мог всего этого бабства.

Но не то — с гордой и прекрасной Ингрид, правнучкой воинственных батавов и вольнолюбивых гёзов, хладнокровных моряков и прижимистых торговцев, трудолюбивых фермеров и добропорядочных их жен. Ясным днем 1 января 1992 года она хорошо поставленным голосом произнесла длинный и изящный монолог, из которого Саша понял далеко не все выражения, но хватило и понятого.

Собственно, почва была уже давно готова. Размеренное буржуазное супружество им по определению не грозило, настоящих girlfriend'a и boyfriend'a из них как-то не получилось, а о вялом совковом «сожительстве» и думать не хотелось.

Она важно сообщила ему, что в отношениях наступил кризис, и она будет рада, если они останутся добрыми друзьями. Конечно, пусть он поживет у нее. Интересно, не справлялся ли он о переносе даты вылета?

Все было просто, понятно и намного хуже простого русского бабства. Ингрид начала этот роман, она же указала на его завершение, благовременно известив партнера и позаботившись о взаимоприемлемой форме расставания. Наконец, она сделала кофе и подала его к сто-

лу вместе с печеньем и бутербродами, попросив его помыть посуду после завтрака.

Без нервов и особенных чувств, с твердым осознанием ситуации и глубоким уважением к личности друг друга — так завершался их роман. А собственно, не так ли и начинался? Да и был ли он? Что он знал об этой девчонке, что он в ней видел? Это не утрехтская ли башня притворилась ее тонким носиком, не амстердамские ли каналы сделались ее серыми глазами? Может быть, она — это просто Дева Голландия, ловящая прохожих странников? Русалка, напоившая его зельем под видом кофе, утянувшая его на дно морское? Надо же, какая нелепость взбредет порой в голову...

Саша пережил этот праздничный день в терзаниях и безделье, не понимая ровным счетом ничего. А на следующий пошел в контору Аэрофлота. В просторном и хорошо обставленном помещении конторы сидело всего два человека, и оба отказались говорить с ним по-русски, хотя из задней комнаты явственно доносилась русская речь. Пришлось переходить на английский, и Саша даже не сразу понял, что ему объясняют. А когда понял, то вздрогнул. Его билет был куплен по самой дешевой таксе, не предусматривающей переноса даты. Теперь он просто-напросто пропал. Чтобы купить новый, надо заплатить немногим меньше тысячи гульденов. Были еще какие-то скидки, но они мало что значили в подобной ситуации. Ловушка захлопнулась.

Он вежливо простился с видом человека, который просто осведомился о покупке, но пока не захватил с собой наличных, и вышел на улицу. Некоторое время он бессмысленно бродил по улицам в центральной части города, разглядывая витрины и вывески и пытаясь сосредоточиться хоть на какой-то мысли. После вчерашнего разговора делиться этой новостью с Ингрид было нельзя, тем более нельзя было просить ее о помощи. Надо немедленно наниматься на работу, и работать по 15 часов в сутки, где только достанется, собрать деньги на билет. И даже больше: заявиться с ворохом подарков для родных и друзей, с навороченными прибабасами для себя! Пусть знают, что его поступок был не мальчишеской блажью, а приятным европейским вояжем.

Но начинать поиски работы надо было прямо сейчас, а это пугало. Как он помнил, для несчастливых обладателей социалистических паспортов оставалось мытье посуды в ресторанах. Собственно, так и описывалась жизнь европейских бедняков в старых журналах «Крокодил». Оставалось только выбрать дверь, в которую он войдет и предложит свои услуги. Но одна казалась слишком роскошной, другая пугала непрозрачностью, а третья просто смотрелась неприветливо.

Впрочем, что уж тут привередничать! Саша толкнул первую попавшуюся дверь и оказался в немногочисленном уютном кафе. В маске уверенного дружелюбия Саша приблизился к официанту. Тот учтиво сказал что-то по-голландски и показал на пустующий столик. Саша сглотнул слюну и спросил:

— Good afternoon. Do you need a worker?

- What do we need, sir?
- A worker. To wash dishes or something. A job.
- You can talk to the manager, chap³⁵, — и официант указал на дверь в углу, за которой скрывался менеджер.

Еще раз сглотив, Саша вошел внутрь и оказался в тесном коридорчике. За приоткрытой дверью слушались звуки оживленной канцелярской деятельности. Саша постучал, дождался ответа и вошел. В крохотной комнатке за столом сидел пожилой господин в мягком темно-синем свитере.

- Good afternoon, sir, — начал Саша, — do you need a worker?
- Are you a foreigner?
- Yes, sir.
- Where from?
- Russia.
- You've got a residence permit of course?
- No, sir.
- Sorry. Try to get your papers first. Bye³⁶.

Аудиенция была окончена.

В этот день ему предстояло несколько подобных диалогов. Иногда они оканчивались уже на уровне официанта, иногда он добирался до менеджера, но либо не было вакансий, либо проявлялся слишком оживленный интерес к его праву работать в границах Европейского сообщества.

За ужином он сказал Ингрид как можно безразличнее (иногда все-таки здорово быть актером!):

- I think I leave you in a week. Thanks for hospitality.
- Oh! Do you fly home?
- Yea, that's what I plan.
- Well. T'was a marvelous time, wasn't it?
- Sure³⁷.

³⁵ — Добрый день. Вам нужен рабочий?

- Кто нужен, сэр?
- Рабочий. Мыть посуду или что-то вроде того. Работа.
- Можешь поговорить с менеджером, парень (*англ.*).

³⁶ — Добрый день, сэр. Вам нужен рабочий?

- Вы иностранец?
- Да, сэр.
- Откуда?
- Из России.
- У вас, конечно, есть вид на жительство?
- Нет, сэр.
- Извините. Постарайтесь сперва его получить. Пока (*англ.*).

³⁷ — Пожалуй, я через недельку съеду. Спасибо за все.

- А, летишь домой?
- Да, собираюсь.
- Понятно. Хорошо время провели, правда?
- Конечно (*англ.*).

Разговор прошел чисто по-европейски — или по-голливудски? Саша оказался талантливым учеником.

Их было много, этих рестораничков и кафе. Потом Саша стал пробовать еще и магазины. В одном супермаркете его даже отвели в подсобку и дали перетаскать какие-то нетяжелые коробки, а потом сунули десятку, но о постоянной работе разговаривать не захотели. Впрочем, обнадеживало уже и это. Десятка за час — неплохо! И все же...

Может, не такое у него выражения лица? Слишком просительное и неуверенное? Ну, Саня, ты же актер, давай, надень другую маску! Хороший парень с временными затруднениями рассмотрит деловые предложения...

Наконец, примерно в двадцатом кафе, ему повезло. Хозяином был пожилой индонезиец с тонким молочно-шоколадным лицом и короткими седыми волосами. Он сразу отвел его на мойку и, даже не задавая бессмысленных вопросов о происхождении и официальном статусе, объяснил, что через день надо приходить в восемь вечера и мыть посуду примерно до половины двенадцатого. В кафе в это время наплыв, штатный посудомой не успевает. Плата — 15 гульденов за вечер, плюс покормят.

Это было совсем негусто — буквально на прожитие, и все. При самом идеальном раскладе — чуть больше двух сотен в месяц. Но это было начало. Да и работа хоть не особо приятная, но и не слишком утомительная. И ужин бесплатный на дороге не валяется.

Гораздо проще решилось с жильем. Он наведалься в родную общагу, и койка, которая стоила 15 гульденов за ночь, была ему предоставлена без денег — за ежеутреннюю мойку посуды в буфете. Таким образом, середина дня оставалась свободной для поисков настоящей работы.

Новый, 1992, год оказывался не таким уж и плохим.

Близилось расставание с Ингрид. После того новогоднего разговора Саша старался общаться с ней как можно меньше, и Ингрид была этим удивлена. Доброй дружбы не получалось. Пару раз она пыталась вернуться к разговору об их отношениях, и, кажется, пыталась по-своему извиниться, даже делала ему комплименты — мол, русские гораздо сексуальнее голландцев и вообще они богатыри из сказочной страны. Но Саша вежливо отталкивал эту тему. Теперь-то что? Разве он матрешка сувенирная?

Он мог бы простить измену, но у него просто не укладывалось в голове, как можно было с одинаковым равнодушием затащить его в койку и по прошествии некоторого времени из нее выпихнуть. Он уже успел убедить себя, что это Ингрид заставила его остаться и, следовательно — что это она сломала ему и театральную карьеру, и личную жизнь, да еще и с билетом раскрутила. Бедная Ингрид, вероятно, и представить не могла, как беззвучно материл ее Саша после очередной неудачи с трудоустройством. Все-таки надсадные российские нотки в их расставании прозвучали — не с ее, так с его стороны.

Так что днем 7 января он покинул ее квартиру с набитой сумкой и сказал, что провожать до аэропорта не надо. Ингрид, в свою очередь, предпочла не сообщать, что уже звонила в справочную и узнала, что в этот день рейсов на Москву не было, да и в любом случае провожать его она бы не стала.

Саша перебрался в общагу. За всеми хлопотами он чуть было не забыл, что Ян пригласил его на празднование русского Рождества. Он был бы не прочь зайти в церковь, но мытье посуды в буфете явно не оставляло такой возможности. Зато днем должен был состояться праздник в некоем «приходском доме» в центре города.

Он довольно легко нашел этот дом, расположенный на живописной улице, идущей вдоль канала. Пришел он чуть позже назначенного времени, но, по русскому обычаю, народ еще только начал собираться. Оказалось, на входе продают билеты, и пришлось собирать по карманам последнюю десятку. Если бы не перспектива работы, он бы просто плюнул и ушел.

«Приходским домом» оказались несколько комнат на первом этаже старинного роскошного здания. Обставлены они были довольно просто, а по стенам были развешаны картины на какие-то религиозно-фольклорные темы и репродукции икон. Посреди главной комнаты стояла со вкусом украшенная елка.

В углу были накрыты столы, и это оказалось как нельзя кстати, да и потеря десятки оправдалась. Впрочем, к столам пока не приглашали. Помещение постепенно наполнялось самыми разнообразными людьми, говорившими вперемешку на русском и голландском, а местами и на английском. Довольно обычное сочетание для такого рода тусовок, отметил про себя Саша. Среди этих людей оказался и Ян, да и еще несколько знакомых по прежним вечеринкам парней и девушек, но поговорить было просто невозможно — вокруг Яна сразу закипела не слишком бурная, но суетливая деятельность по окончательному приведению столов в праздничный вид, и было не до разговоров. Саша сам оказался затянут в водоворот праздничной суеты и резал на кухне французские батоны, еле удерживаясь, чтобы не начать их поедать прямо на месте.

Но хлопоты стали потихоньку стихать, и Саша успел перебраться в комнату как раз к началу торжественной части. К елке вышел старенький священник, прочитал какие-то молитвы на славянском и на голландском, в ответ ему неожиданно громко грянул хор, стоявший тут же, сбоку от елки. Священник был похож на Деда Мороза, и, стало быть, на долю регента, молодой женщины, выпадала роль Снегурочки. Саша даже явственно представил себе, как сейчас этот священник взмахнет чем-нибудь подобающим и скажет: «Ну-ка, елочка, зажгись!» А потом они с регентом будут загадывать загадки и раздавать подарки.

Собственно, почти так оно и получилось. После молитвы хор стал петь рождественские колядки. Пели здорово, хотя, пожалуй, слишком громко. Звучало что-то вроде бы и русское, может, даже из дореволюционного, а вроде бы и неживое.

Ликуй ныне,
и радуйся, земле,
Сын Божий
народився!

Или это по-украински? Похоже.

Придут к тебе, земле,
три праздники в гости.
Ото перший праздник
Святого Василя...

Но едва они кончили петь, как к регенту полез некий выходец с Украины и стал горячо доказывать, что текст они переврали, а потом полез в ноты и стал править прямо там. Но робкие возражения регента, что это из сборника начала века, и что это мог быть какой-то особенный диалект украинского языка, поборник самостийности страшно обиделся и стал кричать, что украинский — не диалект, а самостоятельный язык, и что вот московский говор — это точно испорченный украинский диалект.

Словом, праздник начался.

Скоро позвали и к фуршетным столам, но вот до деловых разговоров дело как-то не доходило. И как раз в то время, когда фуршетиться было уже особенно нечем, Ян вдруг сам подошел к Саше и представил невзрачного паренька, их ровесника.

— Знакомьтесь: Дмитрий, Александр.

Они молча пожали друг другу руки. Дмитрий, видимо, был в курсе ситуации.

— Живешь где? — с ходу спросил он.

— Тут, недалеко, в хостеле.

— Нормально?

— Нормально.

— С работой, сам знаешь, тяжело. Пока нет ничего на горизонте. А будет — скажу Ване, о'кей? С ним-то контактишь?

— Бывает.

— Ну и ладно. Сам с Москвы?

— Точно.

— А я с Днепропетровска. Ну, как там столица?

— Да так себе. Жрать нечего.

— Ну так. У нас тоже не густо было, как я уехал.

— А ты давно тут?

— Полгода. Ты прикинь, — рассмеялся парень, — уезжал из УССР. А теперь вон невозможно, зато самостийна та незалежна. Видал, тут хохол выдрючивался, насчет песенок ихних?

— Ви-идел.

— Ладно. Короче, держим связь.

И парень уже явно собрался отчаливать. Результат Сашу явно не обнадежил, и он постарался продолжить разговор:

— Слушай, а что за работа-то может быть?

— Посмотрим. Пока неясно. — И парень резко отошел в сторону.

Да, небогато для начала. Десятку, главное, жалко. Впрочем, поел хорошо, да и с выпивкой, уже неплохо... И тут к Саше подошел другой паренек, совсем молоденький, с простоватым деревенским лицом.

— Вовкой меня зовут, — представился он. — Чё, нелегал?

— Чего? — удивился Саша.

— Нелегально тут?

— Почему, виза пока не кончилась.

— Ну дык кончится ж. Да не бось, я ж не потому чтоб чего такого.

Остался тут, что ли?

— Пока остался, там посмотрим.

— Бабки нужны, конечно?

— Ясное дело.

— Хошь с нами? Я тут на Кальвере саксофону, а Педро на стреме.

— На чем — саксофонишь? — Разговор начинал пугать Сашу своей блатной терминологией.

— На Калверстрат, — пояснил Вовка. — Ну, улица такая, где магазины. Ты врубайся. Полиция гоняет — нельзя, значит. Уже один раз чуть не заставили пенальти, ну, штраф нехилый платить. Еле выкрутился.

Саша с трудом начал понимать, что это, кажется, музыкант. И что саксофоном он называет не воровской инструмент, а музыкальный — и возможно даже, действительно саксофон.

— Педро — это бразилейро тут один, — видя, что собеседника заинтересовал разговор, терпеливо объяснял Вовка. — Я тогда предложил ему, чтоб сторожил. Но надо ж с двух сторон, ты прикинь. Вот ты за квартал справа, он за квартал слева, я лабаю. Ментура подвалит — вы по-шустрому ко мне, я в переулок. А бросают хорошо, они тут на это не жадные. Тебе четверть сбора, если согласен.

До Саши наконец дошло, что именно ему предлагают:

— А сбор большой?

— Получается нормально, не дрейфь. Если хорошо посидеть — до сотни в день забашлить можно. Слушай, тебя как зовут-то?

— Саней.

— Ну вот и скорефанились.

Трудовой договор был заключен. Скоро они втроем с Педро, который тут же поджидал своего работодателя, покинули вечеринку, оживленно обсуждая планы дальнейшего обогащения и щедрость охочих до уличной музыки аборигенов.

10. Серенада Солнечной долины

Так с ходу и решилась проблема заработка. Вовка (он предпочитал, чтобы его называли именно так) играл на саксофоне на Калверстрат. Саша и Педро должны были сторожить по обеим сторонам улицы, чтобы вовремя предупредить о приближении полиции.

Вовка действительно играл здорово, ничего не скажешь. Больше всего на свете он любил смутные и сумбурные импровизации, но скоро по-

нял, что прохожие от них не в восторге. Тогда он подобрал проходной репертуар — битловскую «Yesterday», «La vie en rose» от Пиаф, несколько вещей Армстронга, но больше всего грела его собственное сердце «Серенада Солнечной долины» Глена Миллера. Именно так он и обозначал эти мелодии по имени исполнителей, похоже, не задумываясь всерьез о существовании композиторов.

Серенада разносилась по предвечерней торгово-туристической улице под пронзительным сырым ветром и нескончаемым дождем, словно Вовка был шаманом и хотел бесконечными повторами милой джазовой мелодии превратить этот промозглый вымокший город в солнечную долину где-нибудь в Калифорнии. И люди действительно щедро кидали ему деньги, в основном от кварче³⁸ до рьяксдалдера³⁹, но за серенаду обычно платили щедрее. Видимо, сами признавали в нем шамана. А может быть, просто много было среди них американцев. Часто в дневной выручке попадалось несколько американских, бельгийских или немецких монет, и тогда Вовка матерно ругал этих остолопов, которые думают, что на их родную валюту водку во всем мире продают. Такие монеты Саша сначала оставлял себе для коллекции, а потом стал их просто выбрасывать. Не нести же в обменный пункт десять центов, в самом деле!

Заработок действительно выходил очень приличным. В час набегало гульденов двадцать пять, а то и тридцать, Саше, стало быть, — семь с половиной. За мытье посуды могли дать и побольше, но там была тяжелая работа на весь вечер, а тут — гуляешь себе часок по улице, глазеешь, пока Вовка старается. И никаких хлопот. А кроме того, никто не командует, когда начать работу, когда кончить. Мало денег — можно побольше подудеть, как выражался Вовка.

Командовал, конечно, Вовка. На ветру и холоде играть было нелегко, поэтому больше трех часов в день они там оставались редко, да и то с одним-двумя перерывами. В перерыв шли в соседнее кафе и пили капучино, согреваясь и подпитываясь кофеином для дальнейшей жизни. Конечно, ничего, кроме кофе, не заказывали. Раз как-то дернули на пробу по глинтвейну, но вышло дорого и несерьезно, поэтому повторять не стали. Лучше уж бутылку джина взять в магазине. Не водка, конечно, но все же...

Вовка с Педро жили тоже в каком-то притоне вроде Сашиной общаги, и тоже устроились за мелкую работу, не за деньги. Покупали продукты в самом дешевом магазине Aldi — в центре, на Вяззелстрат. Правда, далековато и от Калвера, и от места жительства, но у Вовки был раздолбанный велосипед, поэтому возили все на нем. Ели в основном два раза в день, или в одной из «общаг», или просто где-то в парке. За ужином обычно пили, но не до полусмерти, как водится, а только допьяна.

И жизнь получалась необычайно экономной. Саша даже попробовал подсчитать, сколько потребуется времени, чтобы насобирать необходимую на обратный билет и подарки тысячу, и выходило, что пару

³⁸ «Четвертак» — монета в 25 центов.

³⁹ «Имперский таллер» — монета в 2,5 гульдена.

месяцев, не больше. А с визой как-нибудь обойдется, не он первый, не он последний, в конце концов. Саша позвонил из уличного автомата в Москву маме и постарался, насколько хватило мелочи в кармане, ее успокоить. Кажется, удалось.

Очень скоро Саша отказался от мытья посуды в ресторане — это было и тяжело, и поздно, и при таком легком доходе все-таки необязательно. В общаге, конечно, приходилось заворачивать часов в 12 дня в кухню и перемывать небольшую горку посуды, но когда Саша привык, на это стало уходить совсем немного времени.

Через неделю их совместного труда Саша с удивлением узнал, что бразильца зовут Жозе, а вовсе не Педро. Но Вовка, а следом за ним и Саша, звал его Педро, и тот откликался. Как не вспомнить русскому человеку «дона Педро из Бразилии, где в лесах много диких обезьян».

Впрочем, странное имя очень скоро получило совсем другое объяснение. С самого начала было хорошо заметно, насколько бразилец с ними мягок и обходителен. Вовка над ним периодически подшучивал, иногда довольно грубо, но тому, похоже, это нравилось. Можно было только удивляться таким отношениям, пока бразилец как-то в припадке пьяной сентиментальности не ущипнул Сашу за мягкое место и не стал нашептывать по-португальски непонятные нежности. Словом, Педро оказался педерастом.

Саша слегка встряхнул его за грудки, ляпнул что-то вроде «I'm not of your company»⁴⁰, и тот отстал. За Вовкой он все же слегка ухаживал, а тот отмахивался от него с шутливым гневом, если что-то такое замечал. Саша оставлял этот странный альянс без комментариев. Что ж тут поделаешь — Педро и Педро со всех сторон, будь ты хоть трижды Жозе.

А если всерьез, Педро явно не стремился перетянуть их с Вовкой в свой колхоз — он жил какой-то своей особенной жизнью, периодически пропадал, иногда в самый неподходящий момент, и никогда ничего не объяснял. Вероятно, вся эта затея с Вовкиным саксофоном была нужна ему лишь как средство заработать на пропитание, пока он будет наслаждаться своей жизнью амстердамского гея.

Вот он-то их и подвел. Тот день выдался, против обыкновения, ясным и солнечным, так что «дудеть» было одно удовольствие, да и туристов на улице было побольше. Как обычно, Саша пошел на следующий перекресток ближе к центру, а Педро — в противоположную сторону. Через час они должны вернуться к Вовке, а тот скамандует — или пошли кофе пить, или на сегодня уже хватит, или «еще малек подудим». Саша лениво прогуливался в полной готовности распознать в праздной толпе иссиня-черную полицейскую форму и побежать предупредить Вовку, что надо смываться.

Когда через час он вернулся на условленное место, полиция была уже там. Здоровенный детина выламывал саксофон из Вовкиных рук, а тот не хотел отдавать, но и бежать без инструмента тоже явно не со-

⁴⁰ Я из другого кооператива (англ.).

бирался. Рядом другой детина-полицейский меланхолично наблюдал схватку, не вмешиваясь в нее.

Саша замер. Встревать было бесполезно. Оставалось разыгрывать роль случайного прохожего, глазающего на колоритную сценку.

Наконец первый полицейский здорово крутанул инструмент, и новенький саксофон, блеснув в воздухе, звонко грохнулся о мостовую и распался на составные части. Вовка ахнул и нагнулся за «дудкой», как он ее называл, — нагнулись и оба полицейских, но за обломки уже не было никакой схватки. Что-то опять звякнуло, и еще раз, второй детина что-то сказал первому, они повернулись и медленно пошли прочь.

Вовка сидел на корточках и плакал. Саша подошел, сел рядом и почему-то стал нежно гладить металлическую трубку со свежей вмятиной на боку.

— Вот суки, а, — выдохнул с жалобным всхлипом Вовка, — нарочно ведь, мурло ментовское, дудку сломал. Пенальти, говорит, заплатишь, а пока арестую инструмент. А ломать-то, блин, на хрена? Ты ж видел, он потом нарочно об стенку захреначил, и каблуком гребанул — конкретно помял, теперь не починишь.

— Может, случайно он?

— Хренайно! А где этот мудрила гребаный, бразилейро недоделанный? Я ему, помидору гнойному, хлебальничек-то начищу.

Вовка рванулся в ту сторону, где должен был стоять Педро. Саша — следом, чтобы предотвратить разборки прямо тут, на улице, — тогда ведь могут действительно в полицию загрести.

Педро на улице не было. Вовка вмазал кулаком по ближайшей стене — как только руку до крови не расшиб! — и поплелся обратно, подбирать обломки своего саксофона, которые уже звенели под ногами какого-то парня с лицом дегенерата. Вовка подскочил к парню, но драться не стал, наклонился к обломкам — и вдруг сам пнул ногой самую большую трубу, и она покатила метр на три, пугая прохожих. Чинить там было уже нечего.

Вовка переживал потерю саксофона как гибель близкого человека. Никогда больше об этом не заговаривал и не высказывал никаких эмоций, но весь как-то сник и стал равнодушен.

В тот день они вдвоем с Сашей довольно долго бродили по улицам, потом вернулись в Вовкину общагу. Вошли в его комнату, и оказалось, что там уже сидит недоумевающий Педро.

— Where were you?⁴¹ — спросил он раздраженно.

— We?! Where you were, fucking... fucking... — Вовка со своим скудным английским никак не мог подобрать что-нибудь подходящее, — fucking fool!⁴²

Прежде чем он успел повторить свое главное слово три раза, Педро был уже на ногах и кричал что-то по-португальски. Вовка перешел на

⁴¹ Где вы были? (англ.)

⁴² Мы?! Ты где был, гребаный, гребаный... гребаный дурак! (англ.)

родимый русский мат — так они и стояли, вцепившись друг в друга взглядом (но без рук) и ругаясь — каждый на непонятном противнику языке.

— Э, да что с ним говорить. Чурбан, не понимает, — неожиданно резюмировал Вовка. И, утратив всякий интерес к бразильцу, повернулся и лег на свою койку, как был в одежде, задрав ноги в ботинках на спинку кровати.

Саша попробовал объяснить бразильцу, что произошло и в чем его вина. Тот на самом деле очень огорчился, виновато подошел к Вовке и стал говорить что-то очень хорошее и ласковое, опять по-португальски. Вовка мягко и даже почти ласково ответил ему:

— Уйди, педрила.

Несколько дней они продолжали жить по-прежнему — встречались днем на Кальвере, прогуливались, даже пробовали собирать деньги так, без саксофона. На сей раз Саша пробовал петь, а Вовка с Педро стояли на шухере (с Педро была проведена разъяснительная работа), но без инструмента выходило как-то не так, и денег кидали мало. Если делить на троих, то слезы горькие. В другой день Педро попробовал жонглировать апельсинами, но получалось еще хуже. Словом, бродячего цирка из них не вышло.

А потом Педро пропал насовсем. Видимо, прибил к другой, более удачливой компании, или нашел какое-то занятие в своем гомосексуальном мире. Однажды вечером просто сказал «Bye-bye»⁴³, взял свою сумку (а больше вещей у него не было) и ушел, как это уже бывало не раз. Но к утру не вернулся. Больше они его не видели.

Деньги тем временем таяли. Саша попробовал было сунуться в ресторан, где раньше мыл посуду, но его место оказалось занято. Зашел еще в несколько кафе, но безsuccessfully. Работы не было.

А через пару дней Вовку выставили из «общаги», сказав, что его услуги на кухне больше не нужны. Саша решил попробовать поселить его у себя — и вышло еще хуже. Менеджер, дама сильно за пятьдесят, почему-то очень рассердилась и сказала, что вообще-то место стоит пятнадцать гульденов в сутки, и что если Саша моет посуду в буфете, так это полчаса работы, и она может засчитать это только за пятерку. Остается десять, которые надо платить деньгами. Так что не только не удалось пристроить Вовку, но и сам Саша вылетал из «общаги», потому что платить десятку в день явно не мог. Взять ее было негде.

Так в начале февраля 1992 года оба они оказались без работы, без жилья, без билета домой и без законных оснований находиться в Нидерландах.

11. Бездомный, безвизовый, безработный

Все последующее слилось в Сашиной памяти в один тягучий горький комок. Это было как с бредовым сном, когда пытаешься вспомнить его наутро, — все события перемешались и беспорядочно всплывают в

⁴³ Пока! (англ.)

памяти, и уже невозможно понять, какое предшествовало какому и была ли между ними логическая связь.

Кончалась зима и начиналась весна. Постоянной работы не было, хотя отчаянно голодать тоже не приходилось: ели практически каждый день, часто даже и пили. Впрочем, при такой жизни выпить было порой важнее, чем наесться: помогало не думать и не чувствовать. В особо трудный день Вовка даже продал совсем задешево свой велосипед.

Сперва казалось, что существует немало способов подкормиться на халяву. То в магазине давали бесплатно конфетки на пробу, то прямо на улице — льготные жетончики для какого-нибудь кафе или забегаловки. Правда, магазинные рекламные порции были ничтожными, а льготный жетон вступал в силу только после того, как какие-то деньги уже потрачены: например, если купишь кусок пиццы, то второй дадут за жетон, без денег. Так что никакой халявы, одна видимость.

Гораздо лучше — попасть куда-нибудь, где угощают. Вовка с Сашей стали аккуратнейшим образом посещать русскую церковь по воскресеньям. Они приходили минут за пятнадцать до окончания службы и, поцеловав должным образом крест, отправлялись в комнатку на втором этаже, где подавали отличный кофе с печеньем. Голода это не утоляло, но давало удивительное ощущение домашнего покоя. Вообще-то в центре стола стояла плетеная корзиночка для денег за кофе, но платить было совершенно не обязательно, вот они и не платили. Кроме того, воскресное кофепитие было неплохим шансом познакомиться с представителями русской общины и разжиться работой. К сожалению, шанс этот ни разу не воплощался ни во что реальное.

Вовка попробовал подъехать с задушевным разговором к священнику и пожаловаться на их бедственное положение. Священник выслушал его очень внимательно, посоветовал возвращаться в Россию и предложил исповедаться и причаститься. От него, однако, ждали совершенно других предложений, и разговор не получился.

Они перехватывали десятки и четвертные на разгрузке машин, на черной работе в кафе и супермаркетах, один раз даже на стройке. Саша попробовал сунуться в студенческий театр. Его узнали, очень ему обрадовались, позвали на очередную вечеринку. Когда он попробовал заикнуться о работе, лицо голландского режиссера перекосилось и на нем недвусмысленно отразилось недоумение: как можно было испортить приятную светскую беседу столь неделикатной просьбой? Саше даже неловко стало. На вечеринку они, правда, с Вовкой пошли и хоть наелись досыта и вкусно.

Вовка сходил в кабак, где доводилось как-то играть. Его были готовы взять хоть завтра, но с инструментом. При этом кредит на покупку новой «дудки» выделить отказались. Впрочем, и их можно понять — это приличные деньги. А что как Вовка запьет, смотается или попадет в полицию? Кто отрабатывать будет? Вот с инструментом — приходи, потолкуем. Эх, не знали они, что за парень Вовка на самом деле! Такой — не пропадет. Для него ж саксофон — как невеста.

Существовал, правда, еще один выход. В центре, желательно в «красном квартале»⁴⁴, подъезжать по вечерам к иностранцам приличного вида: «Sir, can you give me a guilden to eat something? Do you know what does it mean when you have nothing to eat?»⁴⁵ Иностранцы сами-то небось не голодали, потому порой бывают и жалостливыми. Но больно уж мерзок был вид у тех, кто промышлял таким образом. Таким рецептом они с Вовкой ни разу не воспользовались — и очень этим гордились.

С жильем было совсем сложно. Сначала пробовали ночевать на вокзале, но там было очень шумно и практически невозможно выспаться. Спать можно было в парках или на улице, но было еще холодно, а никаких спальных, естественно, не было и в помине. Кроме того, на улице могла проверить документы полиция — и что тогда? Даже толком неясно. То ли с позором депортируют, перекрыв навсегда въездную визу в приличные страны, то ли, хуже того, в тюрьму посадят. Впрочем, в тюрьму — это вряд ли. Но в любом случае попадаться не хотелось. Ведь если уж ввязались, то надо вынырнуть из этого дерьма победителями, верно? Заработать на билет и обязательно — на подарки родне и друзьям. Даже и на такси от Шереметьева. И вернуться с приятной европейской прогулки, а не из вонючей каталажки.

Ночевали какое-то время в слипине — бесплатной ночлежке, совсем уж убогом заведении. Очень скоро Саша сообразил, что это от английского «sleep-in». Но оставаться постоянно там, конечно, было нельзя.

А потом случайно встретили на улице мужика лет сорока, с косичкой и здоровой серьгой в левом ухе. Они, собственно, направлялись в слипин, но что-то заблудились, да и были оба под градусом. Короче, спросили у него дорогу. Он сказал, что никакого слипина не знает, но если им негде ночевать, то нехай идут к нему на чердак. Там встанет пара раскладушек, правда, холодно.

И с последних чисел марта они стали ночевать на чердаке маленького домика где-то довольно далеко от центра, в районе Слотерварт. Мужик был явно с прибабахом, но очень полезный. С ними совершенно не общался, денег не требовал, и похоже было, что так он расплачивается с судьбой за собственную хипповскую юность, когда сам ночевал неизвестно где.

На чердаке было очень холодно — он совершенно не отапливался. Но хозяин (кажется, его звали Кес) дал им два драных пуховых одеяла. Так и спали под ними, почти не раздеваясь. В общем, было неплохо. Только далеко от центра, где кипела жизнь и было больше всего шансов перехватить денег или кормежку на халяву. Приходилось добираться на трамваях, причем выбирая такие, где нет кондуктора и можно влезть без билета. А потом внимательно смотреть на каждой остановке, не сядет ли контролер в темно-синей форме.

⁴⁴ Район публичных домов.

⁴⁵ Сэр, не дадите ли Вы мне гульден на еду? Знаете, каково это, когда есть нечего? (англ.)

А тем временем началась ранняя голландская весна. Свинцово-бледное низкое небо постепенно голубело и поднималось над оттаявшей землей, а клумбы на перекрестках меняли свой цветочный наряд чуть не каждую неделю. Пронзительный ветер становился теплее и приносил с собой что-то особенное, весеннее, тот тонкий необъяснимый аромат, с которого начинается приход весны в любом городе. Пуховые одеяла на чердаке стали излишеством, а погода превратила неизбежные хождения по улице в почти приятные прогулки. Так что жизнь не то чтобы наладилась, но все-таки была терпимой.

Саша с Вовкой даже стали меньше пить и начали ссориться — верная примета, что стадия совместного выживания пройдена и жизнь возвращается в нормальное русло.

Купили себе по велосипеду в знакомом всему Амстердаму месте около университета. Двадцать пять гульденов, стандартная такса — наркоман продает ворованную машину ради дозы. Знаешь, что ворованная вещь, а куда денешься? Без велосипеда в этом городе и вправду никак. Санин железный друг был совсем обшарпанным и езженным, но в хорошем состоянии. Былая роскошь все еще работала: ручные тормоза, трехскоростная коробка передач прямо на руле и фара с генератором от переднего колеса.

Возвратилась и тяга к путешествиям — Саня ездил по окраинам города, накручивая километры просто для удовольствия — или для знакомства с Амстердамом? Однажды, не слишком погожим весенним днем, побродив пальцем по карте, он выбрал маршрут вдоль утрехтского шоссе. Оздоровительная такая прогулочка — променад перед ужином. Может быть, даже удастся добраться и до Утрехта — города, где так славно начались их сумасшедшие поездки с Ингрид.

Когда он миновал мост через Амстель, а с ним — и границу города, время уже приближалось к сумеркам и накрапывал мелкий дождик, но Саша был полон радостной энергией. Голова была свежа и свободна от забот, велосипед легко катил по фитспаду — велосипедной дорожке рядом с шоссе.

Легко и приятно было вспоминать Россию и прошлую жизнь — тем более, что теперь он был от этой жизни далек и относительно независим. И пока он проезжал мимо травянистых лугов с канальчиками и коровами, воспоминания о родной квартире на проспекте Мира приходили словно от противоположного — настолько все было теперь другим.

Здесь само слово «дом» означает нечто совсем другое, чем в России, даже в почтовом адресе. Поначалу Сашу удивляло, как на коротенькой улочке номера домов могут перевалить за несколько десятков. А потом понял: то, что у них в почтовом адресе считается домом, на российский счет составляет подъезд или даже полподъезда. Для них дом — это твое жилье, даже если это всего лишь маленькая квартирка.

Когда ты идешь по этому городу, он тебе в самый раз, как домашние тапочки. Вот магазинчик, вот кафе, вот мостик через канал с утками, а

вот садик с лавочками. Вот сквер и детская площадка — всё то, что давно уже изгнано из московского центра. А что такое девять десятых Москвы? Огромные, несоразмерные человеку пространства, застроенные коробками зданий и расчерченные широченными линиями проспектов. Нырнул в метро, вынырнул, протрясая четверть часа в автобусе или прошлепал по грязи среди однотипных зданий, убогих киосков — и негде тебе остановиться. Говорят, Брежневу очень понравился фильм «Ирония судьбы, или с легким паром» — и немудрено. Это же история счастливого совка, для которого что одна квартира, что другая, что та женщина, что эта.

Или вот эта их привычка — оставлять окна без занавесок. Зачем, казалось бы? Наверное, не станешь жить в свинарнике, раз с улицы люди смотрят. Вот у нас, как известно, сор из избы не выносят... Вот и лежит он веками, этот сор-то.

Мы привыкли к поворотам рек и социальным революциям — а может быть, не о них надо бы трубить по телеку и в газетах, а о том, как еще один человек перестал быть совком...

Сумерки уже сгустились, и он примкнул вращающуюся головку аккумулятора к ребристой поверхности передней шины. Крутить педали стало чуть труднее, но лампочка еле теплилась: шина была старая, ребрышки стерлись и головка генератора скользила. Сбоку блистало огнями utrechtское шоссе. Луга и коровы потонули в плотной тьме за занавеской измороси, которая становилась все гуще и холодней. Саше стало зябко, и он понял, что насквозь промок, невзирая на любимую кожаную куртку, и что до Утрехта он так и не доберется.

Он остановился и обернулся. На плоской равнине были видны цепочки и островки далеких огней. Ясно было, что он заехал слишком далеко. Саша развернул велосипед и помчался обратно, изо всей силы налегая на педали, чтобы поскорее вырваться из пелены сумерек и сырости. Конечно, он не рассчитал. Надо было поворачивать еще полчаса назад. А теперь когда еще доберешься домой...

Домой! Как меняется смысл этого слова вместе с нашими передвижениями в пространстве! По мере удаления от собственного дома мы переносим это название на гостиничный номер, армейскую казарму, туристскую палатку в лесу. А теперь — на чердак чудаковатого дядьки в чужом городе и чужой стране. Так что не домой — скажем так: к сухости, теплу и свету.

Цепочки далеких огней разматывались навстречу, но каждая оказывалась все еще не тем, за что он ее принимал, — началом Амстердама. Саша крутил и крутил педали все сосредоточенней, уже с каким-то остервенением, ничего не замечая и ни о чем не думая. Он настолько погрузился в монотонную механическую работу, что с недоуменным ужасом дернулся в сторону, когда из-за его спины вынырнул и просвистел вперед какой-то мотоциклист. Он почему-то был уверен, что едет по этой дорожке совершенно один.

До чердака Саша добрался уже глубоким вечером. Он улегся на кровать, подложив под гудящие ноги свою одежду, чтобы было повыше.

Больше всего на свете ему хотелось, чтобы его никто не трогал; только Вовка сбегал вниз к Кесу и принес чашку крепчайшего кофе с ромом. Какие же они все-таки замечательные ребята, подумал Саша, прежде чем провалиться в сон.

12. День Ее Высочества

Конец апреля выдался солнечным и теплым. Тридцатого, как сказал им Кес, намечалось большое празднество — «Конингиннедах», королевский день. Накануне вечером Кес поднялся к ним на чердак, стал рыться в картонных коробках, что стояли в углу, вытаскивая самые экзотические вещишки: невысокий ржавый канделябр, рокерский плакат в сломанной деревянной рамке, потертый кожаный портфель...

Потом спустился вниз, вернулся с негустой охапкой ношеной одежды. Критически оглядел художавые фигуры русских нелегалов и собственное пивное пузико, поцокал языком, приложил свитер к Вовке, потом к Сане, что-то спросил. Ребята покачали головами — нет, не по размеру. Да и тепло уже. Тогда Кес аккуратно сложил одежду — а она оказалась выстиранной и поглаженной — в стопочку поближе к отобранным вещам, похлопал ребят по спине и разразился длинной речью, из которой они отчетливо поняли только «морхен», «конингиннедах» и «феркоп»⁴⁶.

Утром он позвал их с собой на улицу — не на свою, правда, на соседнюю, где движение пооживленнее. Выбрал место, прямо на тротуаре постелил какую-то драную скатерку, разложил на ней странные свои товары. Впрочем... странные ли? Слева и справа на том же тротуаре пристраивались соседи, с таким же нехитрым скарбом. Неужто это всерьез? А вот и совсем интересно: пара молодых парней вытащила ящик пива, и второй, и ведро со льдом... Так, пиво на лед, грамотно. Сверху — ценник. И недорого, кстати, куда дешевле, чем в пивной. Так это... они собираются его продавать?! А как же полиция? Законы? То Вовке с его дудкой деньги собирать не дают, а то на виду у всех — пивом торговать, да еще и всякой дребеденью непонятной, и ничего?

А пива, кстати, неплохо бы сейчас. Солнце шпарит совсем по-летнему.

Кес вовсю перекидывался радостными фразами с соседями, подходил к ним посмотреть, и они подходили, вертели в руках ржавый канделябр и рокерский плакат. А вот... неужели? Дама в нарядном плаще протянула Кесу три желтых пятигульденовых кругляша, и канделябр перекочевал к ней в объемистую сумку. Довольный Кес сунул деньги в кошелек, подмигнул ребятам — мол, поняли, как надо? — и, уже развернувшись уходить, бросил на прощание:

— It's all yours, chums. Whatever sells out, keep the cash. If the junk doesn't sell, just leave it here. G'luck, see ya!⁴⁷

⁴⁶ «Завтра», «королевский день», «продажа».

⁴⁷ Это все ваше, кореша. Если что распродадите — берите бабки себе. Какое барахло не продается — просто бросьте его тут. Ну, бывайте, удачи! (англ.)

— Данк е вел! — только и сумели поблагодарить его Саша с Вовкой, прямо в унисон.

Тут Вовку осенило. Из бесчисленных своих карманов он вытащил пригоршню советских монет, положил с краю скатерки. Монеты взял проходивший господин, видать, нумизмат, причем за «лысого» — рубль с Лениным — отвалил целый рьяксдалдер. Ну, хоть по пиву взяли, освежились.

Но на этом — всё. Вовка еще чего-то пыжился, потрясал рокерским плакатом, а Саша молчаливо созерцал камни на мостовой.

— Ну что ты, как неживой, медитируешь! — внезапно взорвался Вовка. — Давай, что ли, слепи им пару фраз по-ихнему, мол, хут, зер хут⁴⁸! Можешь ведь, Санёк!

— Хорош с дерьма пенки снимать! — Сашин ответ прозвучал резко, неожиданно для него самого.

— Ну а ты с чего хотел бы? Жрать-то надо? — вдруг посерьезнел Вовка.

— Надо. Но не по-собачьи! — сам не понимая, что на него нашло, отрубил Саня. — Всё, хватит. — Он резко встал на ноги.

— Что, в полицию сдаваться? Чтоб депортировали? Да отстань ты, чудогрёб, не до тебя — отмахнулся Вовка от потенциального клиента, который как раз спросил цену шерстяного свитера.

— Да хоть бы и это, — вдруг устало выдохнул Саня. — Понимаешь, не могу так больше. Или найду вот сегодня, вот сейчас, что-нибудь настоящее — или в полицию. Пусть депортируют. Жили в Союзе, ничего. Проживем.

— Эх, паря, пожалеешь. Эээ, минхер, минхер, — бросился Вовка за уходящим клиентом. — Хут, чистая шерсть, понимаешь, тин хилдер. Ну, фор ю ахт, хуткоп, фяйф⁴⁹! Да постой же ты, рожа твоя нерусская! — бросал Вовка в напряженную высокую спину, которая не реагировала ни одним мускулом, ни одной складкой синей ветровки.

Саша нагнал Вовку:

— Знаешь, Володя... брось это, а?

— Как ты меня назвал? — опешил тот, до сих пор он был только Вовкой. Потом криво улыбнулся и упрямо мотнул головой: — Не, Санёк. Я еще побарахтаюсь. Пену повзбиваю. А ты иди, раз решил...

— Ладно. Бывай. Лихом не поминай.

— И ты... будь.

И они крепко обнялись, а потом Саша развернулся и потихоньку побрел прочь, сам пока не зная куда.

Столица нидерландского королевства явно страдала от острого приступа шизофрении: одна ее половина дурела от безделья, другая — удалилась в лихорадочную торговлю. По улицам шли кучки молодежи: парни в двурогих викингских шлемах, и на каждом роге — по пивной банке,

⁴⁸ Хорошо, очень хорошо (*нидерл.*).

⁴⁹ десять гульденов... для вас восемь, дешево, пять! (*нидерл.*)

и девчонок в драных джинсовых шортах, так аппетитно просвечивавших голыми попками, что ужасно хотелось ущипнуть. И тут же на тротуарах — такие же парни и девчонки, а с ними и люди постарше, а с ними и разномастные иностранцы — черные, желтые, медно-бронзовые, а порой и явные братья по соцлагерю — торговали всем, чем только можно и чем, казалось бы, и вовсе нельзя торговать. Вот, две матроны оживленно ощупывают переходящее знамя победителя соцсоревнования — хо-роший материал, Ленин красиво вышит... На коврик в сортир, что ли?

— Привет!

Русское приветствие посреди голландского празднества прозвучало как выстрел. Саша ошалело завертел головой. Он добрел почти до Фондел-парка, куда вливались толпы отдыхающих.

— Привет, говорю! Не узнал?

— Ян! Ваня! — перед ним стоял ван дер Велд. — Это... Ваня... с праздником тебя.

— Меня-то зачем? Сегодня — день рождения принцессы Юлианы.

— Тогда при чем тут королева?

— Сейчас все объясню. Слушай, пошли в парк, у меня тут в двух шагах свидание назначено? А я по дороге расскажу.

Пока они потихоньку плыли в густой толпе к входной калитке, Ян начал хорошо поставленным лекторским голосом:

— Изначально этот день — день рождения нашей бывшей королевы Юлианы.

— А разве она умерла?

— Жива еще. Когда она поняла, что слишком состарилась, то ушла в отставку и передала трон своей дочери, Беатрикс. Это нынешняя королева. А Юлиана теперь опять называется принцесса. Но поскольку все привыкли праздновать именно 30 апреля, и это очень удобный день, то решили королевин день не перемещать. Обычно сегодня бывает хорошая погода, как теперь.

— Слушай, а почему базар такой повсюду?

— Сегодня не может работать ни один магазин. Но каждый человек имеет право без налогов, пошлин и лицензий торговать в любом месте любым разрешенным товаром. Мы — нация торговцев, так? Вот и торгуем раз в год всем подряд.

— Опаньки! — вздрогнул Саша, когда толпа притиснула их к забору.

— Кстати, и в Москве сейчас точно так. Каждый день, — заметил Ян.

— То есть?

— Торгуют чем попало где попало. Ельцин объявил свободу торговли, и теперь весь центр Москвы выглядит именно так. Теперь Россия — самая свободная в мире страна. Seriously. Я как раз две недели назад вернулся. Впрочем, — помолчав, добавил Ян, — там, кажется, люди этим живут. А у нас — весело избавляются от старых... шмакодявок, так это называется?

— Шмоток. Или — барахла. Шмакодявки — это... маленькие люди, — поправил его Саша.

— Ты, кстати, посмотри, что тебе нужно, обычно находишь много ценных... шмоток для дома.

— Да что мне нужно... — вдруг вырвалось у Саши. — У меня и дома-то никакого нет.

— Seriously? — В голосе Яна неожиданно прозвучала теплота, словно не был Саша для него — чужим нелегалом, незаконно попирающим голландскую землю. Или правда — не был?

— Seriously, Ваня.

— А с работой?

— Аналогично.

— Так, — вытянутое нордическое лицо прорезали деловые морщинки, — надо будет подумать. Жаль, что ты не сказал раньше... Знаешь что? Я позвоню сегодня вечером Дмитрию с Украины, помнишь? У него напарник вроде уезжает. Они убирают богатые квартиры. Нелегально, конечно. Может, он возьмет тебя. А ночевать — есть где?

— Нет.

— Хорошо. Сегодня можешь переночевать у меня, а потом будет ясно.

— Ваня... спасибо! — справляясь с комком в горле, выдохнул Саша. Да разве можно было ожидать, что все разрешится так быстро и просто?!

— Еще не за что. Вечером пойдем ко мне, и я ему буду звонить. Я еще не знаю. Ooo! — обрадовался Ян, заметив какую-то компанию, которая как раз ожидала его по другую сторону от калитки. — Но!

И они пошли в переполненный парк сидеть на покрывале, постеленном поверх загаженного донельзя газона, есть бутерброды, пить пиво, сок и лимонад. Потом гуляли по улицам. Потом Ян терпеливо ждал, пока Саша рьяно рылся в грудях тряпья по гульдену-два за вещь и вылавливал оттуда небросовые еще свитера, курточки, платица — в Москве такие в комиссионках висят, и недешево! А потом и вовсе наткнулся на бесплатную кучу: бери кто что хочет — не распродано.

Потом какие-то непривычно услужливые женщины усадили их за белый пластмассовый столик и напоили ароматнейшим кофе с куском пирога — всего за гульден. А потом они пошли к Яну домой, в маленькую студенческую квартирку на одной из центральных улиц города.

За окном уже смеркалось. Горы старого барахла рассыпались по тротуару, и коммунальные рабочие аккуратно заталкивали их в бездонные чрева медленно ехавших по обеим сторонам дороги мусорных машин. Апофеоз общества потребления.

А Сашино ухо улавливало в телефонной трубке сухой и острый выговор Димы, словно музыку небесных сфер:

— Значит, так. Работать начинаем послезавтра, а ко мне переберешься дня через два, когда Толян съедет. За хавиру договорились по столынику в месяц, стол общий, готовка по очереди. Работа почасовая — когда десятка в час, когда только семь с полтиной. Первые две недели я тебя учу, что и как, ты за это отдаешь треть заработка мне. Потом — сам. По-голландски-то прекать — мал-мала сможешь?

— Dat kan⁵⁰, — с чистым амстердамским выговором ответил Саша.

На чужую и богатую землю опускался вечер — чуть-чуть попозже, чем на московские улицы, переулки и бульвары, где тоже торговали чем попало. И где ходили люди, которых он прежде любил.

13. Все нормально!

Саша захлопнул дверь и аккуратно повернул ключ. Димка ушел еще раньше, по своим собственным делам. Хорошо все-таки с таким соседом — все четко, по-деловому, в душу не лезет. Голландец прямо, а не славянин.

За спиной — рюкзак с инструментом, в руке — связка ключей от двери и от велосипеда. Ведь, пожалуй, мог бы быть и от машины ключик, только прав нелегалу не получить, да и ездить на подержанных нашенских «жигулях» ему особенно некуда. А по городу на велосипеде даже и быстрее.

Вниз по лестнице, к велосипедному подвалчику. Открыть одним ключом дверь, найти своего железного друга, другим ключом разблокировать ему заднее колесо, третьим — раскрыть амбарный замок на стальной цепи, что оплела раму, переднее колесо и вросший в землю стояк. Иначе нельзя: или переднее колесо открутят на запчасти, или велосипед с цепью унесут, чтобы потом в мастерской спокойно перерезать цепь автогенном. Первый велосипед у него так и увели с парковки перед магазином. На специальных стояках велосипедных мест не было, а за фонарный столб цепь завести поленился — до сих пор вспоминать обидно! Впрочем, ворованный велик он тогда купил, вот его и своровали. Второй уже выбирал в магазине подержанных велосипедов, за настоящую цену.

Теперь-то все уже совсем не так, как в прошлом году. Этот город стал ему знакомым и своим, иногда даже казалось — родным, хотя на самом деле они не породнились. Он знал, где, что и почему, он понимал, как не только выживать, но и жить. Где будешь в пролете, где можешь забашлить. Все нормально!

Над деньгами теперь можно было не трястись — просто считать их и даже рассчитывать наперед. Это там, в далекой России, то разрисовывали всякими узорами советские червонцы, то прибавляли российский флаг (ребята показывали, он видел), а главное — то и дело приписывали нули. Тут деньги жили спокойной жизнью. Монеты были скучными, с номиналом на одной стороне и портретами королевы на другой. Старые монеты изображали ее реалистично, новые лепили из ее профиля что-то авангардистски-геометрическое. Из всех монет Саше нравилось держать в руке только толстенькие желтые пятигульденовые кругляши. Да еще «ряйксдалдеры», монеты в два с половиной гульдена, забавляли своим названием и дурацким номиналом.

⁵⁰ Это можно (*нидерл.*).

Но в бумажнике, том самом, от Ингрид, не переводились и купюры. Синяя десятка с портретом Франса Хальса, импозантного господина ...надцатого века (оказалось, это знаменитый художник), была самым частым гостем. Пореже водились красные четвертные — на них была какая-то геометрическая муть в виде спирали, видимо, чтобы фальшивомонетчиков стошнило, пока будут перерисовывать. Изредка попадались и старые, с Вильгельмом Оранским. И по особым поводам доводилось подержать в руках — недолго, правда! — желтые полусотенные с пейзажем польдера и подсолнухами, а еще потрясаяще красивые коричневатые сотни с водяными птицами. Такую сотню хоть в рамке на стену вешай.

Не на стенку, конечно, а вот в конверте на полке с бельем если не сотни, то десятки и четвертные оседали не так уж и редко. Тем более, что жизнь в строжайшей экономии уже стала привычкой, бананы, и те только при снижении цен покупаешь (в черных пятнышках, не выше гульдена за кило), не говоря уж о прочем.

Изредка подворачивалась оказия в Москву, и тогда Саня шел в одну из контор в центре города и обменивал часть своей галереи на скучные серо-зеленые доллары. Приходилось просить, чтобы дали новые бумажки — в Москве не любят старых. Эти бумажки заклеивались в конверт с маминим телефоном и вручались случайному путнику. До сих пор никто не подводил. Много не посылал — а ведь и на полусотне долларов (в гульденах — чуть меньше сотни) там, в обновленно-демократической Москве одинокая женщина, литературный редактор, могла протянуть месяца два-три, а то и все четыре, если скромно.

Теперь они с Димой уже снимали третью квартиру, причем эта была сама лучшая. Можно было уже не гоняться за сверхдешевой, а просто выбирать по средствам. В новом доме, две комнатки, кухня с балкончиком. Место называется Амстелфейн, официально — отдельный город, а по сути дела, южная часть Амстердама. Если бы у нас так держались за традиционную географию, то Москва кончалась бы за Садовым кольцом, а Хамовники и Сокольники числились бы сами по себе, не говоря уж о более дальних районах. До центра, конечно, далековато, зато не слишком дорого, и магазины все под боком.

Саша вывел велосипед из подъезда и по коротенькому переулку выехал на рыжую велосипедную дорожку. Сегодня было два заказа, довольно удобных — недалеко друг от друга, и по времени как раз успеваешь. Димка-то уже квартир больше не убирал, развернулся всерьез с какой-то торговлей, кажется, и не слишком законной, но жили они по-прежнему вместе. Диме, к тому же, надоело нелегальное положение. Не застревать же так на всю жизнь, в самом деле! Так что в последнее время он звонил в посольства Южной Африки и Новой Зеландии в Гааге: в эти страны принимали молодых-перспективных, особенно с белым цветом кожи. Надо было только еще раздобыть всякие рекомендательные письма, справки и все такое прочее — и через месяц-другой рассчитывать на льготный билет в Африку или на Тихий

океан с вполне легальным видом на жительство. А через сколько-то там лет — и на гражданство...

А своих клиентов Дима передал Саше за столыжник отступного. Ничего не скажешь, интересы свои парень блюдет основательно, но все честно, никого не кидает, лишнего тоже не требует. Сане чужие ковры пылесосить да окна мыть — не запахло. Руки заняты, зато голова свободна. И нелегалом быть не запахло. Африка, конечно, это круто, но ведь оттуда уже вряд ли выберешься. А как оно там — кто знает... Был бы Саша евреем, может, еще и подумал бы об «исторической родине», но только и с этой родины прибывали в Голландию несчастные совграждане, которых в московских подворотнях ругали жидовскими мордами, а в тель-авивских — необрезанными гоями. И, что характерно, некоторые из них даже смогли получить в Голландии политическое убежище. Но от себя ведь все равно не убежишь. Хоть на Луну переселяйся, но если в двух таких разных странах места себе не нашел, и в третьей вряд ли найдешь.

Фитспад, рыжая велосипедная дорожка вела в центр, словно маленькое шоссе, тянувшееся вдоль основной трассы для автомобилей. Со своими дорожными указателями, красными на белом, со своей осевой линией разметки, со своими правилами движения. Слово сам Бенилюкс — маленький кусочек суши, вроде и на обочине европейской истории, зажатый между Германией, Францией и Англией, а поди ж ты, все свое и ничуть не отстаем от сверхдержав. Так оно и приятнее, и для здоровья полезнее, тише едешь — дальше будешь. А Россию — с чем сравнишь? Разве что с безнадежно разбитым и размокшим под ливнями глинистым проселком, что бежит через холмы, луга и березовые перелески, но все так и не сменится асфальтом... Зато, конечно, очень живописно.

Впрочем, такие удобства для велосипедистов — только тут, вдоль относительно нового проспекта Бяутенфердтсе Лан. Скоро велосипедная дорожка закончится и ехать придется по мостовой этих здешних улиц с аршинными названиями — Рулоф-харт-пляйн, Ван-барле-страт — справа от автомобильного потока. Тут следи в оба! Движение будь здоров, и даже припаркованная машина может оказаться опасной — откроет водитель дверь, не посмотрев, и саданет тебя прямо по колесу. Саня так один раз уже получил от какого-то немца, не то чеха, потом три дня прихрамывал. Жаль, не догадался тогда слупить с обалдую четвертной за ущерб! Хорошо хоть велосипед цел остался. А нелегалам ни в полицию, ни в больницу попадать нельзя. В больнице за наличные, может, и примут, а вот страховки у нас нет и не будет.

Хорошо, что свет не без добрых людей! Тут ведь даже и в аптеке серьезней аспирина без рецепта ничего не купишь... Как той осенью заболел гриппом, пришлось знакомых просить, достали все-таки капли — голландцы, они не немцы, на всякий запрет отмычку найдут, всякую инструкцию нарушат, если хорошему человеку плохо. Как-то оклемался. Димка тоже молодец, лимоны ему тогда таскал, апельсины, и денег не

взял. Хотя и жмот, а настоящий товарищ. Он тогда только и разобрался в этих апельсинах, или, как они говорят, «синасаппелях»: «ханд» — чтоб чистить, то есть для руки, а «перс» — чтоб сок давить, прессовать, то бишь. Надо же, буржуины проклятые! В Москве хоть какие купил — и счастлив.

И еще, Димка тогда с базара притащил коробочку диковинного заморского фрукта, киви. На гульден — целый десяток! Кивины они ели только так, вместе с мохнатой их кожурой, да так и вкуснее, только хвостики древесные выплевывали. А голландцы их чистят, чудаки! А еще как-то купили они клубнику, да вот только на вкус несильно отличалась она от сырой картошки, только что помягче. Декоративная, на гидропонике. Смотрится хорошо, долго не портится, а вот кушать — это извольте натуральную, совсем по другим ценам. Словом, гримасы капитализма, как расписывали партторги-комсорги. А они еще не верили.

Но гримасы гримасами, а пока остается здесь. Почему? Да как-то так сложилось. И, если честно, особо некогда — или неохота? — об этом думать. Вот, сейчас свернет в этот проулок, потом к знакомой двери, звонок, полминуты ожидания, ухоженная старушечья физиономия. Постоянный клиент, одинокая пенсионерка, по-голландски помешанная на чистоте и по-голландски прижимистая. С нелегалами-то оно дешевле выходит, без налогов и прочей мутотени. А придерись полиция — что докажет? Тимуровец, старушкам помогаю, а они мне за это спасибо говорят, прятничком угощают. Свободные люди в свободной стране.

Потом — велосипед, другой адрес, другая физиономия. В субботу, кстати, хотел съездить с Машкой на море — искупаться. Уже ведь и лето всю, да и погода пока, вроде, ничего — надо же устраивать себе иногда и выходные! А в воскресенье, может быть, заглянем с ней вместе вечером к Лодейниковым.

Так что все нормально!

Велосипед тщательно прикован к стояку, звонок поет свою трель. Раскрывается дверь, о дежурное:

— Goede middag, mijnvrouw.

— Hoi, Alex⁵¹.

14. С Марусей на Маркене: бывшие любви

Вечером в пятницу Саша сделал два звонка. Сперва маме в Москву — для ритуальных словообменов «как дела — все в порядке». Порядок с обеих сторон был довольно относительный, но, во всяком случае, все шло по-заведенному и не было причин жаловаться. А может, и были, только не говорили о них. Мама по-прежнему слегка болела, пыталась свести концы с концами в двух редакциях и одном институте одновременно, страшно переживала за свой предпенсионный возраст и вяло протестовала против присылаемых Сашей с редкими оказиями долла-

⁵¹ — Добрый день, мадам.
— Привет, Алекс (*нидерл.*).

ров. А так как будто и не удивлялась, что это делает ее сынок на два часовых пояса к западу от нее. Здоров, сыт, одет, и ладно.

Потом позвонил Маше. Маша на самом деле была не Машей, а Карен, но предпочитала, чтобы звали ее непременно на русский манер. Маша училась в университете на отделении русистики и западала на все русское, даже отращивала косу до пояса, что как-то странно вязалось с ее нордическим овалом лица и длинным тонким носом. Вот только серые глаза подходили.

Познакомились они три месяца назад, и у них намечался роман — как раз в той чудной стадии, когда все еще возможно, но ничего не ясно, когда симпатия не переросла в сладкую и мучительную влюбленность.

С Машей они договорились провести субботу вместе, и Саня хотел поехать на море, в Зандфорт-ан-Зе. Все равно по субботам у него редко бывают заказы. По субботам вся семья обычно дома, кому тут нужен чужой уборщик? А тут еще и лето все-таки вступило в свои права, пригревало солнышко и наконец-то кончились бесконечные дожди. На море было здорово, все напоминало Рижское взморье, куда они пару раз ездили в далекие лета детства.

Саша один раз даже прокатился туда на велосипеде — километров 30 в одну сторону, не меньше, и совершил героическое омовение — уж очень хотелось поближе познакомиться с этой синевою! — а потом все никак не мог согреться. Как раз зарядил мелкий противный дождик и не отпускал до самого дома. Зато даже на глобусе можно было теперь прочертить его героический маршрут: пересек от края до края выдавшийся в море ломоть Голландии.

Но у Маши возникло иное предложение: остров Маркен. «Такой остров, — сказала она, — где живут по-старому, ну, в общем, сам увидишь. И тоже море, правда, залив. Он, конечно, грязный, но тоже морской». Ну, Маркен так Маркен. Имя само по себе ничего не говорило Саше, но новые места всегда интересно посмотреть. Договорились встретиться в 9⁴⁵ (ох уж эта голландская пунктуальность!) у центрального вокзала.

Погода субботним утром выдалась удачная: ветрено, легкие облачка, но без дождя и в целом солнечно. Как раз для приятной поездки. До вокзала Саня добирался на велосипеде, и в такое время нетрудно было найти свободный кусок пространства на велосипедной парковке. С Машей договорились встретиться у главного входа и подошли к нему с двух сторон практически одновременно, строго в назначенное время.

— *Noi!* — Саня радостно чмокнул девушку в щеку.

— Привет!

— *Noe gaat het*⁵²?

— Нормально, — рассмеялась она, — давай говорить по-русски! Я уже знаю, что на вопрос «как дела» надо отвечать «нормально», а не «хорошо». Как ты думаешь, это отражает менталитет русского народа?

⁵² Привет... как дела? (нидерл.)

— Это отражает, что кто-то задает слишком много умных вопросов, — приобнял ее Саша, — автобус-то где?

— Здесь рядом. Пошли. Через десять минут автобус до Моникенда-ма. Там возьмем катер.

— На абордаж?

— Что?

— На абордаж, говорю, возьмем — как пираты?

— А как надо сказать?

— «Поплывем на катере». Или «сядем на катер».

— Спасибо, Саша. Поплывем на катере...

— ... к растакой-то матери, — не удержавшись, срифмовал Саша. — Чадушка, фольклор.

— Нет, этого юмора я пока не знаю, — серьезно ответили Маша. — Вот наш автобус. Надо семь полосок стриппенкарта, это далеко.

— Ага, у меня есть. Как раз специально купил длинную.

Они сказали заветное «twee, Monikendam⁵³», водитель сверкнул штемпелем, как когда-то пограничник в аэропорту, и голубая с серым стриппенкарта — билет на несколько поездок на общественном транспорте — украсилась двумя фиолетовыми полосками цифири. Свободных мест было полно, сели рядом, причем Саша, по старой привычке, пристроился у окошка (Машка-то все равно не в первый раз, уже давно все это видела). Вскоре автобус тронулся и почти сразу нырнул в чрево огромного туннеля, проходящего под морским заливом с нелепым именем Ij.

— Тут в прошлом году, — рассказала Маша, — трафик остановился. В порт приехало русское судно, у моряков не было денег, они хотели посмотреть город. Они пошли пешком по тоннелю. Сработал alarm system...

— Сигнализация.

— Да, сигнализация. Долго не могли их найти, а потом долго не могли им объяснить, что пешком нельзя.

— А эти дорожки по бокам?

— Только для emergency⁵⁴. Если, например, пожар и людям нужно выйти наружу.

— Да, Машка, вот такие мы, русские. Бедные, но гордые.

— Вы хорошие! Я это давно поняла. Я еще в детстве зачитывалась Толстым. Надо мной даже насмеялись другие дети, они читали комиксы про space wars⁵⁵. А я плакала от Наташи Ростовской, правда! А потом, когда я была подросток, я открыла Достоевского. Это был новый мир, представляешь! Только я очень мало понимала. Я тогда думала: как может быть у русских столько имен? Я не знала, сколько в этих книгах героев. Если человек Иван Иванович, то кто такие Ванечка и Ванюша? Я, например, Карен. И все. А вот теперь я могу называться Мария Яковлевна (моего отца зовут Яр, Яков), Маша, Маруся...

⁵³ Два, Моникендам (нидерл.).

⁵⁴ Аварийный случай (англ.).

⁵⁵ Космические войны (англ.).

— Машка, Маха, Маруська... впрочем, это уже было, — радостно подхватил Саша. — Что, разобралась потом с героями Достоевского?

— Ага! — Девушке явно нравилось, как звенели на языке у парня ее новые имена.

— А почему именно Маша, кстати?

— Подожди! И вот потом, уже когда я учила русский в университете, я стала понимать, что в моей жизни чего-то не хватает. У меня были русские друзья, и мы говорили по душам. Они позвали меня петь в русскую церковь. Мне очень нравится пение, и церковная музыка особенно. Я стала петь в хоре, приходиться на службу. А потом я решила принять православие. И стала именоваться Мария.

— Ну, в общих чертах это я знаю. А вот почему все-таки Мария? А не, скажем, Екатерина — ведь больше на Карен похоже?

— Я не хотела, чтобы было похоже на Карен. Я хотела стать русской. Потом я поняла, что это не получается. Для меня Маша — самое русское имя. Я его хотела.

— Хорошее имя, — кивнул Саша.

Автобус тем временем выбрался из-под земли и покатил среди ровных домиков северного Амстердама и его ближних пригородов. Деревня... Да вообще, годится ли тут такое слово? В основном — пастбища, разгороженные канальчиками с мостиками вместо ворот. Редкие крестьянские усадьбы и вовсе ни на что не похожи: чистенькие домики, по фасаду каменные львы или вазы игрушечного размера, а с заднего двора или пастбища в двух метрах поодаль глядят толстые мохнатые овцы, раз в двадцать крупнее каменных львов. И тут же роскошная машина, а то и две.

И ни клочка земли под пустырь! И ни одного строения, от которого не шла бы безупречная лента асфальта, вливающаяся у самых ворот в узкое шоссе и через десяток километров — в скоростную автостраду. Будет ли так когда-нибудь в России? Невозможно поверить.

— Саша, а тебе что нравится в Голландии?

— Знаешь, я тоже не раз задавал себе этот вопрос. Ведь для чего-то я тут задержался, в конце концов! Ну... есть вещи, которые лежат на поверхности. Тут, конечно, жить сытнее, ничего не скажешь. Но если бы только это, я бы давно сбежал. Еще тут все очень четко и просто.

— Что ты имеешь в виду?

— Супермаркеты. Нет, серьезно. Ты же бывала в России?

— Да, три раза.

— Ты ходила в наши магазины?

— Да, иногда ходила.

— В обычные, за сосисками?

— Очень мало, с русской подругой. Я знаю, это было сложно. Не всегда было товара, потом надо запоминать цену, идти в кассу, называть ее, потом стоять очередь к прилавку и давать чек. Это очень странная система. Неудобно.

— А теперь сравни: супермаркет. Поняла?

— У вас скоро тоже будет цивилизованный рынок. Саша, но при чем тут ты? Ты живешь здесь из-за супермаркетов? Это не может быть правда.

— Да нет, это ерунда, я эти сосиски самые там, в Москве, только так лопал. Были бы сосиски. Я о другом. Понимаешь, у вас все общество такое: пришел, выбрал, заплатил. И — пользуйся.

— Это капитализм, Саша. Это все за счет духовности. Когда так в супермаркете, я согласна. Но у нас же так во всех аспектах, и это ужасно.

— Это удобно, Машка, понимаешь? Меня никто не грузит, я живу сам по себе, как хочу. Я никому ничего не должен. Я свободен.

— Это не свобода, Саша. Но я пока не умею этого объяснить.

— Да что ты, Машка, я тоже понимаю, духовность, Достоевский, я сам Чехова запоем читал, и до сих пор читаю. Я только за. Но меня всю дорогу грузили: ты должен, должен, должен... Одним — делать вид, что строи коммунизм, другим — кукиш власти в кармане показывать, третьим — изображать интеллигентного мальчика из хорошей семьи. А здесь — никому и ничего. Вот ты студентка, в скором будущем — элитный специалист, а я лимита, прости за выражение, и мы вместе. И никого не колышет! Понимаешь, это здорово.

— Я понимаю тебя, Саша. У меня были похожие мысли. Я носила майку с портретом Че Гевара, когда мне было пятнадцать лет. Но моих родителей будет колыхать, если я женюсь за такого человека, как ты. Они буржуи.

— Буржуи, говоришь? А мы приехали, что ли?

Автобус действительно застыл у остановки с надписью «Moniker-dam», и они неспешно выплыли наружу, не прерывая разговора. Было так здорово говорить на языке, которого заведомо никто не понимал, и можно было обсуждать любые темы. Впрочем, в самом Амстердаме русских становилось все больше, и в людных местах Саша уже не раз наталкивался на соотечественников. Большинство из них наслаждались той же языковой неприступностью — в квартале красных фонарей мужики откровенно обсуждали программу дальнейших похождений, а на рынке один шпаненок кричал другому через все ряды: «Васёк, чё тибрить-то будем?» Если так пойдет дальше, то скоро русский будет тут легко узнаваем, подумал Саня... И едва ли ему обрадуются.

Но пока радовались. Как-то они с Димкой стояли на остановке, о чем-то говорили. К ним подошла старушка без комплексов, поинтересовалась, что это за язык. Когда узнала, что русский, пришла в неописуемый восторг, сообщила, что сама наполовину коммунистка (оба парня скривились), и подарила пакет с замечательными пирожками, который как раз оказался у нее в руке. Ничего, она себе еще купит... Она ж настоящего коммунизма и не нюхала.

Мимо старой церкви Маша с Сашей прошли к гавани. Собственно, городок и был развернут вокруг этой самой гавани еще со дня своего основания — тут находились основные кафе, магазины и киоск, где задешево продавали замечательную скумбрию горячего копчения, только что из моря.

Все голландские города похожи уютностью и добропорядочностью и все, кроме Амстердама, — чистотой. Непохожи они множеством мелочей, из которых и складывается неповторимость облика: формой крыш, регулярностью и расположением каналов и даже выражением лиц прохожих. Эту атмосферу было очень трудно описать, но легко уловить, угадывая в каждом городе характер: вот мускулистый портовый трудяга — Роттердам; а вот тихий очкарик, переулочный студент-гуманитарий — Лейден. А Моникендам — капитан рыбацкой шхуны. Вот так.

На катере они выбрали верхнюю палубу, хотя было довольно ветрено. Рядом радостно галдела группа американцев, фоткая друг друга на фоне моря и примеряя купленные в лавчонках на берегу черные рыбацкие кепки — Саша как раз недавно в русской газете видел такую на Жириновском. Катер медленно оторвался от причала, выбрался к узкому выходу из гавани между двумя половинками старого деревянного мола и заскользил по серой рябистой глади. На море было немало разноцветных парусов, некоторые совсем близко, и можно было видеть, как управляют со снастями люди на собственных яхтах.

— Здорово, наверное, так, на яхте, — мечтательно сказал Саша.

— Да, и очень дорого. Саша, можно задать тебе откровенный вопрос?

— Ну?

— У тебя, наверное, в Голландии были девушки?

— Были две. Собственно, так и вышло, что из-за одной я и задержался тут.

— Расскажешь?

— Попробую. Если не обидишься.

— Нет, не обижусь.

— Она тоже училась в университете, как ты, только на другом факультете. Мы приехали сюда с театром на гастроли, я тебе уже говорил. И однажды после спектакля она подошла ко мне и сказала, что я играл лучше всех. Лестно, конечно, но я до сих пор не уверен, что она это всерьез.

— А что она имела в виду?

— Ну, может, просто я приглянулся ей. Скажем так: не я играл лучше всех, а ей было приятнее смотреть на меня, чем на всех остальных. Нет, правда, я не думаю, что она специально врала. А потом она пригласила меня на вечеринку... ну, мы и подружились.

— Вы с ней спали?

Саша не случайно сказал «подружились» — ему всячески хотелось избежать примитивной последовательности «познакомились — выпили — перепихнулись». Может быть, оно так и выглядело со стороны, но трудно было объяснить, чем отличалось их знакомство от такой же цепочки действий на танцах в доме культуры. А отличалась она очень сильно, хотя он едва ли мог бы объяснить, чем. Только ли тем, что вместо дома культуры была колокольня утрехтского собора?

— Ну-у-у... Никак не привыкну к вашей голландской манере задавать вопросы в лоб. Ну да, спали. Только не в этом дело.

— Извини, я не хотела тебя задеть.

— Понимаешь, мне тогда все было в новинку. Все было такое красивое, яркое, сочное. И Ингрид была такая яркая. И мне все хотелось попробовать, а тем более, что она сама так ненавязчиво предложила. Тьфу ты, выходит, словно я оправдываюсь перед тобой. В общем, это трудно объяснить.

А потом мы стали ездить со спектаклями по стране. Знаешь, это было так странно — приезжаем в новый город, играем спектакль, возвращаемся в гостиницу, а там — Ингрид. Но все быстро подошло к концу, а душа требовала, как у нас в одном фильме старом говорится, продолжения банкета. Я еще не насытился впечатлениями. Да и в России меня практически никто не ждал. В общем, решил еще немного потусоваться и не полетел обратно со всеми.

— Остался?

— Ты, может быть, заметила, я предпочитаю говорить «задержался». У нас говорили «остался» в старые времена, когда обратно уже было не вернуться. Сейчас — другое дело. Ну а с Ингрид все очень быстро кончилось, даже не очень понятно, почему. У меня было такое ощущение, что ей тоже хотелось попробовать экзотики, потом она накушалась, а всерьез и с самого начала не собиралась.

— Ты строг к ней.

— Допустим. Только, знаешь, не слишком-то порядочно все это было с ее стороны... У нас даже частушка такая есть: «Если ты меня не любишь, завлекала-то на чё?»

— Ты любишь русский фольклор?

— Ну, я бы не сказал, — усмехнулся Саша, — сократи эту свою фразу на несколько слов, и будет точно: «ты русский». И какие-то вещи у меня в крови, как у тебя эта ваша пунктуальность или манера выражаться прямо в лоб. Ты можешь носить кокошник или юбку из пальмовых листьев, но твои голландские черты лица от этого никуда не денутся.

— И что значит «ты русский» в отношении к девушкам?

— Понимаешь, у нас есть как бы две разновидности отношений с девушками. Одна — это просто так, ты меня извини, потрахаться.

— Это есть везде, Саша.

— Да, наверное. Но вот если любовь-морковь, то мы ждем романтики. Да ты ж литературу нашу читала, письмо Татьяны к Онегину и все такое прочее... Она ждет принца, он — принцессу, любовь до гроба, дураки оба, как в детском саду дразнятся. И правильно дразнятся, потому что принцы и принцессы все в сказках. И потом начинаются истерики, скандалы, нелепые расставания — хотели романтики, а получили прозу жизни. У Пастернака здорово сказано: «наша проза с ее безобразием»...

— Ты думаешь, так только у русских?

— Нет, наверное, — Саша рассмеялся. — Хотя мы сами себе и другим талдычим всю дорогу, что у нас особый путь. Романтика, загадочная русская душа... Машка, да ты сама, небось, на все это покупалась не раз?

— Купалась?

— Покупалась, ну, тебя все эти представления о загадочной русской душе заставляли делать маленькие глупости, понимаешь?

— Ты прав. Я расскажу. Но сначала ты. Кто была вторая? Она была сразу после первой?

— Да нет. Потом мне как-то было очень хреново... и не до девушек было некоторое время.

На самом деле Саша, пожалуй, привирал. В период их дремучего отшельничества с Вовкой, то в слипине, то на чердаке, когда прошел первый, самый трудный период, молодое тело брало свое, и в снах и жадных фантазиях виделись то золотые локоны Ингрид, то миловидная фигурка Даши из Политехнического, а то и вовсе безымянная эротика. И даже злость на Ингрид проходила в этих снах: ну ведь по-европейски все получилось, уютные сексуальные каникулы, принято здесь так... Жаль, что так быстро все закончилось, но ведь на то они и каникулы.

Саша как-то забрел в квартал красных фонарей, зашел в секс-шоп и застрял там, пока буквально не выгнали, перелистывая порножурналы и жадно вглядываясь в чужие фантазии. Некоторые оказались до странного похожими на его собственные, в том числе и на такие, которых он стыдился. Даже какое-то освобождение приходило к нему в эти минуты в амстердамской дыре: надо же, не я один такой! Тысячными тиражами все это издают, люди покупают... А потом он наткнулся на зоофильский журнал и, увидев репортаж о том, как голый мужик в ванной занимался сексом с крокодилицей, окончательно успокоился: нет, я еще не извращенец, если люди могут тащиться от такого, что мне даже и вообразить-то невозможно. С тех пор он еще несколько раз заглядывал в эти секс-шопы, внешне лениво перелистывая журналы, жадно напитывался чужой фантазией, но ничего по бедности не покупал.

Но это было томление плоти, и с ним действительно было все просто. Грубо, но просто. Сложнее оказалось справиться с душевным голодом по нормальному женскому обществу. А кого они могли тогда позвать к себе на чердак? На какой тусовке их бы приняли полноценно? Другое дело, когда он перебрался к Димону...

— С другой девушкой я познакомился год назад, прошлым летом. Точнее сказать, была она даже не девушкой, а замужней дамой. Мы познакомились на одной тусовке. У нас был довольно странный роман. Ее звали Юлия. Русская, но живет здесь уже довольно давно. Училась в Москве на филфаке, изучала голландский язык — совсем как ты тут учишь русский! — потом вышла замуж за голландца. У меня, кстати, возникло ощущение, что она для того и училась. Знаешь, у нас есть категория шикарных и капризных девчонок, для которых практически основная цель в жизни — жених из богатой капстраны. Но нет, может быть, я к ней несправедлив...

В общем, картина такая. У нее состоятельный муж, живут в собственном домике под Амстердамом. Он бизнесмен средней руки, уже лет под сорок. А ей 25-26. Домохозяйка. Детей нет. С мужем договорились, что

она будет работать два дня в неделю продавщицей в модном магазине, вроде как карманные деньги. Ну, там, солярии всякие, поддерживать себя в форме, клуб и прочее. Чтобы жизнь золотой клеткой не казалась. Вот и я для той же цели, наверное...

— Не поняла. Для чего ты?

— Знаешь, она тут обвыкалась, как мало кто обвыкается. И резко перестала быть советской девочкой с окраины. По улице пройдет — уже видно, что родилась в Европе. А по-голландски говорит вообще без акцента. И она красивая, обалденно красивая, если честно. Тут таких мало. И знаешь, есть в этой красоте какой-то вызов, что ли. Не просто так я тут у вас, я тут королева. Она же и в браке с мужем добилаcь полного равноправия, хотя смешно сказать — какое там равноправие! Он ее содержит, его дом, его зарплата, а ее — только красота и уют в этом доме.

— Это тоже много значит, Саша.

— Ну да. Знаешь, она ведь вовсе не была хорошенькой такой куколкой без мозгов. Она тоже в литературе разбиралась, если кино смотрела — так Тарковский, Курасава, Антониони или какой-нибудь авангард современный. Чтобы было стильно, ярко, сочно. Так, наверное, она и с мужем хотела жизнь построить. Но он что — в конторе весь день, да у голландцев вообще с романтикой напряг. Эротики вон навалом, а романтики не очень.

Словом, установили они такое порядочное супружество, основанное на взаимном уважении и четких договоренностях. Даже договорились, что посуду грязную в посудомоечную машину ставят по очереди! Нет, не могу себе представить, чтобы у нас такое было: пришел муж, весь день вкалывал, а жена после солярия ему говорит: дорогой, твоя очередь грязные тарелки на кухню тащить... Ну, и в остальных отношениях у них так же. Договорились не ограничивать свободы друг друга: мол, муж может на работе секретарше под юбку залезть, или там в деловой поездке девочек снять, и это нормально, и она, соответственно, тоже может гульнуть, если захочет.

— Наверняка они установили границы.

— Наверняка. Скажем, домой своих любовников не водить, денег на них лишних не тратить, и все такое. В общем, я ей, похоже, для реализации этого соглашения и понадобился.

— Саша, ты опять строг. Ты же ее любил?

— Ну-у-у... Нет, на самом деле влюбился я по уши. Я от нее просто балдел. У нее... (ну не рассказывать же Машке, как с ней было в постели?)... в общем, все в порядке у нее. И, понимаешь, не только с телом. Она как-то так умела выстроить отношения, что и я человеком себя чувствовал. Есть какая-то семейная жизнь, где ее минхер из конторы придет и тарелки грязные в машину мечет, а есть и другая сторона, где она, продавщица, занимается таким уютным легким сексом с таким же городским пролетарием, как и она сама. С ней вообще потрясюще уютно было, это точно. Вкусно жила. И знаешь, она могла просто идти по улице, но в ней было что-то совершенно особенное. У вас тут женщины часто носят, что на распродажах достали, оранжевое с салатovým и фи-

олетовым. А она... Она тут стала настоящей европейкой — и не голландской даже, а какой-то парижанкой, что ли. Может, за тем и приехала из своего Свердловска сперва в Москву, потом — сюда.

А еще она по-своему любила Россию, часто ее вспоминала, пару раз туда ездила. Ругала Запад, как тут принято у эмигрантов. Но в России ей нужно появляться богатой иностранкой, не иначе. И ей очень подходил русский любовник. При том, что русский муж ей был сто лет не нужен, это точно.

— А почему вы расстались?

— Трудно даже сказать. Не то чтобы надоело, но что-то вроде этого. А такие отношения и не строятся надолго. В том вся их прелесть — сошлись, разошлись... Чуть больше полугода получилось в общей сложности. Просто в какой-то момент стала реже звонить, да и я ей тоже, и встречаться уже не договаривались — ну, так и сошло на нет.

А корабль тем временем преодолел серое продувное пространство и входил в другую гавань, заставленную яхтами — гавань острова Маркен. Прямоугольник гавани был так же аккуратно оплетен торговыми улицами, как и в Моникендаме, а за ними теснились низенькие дома под черепичными крышами.

Они неторопливо прогуливались по узким улочкам этого музейного города, почти не разбавленного современностью. В чем-то это было похоже на Брюгге, город, где к Саше пришло решение остаться, но только там была фламандская кружевная веселость, а тут — голландская деревенская простота. У порога одного дома стояли деревянные башмаки — как встарь, хозяин, придя с поля, оставил грязную обувь у входа и прошел в стерильно чистое свое жилище в одних чулках. Неужели это не для туристов, а просто так? Да нет, вряд ли... А вот навстречу им попала уже явно искусственная пара пожилых голландок в национальных костюмах, с затейливыми передниками и изогнутыми чепцами, напоминающими контуры голландских крыш.

Когда они в Сашином детстве, еще пока был жив отец, ездили отдыхать в Юрмалу, в писательский дом творчества, однажды они навестили этнографический музей под Ригой. Там тоже стояли старые крестьянские домики, собранные со всей Латвии (а вот здесь ничего не собирали, просто сохранили, что было). И повсюду попадались вот такие же бабушки, наряженные в национальные костюмы. Одна из них, сидя за столиком у окна своей избушки, прихлебывала кофе и читала сегодняшнюю газету. И вот этот самый кофе с газетой, немислимые для крестьянки двухсотлетней давности, криком кричали: не верьте, люди добрые! Можно сберечь стены и надеть костюмы, но изменились люди. Они пьют кофе и читают газеты, а потом садятся в автобус и едут домой смотреть телевизор. Они думают и чувствуют по-другому, чем двести лет назад, и никакими фольклорными мерами этого не изменишь.

Нагулявшись, они устроили пикничок на высокой дамбе, тянувшейся, как и везде в Голландии, непрерывной насыпью вдоль берега моря. Маша достала купленную в Моникендаме свежайшую скумбрию горя-

чего копчения, заранее нарезанный хлеб в аккуратном пакетике, сыр и даже термос с кофе, Саша — несколько бананов и пару бутербродов с ореховым маслом. После прогулки на свежем морском воздухе аппетит был отменный, и скоро все это было уничтожено. Но до обратного автобуса (а они решили возвращаться автобусом) еще было время, и они просто сидели на дамбе, у подножья грязноватого моря, в котором не хотелось купаться, любовались чайками и парусами яхт и понемногу болтали.

— Ну, теперь моя очередь, — неожиданно серьезно сказала Маша.

— Какая очередь?

— Рассказывать о своих парнях.

— Давай, — усмехнулся Саша, — и что, много их было?

— Вовсе нет. Был подростковый период, когда протестуют, тусуются, занимаются сексом. Но у меня это было несерьезно. Я не находила это интересным. Некоторые люди, ты прав, так и остаются в этом возрасте на всю жизнь, но это очень скучно. Я думаю, так они прячутся от... от пустоты.

— А ты, соответственно, читала Достоевского?

— Да, он многое мне открыл. Я была удивлена, что можно жить такой богатой внутренней жизнью. Хотя эту жизнь я иногда находила нездоровой. Может быть, мои некоторые депрессии стимулируются моей любовью к Достоевскому. Как бы то ни было, я поступила на русское отделение. Вокруг были очень интересные люди, но я тогда не увлекалась парнями. Достаточно было интеллектуальной жизни. Например, ты слышал про семинар отца Андрея?

— Нет. А что это?

— Отец Андрей из русской церкви устроил семинар несколько лет назад. В него приходили разные люди, русские и голландцы, раз в месяц. Они делали доклады на разные темы. Цель этого семинара была в том, чтобы лучше понять наши системы ценностей, культурные различия. Это было иногда очень интересно. Но больше его не будет.

— Почему?

— Говорили, он исчерпал себя. Мы все равно плохо понимаем друг друга. Мы, голландцы, и другие европейцы тоже, очень практичны. А у вас, русских, любовь к иррациональности... Или нет — к неутилитарной рациональности. Вы говорите о судьбах мира. «Дайте русскому мальчику карту звездного неба, и завтра он вернет ее исправленную», — писал Достоевский. Некоторых это пугает, некоторых привлекает. Я нахожу, привлекает, но иногда пугает.

— Ага, загадочная русская душа. Только ты вроде про парней собиравалась?

— Да, это было важное введение. Так вот, у меня была депрессия. Мне казалось, что я не живу. Я читаю книги, но во мне нет живого. Тогда я встретила его, случайно, на улице, он говорил с кем-то по-русски, я невольно стала слушать, потом поняла, что он голодный, и решила его накормить. У меня были бутерброды. Так мы познакомились. Это

было больше года назад. Он был русский, очень симпатичный, очень бедный, немного слишком нервный. Но зато талантливый. Я в детстве учила игру на флейте, у меня осталась флейта, и он так замечательно играл, когда я пригласила его домой...

Я подумала: вот это жизнь. Он каждый день борется за существование. Я прокисаю в университетских комнатах. Я даже завидовала его бедности, его таланту, его настоящей жизни. Все было так стремительно, ты не поверишь. Я совсем не такая, какая будет кидаться на шею парня, но я быстро и сильно влюбилась. Я тогда снимала однокомнатную квартиру около рынка на Алберт-Кёйп. Тогда я переехала его к себе. Что ты смеешься?

— Извини, Маш, «переехать кого-то» — значит раздавить его колесами автомобиля.

— А как надо?

— «Я предложила ему переехать». Или «он переехал».

— Ага, спасибо. Все было так стремительно. Мы стали жить вместе. Он играл ко мне на флейте, жизнь была прекрасна и удивительна. Мы видели небо в алмазах. Он не мог устроиться работать, но это было не нужно. Я училась, подзарабатывала, тоже помогали родители, нам хватало денег, и мы были счастливы. Мы ходили на замечательные русские тусовки. С русскими так здорово тусоваться! Знаешь, есть такое стихотворение английского писателя Lewis Carroll «The Walrus and the Carpenter»?..

— Точно, «Морж и Плотник» Кэрролла, мы его один раз на этюды разобрали — ну, в театре. Очень здорово его играть: Морж и Плотник прогуливаются по берегу моря в ясную солнечную полночь, приглашают с собой устриц, ну и все такое.

— Да! И они говорят устрицам: нам с вами надо о многом поговорить, и называют множество всяких топиков, например, о королях и капусте. Только там они съедают устриц, и конец. А у русских не так. Вы долго говорите о самых разных темах, о королях и капусте, но никто никого не съедает. И у вас тоже полночь солнечная, потому что в ней бывают душевные разговоры. А здесь, в Голландии, у людей разговоры мелкие: о шопинге, о политике, или о погоде, или о футболе. Никому на самом деле это не интересно и не нужно, но надо же о чем-то говорить. Вот, соберутся буржуи, пьют пиво и говорят пустое. А тут все было не так! Мы много говорили, гуляли, тусовались. Я была очень счастливая. А потом мы познакомились с одной тусовкой. На барже. Знаешь баржи на Схинкел?

— Это где?

— За олимпийским стадионом, такой канал. Люди небогатые, земля слишком дорогая, вот они и живут на воде. Прямо настоящие плавучие дома.

— А, ну да. Там полно таких. Своего рода романтика, может, кому-то так даже больше нравится...

— Да, это романтика. И на одной барже собиралась компания, там были русские, люди из Восточной Европы. Одна романтическая и ар-

тистическая компания. Люди читали стихи, пели, разыгрывали спектакли. Ты там не был?

— Нет, Маш, даже не слышал. Оказывается, есть русские тусовки, о которых я не знал, — твой семинар, эта баржа.

Саша не стал продолжать, опасаясь задеть нежные Машкины воспоминания ехидным комментарием. С какого-то момента он стал довольно настороженно относиться к здешним эмигрантским тусовкам. Они бывали интересными, но порой слишком надрывными. Люди собирались поговорить по-русски — и ругали Россию, а потом ругали Голландию, порой с тонкой иронией, порой с грубой издевкой. Там жить вообще нельзя, здесь до некоторой степени можно, только разве здешние понимают что в этой жизни... Выходила беседа разочарованных во всем, и прежде всего, кажется, — в себе. Не нашли себя на Родине, не нашли и за границей... Да и у Юли — вся эта нарочитая европейскость — не от ущербности ли совковой? Смотрите, люди, кем я стала, девчонка с рабочей окраины...

А может быть, ему просто не везло? Ведь есть и другие — спокойные, уверенные в себе люди, которые выбрали определенный стиль жизни. Например, Лодейниковы. Тоже, может, не без надрыва, но надрыв этот хотя бы наружу не вылезает каждые пять минут...

А Маша продолжала:

— Так вот, он там играл на флейте, его очень любили. Он прекрасный музыкант. Но там была одна проблема. Они курили травку. Ты пробовал травку?

— Знаешь, Маш, никогда не тянуло, правда. Даже здесь.

— А я пробовала, когда была подросток. Тогда было много проблем, хотелось их отключить. Но у меня сильно заболела голова, тошнило, кайфа не было и я больше никогда хотела повторить. А он там попробовал. Ты знаешь, это так обычно, артистическая компания, водка, бренди, сигареты, каннабис... По-русски каннабис будет марихуана, да?

— Да.

— И он здорово играл, просто отлично, после марихуаны. Он импровизировал. Сначала он играл только на флейте, потом друзья подарили саксофон. Он говорил, что когда он выкурил одну сигарету с травкой и взял свой саксофон, он бог. Было похоже. Люди находили его звездой, а он обнимал меня и пел импровизации в мою честь, и это было прекрасно. Я тогда не понимала, я думала, одна сигарета — не страшно. У нас многие так курят. Но потом стало нужно две сигареты. И водка, много водки. Он становился злой, особенно если не было марихуаны. Мы ходили туда раз в неделю, но ему нужно было курить чаще. Марихуана есть в кофе-шопах, но у него не хватало денег, регулярная порция стоит 25 гульденов. Малая — 15 гульденов.

— Да, круто. Если хорошо экономить, на четвертной можно на неделю еды закупить, не меньше! Ну, если на одного.

— Знаешь, почему ворованные велосипеды продают ровно по 25 гульденов? Столько стоит наркотическая порция. Он стал требовать денег у меня. Но у нас не было лишних! Я не могла бросить университет,

подзарабатывать ему на травку. И меня уже не радовала ни флейта, ни саксофон. У меня начиналась депрессия. А он был такой злой, если не было травки, даже мог меня ударить в лицо. Да, два раза он ударял мое лицо и убегал из дома. Я не знала, где его искать. А потом он приходил, он был ласковый, счастливый, от него пахла марихуана. Он просил прощения, я его принимала, все было хорошо. Я думала, это мой крест.

— Твой что? — не понял Саша.

— Я думала, это мой крест. Мы говорили об этом с отцом Андреем, я тогда уже была православная, но он не поддержал меня. Он еще сказал во время исповеди, что если мы живем вместе, но мы не муж и жена, это называется блуд, и мы не можем причащаться. Мне это было так странно, потому что в Голландии это распространено. Мы же не prostituируем, не ходим в дурные компании, люди просто не торопятся вступить в брак. Я тогда не поняла его, но я подчинилась. Я приходила в церковь, но я не могла причащаться. И все было очень тяжело. Мы начали скандалить. Наверное, мне не стоило его обижать, но мы жили в моем доме, на мои деньги, он совсем не хотел никак устроиться в жизни, он хотел жить в моей квартире, курить и импровизировать. Он думал, что если он играет мне на флейте, этого достаточно.

Женщине нужно находить мужчину опорой. Мне казалось, что русские мужчины такие. У нас тут феминизм, ты же знаешь, если даму пропускают вперед, она обижается. Но это неправильно, феминизм обижает женщину еще хуже. Я ценила в нем, что он был настоящий мужчина, сильный, ласковый, добрый. Но он скоро перестал быть таким. Он стал наркоманом.

Я несколько раз говорила ему: или бросай курить травку, или уходи. Но пришел день, когда я сказала, и он ушел. Я ревела неделю. Меня утешали друзья, мне даже звонил отец Андрей, хотя он всегда сильно занят, я потом ходила на сеанс психотерапевта. Я как будто умирала. Мы больше никогда не виделись, я не ходила на эту баржу и потом никогда не пойду. Я сменила квартиру. Я встретила потом одного друга, он сказал, что Владимир попал в тюрьму. Это была уличная кража. Ему не хватало на порцию. Я так переживала. Наверное, я не смогла ему помочь. Но что теперь я могла сделать? А потом я встретила тебя. Саша, ты не такой, это так здорово!

— Маш, так его звали Владимиром?

— Владимиром.

— Скажи... — в Сашиной голове зароились воспоминания, которые, наверное, были не к месту, но все же... — ты говорила, саксофон. Почему он играл на саксофоне, если был флейтист?

— О, он не был флейтист. Он мог играть на многих инструментах, но его главный инструмент был саксофон. Он рассказывал мне, что когда-то у него был в Амстердаме саксофон, но его сломали полицейские. Это так странно, я даже не верила, полицейские не могут так поступать. Он играл на Калверстрат, полицейский хотел забрать у него саксофон и сломал. Может быть, он выдумал это.

— Машка... Машка, он не выдумал, понимаешь! — Саша вскочил на ноги, взмахнул руками, и в Машиных глазах уже явно читался испуг. — Это же мы с ним, с ним там были! А потом мы зависли без денег, жилья, работы, без визы, мы с ним несколько месяцев гужевались где придется, даже на вокзале пробовали ночевать! Он же мне почти брат. Мы расстались в прошлом апреле, а я его с тех пор и не видел. Иногда смотрел в спину человеку, думал — вот, вроде, Вовка, а оказывалось, совсем другой. Вот оно как замкнулось-то, колечко! Где он теперь?

— Я говорила, в тюрьме... — В раскрытых Машиных глазах уже сиял не испуг, но настоящий ужас, причину которого Саша не хотел сейчас понимать.

— Да, ты говорила, — вялым эхом отозвался он, — в тюрьме... Уличная кража. Знаешь, мне так это знакомо! Нет, я не воровал, но вот когда жрать нечего, идешь по улице, смотришь на эти гладкие, пресытившиеся рожи, и думаешь: раз вы со мной так, раз вам на меня наплевать, то и я с вами так же. Вот велосипед вроде припаркован лажово, замок бы сейчас скovyрнуть, да и продать его... Но нет, ни разу не взял. Да и не умею я... И Вовка был не такой. Но вот на ломах... Слушай, а где эта тюрьма?

— Я... я не знаю... Саша... это правда?

— Ну правда, правда, чего я, выдумал, что ли? А тюрьма... а впрочем, что тут сделаешь. Я же нелегал.

— Ты не волнуйся, Саша, — сказала Маша каким-то подчеркнуто правильным и бесцветным голосом, поднимаясь с земли, — у нас очень комфортабельные тюрьмы. В первый раз его наказали не очень строго, и потом его депортируют в Россию. Я не знаю, это может быть лучше для него. Он стал настоящим наркоманом. Кстати, у нас скоро автобус, пошли скорей.

— Да... автобус...

И они скорым шагом отправились к автобусной остановке, ошарашенные неожиданным совпадением. Говорить об этой истории не хотелось. Половинки её совпали — но не сошлись.

15. Житейские вопросы на фоне сала

Вечером в воскресенье Саша действительно заглянул к Лодейниковым — правда, один. Маша с ним не пошла, и он вполне понимал, почему. Понимал, но не мог согласиться. Ну и что, что он дружил с Вовкой? Разве он теперь отвечает за Вовкины наркотики, за это «ударял мое лицо» и все такое прочее? Депрессии свои лелеять поменьше надо. А то ее парень в тюрьму загремел, между прочим, а она об этом так спокойно говорит — мол, сплывила подальше, и ладно... Нет, все-таки не понять голландке русского. Хоть ты тресни, не понять.

Жили Лодейниковы в Амстердаме совсем недавно и тосковали не столько по родным краям, сколько по своей тусовке, и потому жадно собирали вокруг себя русских. Валера, свежее испеченный кандидат фи-

зико-математических наук, получил какую-то хорошую работу в одном из двух городских университетов, вот они и жили пока что в университетском общежитии вместе с Галей и двумя мальчишками-погодками. Хорошие ребята, к ним всегда можно запросто завалиться, посидеть, поболтать, да и выпить нормально. А если слишком наберешься, можно даже ночевать остаться. Но это на самом деле ни к чему, они же в университетском общежитии в том же самом Амстелфейне, в пяти минутах на велосипеде. Один раз ехал от них пьяный, смешно сказать, уснул за рулем! Упал, конечно. Хорошо, что на газон.

На велосипедном багажнике стояли шесть бутылочек бельгийского белого пива в картонной коробочке — Сашино любимое, «Хухарден». С долькой лимона вообще бесподобно идет, но можно и так. По правде сказать, с лимоном он только один раз и пробовал, а обычно до пижонства руки как-то не доходили.

Общежитие было странным, каким-то уж совсем по-советски коммунальным. Блочное здание, по обеим сторонам которого тянулись балконы — сплошные, без перегородок, так что служили они чем-то вроде коридоров. Идешь себе по балкону, а за стеклянными дверями — чужая жизнь, которая то и дело выплескивается на балконы — покурить, подышать, пообщаться.

Квартирка у них тоже была забавная, в хрущовках такую систему называют «распашонкой». Входишь в крохотный коридорчик, справа и слева по спальне (у Лодейниковых как раз получилось для детей и родителей), прямо перед тобой — некое подобие кухни, то есть плита, мойка и холодильник в торце коридора. Тут же дверь в совмещенный санузел, а слева и справа — еще по комнатке: вроде как справа кабинет, а слева — гостиная. Всего получается метров 40 общей площади, а ведь зато — четырехкомнатная! И с двумя балконами по обе стороны — двумя выходами в открытый студенческий космос. Дешево и сердито, как говорится.

Дверь ему открыла Галя, (компания, похоже, уже собралась — из гостиной доносились пока еще трезвые голоса):

— А, Санек, здорово, проходи. Так, пиво в холодильник, черт, там места уже нету, маленький он, сволочь, ну ничего, так выпьем, оно вроде не теплое... А что ты один — без Маши?

— Не, пиво теплое, — признался Саша.

— Ну проходи, проходи. Валерка там заканчивает с докладом, ему завтра в Гамбург на конференцию, я картошку жарю, а ребята там уже, в общем, проходи.

— А, Саня, — выглянул из рабочего кабинета Валера, — давай, располагайся. Мне, понимаешь, завтра к немцам ехать, я тут быстренько доклад дотюкаю. Ты, кстати, не в курсе, как по-английски сказать «в заключение»?

— Ну, может быть, «in conclusion», — неуверенно протянул Саша.

— Ага. Спасибо. — И Валерка немедленно скрылся в своем условном кабинетике. «Да брат, это тебе не тряпку с пылесосом держать, —

прислушиваясь к бодрой дроби за дверью, невольно усмехнулся Саня. — В Гамбург! Ишь ты».

— Не, сала тут настоящего нету, — донеслось тем временем из гостиной. — Мы с Олесей так делаем: покупаем якобы венгерское в их супермаркете, он так и называется «Еда», прямо по-нашему⁵⁶. Ну, и сами еще доводим: с перчиком там, с солью... Недельку подержим натертым, вроде и годится. Мы из Киева настоящего привезли, только где ж теперь то сало...

— Здрасьте. — Саша застыл на пороге гостиной.

— Привет, — отозвался озабоченный салом человек средних лет в аккуратном, но потрепанном сером костюме. — Не из Украины будете?

— Да нет, из Москвы...

— Ну, — рассмеялся тот, — как раз поспели: теперь москали опять будут клеветать, что мы только про сало и гуторим... Впрочем, проходите. Я Петр Остапенко, микробиолог, а вот Олеся, моя жена, — показал он на сидевшую рядом худощавую блондинку.

— Саша Смирнов... уборщик.

Третьей в компании была приятная женщина кавказской внешности, она сидела в углу и почему-то казалась знакомой.

— Тамара, — улыбнулась она. — Ваша коллега.

— Ну, Тамара скромничает, — отозвался Остапенко. — Она в нашей группе первый специалист.

— А по совместительству уборщик, — настаивала та, — когда домой приду. Сынишка такой погром устраивает. Садитесь, Саша.

— Тамара, а Вы тоже из Киева? — спросил Саша.

— Нет, я московская грузинка. Мы здесь все из бывшего Союза, по специальной программе учимся на биофаке.

— А что, стосковались друг по дружке, небось? — донесся бодрый Галин голос из «кухни».

— И не говори, Галка, — ответила молчавшая до сих пор Олеся, — я как вспомню нашу коммуналку...

— Киевскую? — не понял Саша.

— Да нет, амстердамскую.

— А разве такое бывает? — изумился Саня. Где, казалось бы, только ни ночевал, но такого не видел.

— Бывает-бывает. — Петр мощно хлебнул «Хухардена». — Ишь, какое пиво... У нас учебная программа — университет приглашает советских специалистов по микробиологии. Ну, тут парторги-профорги всякие налетели... А им простой такой вопросик: пришлите список публикаций за последние десять лет. И точка. А какие публикации у парторга — смекаешь? Партийное руководство глистами в свете последних решений? А у нас с Тамарой, да еще у некоторых — по паре публикаций таких, что во всем мире цитируют. Так что обломалась парт-элита. А нас позвали.

⁵⁶ Сеть универмагов «Edah».

В общем, прилетаем сюда, встречают нас, а я им — «Битте шён! Майне фрау, майне тохтер»⁵⁷. Они, в принципе, в приглашении упомянули их, но на самом деле не ждали. А куда же я без них поеду? В общем, решили нас, как цивилизованных, по квартирам расселить. Сняли на Бетховен-страт несколько меблированных квартир для молодых ученых, каждому по комнате. А большинство-то приехало всем семейством!

— Да, есть что вспомнить, — мягко отозвалась Тамара.

— У них там три дамы жили. Тамара со своим мальчишкой приехала, а Лариса и Татьяна — кроме детей еще и с мужьями. И живут! Белье в ванной стирают, на балконе сушат. Еду по очереди в кухне готовят. Щами весь подъезд пропах.

— Бедная наша мисс Феликс, — отозвалась Тамара.

— Ну да, а там управляющая — фельдфебель в юбке, гримаса капитализма. Хозяин-то за домом не следит, только доход получает, а вот эта Феликс долго не могла ситуёвину уразуметь: как зайдет в квартиру, думает, наверно, что это гостей столько пришло. В общем, когда она просекла, в чем дело, она та-акой скандалище закатила! Выставила университету счет за проживание дополнительных персон, да потребовала, чтобы все посторонние немедленно съехали. Так вот мы все сюда, в общагу и переселились. Все по отдельности, так гораздо лучше, конечно.

— А что, — поинтересовался Саня, — у них семьи не запланированы, что ли?

— Нет, конечно, — ответила Олеся. — Зовут ведь специалистов. А всё остальное — личное дело.

— Да что семьи! На этой Голландшине гостей разве так принимают, как у нас заведено? — С большой скворчащей сковородой картошки в комнату вплыла Галя. — Нам тут уже объяснили: в шесть все обедают. Значит, если зовут к шести, рассчитывай на обед, если к четырем или к восьми — на чашку кофе с печенюшкой. Буквально на чашку, ну, две! Нас тут с Валеркой позвала одна семья, к половине пятого, мы пришли, поговорили с ними, сами смотрим на часы: вроде как уже к шести дело, непонятно, уходить, что ли? А как сказать, может, обидятся? А она сама возьми да и скажи: «I think it's time for you to go home»⁵⁸.

Смущенно улыбаясь, из своего укрытия вынырнул Валера:

— Ну все, дотюкал. Давайте, что ли, по маленькой!

— Валер, а по какой теме доклад? — спросил Саша.

— Да так, обычная наша мутотень... По математическим методам спецификации полного цикла производства программных продуктов.

— Что-то насчет Венского метода?

— Ну да, это ж сейчас самое перспективное. Стоп... Саня, а ты, я смотрю, разбираешься?

— Так я же два курса мехмата закончил. Ну и программированием увлекался.

⁵⁷ Пожалуйста! Моя жена, моя дочь (нем.).

⁵⁸ Я думаю, вам пора идти домой (англ.).

— Серьезно? Ну дела-а. Слушай, Санек... Да нет, не выйдет, наверное, — Валера уже сел за стол и держал первую рюмку. — Ну, поехали! За встречу.

— А что не выйдет-то? — переспросил Саня, пока водка теплым шариком спускалась по пищеводу.

— Ну, я вот подумал: нам человек еще один ой как пригодился бы. Голландцы, они ребята толковые, но с образованием у них беда-а... Наш второкурсник иногда равен их выпускнику. А ты, говоришь, разбираешься?

— Я говорю, интересовался когда-то. Многое уже забыл.

— Главное, чтобы чайник варил, а подучиться-то всегда можно. Знаешь что... я поговорю с нашим боссом, ты мне позвони через денька три-четыре, или я сам позвоню, лады?

Идея Валеры насчет университета, конечно, была заманчива. Но Саша уже натренировал себя не разевать рот на такую вот халяву. Слишком редко она сбывалась.

— Фиговая у них водка, и образование фиговое, — после второй резюмировал Петр.

— Водка-то немецкая, — вступился Саня.

— Ну вот, даже водки своей нет... А джин их этот вообще никуда не годится. Как и образование, — настаивал Петр. — Мы свою Оксанку в международную школу отдали, для посольских. Там программа попрличнее. Тамар, а твой куда ходит?

— Школа по системе итальянского педагога Монтессори, — пояснила Тамара. — Но я не уверена, что ему это подходит...

— А что за система? — оживилась Галя.

— Странная это школа, — с мягкой грустью начала Тамара, — парню уже шесть лет. Но у нас даже в детском саду в старшей группе их уже читать-считать учат, а тут вообще непонятно, чем они занимаются: кубики какие-то разноцветные, формочки... А главное, проблема с дисциплиной. Ну просто ужасная проблема! Никому ничего не запрещается. И дети ходят совершенно на головах. К тому же у них в классе около трети — турки и прочие. Они же совершенно не говорят по-голландски, мой и то лучше! И вот учительница тратит большую часть времени, чтобы хоть как-то установить с ними контакт. Странно, что она сама еще на турецкий не перешла! А они сколотили свою прямо банду, лупцуют всех прочих детей и никого слушать не хотят. Вон, расказывали, в старших классах турки местным так и говорят: мол, дождетесь, мы вас скоро в море сбросим!

— И не говори, — вступил Петр, — строгость тут нужна!

— А вот еще недавно им раздали рабочие тетради, и там среди всяких птичек-бабочек маленькие голые дети. Вот «йонге», мальчик, а вот и «мййше», девочка, прямо так с письками и нарисованы. Я уж и не знаю, как к этому относиться.

— Да никак не относиться, — посоветовала Галя, — надо будет парню, сам разберется. Ну, спросит в случае чего.

— А у нас, — отозвался Петр, — тоже в международной школе Оксанке дали пособие по сексологии. Я прямо озверел! Ну, сиськи-пиписьки — это ладно, мама-папа, животик в разрезе — тоже ничего страшного. Лучше пусть так, чем в подворотне ей все расскажут и покажут. Меня вот что убило: страничка с четырьмя картинками. На одной хлопчик гуляет в обнимку с девочкой. Ладно. На другой — две девочки в обнимку друг с дружкой. Допустим. На третьей — хлопчик в обнимку с хлопчиком! А четвертая перечеркнута пополам, там в одном углу — хлопчик с девочкой, а в другом — хлопец с другим хлопцем. И подпись, подпись-то какая! Люди мол, разные: кому нравится со своим полом гулять, кому — с противоположным. А ты к какому типу относишься? Это десятилетним соплякам и соплякам вопросик такой задавать! Представляете?!

— Ужас! — ахнула Тамара.

— Ну да! А может, на следующей картинке нарисовать, как кто козу обихаживает? И такие ведь бывают!

— Ага. Но надо же делать разницу между нормой и извращением! Причем школа и должна устанавливать норму. А извращения сами появятся, — рассудительно подвела итог Олеся.

— Ну, тут они явно так не считают, — ответила Галя, — у них школа призвана отражать жизнь во всех ее проявлениях.

— Ну да, а врач, вместо того чтобы лечить больных, будет рассказывать им, что инвалиды — тоже достойные члены общества, да? Слушай, Саня, ты тут ведь давно — неужели у них эта дрянь и в самом деле на каждом шагу?

— Да ведь я-то не по этой части, — усмехнулся Саня, — к гомикам не хожу, наркоту не употребляю. Вот водочки — это пожалуйста.

— И точно, — оживился Валера, — чего-то мы заболтались. Ну, еще по одной... по последней, кажется? Девочки, вам?

— Себе, себе налейте. — Олеся прикрыла рюмку ладонью.

— Мне рассказывали, — вернулась к прежней теме Тамара, — что в Голландии даже венчают гомосексуальные браки! И что первый пастор, который совершил такой обряд, был женщиной!

— Переодетой, что ли? — удивилась Оксана.

— Нет, точнее сказать, женщина и была пастором. Это у них сплошь и рядом.

— Поп с невестой местами поменялись! — хохотнул Петр. — Вырождаются они тут, точно.

— Но я этого даже понять не могу, — растерянно произнесла Тамара, — у нас вот такой красивый обряд венчания. Священник молится, чтобы молодые уподобились Аврааму и Сарре, а еще Иакову и... кто там был его женой, кажется, Ревекка? Ну, в общем, патриархам. А на таком венчании кого вспоминать будут?

— Содом с Гоморрой! — весело отозвался Петр.

— Саша, а тут ведь и церковь наша вроде есть? — спросила Галя.

— Есть. На Керк-страт. Так прямо и называется — Церковная улица. Они там у католиков кусочек собора арендуют.

— Бывали?
— Бывал... на Пасху последний раз.
— На Пасху и мы были, как же, — отозвалась Олеся, — а Тамара вообще часто ходит.
— Вот откуда лицо знакомо... — протянул Саша. — Я-то сам редко, вот только на Пасху и на Страстной. Как-то не до этого.

Саше захотелось рассказать, как это было — даже не на Пасху, а именно на Страстной. Его позвала Машка — в ночь с пятницы на субботу они собирались читать в храме Евангелие. Каждый по полчаса. Кто не читал, спал в небольшой комнатке наверху, где обычно пили кофе после службы. Машкина черед была с полчетвертого до четырех; значит, Саша выбрал до полпятого. Трудное время, самый сон.

Будильник ударил прямо в ухо: без пяти четыре. Саша хлопнул ладонью, вскочил на ноги, протер глаза. Невозможно гудела сонная голова — спал-то всего ничего. Но пока спускался вниз, как будто все развеялось. И вступил в сумрачное пространство маленького храма, примостившегося под крылом чопорного католического собора. Посредине стояла на подставе плащаница — большая икона убитого Христа. На подсвечнике теплилась пара свечей, и перед ними — стояла девушка в платочке, и округло, напевно, по-университетски правильно и по-детски вдохновенно текла ее славянская речь (каждый сам выбирал язык чтения). Трудно было узнать в этой сумеречной и торжественной фигуре Машку. Она закончила фразу, приняла из его рук русскую Библию и показала пальчиком: вот здесь. Саша встал на ее место.

Кто-то стоял у него за спиной (наверное, осталась Машка, а может, подошел кто-нибудь еще), но было не до того. Перед ним лежал мертвый Христос в окружении скромных цветов, а Саша читал по Нему Евангелие. Словно действительно только что умер кто-то дорогой, и надо было продержаться эту ночь у мертвого тела. Гулко звучали слова, колесились строки в слабом свете свечи, и пересыхало горло...

«...придя же в себя, сказал: “сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих”. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: “Отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим”. А отец сказал рабам своим: “Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся”. И начали веселиться».

И знакомый издавна сюжет вдруг вырастал в полный рост в присутствии Мертвеца и невидимых людей за спиной. Словно тут и вправду была пещера, где когда-то лежало Его тело. Словно все было в первый раз: и эта смерть, и это слово.

А потом кто-то тронул его за плечо, и незнакомый очкастый парень со спутанными русыми кудрями заглянул к нему в текст, отчеркнул что-то ногтем у себя, в книжке с замысловатыми вьющимися буквами, встал на его место и начал новую главу на еще одном языке, нараспев: «Элеген де ке прос тон мафитон...»⁵⁹ Как непохоже было это на официальную строгость московских храмов!

Воспоминание нахлынуло так ярко, что он даже не заметил: Петр уже вовсю обсуждал какую-то другую тему. Здесь-то жизнь шла в обычной колее. Нет, здесь об этом не расскажешь, не получится.

— Ну, мы этого уже не увидим. До дому, до хаты, каштаны в цвету... Ох, люблю я этот город, Киев! А вот Тамарка останется.

— Неизвестно еще, — ответила Тамара, — контракт не подписан, а подишут — как оно еще сложится... Тысячи две в месяц для начала положат. Минус налоги, за квартиру, за школу... Уж и не знаю, сколько останется.

— Вдвоем на две тысячи прожить можно. И даже неплохо, — основательно резюмировал Саша.

— Да? Впрочем, Вы, Саша, наверное, знаете...

— Я тут жил на гораздо меньшие средства. Правда, без ребенка.

— Саша, как ты сюда попал-то? — вдруг напрямую спросил Петр.

— С гастролями, — усмехнулся Саша.

— С какими гастролями? Ты же математик?

— Пробовал им стать. И актером тоже пробовал. После гастрелей остался. Теперь вот уборщик. Зато свободен.

— Уважаю решительность, — сказал Петр. — Я, может быть, если здесь полы мыть пойду...

— Да не пойдешь ты, — перебила его Олеся.

— Ну, надо будет, так пойду! В общем, я, может быть, здесь и пристроюсь чернорабочим. Может, буду больше получать, чем наш директор института. Но кто я здесь буду? А там я ученый. Голодный, но уважаемый. Они нас здесь для чего прикармливают? Ну, лучших, вроде Тамарки, себе заграбастать, а мы чтоб там сидели и не рыпались. В Киеве я и для них буду человек. Там, мне, может, грант дадут, хоть сотню баксов в месяц. Да у тещи под Житомиром поросята, так что без сала не останемся. Сало-то доели?

— Пиднакусали, — задразнилась Галя. — Вот, остатний кусочек, Петро, тебе чекае.

— А что, Саша, — теперь не жалеешь, что остался? — продолжал Петр.

— Пожалуй, оно того стоило. Что-то я узнал.

— А что, интересно? — включилась Олеся.

— Я не знаю, как это назвать. Во всяком случае, не из области математики, — попробовал обратить все в шутку Саша. — И вообще: сало доели, водку допили, переходим на вечные вопросы! Вот ведь забавно

⁵⁹ «Сказал же и к ученикам...» (др.-греч.)

получается: я вчера вот только говорил с... ну, в общем, с одной местной жительницей. И она мне все рассказывала, какие у русских глубокие и содержательные разговоры. Достоевского цитировала: «Дай русскому мальчику карту звездного неба, и он вернет ее исправленной». Мол, полночь-за полночь, а мы все о судьбах мира. А вот вы прикиньте, какие мы тут мировые вопросы решали: как сало готовят, как в одной квартире три семьи проживут, да нужно ли детям показывать пиписьки. Вот и вся достоевщина.

— Достое-еевщина, — протянул Петр, — будь она неладна! Это местную интеллигенцию, обожрамшись, на соленьице потянуло, вроде как после торта на селедочку. А у нас и по жизни достаточно достоевщины. Так что давайте-ка лучше про сало.

— Вот что, ребят, — свернул на другие рельсы Валера, — а не пойти ли нам в кабак? Типа, на дорожку. Я проставляюсь. Вы там завтра за меня кулаки держите, мне еще германскую границу пересекать, кстати, без визы. Ну и конференция послезавтра. Тут местный кабачок есть, где студизусы оттягиваются, вроде ничего, и не слишком дорого. Так что по стаканчику возьмем.

— Ну, тогда пошли, — резюмировал Петр.

И компания влилась в чрево студенческого бара, где орала невнятная музыка и развлекалась не менее невнятная молодежь. Наверное, как раз с такими заскучала в свое время Карен, перед тем как стать Машей...

16. Adieu...

По раскаленной августовской жарой автотрассе неслись новенький «пежо» с голландскими номерами, голландским водителем и тремя голландскими пассажирами. Четвертым пассажиром, на середине заднего сиденья, был Саша Смирнов. Позади оставался маленький привал в Бельгии, у отрогов Арденн, где за чашку кофе и за вход в туалет Саша расплатился голландской мелочью — желтых бельгийских монет с королем Бодуэном у него просто не было. Там в туалете он перепутал дверь, и вместо выхода прошел в женскую половину (странно, зачем такую дверь между двумя половинками проделали?), и две молодые голландки долго потом смеялись по этому поводу. Ну да, туалетный юмор у них — самый популярный.

Две голландские студенческие пары возвращались из Парижа с какой-то выставки. Вот так вот запросто сели в машину и поехали в соседнюю страну на выставку. А что, каникулы кончатся, скоро за парту — прошвырнемся в Париж! А чтобы оправдать деньги на бензин, связались с системой «аллостоп» — организованным автостопом. Очень удобно, в самом деле: в этом агентстве им подбирают попутчиков, а те платят по твердой таксе. А уж попутчикам как удобно! От Амстердама до Парижа — тридцать с небольшим гильденов, и столько же обратно, дешевле автобусного билета. А главное, едешь на машине с европейскими номерами. Такие редко останавливают на границе, разве что уж кто-то совсем подозрительный будет сидеть внутри.

Позади лежал такой же маленький привал в Пикардии, еще во Франции. Это там он разговорился со своими попутчиками. Откуда ты, парень? Из России? А, так вот почему ты худой! У вас ведь там кризис, проблемы, хочешь бутерброд? Нет, говоришь, давно приехал? А что в Голландии делаешь? Работает, учишься, путешествуешь?

А и в самом деле, что он в Голландии делает? Работает, конечно, кушать-то надо. Причем в последнее время уже и не только уборщиком. Маша поделилась с ним переводами на русский, сама она что-то не успевала, и заплатили за коммерческие бумажки очень даже прилично. Если бы не это обстоятельство, не видать бы ему Парижа. Вот только с Машкой так и не сложилось...

Еще, наверное, он действительно учится. Что-то такое про «школу жизни» говорить глупо, да и очень банально, но ведь и в самом деле он открыл для себя — или в себе? — нечто новое. Что бы там ни было, но он уже не тот растерянный и восторженный школяр, который когда-то спускался по трапу в Схипхоле. Может, уже и выпускник.

И еще он теперь — путешествует! Да, только теперь, после полутора лет в Европе, он вот просто так берет и едет в чужую страну. С месяц назад он звонил Лодейникову, спросил, как прошла гамбургская поездка. Оказывается, поездка никак не прошла: в поезде немецкие пограничники тормознули безвизового Валеру и даже штамп какой-то в паспорт вкатили о попытке нелегального перехода границы. Валера ужасно ругался, но все равно собирался с Галей поехать в Париж, тоже без виз, на машине приятелей, пока Тамара приглядит за их мальчишками. Он-то в Гамбург ехал поездом, там обычно документы проверяют, а вот на машине с местными номерами — без проблем. А вот насчет университета... Он узнавал: да, вообще-то на кафедре была одна вакансия, но когда оказалось, что на нее претендует русский нелегал без официального высшего образования, разговор закончился. Так что извини, старик.

Но все равно Валерка навел его тогда на замечательную идею. Съездить в Европу и не повидать Парижа? Не бывает! А заодно — своего рода лотерея. Да, он еще и играет с судьбой! Три страны: Нидерланды, Бельгия, Франция — значит, на этом маршруте будут четыре границы. Любая проверка документов означает немедленную депортацию, это ясно. Тут взятку в лапу не сунешь. Так что оставил инструкции Диме, что и как в случае, если он не вернется. Депортация так депортация. Значит, домой, только и всего! Хватит дрожать, в конце концов.

Теперь позади было три пограничных поста, на которых у Саши не спрашивали документов. Оставался последний, на бельгийско-нидерландской границе.

Очень жалко, конечно, что он был в Париже один. Хоть и писал в свое время Чехов, что ехать туда с женой или девушкой — все равно что в Тулу со своим самоваром, но до последнего момента хотелось попасть туда с Машкой. Но не вышло. У них вообще после той маркенской поездки все как-то разладилось. Она на него за что-то обиделась, он так и не понял за что, да и он тоже не мог ей по-настоящему простить, что

вот так вот запросто она бросила Вовку. Ну ладно, ссорились-мирились, с кем не бывает, но неужели она его вот так же, как Ингрид — выпихнула, когда стал не нужен... Вовка тоже хорош, конечно, свинтус настоящий, но не бросать же его теперь из-за этого! Подобрала на улице, так теперь не выбрасывай.

А сам-то его бросил, говорил внутренний голос, сам-то не захотел с ним рядом бултыхаться, но тут же находился и ответ: я нелегал, что я тут могу. Первая встреча с полицейским означает одно: депортацию. Это вот Машка, точнее, Карен...

Они еще перезванивались, пару раз встречались, но в какой-то момент он поймал себя на мысли, что говорит ей «пока» с облегчением. Не то чтобы было плохо, но и хорошо тоже не было от этих встреч — словно оба ждали чего-то друг от друга, чего дать то ли не могли, то ли не хотели. И в какой-то момент он просто позвонил, а встретиться — не предложил. И Машка не предложила.

Нечего, наверное, было раскрывать свое бывшее знакомство с Вовкой. Для нее это явно было болевой точкой, да впрочем, этих болевых точек у нее и так хватало, а Саша не знал, как их обходить. А еще не знал, где у нее кончается литература и начинается жизнь. Да и вообще, после того рассказа он призадумался: а он-то ей зачем? Тоже в виде героя Достоевского? А вдруг не потянет? Тогда и его — пинком под зад? Нет уж, лучше сразу... Ладно. Проехали.

Ведь он и в самом деле тут никто. Ничтожество, если мерить привычными мерками, если смотреть на него глазами человека в форме. А можно сказать иначе: он — человек, живущий по собственному выбору. Захотел вот поехать в Париж — и поехал.

И теперь уже знает он точно: он не пропадет. Ни здесь, на сытом и равнодушном Западе, ни там, в задушевной и нищей России. Он еще не знает, что будет завтра, но он может делать свой выбор, он готов нести за него ответственность. Ему не нужны добрые дяди и в особенности тети, которые в любой момент могут сказать ему «прости-прощай». Он может теперь говорить «doe-i!»⁶⁰ первым, он хорошо усвоил уроки голландского.

Так и парижскую поездку он устроил себе сам. У Валерки на работе был новый зверь Интернет, он по просьбе Саши высмотрел адрес какого-то недорогого парижского хостела, долларов по 15 в день. Оказался он вроде общаги, куда их поселили после приезда в Амстердам, да и от центра недалеко. В том же Интернете разужнали про самые дешевые супермаркеты, «Мопорги», нашли ближайший к хостелу. Там можно было закупать батоны, которые тут звали «багетами», сыр, ветчину и делать бутерброды, а потом бродить целый день по городу с ними и с бутылкой воды в рюкзаке. Дешево, и ни от кого не зависишь.

Когда другая машина с европейскими номерами завезла его в вечерний город и вдалеке на холме замаячил светлый силуэт Сакре-Кёр,

⁶⁰ Пока! (нидерл.)

знакомый с давних времен по давно заброшенному учебнику французского, он не мог поверить: неужели Париж? А потом машина оставила его у входа в метро, где пахло дешевой дезинфекцией и с отсутствующим видом ждали поезда негры. Так и впечатались в память первые впечатления от Парижа: световой силуэт собора и пропахший хлоркой грязный перрон.

Париж тоже оставался позади. Как описать его, первый визит русского мальчика в Париж, прямо в карту звездного неба? Восторг и удивление, и может быть, даже разочарование, что это не одна только сказка, а просто еще большой шумный и не слишком чистый город, как и Москва. Даже и русской речью обдавало на каждом шагу.

Позади оставался ажурный силуэт Эйфелевой башни, растиражированной в миллиардах сувениров, и лифт, стремительно взлетающий по ее изящной ноге, а потом многоликая толпа глазела с верхнего пяточка на залитый солнцем город. И за спиной: «Так, ну и шо в этом Париже мы еще не видали? У Лувре были, у замке этом, как его, тоже, шо осталось? — Та шо тут смотреть, большая дереуня, уроде нашего Брайтону. — Ну, не скажи, все ж таки культура ж тут просматривается».

Оставался позади бесконечной чередой коридоров тот самый Лувр, где уже бывали брайтонские, и где Саше через три часа стало просто невмоготу, картины не вмещались в сознание. Он решил выйти передохнуть во двор, к фонтану и к нелепой стеклянной пирамиде, но спустил дорогу и наткнулся на нижнем этаже на Венеру Милосскую. Толпа японцев озаряла ее вспышками фотографических молний, снимаясь поочередно на ее фоне, но золото солнца все равно играло на ее коже, и невозможно было поверить, что это мертвый мрамор, а не живая богиня. И тут же, в коридоре горячечной интеллигентской скороговоркой на два голоса: «Нет, как же вы не понимаете, президенту сейчас нужна наша безусловная поддержка, советская гадина должна быть окончательно раздавлена, советская экономика полностью демонтирована, и только после этого можно надеяться на возрождение обновленной России. — Простите, но воровство, лихоимство, наконец, эти пьяные дебоши, как вы можете поддерживать все это? — Но воруга нам милей, чем кровопийца, и мы должны быть солидарны с Борисом Николаевичем... — Так как же, если вы сами призываете давить гадину, ведь не может обойтись без большой крови, неужели вам не ясно... — Нет, это вы не хотите понять!»

Да оба они ни фига не хотели понять в двух шагах от Венеры Милосской.

Оставалась позади сумрачная, невнятная громада Нотр-Дама, где можно было гулять, как в тенистом парке, а потом взобраться на башни и любоваться вместе с ироничными каменными химерами — здесь их звали «горгульями» — на копошащуюся у подножья собора разноязыкую жизнь. Если спуститься, станет слышно, как эта жизнь, частично и на русском языке, предлагает нарисовать портрет, купить открытки, как она обсуждает планы на вечер или хвастается сувенирами.

Оставались позади бесчисленные музеи, от такого домашнего музея Пикассо с бронзовой козой во двореке, словно тут же ее и собирались подоить, до огромного Орсе, который был вокзалом, да так им и остался, с толпами туристов, что купили билет до импрессионизма, а потом осаждали буфет с туалетом. Оставались цветочные и открыточные улочки Монмартра, базарный Монпарнас, книжные развалы вдоль бульвара Сен-Мишель и маленькие забегаловки в боковых ответвлениях от него, где курчавые посетители неизменно приветствовали друг друга: «Салям алейкум».

Летом одна тысяча девятьсот девяносто третьего года позади него оставался Париж. Он приехал туда свободным человеком, свободным и от идеологических шор (коммунистических ли, каких ли иных — не так уж и важно), и от унижающего безденежья, и от робкого страха советского человека перед Неведомой и Прекрасной Заграницей, где ты никому, увы, не нужен. Если что-то он хотел доказать себе и другим — доказал.

Радио в машине было настроено на французскую станцию, передававшую старые, проверенные временем шлягеры, и стереозвук обволакивал пассажиров со всех сторон. Сейчас Мирей Матье пела «Acropolis, adieu...»⁶¹ Это было не про Париж, конечно, а про Грецию, но все равно выходило так, будто это счастливый Саша прощался и с Парижем, и с какими-то своими комплексами, и можно было начинать дальше.

А потом Эдит Пиаф запела, играя на каждой букве R, как на аккордеоне: «Non, rien de rien, non, je ne regrette rien...»⁶², и Саша впервые понял слова этой знакомой песни. Несколько дней во Франции, где сперва казалось чудным, что кругом почти все говорят по-французски, даже маленькие дети, оживили в его памяти полузабытые начатки этого языка. Тем более что с английским в Париже далеко не уедешь, даже в туристических местах. «Нет, ни о чем, не жалею я ни о чем...» Точно. Он не жалел ни о чем.

Перед пограничным постом машина притормозила. В окне медленно проплыла очередная чиновная физиономия, разглядела пассажиров, ничего не сказала — и машина без проверки пересекла четвертую границу. Саша был снова в Нидерландах. Игра была сыграна, и Саша выиграл, Впрочем, у депортации шансы с самого начала были не слишком высоки.

Наверное, кто-то скажет ему: ты хотел им всем доказать, что ты взрослый. Неправда. Даже себе не хотел, не было в том необходимости. Он хотел ощутить вкус свободы — и не в том дело, в какой стране проживать и сколько сортов сыра покупать, а в том, что ты сам выбираешь все это. И не ведут тебя за ниточку ни громкие слова о долге, ни бурчание в голодном желудке, ни чужие люди в форме, ни идеологические программы всех мыслимых расцветок. Выбираешь сам — и Сане это, похоже, удалось.

⁶¹ Акрополь, прощай! (франц.)

⁶² Нет, вовсе ни о чем, не жалею я ни о чем... (франц.)

Значит, можно не прятаться и жить дальше — свободным. Можно искать свое место... А где оно, это место? Здесь, со шваброй в руках? Вряд ли. На берегах теплых океанов, куда собрался Димон? Тоже не очень верится — разве что дети будут чувствовать этот берег своим домом, но когда они еще будут, эти дети... Или все-таки в Москве — в театре, универе, или может быть, просто там, где спускается вал тополей с Рождественского бульвара на Трубную площадь, где еще прячутся в переулках между Остоженкой и Пречистенкой старые деревянные домики, где умирляют городскую суету сосны Серебряного Бора... Проживи еще полвека здесь — а все это останется с тобой. Никуда не денется, сколько границ ни пересекай.

Как близко все это, в четырех часах полета — и как далеко. В другой жизни, куда не попадешь обратно, не отказавшись навсегда от этой. Но теперь, отныне и навсегда, он сам будет делать свой выбор.

В Амстелфейн Саша добрался поздним вечером. Открыл своим ключом дверь их маленькой квартиры, с кухни доносились веселые голоса Димы и еще какого-то парня. Саша заглянул туда, прямо как был, с рюкзаком за плечами. За столом с бутылками пива и чипсами сидели Дима и тихий болгарин Иво, который уже пару раз заходил к ним.

— О, Саня, здорово! Ну, как Париж?

— Как положено!

— Ну, тогда порядок. А мы тут как раз отмечаем, присоединяйся. Все, через три недели хвосты новозеландским коровам крутить будем. Билеты, паспорта — все оформили.

— Серьезно? Ну, поздравляю. Дим, а я тебе подарок привез, как ты просил, — и Саша выудил из рюкзака дурацкую майку с Эйфелевой башней. — Как видишь, стоит!

— Ну, чтоб и у нас так стоял, — Дима скovyрнул с бутылки «Амстеля» крышку и протянул ее Сане, — спасибо, брат. Ты прикинь, Иво, — вот в чем буду на ранчо батрачить. Жаль, еще майку с Кремлем взять не догадался. Разве что тут на Ватерлоо у наших купить. Земляку, небось, со скидкой уступят.

Хлебнули пива, Иво молча протянул Саше пачку чипсов, и Саша спросил его:

— Иво, тоже едешь?

— Тоже еду, — кивнул болгарин, — наконец будут документы у меня.

— Так, Санек, а теперь слушай, — неожиданно посерьезнел Дима. — Теперь деловой разговор начинается. В Новую Зеландию они еще год будут пускать, не меньше. Еще, конечно, есть Южная Африка, но что-то меня туда не тянет, там у негров разборки с белыми крутые пошли, ну его на хер. А еще, говорят, Канада принимает, но там холодно, и документы сложно собирать, особенно нелегалам. Ты не торопиться выбирать, и это правильно, только долго резину тоже не тяни. У меня есть знакомый мужик, адрес вон на бумажке, он тебе такие рекомендации добудет, закачаешься. С ними хоть в парламент избирайся. Подаешь пока документи-

ки в новозеландское посольство, я тебе сейчас распишу, куда и в каком виде. Они там потихоньку оформляются, а мы приедем, освоимся, напишу тебе, как там и что. Ты все взвесишь, а тем временем и бумаги готовы, они и денег не берут. Не захочешь — не поедешь, только... только все равно ведь надо легализоваться. Всю жизнь-то не пробомжуешь.

— Не, Дим, спасибо. Вы пишите, я, может, в гости приеду. А насовсем не хочу. Слишком далеко, не выберешься потом.

— Ну есть еще вариант, конечно, — женись вон на Машке своей, хоть фиктивно, вот тебе и вид на жительство, а если не разойдетесь — годиков через пять и гражданство. Если бы у меня тут такая была, я бы остался. Голландский паспорт куда круче даже американского, всюду пускают, никто волком не косит.

— Знаешь, это вряд ли. Не очень-то у нас получается.

— В Париже как было, нормально? — спросил неожиданно Иво.

— Нормально. Я бы даже сказал, отлично.

— И вот еще что, Санек, — продолжил Дима, — тебе ведь одному эту квартиру не потянуть, правильно? Так я тебе одного огурца приведу, если понравится — пусть он потом на мое место впишется.

— Наверно, не надо, Дим.

— А что так? Отдельную снимешь? Дороже встанет, смотри.

— Я вернусь домой.

— Что-о-о?

Дима даже привстал, выражая всем своим видом то, что явно хотел сказать, но не сказал: да чтобы обратно в этот совок, да ты совсем сбрендил, жрать там нечего, и никому ты не нужен, и вообще там гражданская война скоро начнется, и... — но ничего не сказал. Он умел промолчать. Саша всегда ценил в нем это качество. И сказал Дима только одно:

— Давно так решил, Санек?

— Два часа назад, Димон. Я возвращаюсь.

17. ... и здравствуй!

Обратного пути как будто и не было.

Были нудные объяснения на регистрации, почему такой перевес, и Саша все-таки отказался сдавать в багаж вторую ручную кладь и платить, и правильно, потому что несли в салон и по четыре тяжелых сумки. Был еще более нудный разговор с пограничниками в отдельном закутке возле паспортного контроля, и даже какое-то уважение в их голосе — надо же, сам возвращается! — и все-таки штраф за нарушение визового режима.

Был ТУ-154, разрезавший разреженную атмосферу на высоте 10 600 метров. Были две точки в пространстве — Схипхол и Шереметьево, — между которыми он должен был провести единственно возможную прямую. Были три с половиной часа свободного времени, к которым шарообразность Земли добавляла двухчасовую разницу во времени. Не было ни соседей (точнее, были, но он их не запомнил), ни восторга от

проплывавшей за иллюминатором географической карты. Собственно, не было и карты — низкие облака ранней осени поглотили самолет, едва тот оторвался от земли, и хотя на высоте сияло ослепительное солнце, но земля была прочно скрыта белой пеленой. Саша припомнил свой полет в Голландию — как он завидовал сидевшему у иллюминатора соседу (а теперь сам сидел на выгодном месте), как с удивлением пережевывал воздушный обед. Теперь еда казалась искусственной и дешевой, да, впрочем, такой она и была. Привык уже к другой пище.

Были соседи-голландцы, туристическая группа, всю дорогу радостно сосавшие пиво и виски и делавшие неуклюжие комплименты стюардессам. Отрываются ребята по полной, отпуск у них.

Но все это было где-то на задворках сознания. Саша думал только о том, как все будет в России. Надо будет взять такси — и сразу к маме. Впрочем, на такси надо рублей — придется искать обменный пункт прямо в аэропорту, должен же быть. А может быть, попробовать предложить таксисту валюту? Не возьмет, наверно. Но попробовать стоит. А потом... И уже было невозможно логично представить себе, что будет потом. В сознании всплывал хоровод лиц, слов и имен — и все это должно было прийти сразу и полностью, хотя сразу и полностью прийти не могло. И Саша вновь и вновь погружался в болезненную лихорадку, не замечая ничего вокруг и уходя в только что придуманное будущее, которое через несколько часов должно было стать настоящим.

«Пристегните, пожалуйста, ремни». Почти неощутимая перемена наклона самолета. Как долго, как мучительно долго снижается он с этих десяти тысяч метров до уровня человеческих жизней. Но все-таки — увеличившиеся деревья и здания проносятся в иллюминаторе, и сразу толчок снизу, и вжимает тебя в спинку кресла на торможении, и зачем-то аплодируют экипажу пассажиры, как будто удачное приземление — сложный акробатический трюк. «Наш самолет произвел посадку... Температура за бортом... Командир корабля и экипаж...» Когда же подадут трап? Когда же?

Но все-таки подали, и вот они, экономический класс, выходят вслед за вальяжным бизнес-классом и бредут по железной кишке и застекленным коридорам к паспортному контролю. А там, где в прошлый раз таранилась тупая физиономия солдата, миловидная девушка с погонами прапорщика удивленно смотрит на единственный предшествующий штемпель: «декабрь 91-го» — и ставит новый: «октябрь 93-го». Но говорит только ласковое «пожалуйста».

Невыносимо долго приходится ждать у обшарпанного транспортера багаж. За доллар одалживать у грузчика в замызганном халате тележку на колесиках (в Схипхолье-то бесплатно!). Потом заполнять дурацкие декларации, и снова стоять в очереди на таможне, и ползти мимо вялого с виду кота-чиновника в погонах, что ждет свою жирную мышку и пропускает их, ненужных таможне тараканов. Разлет стеклянных дверей, толпа встречающих и — Москва!

— Такси, такси, не надо?

- Сколько до проспекта Мира?
- Сегодня сотня, парень. Сам видишь, что творится.
- Чего сотня?
- Баксов, но можно и в рублях, если хошь.
- Сотня долларов?!

— Ну да, сегодня ты дешевле не найдешь. И автобусов точно не будет.

Измученный Саша выбрался на улицу — неужели и тут такие цены? Еще пара человек предлагала «такси, такси», но меньше сотни никто, действительно, не называл, да и в голосе их ощущалось какое-то нервное напряжение. Вокруг одного молодого парня собрался небольшой островок людей:

- Откуда ехал?
- С Пролетарской, по кольцу и по Ленинградке.
- Как там?
- Гаишников ни одного нет, веришь? И машин практически тоже.

По кольцу шел сто, не меньше, на светофорах притормаживал, веришь?

— А видел кого?

— Этих-то? Ну, промелькнула пара автобусов с чудилами, уже когда на Тверскую с кольца сворачивал. Блин, как в кино: Ленин на броневике! Автоматы, флаги всякие — от красных до андреевских... Не, ребят, я сейчас последний рейс — и домой. Тут никаких денег не надо, если замочат вот так запросто...

Мужичок невысокого роста подхватил Сашу под локоть:

- Куда тебе, парень?
- Проспект Мира. Сколько?
- Сотня, сотня, — и уже шепотом, на ухо: — Главное, садись, договоримся.

— А...

— Садись, садись.

Мужичок потащил его с тележкой к потрепанным «жигулям» (как бросалась теперь в глаза вся эта грязь, выбоины на асфальте, треснутое стекло в автомобиле — словно человек без штанов посреди толпы, а ведь раньше никогда такого не замечал!), лихо закидал его сумки в багажник.

— Понимаешь, сам там рядом живу, на Алексеевской, и вправду, пора выбираться, — затараторил мужик, — эти-то герои шас бабки с иностранцев посшибают, у них такса, я ж не могу тебе сразу сказать, что дешевле, мне ж потом кирдык, а ты парень хороший, сразу видно. Так что решил: с тебя семьдесят.

— Так тебе все равно по дороге домой? — В Саше просыпался прижимистый голландец. — Тогда сорок.

— Шестьдесят, дорогой, последняя цена. Сам видишь, что творится.

— Ну, сговорились на полтиннике?

— Ладно, — мужик резво тронулся с места, — у меня жена, дети, вдруг чего, тут не до бабок, или мы не русские, друг другу помогать не должны...

Машина выбралась за ворота аэропорта и пошла по удивительно пустому шоссе в сторону Москвы. Саша жадно уставился в окно — и не мог налюбоваться на золотистые и багровые кроны деревьев у дороги. Надо же было подгадать с приездом именно на самое красивое и родное из всех времен года — золотую осень. На фоне деревьев проносились рекламные щиты, все те же SONY и TOSHIBA, а вот и что-то отечественное, крикливое, аляповатое — и даже не понятно, что рекламируют.

— Слушай, давай я по Кольцевой, накинй десяточку на лишний бензин, а то через центр стремно ехать, еще нарвешься на этих...

— Десяточку не накинй, цена, как договорились, а маршрут мне, в принципе, без разницы. А на кого на этих, — которые как Ленин на броневике?

— Ну.

Они выехали на мост, и тут отчетливо слышалась какая-то дальняя глухая и нечастая дробь, и Саша даже не сразу опознал в ней выстрелы.

— Блин, да где ж это? — еще больше разволновался водитель.

— Не знаю, по воде звук хорошо идет, может быть где угодно, — со странным спокойствием отвечал Саша, может, теперь это тут верх крутизны, ездить на броневиках и стрелять в воздух. Только в воздух ли? И решил уточнить: — Слушай, а кто они, на броневике?

— Да кто ж... Защитники Белого дома, мать их. Дядя Боря-то давно уж в отключке, известное дело, выпил с утра и весь день свободен, с документами работает.

— Защитники Белого дома?!

— Ну да.

— Да как же... Мы же... Это же мы, тогда в августе, мы же ни в кого не стреляли, и как это может быть теперь...

— Так то август, парень, а теперь октябрь. — Водитель оторвал колючие глаза от дороги и с недоуменной злостью взглянул на Сашу. — Давненько ты, видать, по границам. Ну ничего, привыкай.

Березы и клены по обочинам дороги роняли свое золото, и им не было дела до перестрелки, паспортов и самолетов. Они просто росли здесь. Они жили.

ТЕАТР НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ

I Носы

Гоголь —
гениальный кукловод —
запустил
чудовищных масок
хоровод.

* * *

Гоголевское перо
и хирургический нож —
одно и то ж!

* * *

С Гоголем держи ухо востро!
Так к тебе подъедет хитро:
невиннейшим образом живописует
какие-нибудь галушки да пампушки,
а чертов хвост торчит из-за кадушки!

* * *

Гоголевский нос —
диагност.
Заглянет в душу, как в миску:
ну-с, кто тут таков?
Ба, Хлестаков!
Снял крышку с котла,
а оттуда гордо —
Держиморда!
А тут что?
Бобчинский-Добчинский —

Эльмира
КОТЛЯР

— родилась в Казани. Окончила Педагогический институт имени В.И.Ленина. Автор книг стихов «Ветка» (1958), «Свет-город» (1966), «Акварели» (1973), «Избранное» (1989), «В руки твои» (1999) и др. Лауреат премии журнала «Новый мир» за 1997 г. Живет в Москве.

аховые-оховые
городские
шуты гороховые.
Какое жирное блюдо —
городничий:
глазки свиные,
затылок бычий!
О! Дама, приятная во всех отношениях,
и дама, просто приятная,
юбка необъятная.
А! Манилов-дружок:
ни с чем пирожок.
Кляузник Земляника!
В его богоугодном заведении
старики, старухи
«выздоровливают» как мухи.

* * *

Хлестаков —
хлыщ!
На петербургском чиновничьем горизонте
прыщ!
Мальчишка!
Чем обворожил достолавный городишко?
Чиновников обобрал.
Напропалую врал.
Какие сочинял небылицы:
тридцать пять тысяч курьеров!
Видать, важная птица!
Сам городничий,
плут, тертый калач, пройдоха
не учуял подвоха.
А почему у всех чиновников разом
в пятки ушел разум?
Совесь-то нечиста,
со страху приняли за ревизора
проезжего картежника-хлюста!

* * *

Конечно, тут природы игра!
Кончик гоголевского носа
похож на кончик пера.
Таким носом
очень удобно ставить точку,
закругляя строчку.

Он бежит по строчкам,
как гусиное перо!
Если бы Гоголь писал
только рукой,
не было бы скорости такой.

Нос

Нос? Что-с?
И вдруг у майора Ковалева
исчез нос!
Майор Ковалев был совершенно убит!
Какой в зеркале гнусный вид.
— Как же я теперь
к госпоже Подточиной
явлюсь?
Положим, на ее дочери
я все равно не женюсь.
Но какое объяснение дам
и каков будет ужас дам?

Ах, господа! Мало ли
у кого сбежал нос,
ну и что-с?
Подумаешь, какие новости на свете:
нос майора Ковалева
развезжал по Петербургу в карете!

Шинель

Чем была шинель
для Акакия Акакиевича —
Божьего раба?
Судьба!
Не ел, не пил —
по грошику копил.
По пуговичке, по ниточке
Коленкор и весь приклад.
Как грела мысль о шинели,
когда у портного Петровича
дело пошло на лад!
Сослуживцы смеха ради
пригласили «новую шинель»
на вечеринку.
Акакию Акакиевичу
холостяцкая пирушка в новинку...

Возвращался он в ночи
один-одинешенек,
теплой шинели рад-радешенек.
Как коршуны налетели грабители,
сорвали шинель.
Боже ты мой!
Обидели! Как обидели!

А между тем
ходили слухи,
что она шинель
была полицией найдена́
и владельцу
возвращена.

Портрет

Молодой,
подающий надежды
художник Чартков
был одним из дорогих
профессорскому сердцу учеников...
Дома штудировал антики:
психей, амуров с носами отбитыми,
пылью повитыми.
Мастерская служила
гостиной и спальней.
Ах! Долги!
Уже наведывались хозяин
и квартальный.
И надо же было
на бедность эту
свалиться портрету.
На последний четвертак
в антикварной лавке
купил его простак.
На полотне был изображен
восточного вида
старик-ростовщик.
Взгляд его поражал:
куда бы ни двинулся Чартков,
неотступно его провожал.
И во сне видел он
злополучный портрет!
Но однажды из рамы
выпал столбик в синей бумаге —
тысяча золотых монет!

Кто бы подумал!
Старик-ростовщик
со своим загадочным
взглядом
и восточным халатом
оказался
щедрым филантропом-меценатом!

Записки сумасшедшего

Больной —
он же
король Испании Фердинанд VIII —
принимает
за своих подданных
докторов,
а сам он совершенно здоров.
И поступает согласно
испанскому этикету —
ничего удивительного в том нету!
Смотрители бьют его палками,
но они ему кажутся жалкими.
Он — король Испании
в изгнании!

Нынешний год
в этом желтом здании
проживает
уже третий король Испании.

Невский проспект

Невский проспект!
Мутных фонарей
неверный свет!
Гигантская барахолка
дамских шляп
и шуршащего шелка.
И то сказать:
на людей посмотреть,
себя показать.
Сановники, чиновники,
сюртуки, плащи, эполеты,
умопомрачительные жилеты.
А что здесь делают
тонные мисс,
глазки вниз?!

Не водите на Невский гулять детей,
няньки, мамки и гувернантки.
Вы еще не знаете
Невского проспекта с изнанки.
Не слушайте о Невским проспекте
прекраснодушных басен.
Невский опасен.
Здесь можно потерять
все, что есть, —
жизнь, состояние, честь.

Да! Но по Невскому гуляли
сам Гоголь и Тютчев,
сиденьем в кабинете наскучив...
Как юноша на первое свиданье,
прибегал на Невский
Федор Достоевский.
Невский вдоль и поперек
исходил Блок!

Ах! Пушкин над Невским летел,
на него с высоты глядел,
каблуками не задевая
твоих камней,
мостовая!

II

Чертовщина

З а з ы в а л а. Дамы и господа! Прошу вас,
заходите к нам без промедленья.
Начинается кукольное представленье.
Откройте пошире глаза!
Навострите уши!
Даем представление:
«Черт и мертвые души».

Появляется Чичиков, снимая шляпу и раскланиваясь.

З а з ы в а л а. Господин Чичиков, вы осчастливили нас
своим приездом.
Ч и ч и к о в. Да, у меня тут маленькое дельце.
Так, безделица!
Хочу стать мертвых душ владельцем.

З а з ы в а л а. Маэстро! Музыка, туш!
Выход мертвых душ!

*Чичиков удаляется. На ширме в сопровождении оркестра
Проходят Собакевич, Коробочка, Ноздрев и другие.*

О р к е с т р. Бумс! Бумс! Бумс!
Блямс! Блямс! Блямс!
Ум-па-па! Ум-па-па! Ум-па-па!

З а з ы в а л а. Господин Чичиков, готово!
Вам слово!

Чичиков тащит мешок.

Ч и ч и к о в. Вот мои мертвые души.
Тяжелее, чем бычьи туши.
Продам их в ад
и буду богат.

З а з ы в а л а. Да вы мешок развяжите
и покажите.

Ч и ч и к о в. Они подерутся
и разбегутся.

З а з ы в а л а. Ничего. Поймаем
да обратно в мешок.

Чичиков развязывает мешок.

В публике смешок.

Ха! Ха! Ха!

Да какие же это мертвые души?

Это все наши: Собакевич, Коробочка,
Ноздрев да Плюшкин
бьют баклуши.

Ч и ч и к о в. Нет, это они только кажутся живыми,
а на самом деле мертвые.

И з п у б л и к и. Что ты нам голову морочишь.
Какие же они мертвые души?
Такие же, как и мы грешные!

С о б а к е в и ч,
П л ю ш к и н,
Н о з д р е в.

Вот мы сейчас покажем,
какие мы мертвые!

Н о з д р е в. Ребята! Бей Чичикова,
бей, лупи его!

Ч и ч и к о в. Ай-ай-ай! Ой-ой-ой!
Мне больно,
прекратите разбой!

Красавцы мои, позвольте,
я объясню вам сейчас:
я ревизские души имел в виду,
а не вас!
С о б а к е в и ч. Все равно! Бей Чичикова, да в мешок.
Пусть посидит в аду!
Пусть подует в дуду!

*Открывается люк, куда и проваливается
Чичиков. Попрятавшиеся действующие лица
выглядывают из-за ширмы и вдруг обнаруживают
сидящего на ней Чичикова, очень похожего на черта.
Они окружают Чичикова, а тот радостно приветствует
всю честную компанию.*

Ч и ч и к о в. А, красавчики вы мои, какая встреча,
какое событие! Я ни на кого не сержусь,
и даже, напротив, от всей души
спляшу с вами гопака.
З а з ы в а л а. Господа! Господа!
Представление заканчивается!
Заключительный выход всей труппы.
О р к е с т р. Тру-ру-ру! Блямс!
Тру-ру-ру! Блямс!

Ч и ч и к о в. *(приплясывает и напевает).*
Господа! Господа!
А ну-ка спляшем!
Музыка хоть куда!
Прошу всех!

*Ноздрев, Собакевич, Плюшкин, Коробочка и Манилов
пляшут кто во что горазд. Топают, кружатся, приседают.*

Турли-турли-гоп-гоп!
Турли-турли-гоп-гоп!

*И вдруг, окутанная дымом ширма проваливается в люк
вместе с всеми пляшущими. Занавес опускается.*

*На краешке сцены сидит как ни в чем не бывало
весьма похожий на черта Чичиков и дрыгает ножками.*

Конец

Татьяна СОТНИКОВА

РЫЦАРЬ ДЕТСКИХ СЛОВ

Юрий Буртин. Исповедь шестидесятника

М.: Прогресс-Традиция, 2003

Теперь, когда статьи Юрия Буртина собраны вместе, стало понятно, о чем получилась его книга. О разочаровании. А поскольку сразу же после смерти Буртина в 2000 году он был назван «одним из тех, чье отсутствие еще не раз скажется на здравомыслии общества» («Общая газета»), то можно сказать, что книга получилась не столько о личном разочаровании человека, всю жизнь бывшего рыцарем демократии и свободы, сколько о разочаровании общества. Именно общество разочаровалось, только не в демократии и свободе, а в себе самом. И именно Буртин, по справедливости считавшийся одним из тех, кого называют совестью общества, внятно и аргументированно сказал в своих статьях, почему это произошло.

Читать эту книгу невесело. Главным образом потому, что невозможно не согласиться с выводом, сделанным Буртиным еще в 1997 году: «Дело выращивания демократии в России приходится начинать почти с нулевой отметки». Сейчас, в году 2004, вдобавок так и хочется убрать из этой цитаты слово «почти»...

Но читать эту книгу надо. Хотя бы для того, чтобы понять, что было сделано не так в самый благоприятный для российской свободы момент, и разобраться, что можно сделать иначе в момент нынешний, для свободы ее далеко не благоприятный.

Кто-то скажет, что взгляды шестидесятника на современные проблемы давно уже перестали быть актуальными. Возможно, взгляды какого-то собирательного, умозрительного шестидесятника в самом деле не имеют отношения к современной действительности, но Буртин — это не некий «образчик своего времени» вообще, а человек, который, как написал о нем

**Татьяна
СОТНИКОВА**

— родилась в 1963 г. в Минске. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета и аспирантуру Литературного института. Кандидат филологических наук, доцент Литературного института. Автор двенадцати романов (под псевдонимом Анна Берсенева) и многих статей по современной русской литературе в энциклопедических и в периодических изданиях («Знамя», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение» и др.). Живет в Москве.

в предисловии к его книге Григорий Явлинский, отвечает за свое время. А потому его будут читать демократы и интеллигенты в том вневременном смысле этих слов, «как их понимали в середине XIX века».

Даже если не знать о душевной чистоте и совестливости Буртина из воспоминаний людей, работавших и друживших с ним (а воспоминания эти, написанные И. Виноградовым, Д. Фурманом, Л. Баткиным, В. Савченко, В. Хоросом, Г. Водолазовым, в книге приводятся, и они полны живой убедительности), то догадаться об этих его качествах можно и из самих его статей, которые отмечены еще и тем, что хочется назвать интеллектуальной совестливостью: когда, кажется, уже и сам разум не позволяет человеку говорить и писать подлости, потому что подлость есть, помимо всего прочего, глупость. И этот же самый разум требует от человека быть честным по отношению к самому себе.

О начале своего жизненного пути Буртин говорит прямо и жестко: я был сталинистом. Нет, он не видит в своем прошлом какого-либо дикого фанатизма — ему достаточно того, что «определяющей чертой моего сознания во всем, что касалось общественной жизни, можно считать его безындивидуальность и несамостоятельность». Вот что такое сталинизм для интеллектуально честного человека. Чтобы оценить силу этого высказывания, достаточно вспомнить рассуждения многих и многих представителей интеллигенции — да вот хоть прогрессивного кинорежиссера Владимира Хотиненко, который совершенно серьезно оценивает сталинское время «с одной стороны, с другой стороны» на том основании, что его родители были тогда молоды и любили друг друга, а значит, лично для них это время было прекрасным. Буртин тоже был в это время молод и, вероятно, влюблен, однако это не мешает ему не подменять анализ общественного устройства, сильнейшим образом влиявшего на устройство личностное, разглядыванием семейного фотоальбома. С огромной любовью и уважением вспоминая своих родителей, великих и бескорыстных тружеников, чье отношение к труду было при этом «начисто свободно от гордыни какого-то подвижничества, жертвенности», Буртин пишет: «Духовный облик каждого поколения в первую очередь зависит от той общественной среды, какую оно застает, вступая в жизнь. На этот первоначальный опыт впоследствии может наслаиваться многое, но все же какая-то основа сохраняется — как фундамент здания при всех его перестройках. Поколение наших отцов и матерей, еще помнившее дореволюционную Россию и взрослевшее в годы нэпа, успело соприкоснуться с реальной жизнью напрямую, без посредства идеологической “легенды”. (...) Что касается нашего поколения, то оно было начисто лишено такого иммунитета. Ни дореволюционного, ни хотя бы доколхозного опыта у нас не было. Сталинская идеология, сталинская история революции, сталинская мораль — этим искусственным воздухом мы дышали от рождения. С первых же шагов нас приучали видеть окружающий мир не иначе как сквозь розовый флер официальной мифологии. (...) Я и мои сверстники явились первым поколением гомункулусов, целенаправленно выращенных в колбе тоталитаризма. Именно с нас началось серийное производство “советских людей” — особой человеческой породы с заранее заданными свойствами».

Буртин подробно перечисляет те «вводные», с помощью которых такое производство совершалось, — например, убеждение молодежи в том, что общественное выше личного, причем под общественным понималось государственное, так как общество было полностью поглощено государством. Еще более выразителен приводимый им образчик примитивной демагогии, с помощью которой молодым людям внушали, что в СССР безусловно обеспечены права человека: «Свобода союзов? Так у нас же есть и партия, и профсоюзы, и комсомол. Свобода собраний? Да у нас собрания каждую неделю, сидим на них до одурения. Свобода митингов и демонстраций? И митинги, когда надо, проводятся, и демонстрации — неукооснительно, два раза в год. Свобода слова? Опять-таки пожалуйста: выступи на собрании, напиши в газету. Конечно, для антисоветских выступлений в нашей печати места нет, но оно и правильно: зачем же предоставлять трибуну классовому врагу?..» Как ни странно, подобной примитивной демагогии оказывалось достаточно, чтобы уберечь молодые пытливые умы от излишне глубокого погружения в эту опасную тему».

А ничего странного в этом и нет. Можно не сомневаться: если высказать ровно эти же аргументы, собрав без выбора человек двадцать современных молодых людей, девятнадцать из них полностью с этими аргументами согласятся... Демагогия ведь тем и страшна, что возражать на нее вообще трудно, а незрелому молодому уму — почти невозможно. Кстати, Буртин дает в той же статье «Исповедь шестидесятника» блестящий образец того, как это все-таки можно сделать. Образец настолько поучительный, что его стоит привести полностью.

«Насколько неразвитым было во мне и моих сверстниках сознание прав человека, настолько же гипертрофированным — понятие общественного долга. Ответственность, чувство долга — прекрасная вещь, нынешняя всеобщая безответственность заставляет ощущать это особенно остро. Но в морально-психологическом и идеологическом контексте сталинизма это ценное свойство реализовалось сугубо односторонне. Как и каждый добпорядочный советский человек, я ощущал себя в вечном и неоплатном долгу перед государством. (...) Мне не приходило в голову, что государство дает человеку только то, что от него же и получило, что оно не благодетельствует народ, а лишь возвращает ему (с изъятиями) нечто вроде выданного ему кредита. Я не задумывался над тем, что долг — понятие, предполагающее взаимность, что это род общественного договора, основанного на полном равенстве сторон, и если я ответствен перед государством, то и оно в одинаковой мере ответственно передо мною. Спрашивать с меня исполнения долга оно может лишь в том случае, если свои обязанности по отношению ко мне исполняет вполне исправно и *если сам я имею реальную возможность это проконтролировать* (выделено мной. — Т.С.). Если же, признавая свой долг перед государством, я смотрю на него снизу вверх и не требую с его стороны отчета, то это значит только одно: я — не гражданин, не личность, а винтик системы, человек, начисто лишенный демократического сознания».

Если не знать, что Буртин писал это о взаимоотношениях человека и государства во времена своей молодости, то есть во времена сталинизма, то

высказывание можно считать вполне современным. А главное, своевременным. Разговоры о долге гражданина перед обществом сейчас опять в большой моде и под словом «общество» опять подразумевается исключительно государство, а под словом «гражданин» — бессловесный винтик, который не может и не должен это государство контролировать...

Словом, поводов для современного общественного оптимизма нет никаких. Кроме тех, которые отметил сам Буртин: «Сколь бы ни велика была над человеком власть “духа времени”, она все же не безгранична и оставляет некоторое место личному опыту и мнению».

И вызывает колоссальное уважение человек, чьи личные опыт и мнение побились сквозь эту толщу...

Вообще, главная ценность шестидесятиничества как явления состоит, возможно, в том, что все оно было основано на пробуждении в человеке личности. Отсюда — множество ярких людей, ярких произведений искусства, ярких событий в общественной жизни, подобных «Новому миру» Твардовского, о котором Буртин пишет подробно, поскольку был одним из его сотрудников. Как ни старайся обойтись без брюзжания на тему «богатые — не вы», а — оглянитесь вокруг: много ли таких явлений, как «Новый мир» Твардовского, дали последние пятнадцать лет во всех сферах человеческой деятельности? Много ли мощных личностей появилось в поле общественного внимания? Даже в количественном отношении гораздо меньше, чем в шестидесятые годы прошлого века, да к тому же половина из тех имен, которые приходят на ум, принадлежат как раз-таки тем, кто начинали именно в шестидесятые годы — вот так, как Буртин, *преодолевая* в себе сталинизм. И *преодолев* его — преодолев безличность своего сознания и, по его же словам, свою «духовную несамостоятельность».

Главной причиной общественного проигрыша шестидесятников во времена хрущевской «оттепели» Буртин считает то, что «при молчании народа, по рукам и ногам скованного репрессивным режимом, силы их и силы этого режима были трагически неравны, (...) на одной стороне была вся мощь тоталитарного государства, с абсолютной и всеобъемлющей властью партпарата, с унифицированной прессой, со всепроникающей системой политического сыска, с подчиненными КГБ милицией и судами, с гигантской армией, которую партийная олигархия не задумываясь бросала на подавление не только волнений в собственной стране, но и демократических революций за границей, а на другой стороне — тонкий слой интеллигенции, правда, успевший пропитаться оппозиционными умонастроениями, но не имевший ни своей печати, кроме машинописного “самиздата” да единственного подцензурного журнала, ни каких-либо легальных форм организации, (...) любая публикация “там”, или выступление в “самиздате”, или участие в молчаливой демонстрации, или даже просто “хранение” и распространение” грозили крупными лагерными сроками, а порой (...) стоили жизни; попытки же вступить за репрессированных даже в лояльной форме, ходатайства перед властями карались увольнением с работы, исключением из творческого союза, запрещением печататься и т.п.».

С этим трудно не согласиться. Однако понятие «крах шестидесятиничества» ассоциируется в сознании современного человека не только непо-

средственно с тем временем, когда это явление зародилось и вышло на общественную арену, то есть с собственно 60-ми годами прошлого века. Дело в том, что шестидесятники потерпели поражение еще раз, и во второй раз оно имело совершенно иную природу, чем то поражение, которое они не могли не потерпеть перед советской государственной машиной. Речь идет о поражении тех шестидесятников, которые стали идеологами горбачевской перестройки. Тех идеалистов и романтиков, которые были уверены: достаточно избавить народ от гнета КПСС, и жизнь в России расцветет, засияет всеми красками свободы и демократии. Печальное и справедливое наблюдение времен Французской революции — о том, что свобода приходит нагая, — идеалисты и романтики то ли забыли, то ли никогда не принимали всерьез. Как не принимали всерьез и не понимали природы человеческой — той темной, утробной ее стороны, которую Чехов называл «гуртовым невежеством» и о которой написал в «Ионыче»: «Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава Богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: “Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?”»

Когда, фактически придя к власти в середине 80-х, поколение Буртина обнаружило, что свобода массово понимается народом именно как позволение резать на улице кого угодно, оно, это поколение, несколько опешило. Ну, а уже в 90-е годы стало очевидным то качество либеральной интеллигенции, о котором Буртин с горькой честностью пишет: «Все мы оказались никудышными демократами» из-за «тщеславия, самолюбования, плюс естественной заботы о достатке семьи» и «усвоили, что “политика — это искусство возможного”, (...) искусство прагматики, компромисса, лавирования и балансирования, честность же, искренность, человечность — это нечто из области наивных, детских представлений, неприличных в серьезном политическом обиходе».

Парадоксально, но, если бы романтики шестидесятничества серьезнее задумывались именно о темной стороне природы человеческой, то и светлые «детские представления», возможно, не были бы ими отброшены так легко, потому что представления эти были бы заблаговременно закалены действительностью и не оказались бы перед этой действительностью настолько беззащитны.

Впрочем, сам Буртин «детских представлений» отнюдь не отбросил, и именно это делает его фигуру сколь значительной, столь и нетипичной для 90-х годов.

Современный читатель книги, посвященной проблемам общества, — а сборник статей Буртина посвящен именно этому, — невольно ищет в ней пророчеств. «Что было, что будет, чем сердце успокоится...» О том, что было, Буртин написал подробно и по отношению к себе самому беспощадно. Догадался ли он о том, что будет — то есть происходит сейчас? Судя по всему, догадался... И не только догадался, но внятно назвал причину того экономико-политического строя, который в 90-е годы «из партократии, миновав, как мостик, демократию, начал на глазах перерастать в особый вид

плутократии постсоветского образца», который со всей очевидностью установился сейчас и для которого Буртин нашел название — номенклатурный капитализм.

«В номенклатурном подходе к проведению экономической реформы проявляется то, что всегда было свойственно советским руководителям, — неуважение к народу, к его уму и опыту, нежелание и неумение увидеть в народе не только объект, но и субъект кардинальных общественных преобразований. Иначе говоря — недостаток демократизма. Недостаток, свойственный, конечно, не только властям, но глубоко характерный для современного общественного сознания и даже находящий своих теоретиков и певцов в среде «либеральной» публицистики. (...) В самом деле, чем, если не катастрофическим (и нарастающим) дефицитом демократизма, можно объяснить тот факт, что ни одно важное государственное решение, касающееся судеб миллионов людей, не становится до своего принятия предметом сколько-нибудь серьезного общественного обсуждения? Все они готовятся за закрытыми дверями правительственных и парламентских кабинетов и выдаются населению, как монаршая воля».

Честно говоря, те решения народа, которые показывает современная действительность, как-то и не дают оснований надеяться на великую справедливость «мнения народного». Как ни относиться к результатам нескольких последних выборов — президентских, парламентских, — очевидно, что миллионы людей внятно продемонстрировали свою абсолютную зависимость от телевизионной пропаганды, свою падкость на незамысловатое промывание мозгов, свое полное нежелание принимать собственные ответственные решения и, наоборот, желание переложить решение своей судьбы на «начальство, которому виднее».

Так что же, — может быть, Буртин ошибался, обвиняя вершителей реформ 90-х годов в недостатке демократизма? Может, не дорос наш народ до этого самого демократизма, и правильно, что все повороты его судьбы сообщались ему именно в виде монаршей воли?

Ну, во-первых, к вопросу о «монаршей воле»: секретарь обкома Ельцин — отнюдь не монарх, и отличается он от монарха в первую очередь тем, что его не готовили с детства управлять государством, не внушали ему с младых ногтей мысль — даже не мысль, а глубочайшее убеждение, — что власть это прежде всего колоссальная ответственность, требующая самоотверженности и напряжения всех сил. Мудрого человека, великого поэта Жуковского, как будущему царю-реформатору Александру II, воспитателем Ельцину никто не приглашал; что выросло в обкомовских коридорах, то выросло. Так что признавать за коммунистом-реформатором Ельциным право на какую-то «монаршую волю» по меньшей мере странно.

Что же касается воли народа... Буртин приводит в одной из своих статей начала 90-х письмо рабочего из города Коврова: «Уверен: если побывать на любом предприятии и спросить, что дала людям приватизация, они расскажут, что... приватизированные предприятия фактически перешли в личную собственность руководителей. Они правят бал, не считаясь ни с кем. (...) Новые хозяева собственности сплошь и рядом ведут себя так, будто бы все приобрели на свои собственные деньги. Мы не против реформ. Соглас-

ны даже жить хуже, если потребуется. Но бесправие, беззащитность, унижения терпеть не согласны. Не хотим быть на положении рабов».

Пусть таких думающих рабочих значительно меньше, чем люмпенов, озлобленных на любого, кто способен к созидательному труду. Однако, подтверждая слова рабочего из Коврова, Буртин приводит немало других свидетельств. Вот один из самых характерных примеров того, что в ходе номенклатурной реформы «все рычаги государственного управления, как в центре, так и, в особенности, на местах, остались в руках прежнего аппарата, лишь слегка разбавленного новыми людьми, *впрочем, быстро уподобившимися старым* (выделено мной; и надо еще не забывать, что новыми людьми, влившимися в стройные ряды партocrats, в большинстве своем оказались бандиты. — Т.С.), и даже наш частный бизнес имеет сугубо аппаратную природу». Пример этот относится к Липецкой области 1994 года: «Бывший первый секретарь обкома — генеральный директор акционерного общества. Бывший первый секретарь горкома — заместитель председателя правления акционерного банка. Бывший управляющий делами обкома — совладелец частной фирмы. Бывший первый секретарь райкома — генеральный директор товарно-сырьевой биржи». И так далее, и по любому региону...

Дело здесь даже не только в том, что люди, находившиеся у власти, прибрали к рукам собственность, когда она на какой-то момент стала «плохо лежать»; по правде говоря, было бы удивительно, если бы они этого не сделали. Дело в том, что руководители реформ не поняли главного: если вся собственность окажется в руках партийно-советской номенклатуры, то и законы, по которым эта собственность станет работать, будут такими же извращенными, межеумочными, какими были законы «экономики социализма». Впрочем, может быть, руководители реформы не то что не поняли этого — скорее, их это вполне устраивало. Не они ли, активно передавая собственность в руки своих братьев по аппаратному разуму, внушали народу мысль о том, что это делается исключительно из патриотических соображений: дескать, если не отдать бесплатно «своим», то придут злые западные капиталисты и скупят на свои западные деньги нашу родину... Результат известен: западные капиталисты боятся инвестировать в нашу родину свои деньги, потому что экономические законы, установленные для нашей родины «своими», имеют очень мало общего с экономическими законами в том смысле, в каком они понимаются во всем мире.

Да вот еще один тому пример, приводимый Буртиным. В 1994 году заместитель министра экономики РФ заявляет: «В основных чертах реформы закончены. Сейчас главное — не менять правила игры, поскольку стабильность важнее перемен». Надо помнить, что представляли собою «правила игры» в 1994 году — бандитские разборки, взрывы и стрельба, связанные с дележкой собственности, финансовые пирамиды, коррупция в правоохранительных органах и т.д. и т.п. — чтобы оценить это высказывание... Право же, оно было бы смешно, когда бы не было так грустно.

И не грех вспомнить про тогдашние призывы к «стабильности» сейчас, когда ровно такие же призывы зазвучали снова — и снова вперемежку с заклинаниями на тему: реформы окончены, осталось только не мешать выходам из КГБ организовывать экономику и общественную жизнь в

соответствии со своими правильными представлениями о том, как это следует делать. Кстати, сейчас подобные заклинания звучат для миллионов людей, не желающих самостоятельно думать, гораздо убедительнее, чем в 1994 году: высокие мировые цены на нефть помогают поддерживать иллюзию завершенности реформ и стабильности в России даже лучше, чем это было в СССР при Брежневe. Есть и еще одно сходство с брежневскими (да и сталинскими) временами: и тогда, и теперь, по наблюдению Буртина, «власть свято бережет свою бесконтрольность».

В статьях, из которых после смерти Буртина была составлена его книга, он внятно назвал то, что происходило в обществе в ходе реформ, дал определение самим этим реформам («смена общественного устройства произошла без смены правящего социального слоя»), произвел «инвентаризацию иллюзий» современной ему интеллигенции. А вот «чем сердце успокоится», то есть что делать — и именно что делать после того, как это все уже произошло в России так, как произошло, — он не знал. И, как можно догадаться из его страстного гимна идеям шестидесятничества, не знал по вышеназванной причине: из-за типичной для шестидесятников замкнутости их общественных программ и прогнозов почти исключительно рамками политики.

Или — из-за его органической *невозможности* понять, каким образом «нормальный» человек (а таких ведь большинство!), избавившись от политического рабства и обретя свободу самоосуществления, способен жить и действовать иначе, чем по законам правды, добра, честности, человечности?

Но, с другой стороны, пожалуй, именно эта вот глубинная, органичная неспособность Буртина понять, как можно относить честность, искренность и человечность к области наивных, детских представлений, как раз и оправдает в глазах современного читателя то, что он не найдет в его книге сколько-нибудь внятной рефлексии о возможных путях выхода из нашего современного национального кризиса. В конце концов, не зря Галич пел: «А бойся единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо».

Буртин не врал: он не знал, как надо. И он честно пытался в этом разобраться. Ключевое слово здесь — честно. Детское, несовременное, смешное слово... Реальные политики его не произносят. Или произносят демагогически, не как слово, а как красное словцо. И, может быть, что-то изменится в России именно в те времена, когда это слово снова станет ключевым в ее общественной жизни.

В одном можно не сомневаться: в те времена книгу Буртина непременно прочитают.

**КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ
РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ***

/май – июль 2004 г./

14.05.2004

Здравствуйте! В эфире — программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. На прошлой неделе мы в эфир не выходили — думали, что неделя будет праздничной. Но получилось, как получилось.

Это становится у нас традицией — взрыв на Девятое мая. (Я бы, кстати, всякий раз после этого давал генералу Патрушеву новую звезду Героя России, а то простаивает человек.) В этот раз обошлось без Каспия — взорвали Ахмада Кадырова. К несчастью, вместе с Кадыровым погибли люди — причем по меньшей мере трое, как сообщали СМИ, погибли не от взрыва, а от стрельбы, открытой по толпе охраной покойного. Так что напоследок Ахмад-хаджи захватил с собою на тот свет еще немного чеченцев. Дальше все пошло по накатанному. По телевидению выступил президент Путин и сказал все то же самое, что всегда говорит в таких случаях: терроризм будет побежден, преступники не уйдут от ответа — ну, у нас уже было время выучить это наизусть. Я бы, кстати, не напрягал гаранта — сколько можно! — записал бы уже раз и навсегда эдакое типовое обращение — и все дела, а то всякий раз, когда взорвется, ставить свет, гримироваться и те же самые слова говорить — глуповато получается. А взрываться будет обязательно, потому что после взрыва, первым делом, к Владимиру Владимировичу в Кремль привезли в тренировочном костюме Рамзана Кадырова — и этот Рамзан был немедленно сделан первым вице-премьером Чечни.

Неполные десять классов и автомат в руках с пятнадцати лет — хорошая база для вице-премьерства в субъекте Российской Федерации! Владимир Владимирович с Рамзаном Ахмадовичем смотрели друг на друга, как лимона наевшись, но деваться им обоим теперь некуда. Рамзана без нашей федеральной поддержки в пять минут нарежут мелкими ломтиками товарищи из соседних тейпов, а наш венец вертикали, поставивший на клан

* О новом формате «Комментария» Виктора Шендеровича см. в предисловии к выпуску в № 118.

**Виктор
ШЕНДЕРОВИЧ**

— родился в 1958 году в Москве. Окончил Институт культуры и аспирантуру Шуйкина театрального училища по специальности «педагог по сценическому движению». Работал на ТВ (программы «Куклы», «Итого», «Бесплатный сыр»). Сейчас на радио «Свобода» регулярно выходит его передача «Все свободны», а на «Эхе Москвы» — «Плавленный сырок». Автор книг «Семечки», «Московский пейзаж», «Антология сатиры и юмора», «Здесь было НТВ» и другие истории, «Шендевы» и др. Живет в Москве.

Кадыровых и под это дело все в Чечне перевернувший с ног на голову, без рамзановских молодцов останется с Чечней вообще один на один. А молодцов этих — несколько тысяч человек, и воевать им не привыкать в обе стороны... Впрочем, наибольших успехов эта гвардия, под руководством Рамзана, добилась в мародерстве, что стало легендой еще при жизни Кадырова-старшего, а теперь на землю Чечни придет такой большой мир, что только успевай любоваться, потому что вице-премьерство для этого детишки в тренировочном костюме — только начало...

В минувший четверг на совместном заседании Госсовета и правительства Чечни принято обращение к президенту Путину с просьбой поддержать Рамзана Кадырова в качестве кандидата на пост президента Чеченской Республики. В обращении также содержится просьба к В. Путину принять все меры по устранению препятствий для регистрации Кадырова в качестве кандидата на этот пост. Согласно конституции, президентом Чечни может стать гражданин РФ, достигший 30-летнего возраста; Рамзану Кадырову еще нет двадцати восьми...

Мне рассказывали, есть такие удивительные страны, где никому в голову не придет просить президента устранять препятствия, содержащиеся в Конституции. Но мы ребята простые, и Конституции наши — такая смешная вещь, которая и пишется по случаю, и используется по надобности. Так что ее путешествие псу под хвост — вопрос договоренности, как, впрочем, и в случае с Уголовным кодексом, бюджетом и другими законами Российской Федерации...

Когда не знаешь, что делать, делай пиар. Железное правило это не дает сбоев, и через день после взрыва Путин на целых полдня слетал в Чечню, о чем вечером с гордостью сообщили все СМИ. Как отмечалось особо, информационная безопасность визита была обеспечена полностью! То есть президент страны через четыре года после победы над сепаратистами тайком пробирается в проклятый регион своей страны и уносит оттуда ноги, пока о визите не узнали счастливые жители освобожденной республики. Впрочем, и за полдня Владимир Владимирович успел тайно поруководить на местности...

По сообщению газеты «Ъ», президент России провел в Грозном два совещания — с участием руководителей правительства Чечни и с представителями правоохранительных органов республики. В тот же день президент предложил федеральному правительству сформировать группу из представителей министерств и ведомств и направить ее в ближайшие дни в Чеченскую республику для обсуждения «техвопросов помощи Чечне на месте».

Да! Обсуждение техвопросов — это главное, на что надо напрячь силы в ближайшие дни. Срочно решить технические задачи! И чем больше их будет, тем лучше, потому что, как сказано у классика, когда уходишь от погони, ни о чем другом уже не думаешь. А задуматься по чеченскому вопросу — это нам не дай бог! Главное — не допустить сомнений, что мы на верном пути. Не тормозить, изыскать дополнительные резервы! И вот, в тот же день, на заседании уже федерального правительства, под руководством летучего нашего Владимира Владимировича возникает вопрос об укреплении чеченского МВД, и велит гарант этот вопрос решить. И что вы думаете? До конца заседания

вопрос решили: и финансирование нашли, и все бумаги подписали. А вы говорите — медленно решаются вопросы... Это смотря какие вопросы! Это если у вас в городе отопление отключили, или у больницы денег на лекарства нет, или просто государство кинуло вас на бабки, так пропадите вы пропадом с этой ерундой, а если встает задача федерального масштаба фи- гануть в Чечню лишнюю тысячу штыков — это мы мигом!

Теперь бы поскорее найти еще какие-нибудь технические вопросы — и решать их, решать, решать... Лишь бы не приходиться в сознание, а то с ума сойдешь.

Многолетняя чеченская кампания, в адекватном освещении федераль- ных СМИ, дает плоды один сочнее другого. Президент ведет страну к окон- чательному решению чеченского вопроса, в ту же сторону накрепкоются помаленьку мозги сограждан, а там уж рукой подать и до правосудия. Соот- ветственно, и правосудие наше — не обессудьте... Уж какое есть.

В минувший вторник Северо-Кавказский окружной военный суд оп- раждал четырех сотрудников спецназа ГРУ во главе с капитаном Ульманом. Суд вынес оправдательную формулировку — «за отсутствием в их деяниях состава преступления ввиду вынесения коллегией присяжных оправдатель- ного вердикта». Военнослужащие обвинялись в том, что в январе 2002 года в Шатойском районе Чечни расстреляли шестерых мирных жителей, а за- тем, пытаясь скрыть следы расстрела, сожгли автомобиль, в котором ехали погибшие.

Стало быть, в результате судебного эксперимента в Ростове-на-Дону установлено: мирных чеченцев можно расстреливать. Сельских учителей, директоров школ, инвалидов... И даже не обязательно потом делать вид, что это сделали боевики — взрывать машину, жечь трупы — к чему такая сует- ливость? Брат, не бойся, ты среди своих: присяжные оправдают, а уж соб- ственный военный суд отпустит с полным удовольствием. Скоро за рас- стрел чеченских сельских учителей ордена давать начнут. А потом посреди какого-нибудь российского города снова взорвется метро или дискотека, и Путин сделает такое же лицо, как всегда, и расскажет нам про терроризм... ну, операция «Вихрь-Антитеррор», разумеется, тут как тут (с пользой, как от «Зарницы»)... А потом следствие будет собирать щипчиками осколки, искать организаторов взрыва. И невдомек им будет, что это, в сущности, сделали присяжные, аплодисментами проводившие на свободу капитана Ульмана. Судьи, которые не нашли в расстреле сельских учителей состава преступле- ния; гарант, по такому удивительному случаю промолчавший в тряпочку. И ведь главное: для того чтобы это сообразить, даже не надо вызывать экспер- тов — просто пошевелить мозгами. Но зачем нам мозги, когда у нас есть президент?

Кстати, о президенте! Слава Богу, случились в отчетный период и вещи запланированные — например, инаугурация.

Тут все прошло без накладок, очень здорово! Прошелся Путин по ковру вдоль канатиков. За место у канатиков шла битва, и самых упорных показа- ли возле Владимира Владимировича. Круто, ты попал на ТиВи! А вообще, это была постановка серьезного качества, ручная работа. С конницей, с

фанфарами, с перезвоном колоколов, с пролетом камер... Римейк, конечно, но на эту красоту (я имею в виду президента) можно любоваться бесконечно. За день до церемонии президент подвел черту под выборным годом, поблагодарив за успешную работу Центризбирком. Я думаю, наш гарант имел основания для такой благодарности: для продления его гарантийного срока в марте пришлось навалиться на избирателя всем миром. В ответном слове глава ЦИК Вешняков провел сравнительный анализ, показавший убедительное преимущество нашей системы перед американской. И системы вообще, и «ГАС-Выборы» — в частности.

Вешняков: *«В Америке результаты даются через сутки, а иногда получаются такие результаты, которые потом еще устанавливают заново и оспаривают месяцами».*

Ну да. Помним мы эту флоридскую блажь — учесть, видите ли, каждый голос! Как в Древнем Риме, на палыцах считали. То ли дело мы, люди третьего тысячелетия: пишем процент заранее, в администрации президента, и, как правило, не ошибаемся. Еще в конце второго тысячелетия такое было бы невозможно, но прогресс необратим. Слава богу, с прессой разобрались, и теперь правильному волеизъявлению ничего не мешает.

Американская правозащитная организация Freedom House опубликовала очередной «Рейтинг свободы мировой прессы». Российская пресса признана несвободной. Россия разделила 147 место в рейтинге — с Йеменом и Камеруном...

Никогда не думал, что в Йемене так плохо со свободой слова! Но у всякой медали есть обратная сторона: пускай пресса, как в Йемене, зато стабильность, как в Камеруне! А то кое-где не уследят за прессой, а потом мучаются. Вот свежий пример: американский телеканал CBS, не спросивши Белого дома, взяв и показал на всю страну, как американские же военные пытаются иракских пленных! Теперь садистов будут судить, министра обороны чуть ли не снимают с работы, рейтинг у Буша пошел вниз, а сам он вынужден был извиняться перед народом Ирака. Вот ведь дикость какая: извиняться! То ли дело мы. Представляете вы Путина, извиняющегося перед чеченским народом? Ну вот хоть за капитана Ульмана? Не представляете? И я — с трудом. А репортажи о пытках в наших фильтрационных пунктах в программе «Время» представляете? Ну ладно, не во «Времени» — по НТВ!

Тоже не представляете? Вот... Поэтому и с рейтингом у нашего президента все в порядке, и те, кто пытал, при должностях и в полном шоколаде. А этих правозащитников, Фридом Хаус этот, с его исследованиями, мы в гробу видели! Камерун так Камерун. Все хорошо!..

Теперь, стало быть, новости с мест. По информации издания «Газета», президент Башкирии Рахимов после встречи с башкирским духовенством, посвященной проблеме проституции, заявил о своей готовности лично возглавить борьбу с этим злом.

Памятуя о давних близких (и вполне товарно-денежных) взаимоотношениях Муртазы Губайдулловича с Кремлем, следует признать его неплохим специалистом в этом вопросе. Но черт ли с ней, с проституцией! — поговорим о семейных ценностях. В начале мая они торжествовали вовсю, причем

с привлечением ценностей государственных. На днях несколько СМИ сразу не без подробностей описали, как женился в городе на Неве глава минэкономразвития...

По сведениям прессы, для церемонии регистрации брака Германа Грефа был арендован Большой дворец Государственного музея-заповедника «Петергоф». Из дворца новобрачные вместе с гостями на катерах отправились на Крестовский остров, который на весь вечер и ночь был блокирован федеральной службой охраны. Праздничный ужин, сопровождавшийся фейерверком, прошел на территории правительственной дачи К-2...

Перекрытие острова для нужд гуляющей номенклатуры, фейерверки на казенной даче и регистрация брака непосредственно в Петергофе — найти зальчик поменьше, как вы понимаете, было никак нельзя. Скульптура «Министр, раздирающий пасть налогоплательщику» — в полный рост... По случаю женитьбы министра газета «Коммерсантъ» опубликовала просторное жизнеописание боевых подруг других слуг народа. В этом перечне оказалось много познавательного: например, жена министра здравоохранения Михаила Зурабова возглавляет фирму, которая занимается импортом медицинского оборудования. Ничего про эту фирму не знаю, но шестое чувство подсказывает мне, что там все будет хорошо. Или — очень хорошо...

В последней русской версии журнала Forbes опубликован список ста самых богатых бизнесменов России. Единственной женщиной, вошедшей в этот список, стала супруга мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Эксперты Forbes оценили ее состояние в один миллиард сто миллионов долларов. Батурина возглавляет одну из крупнейших строительных компаний, работающих в столице. Мэр Москвы Юрий Лужков утверждает, что не помогает своей жене заказами. «Все заказы, которые она получает, — заказы не города, а ведомств и организаций, не являющихся городскими», — заявил мэр.

Вот же, правда, везет некоторым мужикам! Я Лужкова имею в виду. Сам круглые сутки на службе, зарплата копеечная, к рукам скрепки не прилипнет, использовать служебное положение — ни-ни; так ведь недолго и ноги протянуть вдоль Третьего кольца! Но слава богу, есть жена: заработала честным строительным трудом миллиард долларов и, на черный день, еще сто миллионов — и кормит мужа.

Священникам православного храма, расположенного на космодроме Байконур, отцу Сергию и отцу Михаилу, присвоено звание «Заслуженный испытатель космической техники» и они получают соответствующие удостоверения Федерации космонавтики России. Об этом, со ссылкой на казахские СМИ, сообщило РИА «Новости». Священники освящают космические ракеты, корабли и спутники с 1998 года... Христос — покровитель космонавтики. Это кардинальное решение проблемы безопасности полетов! Как Курчатова с Королевым не додумались? Но и Христос не Шива, на все рук не хватает. Отвлекаясь, видать, на Байконур, а мы тут пропадай!

Десять лет назад один викарий окропил помещение Госдумы, но, видать, гарантия закончилась: по сообщению «Комсомольской правды», с приходом новых депутатов из буфетов Госдумы начали в массовом порядке пропадать столовые приборы. Во как. И ведь предлагала же фракция «Ро-

дина» окропить помещение заново! (Кстати, все другие фракции, кроме «Родины», в думских буфетах столовались много лет, и вилки были на месте...) Увидев, что Христос не дал результата, к борьбе с нечистым подключился Верховный шаман Сибири Тойзин Бергенов. На прошлой неделе он заявил агентству «Интерфакс» о готовности приехать в Москву в конце июня (когда Дух Солнца особенно силен) — и провести ритуал очищения, и избавить здание Госдумы от злых духов — уже, я так понимаю, окончательно. Предложение нашло понимание у ряда языческих депутатов, которые уже готовят специальное обращение к спикеру Борису Грызлову. Вот и я считаю: пошаманить в Думе — святое дело! Счастья вам.

21.05.2004

Здравствуйте! В эфире — программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович.

Ну, как говорят парашютисты, второй пошел. Срок, я имею в виду. Но у каждого, кто выпрыгнул в эту дырку, помимо основного, должен быть еще и запасной парашют. А то — черт его знает, как оно там сложится. Короче, не успела кремлевская обслуга разобрать канатики, вдоль которых прошел к своей второй шапке Мономаха Владимир Путин, как передовой отряд российской молодежи обуяла забота о дальнейших перспективах. По сообщению издания «Газета», некая студенческая группа «За стабильность и порядок» выступила с инициативой референдума о продлении срока президентских полномочий до десяти лет. По мне, главное в таких делах не перепутать стабильность со столбняком, а порядок с перекличкой, но многим — без разницы. Взрослые дяди студенческую молодежь попридержали, но не осадили. Комментируя отказ Московской городской избирательной комиссии инициировать референдум, глава Центризбиркома Вешняков уточнил, что референдум о продлении срока президентства Владимира Путина может быть инициирован только после 24 июня этого года, поскольку именно в этот день официально закончится кампания по выборам президента. Студенты, чай, не пионерия, — люди половозрелые. Они давно в курсе: бывают такие «нет», в которых слышно «да», и даже «о да, да, да!»

Вдохновленные интонацией отказа, студенты с удовольствием объяснили, чего хотят. Комментируя собственное предложение об увеличении президентского срока, глава инициативного отдела движения «За стабильность и порядок» Анискин, в частности, сказал: «Мы и раньше работали над этим вопросом, предлагая семилетний срок правления, но потом подумали и решили, что семи лет будет мало. А вот десять — в самый раз! Тем более что после изменения Конституции для президента Путина это будет первый срок правления».

Плохо у меня с устной математикой. Значит, ежели по Анискину этому считать, то — восемь текущих лет плюс два раза по десять — это будет... Короче, дай Бог Владимиру Владимировичу кавказского долголетия, а вывозить его будут из Кремля. Вот только насчет того, откуда подул этот долгосрочный ветерок, у экспертов имеются разногласия. То ли из-за краснокаменной стены решили поддержать студентов материально, и те вместо стройотряда вкалывают на укреплении вертикали, то ли эти бойкие ребята

самостоятельно решили оттереть номенклатуру от предмета культа и самолично попробовать, каков Путин на вкус с тыла, — неясно.

Новые народные инициативы и новые путинские сроки еще впереди, а пока — пошли нам Господь сил не умереть от радости в текущем! А то помаленьку тут начали открываться уже какие-то просто неземные дали. Выступая на прошлой неделе перед депутатами Госдумы в процессе утверждения себя в должности председателя правительства, Михаил Фрадков сообщил важную вещь. «Инаугурация президента, — сказал он, — открывает новое окно возможностей для прорывных действий правительства».

Предстоящий прорыв через окно Михаил Ефимович оставил без дальнейших описаний, зато тут же объяснил депутатам, что собирается за окном делать. «Президент, — сказал он, — определил цель — в предстоящие четыре года перейти на новую энергию развития». Теперь стало совсем понятно, да? Ну, я за вас рад.

Пока Фрадков, высунувшись по пояс в окно возможностей, дожидался прихода новой энергии, Путин послал в Чечню министра экономического развития России Германа Грефа. Чечня — не лучшее место для медового месяца, но когда тебя посылает Путин, пойдешь и не туда. Впрочем, сильно испугать Грефа Чечней не удалось: он быстренько осмотрел субъект, раздал указивки местному руководству и в сильнейшем оптимизме отбыл на большую землю.

По сообщению агентства РИА-«Новости», глава Минэкономразвития России Герман Греф, подводя в прошлую субботу итоги совещания, прошедшего в Грозном, в частности, сказал: «Через десять лет Чеченская республика будет одним из самых успешных регионов России».

Чем хороши долгосрочные прогнозы? Хрен проверишь. Пообещаешь что-нибудь насчет завтрашнего дня, тебя завтра же поймают, к стенке припрут, носом во вранье ткнут и прилюдно отметелят. А коммунизм в восьмидесятом, квартира в двухтысячном и чеченское благоденствие в две тысячи четырнадцатом — это, как цыганское гадание, дело бесприигрышное, только позолоти ручку! Вот только дополнительно золотить ее в данном чеченском случае будем опять мы с вами, дорогие россияне, ибо нынешнего бюджетного финансирования (три с половиною миллиарда рублей в год), по мнению нашего министра экономразвития, — явно недостаточно. Правда (только по официальным данным Счетной палаты), около трети этих средств регулярно уходит налево, но не будем мелочиться! Право, даже неловко: миллиард туда, миллиард сюда... Расчистка, потом зачистка, потом опять расчистка. Конечно, по нормальной человеческой логике делать ремонт посреди войны — некоторый идиотизм, но это если признать, что идет война! А если сильно прищуриться, чем-нибудь заложить уши и для верности зажать нос, то все ништяк! Особенно если сидишь не ближе Ростова-на-Дону.

Комментируя агентству «Интерфакс» подрыв БТР на фугасе в Урус-Мартановском районе Чечни и гибель в связи с этим одиннадцати военнослужащих, полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Яковлев заявил, что не считает это боестолкновение свидетельством активизации террористической деятельности в республике.

Полпред президента Яковлев потом пояснил: там вообще не было никакой засады! Просто погнались за бандитами по внедорожному покрытию и наехали на фугас. Практически ДТП, а никакая не война. Полпред президента Яковлев политику партии и правительства понимает правильно! Вот и программа «Время» про эту очередную массовую гибель в Чечне сообщила совершенно невзначай, петитом, на шестнадцатой минуте программы — после рассказа о встрече Путина с президентом Вьетнама и сюжета о суде над ветеринаром, давшим кошке наркотик. Это ж все гораздо важнее! Эх, ну что бы всем россиянам родиться кошками? Тогда над их психикой нельзя было бы безнаказанно проводить такие ежедневные эксперименты, как программа «Время».

Теперь пора пропеть осанну нашей прокуратуре. Под чутким присмотром гаранта она уже почти пять лет, как дятел об дерево, бьется об экономическую преступность. И на минувшей неделе все они, кажется, добились до легкого сотрясения мозга.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге вынес единогласное решение в пользу Владимира Гусинского по его иску против Российской Федерации. Суд признал, что арест бизнесмена летом двухтысячного года «не отвечал российскому законодательству», и пришел к выводу, что с помощью уголовного преследования власти пытались вынудить Гусинского продать на невыгодных условиях свой бизнес в области СМИ. Суд постановил взыскать с Российской Федерации в пользу истца 88 тысяч евро.

Ну, насчет бабок наша Федерация явно не в убытке: по сравнению с тем, что она отобрала у Гусинского три года назад, восемьдесят восемь тысяч евро — сущая ерунда. Денег не жаль, но прецедент противный: это ведь теперь любой, на ком попрыгало наше правосудие, наострит лыжи в Страсбург! А за шалости наших правоохранительных братьянов расплачиваться — никакой казны не хватит! Я вообще не понимаю, как он работает, этот Европейский суд? Что, некому туда позвонить, поговорить по-партийному? Неужели нельзя, в крайнем случае, командировать туда пару-тройку судей из Басманного межмуниципального? Как вообще там организован процесс — неужели пушен совсем на самотек? Вот так, стало быть, просто собираются и сверяют произошедшее с буквой закона? Каменный век. Надо как-то сориентировать людей по понятиям. Как же это не использовать прокуратуру для политики и бизнеса? А для чего ж еще ее использовать? Не для борьбы же с преступностью!

Как раз к решению Страсбургского суда подоспел еще один примерчик правильного использования Уголовного кодекса. В минувший понедельник прокуратура Саратовской области предъявила обвинение губернатору региона Дмитрию Аяцкову. Он обвинялся по двум статьям — «превышение должностных полномочий» и «злоупотребление должностными полномочиями». Прокуратура утверждала, что действиями губернатора нанесен ущерб бюджету области в размере семидесяти миллионов рублей.

Много чего нарыла саратовская прокуратура на Аяцкова: и предоставление им льгот местному «Облпотребсоюзу», который возглавляет его сводный брат, и выделение денег из областного бюджета частным лицам, и... Да какая, впрочем, разница, что она нарыла, — тут ведь вопрос не в том, «что», а в том, когда. А нарыла она это не слишком задолго до губернаторских выборов. Ну,

Аяцков, не будь дурак, взял отпуск за свой счет и полетел в Москву (он, правда, давал подписку о невыезде, но про невылет там, наверное, ничего не говорилось). В понедельник, стало быть, прилетел Аяцков в Москву, встретился с вице-спикером Сливской и еще с парочкой каких-то заоблачных россиян, в среду вернулся в Саратов, а в четверг выяснилось, что уголовное дело против него — прекращено. Так быстро восстановили честное имя, просто удивительно! Что-то там такое губернатор кому-то в Москве прояснил, насчет хищений. Не исключено, что тоже — за свой счет. По крайней мере, почти тут же пошли повдоль по матушке по Волге разговоры о том, что в марте Дмитрий Федорович не станет выставлять свою кандидатуру на третий срок. У вас еще есть вопросы насчет того, зачем нужна прокуратура? Вот и ладушки.

Кстати, зачем и кому нужно Главное управление по борьбе с организованной преступностью, в эти дни тоже более или менее прояснилось. По сообщению агентства «Интерфакс», на минувшей неделе в Москве неизвестные злоумышленники отобрали у сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью 20 тысяч долларов США, после чего скрылись, приковав его наручниками к машине. В настоящий момент пострадавшего сотрудника ГУБОП допрашивают его коллеги, интересующиеся, откуда у него взялась такая крупная сумма наличных денег, сообщает «Интерфакс». Коллеги, называется! Ужас какой. Коллеги, вы чё, с Марса сюда заброшенные? Отстаньте от человека! Да как же у сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью может не быть при себе двадцати тысяч долларов США? Да как же их может не быть? Он же борется, он же круглые сутки пресекает преступные замыслы и отнимает у бандитов их преступные деньги! Потом следователь по особо важным делам все это расследует, потом адвокат консультируется с судьей, потом судья выносит суровый условный приговор, а потом у всех обнаруживается по джипу и даче на Рублевке. Включая организованного преступника.

И напоследок — несколько добрых слов о Министерстве сельского хозяйства. Там собрались такие знатоки яровых и озимых, которым отделить зерна от плевел — раз плюнуть. Главное направление работы находят безошибочно. Правительство РФ приняло предложение Минсельхоза России о проведении ежегодно на Центральном московском ипподроме скачек на приз Президента Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в понедельник. Соответствующее распоряжение уже подписано председателем правительства Фрадковым. Минсельхозу поручено разработать и согласовать описание приза Президента России и порядок его вручения. Председателем оргкомитета по проведению скачек в 2004 году назначен глава министерства Гордеев.

Молодец Гордеев! Скачки на приз Президента России — это сейчас главная точка приложения сил в области сельского хозяйства — и уж точно самая актуальная трата бюджетных денег (по крайней мере, для министра). От топота копыт пыль по полю летит! Очень мы тут тосковали без скачек! Только у меня есть предложение по регламенту: уж если эти скачки — на приз президента России, то должно быть заранее известно, кто придет первым, правда? Счастья вам!

28.05.2004

Здравствуйте! Это программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, два главных события минувшей недели были известны заранее, и оба пришлось на среду: финал Лиги чемпионов и послание президента Федеральному собранию. В первом случае было интересно смотреть на игру, во втором — на зрителей: их, заодно с президентом, показывали в прямом эфире по трем телеканалам. Чтобы страна сильно не отвлекалась, мать ее... Зрелище началось с расsadки. Впереди главное начальство, позади них особо сильно сочувствующие, на галерке статисты. Алексей в первом ряду, муфтий в пятом, всё по понятиям... Потом шпрыхсталмейстер Миронов объявил начало этого смертельного номера, и президент заговорил. Ну, текст вы помните: зрелая демократия... гражданское общество... рост благосостояния... социальные программы... Короче, пересказал своими словами таблицу умножения. Зато как слушали! Господи, какие лица! Геращенко только закемарил немного на рассказе об ипотеках, а потом, на нейтрализации глобальных угроз, окончательно уснул Илларионов — не выдержал, наверное, напряжения, исходившего от гаранта, слишком близко сел. Спикер Миронов, в безопасности, за спиной у докладчика, конспектировал самые запавшие в душу места. На словах об армии раздались рефлекторные аплодисменты. Потом обитатели Куршвеля сочувственно закивали головами на словах о социальных гарантиях. Потом начался гимн. Слов этих до сих пор не выучил почти никто, только Жириновский подхватил по кабацкой привычке, да Миронов все шевелил губами рядом с закаменевшим президентом. Буддист в партере слушал про хранимую чужим Богом державу с закрытыми глазами. Зюганов стоял мрачнее тучи, рядом чему-то своему улыбался Рогозин. Губернатор Алтая Евдокимов тоже видел на своем веку много смешного, но в таком аншлаге оказался впервые и стоял в столбняке.

Потом фонограмма кончилась, и все разошлись по своим делам. Кто послабее — отдыхать, а кто покрепче — перечитывать конспекты и соревноваться в осмыслении.

Вице-спикер Государственной Думы Пехтин, комментируя послание президента к Федеральному собранию, сказал: «Президент публично заявил о невозможности возврата к авторитарному обществу и отказу от завоеваний демократии. Его слова — наказ всем органам власти, в том числе и нам, парламентариям, которые мы будем учитывать при подготовке и принятии новых законов». Этот отзыв требует отдельного осмысления. Стало быть, президент публично заявил о невозможности возврата к авторитарному обществу, и депутаты будут выполнять этот наказ при подготовке и принятии новых законов! А если бы президент велел им есть мыло — они бы ели мыло. В этом, видимо, и состоит, по Пехтину, невозможность возврата к авторитарному обществу.

Другой вице-спикер от той же фракции, не вдаваясь в детали, заценил все послание в целом. Удивительно, как слюной не захлебнулся от восторга. Комментируя послание президента к Федеральному собранию, вице-спикер Морозов заявил: «Самая большая новация этого документа — предельная конкретика всех поставленных задач таким образом, что любой гражданин может найти ответы на все животрепещущие вопросы».

До минувшей среды я знал только один текст, претендовавший дать ответы на все вопросы, — он назывался Пятикнижие. В Новом завете было уже гораздо больше вопросов. Лев Толстой и Федор Достоевский так с вопросами и ушли в могилу... Но это безобразие не могло продолжаться вечно: пришел Путин и дал ответы. Теперь любой гражданин может заглянуть в текст послания — и идти, куда его послал президент. Если вопросы остаются, попробуйте включить мигалку и догнать вице-спикера Морозова, он вам все разъяснит. Что же до меня, то послание мне и в целом понравилось, а уж по поводу отдельных мест я третий день пребываю в полном восторге. Например, от пассажа про гражданские объединения.

Путин: *«Для части этих организаций приоритетной задачей стало получение финансирования от влиятельных зарубежных фондов, для других — обслуживание сомнительных групповых и коммерческих интересов. (...) Должен сказать, что когда речь идет о нарушениях фундаментальных и основополагающих прав человека, об ущемлении реальных интересов людей, голос подобных организаций подчас даже не слышен. И это неудивительно: они просто не могут “укусить руку”, с которой кормятся».*

Ну, наконец-то наш президент перестал цацкаться с гражданскими объединениями и высказал то, что давно сидит в его холодной голове. Конечно, все они, которые мешаются под ногами у власти и что-то такое независимое под руку вякают, — они все с потрохами куплены врагами! Кормятся с руки мирового империализма. Про это еще Кукрыниксы рисовали в начале тридцатых. Правильно, Владимир Владимирович! Но войдите и в их положение. Они бы кормились с вашей руки, но вы ведь фиг дадите копейку на гражданское общество — вот они и берут, бедолаги, то у Форда, то у Сороса. Раньше брали еще у Ходорковского, но этот вопрос вы, кажется, решили, совместно с независимым правосудием. М-да... Впрочем, помимо вещей очевидных, в выступлении президента были и вещи поразительные.

Путин: *«Недопустимо, когда (...) финансовая сторона деятельности политических объединений по-прежнему скрыта от общественности».*

Вы как хотите, а я думаю, что мы имеем дело с глубоким нравственным поворотом внутри президента Российской Федерации. Отец Сергей отдыхает! Потому что в политической молодости своей (а политическую карьеру Владимир Владимирович начал сразу с президентской кампании) сиживал, например, штаб нашего будущего гаранта в «Президент-отеле», одна аренда которого превышала вообще весь избирательный фонд, предусмотренный законодательством. А уж из олигархов на «Единую Россию» бабок было вытрясено, черным налом, по самые звезды Кремля... И давеча, в декабре, помнится, у единороссов калькуляторы зашкаливало, а ежели кто начинал интересоваться источниками такого благосостояния, у того сразу начинались неприятности. И вот, вдруг, тихий ангел пролетел, и наш гарант устыдился, и прозрел, и говорит: недопустимо. Просто — обрыдаться...

Тема финансовой чистоты получила побочное развитие при обсуждении новой редакции закона о референдуме, уже внесенного на обсуждение в Госдуму. Там, к слову говоря, зреют дивные перемены: вместо одной группы из ста человек, для инициирования референдума потребуются теперь ми-

нимум 45 таких же групп из сорока пяти субъектов федерации, причем процесс регистрации придуман многоступенчатый, с обязательным нотариальным заявлением. Короче, состаришься и умрешь прежде, чем дело дойдет до рассмотрения. Что, собственно, от тебя и требуется. Так вот, насчет финансовой чистоты: тут дело дошло до метафор...

Выступая в понедельник на пресс-конференции в Москве, глава Центризбиркома Вешняков сказал, что новый закон о референдуме защитит систему от подлогов и фальсификаций. «Этот механизм, — сказал Вешняков, — позволит избежать при сборе подписей зарабатывания криминальных денег. Демократию надо, как барышню, защищать, оберегать и не давать ее покупать за грязные деньги».

Извините, что мы сегодня все о деньгах да о деньгах. Так получилось. Дело в том, что в процессе строительства законности, демократии и гражданского общества вокруг президента России сами собой консолидируются не только люди, но и, главным образом, бабки. Вот и давеча...

По сообщению издания «Газета», Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Управление делами президента получит в управление дополнительные крупные финансовые средства. Отныне именно оно будет централизованно закупать автомашины для правительства, обеих палат парламента и высших судов, а также обеспечивать госслужащих квартирами, дачами и медицинским обслуживанием, забрав эти функции у министерств и ведомств. Этот финансовый механизм давно и успешно работает на федеральном уровне: Кремль берет все региональные денежки себе, а потом с барского плеча, по своему разумению, раздает. Очень, говорят, повышает управляемость. А уж явку на выборы повышает почти автоматически. Вот и здесь: все блага теперь под управделами. Весь золотой ручеек — в один крантик; в очередь, сукины дети, в очередь... Кстати, почему же нам будет эта их новая радость? Издание «Газета» попыталось это выяснить, но получило отлуп: оказывается, статьи бюджета Управделами президента являются закрытыми. Очень удобно: захочет какой-нибудь вредный налогоплательщик узнать, сколько его денег тратится на дачи и машины слуг народа, — очнется шпионом. Впрочем, хозяева крантика признали, что в общей сложности счет идет на многие миллионы долларов. Ну, кто бы сомневался... Все хорошо, все хорошо!

На фоне больших финансовых успехов власти противным диссонансом прозвучало очередное заявление международной организации Freedom House. Они там ездят по миру с приборами и замеряют демократию. И вот, можете себе представить, мы у них уже на третьем месте по СНГ. На первом — Туркменбаши, потом батька Лукашенко, а в затылок батьке уже дышит наш сугубо демократический гарант, в подобающее место которому дышит, в свою очередь, все наше гражданское общество. Наговорили, в общем, про нас гадостей в этом Freedom House. Но мы люди крепкие, нас западными замерами не возьмешь, мы свою линию знаем!

В минувший понедельник для подготовки доклада об обстоятельствах дела ЮКОСа в Москву прибыла специальный представитель Ассамблеи Европы Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер. В числе прочего, она намеревалась посетить арестованных по этому делу. Осуществить свой замысел

представителю ПАСЕ не удалось. Еще бы ей это удалось! Вот она, небось, думала: если из Парламентской ассамблеи и фамилия в двадцать три буквы, так мы ее процедурными вопросами не замотаем! Замотали как миленькую. Генпрокуратура заявила, что пустить эту Сабину к Ходорковскому не может, потому что дело уже передано в суд; суд определил, что она не входит в число тех, с кем разрешены свидания, а Минюст вообще поднял брови и сказал, что впервые слышит. И уехала фрау не солоно хлебавши. А потому что не надо лезть в наши судебные дела: у нас независимое правосудие! Берите пример с Путина, дорогая Сабина!

Президент России в прошлую пятницу предостерег от каких-либо предварительных комментариев по делу ЮКОСа до вынесения решения суда. «Предварительное обсуждение этих вопросов считаю недопустимым и неправильным, так как это может оказать давление на суд», — заявил президент на пресс-конференции по итогам встречи с руководством Евросоюза. На той же пресс-конференции Путин сказал: «Делом ЮКОСа Генеральная прокуратура подает сигнал о том, что воровать нельзя».

Вполне ли понятен вам способ, которым президент не оказывает давления на суд? С одной стороны, обсуждать эти вопросы с Евросоюзом не следует, а с другой, уже известно, что это дело — сигнал, что воровать нельзя... Ах, какой тонкий и законопослушный у нас президент, аж руки немеют!

Теперь коротко о кадровой политике. Тут — почти без комментариев. На заседании в среду Совет Федерации утвердил полномочия ряда новых сенаторов, делегированных в верхнюю палату исполнительной и законодательной властями субъектов Федерации. Практически единогласно сенаторы утвердили полномочия представителя от губернатора Орловской области Марины Рогачевой, которая является дочерью губернатора Егора Строева, в свое время возглавлявшего Совет Федерации. Все-таки удивительный человек наш Егор Семенович! Ничего не жалеет для Родины! Собственную дочь пустил по казенной надобности! А ведь не последний человек — были, наверное, возможности пристроить кровинушку в какое-нибудь комфортабельное, уважаемое место (врачом, допустим, или учителем, или трамвай водить), но нет, прямо от сердца оторвал — и в верхнюю палату ее! Одно слово — Орел! Все хорошо, все хорошо!

Если нет вопросов по кадровой политике, перейдем к борьбе с преступностью. В этом деле главное — что-нибудь наконец сделать с теми, кто с нею борется, потому что когда долго борешься с преступностью, постепенно в нее вращаешься. Диффузия, знаете ли...

В минувший понедельник Главное управление собственной безопасности МВД провело операцию, в результате которой задержано несколько сотрудников столичной ГИБДД, занимавшихся продажей угнанных автомобилей своим же товарищам по работе.

Как сообщает телекомпания НТВ, операция по задержанию носила название «Чистые органы». Название, я вам скажу, правильное: органы время от времени надо мыть. Причем там наблюдается такая закономерность, что когда начинаешь отгирать в одном месте, с другого падает само... Опе-

рация началась в понедельник, а уже во вторник, по сообщению издания «Газета», несколько милиционеров добровольно сдали автомобили, приобретенные у задержанных.

Они, оказывается, не знали, что эти автомобили — ворованные (думали, у товарищей просто хобби такое — продавать автомобили). Некто Проже-рин, бывший преподаватель средней школы милиции, добровольно сдал восемь подготовленных к реализации иномарок с перебитыми номерами, в том числе «Феррари» под сто штук баксов. Вот такой у нас преподавательский состав... А главное, там вокруг — одни успевающие...

По сообщению газеты «Ъ», в минувшее воскресенье в чеченском райцентре Ачхой-Мартан произошла перестрелка между сотрудниками службы безопасности президента Чечни и милиционерами сводного отряда УВД Кемеровской области, попытавшимися произвести досмотр их автомобиля. Четыре человека убиты. С места происшествия изъято большое количество оружия и боеприпасов, в том числе два ручных противотанковых гранатомета.

Вот оно как бывает... Президента Чечни уже две недели как нет в живых, но у службы его безопасности очень много дел, и эти дела настоятельно требуют езды по республике с противотанковыми гранатометами... И в ответ на попытку досмотра, в память о покойном, сам собой открывается огонь по милиционерам. Вам странно? А по мне — так нечему удивляться.

Если старший лейтенант Рамзан Кадыров может прийти в Кремль в тренировочном костюме, то его бойцы, уж наверное, имеют право стрелять по ОМОНу... Все хорошо! Счастья вам!

04.06.2004

Здравствуйте! В эфире — программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что? Вы еще телевизор тряпочкой не накрыли, как говорящего попугая на ночь? Самое время, кстати. Его тряпочкой сверху, а самим — на кухню, и на средних волнах поискать заранее какую-нибудь вражескую станцию, чай, не впервой. Потому что скоро никто, кроме врагов, правды про Родину вам и по радио не расскажет. Но пока дают, поговорим напоследок на коротких волнах...

На прошлой неделе успешно разъяснилось одно давнее недоразумение. Но — обо всем по порядку.

В минувшее воскресенье, по просьбе представителей российских спецслужб, в программе Леонида Парфенова «Намедни» был снят с эфира сюжет о проходящем в Катаре процессе над сотрудниками этих спецслужб, обвиняемыми в убийстве Зелимхана Яндарбиева. В основе сюжета было эксклюзивное интервью с вдовой убитого. Кто именно попросил снять сюжет с эфира, Парфенов не сообщил, но, по его словам, «просьба была из разряда тех, в которых нельзя отказать».

Цитата, если кто-то не в курсе, классическая, из фильма «Крестный отец». Там, если кто не понимал подобного рода просьб, ему в кровать клали отрезанную голову любимой лошади. В нашем случае обошлось без крови, потому что руководство НТВ само бежит по кремлевскому манежу с плюмажем на голове и уже давно приседает по первой команде. Дрессирован-

ное руководство это издало приказ о снятии сюжета, уехало из Останкино, отключило мобильные телефоны и растворилось в пространстве. Да, так я обещал рассказать о недоразумении. Оно вот в чем состоит и вот как обнаружилось. В процессе дебатов с руководством, которое само долгое время косило под своего брата журналиста, Парфенов обмолвился, что, мол, у спецслужб свои задачи, а у него свои... Это заявление поразило нежную, доверчивую душу начальства. Как это может быть, чтобы задачи Парфенова не совпадали с задачами спецслужб! Что ж он раньше-то молчал? Да и потом, было время — совпадали задачи... Только руководство (в том числе руководство спецслужб) считало, что Парфенов — завербованный пожизненно, а Леонид Геннадьевич, видимо, полагал, что, оказав спецслужбам разовую услугу при переходе независимого НТВ в государственные руки, от дальнейшего сотрудничества свободен — и может парить в эфире аки птица, где ему вздумается... Чтобы недоразумение исчерпать и внести окончательную ясность в этот принципиальный вопрос, руководство просто уволило Леонида Парфенова с НТВ. Какое именно руководство дало отмашку на этот неслабый шаг, гадать не будем, но надо думать, немаленькое. А что? Покряхтят да и проглотят, слава богу, крепкие времена на дворе, не двухтысячный год — можно не валять ваньку насчет свободы слова и не рассказывать народу сказочки про независимое телевидение. Парфенов сделал свое дело, Парфенов может уходить... Заодно прикрыли программу и убрали всякое о ней упоминание с сайта НТВ. И был ли мальчик-то?..

Закрытие программы «Намедни» — главная в последние годы победа спецслужб на чеченском фронте. С телевидением, стало быть, вопросов больше нет: барометр встал на «ясно» и прибит на это «ясно» большими гвоздями. Теперь, уже без помех со стороны журналистов и при поддержке федеральных телеканалов, особысты в самом скором времени задолбают, конечно, терроризм окончательно, как им и велел президент. Правда, пока что задолбали они по большей части население.

Четырнадцать женщин — врачи из Назрани, сотрудницы американской неправительственной организации «Международный медицинский корпус», — объявлены в федеральный розыск по обвинению в подготовке террористических актов в Москве. Ориентировки на них разосланы в отделения милиции. Об этом рассказала газета «Московские новости». Одна из женщин в ориентировке была названа старшей женой Шамиля Басаева.

Веселые все-таки ребята наши особысты! Шустрые такие, и с фантазией. Женщина, определенная ими в старшие жены Басаева, старше самого Басаева, и довольно существенно старше, чего на Кавказе не может быть, потому что не может быть никогда. Но кого волнует правдоподобие? Главное, как раньше писалось в характеристиках, политику партии эфэсбешники понимают правильно, благо политика эта сама родом из органов... Тут ведь что особенно прекрасно — что вся эта ловля врачей, с ориентировками и прочими милийскими радостями, затеяна была еще до того, как президент, в послании Федеральному собранию, высказался насчет зарубежных фондов и тех, кто в них работает... Что значит общая подкормка!

Работа идет, ЧК не дремлет! Надыбали групповую фотографию этого вражьего Медицинского корпуса, сами засунули ее в бандитский схрон, сами

нашли — и готово дело: ориентировка на всех станциях метро! Хорошо, родственники позвонили из Москвы в Назрань и сообщили врачихам, что они уже неделю как — шахидки... Ну и муж старшей жены Басаева, конечно, интересуется подробностями... Но не ждите, что кого-то из особистов за такие шутки-малютки попрут с работы. Кто ж даст в обиду людей, действующих в русле указаний президента? Шахидки не шахидки, а раз лечат российский народ на американские деньги, пускай чувствуют себя виноватыми! Правильно я говорю?

Изготовление шахидок — не единственное развлечение российских особистов. Прямо скажем, есть у них в рабочее время занятия и поприбыльнее. Хотите свежий примерчик? Пожалуйста.

По данным газеты «Известия», Федеральная служба безопасности провела в компании «ТНК-Бритиш Петролеум» проверки по поводу доступа иностранных граждан к информации, составляющей государственную тайну. Как сообщается, восемь из четырнадцати руководящих постов в компании в настоящее время занимают не граждане России. Понимаете, да? Днем и ночью на страже интересов Родины! Зорким оком высмотрели угрозу национальным интересам!

Вот только удивительное дело: сделка эта, по созданию компании с доступом иностранцев к нашей нефтяной статистике, обсуждалась в свое время аж на Совете безопасности России, и никаких угроз безопасности в ту пору не обнаружилось. Не было угроз — и вдруг появились, вот ведь странность какая! И с чего это, интересно, вдруг? А ничего не вдруг. Оказывается (это я в тех же «Известиях» и прочитал), живет на свете некий господин по имени Герман Хан, имеющий в вышеозначенной компании ясный коммерческий интерес, и хочет этот Хан сохранить там на ключевых постах своих людей, вместо всяких там англичан. Вот, собственно, и весь государственный интерес. Да! Главное забыл сказать: раньше господин Хан курировал в компании службу безопасности и отношения с госорганами... Складывается помаленьку пазл, правда? В наше время, господа, поздно быть нефтяником. В наше время надо быть чекистом — или, в крайнем случае, с чекистами дружить. Тогда и с нефтью у вас все сложится, и с чем угодно... Все хорошо, все хорошо!

Но будем справедливы: на страже Родины стоит не только ФСБ, но и куча других министерств. И главная стратегическая проблема состоит в том, что Родина, бедолага, одна, а защитить ее границы, недра и вообще все, что плохо лежит, хочется всем. Лучше многих справляется с задачей Министерство обороны.

По сообщению издания «Газета», Счетная палата проверила, как Минобороны продает ненужное государству военное имущество. Серьезных нарушений аудиторы не нашли, однако, по их словам, найти и не могли: при проверке оказалось, что у военных практически отсутствует учет недвижимости и законодательно оформлено только две сотых процента от всех объектов Минобороны. В итоге, как сообщает «Газета», большая часть имущества уже разворована. Сергей Степашин в этой связи предложил освободить военное ведомство от несвойственных ему коммерческих функций.

Ну, я вам скажу: это уже настоящее безобразие! Я — про степашинское предложение. Как это — «освободить военное ведомство от коммерческих функций»? И что значит «несвойственных»? Кому несвойственных? Армии? Сергей Вадимович, да перекреститесь вы да загляните, ради бога, в казармы, а потом, для сравнения, в ближайшее Подмосковье, где за последние пятнадцать лет повзростало генеральских особняков, что грибов, — и прикиньте на досуге еще разок, какие функции для нашей армии свойственны, а какие несвойственны... Нет уж, святого вы не троньте! Армия наша торговала и торговать будет! Генералы — стратегическим запасом, офицеры и прапорщики — матчастью помельче, солдаты обмундированием... Кто до чего дотянется в процессе защиты Родины. Хорошая сделка так повышает обороноспособность, я вас умоляю!

Теперь от материй бранных, материальных, перейдем к возвышенному и поглядим в сторону законодателей. Как они там, без нас? А ничего. Причем чем дальше от нас, тем лучше. Приняли давеча, например, во втором чтении «Закон о митингах».

Первая редакция этого законопроекта вызвала большой скандал: тамошние умельцы перестарались и сгоряча назвали некоторые вещи своими именами. Ну, там, типа — «запретить!» Неинтеллигентно получилось, недемократично. Президент страшно возмутился, и безымянных авторов законопроекта некоторое время возили в прессе лицом по письменному столу. Это дало дивные демократические результаты — и вот, стало быть, вторая редакция закона. О, это совсем другое дело! Слово «запрет» исчезло, теперь это будет называться «согласование». Так ведь гораздо интеллигентнее, правда? Вот, послушайте.

«Независимая газета» цитирует фрагмент второй редакции закона о митингах, принятого на прошлой неделе Государственной Думой. В нем, в частности, говорится: «Организатор не вправе проводить мероприятие, если с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и времени проведения публичного мероприятия». М-да... Хрен продерешься через родительные падежи, но все равно понятно, что стало гораздо лучше, правда?

«Согласование» — это же не запрет. Хочешь провести митинг — иди к местному чиновнику, и мотивируй, и согласовывай хоть до Страшного суда. Не удалось отмотивировать и согласовать — твои проблемы. А в каких случаях и по каким поводам чиновник может повернуться к власти передом, а к тебе задом, в законе указать забыли. Так что всё страшно прогрессивно! Еще немного так попрогрессируем — и ку-ку, привет от единства партии и народа. Свежо предание? Ну, то-то. Да и вообще: зачем изобретать велосипед, когда все уже было, и было так прекрасно!

По сообщению ИТАР-ТАСС, партия «Единая Россия» решила возродить систему политической учебы. Московская партийная школа будет работать на базе городской организации «единороссов». Семинары будут проводиться раз в месяц, «без отрыва от производства». Как заявили в пресс-службе организации, «цель проекта — взять лучшее от налаженной в свое время эффективной системы политической учебы». «Эффективная система

политической учебы». О да, да, да! Значит, так. Те, кому за сорок, могут ненадолго приглушить звук, чтобы зря не травмировать психику, а для молодежи — рассказываю. «Эффективная система политучебы» — это вот что. Это когда под угрозой неприятностей по службе вас загоняют после работы в душную комнату, и самый пыльный долболоб из начальства рассказывает там про планы партии, пока последняя муха не разобьет себе с тоски башку о стекло. Запомнили? Лет через десять сверим ощущения... А пока давайте, всем скопом, исхитримся, обманем Геродота, войдем в эту тухлую водичку сызнова, а то еще не все обнаслаждались... Все хорошо!

Теперь — о правосудии. Это штука тонкая, местами заковыристая... Тянуть резину, умеючи, можно довольно долго... По сообщениям СМИ, суд над Михаилом Ходорковским начался с того, что судья обнаружила отсутствие в обвинительном заключении одного листа. Ходорковский пояснил, что уже ознакомился с ним отдельно, однако судья заявила, что для соблюдения прав подсудимого нужно изготовить новую копию, после чего в заседании был объявлен перерыв.

Да! Если листочек не вклеен, а лежит отдельно, заседание начинать никак невозможно. Сие есть нарушение! Родимая Фемида навела линзы на этот квадратный миллиметр закона и легла за закон костями, и Ходорковского увели в наручниках обратно в фургон. Держать его незаконно в тюрьме можно, задним числом оформлять дела — на здоровье, адвокатов обыскивать — милое дело, президенту страны заранее объявлять его вором — это как с гуса вода, но чтобы листочек лежал отдельно — такого мы в правовом государстве позволить не можем! Новую копию обвинительного заключения изготавливали четыре часа, после чего обнаружилось, что в нем не хватает уже четырех листов, и наша придурковатая Фемида снова объявила антракт. Когда все листочки удалось наконец сшить в нужном порядке, на манеж вышел новый клоун, обиженный последовательно Богом и Ходорковским представитель Министерства по налогам и сборам — здравствуй, Бим, здравствуй, Бом! — и заявил, что потерпевшая сторона не успела ознакомиться с обвинительным заключением. Ходорковскому срок ознакомления с делом определили по суду, а над потерпевшими, стало быть, не каплет, они и не успели. Им же не в камере до восьмого числа сидеть... А до заседания сообщить о том, что не успели, было нельзя? А нельзя. А почему? А не ваше собачье дело. Правосудие, мейд ин Раша!

И напоследок — вкратце расскажем о новостях, ну, скажем так... спорта. По сведению агентства «Интерфакс», во время встречи в Кремле в минувший понедельник президент Путин назвал победу футбольного клуба «Терек» в Кубке России символом возрождения Чечни. Президент продемонстрировал саблю, которую подарил ему покойный президент республики Ахмад Кадыров — и предложил отдать ее на хранение сроком на год лучшему игроку клуба «Терек». После короткого совещания было принято решение, что сабля будет отдаваться лучшему игроку клуба по итогам сезона.

Ну что же, спорт у нас отродясь не существовал сам по себе: все больше для нужд государства. И харламовские коньки, и слезу Родниной — все конвертировали в советский престиж и приспособляли к строительству

коммунизма! Теперь вот сгодился Путину «Терек» из Грозного, встало лыко в строку... Браво, дорогой Владимир Владимирович! Команда, в которой играют два чеченца — и играют где угодно, только не в Чечне... — это, конечно, самый сильный признак возрождения республики. Особенно когда других нет... А уж переходящая сабля покойника — такой талисман на будущее, что я за команду спокоен... Счастья вам!

18.06.2004

Здравствуйте! В эфире — программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Вот и еще неделя прошла — прошла себе и походя раздвинула горизонты, низкий поклон телевидению и в особенности программе «Время». С благодарности оной, пожалуй, и начнем.

В чем, товарищи, отличие программы «Время» от информационных программ в развитых странах антинародной демократии? Информационные программы в развитых странах антинародной демократии (ну, там, допустим Си-эн-эн какое-нибудь или Би-би-си), люди смотрят для того, чтобы получить информацию о произошедшем. А программу «Время» люди смотрят главным образом для того, чтобы узнать свое будущее. Уже сорок лет (с небольшим перерывом) девятичасовой выпуск — самый надежный источник знания о завтрашнем дне. Вот, например, выборы в Чечне. Они состоятся еще черт знает когда, там двенадцать кандидатов — один неизвестнее другого и полные непонятки... Но непонятки эти существовали до минувшего вторника. А во вторник вечером страна, нарабатывшись в сторону полного удвоения ВВП, глядит в телевизор и видит: сидит в Кремле президент Путин, а напротив него — один из тех двенадцати кандидатов, глава тамошнего МВД Алу Алханов. И сразу все стало ясно с выборами! Разговор у них был огромного интеллектуального содержания. Сначала президент сообщил кандидату, что предложение выдвинуть его поступило из разных районов Чечни (сам-то Алханов, видимо, был не в курсе, так президент России ему напомнил). Мало того: выяснилось, что они промеж собой уже много раз говорили о развитии республики! Благая весть... Не сказать, чтобы республике это пошло на пользу, но, видать, все впереди. А уж после пассажа про распределение денег и компенсацию за утраченное жилье стало окончательно ясно, что Алханову поста президента Чечни не избежать!

Дорогие чеченцы! Вы поняли, кто выдаст вам компенсации? Кто в свой отпуск не будет спать ночей, чтобы вы жили счастливо, — фамилию запомнили? Рядом с кем сидел, видели? Ну то-то. Короче, вот вам ваш новый президент, а теперь идите и выбирайте кого хотите...

Впрочем, справедливости ради следует заметить, что рядом с президентом в Кремле перед выборами кто только не сидел и не всем это помогало. Раз на раз не приходится... Валентине Матвиенко, например, пожелал гарант удачи, и так оно и случилось, а встретился с главой Алтая Суриковым — Суриков взял и пролетел на выборах, как фанера над Парижем... Как раз, видать, этой встречей в Кремле электорат и достало окончательно. Но от Сурикова народ не спасло. Ибо кто письмо номенклатурного счастья по нужным адресам двадцать раз разослал, того это счастье настигнет непременно! Надо только выучиться ждать...

Бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков назначен помощником полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Об этом в минувший понедельник сообщило агентство «Интерфакс-Сибирь». На выборах главы Алтайского края, прошедших в апреле, Суриков проиграл известному эстрадному артисту Евдокимову. О! Помимо устройства судьбы товарища Сурикова, тут вырисовывается и новая конструкция народовластия. Президент, стало быть, выбрал для народа губернатора; народ этого губернатора послал лесом и выбрал другого; теперь тот, кого выбрал президент, будет присматривать за тем, кого выбрал народ... Чтобы было понятно, кто у нас главнее — народ или президент... А чтобы народ вообще слишком много о себе не понимал, Государственная дума в прошлую пятницу озаботилась и скоренко, во втором и третьем чтениях сразу, приняла «Закон о референдуме». Там, конечно, без легкой уголовщины не обошлось, но — нашли чем удивить...

По сообщениям СМИ, Совет Госдумы нарушил регламент, не дав депутатам положенного времени на изучение законопроекта о референдуме и внесение поправок. Как полагают эксперты, спешка была вызвана желанием Кремля не дать КПРФ объявить референдум о праве собственности на землю и недра. Новый закон будет принят Советом Федерации и подписан президентом до конца месяца. После этого организация референдума без одобрения властей станет практически невозможным.

Вот как хорошо! На выборах — Вешняков с арифмометром особого назначения, а в промежутке — тишина и порядок.

Да и какой, к чертовой матери, референдум? Что вы как маленькие! Народовластие какое-то придумали... Очнулись, называется. Тут к юбилею Андропова фильм показали, с придыханием, на Первом канале. Да что там фильм — всей страной спраздновали девяностолетие старца этого гэбушного...

Одной из школ Ставропольского края присвоено имя Андропова. Как сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополя, в селе Солуно-Дмитриевское Андроповского района прошла торжественная линейка, посвященная этому событию. В экспозиции школьного музея собраны материалы о жизни и работе юбиляра. На прошлой неделе памятник Андропову был установлен в Петрозаводске перед зданием местного УФСБ. В Рыбинске, по просьбе ветеранов-речников, имя «Андропов» дано новому танкеру. Как сказано в заявлении отдела по связям с общественностью государственной компании «Волготанкер», «это решение — дань уважения видному государственному деятелю, который именно в Рыбинске делал первые шаги в освоении речной профессии...»

Да... Много воды утекло — в том числе мимо Рыбинска, а запах от этой водички все тот же... И все-таки: танкер, памятник и торжественная линейка — это полумеры. Ради настоящего уважения к андроповской памяти, для большей последовательности, надо было в юбилейные дни расконсервировать пермские и мордовские политзоны — и заполнить их засветившимися демократами. Вон их сколько повылезло за пятнадцать лет, и стукачей не надо! Ну, ничего, все впереди, первые политзаклученные у нас уже появились, авось к столетию Андропова наследник упущенное навер-

стает... Некоторые эстетические впечатления от этого наследника предвещают хорошие результаты.

Во время встречи лидеров большой восьмерки лондонская «Таймс» выставила каждому из участников саммита оценку за костюм. Президент России Владимир Путин за свой длинный черный пиджак был назван «гробовщиком, забывшим надеть галстук», и получил тройку (по десятибалльной системе).

Тут, конечно, дело не в оценке, а — в образе. В меру сумрачный и предельно деловой, Владимир Владимирович и впрямь хорошо бы смотрелся с сантиметром на шее у неподвижного тела нашей демократии. Но пока она еще маненько шевелится, приходится улыбаться и строить из себя доктора, хотя все уже догадались. Произнесение посланий Федеральному собранию, либеральная риторика и полеты к братьям по разуму на Си-Айленд входят в ритуал, но даже слепой понимает, к чему клонит матушка-История на данном историческом отрезке. Если, конечно, в придачу к потере зрения этому слепому не отбило обоняния. Потому что запах от нашей, залеченной господином гробовщиком, демократии идет уже вполне ощутимый. Вот сводка с просторов Родины за пару последних недель — пока Владимир Владимирович, свет наш, летал туда-сюда поперек океана. Верховный суд вернул в производство дело физика Данилова — будем, стало быть, опять, пельменным образом, лепить шпионов; убийц Холодова, напротив, суд оправдал — впрочем, пардон, они теперь и не убийцы вовсе; что ж говорить о генерале Грачеве, который требовал от подчиненных «заткнуть рот» журналисту; генерал совсем не убийство имел в виду... А что он имел в виду? Бизнес помаленьку сворачивает манатки с Родины — кто в Челси, кто в Грузию, как Бендукидзе... А возле утрамбованного властями ЮКОСа птичий-стервятником в знакомой позе сидит на ветке власти некто Йордан: готов, стало быть, предложить свои услуги по проверенной схеме... Благо Ходорковский ныне находится примерно в тех же СИЗО-крылых помещениях, где находился Гусинский в разгар отъема НТВ: идеальные условия для переговоров по бизнесу. Ну, и конечно, опять десяток-другой военнотружеников погиб в Чечне, — впрочем, на это у нас уже никто и внимания не обращает: это у нас, господа, быт... И демократия — по всему видать, опять не жилец на данном историческом отрезке. И господин гробовщик имеет все основания костюм не менять: гармония формы и содержания — такая редкая вещь в нашем неустроенном мире...

На фоне судебно-политических успехов власти все остальное на Родине тоже шло традиционным чередом: умом не понять, аршином не измерить, правая, левая где сторона, без пол-литра по-прежнему не поймешь...

По сообщению информационного агентства REGNUM, настоятель Иоанно-Богословского храма в селе Конь-Колодезь Липецкой области отец Иоанн Чепрасов инициировал снос памятника Ленину, стоявшего напротив церкви. Коммунисты села Конь-Колодезь обвинили отца настоятеля в вандализме и пожаловались на него в Липецкое и Елецкое епархиальное управление. Рассмотрев жалобу, епархиальный совет лишил опального батюшку сана и отлучил от церкви, сообщает агентство REGNUM.

Да-а... Наощупь живем, господа... В вечном поиске дверной ручки. Стало быть, снос памятника тому, кто поносил в России половину церквей, — это богохульство и вандализм. А типовой Лукич с протянутой рукой — стало быть, произведение искусства. Причем коммунисты села Конь-Колодезь все как один искусствоведы, а тамошнее епархиальное управление — филиал парткома...

Продолжаем путешествие по необъятным просторам отечественной морали. Здесь надо быть готовым ко всему. И если вас удивило епархиальное заступничество за Ильича, — значит, вы плохо готовы к жизни на Родине. Это, братцы мои, семечки! А вот не хотите ли, для пушного размаху, гулянки министерства обороны по случаю начала Великой Отечественной войны?

По сообщению «Независимой газеты», в ночь с 21 на 22 июня на Центральной военно-туристической базе в Подмоскovie состоится праздник. Так сказано в рекламном объявлении, распространенном представителями военного ведомства. В программе праздника: фейерверк, шоу, театрализованные гуляния и дискотека. Вот такая у них там, в министерстве обороны, задумана радость в честь плана «Барбаросса»... Кто именно из тамошних стратегов сие замыслил, «Независимой газете» выяснить не удалось, но к чему подробности? Вы генералов наших, в целом, представляете? Вот и ладушки. А цифру, выделенную на патриотическое воспитание в текущем году, помните? Нет? Зря. 430 миллионов рублей. Вот, наверное, из этих миллионов нам дискотеку с шашлычками в День памяти и скорби и организуют...

И напоследок — об одной русской народной забаве. По сообщению РИА «Новости», в четверг во Владивостоке, у здания Генконсульства США, прошел пикет против издевательств над иракскими заключенными. Участники пикета, представители общественных организаций Приморского края, потребовали суда над охранниками тюрьмы «Абу-Грейб» и вывода оккупационных войск из Ирака.

Да, медики замечали: когда долго сидишь без воды, света и перспектив, начинаешь сильно не любить Америку... На десятый год жизни под Наздратенко и Дарькиным пробивает на сострадание иракскому народу... А поглядишь в лицо родного владивостокского мэра Копылова — и сразу хочется суда над охранниками тюрьмы «Абу-Грейб». Счастья вам!

25.06.2004

Здравствуйте! В эфире — программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Знаете, прошлая программа была такой невеселой, что я решил в этот раз побаловать дорогого радиослушателя чем-нибудь дурным и забавным, типа сценок из жизни губернаторов... Но оказалось — не судьба. Пришел во вторник еще один подарок с Кавказа — удивительный, впрочем, только для тех, кто видит мир через программу «Вести» российского телевидения. Для остальных — было бы даже странно, если бы обходилось без таких подарков. Раз нам не надоело делать то, что мы делаем в Чечне, и голосовать за тех, кто это делает, — не стоит удивляться и остальному. «Норд-Ост» нам мозги не проняло, взрывами не проняло — ну что же, раз народа у нас излишек, у матушки-Истории найдется в запасе еще много сильнодействующих лекарств...

Итак, несколько сотен боевиков целую ночь хозяйничают в Назрани, расстреливая работников МВД и просто попавших под руку; потом не торопясь проводят утренний намаз, танцуют зикр и растворяются почти без потерь... А что же наши доблестные спецслужбы? Наш незримый бой — где он в настоящий момент происходит? На ком практиковались наши многочисленные лубянцы, например, в тот самый вторник, когда боевики целые сутки гуляли по Ингушетии? И откуда у этих боевиков была форма наших спецслужб? И что нам делать с болтовней об успешной «чеченизации» конфликта, когда большую часть нападавших составляли ингуши? Все эти вопросы задают, разумеется, только самые малосознательные граждане, и спрашивают они об этом по большей части себя, потому что публично задать этот вопрос кому бы то ни было на Лубянке или в Кремле никакой возможности с некоторых пор не имеется. И малосознательные граждане, начиная со вторника, допивают остатки валокордина, поминают добрым словом лампасы Героя России Патрушева и дивятся, как он до сих пор их не отпорол и на них не удавился. М-да... Слушайте, есть идея. Нет, правда... Может, бойцам невидимого фронта уже оставить в покое китайского шпиона физика Данилова, экологов и журналистов, перестать прослушивать оппозицию и сконцентрироваться, наконец, на Басаеве с присными? Довести до конца это дело, а не дело Игоря Сутягина, получившего пятнадцать лет тюрьмы за разглашение документов, подписанных Рейганом и Горбачевым... И внезапно ворвавшись толпой в маски, положить вниз лицом — убийц... С Ходорковским у них это получилось — стало быть, могут! Но это я тоже начал разговаривать сам с собой. А наши адресаты, по большей части, люди, занятые серьезными делами, и им не до наших вопросов. Кстати, о некоторых серьезных делах, которыми заняты наши спецслужбы, рассказывала на прошлой неделе британская газета «Гардиан».

В распоряжении газеты «Гардиан» оказалось анонимное признание офицера ФСБ в его причастности к совершенному недавно убийству Рашида Оздоева, помощника генпрокурора Ингушетии. По словам офицера ФСБ, у него и его товарищей был прямой приказ на уничтожение Оздоева. Убитый занимался расследованием злоупотреблений российских военных в республике.

Знаете, что такое лента Мебиуса? Это когда концов не найти, и из одной плоскости в другую переходишь совершенно незаметным образом... Прокурор, стало быть, расследовал многочисленные случаи похищений жителей Ингушетии и переселенцев из Чечни — и пришел к выводу, что к похищениям причастны российские военные; что это у них бизнес такой, и выкуп — за живого или за тело со следами пыток — составляет до нескольких десятков тысяч долларов. Потом прокурора убивают — кто, будем полагать, неизвестно, но обычно прокуроров убивают за успехи в расследовании... А через какое-то время ночью в Назрань входят боевики и тоже начинают убивать. И, по свидетельствам очевидцев, говорить при этом, что происходящее — ответ на действия властей республики, покрывающих беззаконие российских спецслужб и «эскадронов смерти». А потом они из города уходят, и туда снова входят «федералы»...

В минувшую среду в лагерь беженцев Альтиево под Назранью вошли неизвестные вооруженные люди в масках и провели зачистку. По свиде-

тельству коменданта лагеря, неизвестные «срывали двери с барakov, разбрасывали вещи, мужчин выгоняли на улицу, раздевали догола, клали вниз лицом, избивали, отбирали паспорта и требовали от беженцев покинуть лагерь». Жительницы Альтиево обратились к замначальника Управления по делам миграции в Ингушетии, но тот заявил, что помочь не в силах и «если есть угрозы — надо ехать домой в Чечню». Вот такая борьба с терроризмом. И если кто-нибудь возьмется всерьез расследовать, что же это за неизвестные такие, в масках и с собаками, приходили в лагерь беженцев, то дай бог, чтобы самого этого человека не убили, как прокурора Оздоева... А потом однажды в какой-нибудь город снова войдут вооруженные люди (тоже в масках) и начнут расстреливать работников МВД и спецслужб... А президент туда полетит и весь в черном, с мужественным видом, пройдет на радость программе «Вести». Это и есть лента Мебиуса. Хотя я бы уже переименовал ее в честь Владимира Владимировича...

Что же касается чеченской войны в целом, то хочется за нее вступиться! Конечно, вся эта затея кажется кровавой, безумной и иррациональной, но это только на первый взгляд. А при втором, попристальнее, оказывается — совершенно рациональное занятие! И уж со стороны тех, для кого эта война занятие рациональное, было бы совершенным безумием ее останавливать...

По данным немецкой газеты «Зюддойче Цайтунг», сегодня в Чечне действует от шестисот до тысячи нелегальных мини-заводов по добыче нефти. Горючее разливается по бензовозам и вывозится за пределы республики. Целые колонны беспрепятственно минуют контрольно-пропускные пункты в сопровождении российских танков и военных. Задействованность такого количества солдат и целых подразделений бронетехники указывает на то, что дело контролируется российским генералитетом, пишет газета. По данным чеченской милиции, за сутки из Чечни контрабандой вывозится нефть стоимостью в 800 тысяч долларов. Восемьсот тысяч долларов в день! До борьбы ли тут с Басаевым? Я бы даже сказал: напротив. С Басаевым в этом случае как раз и надо договариваться... А что? Сколько раз договаривались — нешто вдруг отворачиваться от инвалида? Даже неполиткорректно как-то... Пускай себе взрывает и расстреливает время от времени, пускай себе держит в страхе Кавказ — тут как тут непобедимая и легендарная, в боях познавшая, почему дармовая нефтянка и торговля людьми... Плюс транзит... Слушайте, ну будьте вы людьми, войдите в понимание! От Грозного до станции Орджоникидзе, что на границе с Ингушетией, всего 60 км, и на этом пути стоит восемнадцать КПП, и такса известна со времен генерала Грачева: легковушка — полтинник, автобус — стольник, грузовик — двести рублей. И это только одно направление. А сколько их в обе стороны? На те КПП контрактником из России попасть — пятьсот долларов стоит. Представляете: пятьсот долларов за то, чтобы попасть на войну? А на том КПП чуток послужишь — и себе хватит, и семье, и начальству. По данным той же зловерной немецкой газеты (немцы счет любят), солдаты только на одном КПП «Кавказ» отдают высшим военным чинам по 100 тысяч долларов в год. Вот вам и цена вопроса о мире в Чечне и, заодно, ответ на старые недоумения о том, как боевики попали в Буденновск, как проехали в Москву... Короче, война — штука доходная, я уж не говорю о восстановлении. То есть я-то и не говорю, там и без меня есть кому...

По сообщению ИТАР-ТАСС, в московском институте «Гипрогор» разработан Генеральный план восстановления Грозного. План предусматривает, что в городе будет жить полмиллиона человек. Преимущество отдано жилым домам и зданиям в 6-8 этажей. Реализация генплана рассчитана на 25-30 лет.

Двадцать пять-тридцать лет — срок замечательный, особенно в части освоения государственных средств. Сохранение исторического центра города, зеленый пояс по берегам реки Сунжа, зона отдыха, протягивающаяся от реки зеленой полосой к центру... Это — уже в плане. А еще хорошо бы через реку Сунжу перекинуть мостик, а на мостике чтобы крестьяне торговали своими товарами... Жалко, у помещика Манилова не было федерального финансирования, он бы еще не то придумал. Ну, мостики и зона отдыха в Грозном — это дело будущего, а сегодня нам дай бог удержать Ингушетию. Тут покамест — без зоны отдыха...

Более четырехсот молодых офицеров, окончивших в этом году военные учебные заведения, будут направлены для укрепления Внутренних войск, дислоцированных на Северном Кавказе. Об этом в среду сообщил агентству «Интерфакс» начальник управления кадров Внутренних войск МВД генерал-лейтенант Ермаков. Он подчеркнул, что практически все лейтенанты, получившие направление на Северный Кавказ, «в добровольном порядке изъявили желание служить в этой горячей точке». О да. Добровольно и с песнями... Надо подбросить в топку свежего человеческого материала — не закрывать же завод...

Реальным врагам мы покамест противопоставим тухловато, но уж зато условный противник — пошады не жди! В минувшую среду в присутствии президента России Вооруженные силы России блестяще отразили учебное нападение с моря. Насовали врагам России по самое хоккайдо! Даром у нас, что ли, ноль четвертый год на дворе? Это за Цусиму им, условным противникам! Нападение было, разумеется, внезапным, но ответ готовился заблаговременно. О визите Путина на Камчатку было известно сильно заранее — а потом всем стало заранее известно и куда именно гарант направит свои стопы. Тут не надо быть большим штирлицем: ближе к делу, по всему будущему маршруту движения этих царственных стоп начали происходить срочные ремонтные работы. Где асфальт переложили, где газоны постригли, где красочкой прошлись, а во вторник с территории парка напротив Института вулканологии разом вывезли весь мусор. Ну! Сами посудите, с какой стати вывозить мусор из парка, если туда не собирается зайти президент России? Президент успокоил жителей Камчатки светлым будущим Ингушетии — и отправился в обратный путь. Пролетая над Уралом, Владимир Владимирович имел счастье лично наблюдать в иллюминаторе процесс партийного строительства...

По информации газеты «Русский курьер», на днях из Москвы в Свердловское отделение «Единой России» пришло распоряжение увеличить ряды регионального отделения партии до одного процента от общей численности избирателей, проживающих на подконтрольной территории. Для выполнения плана руководству свердловских «единороссов» необходимо еженедельно вербовать в свои ряды по 500 человек, отмечает газета.

Ну, планы партии — планы народа: по пятьсот так по пятьсот. А где ж их взять? Ну, для начала, из числа тех, кому с этой подлодки деваться некуда. В Сысертском районе местный глава администрации, сразу после переизбрания Путина вторичным президентом, предупредил всех чиновников об обязательном вступлении в «Единую Россию». То есть, конечно, можно себе представить, что чиновник вдруг встанет посреди Сысертского района и скажет: да подите вы к чертовой бабушке с вашими мишками, я народу поставлен служить, а не вашей пыльной партии! Можно такое себе представить, но, признаюсь вам, трудно. Гораздо легче представить первомайскую екатеринбургскую демонстрацию, о которой рассказала газета «Русский курьер»: впереди чиновники во главе с председателем областного правительства, потом депутаты областной и городской думы, потом члены политсовета свердловского отделения, потом предприниматели из координационного совета сторонников партии «Единая Россия», и все со знаменами и шариками с Путиным. Народное гулянье...

Пока президент летал на Дальний Восток, в Москве на хозяйстве остался премьер-министр. Это, как выяснилось, тоже немало. По сообщениям СМИ, премьер Михаил Фрадков, выступая во вторник на международной конференции инвесторов, заявил о своем категорическом несогласии с тем, что в России есть все признаки авторитаризма власти. «Мы это не делаем! — заявил он. — Я уже не раз говорил и еще раз подтверждаю, что мы принимаем все необходимое, чтобы баланс был оптимальным».

Когда премьер-министр принимает все необходимое, у него устанавливается оптимальный баланс, и страна может спать спокойно. Вот только говорящие об авторитаризме в России, боюсь, имеют в виду не Фрадкова, а совсем других авторитетов... Что касается самого Михаила Ефимовича, то он, конечно, ни в чем не виноват и в авторитаризме не замечен до такой степени, что само его существование вообще находится под вопросом...

Впрочем, без всякого авторитаризма правительство находит случаи внести свою лепту в прочищение мозгов. Так сказать, тихой сапой...

Газета «Русский курьер» анализирует текст социальных законопроектов, внесенных в Госдуму правительством в конце марта. В частности, из закона «О реабилитации жертв политических репрессий» предлагается изъять слова о «моральном ущербе», а также целый абзац об уголовной ответственности, которую несут работники органов ВЧК, ОГПУ, НКВД и других органов, осуществлявших политические репрессии в годы советской власти. Ну? Какой моральный ущерб? Какая ответственность? Какая может быть ответственность у страны, которой лень посчитать погибших? У нас широкая натура, мы потери округляем на миллионы... Сколько там репрессированных? А шут его знает... плюс-минус население пары голландий... И столько же, надо полагать, тех, кто их сажал и расстреливал. Но мы ж не немцы какие-нибудь, чтобы мучиться моральной ответственностью! В девяносто первом сгоряча приняли закон европейского профиля — надо исправлять... особенно с учетом происхождения нынешнего гаранта, из глубин той самой генеалогической ветки: ВЧК, ОГПУ, НКВД... Все хорошо.

Теперь буквально пара слов про тягу к знаниям. По сообщению РИА «Новости», Воронежская прокуратура возбудила уголовные дела в отноше-

нии семи сотрудников ГИБДД, скупавших фальшивые дипломы о высшем образовании. Как объясняют сами милиционеры, поводом для совершения ими незаконных действий стал приказ начальника областного управления ГИБДД о присвоении офицерских званий штатному составу только при наличии высшего образования.

Фильм «Офицеры» — помните? Так вот, это — не про воронежское ГИБДД...

Напоследок все-таки расскажу вам веселое, как хотел... По сообщению агентства «Интерфакс», специалисты шведского консорциума «Скангари» намерены помочь Карелии в борьбе с алкоголизмом и наркоманией на крупных промышленных предприятиях Петрозаводска. В течение трех лет шведы собираются потратить на борьбу с карельским алкоголизмом около четырехсот тысяч долларов. Ага! Чуют шведы, откуда беда придет... Как мы их Чернобылем-то выдрессировали, а? Правильно, пускай вкладываются — и им безопасность, и нам экономия! А уж куда наши бюджетные денежки с пользой вложить, мы всегда найдем! Вот, например, на другом конце России-матушки, ровно по диагонали, есть город Владивосток, не к ночи будь помянут, там есть мэр Копылов, широко известный — так он пару лет назад задумал построить через бухту Золотой Рог канатную дорогу. Потом, правда, раздумал, но под это дело успел отправить делегацию чиновников на пару недель в Альпы. Они там опыту набрались!.. Счастья вам.

02.07.2004

Здравствуйте! В эфире — программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Минувшая неделя была неделя как неделя — начальство заботилось о народе, народ любил начальство; чиновники пожиже доклады-вали чиновнику подтверже о многочисленных победах; в Чечне продолжалось строительство мирной жизни путем бомбометания; расширился ассортимент товаров... Впрочем, обо всем по порядку.

Неделя началась с большого термоядерного успеха — если я не ошибаюсь, наше правительство стоит на пороге больших достижений, и вот-вот ему удастся повернуть такую удачную сделку, что мы, ежели выживем, то непременно озолотимся.

По сообщениям СМИ, в минувший понедельник глава правительства Михаил Фрадков публично одобрил план строительства в России международного хранилища ядерных отходов. «Сегодня Россия является единственной страной, где внутреннее законодательство позволяет это реализовать», — заявил премьер-министр на встрече в Российской академии наук. В минувший вторник глава МАГАТЭ Эль Барадеи уже провел по этому поводу переговоры с президентом Путиным.

Тут, братья мои, такая замечательная арифметика, что жизнь вообще отходит на второй план! Закопал на Родине тысячу тонн ядерных отходов — получай полтора миллиарда долларов! А тонн этих в мире лежит незаконных — двести тысяч; умножай в столбик и теряй сознание... Конечно, не сказать, чтобы все эти миллиарды достались народу, но по крайней мере те, кто пролоббировал решение закопать в Родину-матушку немножко це-

зия, будут вполне в состоянии пожить с детьми и внуками на тех берегах, где цезий не закапывают... Остальные же россияне плавно устремятся вдогонку за жителями какого-нибудь Красноярска-26, где уже сегодня народ светится помаленьку, плавают рыбка без чешуи и рождаются свинки с лишними ногами... И в таком виде будем славить родное правительство с Государственной думой — по гроб жизни, что, впрочем, уже совсем не так далеко, как кажется; по крайней мере, за вышеупомянутые деньги гроб будет с музыкой и по первому разряду.

Но вернемся к приятному. А что может быть приятнее, чем разговор о больших деньгах? Они текут в родимое Отечество не токмо через атомные могильники — в прошлые годы их давали просто так, в благодарность за то, что мы больше не строим коммунизм. В Отечество они, стало быть, притекали, а потом судьба их становилась зыбкой и неясной, а иногда они и вовсе рассеивались в пространстве — как сон, как утренний туман... И вот не так давно один американский интернет-ресурс покати «телегу» на нашего бывшего премьер-министра, а ныне трудящегося Поволжья Сергея Кириенко. Сообщалось, что пятеро американских конгрессменов послали насчет него письмо аж госсекретарю Пауэллу, заинтересовавшись, в частности, пропавшей кредита МВФ, выделенного в то время, когда Сергей Владиленович занимал пост премьер-министра России. Статью из Интернета перепечатала «Новая газета», и уже тогда, после небольшого скандала, оказалось, что такого письма отродясь не было, а было другое — подписанное только двумя конгрессменами, правда — с аналогичным содержанием... Короче, ложки нашлись, но неприятный осадок остался. Потому что с этим кредитом за означенный период успело, действительно, произойти много смешного.

В марте 2004 года глава Счетной палаты Сергей Степашин заявил о том, что никаких нарушений в использовании Банком России средств почти пятимиллиардного займа МВФ 1998 года ею не найдено. Между тем еще два года назад он же заявлял о серьезных нарушениях в расходовании этого кредита. В частности, речь шла о четырех миллиардах долларов, которые Счетная палата «так и не смогла найти».

Итак: в девяносто восьмом, под шумок дефолта, какая-то необнаруженная номенклатурная корова слизала языком четыре миллиарда долларов — и еще два года назад Счетная палата во главе со Сергеем Степашным не смогла найти на отечественных просторах никаких следов этой питательной «зелени»... А сегодня вдруг выясняется, что ни к кому никаких претензий. Тут одно из двух: или брали и положили на место, или не положили на место и поделились (но этого я себе даже представить не могу, чур меня!). Или, наконец, в Счетной палате поработала бригада офтальмологов, и что-то такое они Степашину сделали со зрением, и он посмотрел в те же самые платежки, и вдруг видит: опа, четыре миллиарда долларов, да вот же они! Слава нашей медицине... Все хорошо.

Но что я сегодня все про деньги да про деньги... Даже неловко. Давайте лучше про веру народную. Хотя это все равно получится про деньги. Так вот: народ верует в самые разнообразные вещи — от Христа до магнитных

браслетов и живой воды, но более всего верует он в начальство. Предмету веры, как известно, нужно приносить жертвы. Ацтеки, например, в ожидании восхода солнца приносили в жертву детей — и солнце всходило... А работники калининградского совхоза «Мельниково» в надежде на дополнительное финансирование, необходимое для того, чтобы достроить в поселке школу, подарили президенту Ельцину (в девяносто шестом году, перед выборами) пять гектаров земли, а потом за него же, разумеется, проголосовали. Школа-то нужна... Но повезло им меньше, чем ацтекам: Ельцин стал президентом, потом перестал, потом прошло еще четыре года, а учебного заведения из земли так и не выросло. Может быть, следовало посыпать стройку солью и сказать волшебные слова «крэкс, пэкс, фэкс», но мельниковцев никто об этом не предупредил. И тогда они перешли к решительным действиям.

По сообщению телекомпании НТВ, жители совхоза «Мельниково» за невыполненное обещание решили на сельском сходе исключить бывшего президента России Бориса Ельцина из состава акционеров и отобрать подаренный ему земельный надел. По сообщению НТВ, теперь в Мельниково ждут визита Владимира Путина. Ему в подарок уже подготовлено десять гектаров земли.

Ну вот, теперь все точно будет хорошо! Надо только наколдовать, чтобы Путин перед выборами доехал до этого совхоза, посыпать солью кого-нибудь из кремлевской администрации, сказать волшебные слова — тогда и солнце взойдет, и школа появится... А насчет десяти гектаров вместо пяти ельцинских — это в тамошних ацтеках, видать, сдетонировал тезис об удвоении ВВП... А покамест мельниковские дети ходят в школу за тридевять земель. Какой бы предмет там ввести, чтобы они не выросли ацтеками?

А что же, кстати, Путин? Он покамест не доехал до совхоза «Мельниково», но зато вернулся живым из деревни Синявки, где они с Лукашкой, в присутствии Кучмы, возили друг друга лицами по стеле «Дружба народов» в рамках одноименного фестиваля. А вернувшись в Москву, Владимир Владимирович устроил разбор полетов уже своим. Начали с социалки. За неимением Валентины Матвиенко, с размаху брошенной на Медного всадника, имел в тот день президент Путин министра Зурабова. Речь шла о долгах перед учителями. Кому-то может показаться, что это материя чисто экономическая, но миллионы россиян стали свидетелями того, как темпы социальной защиты ускорились от одного взгляда Владимира Владимировича.

Зурабов: *«Есть сейчас основания считать, что ситуация будет выправлена в ближайшие несколько недель».*

Путин: *«В ближайшие несколько недель — это сколько? До конца лета?»*

Зурабов: *«Десять дней!»*

Путин: *«10 дней. Хорошо».*

Впрочем, я бы на месте учителей не сильно раскатывал губу: есть такая народная примета, что от доклада президенту — от чрезмерного душевного напряжения — по месту заботы что-нибудь непременно рушится. Вот на минувшей неделе — пришел к президенту генерал Шаманов, чтобы доложить об успехах по развитию вверенной ему Ульяновской области: про урожайность, про рост промышленного производства... Так пока он докладывал, в Ульяновске встали все трамваи — электрики вырубili ток за

неуплату. А президент России, поучаствовав в жизни Ульяновской области, переключился на оказание помощи крупному бизнесу.

По сообщениям СМИ, в минувший четверг в Кремле состоялась очередная встреча президента России с представителями крупного бизнеса. Открывая встречу, Владимир Путин отметил, что в России проходят административные преобразования, и поинтересовался у бизнесменов их мнением по поводу проводимых изменений. «Чувствует ли бизнес на себе административные преобразования? — спросил президент. — И если чувствует, то как?»

Вот я слушал этот вопрос и целый день думал: что же он мне напоминает? И вспомнил. Он напоминает мне вопрос, который задавал Вини-Пуху Пятачок, когда они шли охотиться за слонопотамом: «Любят ли слонопотамы поросят, и если да, то как они их любят?» Ох... Во время одной из таких прошлых встреч с президентом один очень крупный бизнесмен довольно жестко посетовал Путину на рост коррупции и административного давления. В минувший четверг в Кремле этого бизнесмена уже не было, и уже он совсем не крупный, более того — о нем в Кремле и не вспомнил никто из бывших коллег. Что значит тактичные люди... Как сказано у Ежи Леща: «В доме повешенного не говорят о веревке. А в доме палача?»

Теперь от разговоров о бизнесе перейдем к жизни номенклатурной, а уже оттуда — к тонким душевным материям, которые, как выясняется, не чужды самым практичным людям. По сообщениям СМИ, бывший вице-президент банка «Еврофинанс» Борис Боярсков назначен главой Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Вот — загадка! Был человек банкиром, да не просто банкиром, а вице-президентом банка, который злые языки называют «кремлевским кошельком», и вдруг на тебе — все бросает и идет за пять копеек руководить департаментом в министерстве культуры. А потом, чуть погодя, бросается охранять культурное наследие и следить за соблюдением законодательства. Комментируя эту эволюцию, замминистра культуры Надилов сказал в интервью газете «Известия»: «Это внутреннее состояние души каждого отдельного человека». В смысле — чужая душа потемки. Ну, в общем, там, конечно, смеркается, но кое-что еще видно. Злые языки, они ведь что рассказывают? Они рассказывают, что незадолго до того, как банкира Боярского потянуло к министерским рычагам, сам этот банк сильно потянуло к медиа-активной деятельности, и он уже всю скупает телекомпании и информационные агентства. То есть глава федеральной службы по надзору Боярсков оказывается игроком и рефери одновременно. Вы скажете: так не бывает. Ну, где-то, может, и не бывает, а у нас — только так и бывает!

Вон, министр связи Рейман по совместительству находится в близких деловых отношениях с оператором сотовой связи «Мегафон»... Я знаю страны, где за это сажают. Просто — тупо — сажают в тюрьму. Как хорошо, что мы не в такой стране, правда? Все хорошо, все хорошо...

Что-то мы в этот раз почти ничего не сказали про Чечню. Не беспокойтесь, там все идет штатно, продолжает налаживаться мирная жизнь: днем —

теракт, ночью — зачистка... В Ростове-на-Дону суд опять оправдал офицеров, убивавших мирных жителей Чечни. Дело Ульмана живет и торжествует... Ждите шахидов. Выясняются и чудесные подробности ночного налета на Ингушетию: оказывается, еще накануне, 21 июня, в пять часов пополудни все таксисты Назрани отговаривали пассажиров от поездки в столицу Ингушетии. То есть о предстоящей бойне знали все, кроме спецслужб. Президент Путин дал главе МВД Нургалиеву неделю на борьбу с терроризмом. Назавтра после клизмы от главнокомандующего спецслужбы доложили об уничтожении главного организатора нападения. Правда, вскоре начали выясняться лишние подробности...

Глава МВД Ингушетии Беслан Хамхоев опроверг информацию об уничтожении организатора налета на Ингушетию, которую озвучил накануне главный официальный представитель федеральных сил на Северном Кавказе генерал-майор Илья Шабалкин.

Боевик, уничтоженный в понедельник в результате спецоперации, является лишь однофамильцем Магомеда Евлоева, известным под позывным «Магас» и разыскиваемым в связи с нападением на Назрань. Газета «Известия» замечает, что это уже не первый случай, когда информация, предоставляемая генералом Шабалкиным, не соответствует действительности.

Смешные все-таки люди эти журналисты... Как будто в обязанности генерала-замполита может вообще входить соответствие действительности! В обязанности генерала-замполита входит распространение такой информации, которая понравится главнокомандующему, и все. А если главнокомандующему когда-нибудь потребуется правда, то он уж как-нибудь не к замполитам будет обращаться...

И напоследок — чудесная весть для любителей острых гастрономических ощущений. Газета «Искра уральская» сообщила о том, что в Нижнем Тагиле налажено производство колбасного полуфабриката в честь переизбрания президента Владимира Путина на второй срок. Мясной рулет так незамысловато и называется: «Слава Путину!» Метафорический продукт получился: так сказать, на входе — «Слава Путину!», а на выходе — то же, что и всегда. Приятного аппетита.

09.07.2004

Здравствуйте! В эфире — программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, кажется, мы рванули к удвоению ВВП с такой скоростью, что как бы не проскочить отметку и случайно его, болезного, не утроить. Мы все это, разумеется, добудем, но исключительно русским пугем, то есть через эту — через трудность. Причем трудность по возможности создадим сами, чтобы мир дуростью своей озадачить и последующим подвигом еще крепче удивить.

Итак, стало быть, в одну неделю случилось у нас две радости: банковский кризис и фактический дефолт крупнейшей нефтяной компании. И то и другое мы перенесли влегкую. От банковских кризисов пускай в Нью-Йорке из окон бросаются — у нас, слава те господи, натуральное хозяйство в стране, за кольцевой автодорогой никто и дефолта толком не заметил. А насчет

ЮКОСа народу вообще одна радость! Это ж какое счастье! Раззудись плечо, размахнись рука! Вдарили по отдельно взятому олигарху, навалились всем миром, арестовали счета и заодно владельца, и — вот тебе, бабушка, юрьев день, а тебе, дедушка, минус пятьдесят пять миллиардов долларов капитализации. Вы, может, не поняли... Это не у ЮКОСа минус пятьдесят пять миллиардов долларов капитализации, а у нас с вами, у Российской Федерации! Большой праздник в Кремле. Зовите Гиннесса, пушай фиксирует рекорд. В крайнем случае, везите «Гиннесса», хоть напьемся на радостях. Кстати, многие там, снаружи (я уж говорил), этой нашей радости не понимают. В страбургскую голову она им не помещается, нерусям! И в принстонскую тоже.

«Менеджера, по вине которого рыночная капитализация его концерна в течение трех месяцев снизилась на 55 миллиардов долларов, вышвырнули бы вон без всяких сомнений, — пишет немецкая “Ди Вельт”. — Но это не касается российского президента. Хотя дело ЮКОСа с момента замораживания счетов концерна в апреле ослабило российский рынок ценных бумаг именно на такую сумму, однако политические наблюдатели в Москве утверждают, что в случае банкротства ЮКОСа и смены его собственника победителем окажется Владимир Путин».

Итак: почему же наш президент — победитель, когда он своими руками обрушивает экономику? Объясняю. Обрушивает он — Российскую Федерацию, а конкретно сам стоит как огурец на радость народу, потому что: а) показал, что он тут самый крутой и ничё не боится; в) прищучил богатого еврея, что дает рост рейтинга автоматически; и наконец, с) в процессе перераспределения оставшегося от ЮКОСа имущества, как минимум, не обеднел — и уж точно, помог товарищам, у которых раньше были только холодная голова, портрет Дзержинского да, от бедности, какой-нибудь захудалый мебельный салон. А тут целая нефтяная компания в руки идет! В чистые руки, заметьте. Правда, уже не десятки миллиардов она стоит, как раньше, а только 17 — но, как говорил Воланд, маловато, но при скромной жизни хватит! К тому же — умелый человек сможет заработать и на падении цены.

Издание «Газета» приводит слова эксперта одной крупной инвестиционной компании, пожелавшего остаться неизвестным: «Складывается впечатление, что многие политики, высказывающиеся по ЮКОСу, сами играют на его акциях».

Ну да. Ничего плохого не хочу сказать, но вот, например, в давешний вторник замминистра финансов Шаталов возьми вдруг и заяви, что компания ЮКОС может получить отсрочку по выплате долга. И тут же, за пять минут, ЮКОС подорожал на торгах почти на шесть миллиардов долларов. А через три часа в эфире «Эха Москвы» выступил Генпрокурор Устинов и обрадовал почтенную публику другими перспективами: «Сегодня ЮКОСу выставлены претензии за 2001 год, а там еще был 2003-й, 2004-й...» Вот! Как наш Генеральный прокурор про третий и четвертый год по радио вспомнил, так цена на ЮКОС на три-четыре процента вниз и ушла! А наутро прошел слух, что Ходорковский накатал Путину маляву: мол, готов расплатиться за долги акциями мажоритарных акционеров — цена на компанию сразу вверх на 15%! А потом официальный представитель ЮКОСа

говорит: мол, первый раз слышу — и цена опять вниз! Короче, только успевай щелкать мышкой и оттопыривать карман. По данным той же «Газеты», во время вторичных торгов спекулянты заработали на бумагах ЮКОСа как минимум 12 миллионов долларов. Вот это дело! Уже ради этого одного стоит бороться с экономической преступностью. Но не будем завидовать чужому счастью. Главное — общий успех, а он очевиден. Жила-была крупнейшая частная компания, набежало государственников во главе с президентом, и вот ее уже практически нет. Население (чай, не слепое) извлекло уроки довольно быстро...

По информации сайта newsru.com, за последние полгода частные компании вывели из страны вдвое больше капитала, чем за весь прошлый год: банки активно скупали долларовые активы, а население опять начало переводить рублевые сбережения в валюту. По оценкам Центробанка, за полугодие из страны ушло пять с половиной миллиардов долларов.

Вот так! А впрочем, ушло и ушло, не в деньгах счастье, правда? Притом, насмотревшись на Ходорковского в клеточку, долларовые активы переводят за рубеж те, у кого есть активы. А остальные — которых минимум процентов восемьдесят пять — надо полагать, совершенно счастливы текущим развитием событий.

Пока федеральная вертикаль била по голове собственную нефтянку, что-то интересненькое начало происходить и с финансами. Интереснее всех на минувшей неделе было вкладчикам «Гута-банка», которые до вторника думали, что у них есть деньги. Потом они разом помолодели на восемь лет, начали биться о двери и уговаривать банкоматы. Потом «Альфа-банк» начал на всех углах кричать, что у него — никаких проблем, все всё поняли и бросились вынимать деньги уже из «Альфа-банка». Потом прошел слух, что будут отнимать лицензии по алфавиту. Потом крупного либерал-демократа Митрофанова по дороге на Охотный ряд, по его собственному признанию, чуть не изнасиловали возбужденные вкладчики. Хотя что-то могло случиться хорошее от банковского кризиса. Впрочем, никакого кризиса, оказывается, нет — это нам показалось! В среду в Государственную Думу приехал глава Банка России Игнатьев и всех успокоил, а потом вышел к журналистам — и отдельно еще минут десять им улыбался. Улыбку шире этой я видел только один раз — у президента России Ельцина, за пару дней до 17 августа 98-го года. Короче, подождем...

Теперь — новости партийной жизни. Когда-то, в стародавние времена, в стране была только одна партия — Коммунистическая. Потом партий стало много, но Коммунистическая оставалась одна. А с прошлой субботы уже и Коммунистические пошли размножаться почкованием. Сначала, правда, они на пленумах друг друга из партии поисключали и с должностей поносили с какими-то ностальгическими формулировками типа «антипартийная группировка», а уж потом, поизображав маленковых-шепиловых, пошли по своим съездам, причем кто пошел, а кто и поплыл.

По сообщениям СМИ, на съезде КПРФ, прошедшем в Измайлово в минувшую субботу, главой партии переизбран Геннадий Зюганов. Одновре-

менно с этим на речном трамвайчике проходил альтернативный съезд партии, на котором председателем КПРФ был избран ивановский губернатор Владимир Тихонов. Отчеты об обоих съездах поданы в Минюст.

Бедный Минюст! Несчастный министр Чайка! Что бы он теперь ни решил, какой бы съезд ни признал недействительным, быть ему предателем дела рабочего класса, а до кучи и трудового крестьянства. А что делать? Два съезда, и на обоих, по бумагам, — кворум! То есть по ту сторону баррикад — больше половины от общего числа делегатов КПРФ, и по эту больше половины! Ну ничего, партийные люди — они с советских времен к припискам приученные, а уж кто в этой внутрипартийной борьбе победит, решится, извините, на Старой площади. Как в советские же времена: пока коммунисты делили сайт kprf.ru, по очереди меняя пароли (спасибо хоть не явки), Зюганов поспешил в Кремль и пожаловался Путину на него самого.

По информации газеты «Коммерсантъ», в минувшую субботу Геннадий Зюганов заявил о причастности Кремля к кампании по расколу КПРФ. На встрече в Кремле, состоявшейся во вторник, Зюганов призвал президента России расследовать эту провокацию «самым настоящим образом».

Словосочетание «настоящим образом» выдает в Геннадии Андреевиче человека с мозгами — по крайней мере, с мозгами, заполненными конструкторскими из Полного собрания сочинений Ульянова-Ленина. Свободного места, видимо, осталось немного — туда целиком и уместилась идея просить Путина расследовать причастность Кремля к расколу КПРФ.

Ну, бог с ней, с партийной жизнью, — перейдем к радостям общероссийским. Тут — мое вам с кисточкой и искренние поздравления: народ давеча, сам того не замечая, затянул ремень еще на одну дырочку потуже и дополнительно скинулся на Чечню. Почти сто миллионов долларов полетели вдогонку за предыдущими. Вот вы, небось, думаете, что это все опять ухнет в небытие и разойдется по умелым рукам. Напрасные опасения! Комментируя решение правительства о выделении дополнительного финансирования в размере 2,8 миллиардов рублей, председатель Общественного совета по восстановлению экономики и социальной сферы Чечни Алу Алханов сказал: «Самое главное, на что обратил внимание председатель правительства, — это обеспечение жесткого контроля над расходом денежных средств, которые будут поступать в республику». Понимаете? Жесткий контроль! Раньше был мягкий, а теперь будет — жесткий. А руки те же. Кстати! Как вы думаете, почему о выделении новых миллиардов чеченскому народу сообщил не Греф, не Кудрин, не Фрадков, не Путин, на худой конец, а председатель какого-то общественного совета? Он-то каким концом к этому траншу имеет отношение? Правильно, никаким. А к чему он имеет отношение? Правильно, к выборам президента Чечни. Стало быть, федеральная власть у нас — что? Правильно, жухает помаленьку, как всегда.

Ну, не будем отвлекаться на мелочи, поговорим о борьбе с Басеевым. О-о, она разворачивается не на жизнь, а на смерть.

Недавно по телевизору опять показали генерала Шабалкина: это у нас такой теперь Манилов с Ястржембским в одном флаконе... Так вот, как раз о флаконе: показал нам генерал банку, а на банке той написано «Ртуть одно-

хлористая». И рассказал генерал историю, ледящую кровь. Оказывается, Басаев поручил своим бандитам отравить этим ядом руководящий состав Гудермеса. Жуткое дело... Какие бывают замечательные генералы, и какие вредные бывают телезрители! Потому что один не поленился и залез в Интернет, посмотреть, что же это за яд. Оказалось: каломель, лекарство такое, вшей гонять, а также (цитирую) «для местного лечения венерических заболеваний». То есть, конечно, можно натереть этим до смерти чеченское руководство, но, по моим наблюдениям, Басаев пока что обходится без каломели. А вот у генерала Шабалкина и Ко впереди много подвигов по аптекам.

Ну и напоследок — о новостях культурного строительства. Новым гендиректором телекомпании НТВ назначен Владимир Кулистиков. Назначен он буквально на днях, но уже успел сделать для НТВ много хорошего: для начала закрыл самую рейтинговую программу, а потом уж обеспечил телекомпанию удачей на много лет вперед: назначил своим первым заместителем некую Тамару Гаврилову. Известно про нее совсем немного, но зато самое главное: Тамара Гаврилова эта — однокурсница Владимира Путина. Кто там теперь кем будет руководить — догадайтесь сами. Счастья вам!

16.07.2004

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, лето подвалило к середине, политическая жизнь затихает помаленьку, затихнем (надеюсь, временно) и мы. Только подегустируем это дело еще разок, чтобы получше запомнить вкус полугодия. Кстати, напоследок нам подвезли новых гостинцев, прямо из Кремля... Помните ли вы карикатуры Бориса Ефимова годов эдак пятидесятых-семидесятых? Ну, я вам напомню одну: такая противная надувная утка крикает, изо рта у нее брызжет, разумеется, грязь, на утке написано: «радио Свобода», а за нею стоит наглый тип с насосом в руках, в шляпе, в темных очках и плаще, а на плаще том написано для тупых: ЦРУ. Я, признаться, думал, что вся эта живопись давно в прошлом, но нет! Рембрандт у нас устареет, а Борис Ефимов — фигушки...

На встрече в МИД в минувший вторник Владимир Путин заявил о существовании спланированных кампаний по дискредитации России, передает РИА «Новости». Президент призвал дипломатов противостоять этому и призвал посольства и другие зарубежные представительства «принять активное участие в формировании непредвзятого, благоприятного представления о внутренней и международной политике России...»

Ничто не скроется от нашего президента: узнал-таки о существовании спланированных кампаний по дискредитации России! Откуда узнал, не сказал. Впрочем, сомневаться нельзя: источники у президента точные, опасность для России чувят за версту, рука на пульсе круглые сутки... Ингушсию только проспали, Норд-Ост прошляпили, да шахиды по Москве гуляют, как по палестинской автономии, но уж по части идеологического нюха — промашки не жди! Это у нас наследственное. Еще в президентском послании (помните?) заподозрил Владимир Владимирович что-то неладное в тех, которые едят с чужой руки... (Нет бы, как все, кушать с пре-

зидентской.) И как в воду глядел — двух месяцев не прошло, отыскиались следы спланированных кампаний по дискредитации России... Да чего их искать! Соберутся в Страсбурге — и гадят всем миром прямо нам в имидж. Эх! Как бы устроить, чтобы чесать где чешется, а в зеркале международной прессы чтобы было, как на ВГТРК? Посылали туда, за улучшением имиджа, Rogozina — не помогло, теперь уж и не знаем, чем их пронять. Войска, что ль, еще куда ввести для улучшения имиджа? Бюджета остаток спецслужбам отдать, правосудию еще разок темную устроить, последнюю независимую радиостанцию накрыть в лесу, как гестапо радистку Кэт? Что еще сделать, чтобы они угомонились и поняли, что имеют дело с демократическим, мля, государством?

Что и говорить, задачка МИДу поставлена неслабая. «Формирование непредвзятого, благоприятного представления о внутренней и международной политике России...» Ох, увольте, Владимир Владимирович... Уж что-нибудь одно: либо непредвзятое, либо благоприятное... Но кажется, речь идет именно о благоприятном. Как говорил один персонаж у Маяковского, сделайте нам красиво. Что ж, этот способ общественной благопристойности известен давно: вылить на себя склянку духов вместо того, чтобы помывться. Старо это, разумеется, как глушилка и организация движения «За мир во всем мире» на фоне Праги и Афгана, но ведь старый конь борозды не испортит, правда?

Впрочем, хватит о злобе дня — обведем же мысленным взглядом прошедшее полугодие! Главным событием отчетного периода стали очередные выборы того же президента тем же способом. Никакого административного ресурса, а просто круглые сутки по всем телеканалам: Путин с моряками, Путин с горняками, Путин с доярками, Путин с татарками... А то, как харьковский Толстой, соберет вокруг себя детей — и ну гладить их по головам! После этого неумеренного человеколюбия народу просто ничего не оставалось, кроме как явиться четырнадцатого марта, на участке по дешевизне отовариться и за кого надо галку в клетке поставить. Правда, случались и сбои. Принесли одной бабушке на дом урну с будущим избирательным прахом, а она совсем плохая — собралась голосовать за Глазьева. Хорошо, работники избирательной комиссии успели это заметить и урну подальше от той бабушки унесли. Но ведь пропал голос, явка накренилась... А все потому что не продумали до конца технологию! Заранее надо ставить галки, заранее! Вот же, активисты, сотрудники психдиспансера № 4 на Дальнем Востоке, принесли больным их избирательное право сразу в переваренном виде — с отметками напротив угадайте какой фамилии. Двое больных от такого зрелища даже немножечко выздоровели и попросили принести им чистые бюллетени, — так им честно сказали: других не было. Скоро, между прочим, и снаружи других не будет.

Четырнадцатого марта народные мечты сбылись — дай Бог, чтобы не окончательно. А чтобы заранее стабилизировать ситуацию и сделать жизнь совсем прекрасной, президент Путин еще до выборов убрал из Белого дома Михаила Касьянова, который, будучи премьером, время от времени позволял себе думать на политические темы, что совершенно лишнее. В стране

уже есть один человек, который думает, зачем еще? Пошарив в кадровых закромах Родины, Владимир Владимирович нашупал в Брюсселе некоего Фрадкова. Человек оказался тихий, многократно пользованный; не то что в президенты России — никуда не пойдет, если не позовут. А если позовут — пойдет куда скажут, причем молча. Идеальная кандидатура! Ибо рано или поздно, когда кончится нефтяная лафа и стабильности настанет кердык, понадобится же кто-то, на кого можно нагрузить здоровенный мешок с ответственностью, повернуть тылом, надавать пенделей на глазах у народа и отправить в ссылку в очередной брюссель. И по этой части, кажется, лучше Михаила Ефимовича не найти. А насчет экономики — это дело второе. Кстати, как раз в экономике в отчетный период случились большие успехи. С эпиграфом из Гавриила Романовича Державина: «Поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой»... Русская народная забава «раскурочь богатого». Вдарили по отдельно взятому олигарху, навалились всем миром, арестовали счета и заодно владельца, и — вот тебе, бабушка, юрьев день, а тебе, дедушка, минус пятьдесят пять миллиардов долларов капитализации. Причем — не у ЮКОСа минус пятьдесят пять миллиардов долларов капитализации, а у нас с вами, у Российской Федерации! Большой праздник в Кремле.

Отдельной строкой в книге отечественного благосостояния записана Чечня. По крайней мере, как выяснилось в отчетный период, перспективы у республики — совершенно чудесные. Давеча Фрадков от щедрот отправил в сторону Кавказского хребта еще три миллиарда бюджетных рублей, вдобавку к тем миллиардам, которые уже давно растворились на местности... Но не будем мелочиться! Право, даже неловко: миллиард туда, миллиард сюда...

Это — экономика войны. Что же до политической стороны дела, тут всё обстоит совсем замечательно. А если еще сильнее прищуриться, чем-нибудь заложить уши и для верности зажать нос, то вообще ништяк! Кадырова, правда, взорвали, по Грозному уже и днем не проехать, солдаты гибнут десятками в день, а простых чеченцев отродясь никто не считал, но это совсем не страшно, потому что программа «Время» имеет обыкновение про всё это либо не сообщать вовсе, либо упоминать совершенно вскользь, петитом, в середине программы — после подробного рассказа о встрече Путина, например, с президентом Вьетнама и парочки сюжетов о счастливом детстве. Эдак через запятую с паводком: ну, деревеньку смыло, фугас взорвался... А чего нет в телевизоре — того, считай, вообще не существует. Так что политический процесс под контролем: свободные выборы нового президента Чечни объявлены; как проголосуют, неизвестно, но кто победит, все уже поняли — из той же программы «Время». А когда опять взорвется — под новым кадыровым или сразу в Москве — президент Путин опять пройдет под телекамеры, весь в черном, и расскажет нам про мировой терроризм. Будем ждать.

Но не надо печалиться — вся жизнь... ну, вы помните. Надеемся и жди. А на кого надеяться в отсутствие Бога — ребенку ясно: на гаранта и его передовой отряд. Руководящая роль партии, и особенно ее возможности и тактические схемы в новейшее время лучше всего проявились в истории с

футбольной сборной. Свезло нам! А ведь есть такие несчастные страны, в которых футбол развивается совершенно без присмотра правящей партии! В Греции докатились до того, что позвали на тренерский пост немца. Так он первым делом прекратил там кумовство и откаты. Ну и кому от этого стало лучше? То ли дело у нас! Скромность вот только мешала; не хотели единороссы примазываться к отборочной победе нашей футбольной дружины над грозным Уэльсом, скрывали свою стратегическую роль в этом сражении, но тайное стало явным, когда в ноябре, в программе «Времена», на Первом канале появился Борис Грызлов.

Грызлов: «Мы не побоялись взять эту ответственность на себя и порекомендовать тренера футбольной команды “Единая Россия” в качестве тренера футбольной команды сборной России. Я мог бы сказать также, что мы готовы взять ответственность и по другим постам, в том числе и министров в будущем правительстве».

Последовавшие вслед за этим заявлением португальские успехи нашей сборной (возглавляемой членом политсовета «Единой России» Ярцевым) заодно дали нам представление о квалификации других специалистов из этой партии. Впрочем, сами единороссы на чемпионате Европы выступили прекрасно, значительным числом рванув в Португалию за казенный счет. Короче, с пользой провели рабочее время. Вот только забыл Грызлов погарцевать при телекамерах — в раздевалке нашей сборной, после поражений. После побед гарцевал, а тут... Наверное, заблудился на чужбине, не смог найти дорогу...

И напоследок — от воспоминаний о прошедшем полугодии вернемся в текущий момент, к нашей буче, боевой, кипучей. Здесь все уже не только кипит, но даже иногда и булькает. Удвояется помаленьку ВВП, увеличивается КПД, федеральные силы продолжают зачистку НТВ. Это и безопасней, чем в Чечне — да и получается гораздо лучше. На минувшей неделе новый гендиректор канала Кулистиков, вслед за другими программами, снял с эфира программу «Красная стрела». Лично мне (в свете последних заявлений президента) это решение кажется очень мудрым и государственным: ведь все эти животные, ежу понятно, часть спланированной компании по дискредитации России! Bravo, Владимир Михайлович, я всегда верил в ваш мозг!

Ну а мы уходим в отпуск. Авось, когда придем из отпуска, нам еще будет где нарезать мелким ломтиком наш незамысловатый отечественный продукт. А не то — вместе со страной, Хрюном и Степаном перейдем на рулет «Слава Путину!», который уже начали выпускать в Нижнем Тагиле... Но тут уж я за качество не отвечаю... Счастья вам!

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

в русской периодике первого–второго кварталов 2004 г.

Почти все, что пишется о современной пореформенной России, исполнено духом трагедии. В том же жанре написана и статья **О. Шкаратана «Социальное расслоение в современной России: драма расколотого общества»** («Мир России», т. 13, № 1). Автор рассматривает проблему социального неравенства в постсоветском обществе, считая устройство современной России прямым продолжением существовавшей в СССР этакратической системы, согласно которой где власть, там и собственность. То есть социальная дифференциация и тогда, и сейчас определяется рангом, который индивид имеет во властной иерархии. После всех перестроек и реформ общество приобрело форму номенклатурно-бюрократического квазикапитализма. Прежняя элита сохранила свои властные полномочия и привилегированное положение. Государственные чиновники приватизировали экономическую инфраструктуру, т.е. управление промышленностью, банковскую систему и систему распределения. Происходила «приватизация государства государством». Государство уполномочивало привилегированные банки («Менатеп», «Инкомбанк», ОНЭКСИМбанк, Мосбизнесбанк, «Мостбанк» и др.) осуществлять самые выгодные операции. Приватизация советской распределительной системы закончилась созданием «комсомольских» бирж, множества торговых домов. Благодаря этой скрытой приватизации номенклатурные структуры получили привилегию делать большие деньги. Тогда же — до легальной публично объявленной приватизации — в частные руки перешли многие рентабельные производственные предприятия. Что касается природных ресурсов, то в начале реформ они все формально принадлежали государству, а значит — никому. Спонтанная приватизация позволила тем начальникам, которые были связаны с добычей полезных ископаемых (М. Ходорковский, М. Потанин, В. Богданов, Р. Вяхирев, Р. Абрамович, В. Черномырдин, М. Фридман), «наложить на них лапу». Таким образом наш бизнес-класс сформирован во многом на разворовывании государственных средств. Коррупция превратилась в устойчивую систему отношений между чиновником и бизнесменом. Российское чиновничество (а коррупцией поражено 100%) — тоже прямое порождение советской номенклатуры, и скромного российского бюджета на его содержание явно не хватает. Становлению среднего класса, вопреки декларативным заявлениям, никто не способствовал, национальные ресурсы тратились на что-то другое. В зоне нищеты (по международным критериям 1 доллар в день на человека) по данным опросов ноября 2002 г. находилось около пятой части населения, в зоне бедности (4 доллара) — основная часть населения. Изменить взятую траекторию «развития», по мнению автора, можно, лишь поняв, что капитализм (и особенно советского розлива) требует разумного твердого государственного

контроля. Нельзя допускать, как призывают радикальные либералы, стихийно-инерционного развития страны на основе свободной игры рыночных сил. Общество, десятилетиями жившее в условиях директивно-плановой экономики, не может естественным образом в немыслимо короткие сроки спонтанно самоорганизоваться, обратившись в неведомое прежде гражданское. Следует постоянно держать в памяти, что многое в перспективах развития России предустановлено и никуда не уйти от специфического менталитета русского христианина.

Н. Ткаченко, автор статьи **«Реформа собственности в России»** («Философские исследования», № 2), наряду с несправедливостями номенклатурной приватизации, воссозданием в России доиндустриального общества и упадком экономики находит в произошедших реформах также и нечто обнадеживающее. Он склонен воспринимать разруху промышленности как переход от отсталого индустриализма к прогрессивному постиндустриализму. У американского экономиста Д. Старка Ткаченко нашел остроумное название для произведенной в России приватизации — «рекомбинирование собственности», в результате которой появляется «собственность работников». То есть частная собственность становится менее частной («личной») и более «групповой», создавая так называемую рабочую собственность. С опосредованной и бесконечно отчуждаемой от нас общественной собственностью тоже происходит эволюция. Она чудесным образом демократизируется и дает нам право участия в управлении ею. Предлагаемый подход позволяет Ткаченко наблюдать в России, например, буйный рост интеллектуальной собственности. Знания активно превращаются в капитал. Впрочем, под впечатлением от этого социально-философского анализа нетрудно обнаружить и рост, скажем, физиологической собственности, и право свободно распоряжаться своими витальными ресурсами, и право превращать их в капитал...

А. Неклессу привлекает глубинный семантический смысл имущественных реформ (**«Постиндустриальный передел России»** — «Архэ», № 5). Постиндустриальный передел разворачивается в глобальном масштабе. На всей планете происходит размывание прежней и утверждение новой семантики власти и ее культурного обеспечения, образуется новый постиндустриальный уклад, в котором ценится не обладание, а умение. Творческая энергия общества переносится в область интеллектуального конструирования, попутно взращивая и приводя к власти специфический влиятельный социальный слой, «новый класс». Эту генерацию элиты Неклесса называет «людьми воздуха», они связаны с постиндустриальным (нематериальным, своего рода «воздушным») производством. Люди воздуха (четвертое сословие, «коктейль Голливуда и Гейтса») спровоцировали в мире элитную революцию и заметно побеждают старый правящий класс — буржуазию. В общемировом процессе наряду с глобализацией происходит индивидуация, то есть переход человека и человечества в уникальную историческую ситуацию — возможность действовать вне авторитарных (социальных и идеологических) структур. Формула «бен Ладен против цивилизации», безотносительно к ее реальному содержанию выражающая противопоставление человека глобальному сообществу, стала эмблемой века, ибо демонстрирует изменившийся рисунок социальных связей, новый чертеж политичес-

ких конструкций и траекторий. В России в несколько модифицированном виде происходит такой же постиндустриальный передел. Материальные ресурсы недостроенного социализма уже поделены, «бурные девяностые» оставили пока нетронутыми нематериальные сферы: область деятельности «нового класса», элиты, «людей воздуха». Правда, в России элитой принято называть тех, кто имеет доступ к материальным и властным ресурсам. А это все-таки не элита. Элита, по Неклессе, — это люди, определяющие мировоззрение, оперирующие образами и смыслами миропорядка. Поврежденность российской элиты наглядно проявляется в стратегической растерянности, в дефиците социальной инициативы, в отсутствие «национальной корпоративности». Заметно ее размагничивание и дезориентация в смысловых полях. Так, например, А.Чубайс, ссылаясь на американский опыт, предлагает как осевое время России, как момент зарождения новой элиты рассматривать раздел собственности («первичное накопление»). Однако основу исторического прорыва Америки закладывали люди, вдохновленные идеей рождения нового общества, организацией нового порядка, освоения данной Богом Ойкумены. Их трудно сравнить с деятелями современной РФ. Тут мы скорее похожи на Австралию, созданную по-своему пассионарными людьми (каторжниками), но лишенными «высокого горизонта». Именно высокого горизонта, который предполагает постиндустриальный передел и не видит наша элита. В России немалое количество постиндустриальных ресурсов, но их не умеют использовать. Впрочем интеллектуальная деятельность — это творческая деятельность личности, и ее усилия особенно продуктивны тогда, когда вступают в резонанс с глубинными вибрациями мировой Среды.

Эти вибрации остро чувствует М. Делягин, автор статьи **«Миссия России в эпоху второго “кризиса Гутенберга”»** («Россия в глобальной политике», № 1-2). Происходящее Делягин сравнивает с информационным взрывом, вызванным изобретением Гутенберга. Внедрение книгопечатания привело к кризису управляющих систем в Европе, которые не смогли справиться с информационными последствиями нововведения. Реформация и серия чудовищных религиозных войн принесли такое количество жертв и разрушений, что даже результаты Второй мировой войны по сравнению с ними (в относительном измерении) кажутся пустяком. В благословенные времена биполярного сосуществования социализма и капитализма продуктивно функционировала единая культурно-цивилизационная парадигма. Теперь ее силовое поле исчезло, высвободив два глобальных цивилизационных начала: исламское и китайское. Мир едва начинает осознавать кошмарный смысл сложившейся цивилизационной конкуренции. Ее участники не только преследуют разные цели, но существуют, по сути, в несовместимых системах ценностей. Россия, благодаря своему географическому положению и богатству природных ресурсов становится местом действия этих конкурирующих цивилизаций. Именно здесь, полагает Делягин, будет решаться судьба человечества, а фронт цивилизационной борьбы пройдет не только по географическим рубежам России, а внутри самого российского общества. Так что в обозримом будущем внутренняя российская политика станет инструментом решения глобальных проблем. Творческий потенциал страны дает воз-

возможность решить такие глобальные проблемы. Необходимо лишь каким-то образом этот потенциал — российскую элиту («центральную нервную систему общества») сделать патриотичным. И тогда Россия, обустроивая свою жизнь, принесет гармонию в мир.

Первый номер журнала «НАВИГУТ»^{*} публикует обширный доклад **В. Кузнецова «Становление российской идеологии как научная проблема»**. Автор не преследует задачи сконструировать новую идеологию, он обобщает серьезнейшие работы российских исследователей во всех областях гуманитарного знания. Сейчас, на пороге кардинального преобразования всех сфер жизнедеятельности, народам России необходим «стратегический маневр», ключ которого — в решении проблем безопасности человека и семьи, общества и государства. Концептуальным и смысловым ядром такого маневра должна стать объединяющая российская идеология двадцать первого века — **россиянизм**. Ее девиз — Будь готов достойно жить за Родину! Становлению объединяющей идеологии, несомненно, способствует углубляющееся осознание большинством граждан России новой идеологической реальности, выражающееся в начавшемся возрождении Отечества, стремящегося к благополучию, безопасности и достойной жизни всех своих граждан. Социологические опросы свидетельствуют о высоком уровне общественного согласия по поводу Высшего Смысла российской истории XXI века и готовности к идеологическому компромиссу ради объединения общества. Основными смыслами новой идеологии становятся законность, благополучие, образование и безопасность. Но самой важной и трудной задачей является повседневная деятельность (идеологическая практика) миллионов граждан России, на ум, мудрость и терпение которых автор и возлагает надежды. Рассчитывать на терпение сограждан и их готовность вдохновиться благой идеей — прием испытанный, но от частого употребления со временем утративший свою эффективность.

С. Меньшиков направляет преобразовательные усилия на экономику и предлагает решительные меры, считая, что **«Условие перехода к быстрому и устойчивому росту — демонтаж системы олигархического капитализма»** («Российский экономический журнал», № 1). Начинать нужно с принятия закона о налоге на сверхприбыль, т.е. на всякий излишек прибыли, превышающий 20% стоимости продаж. Это законоустановление коснется главным образом крупных корпораций в нефтегазовом секторе и цветной металлургии. Потом следует пересмотреть итоги всех аукционов по продаже в частные руки крупнейших государственных компаний в сфере добычи и экспорта топлива и сырья — прежде всего нефтяных концернов. Необходим также законодательный акт о всеобщей занятости: госорганы не вправе допускать повышения определенного уровня безработицы и должны стимулировать производство и инвестиции с целью создания дополнительных рабочих мест. Вообще демонтаж олигархического капитализма предполагает отказ от пассивной неолиберальной политики и переход к активному госстимулированию производства. Нужно к тому же отбросить неко-

^{*} «Научный альманах высоких гуманитарных технологий».

торые экономические догматы (например, о том, что в бюджете госдоходы должны быть больше госрасходов), да только федеральные власти к подобным решениям не готовы.

Д. Андреев и Г. Бордюгов переносят преобразовательную инициативу в сферу политики и уместают в двух вариантах — модернизации либо мобилизации (**«Модернизация или мобилизация — стратегическая развилка 2004 года»** — «Экономические стратегии», № 1). Для Запада, например, оптимальной стала модернизация — эволюционное обустройство общества в системе ценностей либерализма и поступательного прогресса. Модернизация предполагает соучастие в управлении всего гражданского общества. Народ не только не выведен за пределы пространства власти, но и является его важнейшим субъектом. Вся же история России представляет яркий пример принципиально иного — мобилизационного развития. Власть здесь не институциональная, а идеократическая, и она достигает пределов своих возможностей только в состоянии мобилизационного рывка. Элита из инструмента власти стремится стать ее субъектом. И периоды стагнации становятся периодами ее реванша. Так что мобилизация — это оптимальный режим существования для носителя власти, а стагнация — для элиты. Естественно, что в период стагнации Россия и впадала в разнообразные модернизационные эксперименты, причем элита видит в модернизации наилучший способ собственного обустройства. Свою концепцию авторы иллюстрируют историческими примерами начиная с Домонгольской Руси и кончая нынешними реформами и приходят к выводу, что в России никакая модернизация невозможна. Авторы предлагают спроектировать режим управляемой мобилизации, которая будет основана на инновационной организации всего жизненного пространства.

Б. Шапталов, автор статьи **«Выбор России через призму “классической демократии”**» («Полис», № 1), полагает, что Россия сумеет стать «полюсом силы», если вернет себе экспансионистские качества. Известная из истории Средиземноморья «классическая демократия», к которой призывает Шапталов, — не власть народа, а политический инструмент, обслуживающий интересы свободных товаропроизводителей, то есть налогоплательщиков. Именно они называются гражданами. Такая демократия может успешно существовать только при наличии у граждан солидных и постоянных источников дохода, что невозможно без экспансии (термин используется в самом положительном смысле), т. е. агрессивной внешнеторговой политики. Внешняя экономическая экспансия (обретение богатства за счет приращения своих ресурсов и получение доступа к чужим) для демократии есть жизненная необходимость. Капитализм — первый социально-экономический строй на Земле, полностью приспособленный к экономической экспансии. Двукратное крушение имперского государства в России (1917 и 1991 гг.) произошло именно из-за отсутствия экономической экспансии. По той же причине крайне неудачна нынешняя рыночно-либеральная модель хозяйствования. Основные составляющие экспансии: агрессивный экспорт промышленных изделий; менеджмент, ориентированный на мировой рынок, и соответствующая политика государства. Лишь в ходе актив-

ной экспансионистской деятельности возможен естественный отбор (кадров, управленческих решений и т.д.) и отсев (модернизация) слабых, ибо есть ясный и четкий критерий такого отбора и отсева — побеждать.

«**Новые демократии и/или новые автократии?**» — так назывался круглый стол, проведенный Российской ассоциацией политической науки и Академией политической науки («Полис», № 1). Форум констатировал появление недемократических режимов как следствие демократизации. **Ю. Красин** указал, что усиление авторитарных тенденций в России произошло потому, что демократизация была фиктивной и привела лишь к разграблению государственной собственности кучкой «олигархов». Под предлогом предотвращения коммунистического реванша был осуществлен слом государственно-го механизма. За декоративным фасадом либеральной демократии воцарились произвол, хаос и криминал. При таком положении «мягкий авторитаризм» — это как раз то, что нужно России, в которой пока что не сложилось сильное гражданское общество. Главное сейчас разрешить проблему, названную Красиным «теоремой Руссо», — т.е. совместить общую волю народовластия со свободой индивидуального выбора. Словом, в России принцип свободы личности должно уметь сочетать с принципом равенства в обществе, избегая «авторитарных соблазнов». **Б. Макаренко** считает, что для нас особенно важен вопрос о преемственности власти. Властная верхушка боится утратить свое положение, поскольку это может привести к переделу приватизированного госимущества. В таких условиях демократические институты подменяются теневыми олигархическими структурами, а власть приобретает династическо-клановый характер. На взгляд Макаренко, возможны два варианта выхода. Либо авторитаризм, либо постепенное «продвижение к демократии с помощью целенаправленных усилий главы государства по развитию плюрализма внутри самой системы власти». **А. Никитин** заявил, что вообще не понимает, почему оптимальной моделью развития считается именно демократизация. В условиях глобализации уже не так важно, насколько демократична страна, в которой вы живете. Сведения, получаемые по каналам СМИ, виртуально компенсируют ее недостаток. Мир — это кубик Рубика, состоящий из различных социальных и цивилизационных моделей, которые складываются в разнообразные подсистемы и сочетаются в различных плоскостях. Все это образует плюралистическую картину мироустройства, несводимую ни к канону общественно-экономических формаций, ни к триаде «тоталитаризм-авторитаризм-демократия». Каждое общество — уникальное сочетание множества типовых элементов с неповторимым результатом. **М. Ильин** вообще считает, что использование универсальных категорий для описания или конструирования частных случаев приводит к «концептным натяжкам». Для изучения конкретных процессов, происходящих в определенных странах, и соответствующих практических выводов нужны специальные термины. Чтобы понять смысл социальных изменений и перемен, докладчик предлагает понятие «воронка причинности», которое предполагает, в свою очередь, еще одно понятие — «окна возможностей». В истории всегда возникают альтернативные ситуации (развилки), которые можно очень просто разрешить: разверни в будущее «во-

ронку причинности» и сделай ее «окном возможностей». **В. Смирнов** солидарен с африканскими политологами. Они обвиняют Запад в том, что демократия стала подобием новой мировой религии, в которую пытаются обратить все страны мира. Но население этих стран не очень-то и поддается. Согласно исследованиям, проведенным в России самим докладчиком, половина населения совсем не верит в эффективность главного инструмента демократии — выборов. Люди уверены, что их голос ничего не значит, и это означает, что демократия «не работает». Заметим, основной материал, так сказать, «гвоздь» номера («Полис», № 1) посвящен как раз **«Третьему электоральному циклу в России»** (обсуждение прошедших думских выборов и предстоявших в то время президентских). Видно, нынешняя демократия не удовлетворяет потребностей российских граждан, у некоторых заметна ностальгия по прошлой демократии Советов народных депутатов.

Вопрос **«Появится ли в России русское государство?»** («Русский дом», № 4) первоначально прозвучал в радиоэфире. Задавший его **И. Шафаревич** полагает: когда страна переживает глубочайший кризис, возникает естественная необходимость обратиться к опыту народа и посмотреть, что в нашем арсенале способно противостоять распаду. За все свою историю русские не выработали чувства сплоченности, в отличие от многих малых народов. Единственное надежное средство, способное объединить русских, — создание национального государства, цель и оправдание которого — защита своего народа. Причем защита не только границ, но и духовной, экономической и биологической жизни. Основная часть народа не имеет сил вырабатывать стратегию своего поведения в целом. Как и в каждом организме, большинство клеток работает просто на то, чтобы организм жил. Глубинной причиной теперешнего кризиса Шафаревич считает отсутствие правящего слоя, который бы свою цель видел в защите народа. У русского народа нет своего государства — государства, которое бы стояло на страже его жизненных интересов. Распад Советского Союза явился отражением процесса распада Запада. «Закат Европы» Шафаревич считает неизбежным, а всякие объединения, включая глобализацию, лишь свидетельствуют об агонии западного общества. Россию же всегда спасало сильное государство, и желать избавиться от его спасительных объятий — все равно что желать перестать быть русскими. Ну и, конечно, правящий слой в русском государстве должен состоять из русских. Кто еще может ощущать нужды народа?

От национальной идеи в исполнении Шафаревича любопытно перейти к переписке **К. Леонтьева** с издателем газеты «Русское дело» **Шараповым** («Русская литература», № 1). На патриотическую мысль издателя «кто в Россию не верит — не верит в Бога!» Леонтьев отвечает: «Церковь призывает нас верить в Бога для спасения души. — А вера в Россию в этом смысле не может быть обязательна. — Лично спасти свою душу христианской жизнью можно и не веруя вовсе в будущность России... Нет — это вы оставьте — Бог и Россия! — Это большая разница!» И далее... «Если даже мы и избранный Богом народ, то были избранными и евреи в свое время, и византийцы в свое; однако их царства пали и не восстанут. Падем и мы...»

Ю. Никуличев в историческом опусе **«Бог, мамона и обыкновенные новые люди: от “Кто виноват?” к “Что делать?”»** («Вопросы литературы», № 2) проявляет специфический исследовательский энтузиазм. Главная фигура расследования Н.А. Некрасов — но не как поэт, а как издатель журнала «Современник», органа, как принято считать, революционно-демократической мысли. Ко второй половине XIX века, утверждает Никуличев, русская литература стала выгодным бизнесом. Позднейшие критики даже считали, что именно из-за больших гонораров русская литература сбилась со своего истинного пути. А путь этот определяла идеология, которая в то время называлась «направлением». Прошли времена «стишков к деве и луне», началась эпоха реализма — описание наиболее негативных сторон социальной действительности, ее тотальное отрицание, т.е. нигилизм. При таком общественном поветрии Некрасов казался современникам фигурой более значительной, чем Пушкин и Лермонтов, и являл собой ярко выраженный «тип своего времени». Однако изучая архивы и мемуары, Никуличев дознается, что его герой обирал сотрудников и доброжелателей, но главное, в своем журнале осмеивал «первые опыты свободного слова литературы», превращая «революционно-демократическую» трибуну в орган «направительного и назидательного ценсурного триумvirата». Это мнение Герцена, который считал Некрасова вором, шулером и мазуриком (и даже однажды отказался принять его).

Но детективный жанр — скорее исключение. Чаше авторы статей берутся за фундаментальные проблемы российской истории и представляют их в академическом формате. Например, «триединая формула» — самодержавие, православие и народность.

Графа С. Уварова, сформулировавшего эту триединую максиму, **Т. Володина** считает первым министром народного просвещения, который действительно осознал значение своего ведомства и имел глубоко продуманную программу его деятельности (**«Уваровская триада и учебники по русской истории»** — «Вопросы истории», № 2). Триединая формула должна была стать не только залогом стабильности, но и ответом России на вызов национализировавшейся Европы. Историческая наука, по Уварову, призвана служить мощным орудием для утверждения патриотизма (народности), именно преподавание российской истории способно «возбуждать и сохранять народный дух» в юношестве. Став министром, Уваров позаботился о конкурсе на лучший учебник российской истории. Володина подробно обсуждает труды двух конкурсантов: М. Погодина и Н. Устрялова. Первый не слишком удачно вписывался в рамки уваровской триады. В его истории не все складывалось благополучно с самодержавием: князья IX–XII вв. на роль самодержцев никак не тянули. Кроме того, в его версии православие не играет самостоятельной роли, а народность вообще подтверждалась лишь риторическим воодушевлением автора. Устрялов оказался удачливей. В его истории Россия скачкообразно перешла из древней в новую при Петре I, минуя феодализм («европейское зло»). Быстрое распространение христианства устранило различие между норманнами-завоевателями и побежденными славянами. Оба племени соединились в единый русский народ. «Православная вера при самом введении слилась с русскою жизнью и стала необходи-

мым для нее условием». Власть слилась с верой, самодержавие с православием. Третий член триады — народность — Устрялов влил в концепцию русской истории весьма новаторски. По его версии, уже в первые века русской государственности образовалось некое «русское ядро» — причем не только в территориальном, но и в духовном плане: «Крепкие узы соединяли все части русской земли в одно целое. Эти узы были язык, вера, господство одного дома, стремление князей к единодержавию, гражданское и церковное устройство». Таким образом, сформировавшаяся еще в древности русская народность стала неким культурно-политическим магнитным полем, рано или поздно притягивавшим обратно отторгнутые когда-либо куски. И, однажды возникнув, «русскость» становится неизгладимым и неистребимым качеством, каким бы враждебным внешним влиянием она ни подвергалась. Так, с его точки зрения, Литва — это Русь, не в меньшей степени, чем Московское царство, а столкновения XV-XVII вв. — лишь проявление внутренней тенденции к объединению. Автор статьи замечает, что концепция русской истории Устрялова зиждется на уваровской триаде как на истинном фундаменте российской государственности.

Д. Антонова интересует образ первого избранного самодержца, первого правителя Смутной России («Борис Годунов. Гордость и смирение в средневековой Руси» — «Россия XXI», № 1). Литература того времени характеризует Смуту как «кару Господню» и связывает это праведное наказание народа за грехи его с именем царя Бориса Годунова. «Сказание» Авраама Палицына указывает на грех целования креста Борису (церковный обряд присяги государю на верность) и видит здесь причину и корень всех будущих зол. Прервавшийся смертью царевича Димитрия род Калитичей стал концом богоизбранной династии. Нарушился принцип наследования, определявший мессианский статус правящего рода. Разрушилась система власти и собственности, сложившаяся на Руси. Династия Калитичей олицетворяла для людей XVI века важнейший и заключительный этап вселенской истории. Воцарение Бориса не прервало череды бедствий, они приобретали новые формы и все больший размах. Ощущение близящегося конца света не проходило, и современники усматривали в этом несчастном царствовании наказание за клятву, принятую на себя новым государем при воцарении: «Бог свидетель сему, никто же убо будет в моем царствии нищ или беден». Антонов пытается посмотреть на события глазами современников. Клятва — сама по себе уже грех. Клянясь от своего имени и обещая устроить государство собственными силами, Бога призывая лишь в свидетели, Годунов впадает в гордыню, в недопустимое и несправедное «самосмышление» и самоволие. Самоволие отличается от самовласти. Средневековая мысль утверждает: душа человека самовластна, но подлинная ее свобода — в подчинении воле Господа, в смирении, последнее есть важнейшая добродетель, ибо уподобляет человека образу Божьему. Клятва Годунова свидетельствует о «самосмышлении» царя, пораженного гордыней. «Ненавыкший в Писании» (книжники называют это «безграмотностью») Годунов не понимает этого и стремится принести благо церкви и государству, но даже вера не способна спасти от гордыни, и «превознесшийся мыслью» непременно попадает в сети сатаны. Получается парадоксальная картина: Борис

Годунов действует так, как в кризисное для страны время мог бы поступать современный правитель. Оказывая милость пострадавшим, завоевывать славу. Однако подобные средства, несмотря на кажущуюся рациональность и человеколюбие, осуждаются средневековыми книжниками на основании совсем иной системы ценностей. Все внешние богоугодные и человеколюбивые дела, творимые в гордыне, не приемлются. Гордость — оружие дьявола, а нечистый не способен создать ничего благого. Господь, укротив высокоумие Бориса, разрушил его замыслы, наслал беды на всю страну, и благодать Божия отошла от царского дома.

В. Еремян, автор обширной статьи «Государственный строй Древней Руси как сочетание полисной демократии и княжеской власти» («Право и политика», № 2), приходит к выводам, нарушающим привычные представления об истории российской государственности. Все привыкли верить рассказу «Повести временных лет» о призвании варягов: «Земля наша велика и обильна, а *наряда в ней нет*. Да поидете княжит и володети нами». Понятие «наряд» Еремян относит к сфере управления и организации властных институтов. То есть варяги выступали как третейский суд, направленный на сохранение, а не уничтожение существовавшей власти славянских князей. В летописных источниках домонгольского периода нет даже намека на призвание варяжских князей. Это, так сказать, «редакционная натяжка», появившаяся в позднейшем списке. Да и по мнению дореволюционных ученых, не из бедной и полудикой Скандинавии проникали тогда на Русь семена цивилизации. Южнорусские славяне со времен глубокой древности находились в сношениях с греческими припонтийскими колониями и от них получали начатки гражданственности. Преодолев варварство, Древняя Русь вступила в «античность», а не в «феодализм». Этим объясняется полисная форма ранних восточнославянских государств, резко контрастирующая с государственными образованиями средневековой Европы. Отсюда и значение народного собрания — вече — как всеобщего и повсеместно распространенного института, которому принадлежала вся полнота верховной представительной, законодательной и судебной власти.

Л. Писарькова в статье «Российская бюрократия в эпоху Петра I. Условия службы и характерные черты» («Отечественная история», №№ 1, 2) коснулась коррупции, этого проклятья, которое испокон веков тяготит российское чиновничество. В годы правления царя-реформатора сия закоренелая болезнь госслужащих, воспитанных на «кормлении», достигла невиданных масштабов. «Кормление» — это обыкновенный способ содержания должностных лиц за счет местного населения. При царе Алексее Михайловиче в 1649 г. приказным начали платить жалование, однако ни при каких правителях его не хватало и чиновники должны были искать дополнительные источники существования. При Петре I «лихоимство» и «воровство» в среде гражданского начальства достигли таких размеров, что «глубину их также трудно было исследовать, как воды океана». Из провинции шли бесконечные жалобы на «обиды и розорения», а начальники выколачивали взятки иногда даже «смертным правежом». В 1715 г. Петру доносили: «Губернаторы радеют токмо о своих карманах: Киевская губерния истощена

до конца, также Казанская; слышно, киевский губернатор высылает в свой московский дом деньги не мешками, но уже возами... Вельможи кладут деньги в чужестранные банки». Самодержец решил положить этому конец и объявил казнокрадство государственным преступлением. Указом 1713 г. он велел «...всех преступников и повредителей интересов государственных без всякой пощады казнить смертью, деревни и животы брать, а ежели кто пощадит, тот сам той казнью казнен будет». Воспитывать честного чиновника Петр I пытался не только суровым наказанием. Во многих указах он обращается к христианской и гражданской совести служащего и призывает блюсти себя от сребролюбия. В канцеляриях для обозрения и напоминания были выставлены указы, регламентирующие деятельность и поведение всех служащих от коллежского регистратора до сенатора. Все указы кончались угрозой денежных штрафов, побоев, потери имущества и смертной казни. Все государственные учреждения находились под неусыпным надзором фискальных и «розыскных» органов, которые требовали все больших и больших средств на свое содержание, а средств не было и заметной пользы это не принесло. Бюрократическая система, сформировавшаяся в ходе административных реформ, имела лишь внешнее сходство с европейскими образцами и явно не соответствовала уровню развития русского общества. Попытки подчинить административному контролю все сферы управления не увенчались успехом. «Какой пример для нас являет это, какой урок!»

В. Самунии («Глядясь в холодный и полярный круг...» — «Наука и религия», № 2), исходя из священной книги зороастризма Авесты и труда индуса Б.Г. Тилака, выводит происхождение арийцев и распространение традиционной мировой культуры из наших российских пределов: восточная область Уральского хребта (по долготе) и примерная широта нынешнего Ханты-Мансийска. В Авесте прославляется «первая земля» арийцев: «Десять месяцев там зимние, два — летние и в эти зимние месяцы воды холодные, земли холодны, растения холодны там в середине зимы...» Это место лежит близ побережья Северного Ледовитого океана, между нынешними полуостровами Ямал и Канин Нос. Вероятно, также на Крайнем Севере располагались и земли, созданные Ахура-Маздой (Господь Премудрый — верховное божество) для праиндоевропейцев. Установлено, что в XIII-X тысячелетиях до н. э. климатические условия в Заполярье были вполне приемлемыми для развития человека: природа, с одной стороны, предоставляла ему все необходимое для жизни, а с другой — не «расслабляла» людей, как знойный Юг. Однако к VII-V тысячелетиям до н. э. началось похолодание, и Заполярье покинули предки народов, в дальнейшем образовавших хетто-лувийскую (анатолийскую) языковую группу, а также предки древних греков, за ними последовали предки фракийцев, иллирийцев, латинян. Предки арийцев покинули священную прародину в III тысячелетии до н. э., они двинулись на юг вдоль Оби, впоследствии разделившись на индийцев и иранцев. На Севере Евразии остались те группы населения, чья жизнь целиком зависела от рыболовства и охоты на морских животных. Они осваивались в условиях более холодного, чем прежде, климата. Постепенно они расселялись вдоль берега Северного Ледовитого океана и на Запад, а позже распространились и по Европе, став предками кельтов и германцев.

Сколь обильная пища для ума, размышляющего о «загадочной русской душе»!

Г. Гарсия Маркес публикует эксклюзивные **«Размышления о “загадках России”»** («Развитие личности», № 1). Знаменитый колумбиец вспоминает о давнем участии в Московском фестивале молодежи и студентов (1957 г.). Тогда Маркеса поразило обилие мрамора и деревенские домишки, увеличенные до титанических размеров. А людей, живущих в России, он до сих пор считает самыми интересными в мире. У Маркеса не укладывалось в голове, как в величайшей державе мира люди не имеют представления о самых элементарных удобствах быта, а женщин заставляют работать киркой и лопатой. Почему, обладая мощнейшей промышленностью, атомным оружием и космическими ракетами, советские люди летают на таком убожестве, как Ту-104. Непостижим для Маркеса и главный персонаж советской истории — Иосиф Сталин, его всемогущие, ирреальная невидимая власть и всенародная вера в него. Некоторыми чертами этого великого, загадочного, азиатского тирана он наделил своего латиноамериканского диктатора («Осень патриарха»).

Н. Горячева обеспокоена проблемой русского пьянства как стойкой привычки (паттерн). Она провела **«Сравнение паттернов потребления спиртных напитков в России и северных странах Европы»** («Социология: 4 М», № 18). Сравнительный анализ выявил значительное сходство петербургского паттерна с паттернами в странах Северной Европы. Роднит их предпочтение крепких напитков слабым, а также крайняя поляризация потребления алкоголя внутри популяции (с одной стороны, достаточно высокая доля совсем непьющих, с другой — широкое распространение запойного пьянства). Самой удивительной особенностью россиян оказалось следующее — мы гораздо чаще соседей (в несколько раз) склонны приписывать потреблению алкоголя положительные свойства: благодаря ему на все смотришь оптимистичней и веселей, появляются способности открыто выражать свои чувства, обретаешь дружеское доверие, легче сближаешься с сексуальным партнером, перестаешь сомневаться в одобрении окружающих. Здесь, по мнению автора, и кроются корни высокого уровня потребления спиртного, отсюда и неэффективность применяемых мер сдерживания алкогольной экспансии.

Обзор подготовил Александр Денискин

Виктор ТОПОЛЯНСКИЙ

ЗА ПАРАДНЫМ ФАСАДОМ «ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»

Зло, как известно, не гибнет, а лишь меняет обличья. И добро, в сущности, не побеждает, а в лучшем случае успешно противоборствует. Но — противоборствует упорно, и духовная потребность в сопротивлении не слабеет, принимая порою неожиданные формы. Так, в 1974 году из мордовских лагерей просочилась на волю идея ежегодного Дня политзаключенного¹. Инакомыслящий по призванию и астроном по профессии Кронид Любарский, предложивший отмечать этот день 30 октября, вряд ли осознавал тогда до конца, какой вызов бросил он тем самым одному из самых чудовищных мифов, положенных в основу вссоемлющей сталинской системы наглых пропагандистских подмен и подлогов.

1. Экспозиция

Весной 1929 года Сталина одолевали заботы о стабилизации его диктатуры. Верный ленинский ученик, он старался облечь плотью и кровью заветы своего наставника, но тщетные попытки раздуть революционный пожар то в Европе, то в Азии приносили ему одни огорчения, усугубленные безмерными затратами валютных средств. Страна так и не оправилась еще от последствий Первой мировой и Гражданской войн, Сталин остро нуждался в инвестициях для развития тяжелой промышленности, но надежды на получение долгосрочных займов или кредитов от презируемой большевиками западной цивилизации были более чем эфемерны. Иностранные концессии одна за другой закрывались, а самые настойчивые концессионеры обращались в международные суды, требуя возмещения многомиллионных убытков опять-таки в твердой валюте.

Для оздоровления социалистического хозяйства большевики использовали два приема, хорошо известные с глубокой древности, но только в их исполнении обретшие подлинный размах и масштабность.

¹ Любарский К. Валун на Лубянке. Новое время, 1994, № 44, с. 34-36.

**Виктор
ТОПОЛЯНСКИЙ**

— родился в 1938 году в Москве. Окончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова. Доцент Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. Автор нескольких монографий и ряда статей в области медицины, а также книги «Вожди в законе» (1996). Выступает как публицист в периодических изданиях, постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

Прежде всего, по воспоминаниям бывшего советского разведчика Вальтера Кривицкого, сталинские агенты запустили в оборот около *ста миллионов(!)* фальшивых столлларовых банкнот, изготовленных на печатных станках ОГПУ. С 1928 года потоки фальшивых долларов устремились в казначейство США из государств Восточной и Западной Европы, через Нью-Йорк и Сан-Франциско, Монреаль и Гавану; «отмыванию» фальсификатов, их обмену на подлинные купюры активно способствовали гангстеры Чикаго и бандиты Берлина².

По традиции, пустившей глубокие корни с 1918 года, чекисты не обошли вниманием и обитателей своего государства: *«В ОГПУ учредили специальный валютный отдел и применили все мыслимые и немыслимые методы — от обмана до террора, — чтобы выкачивать из населения ценности и иностранную валюту. Эта кампания достигла апогея в так называемой «долларовой парилке» — систематическом вымогательстве у советских граждан переводов и вспомоществований, поступающих от родственников в Америке. Многие жертвы этих операций держались в тюрьмах и подвергались пыткам до тех пор, пока из-за границы не поступали суммы выкупа»*³.

Но ни производство фальшивых долларов, ни массовое ограбление сограждан не способствовали подъему сельского хозяйства и развитию тяжелой промышленности. В железный занавес, плотно окружавший страну ирреальных советов, все громче стучался вполне реальный экономический кризис.

2. С бору по сосенке...

Решения и поступки Сталина выглядели в этой ситуации настолько неадекватными, что даже у близких соратников возникало иногда желание объяснить мышление вождя некими психическими отклонениями. Но напрасно употребляли в связи с этим многозначительное греческое слово «паранойя», — собственных бредовых мыслей у генерального секретаря ЦК ВКП(б) тогда еще не было.

Некоторые особенности сталинской психики той поры описал А. Таска — член Политбюро ЦК Итальянской коммунистической партии, посетивший Москву в конце 1928 года: *«Перечитайте всю его продукцию: вы не найдете ни одной собственной идеи. Он без зазрения совести пережевывает идеи, украденные у других, и преподносит их нам в этой своей схематической форме, создавая иллюзию силы мысли, которой нет. Идеи для него — это пешки, которые он двигает, чтобы выигрывать одну партию за другой. <...> Сталин — плагиатор, потому что не может им не быть, потому что в интеллектуальном плане он посредственен и бесплоден, и потому, что он втайне завидует интеллектуальному превосходству Троцкого, Бухарина и других, чего он им простить не в состоянии. Он пользуется их идеями от раза к разу, от случая к случаю, в зависимости от обстоятельств. А потом, присвоив себе эти идеи,*

² Кривицкий В.Г. «Я был агентом Сталина». Записки советского разведчика. М., 1991, с. 158-177.

³ Кривицкий В.Г. Указ. соч., с. 159.

переходит в атаку против обворованных, ибо для него важны не принципы, но монополия на власть»⁴.

Недоучившийся семинарист, оттягавший у соперников ленинское наследие, «любимый вождь советского народа», как величала его репильная пресса, снова и снова вспоминал один из ленинских заветов по управлению созданным большевиками государством: *«Величайшая ошибка думать, что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому»⁵.*

Не раз вынимал он, судя по всему, из книжного шкафа и весьма полезную книжицу Троцкого «Терроризм и коммунизм», чувствуя, что высказанное в ней положение о «милитаризации труда» тоже имеет кардинальное значение для «текущего момента»: *«Во всем мире господствует ныне наемный труд, который желтые газетчики всех стран в качестве высшей свободы противопоставляют советскому «рабству». Мы же, наоборот, капиталистическому рабству противопоставляем общественно нормированный труд на основе хозяйственного плана, обязательного для всего народа и, следовательно, принудительного для каждого работника страны. <...> Если плановое хозяйство немыслимо без трудовой повинности, то эта последняя неосуществима без устранения фикции свободы труда, без замены ее принципом обязательности, который дополняется реальностью принуждения»⁶.*

Дельные соображения встречались иной раз и у других ответных оппозиционеров. Так, например, крупный советский чиновник Пятаков, не сумевший своевременно поменять политическую ориентацию и поддержавший в 1927 году Троцкого, настроил когда-то пространную докладную записку, в которой доказывал целесообразность освоения таких необжитых районов, как Норильское месторождение полиметаллических руд, Киргизская степь, Нерчинский каторжный округ и остров Сахалин, *«для разгрузки мест заключения и производительного использования рабочей силы заключенных»⁷.* Председатель ОГПУ и по совместительству председатель Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) Дзержинский расценил оригинальную идею Пятакова как проект *«организации каторжных поселений».* Такую прямолинейность, даже при совершенно секретном рассмотрении сложных задач советской каторги, генеральный секретарь вряд ли одобрял — ведь речь шла о предстоящих победах социалистической системы хозяйствования (а позднее — и о «великих стройках коммунизма»!).

Полезные свежие мысли вполне можно было почерпнуть, впрочем, и в секретных бумагах Дзержинского, хотя суждения первого чекиста и отличались порою некоторой непоследовательностью. То он требовал *«беспощадного уничтожения преступлений и бесхозяйственности по намеченной системе и плану (определенные кампании с широким оповещением и предупреждением) путем изъятия и наказаний (вплоть до террора)»*, то предлагал оставить высшую меру наказания только для явных врагов (изменников и

⁴ Иностранная литература, 1989, № 1, с. 200.

⁵ Ленинский сборник, XXXVI, с. 444.

⁶ Троцкий Л. Терроризм и коммунизм. Пг., 1920, с. 130-134.

⁷ Советские архивы, 1991, № 4, с. 71-75.

шпионов, мятежников и бандитов), а все прочие правонарушения карать изоляцией и принудительным трудом. То он настаивал на четкой *«организации принудительного труда (каторжных работ)»* и создании концентрационных лагерей *«с колонизацией незаселенных мест и с железной дисциплиной»*, то приходил вдруг к *«безошибочному»* умозаключению: *«Чтобы наша система государственного капитализма, то есть само советское государство, не обанкротилась, необходимо разрешить проблему госаппаратов»*⁸.

Здесь тоже многое можно было употребить в дело, хотя вряд ли генерального секретаря могла устроить идея Дзержинского *«колонизировать Север и безлюдные и безынтеллигентные местности»* преимущественно *«изъятием чиновничеством»*. Как показало дальнейшее, любимому вождю советского народа куда больше по душе была грандиозная картина всеобщей вовлеченности в обязательный социалистический труд — так, чтобы каждый подданный советской державы, без какого-либо исключения, неустанно боролся за светлое будущее первого в мире советского государства, за счастье освобождения от мук собственного выбора и оков личной ответственности, за радость трудиться так и там, как и где ему будет определено гражданами начальниками: одним — на привычном рабочем месте, другим — в пустыне или в тундре, куда их доставят на государственном транспорте и под государственной охраной...

Кстати сказать, эксперимент такого рода уже проводился в Российской империи с 1898 по 1909 годы. Тысячи заключенных проложили тогда Амурскую колесную дорогу, знаменитую «Колесуху», протянувшуюся через тайгу и болота на расстояние около 2000 километров и соединившую Хабаровск с Благовещенском. Чудом выжившие каторжане сравнивали истязание трудом на амурских болотах и сопках с теми нравами и обычаями, которые господствовали некогда на американских плантациях и были известны читателям по роману «Хижина дяди Тома» — вот только рабы на Дальнем Востоке отличались белым цветом кожи, да вместо кнута надсмотрщика их подгонял приклад винтовки в руках конвоира.

Однако в докладе Главного тюремного управления от 1900 года слышалось сдержанное удовлетворение этим феноменальным трактатом: *«Примера подобного сооружения по его грандиозности, по тем затруднениям, с которыми сопряжена была прокладка дороги в пустынной, почти незаселенной и малодоступной местности, еще не было в тюремной практике других государств. Достаточно сказать, что арестантам пришлось не только сделать своим трудом все, что требовалось для дороги со всеми ее станционными и мостовыми сооружениями, на протяжении нескольких сотен верст, но раньше того расчистить леса, провести временные пути сообщения, устроить жилища и организовать водоснабжение, доставку одежды, пищи и всех других материалов и запасов, при отсутствии возможности делать закупки на месте работ»*⁹.

⁸ РГАСПИ, ф. 79, оп. 1, д. 256, лл. 1-5. Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения в 2-х томах. М., 1977, т. 1, с. 349.

⁹ ГАРФ, ф. 533, оп. 5, д. 96, лл. 77-86. Бравский В. На Амурской колесной дороге. Русское богатство, 1905, № 9, с. 34-45. Виноградов-Бессель А. Амурская колесная дорога. Былое, 1917, № 3 (25), с. 124-133. Соболев А. Записки каторжанина. М.-Л., 1925, с. 55-67. Сибирская советская энциклопедия, 1929, т. 1, с. 101-102.

Словом, пренебречь полезными идеями сподвижников, пусть даже обернувшихся несомненными противниками (вроде Троцкого и Пятакова), или драгоценным опытом чиновников царского режима было бы, конечно, просто непозволительно для великого вождя той партии «нового типа», какую создали они вместе с Лениным. Тем более, что как Ленину осенью 1917 года нельзя было упустить ни одного шанса, чтобы захватить власть, так в 1929 году генеральному секретарю захватившей власть партии срочно нужно было найти неординарное решение, чтобы упрочить свое всевластие, а заодно — прикончить и опостылевший НЭП.

3. Рождение идеи

И вот в понедельник 13 мая на Сталина накатило наконец вдохновение, и в гениальном мозгу его выкристаллизовалась искомая неординарная идея, вобравшая в себя все, что можно было позаимствовать и у соратников, и у противников. Но только он сумел придать их наметкам окончательную и совершенную форму!..

Вооружившись карандашом, Сталин начертил на обрывке листа из школьной тетради, дошедшем до нас среди прочих архивных документов, короткий ответ на все проблемы сразу. Рачительный помощник тут же перебелил сталинский черновик, а преданное ему Политбюро утвердило гениальный замысел своего генерального секретаря, слово в слово повторив его предложение в своем протоколе от 16 мая (здесь и далее полностью сохранена лексика оригинала):

«30. — Об использовании труда уголовных арестантов.

Перейти на систему массового использования за плату труда уголовных арестантов, имеющих приговор не менее 3-х лет, в районе Ухты, Индиго и т.д. Поручить комиссии в составе т[оварищей] Янсона, Ягоды, Крыленко, Толмачева, Уланова подробно рассмотреть вопрос и определить конкретные условия использования арестантского труда на базе существующих законов и существующей практики»¹⁰.

Особая привлекательность этой идеи состояла в том, что перед вождями советского народа распахивались тем самым заманчивейшие перспективы полного искоренения политических противников и перманентной мобилизации их на трудовой фронт «социалистического строительства» в качестве **«уголовных (!) арестантов»**. В принципе руки у Сталина и его ближайшей были развязаны уже и после недурно сфабрикованного в 1928 году «Шахтинского дела». Но только после апрельского пленума ЦК ВКП(б) 1929 года, когда Сталин внятно сформулировал тезис относительно обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму, стало ясно, что правящая партия завладела неисчерпаемыми ресурсами «вредителей» и прочих как бы *уголовных преступников*, костями которых и можно было наконец начинать мостить столбовую дорогу в коммунизм. Пришла пора «наступления на буржуазную интеллигенцию», ликвидации

¹⁰ РГАСПИ, ф. 17, оп. 163, д. 785, лл. 56, 57; ф. 17, оп. 3, д. 1848, л. 7.

единоличного крестьянства, представлявшего собою «последний капиталистический класс», и «грандиозного перелома» всего народного хозяйства¹¹. А тем самым приблизилось и время давно лелеемой в мечтах неизбежной расправы с бывшими верными боевыми товарищами, ибо, как заметил еще герцог Медичи, нет ведь такой заповеди, чтобы прощать нашим друзьям.

4. Разработка идеи и ее разработчики

Главный специалист страны по великим переломам обходился обычно тройкой исполнителей, но на этот раз подобрал себе пятерых ассистентов — большевиков надежных и расторопных, а вместе с тем весьма усердных и не замеченных еще ни в левом, ни в правом уклоне. Во главе комиссии он поставил петербургского рабочего Янсона, человека, хоть и не получившего образования, зато члена партии с 1905 года и наркома юстиции РСФСР — с 1928. В коллеги к нему генеральный секретарь отрядил заместителя председателя ОГПУ Г.Г. Ягоду, прокурора РСФСР Н.В. Крыленко, наркома внутренних дел РСФСР В.Н. Толмачева и наркома труда СССР Н.А. Угланова.

Комиссия Янсона взялась за дело безотлагательно и через неделю отпарировала о первых плодах своих стараний. Вникнув в содержание соответствующего донесения, вожди выразили свое удовлетворение в форме постановления Политбюро от 23 мая:

«18. — Об использовании труда уголовных арестантов.

Принять предложение комиссии о поручении ОГПУ приступить к организации концентрационного лагеря в районе Ухты. Необходимую для этого сумму определить в советском порядке»¹².

Настал черед и карательным органам показать, что они тоже не лыком шиты. Уже 28 июня в Усть-Сысольске (ныне Сыктывкар) открылось Управление северных лагерей особого назначения (УСЕВЛОН) ОГПУ. Вслед за ним была учреждена Ухтинская экспедиция ОГПУ. На Ухту потянулись этапы. Десяткам тысяч заключенных предстояло добывать для государства валюту на лесоповале, вручную прокладывать дороги в Коми АССР, заниматься изысканиями нефти¹³.

Тем временем команда Янсона включила в свой основной состав двух свежих участников: заместителя председателя Совнаркома РСФСР и одновременно секретаря ЦК ВКП(б) А.П. Смирнова и старшего помощника прокурора Верховного суда СССР Р.П. Катаняна. Воодушевленная доверием высоких инстанций, великолепная семерка приступила к мозговому штурму новых юридических и экономических рубежей. Через месяц ответственное задание партии и правительства было выполнено, о чем Янсон тотчас проинформировал генерального секретаря:

¹¹ Правда, 22.V.1929. Сталин И.В. Сочинения. М., 1953, т. 12, с. 1-107.

¹² РГАСПИ, ф. 17, оп. 163, д. 786, л. 21.

¹³ Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923-1960. Справочник. М., 1998, с. 379, 497.

«Народный комиссар юстиции РСФСР.
22 июня 1929 г.

Секретно
№ ПКЛ — 226 — 29 — с.

В Политбюро ЦК ВКП(б) тов[арищу] Сталину

Во исполнение постановления Политбюро об использовании труда уголовных арестантов и в дополнение к принятым Политбюро постановлениям (протоколы № 80 от 13.05.29 и № 81 от 23.05.29) посылаю Вам проект постановления Политбюро о практических мероприятиях по организации концентрационных лагерей, считая этим работу комиссии законченной.

Прошу поставить этот вопрос на обсуждение ближайшего заседания Политбюро ЦК с вызовом при его рассмотрении всех членов комиссии.

Для сведения прилагаю: а) протоколы заседания комиссии от 13 и 19 июня с[его] г[ода]; б) справку т[оварища] Ягоды, разъясняющую пункт 4 прилагаемого проекта постановления Политбюро.

С коммунистическим приветом. Н. Янсон¹⁴.

Протоколы заседаний комиссии и справка Ягоды исчезли, к сожалению, в пучине бумаг входящих, а также исходящих. Невозможно поэтому выяснить, как Янсон расшифровал таинственное слово «Индиго», запечатленное сначала в директиве генерального секретаря, а потом в постановлении Политбюро от 16 мая. Вряд ли вождь подразумевал реку Индигирку в Якутской АССР; к тому же северо-восточные лагеря для добычи золота в бассейнах Индигирки и Колымы чекисты открыли только в апреле 1932 года. Скорее всего имелась в виду река Индига, протекающая по Малоземельской тундре, и, вероятно, Индигская губа Баренцева моря. Во всяком случае еще в 1924 году Главный концессионный комитет СССР вел переговоры с британскими промышленниками о строительстве заполярной железной дороги от реки Обь до бухты Индига¹⁵.

5. «Великий перелом»

Проект постановления Политбюро, составленный комиссией Янсона, пришелся властителям по вкусу. Свое одобрение по этому поводу они высказали на заседании Политбюро 27 июня:

«11. — Об использовании труда уголовно-заключенных.

а) Утвердить предложения комиссии Политбюро (см. приложение № 3) с соответствующим оформлением в советском порядке.

б) Именовать в дальнейшем концентрационные лагеря «исправительно-трудовыми лагерями».

в) Поручить т[оварищам] Янсону и Ягоде выработать и оформить предложение об исправительно-трудовых лагерях.

г) Поручить комиссии провести обследование домов заключения и принудительных работ, дисциплины, режима в них»¹⁶.

¹⁴ РГАСПИ, ф. 17, оп. 163, д. 791, л. 23.

¹⁵ ГАРФ, ф. Р-8350, оп. 1, д. 1032, лл. 1-28.

¹⁶ РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 746, л. 2.

Сущность данного постановления раскрывалась в специальном приложении:

*«Приложение № 3 к п[ункту] 11 пр[отокола] П[олитбюро] № 86.
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУДА УГОЛОВНО-ЗАКЛЮЧЕННЫХ.
Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 27.06.1929 г.*

1. Осужденных судебными органами Союза и союзных республик к лишению свободы на сроки на три года и выше передать и передавать впредь для отбывтия лишения свободы в лагеря, организуемые ОГПУ.

Предоставить судам право в исключительных случаях при вынесении приговоров при явной непригодности для физического труда или смягчающих обстоятельствах, особо оговаривать в приговоре замену лагеря другим видом лишения свободы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отбор уже осужденных, передаваемых на основании этого постановления, производят на местах специальные комиссии под председательством представителя НКЮ [наркомата юстиции] в составе представителей ОГПУ и НКВД.

2. ОГПУ для приема этих заключенных расширить существующие и организовать новые концентрационные лагеря (на территории Ухты и других отдаленных районов) в целях колонизации этих районов и эксплуатации их природных богатств путем применения труда лишенных свободы.

3. Для постепенной колонизации районов, в которых будут организованы концентрационные лагеря, предложить ОГПУ вместе с НКЮ РСФСР и другими заинтересованными ведомствами в срочном порядке разработать ряд мероприятий, положив в основу их следующие принципы:

а) досрочный перевод на вольное поселение в этом же районе заключенных, заслуживающих своим поведением или отличившихся на работе, хотя и не отбывших назначенного им срока лишения свободы, с оказанием им необходимой помощи;

б) оставление на поселении в данном районе с надением земель заключенных, отбывших положенный им срок лишения свободы, но лишенных судом права свободного выбора места жительства;

в) заселение теми заключенными, которые отбыли срок лишения свободы, но добровольно пожелают остаться на поселении в данном районе.

4. На заключенных этой группы, отбывающих изоляцию в концентрационных лагерях ОГПУ, распространить действующее Положение о лагерях ОГПУ как по оплате труда заключенных, так и по содержанию их, режиму, внутреннему распорядку и т.п.

5. Все остальные осужденные к лишению свободы и не подпадающие под действие п[ункта] 1 настоящего постановления, остаются в ведении НКВД союзных республик, которые должны пересмотреть свою сеть мест лишения свободы в целях правильного территориального размещения их применительно к следующему назначению: а) места лишения свободы для лиц, приговоренных до трех лет; б) места лишения свободы для подсудимых и в) пересыльные пункты.

6. Предложить НКВД союзных республик свою дальнейшую работу вести в направлении полного использования лиц, лишенных свободы от 1 года до 3 лет

*в специально организованных сельскохозяйственных или промышленных колониях с целью сокращения до минимума нынешних мест лишения свободы, сохранив за остающимися только функции изоляторов для лиц, находящихся под следствием, и пересыльных пунктов*¹⁷.

Теперь одному из нижестоящих правительственных учреждений предстояло преобразовать пока еще тайный замысел вождей в некий вариант официального узаконения. С этим поручением отлично справился Совнарком СССР, выпустив 11 июля идентичное по содержанию постановление под грифом *«Не подлежит опубликованию»* и с указанием: *«Ввести в жизнь немедленно»*. Под документом подписались председатель Совнаркома СССР Я.Э. Рудзутак, управляющий делами Н.П. Горбунов и секретарь И.И. Мирошников¹⁸. Знаменательную дату 11 июля не провозгласили Днем простого советского труженика и не объявили государственным праздником, хотя с того тихого теплого дня 11 июля 1929 года и начался, по сути, крестный путь всех будущих Иванов Денисовичей.

Для внесения необходимых изменений в советское законодательство Совнарком образовал новую комиссию во главе с тем же Янсоном. Помимо Крыленко, Катаняна и Толмачева, в нее включили прокурора Верховного суда СССР П.А. Красикова, наркома юстиции (и по совместительству прокурора) Украины В.И. Порайко и особоуполномоченного при коллегии ОГПУ В.Д. Фельдмана. Забыв о летнем отдыхе, члены комиссии проработали в поте лица около двух месяцев и в начале осени подготовили нужные бумаги.

Не прохлаждалось в летней праздности и руководство НКВД, озабоченное составлением обширной программы неотложных преобразований пенитенциарной системы. Для самоокупаемости концентрационных лагерей была намечена, в частности, *«организация лесозаготовительных и других колоний в Уральской области, Северном крае, Сибирском крае, Ивановской промышленной области»* на основе хозрасчета. Для повышения производительности труда и снижения себестоимости выпускаемой продукции столичное начальство запланировало ввести в практику новые правила поощрения *«уголовных арестантов»*:

«1. Установление продолжительности рабочего дня для заключенного по фактической выработке им урока, назначаемого по средней норме выработки вольнонаемного рабочего соответствующей квалификации при прочих одинаковых условиях.

2. Установление дифференцированного пайка в зависимости от выработки урока.

*3. Установление порядка применения досрочного освобождения и зачета рабочих дней лишь по отношению к вырабатывающим урок»*¹⁹.

¹⁷ РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 746, л. 11.

¹⁸ ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 48, лл. 210-212. В кн.: ГУЛАГ (Главное управление лагерей), 1917-1960. М., 2000, с. 64-65.

¹⁹ Административный вестник, 1929, № 9, с. 56.

6. Торжественные фанфары и награды участникам

Первые итоги своей тихой революции генеральный секретарь подвел глубокой осенью 1929 года. В статье под названием *«Год великого перелома»*, напечатанной в «Правде» 7 ноября, он поздравил партию с началом *«решительного наступления на капиталистические элементы города и деревни»* и с *«небывальными достижениями на всех фронтах социалистического строительства»*, скромно умолчав о собственной роли в решении сразу всех экономических проблем социализма. Само определение *«великий перелом»* принадлежало когда-то бывшему сталинскому соратнику и председателю исполкома Коминтерна Зиновьеву²⁰. Однако какие-либо ссылки на прежнего единомышленника, навсегда исключенного из числа вождей и лишь в 1928 году ненадолго восстановленного в партии, генеральный секретарь рассматривал, мягко говоря, как неуместные.

Как извещал Сталин страну, 1929 год ознаменовался *«могучим трудовым подъемом»* жителей советской державы, ускоренным темпом индустриализации и несомненными завоеваниями *«в деле хлебозаготовок»*²¹. Упоминать о рентабельности рабского труда заключенных, самоокупаемости концентрационных лагерей и быстром снижении уровня безработицы он считал, разумеется, нецелесообразным.

Партия высоко оценила беспрестанные заботы «дорогого вождя» о благосостоянии его государства. В день своего 50-летия 21 декабря 1929 года Сталин получил несколько новых титулов, в том числе *«самого выдающегося теоретика ленинизма»*, *«организатора и руководителя социалистической индустриализации и коллективизации»*, *«рулевого большевизма»* и *«знаменосца пролетарской диктатуры»*²².

Вслед за генеральным секретарем с докладом о *«значительных достижениях»* правящей партии *«в области карательной политики»* выступил Янсон на совещании судебных и прокурорских работников в 1930 году. По его словам, число приговоренных к принудительным работам выросло с 15,3 процентов в первой половине 1928 года до 51,7 процента во второй половине 1929 года при увеличении общего числа осужденных после *«великого перелома»* на 141,6 процента²³.

Убедительные успехи команды Янсона отметили позднее. Первым репрессировали Толмачева: сначала ему довелось провести свыше трех лет в одном из придуманных при его содействии «исправительно-трудовых» лагерей, потом по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР его казнили. Угланова расстреляли в 1937 году, Крыленко, Смирнова, Ягоду и Янсона — в 1938²⁴. Как говорили пираты капитана Флинта, «мертвые не кусаются»; неизвестно, впрочем, довелось ли когда-нибудь генеральному

²⁰ Зиновьев Г. Великий перелом. Звезда, 1924, № 4, с. 136-150.

²¹ Правда, 7.XI.1929.

²² Правда, 21.XII.1929.

²³ Советская юстиция, 1930, № 24-25, с. 1-3.

²⁴ Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в пяти томах. М., 2000, т. II, с. 843-867.

секретарю отвлекаться от своих методических заплечных хлопот, чтобы полистать на досуге «Остров сокровищ».

Катанян уцелел. После десятилетнего лагерного перевоспитания в Красноярском крае и недолгой казахстанской ссылки ему пришлось отбывать повторный срок в Карагандинской области до января 1955 года. Когда его отпустили на волю, ему исполнилось 74 года; он вернулся в Москву и прожил на пенсии до 85 лет²⁵. В последующем всех, кроме Ягоды, реабилитировали.

С руководством Совнаркома и представителями второй комиссии тоже разобрались по понятиям. Порайко расстреляли в 1937 году, Горбунова, Мирошникова, Рудзутака и Фельдмана — в 1938-м²⁶. Генеральный секретарь твердо знал, что незаменимых людей нет и быть не может, а временно полезные встречаются на каждом шагу; поэтому всякий мавр, аккуратно исполнивший порученное ему дело, заслуживал примерного наказания.

Горбунова реабилитировали в 1954 году, остальных — в 1956-м. Проклятие фараона не распространилось лишь на очень старого большевика Красикова. В 1933 году его назначили заместителем председателя Верховного суда СССР, в 1938-м — отстранили от этой должности, но разрешили продолжить плодотворную деятельность в качестве члена Центрального совета Союза воинствующих безбожников. В августе 1939 года он скоропостижно скончался на курорте в ожидании ареста и был похоронен с надлежащими почестями в Железноводске²⁷.

После великого перелома политические заключенные в стране пропали надолго, а в обиход вошла всенародная идея фальсификации, халтуры и всяческого вздора, нареченная на лагерном жаргоне емким понятием «туфта». Для нескончаемыхстроек коммунизма советский карательный аппарат исправно штамповал одних только «уголовных арестантов», заполнявших «внутренние» зоны. Прочее население, обитавшее в районах «внешней» зоны, вожди наградили неизбывным страхом, немного подтаявшим в период позднего реабилитанса, и ликующей ложью о невиданных трудовых свершениях и трогательном единстве народа и партии.

* * *

В 1991 году Верховный Совет Российской федерации объявил 30 октября Днем политзаключенного. Тогда казалось, что 30 октября останется навсегда Днем печали и памяти. Теперь, похоже, 30 октября становится еще и Днем напоминания о том, что большевики, как слепни, не переводятся никогда, а лишь меняют имена и обличья...

²⁵ РГАСПИ, ф. 17, оп. 100, д. 141215; ф. 589, оп. 3, д. 5628.

²⁶ РГАСПИ, ф. 17, оп. 100, д. 142534. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в пяти томах. М., 2001, т. III, с. 919-937. *Петров Н.В., Скоркин К.В.* Кто руководил НКВД, 1934-1941: Справочник. М., 1999, с. 420.

²⁷ Правда, 23.VIII.1939.

Дмитрий ПОСПЕЛОВСКИЙ

НА ПУТИ К СОБОРНОСТИ¹

Рожденная на христианском Востоке прекрасная идея государственности, основанной на принципе симфонии власти духовной с властью государственной, оказалась несбыточной мечтой. И та и другая стороны забыли предупреждение Христа о разделении, а не слиянии Церкви и государства: Божье — Богу, а кесарево — кесарю. Но в допетровской Руси существовало все-таки хотя бы сознание того, что принцип симфонии нарушается (в основном — князьями и царями, а порой, как при патриархе Никоне, — и церковной властью). Петр же Великий и вообще похоронил всякое понятие о какой-либо симфонии. Церковь стала ведомством православного исповедания. Земным главой ее стал император, от имени которого до самого отречения Николая II ведомством этим управлял обер-прокурор — мирянин, назначаемый царем и обладавший фактически неограниченной властью над духовенством вообще и Архиерейским синодом в частности.

Тему реформирования отношений между государством и Церковью с предоставлением последней больших прав поднимали и славянофилы, и Достоевский, сказавший, что зажатая в обер-прокурорские тиски Церковь пребывает в параличе. А когда царь в своем Манифесте в декабре 1904 г. пообещал преобразования, в том числе и закон о веротерпимости, на это обещание откликнулся специальной запиской Государю митрополит Петербургский Антоний (Вадковский), предупреждавший, что пока Православная

¹ В основу статьи положен доклад, прочитанный автором в сентябре 2003 г. в г. Бозэ (Италия) на международной конференции, посвященной всероссийскому Поместному собору 1917-1918 гг.

Даты в тексте приводятся либо согласно господствовавшему в России до 1918 г. юлианскому календарю, отстававшему от григорианского на 13 суток, либо в двух вариантах. Поместный собор открылся 15/ 28 августа 1917 г.

**Дмитрий
ПОСПЕЛОВСКИЙ**

— родился в 1935 г. в Польше. В 1949 г. вместе с родными эмигрировал в Канаду из лагерей беженцев Западной Германии. Окончил университет Конкордия в Монреале (политология, экономика). Работал в НТС, на Би-би-си, на радио «Свобода» и в Университете Западного Онтарио (1972–1997). Автор многих книг и более 100 научно-публицистических статей по истории России, Русской Церкви, ее современной жизни и актуальным богословским проблемам. В «Континенте» (№ 96) опубликованы два его письма Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Живет в Канаде, г. Лондон.

Церковь остается в подчинении у государства, от веротерпимости выиграют секты и прочие религиозные образования, не зависящие от государства, тогда как Православная Церковь останется в узах государственного аппарата, лишенная прав свободного развития, а следовательно — и миссионерской динамики. Митрополит испрашивал у Царя права на созыв архиерейского съезда для решения насущных вопросов положения Церкви в государстве.

За этим последовала так называемая *Записка* (тогдашнего премьер-министра) *Bumte*, составленная группой собранных им иерархов, испрашивавшая у Николая II разрешения созвать Поместный собор для избрания Патриарха и вывода Церкви из-под государственного контроля. Как известно, Царь согласился было на Собор, но от этого шага отговорил его доживавший свои последние земные годы обер-прокурор Победоносцев. И царь, первоначально положительно отнесшийся к идее восстановления патриаршества, 31 марта 1905 г. повелел отложить созыв Собора «до успокоения в стране» (хотя провести радикальные реформы в гражданско-политической области отсутствие «успокоения» не помешало...).

В 1905 г. Синод разослал всем епископам опросники относительно желательности преобразований в Церкви. К ужасу обер-прокурора Победоносцева, почти все ответы осуждали синодально-прокурорскую систему и предлагали весьма радикальные реформы во всех областях жизни Церкви, требуя ее автономии от государства. После провозглашения Манифеста 17 октября 1905 г. дальнейшее обер-прокурорство Победоносцева, принципиального противника реформ, стало невозможным. Он ушел в отставку и вскоре скончался.

Вместо Собора Царь разрешил созвать лишь *Особое* (предсоборное) *присутствие* для разрешения вопросов церковной реформы. В нем участвовало не менее десяти самых видных архиереев и двадцать один профессор. По академическому уровню и эрудиции это в истории России был, несомненно, самый представительный и богословски квалифицированный съезд по вопросам церковного устройства. Недаром германский историк Русской Церкви профессор Гюнтер Шульц приравнивает *Присутствие* по значительности и своего состава, и своих решений к Собору.

Об основательности и плодотворности *Предсоборного присутствия* говорит уже то, что опубликование материалов и определений его заняло шесть увесистых томов. Причем почти до конца заседаний было неясно, победят ли сторонники сохранения коллегиальной или сторонники патриаршей системы. Победа последних, хотя и с очень небольшим перевесом, объясняется, вероятно, желанием сопоставить монарха во главе государства с личностью патриарха во главе Церкви в предположительном восстановлении церковно-государственной *симфонии*.

Молодой (но уже весьма консервативный) выпускник Свято-Тихоновского института священник Георгий Ореханов почему-то считает *Присутствие* бесплодным, хотя его работы были опубликованы в 6 томах и легли в основу повестки дня будущего Поместного собора. Он обвиняет либеральное крыло участников Присутствия в том, что оно механически переносило принципы только что появившейся Государственной думы в область представительства в Церкви. Но позднее тот же Ореханов признает, что синодальной системой Церковь и государство были так тесно повяза-

ны друг с другом, что для развязки этой связи потребовались бы радикальные изменения в обеих структурах². Вполне резонно, однако, Ореханов считает, что появление Государственной думы еще больше осложнило проблему взаимоотношений Церкви и государства: раньше Церковь зависела от православного царя; теперь значительная часть функций, в том числе и государственное финансирование Церкви, перешли ко внеконфессиональной Думе, в которой депутаты, православные по существу, а не по форме, составляли меньшинство.

Но вернемся к *Предсоборному присутствию*. Среди остро-спорных проблем, возникших в нём, был вопрос о представительстве на будущем Соборе. Консерваторы стояли на том, что Церковь представляют епископы, в крайнем случае допуская представителей клира и мирян, но с совещательным голосом. Либералы же настаивали на предоставлении клиру и мирянам решающего голоса, а также на трехступенчатых выборах делегатов на Собор от мирян, двухступенчатых для клира и прямого и полного представительства для епископата. Резко разошлись мнения и относительно прав епископа. Консерваторы настаивали на том, что каноническим представителем епархии является только правящий епископ и что он имеет право аннулировать постановления священников и даже отводить кандидатуру таковых на Собор. Либералы же, по словам Ореханова, «сводили счёты с епископатом». Тем не менее большинство в 30 человек против 15 проголосовало за право епископата утверждать или отвергать результаты выборов³.

Удивительно, что Ореханов обходит молчанием позицию архиепископа Сергия (Страгородского), будущего патриарха, который в своем ответе на вопросник 1905 г. относительно желательности церковных реформ писал, что хотя согласно канонам Архиерейский собор отражает полноту Церкви, но это было верно в эпоху раннего христианства, когда епископов избирал церковный народ, в результате чего епископат пользовался доверием и любовью народа. У нас же, отмечал архиепископ Сергий, епископат назначается бюрократически, любовью и авторитетом у народа не пользуется. Следовательно, Собор, состоящий только из епископата, не пользовался бы никаким авторитетом у паствы, и его постановления не имели бы силы. Поэтому в современных условиях рассчитывать на принятие паствой соборных определений может только полностью представительный Собор, в котором правами решающего голоса обладали бы все делегаты, как от клира, так и от мирян.

Пройдя мимо этих многозначительных слов архиепископа Сергия, фактически оправдывающих так называемых церковных либералов, Ореханов все же вынужден признать, что в несозыве Поместного собора виноваты не левые богословы, а Царь и его правительство, пошедшие было на уступки Церкви в момент смуты 1905 года. Стабилизировав же обстановку в стране, премьер-министр Столыпин решил не давать Церкви самостоятельности и свободы, считая ее, по словам Ореханова, важным рычагом власти, в то время

² Иерей Георгий Ореханов. *На пути к собору. Церковные реформы и первая русская революция*. Москва: Св.-Тихоновский Богословский институт, 2002. С. 198-201.

³ Указ. соч. С. 167 и пр.

как патриаршество и Собор «ограничивали бы влияние государства на дела Церкви»⁴.

Перспектива созыва Собора становилась все более туманной. Лелеялись в Церкви еще надежды на то, что Царь разрешит созыв Собора в рамках празднования 300-летия династии Романовых. Но и после гибели Столыпина Царь не спешил с Собором. В 1912 г., все еще не теряя надежд на созыв Собора, Синод созвал новое *Предсоборное совещание*, результатом которого явился пятитомник проектов церковных реформ, легших в основу повестки будущего Собора.

Отречение Николая II 2/ 15 марта 1917 г. обезглавило Церковь — с точки зрения земного ее управления. Но такие ее внутренние события, как анкетирование епископата в 1905 г., предсоборные *Присутствие* 1906 г. и *Совещание* 1912 г., не прошли даром. Они подготовили материал для *Предсоборного совета*, превратившегося с открытием Собора в августе 1917 г. в *Соборный совет*, разрабатывавший материалы для внесения на обсуждение и утверждение или отвержение соборными сессиями.

Не следует также забывать, что избрание делегатов на Собор было фактически первыми абсолютно свободными выборами в России, на несколько месяцев опередившими выборы в Учредительное собрание.

Ко времени своего отречения Николай II достиг предела отчуждения и от российского общества в целом, и от Церкви и ее руководства. Как пишет последний протопресвитер российских армии и флота Георгий Шавельский, к 1916 г. возмущение распутищиной достигло уже российских вооруженных сил — как офицерства, так и нижних чинов. Волей императрицы последним предреволюционным обер-прокурором был Раев — распутинец и полное ничтожество. Епископы-распутинцы занимали митрополичьи кафедры в обеих столицах. Накануне Февральской революции даже всегда послушный Синод отказал Раеву в выпуске обращения к народу в поддержку царя и династии. Вероятно, немалую роль в этом решении сыграло и игнорирование Николаем Вторым последнего обращения к нему Синода, который, предвидя, по-видимому, надвигающуюся катастрофу, просил о разрешении созвать Собор в 1916 г., чтобы освободить Церковь от ответственности за государственную политику. На это обращение «двенадцатого часа» Царь вообще не отреагировал.

Интересно, что, отрекаясь от престола, Царь вспомнил не об официально возглавляемой им Русской православной церкви, а о старообрядцах, сказав: «...мне не простят старообрядцы, что я изменил своей клятве»⁵. Может быть, он понял в этот момент, какую роковую ошибку совершали его предшественники, преследуя в течение почти 250 лет старообрядцев — то есть именно то религиозное течение русского народа, которое благодаря своему принципиальному консерватизму должно было бы быть главной опорой династии?..

⁴ Там же. С. 190.

⁵ Ген. Н.В. Рузский. Пребывание Николая II в Пскове. См.: *Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев*. Москва: Советский писатель, 1990. С. 160.

Русскую православную церковь синодальной эпохи не случайно обвиняют в пассивности, в чрезмерно покорном подчинении государству. Действительно: Петром Великим она была лишена права самостоятельного голоса, права критики любых правительственных мероприятий, в том числе и крепостничества. Мы знаем, как печально закончились служение и земная жизнь митрополита Арсения Мацеевича в эпоху Екатерины II лишь за то, что он посмел отказаться произнести архиерейскую присягу, утвержденную Петром Великим, в которой *крайним судьей* назывался не Бог, а монарх, а также за призывы восстановить патриаршество. Верно и то, что голос митрополита Арсения был гласом вопиющего в пустыне не только в современном ему синоде, с холопской готовностью по требованию Екатерины осудившем своего собрата фактически на мученическую смерть.

Возникает, однако, вопрос — почему же положение Церкви не улучшилось в эпоху Великих реформ Александра II? Тогда ведь ходили даже разговоры об обращении к царю с просьбой восстановить патриаршество. Но и в царствование Александра II продолжалось постепенное отнятие остатков власти у Синода с передачей ее обер-прокурору и подчиненным ему, а не Синоду, консисториям.

Дело в том, что alexандровские реформы были социально-экономического и микрополитического характера, тогда как для изменения положения Церкви в государстве требовалось изменение самой системы государственной власти, ее ограничение. Это было провозглашено лишь Манифестом 17 октября 1905 г., после чего сохранение обер-прокурорского диктата в Церкви стало анахронизмом.

Еще бóльшим анахронизмом стало его существование после падения самодержавия, и Временное правительство сразу же это осознало. Уже 20 марта (ст. ст.) оно объявляет равенство всех религий перед законом, а 29 апреля временный Синод выпускает обращение к Церкви с призывом восстановить древний православный принцип выборности епископата и учреждает *Предсоборный совет* для подготовки Поместного собора, накануне открытия которого, 5 августа, отменяется обер-прокурорская система.

Кстати, выборы не подтвердили опасения консерваторов, что они дадут отрицательные для Церкви результаты. Так, на место распутинца Макария митрополитом Московским был избран Тихон, будущий патриарх, на место петроградского митрополита-распутинца Питирима был избран будущий мученик Вениамин (Казанский). Потеряли свои кафедры и такие распутинцы, как Серафим Чичагов и скандальный полуграмотный «друг Распутина» Варнава Тобольский. В результате перевыборов лишился харьковской кафедры весьма достойный, но крайне консервативный митрополит Антоний (Храповицкий), в 1918 г. избранный митрополитом Киевским на место убитого 26 января 1918 г. крайне консервативного митрополита Владимира.

Хотя Временное правительство объявило полную свободу вероисповеданий, оно продолжало дотировать Православную Церковь, предоставив, например, 2,5 миллиона рублей на расходы по проведению Собора. Идя навстречу Православной Церкви, Временное правительство утвердило принятое *Предсоборным советом* постановление о том, что главой государства и министром исповеданий должны быть лица православного вероисповедания.

Председатель Петроградского религиозно-философского общества, будущий профессор церковной истории Антон Владимирович Карташев стал последним обер-прокурором, подготовив самоликвидацию и передачу власти Поместному собору.

11/24 июня 1917 г. открылся *Предсоборный совет*, состоявший из всех членов Синода, плюс семи архиереев, избранных правящими архиереями и их викариями, четырех делегатов от духовных учебных заведений, восьми делегатов, избранных от советов духовных академий, двух делегатов от монашества, одного представителя единоверцев, одного представителя от Грузинской Церкви, восемнадцати лиц, кооптированных Синодом, и восьми делегатов от *Всероссийского съезда духовенства и мирян*. Это был съезд 1200 представителей левого приходского духовенства, состоявшийся в мае 1917 г. Из епископата, насколько известно, были приглашены только экзарх Грузии митрополит Платон и епископ Андрей Ухтомский, который позднее присоединится к старообрядцам и падет жертвой коммунистического террора.

Как сообщает профессор Карташев, «за 10 дней своих работ съезд сформулировал свои [положения] по всем основным пунктам церковной реформы. И это было поддержкой... для официального *Предсоборного совета* смело готовить проекты реформ для Собора. Съезд провозгласил идеал народоправства в политике, передачу земель земледелцам и социальную справедливость в сфере труда и капитала, свободу совести и культа. [Однако] съезд отверг идею отделения Церкви от государства, высказал пожелание, чтобы Православная Церковь осталась... *первенствующей*, чтобы Церкви получали от государства материальную и правовую поддержку, чтобы Закон Божий был обязателен в школах и чтобы в руках Православной Церкви остались руководимые ею школы. Таким образом Съезд показал, что духовенство при всей своей левизне в общей верности интересам пастырского служения не разойдется с епископатом. Так оно и оказалось на Соборе»⁶.

15/28 июля *Предсоборный совет* принял законопроект об отношениях между Церковью и государством в следующей формулировке:

«В Русском государстве Православная Церковь должна занимать первое среди других религиозных исповеданий... публично-правовое положение, приличествующее ей, как величайшей народной святыне... а также как религии большинства населения.

Двадцатые праздники, воскресные и особо чтимые Православной Церковью дни признаются государственной властью неприсутственными днями.

Глава государства и министр исповеданий должны быть православными. Во всех случаях государственной жизни, в которых государство обращается к религии, преимуществом пользуется Православная Церковь»⁷.

Первым (и пока последним) министром вероисповеданий стал Антон Карташев. 20 июня/3 июля Синод принял «Временное положение о приходе» как об автономном юридическом лице, чем было положено начало воз-

⁶ А.В. Карташев. Революция и Собор 1917-1918 г. См.: *Богословская мысль*. Париж: Св.-Сергиевский православный богословский институт, 1942. С. 83-84.

⁷ Там же. С. 85-86.

рождению самоуправляемого прихода в качестве основной ячейки церковной структуры, призванной содействовать активизации мирян в Церкви.

Теперь, задним числом, можно лишь пожалеть, что Совету не хватило смелости объявить СЕБЯ **чрезвычайным** Собором, чьи постановления и определения имели бы силу законов, действительных на период чрезвычайного положения в стране вплоть до нормализации, когда можно будет собрать полноценный Собор с правом пересмотра, отмены и утверждения определений, принятых на этом несостоявшемся чрезвычайном Соборе, и принятия новых определений. Понятно, что такое ограниченное по численности, но компетентное по составу собрание могло бы завершить работу в гораздо более сжатые сроки, чем разношерстный Собор 564 делегатов, так и не успевший завершить свою программу, принять и утвердить все подготовленные определения и постановления. В первом случае, вне зависимости от дальнейших действий большевиков, Церковь вступила бы в советскую эру полностью преобразованной и структурированной, в результате чего, даже учитывая большевицкий разгром, сохранившийся остаток Церкви вошел бы в постбольшевицкую эру в виде работоспособной и завершенной структуры, а не в том хаотическом состоянии, в котором Церковь оказалась в реальном посткоммунистическом мире.

Но вернемся к Собору реальному, а не к тому, который мог бы быть, если бы да кабы... *Предсоборный Совет* весьма эффективно подготовился к своей функции, превратившись с открытием Собора в *Соборный Совет*. Как пишет Карташев, «выборы [на Поместный собор] от епархий были трехстепенными: приходские собрания избирали выборщиков для благочиннических собраний, последние посылали выборщиков в епархиальные собрания, где избирались члены Собора»⁸.

Накануне открытия Собора, 5/18 августа, Временное правительство ликвидировало Синод, заменив его Министерством вероисповеданий, во главе которого встал А.В. Карташев.

На Великом Московском Поместном соборе, который открылся 15/28 августа 1917 г., епископат был представлен в полном составе, а каждая епархия была представлена тремя мирянами и двумя клириками. В результате миряне составили абсолютное большинство — 314 против 250 лиц духовного звания. В числе последних были еще представители от духовных учебных заведений и монастырей, а также от армии и военного духовенства. Парадоксально, но созыв Церковного Собора стал возможным только после падения власти «православных государей» и прихода к власти, казалось бы, далеких от Церкви либералов и умеренных социалистов Временного правительства.

Как замечает Карташев, с отречением Николая II и приходом к власти внеконфессионального Временного правительства «исчезла юридическая база, соединявшая [Церковь] с государством. Новая государственная власть уже [правила] не Божьей милостью, а... волею исторического случая»⁹.

Московская патриархия устами своего историка профессора Цыпина осуждает Временное правительство за национализацию церковно-приход-

⁸ Там же. С. 87.

⁹ Там же. С. 76.

ских школ, которых, благодаря стараниям покойного Победоносцева, ко времени падения монархии было 37 тысяч, то есть одна пятая всех начальных школ в империи. Цель их была — формировать монархические настроения у учеников этих школ. Но, как справедливо замечает Карташев, существование школ такого направления в значительной степени за счет казны стало во внеконфессиональном государстве полнейшей аномалией. К тому же речь шла не о насильственной национализации церковно-приходских школ, а о прекращении государственных дотаций на их существование. Временное правительство не претендовало на те школы, которые финансировались исключительно из церковных или частных средств, а таких было чуть меньше половины из указанного общего их числа. Более того, Временное правительство обязывалось вернуть Церкви ту часть расходов на совместное государственно-церковное строительство, которая была затрачена старым Синодом. Интересно, что даже вышеупомянутый съезд левого духовенства высказался против национализации церковно-приходских школ.

О лояльности Временного правительства к Православной Церкви говорит и то, что законопроект министерства внутренних дел, подготовленный для утверждения будущим Учредительным собранием, определял взаимоотношения Церкви и Государства как мирное сотрудничество «двух независимых самоуправляющихся организмов»¹⁰. Иными словами, законопроект предусматривал воссоздание подлинной церковно-государственной *симфонии*, а не механическое отделение Церкви от государства. На могущий возникнуть вопрос о возможности реализации этого проекта можно лишь ответить, что подлинные демократии отличаются от деспотий и самодержавия своей законопослушностью. Следовательно, если бы власть не захватили большевики и вышеупомянутый законопроект был принят, то скорее всего он бы и соблюдался.

Первые месяцы после отречения Николая II были отмечены левой эйфорией — проходили повсюду епархиальные съезды духовенства и мирян, которые, как было сказано выше, перевыбирали или сбрасывали правящих архиереев¹¹. Последний до-соборный Синод выпустил ряд временных положений, предоставляющих прихожанам право выбора настоятеля и даже епископа. Как пишет Карташев, «вся жизнь епархий перестраивалась снизу доверху в духе самоуправления: самоуправляющийся приход, самоуправляющаяся епархия...»¹²

Но ко времени созыва Собора, после катастрофы июньского наступления на германском фронте, июльской большевицкой попытки захвата власти и прочих признаков революционного разгильдяйства и распада в тылу, в обществе стало превалировать гораздо более консервативное настроение, что и отразится на дебатах в сессиях Поместного собора и его определении. «Мода на левизну, — как пишет Карташев, — всё убывала»¹³. Но это

¹⁰ Там же. С. 85.

¹¹ Там же. С. 81-82.

¹² Там же. С. 82-83.

¹³ Там же. С. 87.

относится к настроениям на Соборе, а также вообще в среде просвещенного общества. Собор, кстати, отказался направить своих представителей на созданный Керенским нелепый «предпарламент» в Петербурге. Что касается невежественных масс, то они, по словам Карташева, «все сильнее соблазнялись левыми обещаниями мира, земли и рая на земле»¹⁴.

Как уже говорилось, в *Предсоборном присутствии* 1906 г. партия сторонников восстановления патриаршества одержала победу над противниками патриаршества лишь незначительным большинством голосов, поскольку многие опасались повторения деспотии русских патриархов XVII века, особенно патриарха Никона, обращавшегося не только со священниками, но даже с епископами, как с бесправными рабами¹⁵. А то, что в своих ответах на анкету 1905 г. по вопросу реформ в Церкви (при очень критической оценке почти всеми епископами существующего положения Церкви в государстве и предложениях ими радикальных реформ) лишь меньшая часть ответивших коснулась вопроса о патриаршестве, свидетельствует о том, что большинство архиереев вообще видело проблему не в форме и не в титулах, а в самой структуре Церкви и в ее правовом (а вернее, в бесправном) положении в государстве.

Подтверждение тому, что и в 1917 г. епископат, а в еще большей степени приходское духовенство и миряне опасались патриаршей деспотии, мы находим в начале работ *Предсоборного*, а с открытием Собора — *Соборного Совета*, где вначале преобладали голоса за создание коллегиального, соборного, а не единоличного правления в Церкви. В числе противников восстановления патриаршества был, как уже говорилось, и будущий патриарх — митрополит Сергей (Страгородский). И победили сторонники патриаршества лишь тогда, когда захват власти большевиками стал очевидным. Тогда-то у большинства делегатов и появилось ощущение, что в эпоху надвигающейся диктатуры большевиков Церковь должна олицетворяться личностью. Один из делегатов от крестьян, как вспоминает князь Григорий Трубецкой, заявил: «Синод любить невозможно, а нам нужен глава Церкви, которого мы можем любить!»

Одним из проявлений очевидного «поправения» Собора (по сравнению с первыми месяцами после падения царской власти) были и результаты диспута о выборности клира и епископата, который закончился компромиссной формулой частичного отказа от выборности. Право прихожан выдвигать своего кандидата в настоятели допускалось лишь по мотивированном несогласии принять священника, назначенного епископом. И окончательное слово предоставлено было единоличному решению епископа. Право епархиальных съездов выбирать или отставлять епископа превращено было в право рекомендации, а не решающего голоса.

Пожалуй, наиболее убедительным докладом против восстановления патриаршества было выступление Н.Д. Кузнецова — юриста и профессора церковного права, который до конца сессий Собора настаивал на сохранении

¹⁴ Там же. С. 89.

¹⁵ См., например: Н.Д. Кузнецов. Основания, приводимые для учреждения Патриаршества. *Священный собор Православной Российской Церкви. Деяния*. Деяние XXXI. Книга IV. Выпуск 1. С. 36-45.

выборного права соответственно за прихожанами и епархиальными съездами. Он же настаивал на предоставлении полного права юридического лица приходу. Этот вопрос, однако, потерял свое значение с провозглашением ленинского *Декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви*, лишившим юридического лица не только приход, но и всю Церковь.

Но вернемся к докладу Николая Дмитриевича Кузнецова. Как человек православно-верующий он подчеркнул, что вполне признает необходимость «учреждения в Русской Церкви института Первого епископа», а выступает он лишь против русской традиции патриаршества, как оно сложилось на практике в XVII веке. Особенно — при патриархе Никоне, когда рядовому священнику попасть на прием к патриарху было невозможно, а епископ, чтобы попасть к патриарху на прием, должен был одаривать всевозможными подношениями не только самого патриарха, но и слуг его. Никон, несущий главную вину за до сих пор не изжитый Русской Церковью *Раскол*, отказывался называть других архиереев братьями, отнимал у них в свою пользу отдельные храмы и даже целые благочиния, публично оскорблял их сан. Легче было попасть на прием к царю, чем к патриарху. Именно такое издевательское отношение к собратям и клиру, по словам Кузнецова, было одним из факторов, приведших к ликвидации патриаршества Петром при достаточно равнодушном отношении к этому рядового духовенства. Кузнецов выражает опасение, что такие сторонники восстановления патриаршества, как архиепископ Антоний (Храповицкий), «намерены обратить всех русских архиереев в послушников Патриарха» — как при Никоне и его предшественниках, когда попиралось 34-е правило, гласящее: «Епископам... подобает знати первого... яко главу... творити же каждому только то, что касается его епархии... но и первый ничего да не творит без рассуждения всех...» «Никакого посредника между Христом и другими епископами православное сознание не допускает»¹⁶. Другими словами, Кузнецов показывает, как далека была реальность русского патриаршества от идеала соборности (во всяком случае — на уровне духовенства), и выражает опасение, что этот горький опыт повторится, если патриаршество в России восстановится.

Самыми красноречивыми защитниками восстановления патриаршества на Соборе были профессор (а к концу Собора протоиерей) Сергей Булгаков и архимандрит, а позднее епископ-мученик Илларион (Троицкий). Но характерно, что структура, разработанная ими и принятая на Соборе, весьма ограничивала как раз prerogatives патриарха. Во-первых, каждые три года патриарх был **обязан** собирать Поместный собор¹⁷. Патриарх был председательствующим по положению, как на Поместном соборе, так и в Синоде и Высшем Церковном совете. В повседневной же деятельности власть патриарха ограничивалась Священным Синодом, состоявшим из представителей епископата и духовенства, и Высшим церковным советом, избираемым на Поместном соборе тайным голосованием на трехлетний срок до созыва следующего Собора и состоявшим из одного представителя монашества, пяти при-

¹⁶ Там же. С. 38-44.

¹⁷ Это постановление действует по сей день лишь в Православной Церкви в Америке.

ходских клириков и шести мирян¹⁸. Решения в обоих учреждениях принимались голосованием всех членов, причем у патриарха было два голоса только в случае, если голосование в ВЦС или в Синоде оканчивалось вничью. Это было единственное отличие права патриарха от прав остальных членов.

По первоначальным решениям Собора патриарх, в соответствии с церковными канонами, не имел права назначать себе преемников — только Поместный собор был вправе избирать нового патриарха. Он также не имел права управлять Церковью единолично.

К сожалению, по мере захвата страны воинствующими богоборцами Собор должен был посчитаться с реальностью и предусмотреть возможность того, что власти не допустят нормального функционирования Церкви. И потому перед своим вынужденным роспуском 20 сентября 1918 года Собор принял ряд чрезвычайных определений, опрокидывавших первоначальные определения. А именно: предоставил патриарху право управлять Церковью единолично в случае невозможности нормального функционирования ВЦС и Синода и поручил ему составить список лиц, которых он готов был видеть во главе Церкви в случае собственной кончины или невозможности созвать Собор.

Так волей-неволей была восстановлена именно та структура церковной власти, которой так опасался профессор Кузнецов. И опасения его оправдались. Хотя власть преемников патриарха Тихона в продолжение всего существования Советского Союза была весьма эфемерной, однако и она, как всякая власть, перед которой открыты возможности произвола, оказала развращающее влияние на Церковь и ее руководство, которое, можно сказать, «вошло во вкус».

К сожалению, и долгожданное падение тоталитарного режима советской власти, вопреки всем надеждам и упованиям, не привело к восстановлению соборности в Церкви — даже в той ограниченной форме, намеки на которую появились на юбилейном Поместном соборе 1988 года. Тогда был принят весьма куций, в сравнении с Собором 1917-1918 гг., Устав. Однако он предписывал созыв Поместных соборов не реже чем раз в 5 лет, а Архиерейских соборов — не реже чем раз в два года, принял приходской устав, который хотя и уступал значительно Уставу 1917-1918 гг., но все же предусматривал создание церковного суда и ограниченную форму автономии прихода.

Но и эти ограниченные подвижки не вошли в жизнь постсоветской Церкви. Деспотизм снова одержал верх над соборностью, оправдав опасения Николая Дмитриевича Кузнецова. То, что в момент вынужденного закрытия Собора в 1918 г. воспринималось как неизбежная временная необходимость, от которой следует отказаться, как только нормализуется статус Церкви, ныне трактуется как нормальное положение вещей. Тот факт, что Поместный собор не созывался с 1990-го года, не только не смущает российское церковное руководство, но более того: даже в год двухтысячелетия был созван лишь Архиерейский собор, а не Поместный, и на нем церковное руководство фактически отказалось от всеобще-церковных Поместных

¹⁸ Следует заметить, что именно такого органа, связующего Патриархию с многомиллионной паствой, весьма не хватает в современной структуре Русской православной церкви.

соборов, то есть мы вернулись к началу дискуссии о Поместном соборе, когда идею исключительно Архиерейского собора так тщательно проанализировал и отверг в 1905 г. архиепископ Сергей (Страгородский), предупредивший, что до тех пор, пока наш епископат будет назначаться бюрократически, он не будет пользоваться ни авторитетом, ни любовью народа, а следовательно — не сможет и говорить от имени народа.

Это пророческое предупреждение тогдашнего архиепископа, а затем патриарха Сергея не менее злободневно сегодня, чем в 1905 г.. Об отсутствии подлинного авторитета у нынешней иерархии Русской Православной Церкви более чем красноречиво говорят хотя бы распространяемые по всей стране псевдо-иконы таких изуверов, как палач Иван Грозный и пьяница-развратник Распутин. Осуждение Патриархом и архипастырями культа **палача и пьяницы** не возымело, как известно, никакого воздействия, что свидетельствует об отсутствии доверия современной российской пастве к своему церковному руководству. Упомянутые сатанинские иконы — а иначе их невозможно назвать — продолжают распространяться по всей стране, и какая-то значительная часть народа предпочитает верить им, а не иерархии своей Церкви! Это ли не доказательство того, что максимально представительный Поместный собор — и не трехдневка, как пошло с советских времен, а продолжительный, типа Собора 1917-1918 гг. — жизненно необходим сегодня во имя спасения и оздоровления Православной Церкви в России?

Поэтому очень хотелось бы, чтобы те, кто действительно озабочен судьбами русского православия, серьезно занялись анализом Собора 1917-1918 гг., установили бы в каких-то частных совещаниях, что, собственно, было окончательно принято в форме определений и постановлений на том Соборе, а что осталось лишь в черновой разработке; какие определения не устарели по сей день и применимы и сейчас, способствуя оздоровлению Церкви, а что устарело. Ибо если Господу угодно, чтобы Русская Церковь не превратилась в музейный экспонат, об опасности чего предупреждал на Соборе 1988 г. нынешний глава Отдела внешних связей Русской православной Церкви митрополит (тогда еще архиепископ) Кирилл, то рано или поздно ее иерархия должна будет вспомнить о Великом Московском Соборе. И тогда разработки частных богословских кружков и конференций очень даже пригодятся.

В заключение следует напомнить, что по апостольским правилам Вселенских соборов *меньший Собор* может быть аннулирован лишь *большим* Собором.

А что мы видим сегодня? Великий Московский Собор 1917-1918 гг. фактически **аннулирован** значительно меньшими Соборами 1943 — 1988 гг. На Соборе 1988 г. был принят новый Устав, утверждавший по крайней мере частоту созыва Поместных соборов не реже чем раз в 5 лет, и Архиерейских соборов — не реже, чем раз в два года. С тех пор был лишь один Поместный собор — в 1990 г. Затем собрался юбилейный **Архиерейский** (т. е. меньший) собор в 2000 г., который запросто **отменил** Устав и постановления *большее* — *Поместного* собора 1988 г.

Что это, если не полнейший произвол, сведение собственных же Соборных постановлений к безответственной болтовне?!

МЕДЖУГОРЬЕ ВОЙНА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Фрагменты из книги³

Употребляя выражение «Пресвятая Дева явилась...», мы никоим образом не предваряем заключения Церкви о подлинности явлений Пресвятой Девы в Меджугорье. Здесь приводится лишь наше личное мнение, а также мнение свидетелей событий, происходящих в Меджугорье в настоящее время.

Мы заявляем, что публикуем эту книгу с целью информировать о происходящем и подчинимся решению Церкви, как только оно будет оглашено.

Царице Мира, моей Матери и Виновице моей радости
Моим хорватским друзьям из деревни Меджугорье
Моим братьям сербам, которые считают себя моими врагами, но которые стали бы мне друзьями, если бы у нас нашлась возможность посидеть вместе за чашечкой кофе...

III. Май 1992 г.: что делают Европа и ООН?

Ложные вести

Постоянно доходившие отовсюду ложные вести были для нас весьма поучительной иллюстрацией того, на что способен человеческий язык, а также неистощимым источником для не слишком веселых шуток. Вот несколько примеров, которые мы вспоминаем с улыбкой:

— «Община Блаженств, напуганная войной, покинула Меджугорье» (весть из Италии).

¹ О назначении и содержании рубрики см. в № 117: *Игорь Виноградов. По поводу новой рубрики и книги сестры Эммануэль, а также № 115: Я даю тебе Свою любовь, передавай ее дальше. О явлениях Богородицы в Междугорье.*

² Сестра Эммануэль Майяр (Emmanuel Maillard) — член Общины Блаженств (Communauté des Béatitudes) с 1976 года.

С 1989 года она живет в Меджугорье, деревне в Боснии-Герцеговине (б. Югославия), где вот уже больше двадцати лет происходят удивительные события: явления Пресвятой Богородицы шести визионерам. Сестра Эммануэль пишет об этом книги, статьи, записывает аудиокассеты, много путешествует и выступает, по мере сил распространяя Меджугорские послания.

³ Продолжение. Начало в № 120.

Если верить слухам, мы покидали Меджугорье чуть не ежедневно; непонятно только, как мы ухитрились делать это снова и снова, ни разу туда не вернувшись...

— «О. Иозо убит» (весть из Бельгии).

Для покойника он говорит довольно энергично!

— «Церковь разбомбили, не осталось камня на камне» (весть из Америки).

Бедная церковь, ее так часто бомбили в воображении, что непонятно, как она до сих пор стоит!

— «Вицка при смерти» (весть неизвестно откуда).

Если слух верен, она прекрасно скрывает свое состояние, в Бияковичах только и слышно, как эта умирающая призывает всех к молитве и полному упованию на Госпу!

— «Скорее бегите из Меджугорья! Сербы собираются уничтожить деревню, они уже ее окружают. Через двадцать четыре часа будет уже поздно!» (весть из... Сингапура!).

Ну и мощные же бинокли у них на Дальнем Востоке!..

Короче говоря, со дня на день мы ожидали конфиденциального сообщения откуда-нибудь из Австралии, что Госпа ранена во время явления, что Ее срочно доставили во временный госпиталь в Цитлуке и что из-за нехватки медикаментов Ее состояние постоянно ухудшается...

Наш друг Бернард Эллис получал из Англии оригиналы моих факсов, переводил их и с помощью прекрасно организованной сети рассылал по всему миру. Он не уставал изумляться, в каком виде возвращалась к нему информация, обходя страны и континенты. Например, он посылал сообщение: «Бомба упала в одном километре от церкви» (так оно и было), а пару дней спустя она превращалась в: «Бомбы упали прямо на церковь, она полностью разрушена». Видно, некоторые доброжелательные души полагали, что если добавить к информации капельку драматизма, это сильнее будет побуждать к молитве...

Следует признать, однако, что ложные вести вызвали изумительную волну молитвы. Печально, разумеется, что пострадала истина, но Госпа, несомненно, сумела извлечь из этого пользу, ведь всякая молитва, возносимая от сердца, угодна Богу, и эти молитвы помогли кому-то в иных, действительно ужасных и трагичных обстоятельствах, о которых в то время никому ничего не было известно. Начало «этнической чистки», например, сопровождалось чудовищными пытками и убийствами.

Факс из Меджугорья, 1 мая 1992 г., праздник св. Иосифа-Труженика

Дорогие Чада Меджугорья, дорогие помощники Госпы!

Да будут благословенны Иисус и Его названный отец Иосиф, зарабатывавший хлеб насущный для Того, Который есть Хлеб Жизни!

Два дня назад прибыли первые грузовики с «синими беретами». В Меджугорье осталось четверо из них. Их командир француз. Завтра прибудут еще шестеро. (В Мостаре — двенадцать человек, и еще по несколько в трех других городах; всего выходит примерно сорок.) Ожидается прибытие и других. Провидение проявляет не только любовь, но и юмор: они разме-

стились у нашей соседки, так что при первой же серьезной тревоге десять «синих беретов» явятся в укрытие к нам.

Но незаметно, чтобы их присутствие что-нибудь изменило в планах сербов. Всю ночь мы слышали взрывы бомб в Каплийне, порой и со стороны Цитлука, так что наши стекла дрожали по-прежнему. Около 23 ч. 30 мин. Мостар бомбили так сильно, что мы с Сесиль могли наблюдать прямо из нашего дома скорбную иллюминацию: вспышки разрывов освещали все небо над долиной Неретвы. И сегодня утром все это продолжалось.

Грузовик с продовольствием из Сен-Броладра благополучно прибыл вчера, тысяча благодарностей французам, мы уже начали распределять. Готовятся и другие грузовики, прежде всего с консервами и питанием для малышей.

Что говорит нам Господь в молитве? — Оставаться в этом месте на службе Госпе, прежде всего постом и молитвой в единении со всеми вами, а также работой и различными конкретными делами. «Ободришь, Зоровавель! Не бойся!.. Ободришь, весь народ земли, и производите работы!.. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего... И на месте сем Я дам мир»⁴.

Да, «производите работы». За дело! Самое время это сказать. Сегодня Госпа считает тех, кто сказал Ей «да», и желает многое им доверить. Вместе с ними одержит Она победу и завершит Свой план, начатый в Фатиме. Посредством Розария и Молитвы от сердца Она показывает каждому его дело. Какое счастье, да, какое счастье для нас иметь такую Мать и трудиться под Ее водительством. Иметь тем самым мир Иисуса в наших сердцах!

Спасибо, спасибо всем!

Когда святой Иосиф едет на «пежо»...

Невозможно не рассказать чудесную историю нашего автомобиля. Когда в октябре 1989 Эфраим, основатель нашей Общины Блаженств, решил послать в Меджугорье несколько человек из общины, практическая сторона этой затеи была возложена на меня. У меня же для таких случаев есть превосходное знакомство: святой Иосиф. И вот 9 ноября 1989 года он получил от меня следующее послание:

«Дорогой святой Иосиф! Ты знаешь, как я тебя люблю. Через девять дней будет одиннадцатая годовщина дня, когда я обручилась с твоим Сыном. Так вот, если ты думаешь о том, что бы мне подарить, больше не думай, я сама тебе скажу. Я отправляюсь в Меджугорье, чтобы поступить в школу и на службу Твоей Супруги Госпы, Она меня позвала. Но, ты понимаешь, оказаться там без автомобиля очень трудно, из-за любой мелочи будут возникать проблемы. Поэтому будет просто чудесно, если ты подаришь нам автомобиль — Ей и нам, автомобиль, который поможет осуществиться планам Мира. Я прекрасно знаю, что в Назарете вы с Ней обходились без автомобиля, но времена изменились, и я знаю, что с тех пор ты тоже осовременился. Нам нужна хорошая, крепкая легковушка, легкая в обслуживании — ибо я полный ноль в механике — и с большим багажником. Не бери двухдверной, в нее трудно влезать, четырехдверная лучше (очень важно все ему детально объяснить). У меня как раз хватает времени совершить для тебя новенну»⁵

⁴ Ср.: Агг 2,2-9.

до 18-го, а поскольку 18-е это пятница, то как было бы чудесно, если бы вечером, когда мы празднуем «шаббат»⁶, я могла объявить братьям, что у нас есть автомобиль! Только представь себе хвалу, которая вознесется из их сердец! Но только не медли, пожалуйста, с исполнением моей просьбы, иначе у нас не хватит времени оформить все бумаги до отъезда (1 декабря)».

В следующие два-три дня меня временами охватывало сомнение. Насмешливый голосок убеждал: «Ты что, и вправду веришь, что 18-го получишь машину? Глупости!». Но я рассказала об этой новенне всем братьям, и многие решили к ней присоединиться. Итак, я выбрала слепое упование на помощь святого Иосифа: мне ведь так часто приходилось убеждаться в его отзывчивости!

Проходили дни... Наступила пятница, а на горизонте по-прежнему пусто. Но вот во второй половине дня приносят письмо из нашего монастыря в Ней от сестры Мари-Рафаэль, которая отправлялась вместе с нами:

«Дорогая Эммануэль, ты не согласишься, нам только что подарили автомобиль для Меджугорья! И зовут дарителя... Иосиф! Он живет в Лурде и безмерно любит Пресвятую Деву. Он дал обещание, что отдаст Ей свою машину, «пежо-305» в прекрасном состоянии, но он не знал, как это сделать. А когда он услышал, что мы с тобой собираемся ехать в Меджугорье и что нам нужна машина, у него тут же сердце подпрыгнуло, он понял, что Пресвятая Дева хочет его машину для Меджугорья.

У нас как раз есть время, чтобы выправить техпаспорт и страховку на твое имя, и я приеду за тобой на этом автомобиле!..»

И знаете что? Письмо было написано 9 ноября, в день, когда началась новенна. Но святой Иосиф точно выполнил условия контракта и задержал почту: письмо достигло меня 18-го.

И этот «пежо» держится до сих пор, пройдя всю войну и невероятно много послужив во славу Госпы.

Из этой истории стоит заключить следующее: если у вас возникла в чем-нибудь нужда на службе Госпы, попросите об этом святого Иосифа и скажите ему: «Это не для меня, а для твоей Супруги, Девы Марии, Она в этом нуждается для Своего плана мира». Для Нее он всегда расшибется в лепешку.

Личный факс Жильдасу, 2 мая 1992 г.

Дорогой Жильдас⁷!

Среди всех начинаний в помощь Меджугорью никогда не забывайте, пожалуйста, что остановить войну можно только постом и молитвой.

⁵ Новенна — девятидневные моления к определенному святому либо в связи с каким-либо празднеством — например, в течение девяти дней от Вознесения Господня до Праздника Сошествия Святого Духа (Пятидесятницей) совершается новенна ко Святому Духу.

⁶ В Общине Блаженных с вечера пятницы справляется «шаббат», т. е. суббота, по ветхозаветному обряду (что, разумеется, не исключает празднования воскресенья и всех прочих христианских праздников по-новозаветному).

⁷ Жильдас, брат из нашей общины во Франции, очень активно и плодотворно работал в секретариате «Чад Меджугорья». Теперь он занят рассылкой моих факсов.

Ко всем своим обращениям непременно прибавляйте послания Госпы. А если из-за такого обилия работы у тебя не будет оставаться времени на молитву, лучше пожертвовать частью работы, но сохранить молитву. Иначе получится ловушка и потеря благословения для всех. Ты ведь знаешь, наша задача не в том, чтобы заменить собой масс-медиа. В противном случае я быстро превратилась бы в журналистку: тут такая куча материала. Но у меня другое призвание (хотя удержаться порой бывает очень трудно, такие идеи супер-репортажей возникают).

Факс из Меджугорья, 4 мая 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья и все, кто трудится вместе с Госпой!
Хвала Иисусу! Всегда Иисусу и Марии!

Мы с удивлением увидели, что некоторые матери вместе с детьми вернулись в деревню: условия жизни беженцев так тяжелы, что люди предпочли, невзирая на опасность, жить в собственных домах. Огромная проблема — недостаток продовольствия для этих семей, магазины пусты и закрыты, предприятия не работают, денег не поступает ниоткуда... Тоска! Мы призываем всех, кто может организовать хотя бы один грузовик с продовольствием, сделать это. Готовые грузовики могут обслуживать Широки-Брег и Меджугорье, откуда отправляются конвои в отрезанные деревни. Будем молиться, чтобы все хорошо устроилось в мире Госпы и в любви.

В час, когда я пишу, война еще свирепствует вокруг Меджугорья: Мостару не дают ни малейшей передышки, отсюда виден взрыв каждого снаряда. Передвигаться с места на место трудно даже «синим берегам». Почти все дороги перекрыты, и люди не могут покинуть свои города. Разрушено много домов. Вчера вечером на Любушки была предпринята жестокая атака; сегодня утром «синие берега» отправились посмотреть на тела убитых детей, чтобы составить рапорт. Снаряды падают на Цитлук, пылают две машины. Но сама деревня Меджугорье до сего дня остается совершенно нетронутой.

Особенно молитесь за наших солдат. Теперь они проводят сутки на фронте и трое-четверо суток дома. Они снова уселись на свои тракторы и принялись за полевые работы, но остаются все время наготове. Кое-кому мы дали послания Госпы на хорватском. Результат: многие просят еще и говорят, что никогда прежде их не читали! Сердцем они знают, что только их Царица им покажет, как одержать истинную победу. Один из приходских францисканцев ежедневно надевает военную форму и отправляется к ним в окопы вместе с Милосердным Сердцем Иисуса, чтобы принимать исповеди солдат и духовно их поддерживать. Неужели нужна была война для того, чтобы они осознали, что за неслыханная ставка поставлена на Меджугорье и что за благодать изливается отсюда на весь мир?!

Дорогие братья и сестры, ваши молитвы — это та стена, о которую разобьется сатана. Спасибо за стойкость в молитвах в эти скорбные дни: несомненно, что Госпа одержит самую прекрасную победу благодаря той любви, которую Она найдет в ваших сердцах.

Вы Ее дорогие дети, Она гордится вами!

Мир со всеми вами!

Факс из Меджугорья, 7 мая 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья и все возлюбленные дети Госпы!

Вот уже месяц, как первые бомбы упали на наш край Герцеговину и самая посещаемая в мире деревня превратилась в пустыню... Вот уже месяц, как закрыта церковь Меджугорья, горы оставлены, пусты конфессионалы, молчат громкоговорители, а две трети ее жителей эвакуированы... По видимости, в этом месте, которое он ненавидит больше всякого другого, сатана одержал крупную победу, но для верующих это час долгого, любовного созерцания Иисуса на кресте. Враг думал, что уничтожил Его? — А на деле он вызвал только невероятный поток славы и открыл вечные источники жизни там, где думал нанести своей Жертве смертельные раны. Меджугорье и весь хорватский народ переживает сейчас скорбные тайны Иисуса в ожидании Его славных тайн⁸. Во время этой долгой хорватской Страстной Пятницы Госпа ищет истинных верующих, верующих вместе с Нею в Воскресение. Она не оставляла Меджугорье ни на один день. Являясь Ивану и Вицке, Она молится с ними и со всем народом, показывая, до какой степени наши страдания это и Ее страдания. У Нее скорбное лицо. Она говорит исключительно о способах остановить войну. Она несет в Своем Сердце все будущее Меджугорья и его огромную роль в спасении человечества. Она незримо prepares великий Знак, который обещала дать на горе Явлений как для верующих, так и для неверующих. У Нее Свой план, и Она его осуществит. Наша роль — ускорить это осуществление, все больше и больше приближаясь к Ее Сердцу, оставив таким образом как можно меньше времени сатане на разрушение.

Дорогая Госпа, мы любим Тебя, но умножь нашу любовь, потому что мы хотим любить Тебя бесконечной любовью!

Факс из Меджугорья, 8 мая 1992 г., 14 часов

Вести отсюда не улучшаются, напротив. Город Мостар подвергается бомбардировкам каждый день, убитых уже не счесть. Разрушен большой торговый центр, а вчера вечером разбомбили резиденцию епископа, и она полностью выгорела изнутри. Сам епископ и священники спаслись. Жители зарываются в подвалы, а артиллерийские позиции расположены прямо на улицах. Начался голод. Единственная дорога, хотя и небезопасная, позволяет доставлять продовольствие, но многие голодающие не могут добраться до пунктов раздачи из-за того, что творится.

Широки-Брег, Цитлук, Добро Село и другие «горячие точки» продолжают оставаться целью противника, и там каждый день появляются новые убитые и раненые. О. Иозо очень активно помогает своим подопечным, убежавшим в Макарку, часто к ним выезжает.

Меджугорье остается охраняемым местом молитвы! Нам нет нужды долго сосредотачиваться, чтобы возносить Богу вопли заступничества за братьев: снаряды, самолеты, взрывы, сирены непрерывно нам напоминают, что муж-

⁸ «Скорбные тайны», «Славные тайны» — части молитвы Святого Розария, посвященные, соответственно, Страстям Господним и Преславному Его Воскресению.

чины, женщины и дети умирают в эти самые мгновения, что разрушитель делает свою губительную работу. Вчера, во время мессы в подвале ризницы внезапно разнеслось: «Самолеты, самолеты!» Действительно, мы слышали, что они пролетают совсем близко, и слышали свист падающих бомб. Священнику пришлось прерваться, он замер, не зная, продолжать или нет. Это был налет на Мостар и на район Неретвы. Многие плакали, и было от чего. Сегодня утром все повторилось.

11 ч. 30 мин. из нашего подвала

Пролетело два самолета, в нескольких километрах от церкви падают ракеты... Завтра сообщу подробности. Спасибо за ваши молитвы и любовь. Мы знаем, на Кого нам возложить наше упование!
Любовь и Мир!

Факс из Меджугорья, 9 мая 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья и все возлюбленные дети Госпы!

Едва только мы отправили вчера наше послание в Хорватию на факс, как Меджугорье получило первые в своей истории ракетные удары... Около часу дня шесть ракет упало на сектор Сивриц, знакомый многим французам, потому что они там останавливались. Сразу после атаки мы отправились на место и убедились собственными глазами: *никаких* человеческих жертв, слава Господу! Повреждены фасады двух домов и выбиты оконные стекла еще у нескольких. Убита одна корова⁹. Одна из ракет упала в ста пятидесяти метрах от моста и в четырехстах метрах от церкви. Две — возле въезда в Меджугорье, у поворота на Сивриц и еще одна — в пятидесяти метрах от дома нашего друга Иосипа С., сзади. Все говорят: «Царица Мира нас защитила». Все также говорят, что сербы метили в церковь, и действительно, они едва не попали.

В этот же день, 8 мая, весь наш район был серьезно атакован: Грюд, Широки-Брег, Любушки, Цитлук... И есть человеческие жертвы.

Иван уехал на несколько дней в Италию.

Вот и все местные новости. Продолжим вместе обращаться к Матери нашей жизни, от всего сердца поможем Ей сберечь наше дорогое Меджугорье, которое Она хранит как зеницу ока. Оставляйтесь в мире: ничего здесь не произойдет такого, что не обернулось бы к вящей славе Ее и Ее Сына Иисуса.

Да будут Их имена прославлены, благословенны, воспеты и превознесены, ныне и веки!

Мир всем!

Личный факс Жильдасу, 9 мая 1992 г.

Дорогой Жильдас!

...Если до тебя доходят слухи о каких-то важных событиях в Меджугорье, спокойно ожидай в молитве моих «News». Настоятельно тебе советую сохра-

⁹ Чтобы быть совершенно точными — были убиты одна корова, одна собака и одна курица.

нять дух «Чад Меджугорья». Если даже случится что-то важное, не тревожься, я завтра же обо всем сообщу. Не забывай, что ты не журналист, но человек молитвы. Это очень важно. Перечитай послания, ты увидишь, что именно нравится Деве. Она не падка на слова. Ей угодно, чтобы мы были свободны от нынешнего течения вестей. Она Сама не сообщила ни одной — ничего, кроме средств остановить войну, а с этим у нас есть главное. Она не поручала нам систематически распространять вести обо всем, что здесь происходит, нет. Когда ты получаешь факс, ты его распространяешь, а когда не получаешь, остаешься в мире и ждешь. Если тебя о чем-то спрашивают, ты спокойно отвечаешь, что не знаешь. Надеюсь, ты понимаешь, что я так настаиваю потому, что на этом скользком склоне, делая слишком многое, ты рискуешь удалиться от сердца Госпы! Это бы повредило Ее планам, а хуже ничего не придумаешь! Разумеется, я говорю тебе все это с полным доверием...

Факс из Меджугорья, 11 мая 1992 г., 12 ч. 15 мин.

Дорогие Чада Меджугорья, дорогие братья и сестры во Христе!
Слава Иисусу!

О. Йозо на несколько дней уехал в Англию.

Здесь у нас было почти что явление! Визионерка Мария Павлович провела двое суток в Меджугорье перед отъездом в Италию. Мы смогли взять у нее интервью, основное содержание которого скоро появится вместе с интервью Вицки, Ивана и о. Йозо. Мария держится превосходно, несмотря на плохое состояние здоровья.

Вчера, в воскресенье, Меджугорье снова бомбили, к счастью, без всякого ущерба. В 12 ч. 30 мин. ракеты упали на территорию Бияковичей, возле грунтовой дороги, ведущей на Неретву, слева от Подбрдо. Мы там побывали: все упало далеко от домов, на каменистый пустырь, заросший колочками, примерно в трехстах метрах от деревушки. Сознательно ли сербский летчик направил в сторону снаряды, желая спасти Оазис Матери Божией, или он думал, что там прячутся хорватские солдаты?

В 19 ч. 15 мин., во время мессы, новый налет, на этот раз на сектор Крентин, в одном километре от церкви. Затем на сектор Тромедья, в трехстах метрах от новой бензоколонки (ее владелец всю ее обвешал чудотворными медальонами!). Мы проявляем все больше осторожности и, соответственно, больше времени проводим в подвале...

Извините за этот несколько торопливый факс. Мы очень-очень связаны с каждым из вас в пылающем Сердце Госпы.

Mir и ♥

Личный факс Сириллу, 11 мая 1992 г.

Дорогой Сирилл¹⁰!

Угадай, что случилось? — Мария Павлович приходила к нам вчера вечером. Правда, прекрасный сюрприз от Госпы? У нее прекрасное состояние

¹⁰ Сирилл Обуано, автор книги «Слова Небес». Прожил в Меджугорье семь лет, переводил выступления визионеров.

духа, но она по-прежнему немало страдает от той таинственной болезни, которую подхватила в Южной Америке. Какой-то очень редкий вирус, ни один врач не знает точно, в чем дело. Она очень страдала эти последние месяцы в Италии, каждый шаг был для нее пыткой. Она говорила Богу: «Я согласна нести этот крест до Пасхи, но на Пасху Ты меня исцелишь!» Теперь ей лучше, она может ходить, но нынешнее лечение ненадежно. Будем надеяться, что вся эта история скоро закончится.

Она приехала на двое суток повидать родителей. Для них, учитывая их преклонный возраст, все гораздо тяжелее. Ты представляешь себе их дом без той маленькой пчелки, какой была Мария, которая постоянно возилась то с тем, то с другим?..

Ее присутствие всегда, как помазание с Неба; а мы теперь так в этом нуждаемся! Она, как обычно, задирает Мориса, а тот радуется, как ребенок! А потом с гордостью говорит: «Ты представляешь, я получил кулаком от ясновидящей!»

А как твои выступления? Сейчас, когда «Меджугорье зримое» находится в катакомбах, очень важно, чтобы «Меджугорье в диаспоре» как можно громче возвысило свой голос!

Я беру интервью у Марии (Павлович)

Мария, как ты смотришь на эту войну?

— В Меджугорье война не слишком ощущается, чтобы ее почувствовать как следует, нужно отправиться на фронт. Разумеется, здесь слышны бомбы, но вместе с тем я чувствую себя в мире, потому что, как мне кажется, эта ситуация помогает нам больше приблизиться к Богу и уповать только на Него одного.

Эта война была для тебя неожиданной?

— Я ожидала ее уже некоторое время. Ибо здесь больше проблем, чем в Хорватии, из-за смешанного населения. Но когда приезжаешь сюда извне, ощущаешь великий мир. Это поистине Оазис Мира. Я уверена, что Госпа не даст его разрушить.

Каждый день я непременно верю всю эту ситуацию Госпе. Это не человеческая, но чисто сатанинская война. Врываться в дома и убивать там стариков или отрубать руки у детей... это ужасно! Человеческое существо, имеющее сердце, имеющее семью, не может делать таких вещей. Они все под наркозом, они не понимают, что они творят.

Война никогда не забывается, особенно такая, сатанинская, которую ведут осатаневшие люди, крупные политики; масонство, например, играет в этой войне важную роль. У нас есть поговорка: «Сатана никогда не спит»...

У нас он тоже не спит!

— Да, правда! Но у меня великая надежда.

А твоя семья, как она переносит все это? Твои братья на фронте...

— Да. Они обязаны там быть. Но для многих из них этот опыт оказался полезен: всякий раз, совершив даже самый маленький грех, они идут на исповедь. Они говорят: «Если мы умрем, мы окажемся в благодати Божией!»

Старики, уже пережившие другие войны, как мои отец и мать, очень нервничают. По ночам они почти не спят. Их осаждают воспоминания,

Вторая мировая война, все ужасы... Они молятся. Они говорят: «Главное для нас, чтобы вы, дети, были в безопасности. А мы уже старые, мы свое уже прожили, мы никуда не двинемся отсюда». Они хотят остаться здесь, умереть здесь, в своем доме, среди своих обычных ежедневных занятий...

Есть ли что-нибудь особенное в явлениях Девы во время войны?

— Да, у Нее серьезное, озабоченное лицо. Но Она всегда подает нам надежду, требуя молиться и поститься. Я уверена, что если мы будем серьезно Ее слушать, ничего не случится. То, что сейчас происходит, я считаю как бы наказанием, но прежде всего я считаю это знаком, чтобы мы пробудились.

Почему ты говоришь о «наказании»?

— Потому что я считаю, что мы не ответили на послания Госпы. И даже сейчас, к несчастью, мы недостаточно следуем Ее посланию, в котором Она говорит: «Возьмите в руки Розарий как знак для сатаны, что вы Мои. Розарий — это самое мощное оружие против сатаны».

Когда ты говоришь «мы не ответили», ты имеешь в виду хорватов или весь мир?

— Прежде всего хорватов. Кроме того, я нахожу некоторое сходство у нас с еврейским народом: мы так же получили безмерную благодать, но так же и много страданий.

Я часто слышу, как у нас говорят: «Быть хорватом вовсе не подарок! Сначала у нас веками были турки, потом коммунисты, а теперь на нас давят сербы. Постоянная неволя!»

Каков же смысл этого всего?

— Я верю, что с Меджугорьем, с посланиями Госпы, со всем тем, что с нами происходит, мы присутствуем при великой борьбе, а именно борьбе с коммунизмом. Когда смотришь на Чехословакию или на Венгрию, где коммунизм спокойно угасает, создается впечатление, что здесь у нас хвост Красного Дракона (по выражению Пресвятой Девы в Фатиме¹¹) дергается с особой силой. Коммунизм еще не кончился, даже если Китай признал независимость наших республик, чего никто не ожидал.

Одно несомненно, то, что на протяжении одиннадцати лет Пресвятая Дева готовила нас к этому очень тяжелому времени.

Явления — это начало «Пятидесятницы любви»?

— Я не знаю, но я вижу, что в связи с Меджугорьем сложилось великое единство. Как если бы весь мир сделался одной страной. Мы это видим: стоит людям сюда приехать, и Меджугорье сразу их объединяет. Они не спрашивают, кто откуда приехал, потому что самое главное — это вместе искать Бога.

Все нам говорят: «Мы опять приедем в Меджугорье, потому что здесь имеется источник, который помогает нам держаться, источник, дающий нам силы». В Италии мне говорят: «Мы узнали Меджугорье и теперь страдаем вместе с ним».

Довольна ли Госпа всеми молитвами и жертвами, которые приносят люди по поводу этой войны, или же Она ожидает еще?

¹¹ Фатима — деревушка в Португалии, где в 1917 г. происходили явления Пресвятой Девы троем детям. Пресвятая Дева предсказала тогда торжество коммунизма в России, но и конечное его падение благодаря молитвам и жертвам всех верующих.

— Я думаю, Она хочет еще. И если Она этого требует, то потому, что знает, что мы можем дать еще. Мы всегда можем больше, ибо Дева желает, чтобы вся наша жизнь превратилась в молитву, я думаю, что если мы серьезно станем воплощать это в жизнь, мы сделаемся святыми.

Спасибо, Мария, что разделяешь все это с нами. Скажешь нам что-нибудь напоследок о твоей болезни?

— Нет, ничего! Она приносит мне страдания, которые я могу пожертвовать Богу, вот и все!

Даже в самый разгар войны Мария Павлович для всех нас — это знак мира, знак радости отверзающихся Небес, радости от близости с Богом. Позвольте мне привести две маленьких истории о Марии и о Небе:

Время от времени Мария подмигивает кому-нибудь из собеседников. Поначалу это слегка шокировало окружающих, ибо ни одна хорватская девушка так себя не ведет. И тогда у нее спросили:

— Почему ты так делаешь?

— Это Младенец Иисус меня научил!

— Как это?..

— Однажды, на Рождество, Госпа явилась вместе с Ним. Он стал играть со мной, пряча личико в покрывало Своей Матери, а потом вдруг выглядывал и подмигивал мне, а потом снова прятался... как дети играют в прятки. С тех пор я тоже подмигиваю, когда вспоминаю Его.

В другой раз, три дня спустя после дня рождения Марии, я ее спросила:

— А Госпа не поцеловала тебя в честь дня рождения?

— Да, Она поцеловала меня в щеку!

— Куда именно?

И Мария показала мне тогда точку у себя на левой щеке и прибавила, смеясь: «Я два дня не мыла эту точку, чтобы сохранить поцелуй Пресвятой Девы!»

(Когда я рассказала об этом о. Даниэль-Анжу¹², он воскликнул: «И ты, разумеется, сразу же бросилась целовать Марию в ту точку, которая хранила след поцелуя Пресвятой Девы?» — «Э-э... нет!» — «Ну и дура!»)

Факс из Меджугорья, 15 мая 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья, возлюбленные дети Госпы!

Слава Иисусу!

Ваши молитвы не оказались тщетными: после соглашения о прекращении огня, подписанного в Сараево, бои заметно поутихли, и в Меджугорье спокойно. Изредка доносится звук сирены и отдельные оружейные выстрелы со стороны Неретвы. Спасибо, Господи, за эту передышку, потому что под конец стало совсем тяжело: в Цитлуке разбомбили госпиталь, и теперь там никого нельзя лечить; в Мостаре полностью разрушена приходская церковь францисканцев, а монастырь их сильно поврежден. Монастырь сестер-францисканок сгорел дотла...

¹² О. Даниэль-Анж — известный французский религиозный деятель, духовник и проповедник; горячий сторонник Меджугорья. Неоднократно бывал в России.

Разве это были военно-стратегические пункты? — Нет. Это были стратегические пункты молитвы, служения Богу и облегчения страданий!

Как и другие визионеры, Мария права, напоминая, что эта война не человеческая, а сатанинская. Только сатана может толкнуть человека отрубить руки ребенку — не говоря уже обо всем остальном.

Многие спрашивают: «Что говорит Госпа об этой войне?» Многим хотелось бы услышать подробно о том или ином способе военных действий, об исходе боев... Нет, Она не говорит ничего. Она молится. Она не упоминает ни сербов, ни хорватов, ни «голубые каски», ни Европейское сообщество, ни президента Буша. Она молится в молчании, как Она молилась в час Страданий Своего Сына, тогда как Она могла осаждать Своими мольбами и причитаниями и римлян, и иудеев... Но нет, молчаливое единение в любви было сильнее, действеннее всего остального. И так Она показывает нам самое основное, как надо действовать, чтобы ускорить победу любви над ненавистью.

Ее апрельское послание содержит всё: молитву, пост, посвящение Сердцу Иисуса и Марии. Вот камни Давида против великана Голиафа, вот *единственное* безотказное оружие против сатаны.

Мои возлюбленные, как легко Мне было бы остановить войну, если бы люди больше молились... — говорила Она в декабре 1991 г. Но наших молитв все еще недостаточно. Мария сказала мне в воскресенье: Госпа хочет, чтобы вся наша жизнь стала молитвой, хочет от нас святости, вот зачем Она пришла в Меджугорье.

И Вицка вчера: «Госпа с нами только молится, Она с нами не разговаривает. И Она страдает. На Ее лице видна скорбь, а в Ее Сердце ощущается великое страдание из-за того, что происходит. Но Она проявляет надежду».

Страдания нашей Матери — это изумительная тайна: каждую рану на этой войне, каждую смерть на фронте, каждое разодранное сердце Она переживает всем Своим существом как Свои собственные. Когда Иисус был на земле, Она глубоко переживала все Его страдания. Она была распята вместе с Ним из-за Своей невыразимой любви к Нему. И теперь, в течение этой войны, Она переживает все, все, все, ибо мы Тело Христа, Ее Сына, и Она любит каждого из нас так же, как Она любит Иисуса, не меньше! Так Она сказала.

Как же мы можем тогда не любить Ее все больше, не стараться Ее утешить, перевязать Ее раны? Да будет наша молитва объятиями наших сердец с Ее Сердцем, да будут наши молитвы радостью разделенной любви.

Я очень горячо благодарю всех вас, будучи счастлива быть вместе с вами чадом Такой Матери! Да будет Она благословенна!

«Вина нет у них...» (15 мая 1992 г.)

Каждую неделю по пятницам в обязанности Мориса входит приготовить субботний стол для вечерней литургии¹³. В тот день после мессы мы

¹³ Важной составляющей нашего призвания является жизнь в великой близости с народом Израильским, что выражается, среди прочего, в праздновании Шаббата вечером в пятницу. Вслед за еврейским народом, Марией, Иосифом, Иисусом и христианами первых веков мы переживаем эту великолепную

начали петь Песнь Песней вокруг стола, затем псалмы на еврейском. На столе два субботних хлеба, которые мы специально испекли сегодня утром, а также чаша, которую мы наполним вином в момент «Киддуша»¹⁴.

И вот посреди 22-го псалма («Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться...»), входная дверь резко открывается и слышны шаги на лестнице. Из-за завесы просовывается огромная волосатая рука, а в ней — огромная бутылка красного вина. Рука ставит ее на пол и скрывается за завесой. Неведомый гость уходит. Я смотрю на Мориса, и тот вдруг все понимает: сегодня днем он обнаружил, что у нас кончилось вино, а потом совершенно забыл об этом. Сами того не зная, мы начали справлять Шаббат без вина, и уже приближался момент Киддуша... И вот какой-то человек, тоже ничего не зная, принес нам вино в самый последний момент!

Оказалось, это был наш друг Марко, который живет у подножия Крыжеваца. В благодарность за коробки с продовольствием из Франции он принес нам вина из своего подвала, но не посмел мешать молитве... Провидение всегда будет нас удивлять!

Спасибо, Господи, и... Шаббат шалом!

Сесиль рассказывает о другом случае.

Как-то раз во время войны, перед субботой, Морис позвал ее на кухню: — Попробуй, пожалуйста, это вино! Как по-твоему, подойдет оно для Шаббата? Это все, что у нас есть.

— Господи, да это уксус!.. Что же делать? Все-таки подать? А что скажет Эммануэль?

— В любом случае другого у нас нет.

...В момент благословения вина оба ждали моей реакции, когда я попробую уксуса. Но не только я — ни у кого на лице не появилось характерной гримасы. Лицо же Мориса, когда настал его черед, отразило великое изумление. Что все это значило? Оказалось, что в чаше не уксус, а превосходное вино!.. Господь еще раз явил Свою любовную о нас заботу, превратив... на сей раз не воду, но уксус в настоящее Сент-Эмильон!

Факс из Меджугорья, 19 мая 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья, дорогие братья и сестры во Христе!
Слава Иисусу! Всегда Иисусу и Марии!

семейную литургию вокруг стола, литургию, которая предвещает для нас Царство, вечный покой в Сердце Божием.

Здесь, в Меджугорье, Шаббат обогащается еще одним особенным аспектом. Действительно, по традиции хозяйка дома зажигает свечи при заходе солнца. Ибо иудеи знают, что если через женщину грех вошел в мир, то через женщину же ему будет возвращен свет. В Назарете субботние свечи зажигала Пресвятая Дева, Матерь Света, ставшего плотью. А в Меджугорье я поистине зажигаю свечи вместе с Нею, ибо здесь больше, чем где бы то ни было, Она снова рождает свет в душах, чтобы спасти от тьмы наше больное поколение и приготовить славное пришествие Своего Сына.

¹⁴ Молитва благословения вина и хлеба.

Вчера у нас была большая радость: с фронта вернулись наши междугорские мужчины, все целые и невредимые, в том числе братья Вицки и наш друг Иосип. Они провели семь дней на передовой под Мостаром, где сейчас опаснее всего. Ваши ангелы хорошо поработали; спасибо, что прислали их к нам! Ни одного раненого, ни одного убитого, они говорят, это настоящее чудо при том количестве бомб, что разорвалось над их окопами. Иосип мне сказал: «Ты не представляешь, сколько тысяч раз там прозвучало: “Радуйся, Мария”! Молились *все*. Это Госпа спасла наши жизни».

Вицка показала нам прекрасный пример в эти дни, оставаясь все время спокойной и радостной, хотя и знала, что ее братья и кузены на передовой, и хотя, как и мы, слышала разрывы бомб с той стороны... «Для чего тревожиться и висеть на радио? Нет, это бесполезно! У меня есть работа по дому, я продолжаю ее делать, как обычно, вкладывая в нее все свое внимание и сердце...».

«Голубые каски» оставляют Боснию-Герцеговину. Приказ пришел из Сараево, и те, что были в Меджугорье, очень огорчены. Мы тоже! Под их эгидой пять тысяч детей были эвакуированы из Мостара как раз перед тем, как генерал-майор Перешич (серб) заявил, что больше ни один человек не сможет покинуть город. В результате там осталось еще много детей, чья жизнь под угрозой. Вчера мы наблюдали воздушный налет на Мостар, весьма впечатляющее зрелище: сначала звук пролетающих над нами самолетов, потом — наподобие четок (!!) — цепочки бомб в небе и взрывы, стрельба хорватской противовоздушной обороны (много самолетов разбилось) и, наконец, — густые клубы дыма над Мостаром... Вчера утром то же самое происходило над деревнями между Любушками и Вргорацем, но все бомбы упали мимо. Ни одной жертвы.

Иван вернулся из Италии в воскресенье, 17-го. Он напоминает, как важно *воплощать в жизнь то, чего требует Пресвятая Дева*. Вицка уехала на три дня вместе с о. Орецом, чтобы выразить благодарность итальянцам за помощь беженцам. Мы с ее помощью готовим брошюрку, адресованную хорватскому народу, и особенно беженцам, чтобы поддержать их в испытаниях и показать, как много они могут для того, чтобы остановить войну, если будут вместе с Госпой, Которая не перестает ласкать и призывать их: ***Дорогие дети, Я пылаю любовью к вам... Отдайте Мне ваши сердца!***

В ближайший уик-энд мы ожидаем новых грузовиков с продовольствием. Большая часть будет отправлена в Боснию, где у них нет **ничего**, с помощью францисканцев и некоторых надежных людей, ибо в этих деревнях происходят ужасные массовые убийства, и появляться там опасно. Три дня назад детей тринадцати-четырнадцати лет десятками бросали в огонь возле Тузлы, а других искалечили. Сотням людей ножами перерезали горло, особенно мусульманам, очень многочисленным в этом регионе. Полный ужас. Похоже, что сербы впали в безумие отчаяния, но при этом многие из них восстают против своих начальников и против их бессмысленных приказов и дезертируют. Дай Бог, чтобы таких стало большинство и они смогли погасить губительную ярость.

Мы приветствуем и благодарим от глубины души всех тех, кого тронули эти простые вести из Меджугорья, благодарим всех, кто выразил нам свое

единство, и всех, кто нас поддерживает материально. Мы приветствуем и благодарим от глубины души всех тех, кто хранит стойкость в молитве и кто смиренно и отважно воплощает в жизнь послания Госпы. Мне хочется сказать им вместе с Госпой: *Если бы вы знали, как Я вас люблю, вы бы заплакали от радости!*

Сербская армия... галеры!

Наш друг Желико передает нам, что с сербского бастиона на горе Велец (нависающей над Мостаром) вчера сбежал солдат и сдлся хорватам. По рождению он мусульманин. Он говорит, что там, наверху, у многих тиф. Командир послал его за водой к подножию горы, и он воспользовался этим, чтобы сбежать, потому что у него тоже тиф и он больше не может. Хорваты его приняли и отправили в госпиталь в Сплит. Он весит не больше сорока кило. Он рассказывает, что каждое утро в армии раздают белые таблетки, какой-то наркотик, но он не знает, как он называется. Он говорит, после этого солдаты становятся вне себя и готовы на что угодно, потому что больше не сознают опасности.

Надеюсь, эксперты сумеют выяснить истину о применении наркотиков в федеральной армии. Цель — сделать солдат сверххрабрыми, чтобы они могли очень долго обходиться без сна, утратили всякое чувство опасности; возбудить в них потребность сражаться. Кровожадное желание, способное придать человеку почти сверхъестественную силу в сражении, но... к его собственной гибели, потому что эти средства совершенно убийственны. На их счету уже тысячи смертей.

Зденка, сестра Иосипа, медсестра в Оточаце, рассказывает о том, как четники¹⁵ наступали на их деревню. Хорваты организовали оборону. Первая волна четников обрушилась на них, нисколько не заботясь о своей безопасности. Они во весь рост бежали к деревне, кричали, как звери, потрясая оружием над своими головами, и большинство из них пало под хорватскими пулями. Тогда накатилась вторая волна. Они точно так же ревели, как сумасшедшие, потрясая оружием, и топтали трупы тех, кто был в первой волне, словно простые камни. Они совершенно не обращали внимания на опасность. Так погибли многие сотни: они явно приняли дозу... и наркотик подействовал!

Вот почему многие сербские солдаты плюют на все и покидают ряды. Разумеется, если их ловят, их расстреливают. Кому удастся побег, укрываются в Хорватии и там умоляют о возможности позвонить своей семье в Сербию, ведь их армия не ведет счет убитым и сербские семьи находятся в страшной тревоге. Семьям, как видно, война не нужна... Тысячи сербов уже убиты, а нужно тем не менее следовать безумным мечтам Милошевича, и

¹⁵ «Четник» на сербско-хорватском означает «член группы». Вот уже более ста лет цель четников — уничтожение всего не-сербского в соседних с Сербией краях. Покушение в Сараево Перед первой мировой войной было результатом этой же идеи. Сегодня под коммунистическим обличем они преследуют ту же цель. Поэтому в местной разговорной речи всех сербских солдат называют «четниками». Но один только Бог видит глубину сердец.

юношей шестнадцати-семнадцати лет отправляют воевать в Боснию-Герцеговину. Люди из Меджугорья порой находили сербских солдат прикованными к орудиям цепями: так их удерживают от бегства в разгар боя!

Я свидетель того, что многие жители Меджугорья молятся за сербов еще больше, чем за своих, потому что, говорят они, с ними обращаются хуже, чем с животными, они уже много месяцев находятся вдали от дома и постоянно подвергаются угрозам: «Ты пойдешь в первом ряду, или я тебя убью...». Коммунистическая армия не знает жалости. Я не помню ни одной мессы в Меджугорье, где бы за них не молились. Чтобы мир Божий восторжествовал над этим истреблением тел и сердец.

Дети победят ненависть

С самого начала войны мы каждый день просим Госпу: воспользуйся нами, чтобы остановить эту войну, покажи нам в молитве, чего Ты ожидаешь от нашего присутствия здесь. Перед лицом всех этих зверств мы часто задаемся вопросом, что бы мы могли сделать еще, кроме поста и молитвы.

В тот день во время молитвы у меня возникла убежденность, что Госпе в Ее планах мира помогут дети. Я тут же отправляюсь к Вицке просить о сотрудничестве. К великой моей радости, она принимает эту идею с восторгом:

— Это очень поможет Госпе.

Послание Пресвятой Девы от 25 мая 1992 г.

Дорогие дети!

Сегодня Я снова призываю вас к молитве, чтобы через молитву вы еще больше приблизились к Богу.

Я с вами, и Я желаю вести вас по пути спасения, которое дает вам Иисус.

С каждым днем Я становлюсь все ближе к вам, хотя вы этого не знаете, и вы не хотите понять, что вы слишком мало связаны со Мной через молитву.

Когда приходят искушения и трудности, вы говорите: «Боже, Мама, где Ты?» А Я Сама жду, пока вы скажете Мне ваше «да», чтобы передать его Иисусу и чтобы Он одарил вас Своею благодатью.

Поэтому, еще раз, примите Мой призыв и начните снова молиться до тех пор, пока молитва не станет радостью для вас. Тогда вам откроется, что Бог являет Свое всемогущество в вашей повседневной жизни.

Я с вами и Я жду вас.

Спасибо, что ответили на Мой призыв.

Факс из Меджугорья, 28 мая 1992 г. Вознесение Господне

Дорогие Чада Меджугорья, все возлюбленные дети Госпы! Слава Иисусу, Который остается с нами во все дни до скончания века! Уже несколько дней в деревне довольно спокойно, и свет надежды начинает теплиться в людях Меджугорья, ибо во многих местах хорватам удалось отбить террито-

рии, захваченные коммунистической армией, это немного, но уже кое-что. Обходится это дорого: вчера в Любушках новые жертвы среди молодых, много тяжелораненых. Великая серьезность лежит на лицах солдат восемнадцатидвадцати лет: «Мы никогда уже не будем такими, как прежде». За несколько недель они повзрослели на десятилетия. У них теперь новое понимание жизни. Они знают, что — главное, а что — «те переходящие вещи, которые предлагает мир сей», как говорит им Госпа... Стоило бы написать о них книгу...

Иванка со своими детьми вернулась несколько недель назад. Это добрый знак. Зато Мария Павлович не смогла вернуться. О. Йозо в Вашингтоне. Вот уже три дня Иван видит явления в подвале ризницы перед мессой, как в первые годы... Великое благословение для всех: мы вас вручаем Царице Мира, всех, кто не может приехать.

Мне передают то, что распространяют медиа. От этого хочется плакать. Работа журналиста в том, чтобы прибыть *на место*, видеть, слышать, улавливать то, что действительно происходит. Разве в 1940-1945 гг. они обращались в четырехзвездочные кабинеты гестапо в Берлине за информацией о том, что происходит в концлагерях? Так почему же сегодня идут за информацией в Белград, в сербский коммунистический ГБ, к агрессору № 1 в этой войне — и со слов таких людей описывают ситуацию в хорватских и мусульманских зонах в Боснии-Герцеговине, тогда как даже их собственный сербский народ больше им не доверяет и восстает против них? Журналисты, нельзя до такой степени оставаться в тылу! У меня есть для вас предложение, которое позволит вам написать превосходные страницы о горячих точках.

Пять заданий журналистам:

1. Поезжайте в Мостар (если наш друг Никки трижды побывал там за эти дни, сможете и вы). Откройте ваши глаза, уши и камеры и расскажите нам, что происходит с сотнями хорватов и мусульман, запертых в большой православной церкви без пищи и воды.

2. Расспросите сербских офицеров в Мостаре, за какие преступления они повесили на мосту своих собственных людей и почему никто не смеет их снять.

3. Пойдите в сербские поликлиники в Боснии-Герцеговине и посмотрите, как там берут кровь для переливаний солдатам федеральной армии у хорватских и мусульманских пленных — до последней капли, до смерти.

4. Возьмите интервью у сербов, совершивших массовые убийства в Боснии, и спросите у них, какими наркотиками их накачивали перед боем? — Это наркотики трех сортов. Раздобудьте их и составьте научный отчет об их последствиях — кроважадном безумии.

5. Наконец, вашим лучшим репортажем будет интервью со множеством летчиков, имевших приказ разбомбить Меджугорье, но сбитых и захваченных в плен хорватскими силами. Они говорят, что не могли бомбить Меджугорье, ибо, едва приблизившись, теряли его из виду: *деревня исчезала*, ее скрывало какое-то облако. Мы хотели бы знать об этом больше. Дорогие журналисты, разыщите этих летчиков и расскажите нам все-все-все!

В великой борьбе против ненависти, борьбе прежде всего духовной о. Славко объявил, что приход Меджугорья решил в течение наступающей сейчас великой новенны в честь Святого Духа воплощать в жизнь следующие слова

Иисуса: *Любите врагов ваших, благословляйте проклинаящих вас и молитесь за обижающих вас*¹⁶. Госпа часто рекомендовала эту новенну перед Пятидесятницей, присоединитесь к ней, пожалуйста, от всего сердца, ибо уровень любви тем самым возрастет безмерно. А это более чем необходимо. *Любовью, дорогие дети, вы совершите даже то, что кажется вам невозможным*, — говорит нам Госпа.

Ее Сердце пронзено ненавистью, которую сатана все больше и больше разжигает в мире. Три дня назад Вицка сказала: «Знаешь, когда видишь по лицу кого-то, что он страдает, ты говоришь себе: «Это пройдет, завтра будет лучше». Но у Госпы такое лицо, как будто Она вот-вот заплачет, и назавтра лучше не становится. Напротив, с *каждым днем Она страдает все больше и больше*».

Каждый из нас может услышать Ее жалобу в своем сердце, в тишине единения любви... И в эти часы, когда Иисус и Мария повсюду ищут, кто Их утешит, каждый из нас может сказать: «Вот я!»

Миг и ♥

Ладан «врага»

Назавтра я почувствовала некоторую тяжесть на совести: не мое дело прищипывать журналистов, и не мое дело пользоваться провокационным языком прессы для передачи информации. Пресвятая Дева со Своей стороны употребляет совсем другие средства. Мирного решения никогда не достигишь, подливая масла в огонь и обостряя споры. Кроме того, зло никогда не собирается все целиком на стороне «врага». С обеих сторон фронта имеются и святые, и дьяволы, и во всяком случае — дети Божии, мои братья.

Кто для меня «враг»?

Давайте называть вещи своими именами. Я живу в маленькой деревне, я люблю моих соседей, жителей этой деревни, визионеров, священников; этот народ сделался моей семьей. В апреле над нами стали летать военные самолеты. В мае нас бомбили. Я знаю, что целая армия хочет нашей смерти. Я называю «врагом» того, кто желает мне зла, того, кто был бы счастлив уничтожить мою деревню, мой дом, мою семью и кто прилагает к этому все свои силы. Когда Иисус в Евангелии говорит о «врагах», о тех, кого нам следует благословлять и любить, Он говорит именно о таком человеке. Объективно существует некто, желающий мне зла. И вот его-то я должна от всего сердца стараться любить и благословлять.

Враг это ни в коем случае не тот, кого не люблю я или кому желаю зла я. Когда мы узнаем, что сербский самолет разбился возле Каплийны, мне бывает больно видеть радость на некоторых лицах, радость отмщения. Я тогда думаю о молодом сербском летчике, отце семейства, который сейчас предстает перед Богом, и от всей души желаю, чтобы он как можно скорее упал в объятия вечной Любви. И я плачу о его жене и детях, которые не хотели этой войны и которые больше никогда не увидят дорогого человека.

Но такое расположение сердца дается мне гораздо легче, чем очень многим хорватам, ведь я не жила в деревнях, опустошенных четниками. Я не

¹⁶ Мф 5,44.

присутствовала при медленном истязании сына или дочери, у которых выкалывали глаза, передо мной не резали на куски моего ребенка. Именно в таких случаях прощение становится поистине героическим актом, но я знаю, что многие хорваты этот акт совершили. Они не говорят и не пишут о прощении, но они его переживают, переживают всем своим окровавленным сердцем. Сами того не сознавая, они становятся поэтому самыми действенными орудиями Госпы в Ее планах мира. И я молюсь о благодати сделать-ся когда-нибудь похожей на таких людей.

Среди сербов, я знаю, тоже есть святые, люди, которые молятся, особенно среди наших братьев православных. Политика, которой часто заправляют существа злонамеренные и жадные до власти, оказывается нередко одним-единственным основанием, в силу которого мы противостоям друг другу на земле. Политическая пропаганда — изобретение сатаны, это она привела к тому, что миллионы людей были убиты. Людей, которым ничего не мешало жить в мире и гармонии.

Тот четник за Неретвой, который целится сейчас из пушки по моей деревне, тот самый человек вполне бы мог, при иных обстоятельствах, быть братом из моей общины, своим, близким другом. У него такое же сердце, как у меня. Его основное свойство — быть сыном Божиим, и я не могу смотреть на него иначе, как в этом свете. А мой сосед-хорват, который ест за моим столом — из какой пушки сейчас целился бы он, родился он не в Меджугоре, а в окрестностях Белграда?

Незадолго до начала войны в Боснии-Герцеговине Господь дал мне знак.

Белград, январь 1992. У меня пересадка в аэропорту, мой вылет через несколько часов. Я нахожу свободный столик в баре и устраиваюсь за ним со своими записями. Я говорю Господу: «Если Ты хочешь, чтобы я с кем-нибудь поговорила, приводи его Сам за этот столик». Проходит пять минут, и вот я вижу человека в черном, который, улыбаясь, присаживается напротив. По его одежде и прическе я понимаю, что это сербский православный монах. Мы беседуем на «сербско-хорватском»¹⁷.

— Вы их знаете? — Я тороплюсь показать ему фотографии визионеров из книжки с посланиями.

— Да, я немного интересовался этими событиями в начале. Но, вы знаете, Меджугорье для нас, православных...

— Знаю. Подбрдо, 1941 г., массовое убийство...¹⁸ Но сорок лет спустя Госпа все-таки явилась на этом самом месте.

¹⁷ «Сербско-хорватский» — официальное название языка, на котором говорят сербы и хорваты. Различается лишь письменность: сербы используют кириллицу, а хорваты латиницу (а также наверняка имеются и незначительные местные особенности).

¹⁸ Ровно за сорок лет до начала явлений банда хорватов истребила большое число православных, загнав их в глубокую природную пещеру и замуровав вход, обрекая тем самым на медленную агонию. Это место находится точно на противоположном от Бияковичей склоне горы Явлений. Это убийство было ответом на другие убийства, совершенные незадолго перед тем сербами, истребившими хорватов. Адское подведение счетов!

— Я тоже верю, что Матерь Божия является там. Но хорваты не послушались Ее посланий. Она сказала: «Примиритесь», — а они так не сделали. И поэтому сейчас в Хорватии война.

Я молчу, потому что он отчасти прав, даже если его выводы слегка поспешны. Визионеры сами признают, что послание о примирении не было всерьез воспринято хорватским народом.

Он долго рассказывает мне о своем призвании, о своей жизни в монастыре. Расспрашивает о моей жизни и очень удивляется, узнав, что покровитель нашей общины — великий православный святой Серафим Саровский. Между нами возникает подлинное единство и радость от того, что мы брат и сестра. Но ему пора на самолет, и он торопливо ищет, что бы мне подарить на память о нашей братской встрече. Он шарит в своей огромной сумке, такой же черной, как и его одежда, и, наконец, с сияющей улыбкой протягивает мне объемистый пакет ладана с запахом розы, прямо из Афин. Он не мог бы найти ничего лучше: вот уже несколько месяцев я тщетно искала ладан для наших богослужений!

Прошло три месяца. Пока мы служим вечерню в Меджугорье, пока разрывы бомб заглушают мелодию наших песнопений, мы возносим ко Господу благовонное курение этого самого ладана. Над нами летают самолеты Белграда? — Да. Но в сердце врага, я знаю, есть также и любовь. И я счастлива молиться вместе с ним — за пределами этой абсурдной войны. Наши стекла дрожат от бомбежки? — Да, безусловно. Но я знаю, что любовь победит, ибо, к счастью, вместе с нашей вечерней молитвой от алтаря возносится ладан «врага».

IV. Июнь 1992 г.: свидетельство любви бедных и малых

Факс из Меджугорья, 1 июня 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья, возлюбленные дети Госпы!

Слава Иисусу!

В Меджугорье по-прежнему довольно спокойно, хотя и слышна артиллерийская стрельба. Будем вместе молиться за обе стороны, чтобы одни смогли вернуть свои земли и свои деревни, а другие были сохранены от отчаяния. Вы себе не представляете, какие бедствия испытывают сербские солдаты. Пусть Непорочное Сердце Марии хранит этот народ от тех, кто ведет его к гибели, от его главарей, вдохновляемых сатаной-разрушителем.

Мария Павлович воспользовалась караваном «Каритас», чтобы приехать к нам на сутки. Состояние ее здоровья улучшается, потому что наконец нашли подходящее лекарство. Хочу передать отрывок нашего разговора.

Вы, визионеры, все время описываете нам, как выглядит Пресвятая Дева, а можешь ли ты рассказать, какой у Нее характер?

— Очень хороший!

А именно?

— Госпа очень нежная, но в то же время Она решительная. Это не такая нежность, которой не хватает силы. А еще она очень чувствительная. Если

Ей рассказывают о чем-нибудь горестном, видно, как на Ее лице отражается страдание.

И напоследок о событии, достойном Евангелистов.

Одна деревенская семья приютила двенадцать беженцев, которые лишились всего-всего-всего. Мы хорошо знаем эту семью — их шестеро, и они очень привязаны друг к другу. Перед войной они зарезали телянку и, поскольку у них есть генератор, хранят мясо в холодильнике. Эта семья постоянно держит накрытый стол для бедняков, целыми днями напролет — и мясо не кончается! А ведь там обедает и ужинает восемнадцать человек постоянно, не считая приходящих бедняков, которым никогда не бывает отказа! Каждый раз они едят мясо (единственные в Меджугорье, потому что больше ни у кого нет электрительства, и холодильники не работают). Эта семья потратила все свои сбережения на помощь беженцам. Они говорят: «У нас хотя бы есть дом, есть овцы, есть поле; а у них нет ничего!»

Как-то вечером я сказала их отцу:

— Где ты берешь столько мяса? Столько народу каждый день обедает и ужинает у вас вот уже два месяца! Тебе что, дали еще одного телянка?

— Нет, сестра, это все тот же телянок. Я сам не понимаю: я достаю куски из морозильника, а там не уменьшается! Так что я даю и другим семьям...

Эта семья изумительна: они ведь не знали, что Господь умножит их пищу, но они были готовы сами голодать, лишь бы поделиться с теми, у кого не было ничего! Я вместе с вами воздаю благодарение такой отзывчивости Божией посреди Меджугорья, в час, когда люди охвачены таким ужасом.

С тех пор как я поступила в Общину, я не раз имела случай видеть умножение пищи. *Сердечная молитва может все*, — говорит нам Госпа.

Факс из Меджугорья, 7 июня 1992 г. Воскресенье Пятидесятницы

Дорогие Чада Меджугорья!

Добро пожаловать Духу Святому, излившемуся в наши сердца в этот день!

Сегодня утром около пяти часов всё Меджугорье внезапно пробудилось из-за страшного грохота пушек, и это продолжается до сих пор. Очень жестокие бои идут прямо за горой, вокруг Каплийны, и в этих боях решается судьба всего населения ближайших деревень.

Пожалуйста, горячо молитесь о наших хорватских солдатах, чтобы они были сохранены и чтобы они сражались *без ненависти*, и о сербских солдатах, чтобы они отступили и *не разрушили* всего при отходе. Меджугорья им не захватить, ибо сербская армия здесь очень ослаблена, и все же хорватские военные не советуют нам отходить далеко от домов, потому что небо грозит огнем, и это отнюдь не Огненные языки Пятидесятницы!..

Вчера церковь в Добро Село (пятнадцать километров) была пробита снарядом. Позавчера восемь снарядов около Циглука. Жертв нет. Меджугорье по-прежнему невредимо. Но зато Мостар подвергается жестокому обстрелу, а Сараево переживает подлинный кошмар. Кадры вчерашних теле новостей больше походили на сцены из фильма ужасов. В Боснии продолжают убийства, раны, истребления и истязания, к тому же еще голод...

Грузовики с продовольствием, доставленные итальянской «Каритас» и нашими французскими друзьями, помогают отчасти прокормить здешнее население...

Здесь Вицка и Иван продолжают видеть явления, приходские мессы по-прежнему служатся в подвале ризницы, при всё большем количестве верующих и... при всё большей жаре!

С некоторого времени Пресвятая Дева влагает мне в сердце настойчивую просьбу привлечь к молитве самых маленьких из детей Божиих, ибо их молитва всеильна перед Сердцем Божиим. Так что с помощью Вицки мы готовим нечто важное. Присылайте, пожалуйста, нам на помощь ваших ангелов в течение ближайших семи дней.

Миг и ♥

Вуковар, 1992

Это произошло в последние дни Вуковара, когда сербская армия заканчивала «зачистку» города.

Молодой хорватский солдат до последнего держался на своей позиции, хотя никакой надежды у него не оставалось. Он погиб вместе со всем своим подразделением. Его тело нашли в развалинах, а в кармане такую записку:

«Я знаю, что мы все погибнем, потому что кроме нас никого не осталось, а враг наступает. Только что передо мной разорвалась бомба. Я был неверующим, но я сделал потрясающее открытие: я увидел великий свет, и в этом свете был Бог. Я увидел Его посреди бомб, и мое сердце переполнилось радостью. Я умираю, веруя в Бога, я знаю теперь, что там, наверху, есть Тот, Кто меня ждет и любит».

Личный факс Паскалю, 11 июня 1992 г.

Дорогой Паскаль!¹⁹

Вот уже две недели я занята прекрасным делом, которое Госпа указала мне в молитве, ты увидишь номер «Специально для детей», который скоро выходит. Но это интернациональное издание, и вот я общаюсь со всем миром, не имея ни телефона, ни факса, ни электричества...

Мой телефон сейчас в Цитлуке, мой факс в Хорватии (семьдесят километров по горным дорогам, такие вот прогулочки), а Иисус у меня в сердце!

Твоя любящая сестра Эм!

Факс из Междугорья, 12 июня 1992 г.

Дорогие Чада Междугорья!

Слава Иисусу!

Вчера поздно ночью наши окна и двери затряслись от грохота пушек. Наступление хорватов в самом разгаре, сербская армия отступает. Город Каплийна освобожден. Но прежде чем уйти, четники сожгли очень много

¹⁹ Мой брат, который живет в Руане.

домов, сперва их разграбив. Густой дым, поднимавшийся над городом, был виден в Меджугорье. Сербы отошли к Мостару, откуда они еще могут контратаковать. Вчера их командование отдало приказ разрушить мосты, и четыре уже разрушено. Остался только пешеходный Старый Мост. Город поделен надвое!

Но несмотря ни на что, в сердцах жителей Меджугорья и окрестностей возродилась надежда, ибо теперь можно вернуться в деревни за Неретвой, в Столпц, например, откуда вражеская армия нас обстреливала на протяжении двух месяцев.

Наша задача теперь молиться за хорватских солдат, чтобы не поддались искушению воздавать злом за зло, убийствами за убийства. Их командир, Шимун Томас, с самого начала приказал: «Не разрушайте ни одной сербской православной церкви и ни одного публичного места. Кто нарушит этот приказ, пойдет в тюрьму». Ни одна православная церковь в регионе не разрушена, слава Богу! Они так прекрасны, с такими чудесными иконами... Но наша армия действительно нуждается в молитвах, ибо там есть люди из Вуковара и других мест Хорватии, которые своими глазами видели такое, что превосходит всякое воображение. Мы испрашиваем для них святости: не убивать тех, кто истребил их семью.

О. Славко вернулся. Что до нас, жизнь продолжается без воды, без электричества, без телефона, без... без... И только в одном у нас нет недостатка — в радости принадлежать Господу и трудиться ради Госпы! Уж этим-то мы переполнены, благодаря также и вашим молитвам! От всего сердца спасибо!

Благодать вам и Мир!

Факс из Меджугорья, 15 июня 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья!

Слава Иисусу!

В Боснии-Герцеговине продолжается война, особенно в прилегающих к Сербии районах, где ужас дошел до предела. Сараево, похоже, саморазрушается изнутри, столько в городе враждующих сторон. Голод, сведение счетов, истязания, скорби, невозможность покинуть город из-за окружения... Безмолвные жертвы ненависти сатаны зовут нас и молят!

Вицка вчера мне сказала, что на лице у Пресвятой Девы не заметно облегчения страданий, хотя положение многих деревень в Герцеговине улучшилось. Что Она видит, что Она предвидит?

Мы с Вицкой предприняли важную акцию в помощь Госпе. Вицка написала детям Америки и всего мира, предлагая им помочь Пресвятой Деве остановить войну. Для этого им нужно вступить в «Армию Госпы», армию, у которой только два оружия: молитва от сердца и жертва от сердца. Чтобы привлечь детей, мы нарисовали восемь картинок для раскрашивания, на которых они соответственно возрасту смогут изложить свои молитвы и свои жертвы, а потом отправить их Вицке, которая их представит Царице Мира. У взрослых тоже будет важная роль: приготовить сердца детей к этой акции помощи, объясняя им прежде всего, какую силу имеет их молитва. **Через молитву можно достичь всего**, — говорит нам Госпа.

Вицка проявляет большой энтузиазм по поводу этой акции: «Для Гос-пы это будет великая помощь», — говорит она.

A la guerre comme a la guerre!

Эта акция для детей позволила мне пережить благодать Вифлеемских событий: радость в нищете.

Действительно, наш призыв должен был достичь пяти континентов при том, что работать нам с Вицкой приходилось при самых ничтожных матери-альных возможностях.

- * У нас не было пишущей машинки, все нужно было писать от руки.

- * Не было ксерокса: все размножалось руками Сесиль.

- * Не было рисовальщика.

- * Никакой возможности получить копирайт на тексты.

- * В доме не было телефона, мне приходилось ездить за десять километ-ров от Меджугорья, где имелся один аппарат, который работал в опреде-ленные часы, причем только в одну сторону: я в заграничу звонить могла, а мне из заграничи — нет. В Меджугорье я иногда могла пользоваться теле-фоном из ризницы, поскольку францисканцы дали мне «зеленый свет», но линия была подключена к армейской связи, и говорить можно было не больше пяти минут...

- * В Меджугорье не было факса. Мне приходилось отправляться во Врго-рац, в тридцати восьми километрах по горной дороге в сторону, противо-положную той, где имелся телефон, и проходить по пути пять или шесть блокпостов. Но там я могла и посылать, и принимать факсы из заграничи.

- * Бензин был лимитирован...

Радость, радость! Однажды, в двадцатый раз набирая номер на телефон-ном аппарате, впавшем в безнадежную кому, я сказала Господу: «Ты знаешь, те, кто работает на сатану, располагают весьма продвинутой аппаратурой. У них роскошные кабинеты, секретари-трилингвы, мощные компьютеры, те-лефоны и факсы последней генерации, международная спутниковая связь... и все это, чтобы производить крошечный ужас. А я, которая хочу работать для Тебя, погляди, в каком я положении! Ты требуешь, чтобы я отправляла эти бумаги в разные страны, а в моем распоряжении нет даже ни простого телефона, ни фломастера для рисунков...»

Приходится констатировать, что эти слова не произвели на Господа ни малейшего впечатления, ибо в последующие дни Он ничего не сделал для улучшения ситуации. Тогда я себе сказала: «Что ж, такова Его воля». И то сказать, в известной мере это приблизило меня к Иосифу и Марии в тай-не Рождества Христова: Тот, Кто был Благодатью и Светом для мира, ро-дился в самых убогих и ничтожных материальных условиях. И я тогда по-няла, что для Бога истинный успех заключается не в том, какого качества результат, но в возрастании наших сердец. В Его смирении и Его нищете. Ибо только это сохранится для вечности. Разумеется, нужно усиленно ра-ботать, но никогда не забывать, что истинная плодотворность приходит только от Него.

Это не исключает юмора в наших отношениях, ибо время от времени я продолжаю делать ему замечания по поводу Его манеры вести себя со Своими друзьями²⁰...

Факс из Меджугорья, 19 июня 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья!

Слава Иисусу!

Приближается одиннадцатая годовщина Явлений, и сегодня Госпа делает нам подарок, от которого тают наши сердца: вечерняя месса будет совершаться не в подвале, но в самой церкви. Ее открыли вчера на закате. Священники рекомендуют оставаться предельно осторожными, оставлять свободным доступ в подвалы и слушаться сирены. Действительно, хотя окрестные деревни и были освобождены, Меджугорье все еще может оказаться целью воздушного налета и даже пушек, наведенных на нас со склона горы, которая остается пока в руках сербов. Множество паломников заявили о своем прибытии на годовщину. Мы им рады, несмотря на ненадежность ситуации. Всем рекомендовано запастись продовольствием (магазины пусты, рестораны закрыты) и внутренне подготовиться к тем многочисленным неудобствам, большим или малым, которые часто идут рука об руку с самой великой благодатью!

Всех, кто хотел бы приехать, но не смог (а таких очень много), мы благодарим и просим провести этот день, 25 июня, в совершенно особом почтении Госпы, в единении с Меджугорьем. Именно так, вместе, тесно связанные в усердной молитве, мы приближаемся к Ее Сердцу и получаем Ее благословение Мира для всего мира. Такие конкретные молитвенные акты необходимы теперь, как никогда. Госпа, как никогда, ищет Своих детей, Своих «помощников» в эти очень тяжелые времена. Ибо Меджугорье — это не столько место паломничества, которое нужно сохранить, сколько место духовной победы, которую нужно одержать в сердце мира, победу любви, спасающей души, над ненавистью, которая губит и душу, и тело. А эта война... о, как она свирепствует в эти дни!

Историки лучше меня вам расскажут об ужасных массовых убийствах, происходивших на этой неделе. В десяти минутах езды целиком сожженные деревни; мы проехали вдоль Неретвы, многие дома до сих пор в огне. Мы проникли в Мостар: это второй Вуковар, особенно старый город. Позавчера возле аэропорта чудовищная кровавая баня: месь хорватов многим сотням сербских солдат, до смерти замучившим их близких. Все это происходит у самых наших дверей: в пятнадцати — двадцати — двадцати пяти минутах

²⁰ Ср. эпизод из жизни св. Терезы Авильской, великой подвижницы и Учителя Церкви. В одном из своих многочисленных миссионерских путешествий св. Тереза попала в грозу; у телеги, на которой она ехала, оторвалось колесо, она бросилась помогать, поскольку оказалась на размякшей дороге, сильно ушибла ногу и в сердцах воскликнула: «Да что же это, Господи?!» И слышит в ответ тихий голос: «Тереза, ты же знаешь, как Я обращаюсь со Своими друзьями». — «То-то их у Тебя так много!» — возразила святая.

на машине, в эти самые мгновения. Ненависть возрастает с обеих сторон. Вот почему как никогда прежде соединим наши сердца и голоса, чтобы сатана впал в паралич от нашей молитвы и не мог больше действовать. Ведь сатана боится даже четырехлетнего ребенка, если тот молится!

Я радуюсь, что многие дети уже получили письмо Вицки с рисунками, спасибо, что поощряете их быть добрыми маленькими соратниками Госпы... у них есть сила остановить войну!

Мария Павлович вернулась из Италии на годовщину. В Риме она недавно получила частную аудиенцию у папы Иоанна-Павла II. Содержание их беседы должно оставаться их личным делом, я могу только передать, до какой степени Папа находится в единении с Меджугорьем, радуется его благодарям и скорбит о его страданиях.

Благодать, мир и отвага каждому из вас!

***Но Иисус сказал им: вы дайте им есть*²¹**

Винко — большой друг Вицки; милостью Госпы он был чудесно исцелен от болезни глаз. Они с женой живут в окрестностях Сплита, там, где сейчас находят убежище толпы беженцев, покинувших свои горящие деревни.

Винко не богат. Едва хватает содержать семью. Но у него в доме находят приют двадцать два беженца. Уложить всех — это еще не проблема: вечером постели расстилаются прямо на полу, и все спят впитирку, как это принято в хорватских семьях. Но нужно их всех прокормить! Здесь дети, подростки, и думать нечего заставлять их поститься!

И вот он берет еду, предназначенную для его семьи, и делит ее с двадцатью двумя беженцами. Это весь урожай, который принес его маленький клочок земли в это время года, — сколько-то картошки и фасоли. Каково же его удивление, когда он видит, что картофель умножается! Он раздаст, раздаст, а он все не кончается!

В феврале он посадил десять килограммов картофеля. Он ожидал получить тридцать пять, максимум сорок пять килограммов (столько родит здешняя земля). И вот, в день, когда он это нам рассказывает, т. е. 22 июня, он выкопал уже пятьсот тридцать килограммов — и это далеко не конец! Он говорит взволнованным голосом, и слезы радости и благодарности текут по его иссушенным и сморщенным от солнца щекам.

— И с фасолью то же самое! — Но ему хочется сказать что-то еще. Он колеблется, смущается... Наконец решил: — Вы знаете... с деньгами... то же самое! У меня было немного денег в кармане, я им дал, чтобы они себе купили всякую нужную мелочь. Потом у меня нашлось еще. Я им дал... И каждый день, не знаю как, у меня появляются деньги! И так продолжается с тех пор, как они у меня поселились!

Слезы не дали ему продолжать, но мы и так все поняли: «Господи! Нет подобного Тебе»²².

²¹ Мф 14,16.

²² 1 Пар 17,20.

Личный факс Винсенту, 22 июня 1992 г.

Дорогой Винсент!

У нас какое-то головокружение: с приближением Годовщины стали прибывать паломники. Пушки замолкли (почти!), и Меджугорье приобретает свой прежний облик. За два дня мы перешли из одного мира в другой, трудно в это поверить! Мы наконец-то переводим дух, как хорошо... Сегодня утром вернулась вода, вчера — электричество... Жизнь прекрасна!..

Факс из Меджугорья, 23 июня 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья!

Слава Иисусу! Всегда Иисусу и Марии!

Радость, смешанная с болью, вот чувство, охватившее наши сердца сегодня, в приближении одиннадцатой Годовщины.

Радость от того, что фронт откатился на сорок километров от Меджугорья, радость, что наша церковь снова открыта после двух с половиной месяцев катакомб,

радость снова видеть детей, играющих на улицах,

радость принимать первых паломников,

радость слышать литании Пресвятой Девы из репродукторов вместо грохота пушек...

Боль ощущать слезы Пресвятой Девы, плачущей над израненной ненавистью страной, тогда как Она пришла дать ей примирение и Мир. Сколько лет потребуется, чтобы излечить столько ран, сколько Пятидесятница любви позволят Богу извлечь добро из этого зла?

Вчера был наихудший день для Сараево. Сотня человек убита. Сведение счетов, абсурдный и отчаянный жест. *Сатана играет вашими сердцами*, — говорила Госпа, — *а Я не могу вам помочь, потому что вы далеки от Моего Сердца*.

Вчера в Мостаре один францисканец говорил мне возле своей разрушенной церкви: «Иисус (в Святых Дарах) находился в дарохранительнице и сгорел вместе со всем остальным. А я неделю назад похоронил моего брата — то, что от него осталось. Мне пришлось собирать его тело по кусочкам, чтобы похоронить. Его жена и шестеро детей бежали на побережье и не могут вернуться, потому что их дом сожгли. Сестра моя, молитесь, чтобы я не сошел с ума. Чтобы сохранил голову, сохранил голову!»

Самое худшее в этой войне то, что сделали с детьми, с невинными. Но об этом я буду хранить молчание. Именно они, дети, и те, кто похож на них, больше всех утешают Пресвятую Деву и Ее Сына. Завтра мы отдадим Вице первые рисунки детей, и она преподнесет их Госпе на Годовщину, когда Она явится в своем великолепном золотом платье. Эти рисунки пришли из Америки. Одна американка вчера нам сказала: «У меня нет маленьких детей, только дочь тридцати лет. Я показала ей номер “Специально для детей”, и она мне сказала: “Мама, мне тридцать лет, но я твой ребенок, и я сделаю рисунки для Пресвятой Девы”». Какой прекрасный пример для тех, у кого нет маленьких детей! Каждый ведь чей-то ребенок!

А сколько чудес может совершить любовь в одном-единственном сердце! Вспомним слова Госпы: ***Любовью, дорогие дети, вы совершите даже то, что кажется вам невозможным.***

Американские, канадские, европейские дети! Продолжайте рисовать ваши рисунки, ваша любовь остановит войну!

И в этой любви я вновь напоминаю вам о моем единении с вами.

Послание Пресвятой Девы от 25 июня 1992 г.²³

Дорогие дети!

Сегодня Я счастлива, хотя в Моем сердце еще есть немного печали о всех тех, кто вступил на этот путь, но потом оставил его.

Я здесь для того, чтобы вести вас новой дорогой — дорогой спасения.

Вот почему Я день за днем призываю вас к обращению. Но если вы не молитесь, вы не можете сказать, что вы обращаетесь.

Я молюсь о вас и Я ходатайствую перед Богом о мире: прежде всего о мире в ваших сердцах, и затем о мире вокруг вас, чтобы Бог был вашим миром.

Спасибо, что ответили на Мой призыв!

Факс из Меджугорья, 23 июня 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья!

Слава Иисусу!

По случаю одиннадцатой Годовщины Меджугорье, что нам очень приятно, приобрело свой прежний облик! Лишь заметное количество солдат, военные грузовики и отдаленные разрывы снарядов показывают иностранным паломникам (а их почти две тысячи), что в стране еще война. Мы надеемся, что это паломничество будет продолжаться и расширяться. Мы приветствуем отвагу тех, кто принял участие в «Марше Мира» — одиннадцать километров пешком от Хумаца до Меджугорья под палящим солнцем.

В Своей радости Госпа пригласила нас всех на гору вечером 24-го дня явления.

Она благословила нас, и Иван передал собравшимся следующие слова: ***Я несу вам мир, дорогие дети, несите его другим. Вы те, кто понесет миру мир.*** На Ней было прекрасное золотое платье.

25-го во время явления в качестве подарка на годовщину Вицка преподнесла Ей первые рисунки детей. Пресвятая Дева обрадовалась, благословила эти рисунки и нарисовавших их детей.

В тот же день было явление Иванке. Она сказала нам, что у Госпы было серьезное лицо. Во время явления Иванка взяла руки Пресвятой Девы. Та сказала: ***Я прошу вас победить сатану. Оружие для победы — это пост и молитва. Молитесь о Мире, ибо сатана хочет разрушить и ту малую толику мира, какую вы имеете.***

Мария Павлович получила ежемесячное послание и увидела, что Дева преподает всем свое *Особое Благословение*.

²³ Во время этого явления Пресвятая Дева преподавала всем присутствующим Свое Особое Благословение. См. об этом: «Континент», № 117, стр. 278.

О. Йозо вернулся из долгой поездки за границу. В Риме, во время частной аудиенции папа Иоанн Павел II сказал ему: *«Меджугорье, я знаю, я знаю. Меджугорье... Берегите Меджугорье. Я с вами. Я благословляю вас. Смелее, смелее, я с вами. Поддерживайте Меджугорье. Приветствуйте их всех от меня. Я их всех благословляю. Я знаю о ваших страданиях в этой войне»*. Папа, похоже, очень заинтересован этим местом молитвы.

Фронт в Герцеговине по-прежнему в тридцати километрах от Меджугорья. Хорваты стараются нейтрализовать укрепленные позиции сербов возле Столаца и Мостара. Мостар снова стал запретной зоной, мэр велел беженцам не возвращаться туда, потому что вчера на город упало еще шесть снарядов. В день Годовщины снаряды упали и на дорогу в Мостар. Загорелись еще новые дома.

Будем верными и стойкими в молитве от сердца!

Приветствую вас всех в безмерной радости от того, что встретила здесь многих из вас и обнаружила, насколько Господь сохранил нас едиными (и сохранит и впредь) в течение этих жестоких месяцев борьбы.

Благодать, Мир и ♥

V. Июль 1992 г.: надеяться вопреки всякой надежде

Факс из Меджугорья, 3 июля 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья!

Слава Иисусу!

Перед тем как уехать на десять дней из Меджугорья, сообщаю несколько новостей.

Местная пресса с большим энтузиазмом и одобрением приветствовала «Марш Мира», совершенный 24 июня большим числом паломников по инициативе наших немецких братьев. Одиннадцать километров под жарким июньским солнцем... Прекрасный подарок для Госпы!

Мария Павлович полностью восстановила свое здоровье и непрестанно принимала в эти дни друзей и паломников, ободряя каждого своим воодушевлением и радостью. Вчера она покинула Меджугорье, чтобы отправиться в Шотландию вместе с о. Славко и провести там встречу молодежи.

На севере и на востоке от Мостара фронт медленно, но верно отодвигается. Хорватские солдаты из Хорватии, приходившие на помощь хорватам из Боснии-Герцеговины, вчера вернулись домой, и это затрудняет взятие сербских бастионов. В Боснии продолжают всякого рода зверства: пожайлуста, не ослабляйте ваших молитв и жертв, ибо тысячи жизней зависят от этого, судьба тысяч душ. Мы будем сражаться духовным оружием до тех пор, пока ненависть не будет вырвана с корнем из сердец.

К своим рисункам, преподнесенным Госпе 25 июня, маленькие американцы прибавили потрясающие слова любви, рассказывая о принесенных ими жертвах: «Я не сосал палец... Я не пил сегодня кока-колы... Я не капризничал...» Вот наша «передовая линия обороны» от Губителя. Они составляют таять Сердце Госпы.

Я хотела бы поощрить возобновление паломничеств в Меджугорье, выражая желание и францисканцев. Действительно, это вполне возможно по дороге, по морю (в Сплит) или на самолете (тоже в Сплит). Все, кто приезжает, бывает охвачен глубоким миром, который царит в деревне. Добро пожаловать!

Вечером 29 июня Пресвятая Дева снова позвала нас на гору для явления Ивану. Она явилась в сопровождении трех ангелов и сказала: *Дорогие дети, сегодня вечером Я настоятельно призываю вас всецело положиться на Меня. Предоставьте Мне все ваши проблемы, все ваши трудности... Прежде всего Я прошу вас обновить Мои послания в вашей жизни. Молитесь, дорогие дети, потому что в эти времена Я нуждаюсь в ваших молитвах...*

Дорогая Госпа, мы счастливы совершить такой обмен: мы даем Тебе наши страдания, наши заботы. Ты сможешь разобраться с ними лучше нас, а в ответ мы займемся Твоими интенциями²⁴. Твоими планами... Так у нас выйдет двойная победа!

Миг и ♥

Факс из Меджугорья, 15 июля 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья!

Слава Иисусу!

Великая радость вернуться в Меджугорье после десяти дней во Франции, тем более в Меджугорье спокойное и мирное, где группы паломников снова начинают сменять одна другую. Многие меня спрашивали: можно ли нам приехать?

Не только можно, но и крайне желательно, чтобы вы приехали, ибо тем самым вы непременно порадуете сердце Пресвятой Девы. Она ждет вас, чтобы помочь вам лучше молиться о мире, лучше устанавливать мир в ваших сердцах. Вечерами на горе Она часто выражала Свою радость при виде паломников: *Я счастлива, дорогие дети, что вас сегодня так много!*

Мария Павлович из Шотландии вернулась в Италию, но Вицка встречает группы со знакомым всем энтузиазмом. Иван тоже здесь и все последние недели приглашал молиться на горе по вечерам. Две последних просьбы Госпы были: *Молитесь о Мире!* Вернувшись из США, Елена проводит лето в своей семье.

Даже в самых тяжелых обстоятельствах Госпа очевидным образом пожелала сохранить эти свободные зоны, чтобы сдержать обещание относительно Своего «Оазиса Мира». План Ее поистине заключается в том, что мир придет отсюда, из Меджугорья. Почерпать мир из этого источника и воплощать в жизнь послания намного полезнее, чем подписывать мирные соглашения, которые всегда нарушаются.

В Боснии имеются концентрационные лагеря, где содержатся в заключении тысячи людей. Вот уже много месяцев никто не может туда проникнуть. После войны будут говорить: «Это было, но мы этого не знали!» Пресса ничего не говорит обо всех деревнях, которые были разрушены, опустошены, которые сравнивали с землей бульдозерами и потом засыпали землей, словно здесь никогда ничего не было. Посреди Европы одержимости одного человека «очистить территорию» (как у другого было «очистить расу») достаточно, чтобы разбить жизни многих народов! И мы позволяем ему действовать!

²⁴ Интенции (от лат. intentio — «намерение») — то, чего мы желаем испросить в молитвах. «Молиться на чьи-либо интенции» — значит молиться о том же, о чем молится подразумеваемое лицо.

Госпа хорошо просветила нас в последние месяцы относительно того, что нас губит: мы еще далеки от Сердца Божия, между тем один только Бог есть наш мир. Ее дело приблизить нас к Нему. О, дадим Ей уничтожить дистанцию, отделяющую нас от Ее Сына, чтобы погрузиться в эту бездну отрады и нежности Его Сердца и ускорить тем самым час наступления мира! Присоединимся к страданиям православных Сербии, к страданиям всех искренне верующих и будем молить Создателя дать этому народу пастыря по Его сердцу!

Благодать и мир Господа да будет со всеми вами!

Факс из Меджугорья, 22 июля 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья!

Слава Иисусу!

Снова в эти дни скорбная радость переполняет наши сердца. Страна как бы поделена надвое: с одной стороны обширная зона мира в Герцеговине, позволяющая хорватам вернуться к нормальной жизни, а Меджугорью принимать своих паломников, с другой — громадная зона конфликта в Боснии, где трагедия превосходит всякое воображение. По причинам, которые мне непонятны, сербы сейчас враждуют почти исключительно с мусульманами. Нынешняя операция состоит в «очищении» одного за другим городов, где сербы и мусульмане жили вместе. Так, три дня назад сербы поставили ультиматум мусульманским жителям города Бигач в Боснии: в сорок восемь часов покинуть город. В городе было тридцать пять тысяч жителей. Вот уже сутки десятки тысяч мусульман находятся на дорогах без пристанища, без пищи... И это всего лишь один пример из многих за последние дни. Европа не шевелится. Гуманитарная помощь не достигает этих слишком опасных зон.

Что делать? Часто я слышу слова: «Это рак в сердце Европы, он перейдет в катастрофу для всех стран». Нет! Ничего фатального тут нет, напротив, наша молитва исполнена надежды. Госпа сказала Елене в первые годы: ***Предсказания фатальных катастроф идут от лжепророков. Они говорят: «В такой-то день и час произойдет катастрофа». А Я всегда говорю: кара произойдет, если мир не обратится. Призывайте людей к обращению. Все зависит от вашего обращения.***

И вспомним обещание, данное в Фатиме: ***Мое Непорочное Сердце воспотржествует.***

Во время одного недавнего вечернего явления Пресвятая Дева просила особенно молиться о папе Иоанне Павле II и о священниках.

Будем оставаться крепко спаянными в молитве, но в молитве, исполненной радости Христовой и проникнутой благодарностью. Это верное средство расстроить планы сатаны!

Благодать и Мир!

Послание Пресвятой Девы от 25 июля 1992 г.

Дорогие дети!

Сегодня Я снова призываю вас всех к молитве, к молитве радостной, чтобы в эти скорбные дни никто из вас не ощущал в молитве печали, не-радостную встречу со своим Богом-Творцом.

Молитесь, деточки, чтобы находиться ближе ко Мне и чтобы воспринять через молитву то, чего Я желаю от вас.

Я с вами, и каждый день Я благословляю вас Моим материнским благословением, чтобы Господь преисполнил вас всех изобилием благодати для вашей повседневной жизни.

Благодарите Бога за этот дар, за то, что Я могу быть с вами, потому что, говорю вам, это великая благодать.

Спасибо, что ответили на Мой призыв!

Факс из Меджугорья, 29 июля 1992 г.

Дорогие Чада Меджугорья!

Слава Иисусу!

Меджугорье готовится к приему молодежи со всего мира, которую Госпа пригласила на третий Фестиваль. Мария Павлович, вернувшаяся из Италии к 25-му, будет проводить встречи, как и Вицка с Иваном.

Мария сказала нам вчера: «Эта война крест для нас и знак для вас. Почему знак? Потому что глубокие разделения, вызвавшие здесь войну, существуют и в ваших странах. Если бы мы послушались посланий о примирении, у нас бы не было войны. Вот знак для вас».

Францисканцы и визионеры единодушно приглашают тех, кто еще колеблется совершить паломничество. Вицка прибавляет: «Пусть они не боятся, они могут решиться в своем сердце, потому что нет никаких проблем: отныне у нас все свободно!» Когда ее спросили, каково выражение лица Госпы в эти дня, Вицка отвечала, что оно выражает одновременно скорбь и надежду.

Фронт по-прежнему в двадцати километрах, в птичьем перелете от Мостара, куда еще долетает от пяти до десяти снарядов в день, так что беженцы все еще не могут вернуться домой.

Новости из Боснии оставляют нас в состоянии шока. Вот один пример из многих; в городе Гораздо маленьких детей сбросили с моста в реку. На это Госпа дает нам изумительный ответ, призывая нас находить радость в сердце нашего Бога-Создателя. Только Он один в молитве может нам дать понять и вкусить величие и красоту дара жизни. Воздавать благодарение за этот дар, испытывать радость, вот что победит изнутри страшное презрение к жизни, выражающееся столько же в избииении нерожденных младенцев в наших клиниках, сколько и в ужасах войны. Меджугорье — место исцеления поврежденной любви к жизни, мы здесь каждый день молимся об этом. Сколько матерей и отцов, сколько врачей в объятиях Матери Жизни оплакали здесь свой грех против жизни и обрели мир сердца в великом милосердии Иисуса!

Спасибо, дорогая Госпа, что открыла нашим сердцам, как побеждать жестокость и ненависть, как побеждать отчаяние перед лицом жизни! Спасибо, что принимаешь нас в Свое материнское сердце, которое постоянно трепещет от радости!

Mir!

Перевод и комментарии о. Анри Мартена

(Продолжение следует)

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ в зеркале прессы (июнь – август 2004 г.)

(Краткий обзор)

1. Кончина протоиерея Дмитрия Дудко

28 июня на 83-м году жизни умер о. Дмитрий Дудко — священник, чье имя навсегда останется одним из символов «православного ренессанса» 1970-х годов.

«Родом из крестьянской семьи, он прошел войну и принадлежал к “послевоенному призыву”, пришедшему в Церковь после того, как Патриархом был избран Алексей I. В 50-е годы за духовные стихи, написанные в академии, отец Дмитрий был осужден на 8 лет лагерей. После ГУЛАГа священника гнали из прихода, но постепенно вокруг него сложилась многотысячная община, люди стекались со всей России. В середине 70-х по рукам ходила его знаменитая книга “О нашем уповании”, ему присылали мешки писем с Запада, где книга была издана и произвела на людей громовое действие», — пишет **Надежда Кеворкова** в «Газете» (28.06.2004).

«В 1973 г. за проповеди, в которых он отвечал на записки прихожан с острыми вопросами о положении Церкви и религии в СССР, отец Дмитрий был запрещен в служении. Спустя 4 месяца запрещение было снято и его направили священником в один из подмосковных храмов. В 1979 г. Дудко написал письмо в защиту еще одного православного священника-диссидента Глеба Якунина. После этого его арестовали по обвинению в антисоветской деятельности», — напоминает «Независимая газета» (30.06.2004).

Михаил Поздняев в «Новых известиях» (30.06.2004) говорит об одном из самых трудных моментов в жизни о. Дмитрия: «Арестованный в 1980 г. прямо во время службы, о. Дмитрий публично покаялся по советскому ТВ и подписал верноподданническую статью в “Известиях” в обмен на освобождение. Для духовных чад его “покаяние” стало тяжким ударом, а для тысяч несломленных узников совести обернулось новыми репрессиями. После освобождения отец Дмитрий вернулся к приходской работе, но, как говорили его близкие люди, “сам светящийся облик его потускнел”, а проповеди были в основном посвящены борьбе с пьянством и укреплению трудовой дисциплины».

Сайт **Международного фонда христианского просвещения** (<http://ifce.ringnet.ru/>) обращает внимание читателей на то, что в последние годы священник примкнул к левой оппозиции, став автором, а затем и духовником газеты «Завтра». «Несмотря на это, в истории России XX века о. Дмитрий Дудко останется одной из ярких фигур русского религиозного возрождения, которому никто не сможет отказать в искренности и открытости», — считает интернет-издание.

2. Возвращение Тихвинской иконы Божией Матери

Одна из трех самых почитаемых на Руси икон — Тихвинский образ Божией Матери, с 1949 года находившийся в США, — летом 2004 года на-

конец вернулась в Россию. После пребывания в Москве и Санкт-Петербурге икона была доставлена в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь.

Газета **«Московский комсомолец»** (22.06.2004) напоминает послевоенные странствия святыни: «Образ был утрачен в середине прошлого столетия, когда Тихвин захватили фашисты. Осознавая ценность иконы для верующих, немцы вывезли ее из города, и поначалу она хранилась в Пскове, в Троицком соборе. Когда немцы начали отступать, образ попал в Ригу, а затем в Лиепаю. Здесь хранителем святыни стал латышский епископ Иоанн Гарклавс. Вместе с ним по морю она попала сначала в Польшу, а затем в Германию. А в 1949 году епископ Иоанн вместе с матерью и приемным сыном Сергеем переехал в США. С того самого момента икона не покидала пределов Америки. Иоанн Гарклавс умер в Чикаго в 1982 году. Перед смертью он попросил приемного сына вернуть святыню в Тихвинский монастырь, “когда не будет угрозы православию”».

«Комсомольская правда» (28.06.2004) рассказала о четырехдневном пребывании иконы в Москве: «Таких очередей Москва давно не видела. И это при том, что доступ к иконе был открыт круглосуточно. В день приложиться к образу приходили около 50 тысяч человек. Чтобы попасть в храм, люди стояли в многочасовой очереди. Ближе к вечеру надо было отстоять пять-семь часов, чтобы получить благословение чудотворного лика... Одни тихонько молились, другие без сил садились на землю. Но ни один человек сам не вышел из очереди. Правда, от долгого стояния многие теряли сознание. Их сразу грузили в дежурившие “Скорые”».

О пребывании святыни в городе на Неве мы узнаем из публикации в газете **«НГ-Религии»** (18.08.2004): «Встреча Тихвинской иконы в Северной столице превратилась в настоящий праздник. В крестном ходе по Невскому проспекту от Александрo-Невской лавры к Казанскому собору участвовали более 10 тыс. православных. В Казанском соборе, куда была перенесена икона, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир отслужил Божественную литургию».

Корреспондент еженедельника **«Аргументы и факты»** (30.06.2004) сообщает из Тихвина: «Сейчас Тихвинский Свято-Успенский монастырь похож на муравейник. Местные жители не дадут соврать: монастырь освещен ночью, как Невский, и работа не затихает ни на минуту. Льет дождь — работают под крышей, очищается небо — доделывают наружные объекты. Работы безумно много. Парень с татуировкой во все предплечье висит на куполе Успенского собора — проводит консервацию свежей кровли лукович. Хрупкая девушка укладывает булыжную мостовую возле собора. Кто носит бревна, кто катит тачку с раствором или с кирпичами. Одни красят, другие очищают слой старой краски, третьи строгоют и пилят... С одной стороны, приятно видеть такой энтузиазм. С другой — подобная штурмовщина за несколько дней до праздника наводит на мысль, что все делается в спешке, качество работы наверняка оставляет желать лучшего».

Продолжила «тихвинскую» тему газета **«Время новостей»** (09.07.2004): «Сейчас Тихвин надеется, что после возвращения святыни городу удастся выйти из экономического застоя последних 15 лет и стать таким же попу-

лярным центром религиозного туризма, как Валаам, Оптина Пустынь или Сергиев Посад... Город намерен отпраздновать возвращение Богородицы по полной программе: одновременно с религиозными торжествами и службами пройдет и вполне светская, почти фестивальная программа. Например, 11 июля петербургский Мариинский театр даст в Тихвине оперу Римского-Корсакова (кстати, самого знаменитого тихвинца всех времен) «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии», этому будет предшествовать «шоу пожарных», а к ночи того же дня светские развлечения сменяются торжественной службой в Успенском соборе».

«**Церковный вестник**» (№ 15, август 2004) подробно описал «богослужбную» составляющую праздника. «Торжественные богослужения в честь праздника возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. За богослужением молились тысячи жителей Тихвина и паломников, прибывших в этот прославленный чудотворной иконой город со всей России и из-за рубежа. Многие богомольцы, во исполнение данного ими обета Царице Небесной, пришли в неблизкий Тихвин пешком», — пишет газета.

16 июля президент России посетил Тихвинскую обитель, где приложился к чудотворному образу и поставил перед ним свечу. Об этом сообщает информационное агентство «**Благовест-инфо**».

3. 250-летие со дня рождения преподобного Серафима Саровского

В 2003 году Русская православная церковь праздновала столетие со дня канонизации Серафима Саровского. Этим летом, в год 250-летия со дня рождения преподобного, Серафимовские торжества продолжились в Курске, на родине святого, и в нижегородском селе Дивеево.

«Интересно, что “автором праздника” является не только преподобный Серафим, но и саровский краевед Валентин Александрович Степашкин, сотрудник музея “Саровская пустынь”. Ему удалось обнаружить в архивах новую дату рождения старца — 1754 год (а не 1759-й, как считали раньше). Именно в этот год в купеческой семье Мошнинных родился третий ребенок Прохор, будущий Серафим Саровский. С доводами историка-краеведа согласился сам Патриарх Алексий II», — пишет «**Независимая газета**» (23.07.2004).

Юбилейные мероприятия, посвященные одному из самых почитаемых русских святых, продлились десять дней, привлекли тысячи паломников, сотни священнослужителей из разных стран, десятки известных политиков.

«19 губернаторов съехались на “круглый стол” в Курске, чтобы обсудить пути духовно-нравственного возрождения регионов», — сообщает газета «**Время новостей**» (02.08.2004).

Правда, как отмечает газета «**Известия**» (04.08.2004), на празднике не было ни патриарха, ни премьер-министра: «Патриарх поправлял здоровье в ЦКБ, а у Фрадкова сменился график. Спецслужбы ожидали терактов. Задолго до торжеств по области ходили слухи, что на восстановительных работах в Дивеево поймали сапера кавказской национальности, а перед самым началом торжеств при въезде в село был задержан гость из Дагестана, провозивший оружие».

«По сравнению с прошлым годом на нынешние торжества приехало гораздо меньше народу — около пяти тысяч человек. В 2003 году было больше восьми тысяч», — замечает **«Комсомольская правда»** («В небе над Дивеевом появился крест», 02.08.2004). В материале газеты приводятся немало любопытных подробностей. Например, такие: «Для верующих, как и в прошлом году, разбили три палаточных лагеря на полторы тысячи человек — каждый со своей медицинской службой, полевой кухней и моленной комнатой. Кроме молитв, попутно развлекались футболом: команда солдат 22-й армии играла с нижегородскими священниками. Последние, сняв рясы, шустро бегали по полю и зубами вырвали победу у служивых».

Газета **«Церковный вестник»** (№ 15, август 2004) рассказала о большой работе, предшествовавшей празднику: «К празднованию 250-летия со дня рождения Серафима Саровского в Нижегородской области было многое построено и восстановлено. Восстановлена уникальная Казанская церковь, архиерейский корпус, Канавка Пресвятой Богородицы, заново отстроена находящаяся на ее территории Мельничная часовня, установлены поклонные кресты, полностью отреставрирована Соборная площадь. В Сарове завершены работы на Дальней и Ближней пустыньках, на могиле Преподобного и в храме Иоанна Предтечи».

Естественно, не обошла газета вниманием и сами торжества. Вот, к примеру, как описывает она один из праздничных дней: «1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, на площади перед Преображенским собором обители митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершил Божественную литургию, за которой молились более пяти тысяч верующих. На Соборную площадь из Троицкого собора была вынесена рака с мощами преподобного Серафима, и под сенью установлен престол».

Максим Гуреев в газете **«Культура»** («Достучаться до небес», 29.07 — 04.08.2004), рассказывая о Серафимовских торжествах, размышляет о духовной задаче — достучаться до небес. «Бесспорно, здесь было все, что, в понимании устроителей (да и самих паломников тоже), должно отличать крупное православное мероприятие от, к примеру, Первомайской демонстрации, о которой большинство тех же паломников сохраняет самые живые воспоминания.

Не было здесь лишь одного — осмысленности происходящего с точки зрения человека, “одного из”, того самого, что согласно предписанию взял с собой “головной платок и юбку (для женщин), емкость для воды, емкость для освященного масла, мешочек для сухарей”. Потому что опять под пристальным взглядом милиции, спецназа и ОМОНа здесь царила многотысячная толпа, у которой, как известно, нет ни лица, ни имени, толпа, которая может повернуть в любую сторону в зависимости от того, куда смотрит ее кормчий».

4. Православно-католический диалог

В конце мая в Москве прошла международная конференция «Православный Восток и католический Запад: разделения и связи», посвященная 950-летию разделения Церквей и 800-летию захвата Константинополя крестоносцами. В форуме, организованном Русской православной церковью, со стороны Западной церкви приняли участие итальянцы — кардинал Фран-

ческо Маркизано и представитель Святого престола в РФ архиепископ Антонио Меннини. При этом глава российских католиков белорус Тадеуш Кондрусевич не был даже приглашен в качестве гостя.

Комментируя этот факт, **Борис Колымагин** в газете «**Культура**» («Католики правильные и неправильные», 19.06.2004) пишет о том, что в отношениях с Римской курией Москва явно прибегает к двойным стандартам. «Мы видим дружбу с католиками-европейцами и постоянные конфликты с лидерами российских католиков (в основном поляками и белорусами), на которые руководство РПЦ идет, видимо, рассчитывая на то, что их влияние в Ватикане падает — следующий Папа вряд ли будет поляком». По мнению автора, «и католики, и православные выработали за века раскола множество формул взаимной неприязни и претензий. Однако если Католическая церковь в XX веке в какие-то периоды своей истории нарабатывала позитивный опыт восприятия Русской церкви как церкви-сестры, то православные в этом отношении сделали очень мало. И делать, похоже, ничего не собираются».

Действительно, прорыва в отношениях между Русской православной и Римско-католической церквями так и не наступило, хотя в последнее время появилось немало публикаций о наметившемся позитивном сдвиге. Поводом для них послужило возвращение Казанской иконы Божией Матери. Ватикан передал Русской православной церкви знаменитую копию Казанской иконы Божией Матери, долгие годы хранившуюся в покоях Папы.

26 августа состоялись проводы святыни в Риме. Об этом событии подробно рассказал корреспондент газеты «**Труд**» («Спасибо, Папа», 27.08.2004). «Папа специально прибыл в Рим на несколько часов из своей загородной резиденции Кастельгандольфо, чтобы возглавить торжественную церемонию прощания с иконой. В четверг, 26 августа, икона Казанской Богоматери — случай беспрецедентный — была на целый день выставлена в алтаре главной католической базилики собора святого Петра для всеобщего обозрения, вечером здесь прозвучала Божественная литургия», — пишет он.

Передача Казанской иконы Божией Матери была приурочена к празднованию Успения Пресвятой Богородицы. По традиции в этот день патриарх Алексей II служит праздничную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. По сообщению газеты «**Коммерсантъ**» («Богоматерь приехала в Кремль на Volvo», 30.08.2004), «для делегации папы отвели специальное место перед алтарем, которое охраняли семинаристы в черном». «Когда у входа в собор были расстелены ковры, а верующие вышли с цветами встречать патриарха, на Соборную площадь въехал кортеж католической делегации. Шедшая во главе кортежа темно-синяя Volvo S-80 с ватиканским флажком остановилась возле Успенского собора. Из задних дверей вышли глава делегации кардинал Вальтер Каспер и заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин. Кардинал Каспер открыл переднюю дверь Volvo, взял с пассажирского сиденья деревянный ларец с иконой и понес его в собор. Следом за ним в храм потянулись архиепископ Вашингтонский, кардинал Эдгар Теодор МакКаррик, пресс-секретарь понтифика Хоакин Наварро Вальс, посол Ватикана в РФ монсеньор Антонио Меннини, архиепископ архиепархии Божией Матери в Москве Тадеуш Кондрусевич и еще

несколько высокопоставленных церковных чиновников из Ватикана. Едва икону успели вынуть из ларца и поставить на аналой перед алтарем, как к собору подъехала черная BMW патриарха».

«Патриарх поблагодарил представителей католической церкви не столько за подарок, сколько за “акт доброй воли”. Он расценил факт передачи иконы как “твердое желание руководства Ватикана вернуться к искренним взаимоотношениям между двумя церквями, которые были бы лишены соперничества”. “Почитание этой иконы напоминает нам о временах древней неразделенной церкви”, — сказал он, принимая подарок», — продолжает тему газета **«Время новостей»** («Копия для патриарха», 30.08.2004).

«Алексий II так же, как и Иоанн Павел II, поместил святыню поближе к себе — в домовый храм патриаршей резиденции в Чистом переулке. Правда, не навсегда, а лишь до определения постоянного места ее нахождения. По словам главы РПЦ, это место пока не ясно. Возможно, список отправят в Казань, на чем настаивает татарский лидер Минтимер Шаймиев. “Если будет восстановлен монастырь на месте явления чудотворной иконы в Казани, образ может быть передан ему. Но могут быть и другие варианты”, — сказал патриарх. Сейчас передать икону казанскому храму невозможно по той простой причине, что в здании монастыря находится табачная фабрика», — сообщает газета.

5. Спор вокруг помешений Свято-Филаретовского института

В течение летних месяцев в прессе неоднократно затрагивалась тема возможного выселения Свято-Филаретовского православно-христианского института из принадлежащих ему помещений. Как сообщили 18 августа сайт www.sfi.ru, информационное агентство **«Благовест-инфо»**, а также сайт **«Седмица»**, «судьба дома 29 по улице Покровка, бесосновательно объявленного аварийным, что доказывают в суде братство “Сретение” и Свято-Филаретовский институт, беспокоит не только его жителей, преподавателей, сотрудников и студентов СФИ. Письма с подписями в поддержку института в адрес московских властей присылают многие москвичи, жители других городов, деятели науки и культуры. За последние дни сюжет о доме на Покровке показала телевизионная программа “Вести-Москва”, двухчасовой эфир судьбе СФИ посвятил Александр Гордон в своей программе на радиостанции “Серебряный дождь”, статья “Интеллигенция у стен церкви” появилась в газете “Культура”, а “Известия” откликнулись на происходящее статьей “Квартировладельцы новой генерации готовы бороться за свои права”».

В связи с опасностью, нависшей над существованием института, журналов вновь заинтересовала история этого старейшего из мирянских вузов. Отвечая на связанные с этим вопросы, ректор СФИ **свящ. Георгий Кочетков** рассказал (программа **Александра Гордона**, перепечатана в спецвыпуске газеты **«Кифа»**, август 2004): «История нашего института — довольно сложная история. Мы начали ее с последних лет советской власти, когда вынуждены были находиться в абсолютном подполье. Мы рассуждали так же, как, наверно, многие люди, думающие о будущем, о духовной судьбе

нашей страны и народа. Мы думали: что, если властям захочется, например, закрыть все храмы, закрыть все академии, семинарии, библиотеки, прикрыть всякую духовную работу в нашей стране? Что тогда мы будем делать? И мы решили: значит, надо что-то иметь самим. Если закроют все официальное, тогда важным может оказаться и что-то не очень официальное. И в 1988 году мы открыли — неявно открыли — двери нашего института для первых двадцати студентов. Занимались мы, не имея никаких особых помещений, не имея никакого финансирования — на энтузиазме. Но нашей целью было качество, уровень образования. Мы хорошо знали, что наша страна представляла собой в разные периоды нашей истории, и хотели выбрать все лучшее в гуманитарной, духовно-образовательной сфере, и из светской области, и из духовной. Так прошло несколько лет, и в 1990 году мы уже вполне смогли легализоваться. Сначала вошли в Российский открытый университет богословским факультетом, а с 1992 года стали совершенно самостоятельным учебным заведением. Постепенно стали обрещать друзьями внутри страны и за рубежом, следовательно, была какая-то помощь — и духовная, и, немного, материальная. Но в основном все делалось за наш собственный счет. Таковы были условия времени. Постепенно, уже со второй половины 90-х годов, мы стали обретать какие-то свои помещения. Купили сначала одну коммунальную квартирку на Покровке, очень страшную, где были тараканы и бегали крысы. Привели ее в порядок. Таким же образом у нас постепенно образовалось четыре квартиры, т.е. целый этаж небольшого четырехэтажного дома. Потом взяли в аренду еще и подвал, и получился настоящий институт».

Многokrатно говорилось и о значении вуза в духовно-культурном пространстве не только Москвы и даже не только России: «Свято-Филаретовский институт — уникальное место встречи интеллигенции и Церкви — сегодня собираются выселять из его помещений, расположенных в центре Москвы, на Покровке, 29. По требующим бережного внимания росткам вот-вот пройдет бульдозер. И в этом вновь, как в капле воды, отражается наша трагическая история, так, видимо, никого ничему и не научившая... — пишет **Александр Копировский** в газете «**Культура**» (15-21.07.2004). — Десяти минут хватило московскому Арбитражному суду, чтобы рассмотреть и отклонить иск православного братства «Сретение» к Правительству Москвы о признании незаконным распоряжения договора, согласно которому здание, часть которого занимает учрежденный братством Свято-Филаретовский институт, подлежит расселению и реконструкции. Это распоряжение было принято в январе 2004 года, но необходимого обследования здания, которое только и может определить его реальное состояние, не проводилось».

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ

в русской периодике первого–второго кварталов 2004 г.

Теология всерьез относится к **СЕКУЛЯРИЗАЦИИ** и придает ей значение ничуть не меньшее, чем индустриализации, урбанизации и даже глобализации. **Т. Щипкова** в статье **«Секуляризация как проблемное поле западной христианской теологии XX века»** («Религиоведение», № 2) прослеживает, как трактуют этот симптом развития человечества наиболее известные теологи. Причем их конфессиональная принадлежность, по наблюдениям автора, принципиального значения не имеет. Разве что протестанты больше склонны к «оправданию» секуляризации как неизбежного исторического явления, а католики акцентируют «отрицание» ее ценности, но в большинстве позиций они согласны друг с другом. Истоки секуляризации находят прежде всего в Библии: Бог сотворил мир и сделал человека ответственным за мировую историю; все происходящее в мире делается с Его ведома. Секуляризация, таким образом, соответствует божественному замыслу и вписывается в историю спасения. Изменения в мире ведут к изменениям в религии. Секуляризация позволяет избавиться от ложных (устаревших) представлений, сформулированных в ушедшей истории, и увидеть новыми глазами истинную сущность христианства. Секуляризация проясняет понятие Бога и делает Его по-настоящему трансцендентным, то есть недоступным, ибо нынешнее время — это время молчания о Сокровенном. Секуляризация христианства не есть дехристианизация. Церковь должна сделать свое благовестие понятным современному человеку, а следовательно, требуется изменить язык, на котором она обращается к миру. Язык этот должен стать конкретным, политическим, социальным. И католики, и протестанты принимают атеистическую критику своей метафизики и вообще считают атеизм знаменем времени, а наступившую эпоху характеризуют как постхристианскую/безрелигиозную. Такое же согласие теологи обнаруживают, когда речь заходит о неудовлетворенности современным состоянием христианской теологии. Пути к ее изменению предлагаются разные, но и это не зависит от конфессионального происхождения проектов. Щипкова выделяет два направления. Одним теология кажется слишком далекой от современного человека. Для них секуляризация становится своего рода культурно-политической программой по избавлению от наследия средних веков и церковного догматизма и оценивается как провиденциальный процесс, очищающий христианство. «Неотмирность» христианства рассматривается как отрицательная метафора, приглашающая к разговору о проблемах мира, который следует вести на привычном современному человеку языке. Другие полагают, что теология слишком упорствует в своем желании сблизиться с миром и это для нее губительно. Неуместно также теологическое оправдание секуляризации. Видеть в ней возможность для прояснения идеи Бога — значит потворствовать собственной неспособности к

пониманию сути христианского учения. Язык теологии следует очищать, возвращаясь к традиции (патристике). Постмодерн свидетельствует о человеческой неспособности самостоятельно, без обращения к Богу, найти основания мира и открывает путь для теологии в пространство постсекулярного способа мышления.

Автору статьи «Православие и “православность”» А. Рогозянскому («Православная беседа», №1) секуляризация не кажется такой уж всеобщей и необоримой. Правда, он считает, что начавшееся в 90-х годах массовое увлечение религией «возрождением» названо было преждевременно. Освободившись от коммунистической идеологии, наши соотечественники искали новую идеологическую систему. Православие же восхищало древностью, красотой и масштабами. Куда меньше вера воспринималась как факт практического сознания — нравственного, организационного, затрагивающего мотивы служения, труда и согласия. Православный образ мыслей был принят потому, что по какой-то причине «так стало удобней». До известной степени наш интеллектуализм Рогозянский считает вещью неизбежной и предрешенной: ничего другого попросту не остается, когда живая традиция почти утрачена. Само православие в нашем сознании, искаженном светской культурой и центрированным на себе, вырождается в сугубо земной феномен «православности». На первый план выступают эгоистические категории «экзистенции» и «экспрессии», выражающие проявления конкретного индивидуального сознания как наиболее ценные по сравнению с универсальными и метафизическими. Другими словами, истина как абсолютное выражение основ мировой жизни утрачивает свое значение. В философском контексте этому соответствует концепция плюрализма, «множественности истин». Культурно это выражается в том, что на место догмата и канона приходит афоризм, метафора, импрессионистский пейзаж и портрет и проч., т.е. продукты частного самовыражения и оригинальничания. Поэтому наиболее актуальными сейчас для Церкви Рогозянский считает проблемы культурно-мировоззренческие. Религиозная атрибутика — иконки в доме, освященный автомобиль, литургия по воскресеньям, «православные разговоры» — воцерковленности никак не заменяет. На протяжении последних десяти лет воспитывался тип «православного дикаря», которому не хватает духовного реализма, понимания глубинного смысла всех феноменов культуры. Особенно явно это внутри коллективов православных. Существование наших так называемых религиозных семей представляется Рогозянскому примером потрясающей скудости. Это, во-первых, выполнение минимума благочестивых формальностей и, во-вторых, некий непередаваемый налет общей идейности, иногда состоящей из оппозиционности всему происходящему в мире и пессимизма, иногда — из какого-то ухарства, поддерживаемого чувством собственного превосходства над «безбожниками». Причину всего этого Рогозянский видит в неумении и нежелании чувствовать и находить настоящие духовные смыслы внутри повседневных занятий, т.е. пользу для ближнего и гимнастику собственной души в выполнении своей профессиональной работы, во взаимоотношениях с родней, коллегами, знакомыми, соседями, в участии в жизни церковной общины. Настоящая религиозная культура

должна вернуть здоровый интерес к жизни, восстановить онтологический статус простых дел.

К *восстановлению религиозной культуры* обращена деятельность попечителя Преображенского содружества священника Георгия Кочеткова. Его проповеднический энтузиазм направлен к тому, чтобы образумить и обучить «православных дикарей» в их стремлении к массовому воцерковлению. В приложении к газете «Кифа» («Вера-диалог-общение») публикуются материалы XIV Преображенского собора. Сам **о. Георгий Кочетков** в докладе **«Диалог без тишины и внутреннего мира невозможен»** обсуждает проблемы христианского общения. Диалог рассматривается в свете опыта молитвенного делания (исихазма), ибо даже молитва Иисусова превращается в простое произнесение звуков, если она не творится по-братски, «в постоянном желании и стремлении к общению, к общине, к своей духовной семье и своему братству». За круглым столом **«Возрождение и границы Церкви»** участники собора пытались определить экклезиологическое значение христианской общины. Темой другого круглого стола стал **«Современный уровень и перспективы развития катехизации РПЦ»**, в частности различие катехизации и образования. Для Преображенского братства — это важнейшая тема, т.к. катехизацию его члены считают неотъемлемым и необходимым условием вступления в Церковь.

Ф. Козырев в статье **«Христианская идея образования до и после Руссо»** («Религиоведение», № 2) *идею образования* рассматривает с точки зрения взаимоотношения разума и веры. Может ли светское образование быть христианским и христианское — светским? С первых веков христианства обнаружилась внутренняя несовместимость свободного исследования истины, лежащего в основе античного либерального образования, и христианской мировоззренческой установки, согласно которой Истина уже пришла в мир, и потому задача не в том, чтобы отыскивать ее, а в том, чтобы научиться принимать ее, т.е. сделать содержание веры доступным разуму. Синтез христианского Откровения и языческой греко-римской культуры пытались осуществить отцы Церкви первых веков христианства. В раннем средневековье еще считалось, что истинная философия тождественна истинной религии. Позднее главной установкой схоластического образования стал не поиск истины, а умение доказывать ее, совершенствуясь в логических ухищрениях. В эпоху Возрождения началась борьба со схоластической авторитарной установкой за права индивида как самостоятельного субъекта познания. Реформация признала способности индивида к самостоятельному восприятию истины в Писании. Педагогика Нового времени оттеснила на периферию общественного и индивидуального сознания концепцию первородного греха и идею природной неполноты человеческого природного и окончательно «гуманизировала» образование. Ж.-Ж. Руссо, призывавший: «Люди, будьте человечны! Это ваш первый долг... Любите детство, будьте внимательны к его играм и забавам, к его милому инстинкту!», стал родоначальником новой педагогики. Новое воспитание должно было развивать все стороны человеческого естества. Наступила пора секуляризации образования, постепенного отхода школы от Церкви и торжества «панпедии» (все-

воспитания). Говоря о секуляризации современного образования, Козырев напоминает, что в Европе главным толчком к ней послужило крайне пренебрежительное отношение со стороны самой Церкви к этой сфере деятельности. Кроме того, система светского образования сформировалась в результате общего переноса духовной активности во внецерковную общественную жизнь. Но видеть в этом признаки отступничества или безразличия к «победе над грехом», как это делается в социальной концепции РПЦ, едва ли правомочно. По мнению Козырева, происходит некое снятие тождества между «церковно-религиозным христианством» и духовной культурой и повсеместным укладом жизни современной эпохи. Это отнюдь не равнозначно концу религиозных поисков и отказу от религиозной жизни. Главное в том, как мы оцениваем смысл жизни. Если наша земная жизнь никак не соотносится с вечностью и дана лишь как время для покаяния и искупления, образование (тут автор статьи придерживается мнения Г. Флоровского), очевидно, ни к чему. Если же земная жизнь представляет собою школу приуроченную к вечности, тогда вся она становится образованием, и приоритет здесь духовно-нравственных аспектов не вызывает сомнения. Козыреву кажется, что мы именно сейчас стоим перед фактом «конвергенции педагогики и богословия». Просто богословию следует отказаться от средневековой установки на монопольное владение истиной, а нам — помнить, Кто секуляризовал религиозную жизнь Израиля, заявив, что суббота — для человека.

В. Жукоцкий («Русская религиозная традиция и образование» — «Здравый смысл», № 1) ту же проблему рассматривает в свете идей П. Милюкова, которого считает родоначальником русской культурологической мысли. Исследования Милюкова «Очерки по истории русской культуры» автор статьи экстраполирует на современную ситуацию в российской науке и образовании. Родовые особенности русской религиозной традиции, найденные Милюковым, это: двоеверие (наличие теневого образа веры — язычества — наряду с официальным), обрядовый формализм, или ритуализм (обрядовере), внутренний ортодоксизм (убежденное нежелание совершать какую-либо умственную работу без прямой внешней угрозы наказания) и цезарепапизм (религиозное оправдание культа светской власти). Характерно, что эти особенности религиозной традиции обнаруживаются в логике развития русской школы. Православие якобы толкует любовь к знанию как измену вере, т.е. развитие ума ведет к гибели души. Именно эта традиция составляет естественный историко-культурный фундамент, на базе которого был вынужден строиться и развиваться светский гуманизм русской интеллигенции. Так что, в силу логики культурно-исторического процесса, русская интеллигенция, стремящаяся к демократизму гражданского общества, была обречена на протестантизм, на противостояние официальной церковности. Советская версия духовной реформации победила традицию, и в постсоветских попытках православной догматики вторгнуться в сферу образования Жукоцкий видит деструктивное покушение и на здравый смысл, и на смысл исторический. Выбор между религиозной и светской культурой он делает в пользу последней, предостерегая общество от «нового средневековья».

Проблема *христианского образования* рассматривается и с точки зрения изучения и преподавания конкретных дисциплин. **Ф. Овсиенко** про-

бует определить **«Сферы изысканий религиоведения и теологии и специфику постижения ими рассматриваемых объектов»** («Религиоведение», № 2). Согласно этой статье, под *религиоведением* следует понимать отрасль гуманитарного знания, которая изучает закономерности возникновения и развития, природу и функции религии, а также взаимосвязь и взаимодействие ее с другими сферами культуры. Будучи эмпирической и теоретической дисциплиной, религиоведение, в отличие от теологии, не занимается проблемами доказательства существования Бога и его атрибутов, а изучает собственно религию (религиозное сознание, религиозную деятельность, религиозные отношения, религиозные организации) в реальном контексте культуры, т.е. в связи с экономической и социальной жизнью, политикой, наукой, моралью, искусством. В формат этого определения вмещаются общее религиоведение (изучающее религию как некое целое вне конфессиональных модификаций), которое содержит метарелигиоведение (методы и логика религиоведческого исследования) и частное религиоведение (сравнительная история религий, философия религии, психология религии, социология религии, археология религии и т.д.). Кроме того, существует *теологическое религиоведение* (объяснение религии из самой религии, т.е. исходя из веры в Бога, из религиозного понимания мира и человека) и светское, или академическое (где в целях объективности чужаются всего «вневременного» и «сверхъестественного» и стремятся выявить природные и социальные корни религии). *Теологию* автор определяет как систему обоснования учения о Боге и комплекс доказательств истинности догматики, религиозной морали, правил и норм жизни верующих и духовенства. Все конфессиональные системы христианской теологии исходят из признания личного Бога — Творца и управителя мира, богодухновенности (нечеловеческого происхождения) догматов и моральных предписаний. Являясь высшим пределом рационального знания, доступного человеку (Бог познается через видимую природу и историю человечества, ибо ничто не происходит случайно, а управляется Промыслом и направляется к определенной цели), теология включает и нерациональное сверхразумное знание, тождественное вере, данное в Откровении (Священном Писании). Слово Божие из Откровения Церковь переводит на язык своих догматов. Догматы сформулированы на Вселенских соборах и никаким усовершенствованиям не подлежат. Но так считает Православная церковь. Католическая допускает развитие догматов, так как они испытывают на себе воздействие исторических, социальных, психологических и других факторов. Это позволило католикам внести в догмат о Духе Святом изменение (*filioque**) и принять новые догматы о Чистилище, Непорочном Зачатии Девы Марии и Непогрешимости папы Римского. Однако эти догматы католики не считают новыми, полагая, что все это имплицитно (неявно) содержится в Писании. Тут встает проблема истинности догматов, которая оборачивается проблемой эффективности методов познания. В отличие от академической науки (научного познания), где истинность определяется чистотой теоре-

* Догмат об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. *Filioque* по-латыни буквально и означает «и Сына».

тического и эмпирического опыта, в теологии (богопознании) она определяется степенью соответствия Божьему Откровению и зависит от адекватности толкования Священного Писания.

Для русского философа XIX века Ю. Самарина *отношение философии (разума) и религии* (веры) разрешалось как событие духовной драмы. Православная вера была в первую очередь актом его воли. Самарин спас свою веру, когда понял, что религиозная истина утверждается, а не доказывается, что вера — не вывод, а предпосылка мышления. **К. Антонов** в статье «**Философия религии Ю.Ф. Самарина**» («Религиоведение», № 2) рассказывает о том, как интеллектуально обоснованный волевой акт может упорядочить весь строй духовной жизни и сохранить цельность религиозного сознания. Самарин пришел к убеждению о необходимости непосредственного и личного восприятия сознательного и преднамеренного воздействия Бога на человеческую жизнь. Это восприятие есть факт, который не может быть доказан, но вполне может быть удостоверен. Мысль о собственном религиозном опыте как фундаменте любого религиозного сознания лежит в основе самаринской философии религии и его критики богословского и философского рационализма. Рационализму Самарин противопоставляет своеобразный эмпиризм, который занимается не рассудочным априорным конструированием, а исследует и интерпретирует события религиозного сознания. Для Самарина эти события не менее достоверны, чем воздействие внешнего физического мира. Так же как и понятие Бога, не являющееся продуктом мышления, а возникающее в результате восприятия. Это положительный факт, до признания которого человек доходит исключительно путем личного опыта. Только на основе личного опыта конкретный человек может в глубине совести решить вопрос: «Этот факт есть ли действительность и истина, или призрак и ложь?» Философия религии и должна указать на практические и интеллектуальные последствия этого выбора.

Вера и разум, священное и мирское — так ли необходима их поляризация, противопоставление? Предметом внимания **И. Налетовой** стали «**Православные ярмарки как современное выражение православной веры вне храма**» («Религиоведение», № 2). Автор анализирует религиозные практики и рассматривает ярмарку как форму соборного делания. Соборное начало — важное звено православной религиозности, которое связывает «официальный» (храмовый) дискурс с «неофициальными» (внехрамовыми) выражениями веры. Связь эта осуществляется через общее делание, каковым и являются православные ярмарки. Ярмарка в целом — не просто пример бесконфликтного сосуществования различных православных дискурсов в общем экономическом поле, но и пример стремления к обмену и общению, пример внутренней потребности общения. Объединение участников ярмарки — не конкуренция, а общее дело, строительство церкви в широком понимании этого слова. Так что православное ярмарочное предпринимательство иначе обращено к покупателю и конкурентам, чем предпринимательство светское. Ценность человеческого общения в большой православной социальной группе акцентируется гораздо сильнее, чем ценность индивидуального самовыражения и личного успеха. Покупка на православной ярмарке — это не просто обмен, а отчасти пожертвование, выражение сопричастно-

сти, включенности в совместную духовную (ритуальную) практику. В акте купли мирское ритуализируется. Товар как бы упаковывается в известные православному покупателю ассоциации, превращая покупку в религиозно-заряженный акт. Осуществляемые на ярмарках церковные требы и пожертвования, а также елеопомазание подчеркивают спонтанность участия верующего в ритуальной практике и вовлекают в религиозное участие большее количество слабо воцерковленных, которые в храм не пошли бы. Таким образом «православный образ жизни», каким бы смутным это понятие ни казалось, наполняется реальным содержанием и, по сути, становится формой воцерковления, одним из возможных путей включения верующего в церковную практику. Даже то, что не вписывается в строгий храмовый дискурс (например, вера в обереги, которые на ярмарках — ходовой товар), может вписаться во внехрамовое выражение веры — как символ народного, домашнего и традиционного. В целом православная ярмарка представляет собой очень живую церковно-ориентированную среду вне храма. Религиозная практика на ярмарках хотя и представлена в облегченных формах, на внутреннем уровне, по мнению автора, соответствует храмовому выражению веры. Ее важными атрибутами являются уважительное отношение к монастырю (товары монастырского хозяйства) и храму (сбор пожертвований на строительство), доверие к церкви и священству (благословение ярмарок), почитание местных святынь (сувениры), внимание к старчеству и желание быть причастным к культурным традициям народа. Православие на ярмарке Налетова представляет «как множественный точечный выброс сакрального из глубины храмовой специализации на широкую поверхность секулярного мира», как «современную пансакральность, очарованность священным бытом». Индивидуальное религиозное здесь свободно сосуществует под общей церковной крышей во взаимном дополнении, соборно и бесконфликтно.

К. Зорин призывает под общую церковную крышу и *психологию*. С точки зрения православного психотерапевта он пытается найти объяснение одному недугу современного человека — усыплению совести («**Утрата смысла жизни**» — «Православная беседа», № 1). Согласно толкованиям святых отцов, Христос назвал совесть нашим соперником. Она сопротивляется нашей злой воле и обличает грех. Совесть, словно внутренний компас, помогает различать добро и зло, подобно барометру, диагностирует душевную непогоду. Бог же — свидетель наших чувств и истинный зритель нашего сердца. Будучи Его голосом, совесть спрашивает с нас, и перед ее лицом, в глубине сердца, мы принимаем решения и совершаем поступки. Усыпление совести осуществляется путем самооправдания и безмерного искажения реальной действительности. Вот основные уловки самооправдания: «В наше время евангельские заповеди — недостижимый нравственный идеал, поэтому исполнять их нереально, нечего и стараться; постыться я не могу — боюсь ослабеть; я рад бы молиться и ходить в Церковь, да некогда, надо работать»... Вероятно, нет таких трудностей, которых мы не могли бы себе придумать ради оправдания. Но расплатой за попытки «обезболить» или вовсе «ампутировать» совесть, уйти от ответственности служат разного рода психические расстройства. Человек есть субъект ответственности. Он остается

собой, пока отвечает за себя перед собственной совестью, незримым свидетелем и судьей.

Совмещение — синергию — священного и мирского можно найти в исторических примерах. Об участии митрополита Московского Филарета в подготовке крестьянской реформы рассказывает **Ю. Макеева** в статье **«Митрополит Московский Филарет (Дроздов) и крестьянская реформа 1861 г.»** («Вестник Московского университета». Сер. 8, История, № 1). В русской историографии позицию митрополита, в 1994 г. причисленного к лику святых, принято определять как «последовательно реакционную». Макеева представляет ее совершенно иначе. Проект манифеста об освобождении крестьян требовал редакции иерарха, обладающего пастырским авторитетом и богословским красноречием. Выбор государя пал на Филарета. Святитель поначалу пытался уклониться от этой миссии, ибо всяким политическим суждениям предпочитал молитву за паству, опасаясь, по его собственным словам, сойти «с церковной дороги, чтобы на дороге политической не оступиться в яму». Но в конце концов Филарет согласился и подготовил проект Манифеста, предварив его письмом, где опять же подчеркивал, что его долг «молить Бога, чтобы Он даровал государственным советникам и проныцательную мудрость, и прямодушную ревность, и наипаче, чтобы озарил вышним светом взор Благодетелей Государя Императора на то, что истинно, благонадежно и полезно церкви и народу». Идеологическая сторона Филаретовой редакции Манифеста включала, во-первых, мысль о «добровольной» жертве дворянства, отказавшегося «от права на личность крепостных людей», «побуждаясь только уважением к достоинству человека и христианскою любовью к ближним». Во-вторых, выражалась надежда на здравый смысл народа, который, думая о свободе, не должен забывать об обязанностях и повиновении властям, следуя закону христианскому. Власти же должны ставить общественное благо средоточием своих стремлений. Обращаясь к ним, он в свое время писал: «Не люби властвования произвольного, не управляемого законом, справедливостью и благостию... умеряя свою власть». И к подвластным: «Но и ты, находящийся под властью... не домогайся своекорыстно и своенравно уменьшения твоих обязанностей и расширения твоей свободы... Тем более ты будешь любезен власти; тем более ты доставишь удобства ее попечению о облегчении твоих трудностей и об улучшении твоего положения». Главное, чтобы Господь даровал крестьянам умение воспользоваться «тем, что им дано», «чтобы добрый дар был разумно употреблен; чтобы ревность к общему благу, справедливость и доброжелательство готовы были всюду для разрешения затруднений, иногда неизбежных при новости дела, чтобы получившие новые права из благодарности порадели уступившим древние права, чтобы приятная мысль о труде свободном сделала труд более прилежным и производительным, к умножению частного и общего благоденствия». А для помещиков святитель просил у Бога даровать им пользоваться «тем, что у них осталось». Макеевой очевидно, что участие митрополита Филарета в крестьянской реформе носило вынужденный характер. Но столь же очевидно, что с его стороны не было и попыток активного противодействия реформе. Он пы-

тался рассуждать, формулировал свои сомнения в вопросительной форме, разумно обосновывал свои опасения. А нелестные отзывы о нем историко-графов кажутся автору статьи откровенными кривотолками.

Светские историки обнаруживают серьезный интерес к роли священных институтов в мирских делах, их отношению к изменчивой политической жизни России, особенно во дни социальных катаклизмов. **М. Бабкин** опубликовал материалы по теме **«Русская Православная Церковь и Февральская революция 1917 года»** («Вопросы истории», №2). Материалы расположены в хронологическом порядке, и поэтому видно, что официальное Определение Св. синода об отречении Государя от Престола и отношении к новой власти Временного правительства было отнюдь не первым отзывом Церкви о текущих политических событиях (в публикации оно — под № 26). Его опередили иерархи, действующие на местах (в епархиях). А Св. синод приказывает акты отречения принять к сведению и исполнению и в Церкви после исполнения Божественной литургии совершать молебствования Господу Богу об утишении страстей с возгласием многолетия Богохранимой Державе Российской и Благовременному Временному Правительству ее. А через неделю Св. синод, обращаясь «К верным чадам Православной Российской Церкви», призвал: «Ради многих жертв, принесенных для завоевания гражданской свободы, ради спасения ваших собственных семейств, ради счастья Родины оставьте в это великое историческое время всякие распри и несогласия, объединитесь в братской любви на благо России, доверьтесь Временному правительству, объединитесь вместе и каждый в отдельности приложите все усилия, чтобы трудами и подвигами, молитвою и повиновением облегчить ему великое дело водворения новых начал государственной жизни и общим разумом вывести Россию на путь истинной свободы, счастья и славы». Экзарх Грузии архиепископ Платон в своей проповеди определил это историческое событие так: «Триста лет назад русский народ вручил свое самодержавие Михаилу Федоровичу Романову под сенью одной из костромских обителей. Теперь он (народ), почувствовав и сознав свою политическую и гражданскую зрелость, выразил желание взять самодержавие назад, а Царь исполнил это желание». Архиепископ Симбирский и Сызранский Вениамин: «Совершилось величайшей важности историческое событие! Волей Божией наша дорогая и многострадальная Родина вступила на новый путь своей государственной жизни». Священники — члены Государственной думы «обращаются с братским призывом к православному духовенству всей России немедленно признать власть Исполнительного комитета и своим горячим пастырским словом разъяснить народу, что смена власти произошла для его блага и только при этом условии можно вывести родину на путь счастья, благоденствия и процветания». Во всех епархиях с разной степенью энтузиазма отнеслись к случившемуся. В Барнауле, например, духовенство сдержанно сочувствовало свершившемуся перевороту, в Киеве признавало Временное правительство и постановляло долгом совести подчиниться ему, в Могилеве новое правительство радостно приветствовали. Архиепископ Харьковский и Ахтырский Антоний (будущий митрополит и глава Русской православной церкви за рубежом) в телеграмме Временному правительству отстраненно сообщает, что

«духовенство Харькова просило меня заявить, что оно присоединяется к Временному правительству». Днем раньше, обращаясь к пастве, он призывал подчиняться новой власти, «чтобы избежать полного безвластия, грабежей, резни и кощунства над святынями. Только в одном случае не должно ни теперь, ни в прошлом никого слушать — ни царей, ни правителей, ни толпы: если потребуют отречься от веры, или осквернять святыни, или вообще творить явно незаконные и греховные дела». Московский столичный совет благочинных постановил: «Единогласно и вседушно во имя пастырского и патриотического долга подчиниться Временному правительству». А также «приветствовать со всею радостью заявление обер-прокурора Св. синода Львова о новом направлении церковной жизни, в смысле полного невмешательства Церкви и ее служителей, как таковых, в их церковно-пастырской деятельности, в политический строй страны». Вместе с тем совет, не касаясь политических источников, предостерег общество от анархии и призвал духовенство к борьбе, конечно, чисто духовной, путем молитвы и проповеди, со всякими проявлениями анархии, «а именно: насилий, грабежей, оскорблений и злобных чувств, независимо от каких политических источников они происходят».

В сферу *апологетики*, т.е. разумного (рационального) историко-культурного оправдания христианской веры, переносит нас публикация лекции покойного **С. Аверинцева «Христианство в истории европейской культуры»** («Знание — сила», № 3). В течение почти семисот лет границы христианства совпадали с границами Европы. Именно в этот период европейская культура достигла вершины своего развития. Аверинцев обращает внимание на некоторые специфические особенности христианства, отразившиеся в истории культурного преобразования Европы. Первая из них — очень сложные отношения ко всякой фиксации. Христианство — «религия писания», а для таких религий текст Священного Писания как совокупность буквенных начертаний, звуков, фраз — самая последняя инстанция и реальность Откровения, т.е. реальность вне времени и пространства. Язык текста священен, и сакральный статус перевода весьма сомнителен. В христианстве же ничего подобного нет. И вот почему. Если, к примеру, Мухаммед сам писал Коран, то проповедь Христа была от начала до конца только устной, говорил Он на арамейском языке, а первоначальный текст Евангелия мы имеем на греческом, т.е. в *переводе*. Именно с перевода всё начинается. Христианство стояло когда-то перед серьезным выбором «своего» священного языка. Было бы резонно считать его древнееврейским (Ветхий Завет) или арамейским (язык проповеди Христа), но был выбран греческий — язык общий для всего Средиземноморья (ойкумена распространения первоначального христианства). Позднее в западноевропейском регионе католическая церковь на несколько веков закрепила право сакрального языка за латынью, но в восточной половине христианского мира греческие отцы Церкви разрешали многим народам переводить тексты богослужений и Слово Божие на местные языки. Однако ни на Западе, ни на Востоке нет никаких достаточно серьезных метафизических и мистических оснований считать эти языки (переводы перевода) сакральными. Другой замеченной Аверинцевым отличительной особенностью христианства является отноше-

ние к священной земле, священному городу, священному месту. Конечно, христианству тоже известно все это, и христиане совершают паломничество в Святую землю, но все же паломничество для христианина — где-то на периферии религиозного сознания. Не так, как у иудеев или мусульман. Поклонение на всяком месте «в духе и истине» ставит вопрос о святом месте в особый контекст. Для христианина святость места не имеет абсолютного значения — это вопрос благочестивого чувства. За время своего существования христианство «привыкло» терять целые народы и целые земли, взамен приобретая что-то новое. И нельзя с определенностью утверждать, что христианству исторически больше шло на пользу: его внешние (мирские) успехи или его поражения. Однако, если у христианина нет такого абсолютного отношения к Святой земле, как у иудаиста или мусульманина (и даже сказано: «Не имеем здесь постоянного града, ибо взыскуем грядущего»), то у него может появиться искушение вообразить себе некоторое «священное время» и представить себе историю христианства как некую «убывающую прогрессию». Тогда каждая новая эпоха в истории европейской культуры воспринимается как очередная победа антихристианских сил. Аверинцев предостерегал верующих от этой пессимистической иллюзии: христианину, говорил он, прилична надежда — а не оптимизм или пессимизм. Еще одна особенность христианства, отразившаяся в европейской культуре, — это отношение к доктрине. Формулировка вероучительных положений и разногласия в нюансах их выражения были причиной многих трагедий в истории Европы. Христианское самосознание (идентичность) решается глаголом исповедания веры и, в идеале, жизнью, соответствующей ему. Христиане убеждены: то, что человек думает о Боге, и то, как он себя ведет, — вещи глубоко связанные; и потому невозможно отделить экзистенциальные проблемы (моральные, социальные, экономические, политические и проч.) от проблем вероучительных. Конечно, доктринальные вопросы следует решать без огня и меча, но недопустимо и безразличие к этим вопросам. Поэтому христианской альтернативой нетерпимости Аверинцев предлагал считать только любящее терпение.

В духе *апологетики* (но уже как академической дисциплины в курсе православного богословия) выдержана статья протоиерея **Максима Козлова** («Православная беседа», № 1). Статья «**Иоанн Павел II: Епископ Рима или наместник Христа?**» посвящена 25-летию понтификата первого славянина на римском престоле. Правда, речь идет не столько о нынешнем папе Римском, сколько об этом институте Римско-католической церкви и об отношении к нему православных. РПЦ признает Католическую церковь, признает в ней апостольское преемство хиротоний, признает ее совокупное вероучительно-каноническое-практическое бытие. В чем же главное разногласие? В этом смысле показателен сам титул Римского папы: «епископ Рима, заместитель Христа, преемник князя апостолов, верховный первосвященник вселенской Церкви, патриарх Запада, примас Италии, архиепископ и митрополит провинции Романии, суверен государства града Ватикан, раб рабов Божиих». Католики готовы забыть о прочих догматических разногласиях (о *filioque*, а также учении о Непорочном Зачатии Девы Марии), но признание примата Римского епископа (первенство юрисдикции, право за-

конодательства, право управления культом, высшее управление всеми прочими делами церкви) является условием, без которого они не представляют себе истинного христианства. Верховная кафедра никем не может быть судима, папа непогрешим. Он обладает этой безошибочностью (непогрешимостью) в силу своей миссии первосвященника, и простирается она так же широко, как сокровище Божественного Откровения. Таким образом, Католическая церковь невидимого Главу Церкви заменяет видимым наместником и все бремя ответственности возлагает на Папу. Православные же считают, что у Церкви — Тела Христова — не может быть человеческой главы. Первенство в древней Церкви давало папам только преимущество чести, но не преимущество власти. В самом деле, требовать от всех христиан послушания Папе всегда и во всем, касающемся спасения, веры и нравственности, есть величайшая дерзость и посягательство на главенство в Церкви Господа Иисуса Христа. Это — некое универсальное богохульство, попрание Евангелия, веры, свободной благодати. В этом смысле, по мнению автора статьи, Иоанн Павел II являет собой фигуру подлинно трагическую, свидетельствующую о том, что человеку глубочайших религиозных интуиций в полной мере не раскрылась правая вера.

Журнал «Культура и время» объединяет сторонников *Живой Этики*, духовного наследия Рерихов. Это своеобразное квазирелигиозное учение, синтезирующее мудрость мировых религий и достижения современной науки. Живая Этика, по определению адептов, — мышление, в основе которого лежит энергетическое мировосприятие, рассматривающее мировую историю как следствие космической эволюции. Называется это космическим мировоззрением. В № 1 журнал публикует материалы большой конференции на эту тему. Доктор филологии **Т. Григорьева** посвящает свой доклад «**Вселенское Дао**» китайскому учению о пути следования естественному ритму. Путь этот ведет к соединению разнородного и исключает соединение однородного. Всякое уподобление, насильственная сплоченность противоестественны. Обойти Дао невозможно, а главное, не нужно, ибо «только Дао ведет к совершенству, к самосохранению», тогда как утрата пути — к самопогибели. Дао есть нечто Изначальное; назови его Божьим промыслом или Разумом Будды, все равно оно не может не осуществиться, ибо в нем смысл Бытия, исполнение Человека. Дао недоступно аналитическому мышлению. Современная наука, основанная на нем, должна подчиниться законам космической эволюции и изменить свои методы. И это уже происходит: появилась синергетика, учение о непротиворечивости двуединого сущего (инь-ян), она снижает степень неуловимости Дао и доказывает, что человек «может жить в ритме Природы, облагораживая ее, способен стать в Троицу с Небом и Землей, что и предрекали мудрецы и святые Востока и Запада». Филолог из Болгарии **А. Федотов**, исследуя модель мироздания, сконструированную современными физиками, приходит к выводу, который делает заглавием своего доклада: «**Буддийская концепция космоса — прозрение будущего**». Федотов считает даже, что представление человека о Боге — не что иное, как отражение знаний о некоем «Веществе», обнимающем и проникающем наше мироздание. Буддийское понятие *сансары* (эмпиричес-

ки явленное бытие, реальность) переключается с данными физики. При ближайшем рассмотрении, сансара превращается в «черную дыру» (космический объект, приводящий к катастрофическому исчезновению звезд под воздействием сил его тяготения), а нирвана (абсолютно истинное сущее, сверхбытие) обретает значение гравитационно-нейтрализующего эфира, сдерживающего распространение воздействий «черной дыры». Материя и вещество неизбывны. Наша Вселенная — неиссякаема, беспредельна и вечна в своей изменчивости. В этом созвучны Великие Учители древности и современная наука.

А из эти дивные созвучия порождают необходимость следовать законам духовной жизни. Три из них формулирует доктор философии **А. Иванов** в сообщении «**О необходимости твердой иерархии ценностей и законах духовной жизни**». Он признает многоликое единство мира, основанного на универсальных принципах Истины, Блага и Красоты. Законы духовной жизни так же объективны и всеобщы, как и законы природы. Добровольное и сознательное следование им свидетельствует о подлинной духовной свободе. Первый и наиболее очевидный закон утверждает, что насильственное приобщение к духовной жизни и духовным ценностям всегда достигает результата, прямо противоположного ожидаемому, то есть — из одной только потребности сопротивляться насилию — провоцирует человека на принятие антиценностных и антидуховных установок. Второй закон: духовный человек всегда ведет борьбу со злом и бездуховностью, особенно если духовному растлению подвергаются дети. Третий закон: никакого параллельного роста материальных и духовных потребностей быть не может; если одни растут, то другие неизбежно убывают, а потому в ситуации жизненного выбора высшее всегда следует предпочесть низшему, а ценности духовного плана — соображениям социальной выгоды и материальной пользы. По мнению Иванова, следование духовным законам — важнейшее условие соборного преодоления нынешнего цивилизационного кризиса. Кроме того человек, отдающий приоритет духовным ценностям, в целом физически здоровее и живет дольше, чем эгоист, и творчески свободнее его.

Адепты **сайентологии** также стремятся объединить все самое полезное в науке и религии. Об этом в статье «**Церковь сайентологии: краткая характеристика**» пишут **А. Забияко** и **Р. Кобызов** («Религиоведение», № 2). Церковь основана в начале 1950-х годов Л.Р. Хаббардом (1911-1986). Его вероучение представляет собой набор идей, почерпнутых из психологии и медицины и различных мистических практик. Это учение предельно рационалистично и технологично, т.е. выстроено как система практических действий. Наряду с доктриной спасения и перерождения души оно декларирует некоторые позитивные этические принципы. Учение включает также обширный список практических рекомендаций по организации жизни своих адептов, их семей, трудовых коллективов, окружающей среды. Рекомендации должны позитивно влиять на карьерный рост человека, повышение его благосостояния. Система практических действий включает психотехнику. Сайентологи утверждают, что обладают чрезвычайно действенными средствами психического и физического оздоровления человека, которые приводят не толь-

ко к духовному совершенству, но и к бессмертию. Хаббард создал «Дианетику», или науку душевного здоровья. Это технология духовного исцеления посредством совершенствования человеческого разума. Суть «духовной технологии» сводится к психологическому воздействию на воспоминания (энграммы), травмирующие сознание человека. Итогом воздействия должно стать свободное и чистое от травм сознание, которое позволит достичь необыкновенно высокого духовного развития и приведет к спасению. Система практических действий включает также «административные технологии Хаббарда» — методику организации работы предприятия или любой административной системы. Она предполагает построение жесткой иерархической системы подчинения по принципу пирамиды. Ее внедрение в коллектив связано с обязательным знанием учения Хаббарда и безусловным соблюдением сайентологических принципов управления, взаимным контролем, искоренением инакомыслия и прочими технологиями. Социальная стратегия церкви сайентологии ориентирована на активное сотрудничество с государственными и общественными учреждениями с целью переустройства общества в соответствии с главными принципами учения. Организационное устройство церкви сайентологии имеет развитую сеть действующих учреждений и программ: Хаббард-колледжи, центры по борьбе с наркоманией («Нарконон»), центры по перевоспитанию правонарушителей («Криминон») и др. По данным сайентологических источников, адептов этой церкви насчитывается более 8 млн. Институционализована она в США в 1954 г., в России зарегистрирована как религиозная организация в 1994 г.

Обзор подготовил Александр Денискин

**ФИЛОСОФСКАЯ,
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ, ИСТОРИОСОФСКАЯ
И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ**

в русской периодике первого–второго кварталов 2004 г.

В наших пределах, где жизнь человеческая в грош не ставится, именно **проблема человека** с его правами и обязанностями, его возможностями и способностями становится нескончаемой «притчей во языцех». Этот многомерный образ регулярно обсуждают ученые Российской академии наук в Институте человека. Не так давно рассматривался вопрос: **«Как возможна единая наука о человеке?»** Итоги дискуссии подводит № 1 журнала «Человек». **В. Веряскиной** такая затея кажется столь же неосуществимой, как неосуществима единая наука о мироздании — слишком абстрактно. **П. Тищенко** признает плодотворность лишь побочной идеи этого проекта — междисциплинарной кооперации, а **И. Ашмарин** — координации. По мнению **В. Борзенкова**, современная научная картина мира с ее физико-астрономическими данными и биологическими открытиями вполне в состоянии изобразить человека в его внешнем и внутреннем виде. **В. Рабинович** считает, что единая наука о человеке просто не может не возникнуть. **С. Малков** полагает, что такая наука должна не столько заниматься самим человеком, сколько изучать исследования о нем. В самом деле, речь ведется о всеобъемлющей науке, призванной объединить в себе не менее двухсот дисциплин. Непросто даже дать определение предмета такой науки — то есть человека. **М. Мануильский** предлагает следующий черновой вариант: «человек — это биологический вид *Homo sapiens*, существующий в многообразных формах социальной организации, обладающий сложной системой интеллектуально-эмоциональных способностей и наделенный неповторимой индивидуальностью». Однако далеко не всем участникам дискуссии показалось возможным воздвигать здание единой науки о человеке на дефиниции, сформулированной таким образом. **Ю. Резник** напомнил, что науку о человеке во всех его проявлениях не надо придумывать, поскольку она существует уже много веков и называется антропологией.

Свои сомнения по поводу науки о человеке высказывает **А. Дугин** в статье **«Homo novissimus»** («Человек», № 1). Он указывает, что наука родилась как система догматов, отменяющих догматы религии. Религии же имеют свои версии антропологии и считают, что приходит в конце времен человек к фундаментальному упадку. Наука начала с того, что перечеркнула антропологию Традиции (т.е. антропологию религиозную) и отменила в человеке душу. Научная антропология рассматривает человека как хитроумную машину. На отрицании души основаны обе версии современной антропологии — и либеральная, и марксистская. Это показательно и подтверждает эсхатологию Традиции, которая говорит о приходе времени, когда человек забывает о своем божественном происхождении и признает себя машиной. Поэтому и наука о человеке — доказательство дегенерации чело-

вечества и апокалиптичности Нового времени. Постмодерн в антропологии и перспектива клонирования доводят дегенерацию до логического конца. Вначале человек отвергает религию и отрицает душу, потом признает себя автоматом и, наконец, сам начинает делать человекоподобные существа. Клоны — это типичное «чудо антихриста». Современная наука о человеке ведет именно к этому. Дугин противопоставляет ей свою «новую программу философии», которая вдохновлена идеей «консервативной революции». Ее основные положения наводят на мысль: именно так говорил бы Заратустра, попади он в редакцию журнала «Человек».

О. Генисаретский в статье «**О задачах и ожиданиях, связанных с антропным истолкованием “человеческого развития”, “потенциала”, “ресурса”...**» («Архэ», № 5) пробует разобраться со смыслом огромного числа терминов, начинающихся с прилагательного «человеческий». Такое тотальное очеловечивание всего умозрительного пространства Бальтазар удачно назвал «антропологической редукцией». Сведение всей полноты бытия к человеку — это упрощение мира, «расколдовывание» его, устранение из него следов божественного присутствия, материалистическая уловка. Человек зазвучал гордо и одновременно... омерзительно. Антропологическая редукция приводит к упразднению персонологии, устранению личностного начала в человеке. Пренебрегая различием в человеке лица (ипостаси) и природы (усии), она затмевает значение христианского идеала, данного в никейском Символе Веры. Генисаретский насчитал пять версий рассуждения о «человеческом» и две из них изложил в своей статье.

Автор статьи «**Проекции в будущее или человек потерянный**» («Философские науки», № 2) **Е. Молодцова** замечает, что, стремясь максимально облегчить жизнь с помощью всевозможных машин, современный человек незаметно попал в полную зависимость от них. Машины начинают превосходить человека, диктуя ему стиль жизни и формируя его потребности. Закономерно возникающий бунт несет в себе не разрушение, но страстный созидательный порыв. Именно в бунте человек открывает для себя и обретает свою истинную человеческую сущность, потерянную в созданном им же нечеловеческом мире. Драматическое положение, в котором оказались наши современники, автор статьи иллюстрирует на примере фильма «Матрица», где прежде всего демонстрируется нарушение «экологии знания». Думанье, то есть выработка знания, равно как и обучение, передаются машине. Разрушается система «человек — знание», и вместо нее образуется новая система «машина — знание». Разрушаются естественные условия существования знания и человека. Нарушается также и существование знания как космического феномена (ноосферы). Кончается все это тем, что машины идут войной на человека. Молодцова полагает, что если бы герой вовремя понял, что надо самосовершенствоваться, работать над собой, а не над компьютерными программами, он осознал бы врага в себе и во внутренних бранях его уничтожил, не прибегая к сокрушительным видеоэффектам. Однако, по фильму, и внешние брани, и победа героя сохранили людей для того, чтобы они могли сотворить опять что-то подобное Матрице или другой кошмар. А это непременно должно случиться, потому, что люди не сумели изменить себя, победить врага в себе. Но есть и совершенно иной

вариант будущего — такой, как на полотне Н. Рериха «Град пречистый» — все зависит только от нашего выбора.

«Матрица» приходит на ум и **А. Ваганову**, автору статьи «**Мифов. Net**» («Философские науки», № 2). Он тоже озабочен беспомощностью наших современников, попавших в *сети информационных технологий*. Нельзя провести границу между мифологическим и научным сознанием. В «Матрице» реальный мир представлен видимостью, огромным сложным обманом, который порожден искусственным интеллектом. Ваганов представляет наш мир вместилищем «семиотических фантомов», которые возникают как результат «бомбардировки знаками» наших несчастных голов. Проектирование гигантских сетей во всех сферах жизни приводит к тому, что эти сети действуют сами по себе независимо от желания проектировщиков, производят эффекты, которые от них не ожидалось. Наука сама рождает нечто, не поддающееся познанию. Особенно Ваганова раздражает НЛО-мифология. Она становится зачастую уже не столько знаком, что-либо означающим, сколько копией несуществующего оригинала — симулякром. Что не мешает НЛО-мифу включаться во вполне реальные социальные структуры: официальные периодические издания, книги, радио- и телепрограммы, общественные организации (например, Международная академия энергоинформационных наук). То есть бытование НЛО-мифа не только виртуально, но и актуально. При этом «не-материальность» семиотических фантомов вовсе не означает их нейтральности. Достаточно вспомнить о массовом самоубийстве в 1997 г. членов американской секты «Врата рая». Они хотели, оставив на Земле свои тела-«контейнеры», улететь с инопланетянами в хвосте кометы Хейла-Боппа. Характерно для современной мифологии то, что она настойчиво апеллирует к науке, выдавая себя за правомерную научную гипотезу. Некоторые же современные научные теории принципиально не верифицируемы — квантовая физика, к примеру, пытается объяснить то, что невозможно даже представить. И в условиях сетевой коммуникации (Интернет) выбор между мифом и наукой может замениться выбором между источниками информации. Но неизвестно, допустит ли матрица сетевого универсума вообще какой бы то ни было выбор. Приближаются времена, когда только исключительные индивиды, избранники, будут соответствовать уровню информационного развития — да и то ненадолго, а потом цивилизация понесется вперед, никем не управляемая и никем не понимаемая.

Для доктора биологических наук **М. Проппа**, автора статьи «**Научный метод**» («Вестник Дальневосточного отделения РАН», № 1), *наука* — область человеческой деятельности, направленная на углубленное понимание мира. Есть науки абстрактные (теоретическая математика и формальная логика), они опираются на фундаментальные положения — аксиомы, которые не могут быть доказаны в рамках самой науки, а принимаются на интуитивном основании как обобщение всего опыта человечества. Эти принципы сами рассматриваются на более высоком уровне метанауки (метаматематики). Прочие науки конкретны, имеют дело с объектами материального мира и являются материалом для наук абстрактных. Над конкретной наукой также возвышается метанаука, хотя это слово и редко употребляет-

ся. Биолог Пропп склонен из науки вообще выделить в отдельную область философию, так как, по его мнению, предмет ее до сих пор не определен. Метафизику, почитаемую самими философами как раз наукой об основных принципах (первоначалах) знания, автор статьи называет набором «не-строгих рассуждений о природе Вселенной, в которых наряду с удивительными предвидениями было наговорено немало чепухи». Пропп настаивает на том, что философия существенно отличается от всех наук, потому что по правилам должна разрешать свои фундаментальные вопросы в метафилософии — стало быть, в метафизике. Метафизика же — не вне, а внутри философии. А кроме того, философия от рода разделена на несколько несовместимых течений, и никакой тенденции к их объединению или конкурентному вытеснению всех прочих одним-единственным не наблюдается. Так что претензии философии объяснить мир и даже указывать путь к его переустройству кажутся автору безосновательными. По его мнению, философия — это что-то вроде успокоительной микстуры. Ее задача — упорядочить и сделать более комфортным внутренний мир человека.

А. Панарин, в отличие от предыдущего автора, *философии и Логосу* был верен до конца жизни (**«Духовные катастрофы нашей эпохи в свете современного философского знания»** — «Москва», № 3). Его философия исходила из способности человеческого духа не пасовать перед обстоятельствами, а отстаивать священную триаду Истины, Добра и Красоты. Панарин считал Логос важнейшим интеллектуальным достоянием западной цивилизации, а причину катастроф видел в духовной измене Его принципам. Источником этой измены стал англо-американский эмпиризм, не желающий за «атомарными фактами» и чувственными потребностями видеть скрытые сущности. Измена Логосу повлекла за собою измену традиции западного Просвещения с его универсальным принципом всеобщего прогресса. Навязываемая американцами модернизация есть отступление от принципов поступательного прогресса. Американская «рыночная» идеология, проводимая под эгидой либерального авангарда, приводит к ослаблению начал Просвещения, примитивизирует среду, реставрирует старые как мир ценности «финикийского базара», коррумпирует государственное чиновничество, обесценивает добросовестный труд. Модернизация по проекту Просвещения предполагала развитие индустриального общества и последовательный переход его в постиндустриальное, что означало передачу господства в обществе от класса буржуазных собственников классу интеллектуалов. А их труд выходит за рамки эквивалентного рыночного обмена, ведь рыночную стоимость фундаментальных исследований нельзя подсчитать заранее. Постиндустриальное общество — это активизация наиболее творческих индивидов, преобразующих производство на основе передовых достижений науки, которая становится фундаментальным общественным институтом. Аскеза творческого труда мобилизует ум, волю и профессиональную ответственность нового человека, истязующего себя в творческом поиске. Такой идеал гражданина постиндустриального общества, конечно, несопоставим с гедонистическим идеалом обывателя потребительского общества благоденствия. Рыночная идеология либеральной демократии провоцирует контрмодерн, грозящий человечеству небывалыми последствиями. Опасность этой идеологии в том, что она предо-

ставляет не творческую свободу ответственных решений, а свободу уклониться от всяких решений вообще. Здесь с устрашающей неизбежностью продуцируется инфантильное большинство, способное только пассивно потреблять и слепо верить. Панарин предостерегал от такой будущности и вслед за просветителями призывал: «Имей мужество пользоваться своим разумом!» Соотечественникам вместе с европейцами следовало бы отказаться от соблазнов Америки, перестать быть адептами либерального «конца истории» и незамедлительно приступить к восстановлению «европейского дома». Помочь в этом, полагал он, может только философия со свойственной ей исторической дальнорзоркостью, т.е. «способностью отрешиться от самодовлеющей современности и посмотреть далеко вперед и — далеко назад».

Автор трудно пересказуемого эссе «**Стрела познания**» С. Половнев («Философские исследования», № 2) предлагает обратить внимание на *шестое чувство* — чувство своего живого существования, ощущение себя как живого. Ведь «путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине». Истина же — не сама мысль, а ее рождение, и чем чаще рождается мысль, тем дольше пребывает с нами истина. В частоте рождения идей — судьба познания. Половнев настаивает на безграничности познания — в соответствии с неиссякаемостью мыслей. Обнаруженное шестое чувство есть ощущение *необходимости* собственного живого существования. Откуда же живое приобрело это фундаментальное свойство? Тут возможны два ответа: либо из неживой природы, либо от Бога. Второго варианта Половнев не касается и всю необходимость живого существования выводит из неживой природы. Процесс перехода из мертвого (неживого) в живое — это постепенная смена необходимостей, т.е. логический процесс — сама логика. Тут автор славит Гегеля, открывшего разумность (логичность) действительности и указавшего на великий акт слияния абсолютной свободы со всеми необходимостями мира. Плодом же этого онтологического акта становится «континуальная логика», в которой «исчезает нечто и присутствует только ничто. В ней нет ни времени, ни пространства. Чтобы вообразить такой мир, надо представить свою самость после собственной смерти». Континуальная логика не дает Вселенной опрокинуться в пучину хаоса, она же — гарант неисчерпаемости человеческого познания.

Член Российского философского общества А. Белов последние двадцать лет трудился над разработкой основ классического материализма и написал объемный трактат, суть которого кратко излагает в статье «**Классико-материалистическая философия**» («Труды членов РФО», № 7). Философия — это наука о вечных истинах, которые формулируются с помощью универсальных научных представлений. Философия должна разобраться в том, каким образом наша мысль, опираясь на объекты ощущений (например, песчинки), восходит к трансцендентальному представлению о материи как таковой. Философия начинает свое исследование с универсального представления об «отдельно существующем адресате мира» (молекула, песчинка, река, гора и т.п.) — материальном явлении — и восходит до тотального понятия о материи — материальная действительность. Причем эти универсальные понятия она должна выработать раз и навсегда. Специфика научной деятель-

ности философа заключается в том, что он как бы «копается» в гряде понятий, используемых естественными науками, и отбирает из них те, которые можно назвать универсальными, а потом определяет их статус в некоей «диалектической матрице» (опять эта матрица!). Она содержит все универсальные понятия, то есть полное описание наивысшего и всеобъемлющего — материальной действительности. Белов построил такую матрицу. Нашлось там место и всему тому, что по невежеству считается нематериальным.

Д. Алексеев в статье **«Геометрия логики как возможность»** представляет свою гносеологическую находку («Труды членов РФО», № 7). В самом деле, если существует алгебра логики, почему не быть геометрии логики? Первая ориентирована на время (пройти цепь формально выраженных умозаключений), вторая — на пространство (наглядное графическое изображение логических операций). Утверждение об обладании истиной оказывается в таком случае тождественным утверждению об обладании пространством. Главное, что в геометрической логике понятию истинности противостоит не ложность, а — другая истинность. Такого, чтобы пространства-истины «не хватило на всех», здесь не бывает. Пространства значительно больше, чем мы можем наблюдать. Оно безгранично. Эта вселенная может уместить и универсум экономики, и универсум политики, и универсум истории, т.е. все сферы человеческого умозерия.

В подобном пространстве рискнул разместить систему всех — уже существующих и только имеющих шанс возникнуть — вариантов философии истории **А. Еременко** (**«Хорошо темперированный клавир философско-исторических концепций»** — «Человек», № 1). Подобно предыдущему автору, он тоже графически конструирует некое пространство, каждая точка которого соответствует определенной концепции. Пространство конструируется по нескольким параметрам — «осям упорядочивания»: цикличность — линейность истории; роль человека в историческом процессе; обратимость — необратимость исторического процесса; осмысленность — бессмысленность истории. На каждой оси, в каждом параметре есть вариации. Кроме того, циклы могут быть полностью повторяющимися, либо воспроизводящимися с вариантами. Всего в этом пространстве 32 фиксированные точки, которые могут образовывать между собой связи (формулы), описывающие определенную концепцию философии истории. Своеобразная «игра в биссер». Из возможных сочетаний Еременко предпочел для себя мыслить историю так: она есть единый вариативный цикл, состоящий из малых циклов. Цикл этот подчиняется и естественно-историческим закономерностям, которые человек может понять и частично подчинить себе, и управляется Провидением, которое также оставляет человеку некоторую свободу. Это означает, что на ход истории могут иногда влиять (но не существенно) выдающиеся личности или народные массы. С некоторым колебанием Еременко признает, что история есть грандиозная драма, сочиненная гениальным Автором. В этой драме нам, исполнителям, удастся худо ли, хорошо ли воплощать замысел Автора, а порой и претендовать на соавторство. Смысл пьесы двояк: с одной стороны — это понятное действо, протекающее по сюжету, с другой — Автор преследует неведомые нам цели, достижение которых, однако, зависит от искусности действующих лиц. В любом случае

мы должны играть наилучшим образом. Автор настолько любит свою пьесу, что повторяет ее вновь и вновь с разными вариациями, но наша игра в вариациях не безразлична и не бессмысленна для Сверхзамысла.

Известный американский социолог **Дж. Александер** в статье **«Общая теория в состоянии постпозитивизма: “эпистемологическая дилемма” и поиск присутствующего разума»** («Социология», № 18) как раз ищет разум, способный понять (отразить) суть осуществления Великого Замысла. Разум Александер отождествляет в этом случае с общей теорией в социальной науке. В последней сейчас можно найти все, что угодно — только не когнитивную (познаваемую) истину. Современный дискурс в социальных науках стал относительнее, чем когда бы то ни было. Ученые становятся перед выбором между научной теорией и антитеоретическим релятивизмом. Александер хочет показать, что этот упрощенный выбор не только вреден, но и опасен. Итак, суть дилеммы: с одной стороны — знание о мире не зависит от позиции и интеллекта познающего, и тогда общая теория и универсальное знание существуют; с другой стороны — знание зависит от позиции и способностей познающего, и в результате возможно только относительное и частное знание. Александер утверждает, что не следует принимать ни одну из сторон. Теоретическое знание не может не быть исторически обусловленным (т.е. безотчетным), но это не значит, что исключена возможность выработать обобщенные категории или интеллектуально дисциплинированные безличные способы оценивания (т.е. универсалии).

В. Фурс в статье **«Критическая теория “современности” (анализ формирования одной социально-философской концепции)»** («Логос», № 1) растолковывает, как философский дискурс модерна понимает Ю. Хабермас. Для современного осознания времени, согласно классикам современной западной мысли, характерно внутреннее напряженное единство исторического и утопического измерений. Утопические энергии включены в историческое сознание, однако в XX веке *некоторые формообразующие утопии* себя исчерпали. Это касается, в частности, одной вполне определенной утопии — веры во всемогущество общественного труда. Вся организация буржуазного общества жила на этой вере. Все утопические ожидания были обращены к сфере производства и связывались с освобождением труда и оптимизацией материальной жизни. Утопия «общества труда» определяла политические реалии времени (господство над природой, мобилизация общественных сил). И это не только советский коммунизм, но и социал-демократический реформизм в массовых демократиях Запада. Однако к концу века идея социального государства на основе утопии общественного труда перестала удовлетворять требованиям безопасности совместной жизни человечества. Утопия общественного труда стала вытесняться утопией коммуникации как основы всеобщей общественной солидарности. Человеческие усилия направляются теперь не на материальное производство, а на производство согласия, на созидание. Укрепление связей (коммуникаций) и разумное обоснование их (разработка новой модели рациональности) — так Хабермас характеризует современность, которую склонен считать «незавершенным проектом».

Благополучное существование человечества немыслимо без социальной интеграции. В статье **Р. Мюнха** **«Социальная интеграция в открытых простран-**

ствах» («Философские науки», № 2) речь идет о согласии благоденствующих европейских стран и США, где интеграция до сих пор обеспечивалась неустойчивым равновесием трех факторов: национальной солидарностью, экономическим ростом и дееспособным государством. Глобализация выводит человечество за пределы национального государства, в область открытых пространств, где исчезают национальные стереотипы самовосприятия и восприятия других. Множатся ценностные приверженности и стили жизни, абстрагируется и ослабляется коллективное сознание и коллективная идентичность, расширяется пространство для индивидуального сознания и индивидуальной идентичности. В обществе, где классовая и национальная принадлежность — не более чем невнятные абстракции, справедливость все меньше понимается как причастность к общему благу. Все большее значение приобретает идея справедливости, понимаемой как соразмерное вознаграждение за индивидуально достигнутый результат. Соблюдение справедливости становится одним из правил честной игры, которая обеспечивает каждому свободный доступ к обмену товарами и услугами. Новый социальный порядок вызывает к жизни уже не культ коллектива, а культ индивидуума. Рынок сглаживает различия между внутренней (своя нация) и внешней (остальной мир) моралью. Каждый равен другому, т.е. получает такие же шансы и измеряется той же меркой. Соблюдение правил игры, диктуемой рынком, обеспечивается уже не за счет представительской демократии, а за счет взаимного контроля политических инстанций, за счет сильных судов, децентрализованности, за счет защиты меньшинств, за счет той степени открытости, которая позволяет проигравшему на данный момент продолжить игру, а не выходить из нее, — словом, за счет всего того, что произрастает в гражданском обществе. Но все это в теории. На практике становление транснациональной интеграции с ее рыночной солидарностью и справедливостью протекает не без проблем. Принцип вознаграждения по индивидуальным результатам является уделом приспособившихся элит, в то время как основная масса населения по старинке рассчитывает на коллективные блага. Не дождавшись их, перестает верить политическим институтам и административным инстанциям, а там недалеко и до бунта. Раскрепощение рыночной экономики вызывает необходимость придать этому бунтарскому сектору общества некоторую динамику. Мюнх полагает, что в будущем этой динамике будет способствовать растущая доступность сетевых информационных структур, а имущественное состояние индивидов будет зависеть от умения использовать информационные ресурсы, превращая их в виртуально состоятельных граждан. Виртуальный рыночный обмен ресурсами будет способствовать солидарности общества, а значит, и искомой социальной интеграции.

Д. Подвойский считает, что немалое значение имеет *национальный характер*, который воздействует на весь комплекс социальной жизни индивида и, в частности, на хозяйственный менталитет и экономическое поведение (**«Национальный характер как фактор хозяйственной жизни»** — «Вестник Российской академии наук», т. 74, № 2). Западная экономическая теория исходит из существования некоего homo oeconomicus. Это холодный прагматик — человек с ясной головой и каменным сердцем. В любом деле

такой человек опирается на собственный интерес. Ценность окружающих людей и вещей он определяет с количественной точки зрения. Это олицетворение капиталистического духа или, вернее, духа предпринимательства. Предпринимательский дух становится энергетическим источником всякой частной хозяйственной деятельности и движущей силой экономического прогресса. Но волевые добродетели сами по себе не создают капитализма. Они нуждаются в умиротворяющей рационально-конструктивной добавке «мещанского духа»: умеренности, уравновешенности, эмоциональном постоянстве, систематичности мышления, трудолюбию, расчетливости, бережливости, рачительности, скопидомстве и т.д. Это соединение духа предпринимательства и духа мещанства формирует специфическую модель трудовой мотивации индивида: бизнес ради бизнеса, рациональная калькуляция как стиль жизни. Этот тип человеческой мотивации порожден в пределах западного культурного региона, и капитализм как корневой исторически первичный социальный феномен возникает только на Западе и нигде более. Предпринимательские «наклонности» отнюдь не общечеловеческое свойство, и капитализм отнюдь не всемирная судьба. Чтобы убедить нас в этом, Подвойский еще в начале статьи приводит некоторые стандарты российского экономического поведения, в котором преобладают качества, несколько отличные от западных стандартов: неумение и нежелание «идти средним путем» (рассчитанный оптимальный вариант), патетическая экспрессивность, любовь к крайностям, склонность к работе в «дискретном режиме» (приступы «трудового энтузиазма», перемежающиеся полным бездельем) и т.п. Возможно, в скрытых социокультурных глубинах жизни существует некий «прафеномен» народной души, которую воротит от западной «культуры действия». Изобретателям и осуществителям глобальных проектов совершенствования следует иметь это в виду.

С концепцией известного американского социолога знакомит читателей Н. Зюзов, автор статьи «Глобализация: версия Питирима Сорокина» («Здравый смысл», № 1). Современный этап развития человечества Сорокин рассматривал как переходный. Исчерпав ресурсы материалистического подхода к миру, человечество должно перейти к стадии, основанной на признании сверхчувственных начал. Современной промежуточной стадии (процесс глобализации) соответствует *интегральная культура*. Эта процесс, идущий во всех сферах культуры, — в науке, философии, религии, этике, праве, политике, экономике, искусстве. Он идет в человеческих душах, умах и телах. Основа международного мира в такое время заключается в том, чтоб установить согласие между системами высших ценностей (если они есть) каждого из меняющихся сообществ. Для Питирима Сорокина главные коллизии истории лежат в моральной сфере. «Только через непосредственную эмпатию, сопереживание и интуицию психологических состояний», полагал он, можно осознать сущностную природу и различия религиозной, научной, эстетической, этической, экономической, правовой, технологической и прочих культурных систем. Без этого все наблюдения и статистические операции, используемые социальными науками, обречены быть бессмысленными симулякрами.

В статье «Автоэтнография. Разговор с самой собой в двух регистрах» («Социология», №18) А. Готлиб рассказывает о качественно новой исследовательской практике в социологии. Эта практика тщательно и скрупулезно изучает собственный мир исследователя и то, как он совместно с другими людьми конструирует окружающий мир — приемлемый и непроблематичный. Язык выражения такого опыта — повседневный, обыденный язык нормального человеческого общения. Существуют различные методологические установки такого описания: аналитические, терапевтические, есть и постмодернистский вариант, когда собственная история осмысливается исследователем на художественном уровне с использованием ассоциаций, метафор, аллюзий и проч., где грань между литературой и социологией почти незаметна. Основная научная претензия к автоэтнографии в том, что она является «романтическим конструированием себя» и не может быть отнесена к сфере строгой социальной науки. По мнению Готлиб, благодаря этому подходу «схватывается» изучаемое социальное явление и получается правдоподобное описание. И хотя это правдоподобие может не соответствовать действительности, зато оно отвечает обыденным представлениям о социально возможном, что важнее.

А. Фененко напоминает читателям, что к настоящему моменту созрели и готовы о себе заявить **«Войны шестого поколения»** («Международная жизнь», № 2). Оказывается, «войнами четвертого поколения» назывались контактные войны, ведущиеся реактивным и авиационным оружием (первая половина XX века); «войны пятого поколения» — различные концепции ядерной войны (1950-1980-е гг.). Про первые три речь не ведется. Цель войны шестого поколения — разгром бесконтактным способом экономического потенциала любого противника на любом удалении. Родилась эта концепция в Пентагоне и объединяет стратегии «массированного возмездия», «гибкого реагирования» и «реалистического устрашения». Не будем пересказывать многоступенчатую технологию такой войны, скажем главное: ее стратегический стиль не «воздействие» на противника, а его «сокрушение». Для этого используются заряды «с обедненным ураном». Под этим жалостным названием скрываются заряды с огромной бронебойной силой, образующие облако керамического аэрозоля на десятки км от места взрыва. Есть гафниевые боезаряды, которые сильны настолько, что могут поразить даже боеголовки с разделяющимися головными частями. Есть заряды с метановыми стержнями для вывода из строя бункеров с химическим и биологическим оружием и зажигательные боеприпасы, вызывающие шквал огня такой интенсивности, что его невозможно погасить водой. Есть «вакуумные бомбы», поражающие органы дыхания. Изобретено и микроволновое оружие большой мощности, предназначенное для вывода из строя радиоэлектроники и системы электроснабжения. Автор статьи не сообщает, есть ли такое оружие у нас и с концепцией войны какого поколения выступают в нашу защиту российские стратеги. Но по его мнению, совершенно необходимо осуществить принципиально новый международный договор об ограничении и контроле над оружием, достигшим такой зрелости и совершенства. То есть все силы перевести с поля боя на правовое поле или за стол переговоров.

В. Бачинину, автору статьи «**Природа правовой реальности**» («Право и политика», № 2) рассматриваемое явление напоминает шахматную игру. Как и в шахматах, здесь существует некоторое количество базовых принципов, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Так, например, естественно-правовые абсолюты требуют, чтобы закон никогда не был орудием уничтожения справедливости, средством ликвидации гуманности, средством попрания человеческого достоинства. Он не может призывать: убей, укради, солги. Подобно тому как в шахматах недопустимо, чтобы ладья ходила, как слон, а исходные позиции всех фигур были иными, чем это принято, то есть обусловлено самой природой шахматной игры. Опираясь на правила, игроки не ощущают ущемленности своих прав. Следование нескольким основным требованиям, договорная дисциплинированность с лихвой компенсируется бесконечным числом возможных вариантов игрового поведения на шахматном поле, бесконечным простором для творческой свободы, для проявления всех своих способностей и талантов. Такова же логика поведения цивилизованных субъектов внутри пространства правовой реальности. Подчинение правилам не отнимает свобод, а свободные волеизъявления не уничтожают порядков и не ведут к хаосу.

Н. Пушкарева назвала свою статью «**Мед и молоко под языком твоим...**» («Этнографическое обозрение», № 1). С этим возгласом из Песни Песней автор встает в ряды **феминисток «третьей волны»**, вдохновленных идеями М. Фуко, исследующего отношения тела со Властью и Знанием. Первую волну автор относит к началу 70-х годов XX столетия, вторую — к началу 90-х. «Третья волна» занимается исследованием женской телесности, т. е. того, как тело субъективировалось, регулировалось и репрезентовалось через язык (вербальный и невербальный) в разных культурах и в разные эпохи, как в женском теле соотносятся Природа и Культура. Пушкарева прослеживает, как женский рот, это «отверстие для приема пищи» (так по Далю) был представлен в различных дискурсах Руси с X по XIX вв. Объектом исследования визуального дискурса послужила русская иконография, а нарративного — пенитенциарные церковные книги (памятки для определения наказания за те или иные прегрешения). На иконах женские уста всегда закрыты, плотно сжаты, никогда не улыбаются, потому что женские персонажи лишь создают «фон» для действующих лиц — мужчин. В письменности женские уста — это символ соблазна, побуждение к запретному действию — «лобзанию» («или же язык в уста вдевать»), которое следует отличать от «поцелуя». Наказание за сей поступок — от 12 до 20 дней поста. Если же женский рот использовался «чрес естьство сотворенное быша» (оральный секс), то наказание колебалось от двух до пяти лет поста. Епитимийники дают представление о том, что существовали определенные законы для использования рта по его единственному назначению — приему пищи. Оральный секс как вид «обмана Природы и Бога» и одновременно как вид контрацепции сурово осуждался. Тексты покаянных молитв (до XVI века) дали автору повод высмотреть явное отождествление женского рта и женского лона. В «низовом» дискурсе посадской культуры желанный женский рот предстал большим, с мягкими «лошадиными» губами. Широкие, толстые

губы и рты изображались у летящих в ад грешниц на фресковых росписях XVII в. Все это и многое другое, включая этнографические особенности обрядового коитуса Русского Севера, привело Пушкиреву к выводу, что в «русской истории женского тела» женские уста были желанным для мужчин эротическим объектом. Усиливая в епитимийных текстах сексуальное значение рта и губ и эротизируя их восприятие, авторы таких текстов (священники-мужчины) подготовили возникший в XVIII веке медицинский дискурс, где части женского лона получили наименования, созвучные частям рта. Сопоставление визуальных и нарративных образов дало автору возможность предположить существование разных представлений об «идеальном» и «желаемом» женском рте, т. е. сконструированном церковным канонном (маленький, незаметный, губы плотно сжаты) и народными представлениями (крупные размеры — символ здоровья и сексуальной привлекательности). Идеалы совершенного мужского рта, к сожалению, автору восстановить не удалось.

Н. Никишину заботит «Дискурс о женском одиночестве в контексте индивидуальной свободы со ссылками на экзистенциальный авторитет» («Человек и Вселенная», № 1). Свобода женской личности, за которую так ратует феминизм (сейчас это слово стыдливо заменяют «гендерными исследованиями»), имеет и оборотную сторону: провоцирует женское одиночество. Когда женщина осознает, что она в ответе за свою судьбу, у нее может появиться острая боль отчаяния, страха и тревоги. Даже власть, которую обретают многие эмансипированные женщины, не избавляет их от одиночества. Женщина понимает, что у одиночества есть положительный момент: человек встречается с самим собой, обретает понимание своего отношения к бытию, но это одновременно и утрата интимных коммуникаций, которые только и могут раскрыть индивидуальные качества женской личности. Ее «я» жаждет, «чтобы кто-либо его окончательно признал, утвердил, увидел его в красоте, услышал и отразил». В одиночестве исчезают такие позитивные категории жизни, как счастье, дружба, любовь, и возникают такие негативные, как страх, недоверие, отчаяние, опустошенность, скука. Оказывается, что «феминный индивид» не способен опровергнуть социальную аксиому, которая гласит: для женщины не иметь любимого, друзей, близких, семьи — значит потерпеть экзистенциальную неудачу. Никишина согласна с Бердяевым: любовь — вот преодоление одиночества. Она готова отказаться от свободы во имя идеального Эроса. Но где ж его взять? И Никишина предлагает изживать одиночество в духовном совершенствовании, «через укрепление личности и познание».

И. Андреева в том же ключе славит женский ум. Однако не потому, что по силе он приближается к уму мужскому, который всякую умственную деятельность превращает в ристалище или бранное поле, но за то, что ум женщины ищет согласия и сеет вокруг себя мир. Обладательница такого ума «Русская Диотима: Пиамы Павловны Гайдено» («Философские исследования», № 1). Диотима, по свидетельству Платона, открыла Сократу и всем последующим философам путь, ведущий к знанию прекрасного. Путь этот, словно по ступенькам, ведет к познанию прекрасных тел, от них к прекрасным нравам, далее к прекрасным учениям и, наконец, к познанию прекрас-

ного самого по себе, т.е. Блага, в созерцании которого только и может жить человек, его увидевший. В прежние времена Пиама Гайденок как «тонкая струна звенела» в гулком хоре официального марксизма-ленинизма. Она одна из первых открыла для советского читателя западный экзистенциализм как новый тип философии человека, обнаруживающей в трагедии конечности человеческого существования таинственное и непостижимое бытие запредельного. Это давало нашему мировоззрению положительные основы свободы, в достижении которой Гайденок учила звать на помощь разум как высшую человеческую способность; как способность, позволяющую понимать смысловую связь человека с вселенским порядком. Залог нашего сегодняшнего духовного самоопределения следует искать, полагает Гайденок, в отечественной философии, собравшей трагический исторический опыт не только нашей страны, но и мировой цивилизации. Для этого потребуются неспешные усилия, быть может, не одного поколения.

Приобретшие в современной науке высокий престиж гендерные исследования уделяют внимание преимущественно женщинам, мужская же проблематика остается втуне. Чтобы устранить несправедливость, Институтом этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН проведена **«Научная конференция “Мужское” в традиционном и современном обществе»** («Этнографическое обозрение», №1). В основном обсуждались стандарты мужественности в разных типах культур, их изменчивость и адаптивность в современных условиях. **И. Кон** нашел существование двух типов маскулинности: фаллокрации, основанной на силе (прежде всего сексуальной) и логократии, ставящей во главу угла рациональное начало. **Н. Пушкарёва** на материале русских сказок выявила нетипичность отечественной маскулинности. Типичная (западная) не имела шансов воплотиться на Руси, поскольку у нас главными проявлениями «мужского» оказались способность к состраданию и самоотречению, к заботе о ближнем, т.е. свойства, «которые необычайно притягательны для женщин и более важны, чем физическая сила». **М. Котовская** и **Н. Шалыгина**, напротив, представили «феномен мачизма», особый тип мужского поведения с ярко выраженной брутальностью, сильным зарядом примитивной сексуальности и доминированием «самцовости» в мировоззренческих установках. Они убеждены, что в основе этой модели мужского поведения лежит комплекс слабости. Так ведет себя человек, у которого нет реальной власти и возможности управлять ситуацией. **И. Черных** обратил внимание на двуединую (ян-инь) природу вещей в китайской и индусской традициях, которые исключают антагонизм мужского и женского и не содержат, в отличие от западной традиции, оснований для легитимизации гендерного конфликта. **Е. Окладникову** интересовала «аксиология мужского». К ценностям мужского действия она причисляет агрессивность, сексуальность, активность, боевитость, мускулистость. «Мужское» в истории культуры развивалось, по ее мнению, посредством укрепления правил «гендерного договора», который предполагает доминирования мужских ценностей над женскими и использование «мужского» начала для трансляции патриархата как универсальной модели культуры. **В. Шабельников** различает стратегию поведения мужчин и женщин по их социальным ролям: первые обеспечивают развертывание активности чело-

века в пространстве окружающих ситуаций, вторые — в системе его биосферных функций. **М. Бутовская** различает их репродуктивное поведение. Мужчины связывают его в основном с поиском партнерши: статус, власть, ресурсы и территория — словом, шансы в борьбе за обладание женщиной. Для женщины репродуктивные чаяния реализуются преимущественно в форме родительских усилий: ориентация на поиск ресурсов, необходимых для существования их самих и их потомства. **Л. Семенова** обратила внимание на недостаточную развитость у российских мужчин такой ценности, как отцовство. **А. Кушкова** с сожалением констатировала ушедшую традицию «отцовского проклятия». А ведь это была эффективная практика регуляции взаимоотношений между мужчинами разных поколений в семье. **О. Мотков** нашел, что у современных юношей и девушек такие психологические параметры, как агрессивность, направленность личности, склонность к лидерству, практически одинаковы. **М. Яковлева** отметила особую роль спорта как социального института, формирующего личность. Спорт репрезентирует традиционные гендерные роли, причем женские обосновываются качественными характеристиками (артистичность, техника владения телом), а мужские — количественными (результативность, агрессивность). Принадлежность к спортивному сообществу дает право на обретение статуса «мифологического героя». Обсуждались мужские ценности и в контексте мировых религий. **П. Иванов** доказал, что митраизм можно считать воинской религией, где мужские ценности выражены максимально, а женщина вообще не могла быть посвящена в культ. **С. Антоненко** на примере бенгальского вайшнаизма продемонстрировал сложность применения европейских гендерных стандартов в индуизме, где существует сложная иерархия типов маскулинности в зависимости от статуса посвященного. Коснулись проблем мужественности в исламе и христианстве. Обсуждались вопросы религиозных стандартов маскулинности, влияние маскулинного образа Бога на социальные и культурные стереотипы.

Обзор подготовил Александр Денискин

«НУ-КА, ЧТО ТЫ ЗА ЧЕЛОВЕК?..»**По поводу двух определений искусства у Льва Толстого****1. Что такое искусство?**

Толстой не раз пытался уяснить для себя и объяснить другим, что такое искусство, в чем его необходимость и какими должны быть критерии его оценки. По разным поводам и под разными углами зрения он обращался к этой теме на протяжении едва ли не всей своей жизни. Но наиболее значимо и масштабно, с прямой установкой на четкое теоретическое формулирование проблемы — лишь дважды.

В первый раз — в 1894 г., в предисловии к сочинениям Мопассана, где разбор произведений французского писателя сопровождается небольшим теоретическим отступлением, разъяснявшим читателю, как он, Толстой, понимает искусство. «Люди, мало чуткие к искусству, — писал Толстой в этом фрагменте, — думают часто, что художественное произведение составляет одно целое, потому что в нем действуют одни и те же лица, потому что все построено на одной завязке, или описывается жизнь одного человека. Это несправедливо. Это только так кажется поверхностному наблюдателю: цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое <...>, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету. *В сущности, когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: “Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?” Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев, — мы ищем и видим только душу самого художника*¹.

¹ Л.Н. Толстой. Полное собрание сочинений в двадцати томах, т. 15. М., 1964, стр. 264. В дальнейшем ссылки на цитируемые страницы этого тома приводятся в скобках в тексте. (Здесь и всюду далее в цитатах, кроме специально оговоренных случаев, выделения полужирным курсивом мои. — И.В.)

**Игорь
ВИНОГРАДОВ**

— родился в 1930 г. в Ленинграде. Окончил филологический факультет МГУ. Автор книг «Проблемы содержания и формы литературного произведения» (1958), «Как хлеб и вода. Искусство в нашей жизни» (1962), «В ответе у времени» (1964), «Искусство, истина, реализм» (1974), «По живому следу. Духовные искания русской классики» (1986) и многих статей по проблемам эстетики, классической и современной русской культуры. С 1992 года — главный редактор «Континента». Живет в Москве.

Но через три с половиной года, печатая свой знаменитый трактат «Что такое искусство?», где искусство рассматривается как «одно из условий человеческой жизни», «одно из средств общения людей между собой», Толстой предлагает уже несколько иное его определение. Это та известная толстовская формула искусства как «деятельности заражения чувствами», которая и вошла позднее во все учебники по теории искусства именно как основная, главная его формула, наиболее адекватно выражающая понимание Толстым природы художественного творчества.

Вот как звучит эта формула в итоговом, окончательном своем виде:

«Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их» (87; курсив Толстого. — И.В.).

Как видим, новое это определение хотя и не противоречит предыдущему, из предисловия к сочинениям Мопассана, даже в какой-то мере пересекается с ним, однако действительно выглядит совсем иным, отнюдь с ним не совпадающим. Причем не совпадающим достаточно существенно.

В самом деле, — сразу же бросается в глаза, что «чувства» художника, обозначающие теперь у Толстого тот главный «предмет», который передается нам искусством, — это понятие куда более узкое, чем то, которым был обозначен этот «предмет» в прежней, более ранней формуле Толстого, — «душа художника» в целом. Ибо «душа» — это, понятно, не только чувства, но, например, и воображение, и мысли художника, и особенности его психологической организации, и природа его наблюдательности, и характер его ценностных предпочтений, и т.д., и т.п. Другими словами, новая формула как бы исключала из состава искусства все то многообразное содержание, которое так или иначе обнимается понятием «души», ограничивая его лишь «чувствами». Во всяком случае, именно так толстовскую концепцию искусства всегда и понимали. А потому и главные возражения, которые она всегда вызывала, неизменно были связаны прежде всего именно с этим «сужением» сферы искусства передачи одних только чувств. В частности — со стороны Плеханова, который одним из первых поставил это Толстому в вину, посчитав особенно неправомерной толстовскую дискриминацию сферы мыслей художника.

Чем же объясняется это явное, бросающееся в глаза несходство двух толстовских формул искусства, эта очевидная их смена, случившаяся за те три с половиной года, что протекли от предисловия к сочинениям Мопассана до трактата «Что такое искусство»? Почему Толстой отказался от своего прежнего определения предмета искусства, заменив «душу художника» на одни только «чувства» его? Какая логика мысли вела и привела его в конце концов к этой замене?

Вопрос, согласимся, любопытный. И не такой уж маловажный, поскольку ответить на него — значит не просто отдать себе отчет в реальном генезисе толстовской концепции искусства, но тем самым глубже, точнее уловить и самое суть ее.

Между тем, насколько мне известно, в литературе о Толстом никто и никогда этой проблемой более или менее внимательно не занимался. Что, в сущности, нетрудно даже и понять, поскольку собственно теоретическая сторо-

на взглядов Толстого на искусство и вообще никогда сколько-нибудь основательно не занимала даже тех, кто специально писал о трактате «Что такое искусство?». Во всяком случае — занимала совершенно несравнимо с тем громадным, острым и почти скандальным интересом, который и при жизни Толстого, и какое-то время еще и после его смерти вызывало все то, что, собственно, и составляет основное содержание этого трактата, его главный пафос — тотальный историко-культурный нигилизм Толстого, его радикальное отвержение чуть ли не всего искусства нового времени как искусства, извратившего свое призвание, паразитирующего на искусственных потребностях господствующих нетрудовых классов, его решительный отказ в эстетической состоятельности всему мировому декадансу и его уничтожающие приговоры творчеству самых знаменитых его представителей. Именно это всеобъемлющее эстетическое, нравственное и социальное обличение современной художественной культуры более всего, естественно, занимало и будоражило пишущую и читающую публику — особенно когда обличительная дерзость Толстого доходила уже до низвержения не только, скажем, Бодлера, Малларме или Метерлинка, но и самого Шекспира, а еще ранее даже и Софокла с Эврипидом, и Данте с Тассо; не только Вагнера, но даже и позднего Бетховена, и Брамса, и Листа. Удивительно ли, что на этом фоне общие исходные определения и прочие абстрактные формулы, относящиеся к пониманию Толстым сущностной природы художественного творчества, равно как и его полемические разборы эстетических умозрений Гегеля или Канта, Баумгартена или Шопенгауэра, столь же лишённые непосредственной, острой, обдирающей злободневности, неизменно отходили куда-то на дальний план, оставались как бы в тени? Тем более, что полемика Толстого с Гегелем или Кантом отнюдь не впечатляла сколько-нибудь убедительным уровнем философской компетентности, а исходные толстовские определения сущности искусства ничем таким слишком уж необычным, теоретически неожиданным тоже вроде бы не выделялись. Так что присматриваться еще и к каким-то их трансформациям и переходам друг в друга на протяжении всего лишь трех-четырёх лет жизни Толстого вообще, похоже, никому не приходило в голову. В яростном гуле той битвы, которую вел Толстой чуть ли не со всей художественной культурой нового времени, они, скорее всего, были просто незаметны.

Любопытно, однако, что не привлекли к себе какого-либо особого внимания толстовские теоретические формулы искусства и в дни недавнего 175-летнего юбилея Толстого — как, впрочем, даже и сама его обличительная отповедь новому искусству. Это тоже, конечно, можно как-то объяснить, учитывая не только сложившуюся традицию трактовки эстетики Толстого как достаточно любительской, но и тот очевидный факт, что времена, когда беспощадные приговоры Толстого своим современникам были понастоящему злободневны, давно ушли уже в прошлое. Явная несправедливость и ригористическая прямолинейность многих из них (не говоря уж об оценках Шекспира или Бетховена) сегодня мало кого уже задевают. Поэтому трудно оспорить, например, такого знатока русской культуры, одного из виднейших современных культурологов, известного финского ученого Георга Хенрика фон Вригта, когда он пишет, что «толстовская философия искусства во многих отношениях устарела», а «рвение, с каким он подверга-

ет резкой критике все искусство, включая свое собственное, не отвечающее известным моральным требованиям, приводит его к абсурдным и парадоксальным утверждениям»².

Но вот что при этом интересно. Г.Х. фон Вригт отнюдь не спешит тем не менее согласиться с мнением, что нужно тем самым и вообще признать «несущественным говорить о Толстом в связи с современной эстетикой». Напротив, — даже и отвергая все те устарелости и абсурды толстовского учения об искусстве, которые он у Толстого находит, он берет на себя смелость заявить: «Но вместе с тем, я думаю, учение Толстого об искусстве, несмотря на его очевидную слабость, может дать современным эстетическим дебатам новые ценные идеи. Поэтому не следует отказываться с пренебрежением от этого учения, как это часто происходит, либо молча проходить мимо, как это предпочитают делать слишком многие теоретики искусства»³.

Охотно присоединяюсь к Г.Х. фон Вригту и в этом его тезисе. Особенно сегодня и у нас, когда вслед за западными вождями постмодернизма и наша молодая критика азартно принялась за тотальное лихое ниспровержение опорных классических представлений о природе и смысле искусства. В этой ситуации, полагаю, как раз особенно полезно снова и снова — и как можно внимательнее — к ним присмотреться.

В том числе — и к толстовским формулам искусства, как бы ни были они, возможно, несовершенны и как ни далеко, согласимся и с этим, эстетическое мышление Толстого от строгой понятийной логики действительно профессионального эстетического дискурса. Все-таки Толстой это Толстой, а не ординарный любитель поразмышлять на досуге о высоких материях, и его громадный духовный потенциал и мощная интуиция гениального художника никак не могли, надо думать, не проявить себя и в его представлениях о том, что такое искусство.

Попробуем же — вдогонку недавнему юбилею нашего великого соотечественника и навстречу грядущему девяностопятилетию со дня его смерти — хотя бы отчасти восполнить этот пробел. Попробуем более обстоятельно сопоставить и проанализировать те две цитированные выше и столь несходно звучащие формулы искусства, которые дал Толстой с разрывом всего в три с половиной года. Вглядимся повнимательнее как в их реальное содержание, так и в границы их совпадений и различий. А для этого — сначала в первое, более раннее толстовское определение, данное им в Предисловии к сочинениям Мопассана в 1894 г. Читатель, надеюсь, простит мне, если я воспользуюсь при этом и некоторыми давними своими соображениями, высказанными когда-то, еще в 60-е годы, в ряде старых моих работ. Ведь вряд ли кто из моих молодых современников вообще с ними сегодня знаком, а из старых — сегодня о них помнит...

2. Святые, разбойники, цари, лакеи...

Прежде всего — насколько она верна и точна, эта ранняя формула Толстого, утверждающая, что *«что бы ни изображал художник: святых,*

² Георг Хенрик фон Вригт. Три мыслителя. СПб. 2000, стр. 129.

³ Там же, стр. 129-130.

разбойников, царей, лакеев, — мы ищем и видим только душу самого художника»?

Если строго, то, конечно же, — не безусловно. Она слишком полемична, слишком очевидно, избыточно заострена. Конечно же, мы ищем и видим в художественном произведении⁴ не одну только душу художника. Нам важны и его святые, разбойники, цари, лакеи — тот вымышленно-реальный мир, который им создан и предложен нашему воображению и вниманию.

Мало того, — направленность нашего внимания именно на этот мир в его собственном событийно-образном содержании, как бы отдельном и независимом от художника, — эта направленность нашего внимания при встрече с художественным текстом всегда, в сущности, первична. Это и не может быть иначе, поскольку все стержневые особенности нашего восприятия искусства проистекают из того исходного его парадокса, который (в хорошей формулировке Георга Лукача) состоит в том, что **«мы относимся к художественному произведению как к действительности, хотя точно знаем, что это не действительность, а только особая форма отображения действительности»**⁵. Недаром когда изображенная художником действительность, какой бы условной и фантастичной она ни была и о которой мы тем более совершенно точно знаем, что это не действительность, а лишь некое созданное автором подобие ее, перестает тем не менее интересоваться и захватывать нас именно как воображаемая **живая** действительность, можно считать, что наше общение с текстом, выдающим себя за роман или повесть, спектакль или кинофильм, не состоялось. Как и напротив — чем сильнее рассказываемая нам история захватывает нас именно как «жизнь», в своей собственной, как бы независимой от художника жизненной содержательности, чем безогляднее мы верим художнику и отдаемся его вымыслу, тем значительнее для нас встреча с созданным художником миром именно как встреча с искусством. Это — изначальное, опорное условие нашего подхода к искусству, неотменимый содержательный канал его восприятия, вне которого процесс встречи с искусством никогда не может стать для нас и тем процессом встречи с **душой художника**, о котором говорит Толстой. В конце концов, и душа самого автора «Анны Карениной» только потому ведь, в сущности, так нам и интересна, так мощно и притягивает нас к себе, что нам бесконечно интересна и притягательна созданная этой душой душа Анны, ее личность, личность Левина и Кити, Каренина и Вронского, сцепление их судеб, огромная и сложная жизнь, в них запечатленная. Это вещи не только друг другу не противостоящие, но и существующие исключительно одна через другую, поскольку, собственно, это и вообще ведь всего лишь одна и та же «вещь», просто увиденная и воспринятая нами с разных точек зрения, в разных ракурсах, — тот удивительный, двоякого излучения «предмет», который мы называем романом, повестью или кинофильмом и в котором то, что под одним углом зрения предстает перед нами как

⁴ В пределах корректности по отношению к толстовскому контексту речь может идти, понятно, только (или, во всяком случае, главным образом) о сюжетно-повествовательных формах искусства — литературе, кино, театре.

⁵ Г. Лукач. К проблеме объективности художественной формы. «Литературный критик», 1935, № 9, стр. 11.

некая история из жизни неких святых, разбойников или царей, — под другим и есть не что иное, как запечатленный в этой истории способ видения, чувствования, понимания, переживания жизни художником. То есть, другими словами, — воплощенная, опредмеченная в этих образах душа художника. Все это так, и все это достаточно хорошо известно.

Но делая эти вполне оправданные уточнения к избыточно категоричной формуле Толстого, нелепо было бы думать, будто Толстой и сам всего этого не понимает. Неустанное внимание Толстого к объективно-содержательной стороне искусства, к заключенной в нем жизненной истине слишком хорошо известно, чтобы нужно было об этом специально напоминать. Недаром и в цитируемом тексте, формулируя тот «основной вопрос», которым мы встречаем произведение всякого нового автора — *Ну-ка, что ты за человек и чем отличаешься от всех людей, которых я знаю?* — Толстой прежде всего имеет в виду не что-либо еще, а — *что нового можешь ты сказать нам о том, как надо смотреть на нашу жизнь?..* Другими словами, его формула восприятия искусства как искания души художника, столь избыточно категоричная как будто бы в своей акцентированной направленности лишь к субъективно-личностной стороне его содержания, на самом деле вовсе не категорична — напротив, она, как видим, прямо подразумевает, что искать в произведении «душу художника», пытаться уловить ее нравственный стержень, ее оригинальность, ее духовно-содержательную для нас притягательность и ценность — это значит увидеть, понять и почувствовать прежде всего те новые грани жизненной истины, которые открылись художнику, его «душе». А как они открываются читателю, если прежде всего не через самую образную материю сюжета и характеров рассказанной ему истории о святых, царях или лакеях? Никакого другого, более адекватного для этого средства у искусства, как известно, не имеется.

Но если это так, то чем же объяснить, что, вполне отдавая себе, стало быть, отчет во всей неотделимости «души художника» от созданных ею «святых, лакеев и царей», свою формулу восприятия искусства Толстой строит тем не менее не на одновременной и равноправной фиксации *обоих* этих его аспектов, не отделимых друг от друга, а лишь на *одном* из них — на искании *души художника*? Понятно, что тем самым он хочет именно *выделить* этот момент — сосредоточить наше внимание именно на *этой* стороне акта восприятия художественного произведения, обращенной к личностному миру его создателя. Но что, собственно, хочет таким выделением Толстой нам сказать?

Я думаю, что по крайней мере два внутренних смысла этого акцентирования совершенно здесь очевидны.

Во-первых, не столько даже известное противопоставление, сколько уже само *разведение* Толстым двух этих направленностей нашего внимания в искусство, само их *отделение* их друг от друга означает, несомненно, что с точки зрения Толстого «душа художника» представляет для Толстого, по крайней мере, такой же очевидный, *самостоятельно* фиксируемый и воспринимаемый нами в своем собственном, как бы «отдельном» содержании «предмет» нашего внимания в искусстве, как и изображаемые художником «святые, разбойники, цари и лакеи».

Прав ли он в этом?

Я думаю, — безусловно. По причине все той же парадоксально двойственной природы нашего восприятия искусства, которую хорошо сформулировал когда-то Георг Лукач. Ибо если верно, что мы относимся к образному миру художественного произведения как к действительности, хотя точно знаем, что это не действительность, то столь же верна будет и обратная акцентировка: хотя в процессе восприятия художественного произведения мы осваиваем его как реальную действительность, однако *в то же самое время мы всегда очень хорошо и точно знаем*, что это, вот именно, все-таки не действительность, а лишь иллюзия действительности, созданная художником и воплотившая в себе его способ видеть, понимать, ценить, чувствовать действительность. Ведь мы действительно знаем это — и знаем всегда, в любой момент нашего общения с искусством, ибо всегда, даже в моменты самой сильной захваченности историей, которую нам рассказывают или показывают, мы некоей особой, подсознательной памятью отчетливо об этом «помним». И тем даже отчетливее, чем сильнее такая захваченность. Потому что «помним» мы об этом тем особым чувством, возможность испытывать которое как раз и коренится именно в нашей парадоксальной способности видеть художественное произведение *одновременно* и как воображаемую реальную действительность, и как создание художника. Это то всем нам знакомое чувство самого живого и непосредственного эстетического восхищения — текстом ли Чехова, спектаклем ли Стреллера, кинофантазиями ли Феллини, — которое, вот именно, тем сильнее нас и захлестывает, чем безогляднее, казалось бы, захвачены мы жизнью, происходящей на экране, на сцене или в нашем воображении, продуцируемом читаемым текстом. Это то чувство, которое заставляет нас потрясенно ахать и охать, призывать в свидетели нашего восторга все силы земли и неба и холодеть от радостного озноба, когда мы видим вдруг редкостно точный, талантливо найденный жест актера, его великолепную игру, когда нас поражает неожиданная новизна, свежесть показа художником хорошо знакомых нам как будто бы жизненных явлений, психологическая глубина, неожиданная поразительная убедительность увиденной нами на экране или в воображении, рожденном чтением, жизненной сцены — сцены, которая по своему жизненному содержанию, по смыслу событий, происходящих в ней, может быть как раз предельно трагичной, ужасной, своим собственным жизненным содержанием не дающей ни малейшего повода радоваться и замирать от восторга. А мы — замираем, и живое присутствие этого восторженного чувства в самый, казалось бы, не подходящий для этого по жизненной своей суги момент как раз и свидетельствует о том, что *мы ни на минуту не забываем, что перед нами создание художника и что наше внимание всегда держит в поле своего зрения его «душу»*...⁶

⁶ Точно так же обстоит дело и с обратным эстетическим чувством — когда нас коробит, например, от какой-то сцены из-за ее фальши и когда, следовательно, мы тоже на самом непосредственном уровне фиксируем «присутствие» в этой сцене художника, на этот раз неудачное. Отметим кстати, что о нашем постоянном непосредственном улавливании души художника красноречиво свидетельствуют и те моменты, когда, например, мы явственно

Но все это, стало быть, именно и означает, что хотя «душа художника» и его «святые, цари и разбойники» — это всего лишь два ракурса восприятия *одной и той же* реальности, однако каждый из них действительно обладает для нас своей особой, самостоятельной, самозначимой содержательностью. Причем точно так же, как в отношении «царей и разбойников» речь идет вовсе не только о какой-то итоговой рефлексии по поводу жизненного содержания их истории, а прежде всего *о самом процессе* ее восприятия, о его непосредственном наполнении и обращенности, о живой захваченности этим процессом, — точно так же дело обстоит и с «душой художника». Это тоже совсем не просто и не только формирование некоего *итогового* представления о ней на основе прочитанного текста или увиденного фильма. Это тоже совершенно непосредственный, живой процесс постоянной, непрерывной, каждомоментной обращенности нашего внимания *и к этому «объекту» тоже* (одновременно с его обращенностью к «царям») — нашего непрерывного его «искания» и «улавливания». Так что в этом первом, исходном своем смысле формула Толстого, утверждающая, что в искусстве мы «ищем душу художника», и тем как бы выделяющая эту «душу» в самостоятельный, самозначимый «объект» нашего восприятия, действительно может быть признана, стало быть, вполне адекватной природе нашего общения с искусством, его реальным особенностям.

Однако в формуле Толстого есть и второй акцент, выраженный тем словом **«только»**, которое придает всей фразе особое, дополнительное усиление: *«Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев,— мы ищем и видим только душу самого художника»*. То, что этот усиливающий акцент не может означать игнорирования Толстым «святых, разбойников, царей и лакеев», представляющих перед нами в качестве тоже вполне реального и самостоятельного объекта нашего «искания» в искусстве, — это понятно, и об этом мы уже говорили. Но если это так, то, значит, смысл этого особого, дополнительного «только» может быть лишь один: что именно (и только!) в «искании души художника» Толстой видит тот ***способ восприятия искусства, который наиболее адекватен сути искусства, его специфической природе, его «цементу»***. Способ, который именно поэтому и недоступен (или мало доступен) людям, всецело сосредоточенным лишь на самой по себе сюжетно-образной истории, им рассказываемой, — ***«людям, мало чутким к искусству»***.

Почему же именно этот способ восприятия искусства (искание души художника) представляется Толстому наиболее адекватным природе искусства, наиболее «чутким» к нему? То есть — наиболее соположенным его действительной специфике как особой формы духовной деятельности человеческого? И в чем, собственно, видит он в таком случае эту специфику?

В тексте Предисловия, где главная задача Толстого — высказать свой взгляд на творчество Мопассана, мы не найдем ответов на эти вопросы. Формулы, выражающие его понимание искусства, носят здесь по отноше-

ощуем свое внутреннее несогласие с тем, в каком эмоционально-оценочном освещении даны нам в произведении та или иная сцена, поступок героя, черта его характера и т.п., хотя бы сами по себе эти образы и детали и не производили впечатления фальши, а были, может быть, как раз очень жизненны, правдивы как факт.

нию к этой главной его задаче лишь вспомогательный характер и потому важны ему, понятно, лишь своим общим принципиальным смыслом, а не развернутостью и обоснованностью.

Но посмотрим — не поможет ли нам найти эти ответы как раз вторая, более поздняя его формула искусства — из написанного Толстым через пять лет трактата? Ведь она должна была, по его замыслу, зафиксировать именно ту специфическую суть искусства, которая присуща ему как совершенно особой, отличной от других форме человеческой деятельности. То есть — его главную суть.

3. Ответ Толстого и возражения Г.Х. фон Вригта

В самом деле, — в результате обращения к какой проблеме и в русле какой логики ее разрешения появляется, вспомним, в трактате Толстого эта новая его формула искусства как «деятельности человеческой», посредством которой художник «передает другим испытываемые им чувства»?

Толстой дает ее, напоминая, непосредственно перед теми последними пятнадцатью главами трактата (всего их в трактате — двадцать), где сосредоточено основное его содержание — страстное обличение той эстетической, нравственной и социальной несостоятельности искусства «господствующих классов», в подробной и всесторонней демонстрации которой Толстой и видел на этот раз главную свою задачу. Задача же предыдущих пяти глав заключалась в том, чтобы подвести, так сказать, надежную теоретическую базу под эти будущие атаки на искусство «богатых». А именно — показать читателю, как надо правильно понимать искусство, его назначение в жизни людей. И каким должны быть в соответствии с таким пониманием истинные критерии его оценки.

Так выстраивается логическая цепочка: Толстой начинает с напоминания о том (в первой главке трактата), какое громадное место в жизни человечества занимает все, что связано с производством и потреблением искусства, какой колоссальный труд миллионов людей втянут в этот вселенский процесс и насколько важно поэтому понять, что такое искусство и как нужно его судить. Затем, в следующих трех главах, он выясняет в этой связи свои отношения с традиционной эстетикой, предлагавшей свои ответы на вопрос о сущности искусства (ополчаясь главным образом на категорию красоты, которая представляется Толстому слишком неопределенной). И, перебрав целый ряд традиционных определений искусства, приходит к выводу, что они совершенно неудовлетворительны.

Почему же они неудовлетворительны?

А вот именно потому, оказывается, что не отвечают главному условию, которому должно удовлетворять определение искусства: соответствовать именно *собственной* его сути как некоего совершенно особенного, отличного от других вида человеческой деятельности.

Насколько верен такой приговор Гегелю, Канту, Шопенгауэру и другим предшественникам Толстого по теме — это другой вопрос. Но логика его именно такова, и естественно, что, отринув их ответы, он должен изложить *свое* понимание проблемы. Что он и делает в пятой главе, предложив при-

нять за отправную точку тот простой и всем очевидный факт, что при любых значениях, которыми может обладать искусство, «всякое произведение искусства делает то, что воспринимающий вступает в известного рода общение с производившим или производящим искусство». То есть, другими словами, он предлагает исходить прежде всего из того, что искусство представляет собою «одно из средств общения людей между собой». Именно по отношению к этой очевидности Толстой и считает наиболее правильным поставить тот контрольный вопрос, без ответа на который никакое определение искусства не будет истинным: в чем же специфическая особенность искусства как средства общения, в чем отличие его от всех других средств межчеловеческого общения?

Формула, которую предлагает в своем трактате Толстой: *искусство есть передача чувств*, — и есть его ответ именно на этот вопрос. И совершенно неопровержимым и верным ответ этот представляется ему именно потому, что передавать друг другу свои мысли, рассуждает Толстой, люди способны и посредством простого слова, а вот чувства свои они могут передать друг другу (то есть заставить другого реально испытать такое же чувство, какое испытал ты, «заразить» им) лишь через искусство. Искусство — это деятельность, основанная на «способности людей заражаться чувствами других людей» (85).

Такова аргументация Толстого, мобилизуемая им в защиту своего понимания специфики искусства.

Как же должна быть она оценена и как она соотносится с первой толстовской формулой искусства из Предисловия к сочинениям Мопассана, которая тоже, как помним, была нацелена именно на то, чтобы указать на специфическую суть искусства — на его главную суть?

Чтобы попытаться ответить на этот непростой вопрос, попробуем снова оттолкнуться от Г.Х. фон Вригга. Напомню, что в прямой связи со своим тезисом о том, что «учение Толстого об искусстве, несмотря на его очевидную слабость, может дать современным эстетическим дебатам новые ценные идеи», он как раз и обращается к предложению Толстого рассматривать искусство как одно из условий жизни, как средство общения, которое может быть сравнено в этом отношении с языком. «Это замечательная идея, — пишет Вригг. — Она может стать исходным пунктом для многих наблюдений — в том числе и таких, которые не устраивали самого Толстого».

Признавая свежей и удачной эту очень простую отправную мысль Толстого (и в этом, я думаю, он прав), Вригг категорически перестает, однако, соглашаться с ним, когда тот, развивая эту идею и уясняя, в чем же специфика искусства как средства общения, предлагает рассматривать «искусство как средство для выражения чувств, подобно тому как язык — средство для выражения мысли». «По поводу такого ответа, — пишет Вригг, — хочется сказать, что он настолько же плох, насколько хороша сама идея сравнения языка и искусства. Во-первых, язык применяется не только для выражения мыслей, но и, кроме всего прочего, для выражения и передачи чувств, не называясь при этом, однако, искусством. Стоит вспомнить, например, о политической пропаганде. Во-вторых, искусство не исключительное и вряд ли преимущественное средство передачи чувств, а скорее подобно органу

мыслительной деятельности и просвещения. И в-третьих, против понятия “чувство” можно выдвинуть точно такие же возражения, какие Толстой выдвигает против понятия “красота”, а именно: что оно слишком неопределенно, чтобы служить основанием взвешенной эстетической оценки⁷.

Что ж, нельзя не признать, что сами по себе все эти соображения вполне как будто бы резонны. Действительно: и публицистика способна передать чувство, и искусство не одни только чувства передает, и сам термин «чувство» в употреблении Толстого слишком неопределенен.

И тем не менее — можно ли все-таки принять все эти очевидности в качестве действительно адекватных и достаточно убедительных возражений Толстому? Адекватных и убедительных настолько, чтобы согласиться с общей оценкой «ответа» Толстого как ответа безусловно «плохого», перечеркнуть вслед за Вриггом его формулу искусства в целом и присоединиться к итоговому вердикту финского культуролога, гласящему, что «особенно в своем учении о произведении искусства как выражении чувств Толстой придерживался таких взглядов, которые показательно несвоевременны и малопродуктивны»? Не поспешил ли здесь все-таки Вригг и сам встать на ту же сомнительную дорожку, которую проторили порицаемые им теоретики искусства, спешившие с пренебрежением отвернуться от эстетики Толстого? Все-таки, повторим, Толстой не такой уж заурядный автор даже и в умозрительном жанре, и если его мысли и в самом деле выглядят нередко слишком прямолинейными, упрощенными, неточными, «ненаучными» и т.п., это вовсе еще не значит, что они и в действительности всегда именно таковы, а не всего лишь *кажутся* такими из-за очевидного дилетантизма Толстого в обращении с традиционным понятийным аппаратом и требованиями научно-логического эстетического умозрения. В публицистике Толстого, особенно эстетической, никогда нельзя ставить поэтому знак равенства между тем, как, какими терминами, привычно воспринимаемыми нами именно в качестве обычных понятийных терминов, выражена мысль Толстого, и самой его мыслью, ее содержанием. Не забудем, что Толстой и вообще ведь был прежде всего художником слова, а не пользователем того или иного профессионального научного языка, и его определения и термины куда чаще носят поэтому характер обобщенно-образного схватывания сути обозначаемого явления, чем строго понятийной его фиксации. Воспринимать их и относиться к ним по правилам понятийного языка и судить о действительном содержании выраженной через них мысли Толстого на основе именно такой их рецепции — значит подвергать себя риску очень серьезных ошибок в ее прочтении. Поэтому, чтобы уловить реальное ее содержание, нужно постараться прежде всего действительно эту мысль понять — понять, не цепляясь за буквальные формы ее выражения, а проникая в ее суть через весь контекст ее смыслового поля и через всю совокупность оттенков и значений, проявившихся в разного рода вариантах ее словесного закрепления.

Все это полностью относится, естественно, и к толстовским формулам искусства — касается ли это той, где центральным термином становится «душа художника», или той, где речь идет о «чувствах».

⁷ Указ. соч., стр. 133

4. «То же самое чувство»...

В самом деле, — ведь что, собственно, имеет в виду Толстой, когда говорит, что искусство передает чувства? В чем видит он ту уникальную *ценность* этой передачи, на которой и основывает особое назначение искусства как средства межчеловеческого общения? Только ли на самом по себе том факте, что искусство передает именно чувства, в отличие, например, от мыслей?

Но тогда ему должно было бы быть совершенно безразлично, какие именно это чувства — хорошие, дурные ли и т.п. А это не так. Верша свой суд над искусством, Толстой, как мы знаем, все время напоминает, что только то искусство — настоящее, «хорошее» искусство, которое передает именно «хорошие», «добрые» чувства, способные объединять всех людей.

Но тогда, может быть, только эту способность искусства передавать хорошие, добрые чувства Толстой и имеет в виду, когда говорит о высоком и уникальном назначении искусства как средства передачи чувств? Так, кстати, обычно и понимают его концепцию искусства — тем более, что Толстой-моралист дает для этого сколько угодно поводов. И тем более, что соответствие искусства этому содержательному критерию действительно было, как уже не раз говорилось, всегда абсолютно необходимым для Толстого требованием к нему. Это, если можно так выразиться, *безусловное* условие всегда подразумевается Толстым, когда он в позитивном, а не в формальном плане говорит о том, что искусство есть «средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах» (87). В каких чувствах? Разумеется, в хороших, добрых.

Но если попытаться понять толстовскую мысль об искусстве как передаче чувств, учитывая *всю полноту* ее звучаний, формулировочных вариантов и уточнений, то трудно не заметить, с какой настойчивостью Толстой при всяком удобном случае подчеркивает два очень важных для понимания его мысли момента. Во-первых, тот, что «передача» чувств от художника к воспринимающему происходит посредством «*заражения*» этими чувствами, а во-вторых — что такое «заражение», подтверждающее, что перед нами подлинное художественное произведение, возможно только при условии, если чувство, передаваемое художником, — это чувство непременно *самостоятельно пережитое*, — *свое, особенное, неповторимо-личное чувство художника*.

И эти моменты в контексте всех размышлений Толстого о признаках истинного искусства — моменты отнюдь не формальные, не второстепенные, всего лишь желательно-дополнительные для более полного представления об искусстве и его природе. Это моменты столь же необходимые, как и положительная моральная семантика чувства, столь же содержательно значимые. Иначе ведь Толстому должно было бы быть совершенно безразлично, насколько *ново, лично-особенно* и насколько поэтому *заразительно* то «доброе» чувство, которое передает художник, — лишь бы было оно действительно добрым, полезным, нужным, пусть даже и перенятым, заимствованным у кого-то другого.

Но нет, — Толстой настаивает, что в этом случае настоящего художественного произведения не будет: «художественное впечатление, то есть заражение, получается только тогда, *когда автор сам по-своему испытал какое-*

либо чувство и передает его, а не тогда, когда он передает чужое, переданное ему чувство. Этого рода поэзия от поэзии не может заражать людей, а только дает подобие произведения искусства, и то только для людей с извращенным эстетическим вкусом» (141). Он не устает повторять, что художник производит художественное произведение, выражая в нем чувства, пережитые им *«своим особенным способом»* (153); что *«искусство есть передача другим людям особенного, испытанного художником чувства»* (155); что *«истинное произведение искусства есть выражение задушевных чувств художника, совершенно исключительное, ни на что другое не похожее»* (159); что *«если произведение не передает индивидуальной особенности чувства художника и потому не особенно <...> оно не есть произведение искусства»* (182); что в искусстве *«я познаю через непосредственное заражение то же чувство, которое испытывал художник и которого я без него не узнал бы»*⁸.

Итак, зафиксируем, что формула искусства, которую употребляет Толстой в трактате для обозначения специфической природы искусства, сообщаящей ему уникальное значение как особому средству общения между людьми и которая в кратком виде звучит просто как «передача чувств», — эта формула на самом деле предполагает всегда, что речь идет не просто о каких-то чувствах, но именно о «задушевных», глубоко *индивидуальных, личностных* и именно потому и *заразительных* чувствах художника. Другими словами, момент индивидуальной неповторимости передаваемых искусством чувств художника — это, как доказывают многочисленные уточнения и разъяснения Толстого, рассыпанные по всему трактату, — момент в толстовской концепции искусства действительно принципиальный, неразрывно связанный с пониманием Толстым именно самой сущности искусства.

Почему же Толстой так настаивает именно на личностной неповторимости, особенности, новизне тех чувств художника, которыми заражает нас подлинное искусство, как на совершенно необходимом его компоненте? Понятно, что такой акцентировки наверняка не было бы, если бы он не считал, что компонент этот более всего как раз и обеспечивает искусству его специфическую, совершенно уникальную и притом сущностно важную ценность. Но какую же?

И вот здесь мы сталкиваемся с удивительной вещью. Ибо все, что постоянно подчеркивает Толстой, говоря о сути искусства, весь реальный смысл его многочисленных и разнообразных формулировок на этот счет, — все это, на мой взгляд, с несомненностью свидетельствует, что речь идет у него все время именно о том совершенно особом характере процесса восприятия нами жизни, изображенной художником, который очень сильно и непосредственно ощущается нами в момент нашей непосредственной встречи с подлинным произведением искусства, но который почти как раз нами не осознается. Мало того — почти не отрефлексирован даже и в специальной теоретической литературе по искусству. Тем более — во времена Толстого.

Я имею в виду то совершенно уникальное свойство искусства, наиболее удачную, на мой взгляд, формулу которого — как бы в поддержку Толсто-

⁸ Л.Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Т. 30, ГИХЛ, 1951, стр. 252. В дальнейшем в сносках это юбилейное издание обозначается как Юб.

му и в прямое развитие его формул — дал когда-то полузабытый ныне английский эстетик Кристофер Кодуэлл.

«Читатель, — заметил он, — ставит себя в процессе чтения поэмы на место поэта и смотрит его глазами. Он *является* поэтом. В поэме Шелли — мы Шелли. Когда мы читаем Шекспира, мы смотрим с его мудрой проникновенной точки зрения»⁹.

Чем хороша, на мой взгляд, эта формула и почему она нравится мне больше многих других определений сущности искусства?

Да именно потому, что в ней гораздо удачнее, чем в любых других, как раз и схвачена та уникальная особенность происходящего в нас во время восприятия искусства психологического процесса, которой и сегодня-то не слишком везет в теоретических книгах по искусству, а уж во времена Толстого — тем более.

В самом деле, — о том, что жизнь, которую мы видим на экране кино или на экране нашего воображения при чтении романа, — это жизнь, какой ее увидел, пережил, понял и показал нам художник; что, выступая перед нами на правах реальной жизни, она представляет собою в то же время не что иное, как вещное, предметное закрепление, образную материализацию того способа видения, чувствования, осмысления жизни, которым она только и могла быть постигнута, — обо всем этом мы найдем во всякой второй книге и статье по теории искусства и психологии его восприятия. Да и мы об этом тоже уже говорили.

Но вот то, что «реальность», показываемая нам искусством и излучающая из себя запечатленный в ней способ видения, чувствования, понимания жизни художником, позволяет нам не только почувствовать этот способ, понять его, уловить его своеобразие и т.д., но еще и принять его в себя, ощутить в самих себе возможность и способность смотреть на мир с той же мудрой, проникновенной точки зрения, что и Шекспир, то есть самим становиться в какой-то мере Шекспирами и Шелли, быть ими в процессе чтения их книг, — вот на этот факт обращают внимание и осознают всю его значимость куда реже. Во всяком случае, я не помню, чтобы мне попадались какие-то тексты, в которых эта мысль была бы сколько-нибудь обстоятельно развита и рассмотрена во всех значимых ее ракурсах. Да хотя бы даже просто более или менее отчетливо высказана. И вот так, навскидку, могу припомнить разве лишь несколько замечательных фраз из «Застольного слова о Пушкине» нашего великого драматурга Островского. Цитирую:

«Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть. Кроме наслаждения, кроме форм для выражения мыслей и чувств поэт дает и самые формулы мыслей и чувств. <...> Отчего с таким нетерпением ждется каждое новое произведение от великого поэта? Оттого, что всякому хочется возвышенно *мыслить и чувствовать вместе с ним* <...> Вот отчего и любовь и поклонение великим поэтам; вот отчего великая скорбь при их утрате; образуется пустота, умственное сиротство; *некем думать, некем чувствовать*»¹⁰.

⁹ Кристофер Кодуэлл. Иллюзия и реальность. — См. в книге: «Современная книга по эстетике. Антология». М., 1957, стр. 221 (курсив автора).

¹⁰ См. А.Н. Островский. Полное собрание сочинений, т. XIII. М., 1952, стр. 164-165.

Можно, конечно, и к этим формулам, предложенным нам не профессиональным ученым-теоретиком, а литератором-художником, снисходительно отнестись как к всего лишь неким красивым метафорам, чистой образности, столь характерной именно для художников. Но если вдуматься, нельзя не поразиться той трезвой и, в сущности, совершенно *научной* точности, которая в этих метафорах содержится и которая никаким иным способом, кроме как художественно-метафорическим, рождаемым лишь гениальной художнической интуицией, как раз и не может быть достигнута. Потому что за этими метафорами — удивительно точно и рельефно схватываемая и передаваемая именно ими совершенно реальная живая ткань той упругой психологической материи, которая рождается в нас, когда мы воспринимаем образный мир искусства — созданную художником «вторую реальность».

Ведь все дело в том, что эта «реальность», с которой мы встречаемся в искусстве, не просто *излучает* из себя свойственный художнику и материализованный в ее образах способ видения, чувствования, понимания им жизни. Все дело в том, что она еще и *диктует* нам этот способ, *вызывает его и в нас самих*. Вызывает именно тем, что требует, нуждается именно в нем, именно в этом, особенном строе душевной деятельности для того, чтобы мы могли постигнуть эту реальность, освоить во всей полноте и содержательности все то, что она являет нам. Наша способность видеть показанную нам жизнь поднимается в эти минуты до уровня способности видеть в ней именно то, что мы видим перед собой на экране искусства, и именно так, как мы это видим. Она отличается в эти минуты именно той широтой кругозора, тем богатством одновременного охвата явлений, той направленностью и избирательностью взгляда, той его прикованностью к определенным оттенкам и характеристикам жизни, тем ракурсом их восприятия, тем строем движения и образования впечатлений и ассоциаций, тем способом их комбинирования, сцепления, сопоставления и т. д. и т. п., которых необходимо требует для своего постижения представленный нам мир и которые, понятно, как раз и были необходимы художнику для того, чтобы увидеть, представить, вообразить все то, что теперь видим мы. Это те отличительные особенности видения мира художником, которые запечатлелись в показанной им нам картине жизни и были вызваны ею в нашей душе как продиктованное ею *необходимое условие ее же и восприятия нами*. Как вошедшее в нас реальное видение жизни этим художником, словно мы обрели дар смотреть на жизнь, видеть в ней то и так, как если бы и вправду у нас были его глаза.

Но ведь то же самое происходит и вообще со всей целостной сферой тех наших реакций, наших познавательных, мыслительных, интуитивных и прочих способностей, которые включаются в процесс освоения предстоящей перед нами в произведении искусства «реальности». Это именно целостный, неразложимый в своей многоуровневости и, если можно так выразиться, в сплошной своей пропитанности неизбежным личностно-эмоциональным элементом психологический процесс — процесс, естественно включающий в себя, разумеется, и все то, что можно назвать уже и в прямом, собственном смысле сферой чувств. Они — как и все прочее, как и передаваемое нам через модель созданного художником мира понимание им жизни — тоже рождаются в нас и переживаются нами именно в ходе

развертывания в нас этого нового, вошедшего в нас художнического способа видения, чувствования, осмысления жизни.

И поэтому существенно и важно отнюдь не только то, *какие* это чувства или *какие* это мысли художника о жизни.

Существенно и важно то, что и общее их содержание, и само их индивидуально-неповторимое «качество», само их живое биение, само их сцепление, последовательность, способы и процессы их возникновения, то, как они рождаются в нас, как образуются, движутся, сосуществуют, чем вызываются, какими переливами переходят друг в друга и каким богатством одновременного звучания наполняют нашу душу — все это тоже дар чувствовать именно так, как если бы мы стали вдруг духовно-психологическим «клоном» художника. Другими словами, и здесь, в этой сфере, тоже происходит именно то, что и имеет в виду Кодуэлл, когда говорит, что в «в поэме Шелли — мы Шелли» и что «читатель в процессе чтения поэмы *является* поэтом»: «Особая эмоциональная организация поэта сосредоточена в словах, а слова читаются, и психика читателя переживает ту же самую эмоциональную перестройку».

А теперь вспомним Толстого, который, как мы видели, не устает одну за другой предлагать нам те замечательные свои формулы, которые все выражают одну и ту же, в сущности, мысль: что *искусство «заражает» нас «задушевыми чувствами художника»* — совершенно *«исключительными»*, *«ни на что другое не похожими»*.

А вот и еще одна, совсем уже замечательная в этом отношении его формула из того же трактата, гласящая, что главная особенность *«чувства, произведимого искусством»*, *состоит в том, что «воспринимающий до такой степени сливается с художником, что ему кажется, что воспринимаемый им предмет сделан не кем-либо другим, а им самим, и что все то, что выражается этим предметом, есть то самое, что так давно уже ему хотелось выразить. Настоящее произведение искусства делает то, что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником...»* (180).

Или — уже из дневника 1910 г.: *«истинное значение искусства: переносится в других, хочется чувствовать через них»*¹¹.

Несомненно, это совершенно то же самое, только выраженное иными словами, о чем говорит в своем определении искусства Кодуэлл (определении, тоже, кстати, совсем не случайно весьма далеко от строгой стилистики научных дефиниций, скорее условно-метафорическом) и о чем говорит нам и совершенно замечательный образ, предложенный А.Н. Островским, — «не-кем думать, некем чувствовать».

5. «Душа художника» или «заражение чувствами»?

Но если это так, если уникальная ценность искусства заключается, по Толстому, именно в возможности «слияния с художником», в «перенесении в другого», в «уничтожении разделения» между нами и художником, то

¹¹ Юб.; т. 58, стр. 112.

не гораздо ли удачнее в таком случае более ранняя формула Толстого, объявляющая тем главным и уникальным «предметом», который мы «ищем» в искусстве и который оно и передает нам, не просто «чувство», а нечто более широкое и целостное — «душу художника»? Ведь «душа» (этот опять-таки типично толстовский образ-понятие) помимо той сферы чувств, на которой Толстой строит свое более позднее определение сути искусства, включает в себя еще и все другие важнейшие проявления нашей психики и нашего духа — «внутренней жизни». А они тоже носят всегда неповторимо-личностный характер и, следовательно, при передаче через искусство тоже оказывают на нас, как мы уже говорили, то «преображающее» нас действие, благодаря которому мы, читая Шекспира или Шелли, сами становимся как бы Шекспирами и Шелли, *являемся* ими, смотрим на мир «с их мудрой, проникновенной точки зрения», обретаем способность мыслить и чувствовать, как они. Это именно целостный, всеобъемлющий процесс, затрагивающий любой компонент «внутренней жизни человека», — процесс, «заражающий» нас всей целостностью художнического «я» — уникальностью и его ума, и его сердца, и его наблюдательности, и его способности воображения, и прочих энергий его креативности. Всей его человеческой «души» во всей ее целостной неповторимости.

Почему же в таком случае Толстой решил все-таки поменять свою первую формулу искусства из Предисловия к сочинениям Мопассана на более позднюю, из трактата 1897 года, хотя первая включает в себя как будто бы гораздо больший состав заражающего нас неповторимо-личностного содержания искусства, чем вторая, ограничивающая действие «заражения» лишь сферой «чувств»?

Попробуем разобраться теперь и в этой проблеме. И прежде всего поставим перед собой такой вопрос: а верно ли, что вторая толстовская формула искусства из трактата 1897 года, как принято считать, действительно *сужает* действие искусства лишь сферой чувств? Напомню, что в начале наших разысканий я сослался на эту традиционную точку зрения только в связи с тем, что если просто взять и сопоставить сами по себе те две толстовские формулы искусства, о которых идет речь, то действительно именно такое объяснение прежде всего и приходит на ум. По той простой причине, что различие между теми понятиями, посредством которых обозначен в этих двух формулах специфический «предмет» искусства — между понятием «души» и понятием «чувство» в том его обычном, гораздо более локальном по предметному содержательному охвату, значении, каким оно и обращено к привычному восприятию, — это различие действительно очень значительно — настолько, что термин «сужение» по отношению ко второй формуле отнюдь не кажется сколько-нибудь неправомерным. Что мы и зафиксировали, поставив перед собой вопрос, логически отсюда вытекающий: какая же логика мысли привела Толстого к этой замене одной формулы на другую, то есть какие изменения в позициях Толстого по искусству отразила эта замена?

Но в том-то и дело, что никаких изменений в позициях Толстого, вопреки вполне как будто бы оправданным предположениям, приходящим на ум при первом знакомстве с двумя его формулами искусства, на самом деле за период от Предисловия до трактата вовсе как раз не произошло. В чем мы и можем

теперь убедиться, если будем отталкиваться не просто от двух отдельно взятых, хотя бы и самых известных его формул, а, как мы с самого начала и условились, от всей совокупности относящихся к этой проблеме реалий, имеющих в текстах Толстого. Причем не только за тот период, который прошел между Предисловием и трактатом, но и за куда более длительный срок.

В самом деле, — Толстой совсем не случайно ведь говорил, что работа над трактатом «Что такое искусство?» стоила ему пятнадцати лет напряженного труда. Думать и даже пытаться писать на эту тему он действительно начал еще в 1882 г., когда впервые попробовал сформулировать свои мысли об искусстве в так называемом «Письме к Н.А. Александрову». Затем — через семь лет — вновь вернулся к этой теме и достаточно долго и увлеченно работал над статьей «Об искусстве», оставшейся, однако, незавершенной, как и «Письмо к Н.А. Александрову». В том же 1889 году он принял за еще одну статью об искусстве, затем, в 1890-1891 гг. (то есть опять же еще до Предисловия к сочинениям Мопассана), сделал еще два наброска на эту тему («Наука и искусство» и «О науке и искусстве»), тоже, как и все предыдущее, оставшиеся лишь в черновиках. А после статьи о Мопассане (1894 г.) начал набрасывать статью «О том, что называют искусством» (1896 — последний из текстов, которые действительно можно считать (как, впрочем, в какой-то мере и Предисловие к Мопассану, единственное напечатанное до трактата сочинение Толстого об искусстве) своего рода подготовительными этюдами к его главной эстетической работе.

И вот когда мы знакомимся со всем этими текстами, обнаруживается некая очень любопытная и очень неожиданная, если исходить из предположения, что смена толстовских формул искусства объясняется какими-то изменениями в самой его концепции искусства, происшедшими за время от Предисловия до трактата, закономерность. Оказывается, что не только в трактате, но и *задолго* до него, и даже *задолго до Предисловия*, где сутью искусства объявляется искание «души художника» (как и во время самого писания его) Толстой *уже постоянно пользовался формулами, определяющими искусство как средство «передачи чувств»!*.

Так, уже в одном из набросков 1889 г. (то есть за пять лет до Предисловия и за восемь — до трактата) мы обнаруживаем все основные теоретические положения будущего трактата: художественное произведение, пишет здесь Толстой, вызывает ***«те же чувства, которые испытывает при творчестве художник. Оно заразительно»***¹².

Те же формулы и через два года, в очередном наброске: искусство действует ***«возбуждением в другом того же чувства, которое испытывает передающий»***¹³.

То же самое и в отрывке «О том, что называется искусством» (1896 г. — то есть через два года после статьи о Мопассане).

Значит, когда в Предисловии Толстой выводил свою формулу истинного восприятия искусства как искания души художника, он выводил ее, употребляя одновременно и формулу искусства как заражения *чувствами* ав-

¹² Юб., т. 30, стр. 221.

¹³ Там же, стр. 238.

тора. То есть — явно не чувствуя ни малейшего противоречия в этой их одновременности.

С другой стороны, не менее любопытно и то, что если внимательно читать уже сам трактат, где именно и выставляется в качестве заглавного определение искусства как заражения чувствами, мы тоже будем постоянно сталкиваться здесь с формулами, где «предмет», передаваемый искусством, обозначается не термином «чувство», а как-то иначе — более широко и объемно. Причем, что особенно любопытно, — иной раз даже и термином *«душа»*, как и в статье о Мопассане. Да еще тут же, рядом с «чувством», как бы наравне с ним.

Например: «Сущность искусства» составляет переживание «того простого и знакомого самому простому человеку и даже ребенку чувства *заражения чувствами другого*, которое заставляет радоваться чужой радости, горевать чужому горю, *сливаться душою* с другим человеком» (179).

Или: «Если человек... прочтя, услышав, увидав произведение другого человека, испытывает *состояние души, которое соединяет его с этим человеком...* то предмет, вызвавший такое состояние, есть предмет искусства» (179).

Или: «В этом-то освобождении *личности* от своего отделения от других людей... в этом-то *слиянии личности с другими* и заключается главная привлекательная сила и свойство искусства. Испытывает человек это чувство, *заражается тем состоянием души, в котором находится автор...* то предмет, *вызывающий это состояние*, есть искусство; *нет этого заражения, нет слияния с автором...* и нет искусства» (180). И т.д.

Что же это все означает? Что означает это появление, с одной стороны, в текстах Толстого — уже до Предисловия к сочинениям Мопассана с его «исканием души художника» и одновременно с ним! — формул, определяющих искусство как «заражение чувствами»? А с другой стороны — это спокойное взаимозамещение *«заражения чувствами»* *«заражением состоянием души»*, *«слиянием личностью»*, *«слиянием душою»* (и наоборот) уже и в самом трактате? Не следует ли из этого, что для Толстого все эти термины выражают, в сущности, одно и то же? Что за ними стоит одна и та же реальность, которую он и имеет всегда в виду, к какому бы из приведенных образов-понятий он ни прибегал в каждом данном конкретном случае?

Именно это я и хочу сказать. И, думаю, это более чем очевидно, ибо никаких других объяснений столь любопытному факту найти просто невозможно. По всему смыслу многочисленных и разнообразных формулировок, разъяснений и определений, относящихся к сущности искусства и характерных как для трактата, так и для более ранних подготовительных работ к нему, по всему контексту размышлений Толстого на эту тему выходит совершенно однозначно, что все эти «заражения чувствами» и «заражения состоянием души художника», все эти «слияния душою», «слияния личностью» и «слияния во всем, что выражается предметом искусства» — что все это у Толстого просто **образно-терминологические синонимы**.

Что когда он ставит рядом, через запятую (как через знак равенства), «заражение чувствами другого» и «слияние душою с другим», — это происходит только потому, что понятия «чувства» и «души» совпадают для него здесь по объему.

Что когда в трактате он настаивает, что только передача художником своих «задушевных», лично пережитых, а не перенятых у кого-то другого чувств дает истинное произведение искусства, — это та же самая мысль, на которой настаивает он и в Предисловии, когда пишет, что «цемент», который скрепляет художественное произведение в одно целое, есть единство «самобытного нравственного отношения автора» к изображаемому предмету.

Что когда он, раскрывая образ-понятие «души художника», которую одну только мы и «ищем» в искусстве, имеет в виду обязательную необходимость у художника какого-то «взгляда на мир», того или иного «нравственного отношения» его к предмету — это то же самое, что постоянно акцентирует он и в трактате, когда говорит о «чувствах», передаваемых искусством. Они для Толстого тоже имеют всегда определенную содержательную направленность и соответственную ценностную стоимость (добрые, хорошие — или злые, ничтожные и т.п.). И потому для того, чтобы человек, выражающий в искусстве свои «чувства», создал истинное произведение искусства, нужно, чтобы он «стоял на уровне высшего для своего времени мирозерцания» (147). Ибо «оценка достоинства искусства, то есть чувств, которые оно передает, зависит от понимания людьми смысла жизни» (89), «совершается религиозным сознанием известного времени» (183). И т.п.

Короче — при всем кажущемся несовпадении таких двух ключевых терминов из Предисловия и трактата, как «душа художника» и «чувства художника», за ними всегда стоит для Толстого и понимается им одна и та же реальность. А именно — *вся совокупность того, что и составляет духовно-психологическую самобытность личности, — ее*, как и было сформулировано это самим Толстым в одной из дневниковых записей уже в 1889 г., *«внутреннее содержание»*. Искусство и есть, по Толстому, передача от одного к другому именно всей полноты того, что позволяет ответить на центральный и контрольный вопрос воспринимающего: «Ну-ка, что ты за человек?» — *«передача людьми друг другу своего внутреннего содержания»*¹⁴. Характерно, кстати, что и много позднее, уже в 1902 г., возвращаясь в своем Дневнике к размышлениям о природе искусства, о его содержании Толстой снова прибегает к этой же обобщенной формуле: *«Очень живо представил себе внутреннюю жизнь каждого отдельного человека. Как описать, что такое каждое отдельное „я“? А кажется можно. Потом подумал, что в этом собственно и состоит весь интерес, все значение искусства»*¹⁵.

Но из этого следует, что термин «чувство», господствующий в трактате, и нужно понимать, стало быть, *именно в таком, более обобщенном, чем буквальное его значение как конкретного вида душевной деятельности человека, смысле*. То есть в том, который именно и вбирает в себя всю полноту внутренней жизни личности — все то, что имеет в виду Толстой и когда раскрывает содержание своей формулы «души» в Предисловии к Мопассану, и во всех других случаях, когда по разным поводам и под разными ракурсами пытается набросать словесный «портрет» той личностной реальности, которая «передается» искусством. (Например, в наброске 1889 г.: *«Проис-*

¹⁴ Юб., т. 50, стр. 124.

¹⁵ Юб., т. 54, стр. 140.

хождение всякого не только художественного произведения, но всякого истинного произведения духовной деятельности человека можно представить себе так: человек видит, чувствует, понимает нечто совершенно для себя новое, — такое, о чем он никогда ни от кого не слышал. Это нечто новое поражает его, и он указывает на него другим людям»¹⁶.) Все это тоже представляется совершенно очевидным.

Конечно, все это все равно не отменяет вопроса, почему же все-таки Толстой предпочел в своем главном трактате именно формулу «чувств», а не «души», которая с формально-терминологической точки зрения все-таки более адекватно передает всю ту полноту внутренней жизни художника, которую и имеет в виду всегда Толстой, говоря о «заражающем» действии искусства, какими бы терминами он эту полноту ни обозначал.

Но на этот вопрос мы вряд ли когда-нибудь сумеем ответить. Предположения могут быть высказаны, понятно, самые разнообразные, но они так и останутся всего лишь недоказуемыми версиями. Вполне может быть, что главную роль сыграло здесь именно понятие «заражения» — понятие, ключевое для Толстого при обозначении самого характера передачи внутреннего содержания личности через искусство. Оно, как мы видели, для Толстого действительно очень важно, и потому термин, им для обозначения этого понятия найденный и в чем-то действительно очень удачный, передающий именно эмоциональную непосредственность «слияния» художника и воспринимającego, мог быть ему особенно дорог и привести в конце концов к выбору именно «чувства», а не «души». Ведь он, согласимся, действительно как-то не слишком прилепляется к термину «душа». «Заражение душою»?..

А может быть, Толстому хотелось отчетливее, в самом определении искусства, прочертить его специфику по сравнению, например, с общением через простое слово, и здесь термин «чувство» тоже вполне мог показаться ему более выразительным, чем термин «душа», — как бы более компактным и рельефным именно для контрастного сопоставления его с «мыслью».

А может быть, аналитическая мысль Толстого, подстегиваемая его все возраставшим морализмом, предпочла этот термин в какой-то мере и потому, что именно к нему очень быстро и органично прилеплялись четкие оценочные определения, столь для Толстого важные, — «хорошее чувство», «дурное чувство». Так что именно ради этой прямолинейной отчетливости он и принялся переделывать и переписывать под соответствующим углом зрения всю ту терминологию, которая была использована им четырьмя годами раньше. Так ведь тоже бывает — этюды даже самых замечательных художников зачастую и свежее, и глубже, и вернее, чем тщательно выписанные — и записанные — ими картины...

Но ведь все это, в конце концов, не так уж и важно — все эти гипотезы в отношении того, почему Толстой сменил «душу» на «чувство». Может быть так, а может быть иначе. Куда важнее понять, что и за тем, и за другим термином действительно стоит у Толстого одна и та же реальность — та неразложимая индивидуальная целостность внутреннего мира художника, передача которой именно во всей ее личностной неповторимости и яв-

¹⁶ Юб., т. 30, стр. 447.

ляется, по Толстому, собственным — и чрезвычайно важным — делом искусства. В этом вся суть, а это, надеюсь, из всего сказанного вытекает действительно с полной очевидностью.

И вот то, что Толстой увидел собственное и главное дело искусства в передаче нам именно личностной неповторимости художника, его «души», его внутреннего мира; в том, что оно дает возможность «переноситься в других», «чувствовать через них», — вот это-то в его концепции искусства более всего как раз и поражает.

6. «Это же — любовь...»

Поражает уже потому, что Толстой вырос и сформировался в атмосфере эпохи, превыше всего ставившей успехи науки, разума, просвещения и насквозь пронизанной духом философского рационализма. А в России — еще и позднего радикального просветительства, задававшего тон умонастроениям интеллигенции начиная уже с сороковых годов. В своей публицистике он и сам отдал немалую дань навыкам и стилистике просветительно-рационалистического мышления — да еще с приправой собственной толстовской упрямой дотошности и обстоятельности при рассмотрении любой занимавшей его внимание общественно-важной проблемы. Недаром по поводу прямолинейной, а нередко и назойливой рассудочности, свойственной иным его сочинениям на религиозные и другие умозрительные темы, не упражнялся разве ленивый. Недаром и Г.Х. фон Вригт, рассматривая в своей книге мировоззрение Толстого в русле русской просветительно-рационалистической традиции, упоминает его в одном ряду даже и с такими именами, как Белинский и Чернышевский. Переклички здесь действительно имеют место, причем достаточно выразительные — вплоть, скажем, до очень похожих у Чернышевского и Толстого похвал искусству за то, что оно помогает людям усваивать истины, добытые наукой, переводя их в более доступную и понятную для них форму.

И вот Толстой, и сам испытывавший пиетет перед всеобщезначимой доказательной мощью объективных истин науки, начинает вдруг настаивать на какой-то особой, самозначимой ценности «заражения» в искусстве именно особыми, личностными, сугубо субъективными «задушевными» чувствами художника! То есть — настаивать на *самостоятельной* содержательной значимости именно *индивидуального, личностного* момента в диалогическом межчеловеческом общении посредством искусства. И это — в эпоху торжества разумного эгоизма и культа научной объективности! В эпоху трезвого просветительского рационализма, сам «оптический фокус» которого по всей, можно сказать, логике своего «устройства» как раз начисто не был приспособлен к тому, чтобы в индивидуальном, конкретном, единичном (даже в искусстве) видеть что-либо иное, кроме всего лишь некоего канала и проводника к тому, что только и может составлять для мышления этого типа единственно возможный объект собственно *познавательного* информативного усвоения, — к *закономерному, всеобще значимому*. То есть — именно к *надындивидуальному*, которое «спрятано» во всяком данном, единичном, особенном, индивидуальном (в искусстве — к типичному, характерному, доно-

симуму до нас через данный конкретный персонаж, сюжет, ситуацию — через данный конкретный образ). Недаром высшей, наиболее адекватной формой постижения абсолютной истины и ее выражения Гегель считал именно философию, а вовсе не искусство. Понятие, а не образ. Признать, что возможность войти в контакт с духовным опытом другого человека во всей сугубо индивидуальной его неповторимости действительно представляет собою такое же **важное** (в сущности — столь же **фундаментально** важное для нас) коммуникативное свойство диалога, как и наша способность передавать от одного к другому те или иные наши мысли и чувства в их общезначимой, надындивидуальной содержательности, фиксируемой нашим понятийным сознанием, — на это рефлексия рационалистически-познавательного толка никогда не была способна. Для этого требовался выход мышления на уровень философской парадигмы какого-то совсем иного, куда более универсального охвата...

Какого же?

Ну, например, того, которым наше мировоззренческое ценностное поле, фиксирующее опорные условия нашей жизни (а значит — и экзистенциально важного для нас познания), начинает обладать тогда, когда мы вводим в него такой «компонент» человеческого существования, как любовь. Причем вводим не просто как некую наличную данность, которую всего лишь нельзя не учитывать среди многого иного, а именно как основополагающую, смыслообразующую ценность, как экзистенциально необходимое условие и способ нашего бытия.

Не будем сейчас настаивать на том, что, вообще-то говоря, это возможно только в том случае, когда двери нашего земного бытия распахнуты в безмерность Божественного Космоса. По той простой причине, что, как умел понять это в свое время еще Иван Карамазов, нет никакого «естественного закона», по которому любовь могла бы существовать на Земле без Бога. Но, как известно, в мире, в котором мы существуем, имеют место и иные, вне-религиозные, концепции, тоже придающие любви некий безусловный ценностный смысл (хотя, как правило, никогда не указывающие при этом каких-либо столь же безусловных для этого оснований). Поэтому оставим эту дискуссионную тему в стороне — тем более, что речь сейчас идет вовсе не о споре религиозного и безрелигиозного гуманизма. Речь идет лишь о том, что только когда мы признаём любовь высочайшей и безусловной ценностью нашей жизни (небом ли, землей ли дается ей такой статус), — только тогда мы и способны выйти за пределы рационалистической парадигмы познания по отношению к индивидуальному, единичному.

В самом деле, — на небе ли, на земле ли, но ведь суть в том, что и *здесь*, и, как можно думать, *там* любить можно только живое, конкретное, индивидуальное, а не абстрактно всеобщее. Как живое чувство, она всегда обращена именно к живой целостной полноте каждого из нас — то есть к нам именно как к **индивидуальностям**, как к **неповторимостям**.

Но если это так, если можно любить только *индивидуальность*, то ведь *любить* индивидуальность можно, наверное, только потому и только тогда, когда она и открыта любящему именно как индивидуальность. Нельзя любить то, чего не знаешь, и будь иначе, вряд ли мы могли бы надеяться даже

и на Божью к нам любовь. Правда, порой приходится только удивляться, как, зная нас до самых последних глубин и донышек нашей личности, Он еще способен нас любить. Но тем не менее это так, и, наверное, только благодаря этому и мы здесь, на Земле, как это ни удивительно порою для нас самих, тоже оказываемся-таки — хотя бы изредка — способны любить друг друга. А этого тоже никак не могло бы быть, если бы мы не способны были понимать и чувствовать друг друга именно во всей нашей живой неповторимой целостности. То есть, другими словами, если бы нам не было доступно *знать* друг друга именно в нашем индивидуальном личностном качестве.

Конечно, спору нет, — такое знание было бы невозможно, если бы в его обретение не включалась всей своей мощью и та наша познавательная способность *обобщения*, без которой ни наша культура, ни наука, ни наша повседневная ориентация в окружающем нас мире вещей и людей, а значит, и наше существование вообще просто не были бы возможны.

Но в том-то и дело, что когда наш взгляд на другого обращен на него именно как на целостную неповторимую индивидуальность, индивидуальное — в противоположность ситуации, замыкающей нас в рамках логико-рационалистической парадигмы познания, — уже отнюдь не выступает в этом нашем познавательном акте как всего лишь *промежуточная* ступень в движении к закономерному, общему, поставляемому конечной целью познания. Напротив, — схватывание в индивидуальном любого содержания, способного быть зафиксированным в обобщающих, надиндивидуальных понятиях, *само* представляет собою в этом случае не более чем всего лишь промежуточную, вспомогательную логическую форму приближения к живой полноте целого *как конечной и высшей цели нашего познания*. И вся суть в том, что *тот* характер знания нами друг друга как индивидуальностей, которым только и открывается дорога любви, никогда не был бы нам доступен, будь наше знание другого укоренено лишь в этой абстрагирующе-обобщающей форме нашего познания. Никаким логически безупречным конструированием никакой сложной целостности, составленной из всех возможных общих характеристик, вычлененных из индивидуальности, *живую* целостность все равно не создашь, не увидишь, не почувствуешь и не поймешь. Так что и сама любовь была бы невозможна, если бы мы не были способны — наряду с любой необходимой логико-аналитической и синтезирующей работой нашего понятийного сознания — воспринимать, чувствовать, понимать другого как индивидуальность еще и *совершенно непосредственно, целостно*.

Но, к счастью, любовь все-таки, как все мы знаем, возможна. А это значит, что существует и та совершенно особая форма целостного познания, посредством которой мы как раз и схватываем именно индивидуальную целостность другого и которую по терминологической давней традиции не случайно иногда и называют *монадной*¹⁷. Причем самое показательное, что в жизни, в живой практике мы даже и не нуждаемся ни в каких доказательствах, что это действительно так, — мы знаем это непосредственно, всей своей жизнью, всем опытом нашего общения с другими, на каждом шагу

¹⁷ Вот, кстати, еще один типичный парадокс исторической филиации идей: речь идет о терминологической традиции, у истоков которой стоит как раз один из классиков *рационализма* — Лейбниц.

удостоверяющего нас, что мы действительно способны видеть, чувствовать, понимать, воспринимать другого как некую неразложимую неповторимость и целостность. Мы удостоверяемся в этой нашей способности именно тем, что *способны его любить*. То есть — живой неопровержимостью самого чувства любви, испытываемого нами по отношению к другому человеку именно и только как *к целостной личности*, а не просто к каким-то общезначимо хорошим его качествам, как бы мы и сами их ни ценили.

Мало того — тем же непосредственным опытом жизни мы знаем и то, что путь *знания*, открывающий нам живую индивидуальность другого, уже и сам по себе, по самой своей природе, и есть в то же самое время не что иное, в сущности, как *сам непосредственный путь любви* (или ее противоположностей — отторжения, неприятия, ненависти). Ибо человеческая личность, в отличие от других объектов познания, не может быть познана без личностного же нашего к ней отношения, многоуровнево располагаемого все на той же шкале любви-нелюби. Шкале не только единственно важной, но, в сущности, и вообще единственно возможной для нас в экзистенциальном измерении.

А теперь снова вспомним Толстого, мысль которого как раз именно в это экзистенциальное измерение все время, как мы видели, и устремляется, когда он вновь и вновь повторяет, что «заражение чувствами» (= «личностью», «душой», «внутренним содержанием» и т.д.) — это путь любви, путь единения с другим. Мало того, — мы постоянно встречаем у него формулы, которые говорят о том, что Толстой несомненно угадывает даже и само сущностное тождество пути познания человека, его личности через искусство и пути к нему через любовь — например, когда заносит в записную книжку 1893 года (за год до Предисловия к Мопассану) такую удивительную запись: «Два способа познания. Познавать мир 5-ю чувствами — самый грубый, неизбежный. Но входя в жизнь другого существа <...> познаешь его изнутри, восстанавливая нарушенное между нами единение. *Это же — поэтический дар. Это же — любовь*»¹⁸.

Итак — о чем же это все говорит?

Я думаю, именно о том, что как раз ощущение глубокой внутренней связи между назначением искусства и таким величайшим даром нашей жизни, как любовь, и лежит в основании толстовской уверенности в высочайшей ценности такого средства межчеловеческого общения, как искусство.

Действительно, — ведь в чем, собственно, состоят те содержательные результаты нашего «заражения» через искусство неповторимо-личностными «чувствами» (= «душой», «личностью», «внутренним содержанием») художника, которые обнаруживают себя в нашем «преображении» в него?

Если попытаться выразить их через категории религиозного сознания, которые лучше, масштабнее других передают их глубинную суть (хотя, конечно, каждый может подставить на их место и те понятия, которые привычно, но, повторим, всегда, в сущности, бесосновно замещают «всякую мистику» в терминологической практике внерелигиозного гуманизма), то можно сказать так: глубинная суть этих результатов заключается в том, что наш путь к другому как к неповторимой индивидуальности, открывающий

¹⁸ Юб., т. 32, стр. 247.

дорогу нашей любви к нему, — это именно тот путь познания, который вернее и успешнее любых других познавательных усилий *ведет нас к Самому Богу. К Его Полноте. К нашему наполнению Ею.*

Или, если угодно, — к *Высшей Безусловной Истине* нашей жизни, хотя это, в сущности, одно и то же.

Этот путь познания-любви ведет нас к самым высшим из всех доступных нам результатов нашего познания именно потому, что хотя один только Бог есть действительная Полнота (Любви, Жизни, Истины, Света, Добра, Красоты), а мы все, вот именно, лишь *частицы* Ее, однако в том-то и дело, что мы все-таки способны быть, а в какой-то мере всегда и являемся таковыми Ее частицами¹⁹. И потому-то путь к *Его* Полноте не только отнюдь не закрыт для нас в нашем *межчеловеческом* общении, но, напротив, более всего и открывается именно через любовь к другому, к его неповторимости, которая через наше общение и наш диалог с ним доступна нашему восприятию, пониманию и любви. А тем самым — в меру наших возможностей и усилиями нашей собственной любви, воли и свободы — доступна и *освоению, принятию в себя, претворению в нашу собственную неповторимость*, развиваемую и обогащающуюся за счет нашего приобщения ко всякой новой неповторимой частице этой Божественной Полноты, увиденной нами в другом. Всегда открытый нашей любви путь вбирания в себя духовного опыта другого есть и необходимо становится, таким образом, прямым путем и *нашего собственного духовного возрастания в Боге, в Истине* — через приобщение еще к одному индивидуально-неповторимому подобию Его Божественной сути. Недаром же сказано, что любовь к Богу и любовь к ближнему (как к подобию Божьему) — это, в сущности, одно и то же.

Вот почему акт нашего постижения и присвоения неповторимой индивидуальности другого, открывающий дорогу нашей любви к нему, — это акт, который совершенно справедливо может быть признан не только совершенно исключительным по своей значимости, но, может быть, действительно даже и самым для нас экзистенциально важным познавательным актом. Актом, которым реализуется неперенное экзистенциальное условие нашего собственного самоосуществления, закладывается фундамент нашего собственного духовного развития и творчества. То есть, в сущности, совершается одно из самых главных наших дел на земле.

То громадное место, которое занимает в нашей жизни искусство, и есть как раз самое непосредственное подтверждение тому, что это именно так. Потому что именно в поразительных способностях обеспечивать нам поистине уникальные возможности и формы для удовлетворения важнейшей нашей духовной потребности возрастать своею личностью, вбирая в себя личность других, как раз и коренится одно из главнейших назначений этой громадной и всеобщезначимой формы человеческой культуры и межчеловеческого общения, одна из самых важных причин его уникальной бытийной необходимости. Ведь становится при чтении поэмы Шелли как бы самим Шелли и даже, может быть, в какой-то мере оставаться и быть им и в дальнейшей

¹⁹ А в какой-то мере — пусть даже предельно слабо, смутно и искаженно, на самом дне бездны падения и греха — всегда и являемся такими частицами, пока живы. Иначе невозможно было бы раскаяние и освобождение от греха.

нашей жизни, сохранив в себе хоть частицу его неповторимой души, *его* частицы Божественной Полноты, — это и в самом деле один из самых драгоценных даров нашей жизни. Потому-то, кстати, именно здесь, в акте обретения такого рода даров, как раз и получает свое окончательное объяснение природа той *особенной радости*, которую мы испытываем при вхождении в истинное произведение искусства, — того всем нам знакомого чувства самого живого и непосредственного наслаждения, о котором мы уже говорили и которое может охватить нас тем сильнее, чем безогляднее, казалось бы, захвачены мы жизнью, происходящей на экране искусства. Даже, повторим, и тогда, когда сцена, захватившая нас и вызывавшая в нас трепет столь ощутимо живого, непосредственно настигающего нас радостного озноба, по своему жизненному содержанию, по смыслу событий, происходящих в ней, как раз предельно трагична, ужасна, то есть не дает своим собственным жизненным содержанием ни малейшего повода радоваться и замирать от восторга...

Действительно: взгляды в себя — почему ведь, собственно, мы так восхищаемся и замираем, наблюдая эту сцену, когда, казалось бы, будучи безоглядно погружены в происходящую перед нами трагедию, мы должны были бы испытывать одно только чувство ужаса? То чувство, которое, кстати, мы как раз одновременно и испытываем!..

Да потому, что испытываемое нами в этот же момент эстетическое наслаждение от неожиданной психологической глубины и точности созданной художником сцены, от новизны и яркости характеров, в ней раскрывающихся, от всего того, что дарят нам в ней ум, талант, чувство художника, совершенно неотделимо здесь от того, что это мы *сами* находимся сейчас на уровне способности видеть, понимать, чувствовать жизнь так, как мы чувствуем и постигаем ее в этой сцене, — так, как до сих пор мы еще не умели и как мы только потому теперь и сумели, что как бы обрели талант, душу, глаза, наблюдательность и ум художника, которые оказались переданы нам силой искусства и которые мы с восторженной радостью и удивлением в себе именно и обнаруживаем, непосредственно в себе и чувствуем...

Но это опять ведь именно то, о чем, как помним, постоянно говорит Толстой, подчеркивая совершенное уничтожение в искусстве какого-либо «разделения» между художником и воспринимающим и указывая на ту «особую радость», которую мы испытываем от уничтожения этого «разделения», от этого «слияния с личностью» художника.

А вот и еще одно тому подтверждение — уже из дневника 1909 года, где Толстой замечает, что при восприятии истинного произведения искусства *«человеку кажется — не только кажется, но человек испытывает чувство радости о том, что он произвел такую прекрасную вещь. Особенно сильно это в музыке»*²⁰.

Вот это-то особое, не раз отмечаемое Толстым чувство восторженной радости, испытываемое нами от нашего преображения в искусстве, и есть, может быть, одно из самых убедительных подтверждений тому, что он действительно совершенно точно видит самую суть того, почему столь экзистенциально значимо для нас освоение, вбирание в себя, присвоение через

²⁰ Юб., т. 57, стр. 132.

искусство духовного опыта другого — и именно во всем его особом, личностном своеобразии.

Да именно потому, что *«ни на чем другом, как на этом, не видно так главное значение искусства, значение объединяющее. “Я” художника сливается с “я” всех воспринимающих, сливающихся в одно»*²¹.

Или — уже цитированное, из дневника 1910 г.: *«Истинное значение искусства: переноситься в других, хочется чувствовать через них»*²².

И. наконец, из самого трактата: *«Благодаря способности человека заразяться посредством искусства чувствами других людей ему делается доступно в области чувства все то, что пережило до него человечество, делаются доступны чувства, испытываемые современниками, чувства, пережитые другими людьми тысячи лет тому назад, и делается возможной передача своих чувств другим людям»*. (87)

Отметим, наконец, и еще один важный момент, непосредственно связанный с этой темой. Все сказанное позволяет, мне кажется, лучше понять и то, почему Толстой, определяя суть нашего восприятия искусства как «искание души художника», подчеркивает, что именно такая направленность нашего внимания, будучи более адекватной уникальной природе искусства, знаменует тем самым и более «чуткий», то есть более развитый, как бы более «взрослый» способ его восприятия. В детстве мы действительно поглощены ведь почти всецело именно царями и лакеями, разбойниками и святыми, разыгрывающими перед нами свою увлекательную драму или комедию, трагедию или триллер. А что до души художника — то что там душа, мы и имени-то автора на обложке книги порою не помним. Однако чем дальше ведет нас жизнь, чем зреее мы становимся, тем больше начинаем нуждаться в общении с художником (если только это действительно значительный художник!) уже не только как с рассказчиком, открывающим нам какие-то новые стороны жизни, сообщаящим нам какую-то новую *информацию* о ней, но и как с *собеседником* о ней. То есть — прямо по формуле Толстого, выдвигающего на первый план именно *душу* художника, его *личность*, его *самобытное нравственное отношение* к миру, его *чувства*, понять и пережить которые, войти в них, соотнестись с ними и, может быть, принять их в себя, упрочить их в себе и сделать их своими становится нам все важнее. В этом, конечно, выражается именно наше духовное взросление, и оно проявляет себя, естественно, отнюдь не только в тех изменениях, которые обретает характер нашего восприятия искусства. Оно проявляет себя и во все более растущем интересе к судьбе, духовному миру, нравственным поискам и даже обыденному образу жизни не только художников, но и других известных нам крупных, значительных людей, будь то философы или публицисты, религиозные деятели или политики, ученые или даже предприниматели. Все они становятся все более интересны и важны нам не только самим по себе содержанием своих идей, открытий, наблюдений, исторических свершений и т.д., но и всей полнотой своей личностной неповторимости — если только мы чувствуем, что этой своей неповторимостью они и в самом деле воплощают собою какую-то

²¹ Там же.

²² Юб.; т. 58, стр. 112.

частицу высшей жизненной Истины, действительно предстают перед нами некими неповторимыми ее воплощениями — тем, в чем религиозный человек увидит частицы Божественной Полноты. И тогда мы начинаем дорожить всякой возможностью проникнуть именно в эту сокровенную сферу их жизни, будь то чьи-то воспоминания о них или публикации их собственных писем и дневников, или даже и сами их пусть даже сугубо специальные трактаты и книги, но только читаемые уже новыми глазами. В конце концов, даже и в том же знаменитом «Рассуждении о методе» Рене Декарта, этой Библии рационализма, есть ведь не только математически строгая и как бы совершенно надличностная логика возводимых автором стройных концептуальных построений, умозаключений и выводов, но и совершенно неповторимое, чисто декартовское обаяние самого живого течения его мысли, ее поразительного изящества и чистоты, редкостной прозрачности ее словесного выражения — того, вот именно, *самобытного нравственного мира* ее автора, который какими-то своими чертами, пусть не так объемно и ярко, как в искусстве, но тоже встает за всей этой логической чистотой и прозрачностью и который и заставил когда-то Мераба Мамардашвили восторженно вспомнить знаменитые пушкинские строки: *«Гений чистой красоты»*

Замечу попутно, что, конечно же, только по чистому недоразумению этот интерес к «жизни замечательных людей» принято почему-то считать специфической привилегией юности. В юности, во всяком случае, он носит совершенно другой характер — юность нуждается в обращении к великим образцам человеческой жизни главным образом для того, чтобы примерить их на себя и определиться с выбором собственного пути, решить, в каком направлении искать собственную неповторимость, которой пока что почти и нет. Но ей, как правило, еще очень далеко до того, чтобы испытывать все возрастающую, все более осознанную и все более самоцельную, «бескорыстную» потребность расти и развиваться в своем собственном, в опорных своих точках уже обретенном личностном «я». Это приходит только со зрелостью, а потому только со зрелостью приходит и более «чуткое» восприятие искусства, позволяющего нам в каких-то аспектах значительно полнее и лучше, а в иных и вообще совершенно эксклюзивно как раз и удовлетворять именно эту нашу потребность. Потребность до конца раскрыть себя как личность, которой выпало жить при данном, исторически достигнутом уровне развития человеческой духовной природы. Не просто видеть, переживать, постигать мир и не просто знать, как его видят, чувствуют, создают другие. Но и самим — в самой живой непосредственности нашего переживания этого мира — переживать, видеть, осознавать его так, как это доступно другим. Как это доступно совокупной душе человечества в лице ее художников, выразивших ее.

7. «Ну-ка, что ты за человек?..»

К какой же итоговой точке приводит нас весь этот проделанный нами путь?

Если снова вспомнить здесь Г.Х. фон Вригта, то, я думаю, отнюдь все-таки не к той, чтобы вслед за ним признать толстовское определение сущности искусства как «заражения чувствами» «настолько же плохим, насколько хороша сама идея сравнения языка и искусства». А взгляды Толстого,

выразившиеся в этом учении, — «показательно несвоевременными и малопродуктивными».

Надеюсь, мне удалось все же показать, что это не так. Что мысль Толстого должна быть признана глубоко плодотворной не только в том ее содержании, которое заключает в себе действительно совершенно замечательная (особенно для своего времени) идея рассматривать искусство как экзистенциально важное «средство общения между людьми». Не менее важный шаг сделал Толстой и тогда, когда сумел уловить самостоятельную экзистенциальную значимость «передачи» через искусство именно индивидуального компонента «внутреннего мира художника», его личностной неповторимости, решительно вырвавшись тем самым из тесных пределов привычной рационалистически-познавательной парадигмы искусства с ее приоритетом всеобщего, типического, вневещного.

Пусть мысль Толстого нередко сбивалась еще с этого нового пути на более привычную дорогу прямолинейной просветительской логики; пусть, согласимся и с этим, не так уж часто поднималась она и до действительно ясного осознания и отчетливого формулирования того, что подсказывала ей ее же собственная интуиция, настойчиво звавшая ее искать такие же подходы к пониманию теоретических проблем искусства, какие собственное искусство Толстого давно уже, еще с молодости его, стало вырабатывать по отношению к жизни.

Но то, что при всех сбоях она упрямо развивалась всегда именно в таком и только в таком направлении, — это, если внимательно читать Толстого (а если невнимательно — зачем и читать?), совершенно, на мой взгляд, очевидно. Так же очевидно, как и то, что Толстой вместе с Достоевским стал в мировой культуре родоначальником совершенно нового типа искусства — искусства экзистенциально-философского, обращенного прежде всего к бытийным, а не к социальным основам человеческого существования; искусства, которое не только изменило всю культурную ситуацию на мировой арене второй половины XIX века, отодвинув на второй план искусство социально-психологического реализма, созданного Бальзаком и Флобером, Диккенсом и Теккереем, Тургеневым и Островским, но определило собою магистральное развитие художественной культуры и в течение всего XX века. Ибо без того, что сделали в искусстве Толстой и Достоевский, невозможно понять творчество ни Фолкнера и Хемингуэя, ни Томаса Манна и Михаила Булгакова, ни Висконти и Феллини²³. Так что по крайней мере применительно к самому искусству устремленность его к масштабному экзистенциально-бытийному охвату проблем жизни и в наше время никак уж не может быть признана «несвоевременной и малопродуктивной». Это наверняка не стал бы отрицать и Г.Х. фон Фригт.

А потому он не стал бы, я думаю, квалифицировать и мысли Толстого об искусстве как несвоевременные и малопродуктивные, если бы сумел уловить действительное их содержание, пробившись сквозь совершенно непригодный в отношении Толстого ученый педантизм восприятия его терминов в

²³ См. об этом мою статью «Реализм в высшем смысле» в моей книге «По живому следу. Духовные искания русской классики». М., 1987 г.

привычном ключе привычной понятийной их наполненности, буквальной точности их звучания, тогда как у Толстого они неизменно носят куда более обобщенный, емкий, часто метафорический и даже символический образно-понятийный характер. Он не стал бы, я думаю, так пренебрегать ими именно потому, что проблема значимости межлического диалога в сугубо личностном, индивидуальном измерении сегодня предельно как раз актуальна. И актуальна не только из-за того, что и в наш век позиции рационализма (особенно благодаря духу «трезвого разумного прагматизма», определяющего все будничное жизнеповедение большей части современного «цивилизованного общества») вряд ли намного слабее, чем в куда более романтическом девятнадцатом веке, хотя времена классического философского рационализма Декарта и Гегеля давно как будто бы прошли. Но, может быть, прежде всего как раз потому, что именно сегодня о способности искусства раскрывать перед нами внутренний мир художника в его индивидуальной самобытности и неповторимости написано, пожалуй, едва ли не больше текстов, чем обо всех других его свойствах. И вся беда в том, что даже та немалая часть их, которая представляет собою по преимуществу всего лишь игру в понятийный бисер, всецело ориентирована все-таки именно в том господствующем сегодня в художественной критике духе, который и объясняет, почему молодых и не очень молодых честолюбцев, скупаемых жадной во что бы то ни стало «самовыразиться» в искусстве всей своей «неповторимостью», хотя бы за душой у них не было ни гроша, становится в нашем мире все больше.

Особенно — в опьяняющей атмосфере беспредельной свободы «самовыражения», характерной для разрушенных, опустошенных и все еще не нашедших себя посттоталитарных обществ.

Конечно, никакая площадная эксплуатация высоких смыслов не может уничтожить их реальную ценность, раз сами в себе они таковой обладают. И потому какие бы горы разнообразной словесной шелухи ни были уже и ни будут еще произведены по поводу способности искусства доносить до нас внутренний мир художника во всей его индивидуальной неповторимости, они не отменят высочайшую жизненно-познавательную значимость для нас этой возможности принять в себя внутренний мир другого именно в этом его качестве, в его личностной самобытности. Да и мародерство не было бы возможно, если бы нечего было грабить. Поэтому существование самонадеянных публичных, жаждущих облагодетельствовать нас своим «самовыражением» в искусстве, никак не может, конечно, обесценить высочайшую принципиальную значимость этого момента в действии искусства, реализующего себя в качестве средства межлического общения.

Но мы живем не в бесстрастном умозрительном мире всеобщего *чистого разума*, где так очевидны действительные соотношения всех смыслов и где так беспомощны поэтому все глупости и вся ложь, которые творятся каким-нибудь сбившимся с пути, выпавшим из всеобщей связи самонадеянным частным *рассудком*. И мы живем не в теплой золотой прозрачности высшего, горного Света, где так хорошо виден и внятен сердцу всякий предмет и всякое движение и свое, и любого другого — из чего они состоят, чем вызваны к бытию и чего стоят. Мы живем в реальной земной атмосфере нашей реальной жизни, мы дышим не только ее озоном, которого к

тому же становится все меньше, но и всеми ядовитыми испарениями тех каждодневных гнусностей, которые совершаются на нашей планете. И мало того, что в густом тумане уже одной этой отравы дышать становится все труднее и все труднее видеть, где есть еще чистый воздух и голубое небо, так со всех сторон на нас накатывают еще и волны самых разнообразных дымовых завес и дурманных наваждений, сознательно или неосознанно, но равно нацеленных лишь на то, чтобы окончательно сбить нас с толку, заставить нас совсем потерять ориентацию в духовном времени и пространстве и принять-таки тьму за свет, ложь за истину, зло за добро, грязь за чистоту, голубое за белое, черное за золотое, безобразие за красоту...

И вот по этой причине тоже совсем не бесполезно послушать поэтому сегодня Толстого — если только нас действительно заботит нынешняя духовная и культурная ситуация как в мире, так и особенно в нашей стране. И если мы действительно пытаемся хоть как-то разгонять вокруг себя все эти маскирующие дымы и накаты разного рода обманных идеологических, социокультурных, эстетических и даже религиозных завес и дурманных потоков. Причем здесь не так уже даже и важно, какую именно формулу мы предпочтем — раннюю, «мопассановскую», или более позднюю, из трактата «Что такое искусство?». Потому что стержневые, опорные критерии, из которых Толстой исходил, уясняя и оценивая человеческую значимость специфической деятельности искусства, — эти критерии в глубинной сути обеих этих формул и вообще в течение всей его жизни были у него абсолютно тверды и неизменны. Так что в какой бы период его жизни мы его ни застали, мы все равно услышим от него, что «оценка достоинства искусства, то есть чувств, которые оно передает, зависит от понимания людьми смысла жизни, от того, в чем они видят благо и в чем зло жизни». Что положение, когда «совершенно стерлось различие между хорошим, передающим добрые чувства, и дурным, передающим злые чувства, искусством», ненормально и опасно. Что именно в свете этого требования «писатель, который не имеет ясного, определенного и нового взгляда на мир, и тем более тот, который считает, что этого даже и не нужно, не может дать художественного произведения». И что именно поэтому особенно вредны и опасны теории, которые утверждают, будто «для художественного произведения не только не нужно иметь никакого ясного представления о том, что хорошо и что дурно, но что, напротив, художник совершенно должен игнорировать всякие нравственные вопросы, что в этом даже некоторая заслуга художника»²⁴.

Спору нет, — когда Толстой начинал применять эти критерии на практике, он очень нередко — и чем дальше, тем больше — бывал поразительно прямолинеен, плоскостно примитивен. А иной раз — и почти начисто глух и слеп к тому, что, казалось бы, его художническая душа должна была трепетно чувствовать и приветствовать. То, что пишет он порою в трактате «Что такое искусство?» о Верлене или Бодлере, о Вагнере или Бетховене, о Шекспире или Ростане, просто неловко читать. Такова, увы, участь всех, даже

²⁴ См. Л.Н. Толстой. Собрание сочинений в двадцати томах, т. 15. М., 1964, стр. 89, 102, 108, 260.

самых верных и добрых идей, когда мы становимся одержимы ими и в этой одержимости не замечаем, как доводим их до абсурда. Не хуже иных добрых намерений, ведущих в ад, они тоже ведут нас в ад прямой неправды, несправедливости, невменяемости, и даже просто глупости.

Но ведь сколько у Толстого и вернейших наблюдений и оценок, рожденных теми же исходными критериями!

Значит, не нужно путать принципы с их практическим применением. Дороги добрых намерений, может быть, и ведут нередко в ад, но на них можно и остановиться, повернуть назад, к их истокам, еще не замутненным нашими человеческими ошибками, слабостями и грехами. И попытаться найти новую дорогу, способную действительно привести нас туда, куда зовут нас наши начальные намерения.

А вот намерения злые, вопреки заверениям гетевского Мефистофеля, никогда не приведут вас в рай. Они всегда ведут только в ад, как ни меняй маршрут выбираемых для их осуществления дорог, если только не вразумит нас и не выведет нас на совершенно другую дорогу Сам Бог, как он сделал это когда-то со своим гонителем Савлом, преобразив его в великого апостола Своей Любви.

И в этом суть дела.

Она в том, что реальный мир наш насквозь, увы, полюсен, как бы ни обозначать эти полюса: Добро и зло, Истина и ложь, Любовь и ненависть, Жизнь и смерть, Созидание и разрушение, Красота и безобразие. Или — на языке религии, наиболее всеобъемлюще — Бог и дьявол.

И в этом полюсном мире нет дорог нейтральных.

Но зато, скажут нам, в нем есть свобода. И ни у кого нет прерогативы вещать от имени Абсолютной Истины. Тем более — брать на себя ответственность говорить за Бога.

Верно. Свобода — есть. Куда ж от нее денешься?

Но она есть не только как наше право, но и как наша ответственность.

Как право, она разрешает каждому думать, делать, говорить все, что он хочет. Даже вообще отрицать какую-либо ответственность своей свободой, провозглашая относительность и бессмысленность любых норм и принципов.

Вы хотите воспевать то, что по старой традиции именуется похотью и развратом, или эпатировать публику нарочито бессмысленными, самоцельными в своей свободе от какого-либо «высказывания» коллажами из слов, образов, римейков, стилей и т.п.?

Никто вам этого запретить, разумеется, не может. Вы — свободны в своем «самовыражении», в своей «неповторимости».

Но и мы свободны не принимать вашу «неповторимость». Свободны отказываться «заражаться» вашими чувствами, чувствовать в себе вашу душу, настраивать на ее разрушительный для нас лад струны своей души.

Становиться Шелли, Шекспиром, Толстым?

О да!

Но становиться Сорокиным, Виктором Ерофеевым, Д.А. Приговым?!

Да если есть любители — сколько угодно. Кто же им запретит? Свобода есть свобода.

Но меня лично — увольте.

Что же касается того, что никто не вправе считать себя выразителем абсолютной истины и тем более говорить за Бога, то и это тоже верно. Наглое самозванство никогда никого не украшало.

Но и страх выйти за пределы возможностей, доступных нашей человеческой ограниченности, боязливость, парализующая нашу волю, уводящая от нашего права и обязанности взять на себя ответственность и сказать, как Лютер — «Я здесь стою и не могу иначе», — эта оглядчивость тоже нас не украшает. Можно по-разному относиться к тому, что происходит в Меджугорье, можно верить или не верить в действительность происходящих там явлений Богородицы и в любом случае быть очень осторожными в отношении к ее Посланиям. Но мне лично очень нравится, в частности, то, что она сказала однажды своим избранным детям — «Бог не желает видеть вас нерешительными и прохладными»²⁵. И я не вижу, чтобы это хоть в чем-то противоречило духу и букве Евангелия. Тем более, что такого рода «смирение» отнюдь не избавляет нас от неизбежности выбора и от ответственности за него. Потому что и отказ от выбора — тоже выбор. И выбор совершенно определенный, в той же двухполюсной системе координат, поскольку из этой системы координат нашего мира нам все равно никуда не выпрыгнуть, а пытаться что-нибудь за Бога нам и не требуется. Он ведь давно уже Сам все сказал — и сказал очень просто и ясно, доступно для понимания любого, даже ребенка. И на том, что Он сказал, на Его заповедях, признавать ли за ними сакральный характер или считать их всего лишь императивами так называемой «конвенциональной морали», «общественного договора», все равно стоит мир, так что если наша современная цивилизация еще как-то и держится, то держится только потому, что, стало быть, эти заложенные в нее устои еще не до конца разрушились и еще способны ее держать.

Вот почему хотим мы того или не хотим, а эти устои — объективная реальность нашего мира и объективный к нам его запрос, избежать которого и так или иначе не ответить на него наша свобода все равно не может. Она может либо укреплять эти опоры, либо разрушать — третьего не дано.

Но это значит, что хотим мы того или не хотим, а нам все-таки никуда не деться и от внимательного прищур старших серых глаз, пристально вглядывающихся в нас из-под нависающих лохматых бровей великого яснополянского отшельника, яростного жизнелюба и яростного религиозного реформатора, гениального художника и упрямого моралиста:

— *Ну-ка, что ты за человек?*

Как бы мы ни относились к Толстому, к его прямолинейности, в каких бы крайностях и несправедливостях ни считали себя вправе его упрекнуть, нам все-таки никуда не деться от этого вопроса во всем громадном его толстовском смысле. Потому что его глазами смотрит на нас всех сегодня и наша современность — отдает она себе в этом отчет или нет. Все равно когда-нибудь отдаст:

— *Ну-ка, что ты за человек?..*

²⁵ См. «Континент» № 115, стр. 260

Многие ли не дрогнут сегодня перед неотменимой толстовской требовательностью этого пристального взгляда? Так ли уж уверенно способны взглянуть ему в глаза даже самые уверенные в себе культовые фигуры нашей литературной ярмарки?

Да что говорить — этот экзамен всем нам, пишущим книги, сочиняющим сценарии, ставящим спектакли, снимающим кинофильмы и тем берущим на себя ответственность «заражать» людей нашим «самовыражением», нашей «неповторимостью», выдержать сегодня очень трудно.

Так ли уж много истины и добра несет в себе наша «неповторимость», чтобы не стыдиться потом за произведенное ею душевное «преображение» нас читающих, нам внимающих?

Опирается ли наше «самовыражение» на твердую основу чего-то действительно достойного?..

Страшно, если нам от всей этой толстовской неотменимости не страшно.

Геннадий ТРИФОНОВ

БЕЗ АСТАФЬЕВА

С годами я все реже и реже выбираюсь в центр города. Но, помнится, в первых числах мая, как раз в годовщину со дня похорон Виктора Петровича Астафьева, кто-то из знакомых сказал мне, что в Доме книги на Невском появились новые издания астафьевских книг о войне «Веселый солдат» и «Прокляты и убиты» — уже без купюр и цензурных изъятий. И я устремился на Невский.

У кассы уже и очередь образовалась — правда, человек десять, не больше. Среди первых — пожилая пара, муж и жена. Одеты скромно, но празднично: ведь День Победы. На старомодном пиджаке ветерана — небольшая кучка наград. Среди них и редкостная медаль «За отвагу». Такая медаль была и у Астафьева.

Судя по тому, как держался ветеран, войну он закончил не в самых больших чинах — быть может даже простым солдатом, одним из тех окопников, кто пол-Европы прополз на собственном брюхе и вернулся с той войны в родной Ленинград — вернулся пусть даже израненный, но живой. Тогда, в 41-м, было ему, должно быть, лет шестнадцать-семнадцать. А моему отцу, с той войны не вернувшемуся, — двадцать два.

— Книжки-то больно дорогие, — осторожно сетует жена ветерана, дотягиваясь своим маленьким лицом до уха высокого худощавого мужа. — Нам ведь еще за свет платить. И лекарства тебе выкупить надо.

— При свечке посидим, Марьюшка, — примирительно улыбаясь, шутит супруг. — Как раз ночи белые пошли... А эти книги и внукам подарить охота. Сами-то не купят, им не до книжек теперь. А в беспамятстве жить грешно. Не за то воевали...

**Геннадий
ТРИФОНОВ**

— родился в 1945 г. в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ. Преподает в гимназии английский язык и американскую литературу. В 1975 г. за участие в парижском сборнике откликов на высылку из СССР Александра Солженицына был репрессирован и в 1976–1980 гг. отбывал заключение в лагере. Автор двух книг стихов, изданных в Америке, двух романов, изданных в Швеции, Англии и Финляндии, и ряда статей по проблемам русской литературы. Печатался в журналах «Аврора», «Вопросы литературы», «Время и мы», «Континент», «Нева». Живет в Петербурге.

— Да потише ты, Коля, потише говори, — забеспокоилась старушка, — не одни мы тут.

— А и хорошо, что не одни, — отозвался ветеран, с приветливой улыбкой поворачиваясь в сторону стоящей в очереди молодежи. — Праздник ведь. А худого я не говорю. Говорю как оно есть...

Очередь двигалась медленно. За кассой сидела пожилая женщина. На кончик ее крупного носа сползли очки с толстыми стеклами. Отложной воротничок по случаю праздника украшен медалью «За оборону Ленинграда», на оборотной стороне которой (знаю, видел не раз) — дорогие этому поколению слова: «За нашу Советскую Родину». Моя мама была награждена такой в конце декабря 1942-го. Но получить награду тогда же у нее не было сил, так что медаль за номером АИ 84079 была вручена ей только в декабре 1944-го, а в мае 1946-го — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»...

В духоте многолюдного зала кассирше было трудно управляться с очередью и считать деньги. Видать, не от сытой жизни с утра до вечера купается в своей тесной кабинке эта пожилая женщина. На левой руке ее тускло поблескивает истертое в работе вдовье колечко — господи, сколько таких колечек, редко золотых, чаще серебряных, видел я на вдовьих руках ленинградок в своем послевоенном детстве!

В 1952 году я пошел в школу. Мальчишки в нашем классе были сплошная безотцовщина. Но каждый из нас — каждый! — на свой лад рассказывал о своем отце что-нибудь особенно замечательное. Эти мальчишеские фантазии поднимали наших отцов-героев на недостижимую высоту и заполняли зияющую брешь в наших душах — ведь изнуренные войной и блокадой, измочаленные всей тогдашней жизнью, матери наши никогда или почти никогда не говорили нам о том, что составляло их навеки ушедшее счастье и непроходящую боль. О своем отце я знал точно: у него была медаль «За оборону Ленинграда», он получил ее в феврале 43-го на страшном Волховском фронте и донес до самого Берлина...

Купить замечательно изданный в серии «Красная книга русской прозы» роман «Прокляты и убиты» моим старикам из очереди оказалось не по карману. А вот «Веселого солдата», да еще в двух экземплярах — один для внуков! — они купили. На мягкой обложке — на фоне большой красной звезды живая фотография боя, бегущие в атаку молодые солдатики... Вспомнился Булат Окуджава, оказавшийся, как и Астафьев, на фронте семнадцатилетним:

Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою...

Отойдя от прилавка, ветеран все медлил убрать книжку в пакет. Все рассматривал ее, все поглаживал, бережно прижимая к дорогим своим наградам. И я вдруг почувствовал, как слезы сжимают мое горло...

Как-то уж очень скоро стало нами позабываться: писатель — не тот, кто пишет, а тот, кого читают. Сказать с уверенностью, что нашей «самой читающей страной» Астафьев прочитан, никак нельзя. «К сожалению, — писал Валентин Курбатов, один из исследователей творчества писателя, —

мы были плохими читателями или просто слишком читателями, не истратившими в чтении сердца, и оттого история продолжает свою черную умерщвляющую работу. Но, слава Богу, книги эти есть, и мы не последний день живем на земле».

...но всё же, всё же, всё же...

Весной этого года я пришел в выпускной класс гимназии, в которой служу вот уже десять лет. Одиннадцатиклассники как раз «проходили» творчество Астафьева. Приближался День Победы, 80-летие писателя. Два часа я рассказывал детям фронтовую биографию Астафьева, историю создания его военной прозы. Меня слушали почти внимательно. А выслушав, спросили... скоро ли звонок.

Впрочем, я не совсем точен. И в этом «почти внимательно» нечто просило — и именно тогда, когда я рассказывал этим мальчикам и девочкам, привозимым в школу на мерседесах и внедорожниках, как осенью 1942 года, только-только закончив ремесленное училище, семнадцатилетний Виктор добровольцем ушел в армию. Я привел тогда следующую цитату:

«Весело катил я на “Ученке”, который задом вперед тащил паровоз, и шуровал в нем знакомый мне по ФЗО парень из кочегарской группы. День был лучезарный, мягкий. Станция встретила меня угрюмой, молчаливой подавленностью. Мне и трем пожилым рабочим с промучастка велено было заняться погребальными делами. На станции отцепили от поезда, идущего с эвакуированными из Ленинграда, ледник, набитый покойниками. Ближний Березовский совхоз выделил подводы и возчиков, мы наряжены были им в помощь. Я не стану описывать те похороны — о таком или всё, или ничего. Еще живы ленинградцы, перемогшие блокаду, и я не могу присаливать их раны, ковыряться в кровоточащем сердце, пусть и чернильной ручкой. Похоронами я был не просто раздавлен, я был выпотрошен, уничтожен ими и, не выходя на работу, отправился в Березовку, в военкомат — проситься на фронт» (из 2-й книги «Последний поклон»).

А через неделю один высоколобый юноша из этого класса показал мне свое сочинение, написанное по ранней повести Астафьева «Звездопад» — о подбитом на фронте сибирском мальчишке, мыкающемся по госпиталям в далекой Украине, о первой его любви. Сочинение меня потрясло своей серьезностью. Оно было продиктовано автору беззащитным неопытным сердцем. Так пишут только стихи.

Для рядового Виктора Астафьева война закончилась глубокой осенью 1945 года. А через четверть века, уже работая над романом «Прокляты и убиты», Астафьев напишет три военные повести, первая из которых названа по-астафьевски просто и ясно «Так хочется жить».

Работоспособность Астафьева всегда была очень продуктивной. И особенно в последние десять-пятнадцать лет жизни. Превозмогая обступавшие его хвори, он и за писательским столом в родимой Овсянке просиживал по 10-12 часов, относясь к художественному творчеству как к крестьянской работе — в России всегда самой тяжелой, самой изнурительной. Он все боялся, что не успеет написать свою войну: *«Нас, окопников, остается все меньше и меньше, мы выделяемся из среды многочисленных сегодня “участ-*

ников” войны и внешне, и внутренне. Упитанные, шумливые, крикливые, размахивающие портретами и флажками под дирижерской палочкой “серых кардиналов” и прочих вынырнувших из небытия вождей,— это не те, кто поднимался в атаку с матюками, кто грыз, ломая зубы, черные сухари, кто пил воду, окрашенную кровью убитых. <...> Когда нас было больше и мы были более организованные, упитанные “орденоносцы” не высовывались, вели себя намного скромнее».

Боже, сколько горечи в этих словах и какая за ними жизнь и судьба! Не удивительно, что в середине 90-х Астафьев скажет: *«Пишу же сегодня на одной злости — больше неоткуда брать силы»*¹.

Я и вообще не перестаю удивляться, и особенно после «Веселого солдата», откуда у этого поколения — у Василия Белова, Булата Окуджавы, Евгения Носова, Вячеслава Кондратьева, Константина Воробьева, поэтов Сергея Орлова, Михаила Дудина, Михаила Исаковского (всех и не перечислить!) после такой войны еще находились силы для жизни и творчества. У Ольги Берггольц, например, таких сил уже не оставалось. В начале 60-х я короткое время секретарствовал у Ольги Федоровны и видел, видел каждодневно, как стремительно уходила она, унося с собой в ту страшную бездну и свою комсомольскую юность, отравленную расстрелом первого мужа, поэта Бориса Корнилова, и свою блокадную молодость, тоже сотканную из утрат и потерь, и свою громкую послевоенную славу со всем золотом медалей и орденов... Ольга Федоровна всегда много, я бы сказал, запойно читала. Ей, человеку сугубо городскому, проза Астафьева (особенно его «Последний поклон») была сердечно доступна и понятна. Виктор Петрович, в свою очередь, знал и любил все ее блокадные стихи и поэмы. Я однажды уже писал об этом, но умолчал тогда, что в свое время, проездом будучи в Ленинграде, он отказался от предложения навестить Ольгу Федоровну. *«Зачем ей и мне наша встреча?» — сказал тогда Астафьев. — Я с Берггольц в Москве на писательских съездах встречался и разговаривал пару раз. И еще раз понял: поэт, особенно русский поэт, и его творения редко (а у нас и почти никогда) совпадают судьбами и даже биографией. Прав ведь был Экзюпери, как-то сказавший: “Ищите меня в том, что я пишу”*».

Кажется, не перестает искать Астафьева кинорежиссер Никита Михалков, чей короткий — всего тридцать пять минут экранного времени — фильм «Солдатская правда Астафьева» был показан в мае этого года на первом государственном канале. Картина была снята в 2000 году в Красноярском крае, в астафьевской Овсянке и долгие четыре года шла к своему зрителю. Говоря об этом фильме, мне хочется воспользоваться уже процитированными словами самого Астафьева — фильм *не просто поразил меня, я был им выпотрошен, уничтожен*, напивавшись потрясением, которое очевидно испытал сам Никита Михалков. Позже выяснилось: не я один — все мои друзья и знакомцы и здесь, в моем городе, и в Москве, и в Лондоне, и в Стокгольме и даже в Нью-Йорке. Я обзвонил всех и ото всех услышал: «Кто бы мог ждать от Михалкова такой режущей правды, такой прямой речи, такой боли». А гимназист, о котором я уже говорил здесь, назавтра на мой вопрос о

¹ «Русская мысль», № 4429. Париж, октябрь — ноябрь 2002.

фильме ответил: «Я не могу сейчас говорить об этом. Мой дед тоже ведь не вернулся с войны...»

Уж не знаю, читал ли Никита Михалков процитированное выше парижское интервью Астафьева, но фильм свой сделал в тон астафьевского голоса. А послушать этот голос всегда полезно: *«Надо не героическую войну показывать, а пугать ею — ведь война отвратительна!»* И далее: *«Мой самый тяжкий опыт — это война. И надо постоянно напоминать о ней людям, чтобы не забывали. Самое страшное — привычка к смерти. Человек должен постоянно помнить о смерти, приуготовляться к ней, но ни в коем случае нельзя к ней привыкать. Ведь я ничего в своих книгах о войне не выдумываю. Я все помню. Память, она действительно милосердна. Обычная жизнь многое стирает. Война мне лет десять снилась, потом перестала. Но в подсознании-то все осталось».*

Или вот еще: *«Трудно все-таки копаться в старых ранах, в кровоточащих ранах, и не надо бы уж так громко хвастаться тем, как трудно жилось народу нашему в войну и какой ценой досталась нам победа»².*

Астафев рассказывает, Михалков показывает — какой именно ценой: разговор с писателем в его деревенском рабочем кабинете в Овсянке то и дело прерывают кадры военной кинохроники, которую и без комментариев страшно смотреть. Однако режиссер комментирует и прозвучавшее, и показанное. И мы слышим признания человека, слава Богу, войной не опаленного, творчески успешного, сытого и богатого, всемирной славой — так мне показалось — не изувеченного. И шикарные интерьеры его квартиры сейчас, в эту минуту, когда он говорит нам об Астафьеве, не возбуждают (я надеюсь) в нас, больных и нищих, ни злобной зависти, ни лютой ненависти к его свободной и горькой речи:

— Я не знаю, кто из сегодняшних писателей так яростно и так откровенно написал о войне... В рассказе Астафьева есть вещи совершенно бесценные. Сколько воевало людей? Тридцать миллионов, допустим. И это тридцать миллионов войн. Это тридцать миллионов воспоминаний, запахов, потных рук, крови, своих историй, своих отношений с судьбой. Бегущий в атаку человек... Одному трет ногу сапог, и он занят этим. Другому... Вот воспоминания Астафьева! И первая его мысль там, на фронте: «Вот бы сюда мою бабушку». Почему? А ведь это так понятно. Это же потрясающе понятно! Совсем молодой мальчишка, для которого авторитетом была бабушка. Чтобы она поглядела, **что это такое** <... > чтобы она посмотрела, чего вообще на свете не бывает. На что люди способны в таком аду. Вот о чем рассказывает Виктор Петрович. Если просто вдуматься... Вот эти останки под гусеницами, под сапогами, под колесами машин... Ведь это был человек. У него была своя история. Свои мама, отец, прадеды, прабабки, любовь, неудачи, стихи, написанные или не написанные... И тогда возникает вопрос: а где же Бог? А как же?! Ну как же! И кто тогда найдет, узнает — здесь лежит человек, у которого есть имя, отчество, фамилия. А где-то кто-то не знает, что он, человек этот, вот здесь сейчас лежит... И это не поддается человеческому сознанию!

² «Русская мысль», № 4429.

В 1989 году на нашем ТВ демонстрировался документальный фильм об Астафьеве «Нет мне ответа». В этом фильме Виктор Петрович показан разным — читающим свою прозу, удящим рыбу на крутом берегу Енисея, выпивающим и поющим с гостями за праздничным столом, играющим с внуками, вслух размышляющим о современном состоянии человека, загубленной им природе, о нашей литературе, о своей судьбе и жизни и... о Боге:

«Я в общем-то и хотел бы верить в Бога, да не имею права. У меня нет для этого нравственного основания. Надо хоть немножко быть чистым. А я и в газете работал, наврал, и в армии служил, в людей стрелял, и в меня стреляли. Много всего было за мою жизнь. А к Богу приблизиться — тоже надо. А это ведь не в руководители пробиться, вступить в партию, выступать почаще на собраниях, глядишь — и ты уже там, наверху. Голова и душа должны работать не порознь, а совместно с сердцем».

Путь к вере для Астафьева оказался нешуточным и даже трагическим, потому что начался там, в окопах, на Днепре, на Буковинском плацдарме, где «пакостно ранит» солдата мелкими осколками кассетной бомбы, батальной мины и каменным крошечком прямо в лицо, но живым-то, живым, слава Богу, оставит. И мы знаем — и давно уже знаем: почему, для чего. И он уже с 60-го года, с первого своего военного рассказа «Солдат и мать» начнет свое многолетнее повествование о не вернувшихся из тех окопов на той войне. Начнет честно, страшно, благодарно и тем самым подарит всем им человеческое бессмертие, о котором сами-то они на той войне не думали и которого в боях не искали. Он отстоял их честь перед историей. Не изменив солдатской прямоте, всех их оплакал и вернул свежую горечь слез нашим давно высохшим на ветру лживого времени пустым глазам и словам.

Я всегда внимательно вчитываюсь в оставленные Астафьевым обстоятельные комментарии к собственным книгам. Из этих комментариев мог бы сложиться целый том, читать и перечитывать который чуткая душа может с особым чувством восторга, не забывая о том, что «все это» — литература, и ужаса и потрясения от того, что в этих астафьевских словах о своих книгах, о своей работе слышится **прямая человеческая речь** — ко мне, к тебе, к вам, ко всем нам обращенная из натруженного человеческого сердца. Астафьев очень дорожил этой живой перекличкой со своим читателем. Вот один только пример из комментария к «Проклятым и убитым»:

«Живет, точнее, уже доживает в городе Ирбите Свердловской области инвалид войны Бармин Николай Васильевич, мою книгу ему читали, когда он был уже почти слепой, но успел еще пляшуще-волнистым почерком написать: “Боже! Какую Вы глыбу солдатской правды выворотили и на гору в одиночку вывезли. Реквием по убитым русским солдатам”.

На войне Николай Васильевич угодил в ту самую — 2-ю Ударную армию Власова, которую не иначе Сталин у Бога украл. <...> Не вся 2-я армия ушла в плен вслед за своим командиром, кстати, Героем Советского Союза, чуть было маршалом не сделавшимся.

Была дивизия или две, командиры которых решили выходить из окружения по лесам и болотам. Они, эти несчастные дивизии, почти полностью погибли, большей частью от голода. “Но в лесу же человек по еде ходит!” — говорил

Николай Васильевич, и, зная эту “еду”, умея ее употребить, он, раненный в обе ноги, вышел из окружения. “Как вышел-то?” — “С Божьей помощью! С Божьей помощью!” — утверждает солдат Бармин, верующий в Царя Небесного.

К нему, ползущему по болотистому лесу, вышел раненный в ногу конь. Убитых было много, солдат набрал перевязочных пакетов, приблизился к коню, поговорил с ним, погладил, замазал глиной рану ему и тоже перевязал.

Тогда конь опустился перед человеком, чтобы тот взобрался на него, и поехали бедолаги на восход солнца. Солдат с конем все разговаривал, разговаривал шепотом, чтоб тот не останавливался, не упал бы. Кормились вместе на лужайках и болотинах. Однажды наткнулись на дорогу, на ней машина, без горячего, в кабине раненый шофер.

Какое-то время конь вез двоих раненых, но потом стал падать, и тогда второй раненый решил увезти, украсть коня, но конь не хотел идти за христопродавцем, засопровтивлялся, заржал, и злоумышленник решил застрелить конягу — чтоб никому.

У Бармина был с собой пистолет, он заставил напарника бросить оружие и покинул его, уехал. “Но кровью брата своего, слава Богу, сам себя не запачкал”».

В ответ на анкету журнала «Москва» в 30-ю годовщину победы над Германией Виктор Петрович Астафьев скажет, что, если бы не война, писать он начал бы раньше. А много позже уточнит: *«Войну я начал показывать еще в “Пастухе и пастушке”. С нее, почитай, я и начался как писатель, правда, поздно, почти в 50 лет. Я и вообще начал поздно писать — в тридцать лет. Несколько лет ходил в провинциальных писателях. С “Пастушкой” я все журналы и издательства прошел, нигде не хотели печатать. Все говорили: “Страшно. Как можно это печатать?” Но разве может такой критерий быть в литературе?!»*

«Писать о войне, о любой войне — задача сверхтяжелая, почти неподъемная, — скажет Астафьев, завершив свой последний роман о войне, — но писать о войне прошлой, Отечественной, и вовсе труд невероятный, ибо нигде и никогда еще в истории человечества такой страшной и кровопролитной войны не было. <...> Об этой войне столько наврали, так запутали все с нею связанное, что в конце концов война сочиненная затмила войну истинную».

У нас и в самом деле почти каждое историческое событие мифологизировано уже до полного неприличия. Виктор Некрасов в поздние годы жизни, уже в эмиграции, в Париже, попытался сделать письменный обзор советской военной прозы — художественной и мемуарной. Выводы его неутешительны. А ведь без его собственного романа «В окопах Сталинграда» и вообще могло не быть никакой правды о войне. Власть в этом случае очуталась поздно: в 46-м, сразу после выхода, роман удостоился Сталинской премии, и только в 70-х Некрасов подвергся жестокому политическому преследованию. Размышляя о судьбе Виктора Платоновича, В. Курбатов написал Астафьеву: «Нет у нас в заводе того, чтобы при жизни принести все цветы и доверчивые сердца — слишком невозвратно искажено лицо

³ «Русская мысль», № 4429.

народа, повреждены все центры, которыми он мог бы воспринимать истину». И Астафьев ответил с горькой прямоотой: *«А его уже нет, народа-то, а есть общество полудиких людей, щипачей, лжецов, богоотступников, предавших не только Господа, но и брата своего, родителей своих, детей предавших, землю и волю за дешевые посулы продавших».*

В начале 70-х я увидел на книжной полке своего дяди толстенную книгу под названием «9 мая 1945 года». Книга эта состояла из воспоминаний наших стратегов — маршалов и генералов. Дядя мой, Иван Алексеевич, двоюродный брат моего отца, воевал на Волховском фронте, на Ленинградском, позже на Брянском, Воронежском, Степном, объединившихся затем в 1-й Украинский (на всех этих фронтах повоевал и Виктор Астафьев), — и был на тех фронтах подбит изрядно. Так вот, в доме этого дяди и увидел я эту книжку.

— Дядя Вань, дай почитать!

— Положь взад, не нужна тебе эта книжка.

— Ну дай, дядь! Интересно же. Это же ваши командиры, они же вас в бой вели, в атаку...

— Ты еще мал и глуп и не видал жизни. В атаку нас водили мальчишки-лейтенанты. Бывали и капитаны безусые. За нашими спинами — заградотряды НКВД. Так вот... Я за всю войну на фронте видел: два раза майора — под Волховом, двух подполковников — при освобождении Киева и одного подполковника — под Варшавой. Да в Берлине двух полковников. А маршалов и генералов нам не показывали. Вернее, им — нас. Положь, говорю, книжку, не порть глаза, и так в очках ходишь!

Дядя мой был человеком честных правил. Ежегодно в День Победы он надевал свой довоенный еще выходной «пинжак», чисто брился и поливал себя «Шипром». Потом шел на рынок и покупал своей жене, тоже фронтовичке, огромный букет сирени и ландыши. Себе — «маленькую» и три бутылки пива, а к пиву — полную сетку вяленой воблы. И собирал гостей — меня с мамой, одноногого фронтового друга, потерявшего в блокаду всю свою семью. Еще приходила мамина сестра тетя Дуся, на дешевом платье которой красовались две медали — «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд». Заводили патефон. На стол подавался дядей Ваней сваренный студень, кислая капуста, соленые огурцы. Особого веселья не было. Под Клавдию Шульженко и Марка Бернеса все плакали, особенно мужчины. Мне было тогда лет восемь, и я уже ходил в школу...

— Виктора Петровича нет, — говорит Никита Михалков. — Но ни на минуту у меня не было ощущения потери, я ее не испытываю, потому что лично я Астафьева никогда не терял. И хочу сказать ему спасибо за то, что он жил, никем не желая казаться, и как писал, никем не желая казаться, так и остался для меня человеком, который никем не хотел казаться, а всегда был тем, кем был — живым и настоящим.

А вот как кончается то сочинение моего гимназиста: «Виктор Петрович Астафьев обладал тайной слов, действующих на сердце». И самое последнее: «Всё остальное не ложится на бумагу».

Все мы, и бывший советский народ, и народ теперешний, тоже, впрочем, советский, вступили в года 60-летия со Дня Победы. И было бы справедливым с высоких трибун вспомнить о том, что *«за годы войны на фронте расстреляли один миллион человек, осуждено военнопленных 994 тысячи, из них 150 тысяч по приговорам военных трибуналов было расстреляно — это пять дивизий полного состава. <...>*

Помню времена, когда многие воины-окопники, воины-страдалцы не носили наград, переклепывали фронтовые медали на блесны. Из солдатской медали “За отвагу” выходило две отличных серебряных блесны. В ту же пору началась торговля наградами, коллекционеры и пройдохи по дешевке их скупали, и когда двадцать лет спустя после Победы откованы были “брежневские” медали, многие вояки-окопники отказались их получить» («Затеси»).

О моей матери, эти окопы рывшей, власть позабыла. Но дядю Ваню вспомнила: в 47-м нашел его орден Красной Звезды, а в 48-м — Великой Отечественной войны, уже не помню, какой степени. А на вручение медали «За отвагу» в своем трампарке им. Коняшина дядя пришел «выпимши», там добавил еще — «в буфете». И пару-тройку слов сказал «товарищам коммунистам».

Но это уже «не ложится на бумагу»...

ДВА СТРАННИКА

Ты можешь залететь и в рай,
Ты можешь быть и преисподней;
Там темно...

А. Вельтман. Странник

Когда-то в 60-х годах Давид Самойлов написал одно философически тонкое и замечательно свободное стихотворение. Стихотворение — словно возвращенное под открытым небом, раздумчивое и страстное, смиренномудрое, но и мелодически звучное; впитавшее дух весны с такой силой акварельной полноты, что самый воздух пейзажного слова — вездесущий и прозрачный — почти слышимо в нем звенит и почти зримо зыблется. Там, внутри стиха, клубится и ткется такое глубокое впечатление поэта от явления воли и любви среди не слишком вольной, но вдохновенно не сдающейся жизни, что впору говорить о зрячей душе этого стиха и о той веселорассудительной мысли, что принимает жизнь как полноту многоголосья и почти никогда не срывается в недовольство «законами существенности».

Пора, однако, стихотворение это назвать и читателям его напомнить. А так как речь в дальнейшем пойдет у нас именно и только о нем, представляется нелишним привести его целиком. Итак, «Пестель, Поэт и Анна».

Там Анна пела с самого утра
И что-то шила или вышивала.
И песня, долетая со двора,
Ему невольно сердце волновала.

А Пестель думал: «Ах, как он рассеян!
Как на иголках! Мог бы хоть присесть!
Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть.
И молод. И не станет фарисеем».
Он думал: «И конечно, расцветет
Его талант, при должном направлении,
Когда себе Россия обретет
Свободу и достойное правленье».
— Позвольте мне чубук, я закурю.
— Пожалуйте огня.
— Благодарю.

**Владимир
ХОЛКИН**

— родился в 1946 г. в Приморье. Закончил режиссерское отделение Ленинградского института культуры. Статьи и проза публиковались в журналах «Звезда», «Континент», «Нева», «Новый мир», «Русская литература». Живет в Великом Новгороде.

А Пушкин думал: «Он весьма умен
И крепок духом. Видно, метит в Бруты.
Но времена для брутов слишком круты.
И не из брутов ли Наполеон?»

Шел разговор о равенстве сословий.
— Как всех равнять. Народы так бедны, —
Заметил Пушкин, — что и в наши дни
Для равенства достойных нет условий.
И потому дворянства назначение —
Хранить народа честь и просвещение.
— О да, — ответил Пестель, — если трон
Находится в стране в руках деспота,
Тогда дворянства первая забота
Сменить основы власти и закон.
— Увы, — ответил Пушкин, — тех основ
Не пожалеет разве Пугачев...
— Мужичий бунт бессмыслен... —
За окном

Не умолкая распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдована
Бараньей шкурой, хлебом и вином.
День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца.
И голос был высок: вот-вот сорвется.
А Пушкин думал: «Анна! Боже мой!»

— Но, не борясь, мы потакаем злу, —
Заметил Пестель, — бережем тиранство.
— Ах, русское тиранство — дилетанство,
Я бы учил тиранов ремеслу, —
Ответил Пушкин.

«Что за резвый ум, —
Подумал Пестель, — столько наблюдений
И мало основательных идей».
— Но тупость рабства сокрушает гений!
— На гения отыщется злодей, —
Ответил Пушкин.

Впрочем, разговор
Был славный. Говорили о Ликурге,
И о Солоне, и о Петербурге,
И что Россия рвется на простор.
Об Азии, Кавказе, и о Данте,
И о движении князя Ипсиланти.

Заговорили о любви.

— Она, —
Заметил Пушкин, — с вашей точки зренья
Полезна лишь для граждан умноженья
И, значит, тоже в рамки введена. —

Тут Пестель улынулся.

— Я душой

Матерьялист, но протестует разум. —

С улыбкой он казался светлоглазым.

И Пушкин вдруг подумал: «В этом соль»

Они простились. Пестель уходил

По улице разъезженной и грязной,

И Александр, разнеженный и праздный,

Рассеянн в окно за ним следил.

Шел русский Брут. Глядел вослед ему

Российский гений с грустью без причины.

Деревья, как зеленые кувшины,

Хранили утра хлад и синеву.

Он эту фразу записал в дневник —

О разуме и сердце. Лоб наморщив,

Сказал себе: «Он тоже заговорщик.

И некуда податься, кроме них».

В соседний двор вползла каруца цугом,

Залаял пес. На воздухе упругом

Качались ветки, полные листвою.

Стоял апрель. И жизнь была желанна.

Он вновь услышал — распевает Анна.

И задохнулся:

«Анна! Боже мой!»

Язычески жизнелюбивое, но вместе и душевно зоркое — стихотворение это написано не только о явлении любви погожему весеннему утру; написано оно и о том, как встретились и о чем говорили этим утром два русских человека: «человек жизни» и «человек идеи». И в этом смысле — и мы намерены осторожно проверить это — проблематика самойловского стихотворения, не впрямую, конечно, а окольно и слегка туманно, но все-таки внятно наследует, как ни странно это покажется, проблематике «Моцарта и Сальери». Наследует, разумеется, не в нравственном или эстетическом, а лишь в метафизическом и психологическом своем изводе. В возможной ассоциативной связи с «маленькой трагедией» Пушкина находятся и некоторые сюжетные приметы самого истока этого стихотворения Самойлова. Так, покровительственный тон Пестеля, впечатление легкого раздражения от «рассеянности» Пушкина заставляют, на наш взгляд, вспомнить Сальери, раздраженного смешливой беспечностью Моцарта, способного великодушно умиляться вдохновенной нелепостью жизни. Гневный ответ Сальери так искренне высокопарен, так вознесен в «высокий штиль» и исполнен такого искреннего пафоса, что несообразность, несообразность события и вывода из него кажется вполне гротескной:

Мне не смешно, когда маляр негодный

Мне пачкает Мадонну Рафаэля,

Мне не смешно, когда фигляр презренный

Пародией бесчестит Алигьери...

Близкое по тону, несоответствие «низкого» предмета и «высокого», почти высокопарного комментария явно сквозит и во внутренней речи самойловского Пестеля. Эта ассоциативная, внутренне сюжетная связь с пушкинскими *сценами*, это косвенное, философско-психологическое им наследование неявно, но настойчиво обнаруживается уже в самых начальных строфах *сцены* самойловской.

Примечательно, скажем, что и само «учительское» наблюдение Пестеля («но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть...») — и его оценивающая поощрительность («и молод, и не станет фарисеем»), и его беспрекословное заключение об условиях («должное направлень и... достойное правлень»), при которых поэт может состояться как творец, — следует, как кажется, путем логики Сальери. Оно, будто по короткой касательной, сопряжено смыслом и тоном как с одержимо вопрошающим недоумением о неуправляемом «гуляке праздном», так и с верой в непогрешимость «поверки алгеброй гармонии», так и, конечно, с праведным рвением подвижника вернуть правду не только на землю, но и выше.

Это — абсолютного, поэтического и историко-культурного слуха — стихотворение Самойлова толкует о первой встрече Пушкина с Пестелем в апреле 1821 года и о разговоре, что неспешно протек в «упругом воздухе» провинциального, но отнюдь не тихонравного Кишинева («...В нашей Бессарабии в впечатлениях недостатку нет. Здесь такая каша, что хуже овсяного киселя»¹). Толкует вольно, но бережно и чистозвучно. Основанием его стала запись из пушкинского дневника: «9 апреля. Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. Сердцем я материалист, говорит он, но мой разум этому противится. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...»

Здесь попробуем пока отдельно взглянуть в эту почти повисшую в воздухе, явно не завершенную пушкинскую фразу об оригинальном уме. Взглянуть попристальней, чтобы успеть проникнуть в смысл чувств и слов фраз Пестелевых, звучащих у Самойлова внятно и достоверно. Итоговое — целостное — наблюдение Пушкина Самойлов намеренно дробит, осложняя и уточняя его психологически: «Он весьма умен и крепок духом / Видно метит в Бруты... / И не из брутов ли Наполеон». Такое интуитивно вещественное раскрытие смысла пушкинского вывода оказывается вполне сообразно не только поэтическому (отчетливо у Самойлова пристрастному) толкованию психологического образа Поэта, с его зоркостью и весело-скептической иронией, но многое правдивое говорит и о самом Пестеле.

Начать с того, что Самойлов, чтобы выявить самую сердцевину образа, парадоксально сводит воедино имена римского тираноборца и европейского тирана, имя поборника справедливости и свободы с именем единоличного «властителя полумира». И дело тут, конечно, не в общедоступных исторических сопоставлениях и, уж тем менее, во внешней (издавна отме-

¹ А. С. Пушкин — А. И. Тургеневу, 23 марта 1821 года. Цит. по: А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в шести томах. Т. 6, М.: ГИХЛ, 1936.

ченной) похожести Пестеля на Наполеона. Картина личности мятежного полковника, какой она предстает у Самойлова, укоренена не только в поэтической догадке, но и в глубокой культурной осведомленности и реальном знании «душевного склада» своего персонажа. Потому-то догадка не только кажется убедительной, но и оказывается правдивой.

Смысл же ее, согласно контексту стихотворения, состоит в том, что Пестель как «человек идеи» — это, прежде иного, человек неистово искренний, а потому прямодушный и мыслитель истово верующий, а потому — не сомневающийся. Но верующий, в отличие от Наполеона, не в действительность и силу собственного таланта, а в идею и крепость духа; и искренний не только в чувстве абсолютной собственной правоты, но и в признании превосходства разума-идеалиста, победно сопротивляющегося материализму сердца. Сходным образом разнится Пестель и от Бруга — человека, который стал невольником кружкового дружества, инструментом губительного заговора и принес смерть другу душевно-личному.

Пестель же убежденно числит себя конструктором идейно грандиозного замысла, а не его верным исполнителем (пусть даже вдохновенным). Причем конструктором одиноким и над миром российской действительности вознесенным, и потому от любых, даже дружески кружковых связей не зависимым и от любых сердечных (т.е. материалистических) обязательств абсолютно свободным. Ибо страстная вера в идею и крепость духа, свободного от прихотей материи, искупает, по Пестелю, многие грехи против этических уставов всего «человеческого, слишком человеческого». Оттого-то все его стихотворные реплики так стройны и загодя непререкаемы. Здесь важно подчеркнуть, что многие «метафизические, политические, нравственные и проч.» убеждения Пестеля носят характер не уверенности, а веры. Он именно верует как в идею равенства и справедливости, так и в идею «достойного правления», которое — вожделенное — он и избран идеальное осуществить.

Проникаясь всеми этими смыслами Пестелевой души, постепенно приходишь к предположению, что мысль Пушкина о сопоставимости или сходстве такого человека с Наполеоном и Брутом относительно и носит скорее характер меткой, грустно-усмешливой метафоры. Потому что по силе иступленной веры и напряженному чувству избранничества, по яростному стремлению к справедливости и неподдельно искренней нетерпимости, Пестель Самойлова во многом сродни все-таки именно пушкинскому Сальери, страстно и, без трепета сомнений, верующему в свое предназначенье.

Однако сочиненный вслед пушкинской дневниковой записи, самоеловский стихотворный разговор выразителен не только острой психологической чуткостью и отменно высоким поэтическим вкусом. Несет он в себе и явственный вкус возможного сродства времен — вкус современности и предположений. Предположений по возможности исторически строгих, но и неизбежно увлеченных эвристически. Так, завершающее психологическое впечатление пушкинской заметы преобразуется в стихотворении откровенно иносказательно и анахронично, однако вполне соотносится с общественными умонастроениями российской, 60-70-х годов двадцатого века, творчески совестливой, но реалистически мыслящей фронды:

...но времена для брутов слишком круты.
И не из брутов ли Наполеон?

В предпоследней же строфе насмешливо созерцательная ирония первого знакомства, пройдя все искушения долгого разговора, меняется у Пушкина на смиренное обнаружение пути Пестеля как строго обдуманного и единственно возможного. Или даже скорбно неизбежного — во всяком случае, кажущегося таким не только угрюмо деятельному парадоксалисту, но и его восторженно праздному собеседнику:

...И некуда податься, кроме них.

Но, сквозь иронию озабоченности политически насущным, в тоне этой реплики и настойчиво просвечивает грустная озабоченность не столько судьбой Пестеля, сколько судьбой собственной историко-философской мысли, собственного жребия, собственного выбора. Слышится печаль понимания: заговор грядет, грядет неуклонно. Но печаль не тоскливая, а умудренная и спокойная. Тем более что в эту, кишиневскую, пору участливые «славяно-братские» чувства Пушкина устремлены были в другую от России сторону — а именно в сторону Молдовы, где в том самом 1821 году православные подданные Османской Порты под водительством князя Александра Ипсиланти² подняли восстание, послужившее сигналом к началу Греческой национально-освободительной революции. «Первый шаг Александра Ипсиланти прекрасен и блистателен»³. На той же — за 9 апреля — дневниковой странице читаем: «Вчера князь Дм. Ипсиланти⁴ сказал мне, что греки перешли Дунай и разбили корпус неприятельский». За безыскусное удовлетворение, звучащее в этом сообщении, ручается явно не случайно пристрастное прилагательное «неприятельский».

В Бессарабии Пушкин пребывал не по своей воле, жил торопливо и нервно, однако и это «не своевольное» время проводил любознательно, переимчиво, а порой и азартно. И отнюдь не взаперти. И совсем не в одиночку. Дни его были многолюдны и далеко не всегда проходили в домашней тишине. Он и здесь, по всегдашнему своему обыкновению, был пылко общителен, жаден порой даже до диковинных (вроде благотворительных посещений местного острога) встреч и, конечно, не прочь ни от балов, ни от зеленого сукна, ни от шальных кутежей, ни даже от дуэлей, до которых его же собственных дерзость, насмешки и колкости и доводили. Декабрист Николай Басаргин вспоминал после: «...он служил тогда в Бессарабии при генерале Инзове <...> знаком я с ним не был, но в обществе раза три встречал. Как человек он мне не понравился. Какое-то бретерство, высокомерие,

² Александр Ипсиланти (1792-1828) — генерал-майор русской армии, основатель и руководитель греческой революционной организации «Филики Этерия» («Дружеское общество»), 1814–1821.

³ А. С. Пушкин — В. Л. Давыдову, март 1821 года.

⁴ Ипсиланти Дмитрий (1793-1832) — офицер русской армии, с 1821 в Греции как представитель «Филики Этерии», в 1828 — главнокомандующий войсками Восточной Греции в ходе Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 гг.

зазнайство и желание осмеять, уколоть других. Тогда же многие из знавших его говорили, что рано или поздно, а умереть ему на дуэли. В Кишиневе он имел несколько поединков, но они счастливо сходили ему с рук»⁵.

Но доброй половиной входили в круг его жизни и одинокие труды (написан «Наполеон», ода «К Овидию», завершен «Кавказский пленник») и многие, в тиши кабинета, разговоры с умными собеседниками. Кишиневская же, не чаянно значительная встреча с Пестелем обернулась для Пушкина сюжетно значащим загибом судьбы лишь пять лет спустя — в июле 1826-го. Обернулась, чтобы, захлестнувшись петлей в рисунке «о пяти повешенных», чернеть с тех пор на полях рукописи жутковатыми чернильными потеками, напоминая об этом разговоре не столько с «нравственной» его стороны, сколько со стороны «политической». Но тогда, в апреле 1821 года, до кронверка Петропавловской Пестелю было еще далеко: почти вдвое дольше, чем от варшавской 1818 года «конституционной» речи Александра Первого.

Ко времени же той первой встречи с Пушкиным бывший кавалергард, а теперешний гусарский полковник Пестель, командированный в Бессарабию для сбора сведений о греческом восстании, был уже политическим мыслителем и законоведом стойко радикальных убеждений. Но и упорным делателем, единоличным руководителем, спешно основавшим (март 1821 года) Южное общество — собрание гораздо решительнее предпринимчивое, нежели общество Северное, на московский съезд которого Пестель — будучи, по слову И.Д. Якушкина, слишком «крайним» — не был даже приглашен. Что, собственно, и послужило поводом для помянутого спешного основания. Пестель твердо и — как единоличный же автор — с неколебимым честолюбием готовил в те поры вторую, окончательную, редакцию «Русской Правды». Той самой «Русской Правды», где свод будущих российских законов предстал непреклонно державным и одновременно жестко эгалитарным. Той самой, где тесно переплелись, где слились воедино идеи республики и диктатуры.

Оттого и чувствует себя Пестель в этой психологически правдивой стихотворной беседе уверенным, чуть высокомерным знатоком, что в стане идей у него все уже решено. Оттого и кажется радательным, но строгим наставником непоседливого ученика, когда жестковато сожалеет про себя: «...столько наблюдений, и мало основательных идей».

В том же кишиневском дневнике 1821 года, в краткой записи от 26 мая есть и еще одно (не в пример предыдущему, совсем крохотное) упоминание о встрече с Пестелем. Но замечательна запись не только отметкой об этом визите. Она выразительна, во-первых, обилием имен, внятно говорящим о щедрости приятельских связей молодого Пушкина, а во-вторых, зримо свидетельствует о живописной густоте образа, ритма и способа его тогдашней жизни. Запись эта настолько же мала и суха, насколько содержательно для Пушкина обиденна: так вообще проходят его кишиневские будни (этот просто чуть более многолюден, ибо это день его рождения). Вот эта запись, ее стоит привести полностью: «26 мая. Поутру был у меня Алексеев. Обе-

⁵ Н.В. Басаргин. Записки — в кн.: Мемуары декабристов. Южное общество. М.: МГУ, 1982. С.28.

дал у Инзова. После обеда приехали ко мне Пушкин, Алексеев и Пестель; потом был я в здешнем остроге. Н.В. Тарас Кирилов. Вечер у Крупенских».

Здесь сквозь простое перечисление просвечивают многие пристрастия и вкусы тогдашней и тамошней пушкинской жизни — просвечивают как яркие события умственной или душевной, светской или дружеской значимости. Начать с того, что почти каждому участнику этого списка Пушкиным посвящены стихотворения. Таковы, например, Алексеев, Пушкин или некоторые члены семейства кишиневского вице-губернатора Крупенского. Пестель, в отличие от этих — весьма приятных Пушкину — людей, отдельного стихотворного посвящения, правда, не удостоился. Но зато событие этой встречи заняло философски значительное место в сокровенном дневнике Пушкина как единственное (за исключением письма Чаадаева) заслужившее пространный отзыв явление дня. Именно как такое оно и было подробно (по пушкинским меркам) запечатлено на дневниковой странице. А дни, как видим, были постоянно полны встреч, застолий, споров и бесед всякого, в том числе и высокоумного, рода.

Каждое из названных имен означает еще и особую черту круга пушкинского общения, состоящего из большого числа персонажей, ступеней и граней. Один из этих людей — Николай Степанович Алексеев — был близким приятелем поэта и мнимым соперником в любви (о чем, собственно, и написано стихотворение «Алексееву»). Второй — генерал Павел Сергеевич Пушкин — основатель в Кишиневе масонской ложи под названием ««Овидий» № 25», в которую он лично как «мастер» и принимал Пушкина 4 мая 1821 года. Именно к нему обращено и именно вслед этому важному духовному, равно как и душевному происшествию написано стихотворение «Генералу Пушкину». О важности этого события для самого Пушкина говорит и скупая, без лишнего, запись в том же, во многом сокровенном, дневнике: «4 мая был я принят в масоны». Упоминание же в майской дневниковой записи имени Тараса Кирилова рядом с упоминанием о посещении острога — тоже своего рода отличительный знак⁶.

Но значение этих имен для разговора о стихотворении Самойлова не стоило бы преувеличивать, если бы не их примечательная содержательность. Содержательность, которая состоит, в частности, и в том, что имена этих кишиневских знакомых Пушкина не только приоткрывают некоторые темы их с Пестелем беседы, но и свидетельствуют о том, что темы эти для Пушкина были не внезапны и что поэтому разговор и начинался и вышел не случайным.

Если же вдобавок учесть, что пребывание Пушкина в Кишиневе совпало с происшествием греческого восстания во главе с Александром Ипсиланти, то интерес к визиту Пестеля был естественен, а разговор с ним наедине и в самом деле, наверное, оказался «славным» — и плодотворным, и обильным и изрядно спорщицким:

⁶ Пушкин навещался туда постоянно, чтобы посылить утешать и облегчать участь узников. Многие из них были расположены к нему, делясь порой самым потаенным. В частности, этот самый Тарас Кирилов посвятил Пушкина в план будущего побега.

...Говорили о Ликурге, и о Солоне, и о Петербурге...

Здесь, за простым — хотя и мастерски поэтическим — перечислением предметов разговора проступает еще и почти внятный портрет Пестеля. Портрет неутомимого *законотворца*, решительно рвущегося в верховные *законодатели*. Портрет будущего «верховного правителя», что уверенно предполагает радеть о «расцвете талантов» в обретшей «достойное правленье» России. Радеть беспрестанно, неукоснительно, со всем возможным тщанием. В полном соответствии с тем, что полагал Пестель исторический: «...Надзор за книгопродавцами, типографиями, театральными представлениями и обращением книг, журналов, мелких сочинений и листов...»⁷ Именно таков и портрет «кисти Давида Самойлова» — портрет человека, непреложно цель себе полагающего; человека убеждений непреклонно дельных и челом никому, «понеже и Господу Богу» бить не намеренного. Но человека всесторонне образованного и, повторим, российскую словесность располагающего твердо поощрять и без внимательного призора не оставить.

Так в стихотворении Самойлова за первыми же обсуждаемыми именами явственно проглядывают и предметы, занимавшие мысли Пестеля многие годы. Имена Ликурга и Солона являют собой столь определенные исторические знаки, что бесспорной кажется догадка Самойлова — такая именно беседа и скрыта в пушкинском дневнике за общими словами: «Мы имели с ним разговор метафизический, политический, нравственный и проч.». Безукоризненный выбор событий и имен позволяет Самойлову расставить отчетливые знаки личностных предпочтений и пристрастий каждого из собеседников. Так что «портрет убеждений» будущего диктатора вырисовывается не только благодаря репликам собственно Пестеля — но выпукло проступает и на фоне пушкинских вопросов.

— Как всех равнять? Народы так бедны, —
Заметил Пушкин, — что и в наши дни
Для равенства достойных нет условий...

Первый же из вслух заданных Пушкиным вопросов отсылает читателя к предположению, связанному с именами двух античных законодателей. В особенности же, Солона, запретившего концентрировать земельную собственность в одних руках и, по выражению Достоевского, «измельчившего» ее⁸. Подобным же образом предполагал править землей и Пестель. С той, однако, разницей, что половина всех угодий должна была неотчуждаемо принадлежать государству. В прочем же, все землевладельцы, так же как и все подданные «единой и неразделимой России», где «все племена должны слиты быть в один народ» и где сословия уничтожаются, должны быть одинаково равны: «...Временное Верховное Правление <...> беспрестанно должно непременною целью иметь в виду, чтобы составить из них всех только *Один* Народ и все различные оттенки в одну общую массу

⁷ П.И. Пестель. Русская правда — в кн. «Восстание декабристов», М.: Госполитиздат, 1958. С. 232.

⁸ См.: Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. ПСС Т. 24. Л.: Наука, 1982. С. 87.

слить так, чтобы обитатели целого пространства российского государства все были *Русские*»⁹.

Не случайно и появление в разговоре имени Ликурга. О легендарном спартанском законодателе заставляют вспомнить иные положения «Русской Правды»: «...Наконец, гражданские законы могут быть в целом пространстве государства одни и те же потому: 1) что истина политическая, будучи истинною нравственною или отвлеченною везде одна и та же; 2) что нравы народные везде зависят от веры и правительства... 4) что самые действительные наставники народов суть законы государственные: они образуют и, так сказать, воспитывают народы, и по ним народы нравы, обычаи, понятия, вид свой и деятельность свою получают. От них исходит направление умов и волю; и потому утвердительно сказать можно, что политические и гражданские законы содействуют народы таковыми, каковыми они суть»¹⁰.

Добавляет пушкинский вопрос ясности и к сведению о честолюбивых занятиях Пестеля по устройству нового свода российских законов. Ибо многие положения и постулаты, вошедшие в его «Записку о государственном правлении», были обдуманы и написаны уже в 1819 году. В частности — обстоятельный устав «Государственного приказа благочиния», где подробно разработаны положения о тайной и явной слежке за гражданами: «Обязанности Вышнего благочиния состоят главнейше в следующих... предметах. <...> Узнавать, как располагают свои поступки частные люди: образуются ли тайные и вредные общества, готовятся ли бунты, распространяются ли соблазн и учение, противное Законам и вере, появляются ли новые расколы и, наконец, происходят ли запрещенные собрания и всякого рода разврат»¹¹. Так что к апрелю 1821 года все эти планы решительно конституционно-монархические и «благочинные» в миросозерцании Пестеля совершенно утвердились и готовы были развиваться (и развились-таки) еще решительней в сторону всевидящей республиканской диктатуры.

Итак: вопросы и рассуждения вслух двух кишиневских собеседников 1821 года на пространстве стихотворения Давида Самойлова:

Шел разговор о равенстве сословий.

— Как всех равнять? Народы так бедны, —

Заметил Пушкин, — что и в наши дни

Для равенства достойных нет условий.

И потому дворянства назначение —

Хранить народа честь и просвещение.

Пушкин здесь высказывается со всей ясностью зрело, исчерпывающе и вполне сообразно реальному положению вещей — как в социуме, так и в культуре. То есть, прибегая к философскому богатству Пестелева парадокса, можно сказать, что высказывается он, как именно «матерьялист» — но «матерьялист» лишь разумом, сердце же неисчислимо богаче и к жизни много ближе. Ответ Пестеля — это ответ идеологиста, то есть знатока идеи.

⁹ П.И. Пестель. Указ. соч. С. 149.

¹⁰ П.И. Пестель. Указ. соч. С. 138.

¹¹ П.И. Пестель. Указ. соч. С. 230.

Так же, впрочем, как и глашатая идейного слова, и упорного деятеля. Ответ человека, идею не только исповедующего, но и ею одержимого:

...если трон
находится в стране в руках деспота,
тогда дворянства первая забота
сменить основы власти и закон.

В строгом пестелевском умозаключении сквозят логика и страсть «Русской Правды». Ибо, в первую голову, это документ отгоченной, целенаправленно заостренной логики. Но и необоримой страсти. Страсти не только к утверждению нового порядка в стране, но и к самоутверждению. И именно поэтому мы слышим одновременно и изложение мировоззрения, и исповедание веры, и исповедь как таковую.

— Увы, — ответил Пушкин, — тех основ
Не пожалет разве Пугачев...

Пушкинская реплика не только блестяще остроумна и глубокомысленна. Это ответ весело усмешливого скептика, уставшего от пылких голосов о «первых заботах дворянства». Молниеносная отповедь неустанному энтузиасту, обуянному замыслами преобразовать неопрятную монархию в образцовую дворянскую республику. Ответ широко исторически сведущего реалиста целеустремленно жесткому романтику и честолюбивому идеалисту. Такое настроение Пушкина подтвердится в стихотворении дальше — в последнем внутреннем отклике, что итожит беседу отчетливо иронично:

...Он тоже заговорщик, и некуда податься, кроме них.

Итак, Пестелем руководила не только любовь к чести, но и любовь к власти. Уже самый начальный (второй) параграф введения в основные понятия «Русской Правды» озаглавлен так: «Разделение членов общества на повелевающих и повинующихся». Гласит же он, в числе иного, и вот что: «...Нравственное превосходство одного или нескольких членов общества соглашает все... затруднения и увлекает за собой прочих силою своего превосходства, *к которому содействуют иногда и другие посторонние обстоятельства*...»¹² Сие разделение (т.е. на повелевающих и повинующихся. — В.Х.) неизбежно, потому что происходит от природы человеческой, а следовательно, везде существует и существовать должно. На естественном сем разделении основано различие в обязанностях и правах тех и других»¹³.

И вновь уставной довод Пестеля о благе состояния страны заставляет вспомнить страстные рассуждения Сальери о благе состояния искусства:

Нет! не могу противиться я доле
Судьбы моей: я избран, чтоб его
Остановить — не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой...

¹² Курсив мой. — В.Х.

¹³ П.И. Пестель. Указ. соч. С. 113.

«Остановить» здесь тоже значит: решительно и безвозвратно «сменить». Свергнуть с трона «деспота», «сменить основы власти и закон» для всех «служителей музыки». И так же, как Сальери, Пестель тоже судьбой избран, предназначен и тоже «доле противиться не может», не хочет и, как мы знаем, не станет. И в этом смысле судьбы пушкинского Сальери и самойловского Пестеля — трагичны. О предчувствии трагической судьбы «русского Брута» в стихотворении Самойлова написано обиняком, но прозрачно:

...Шел русский Брут. Глядел вослед ему
Российский гений с грустью без причины...

Возвращаясь же к магистральной поглощенности Сальери и Пестеля построениями властолюбивого ума, можно основательно предположить, что как люди разума оба они одинаково глухи и к слишком неровному строю музыки жизни, и к ее разноголосому шуму: к ее пению, запахам, краскам и к ее... *праздности*. Их завораживает «музыка» идеи и долг высшего предназначения, пафос «верховного правления» и необходимость прямого «вышнего» деяния.

Вторая половина строфы, идущая сразу вслед за высказыванием Пестеля об идее бессмысленности «мужицкого бунта», резко обрывается в самую что ни на есть стихийную «мужицкую» жизнь, в радость прибывающего полнотой дня и музыки человеческого голоса:

...За окном,
Не умолкая, распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдована
Бараньей шкурой, хлебом и вином.
День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца...

Явившиеся в начале стихотворения простым женским рукодельем и песней рисунок и звук жизни здесь уже вполне развиваются в сложную живопись и мелодию. Эти живопись и мелодия являют собой ликующий фон разговора, высвечивают его. Больше того, законная музыка дня звучит как контрапункт этой рассудительно думной беседы, образным своим тоном резко от нее самой разнящийся. Но фон не только разнится от беседы и не только ее высвечивает. Дело в стихотворении идет еще и том, что звуки, запахи, цвет и вкус шумящей за окном жизни слышит, обоняет и видит только один из собеседников. А именно Поэт. Для Другого же мир, что звучно, красочно и духовито простирается за окном, — не видим, не слышим и не обоняем. Пестель его не примечает. Оттого не примечает, что мир не достоин его, сколь ни будь внимательного взора. И не то чтобы вызывал отвращение, нет, все проще и сложнее: обыденный мир «низкой натуры» не подвластен порядку. Оттого он Пестелю и не является. А поскольку «человек идеи» реальному миру не внемлет, тот для него не обнаруживается и внятным не предстает. Ибо ни его звуки, ни его краски, ни его запахи ничего полезного не добавляют ни к самому разговору, ни к «нравственным, политическим и метафизическим» идеям. Напротив, отвлекают, мельчат и нарушают. И потому внутрь слуха, зрения и, тем более, сердца допущены быть не могут: об этом-то, собственно, и заботится «протестующий» разум.

Для зачарованного умозрительной идеей героя мир этой жизни ни существенным, ни плотским, так сказать, не является, он ему не слышен.

Душа самоейловского Пестеля не способна к совокупно целостному восприятию мира, к принятию его как сложно сочиненного и гармоничного. Способность эту исправно подавляет в ней взыскующий порядка разум. То есть чувственно мир, конечно, для героя материален, но разум этому успешно противится. И в конце концов полностью побеждает. Победа над звуком и цветом жизни оказывается возможной потому, что мир предстает герою лишь как несовершенное социальное пространство, требующее совершенного переустройства. Мир волнует Пестеля не невольно и случайно, а избирательно и поволенно — да и то лишь как объект приложения идеи. Так гармония поверяется алгеброй, а уморожденная идея глохнет к стихии живой жизни.

...Заговорили о любви.

— Она, —

Заметил Пушкин, — с вашей точки зрения

Полезна лишь для граждан умноженья

И, значит, тоже в рамки введена...

Это пушкинское замечание представляет собой почти буквальную цитату из строгого положения о супружестве: «Брак есть сочетание двух лиц разных полов, с целью народонаселение умножить и детей породить»)¹⁴.

Однако именно в ответ на эту безошибочно едкую пушкинскую шутку Пестель впервые за все время стихотворной беседы улыбается. И именно в ответ на шутку звучит, наконец, полностью его глубокий, но удручающий и ясный парадокс:

Тут Пестель улыбнулся.

— Я душой

Матерьялист, но протестует разум. —

С улыбкой он казался светлоглазым.

И Пушкин вдруг подумал: «В этом соль!»

И, по всему кажется, что *так* «вдруг подумал» не только герой стихотворения, но и сам Давид Самойлов. Ведь здесь и читателя внезапно поражает догадка о природе Пестелевой души как *подневольной*. И эту зависимость собственной души от разума, ее подчиненность идее отчетливо понимает и Пестель пушкинского дневника, и Пестель самоейловского стихотворения. Однако по сердцу, предусмотрительно «введенному в рамки», не скорбит — лишь глубокомысленно и парадоксально острит на его счет. Так носитель протестующего разума, пренебрегающий душой, неизбежно оказывается не только беспрекословным этого разума подданным, но и вдохновенным данником владычицы-идеи. Иначе говоря, попадает в фатальную зависимость и свободным быть перестает. Поэтому пушкинское открытие: «В этом соль!» — и знак проникновения в суть Пестелевой личности, и знак сочувственного понимания сути ее трагической обреченности.

¹⁴ П.И. Пестель. Указ соч. С. 194.

Но в этом сочувствующем понимании таится еще и восхищение «одним из самых оригинальных» умов, и вместе с тем опаска перед деятельностью человека, «метящего в Бруты». Так что «грусть без причины» у Самойловского Пушкина имеет еще и это происхождение.

И здесь опять брезжит дух Сальери, «разум» которого тоже «протестует» против правды сердца-материалиста, предпочитая ей «вышний порядок», идею и зов к свершению «тяжкого долга». И кажется, что Пестель в стихотворении Самойлова следует этой же логике «осознанной необходимости» — правда, пока в обстановке «свободного обмена мнениями», а не в порыве идейно праведного деяния:

Но, не борясь, мы потакаем злу, —
Заметил Пестель, — бережем тиранство.

Ответ Пушкина — скорый и острый — и насмешлив, и горек, и мудр. Саркастически яркий его экспромт прицельно сбивает резонерски тяжеловатую серьезность Пестеля. Это ответ не просто мастера слова — но неунывающего *мастера и умельца жизни*: жизни как всепроникающего творчества:

— Ах, русское тиранство — дилетантство,
Я бы учил тиранов ремеслу.

И, думается, слово «ремесло» возникает в стихотворении не случайно. Самойловский Пушкин словно скрыто полемизирует с пушкинским Сальери, пародируя столь важную для того тему алгебры и гармонии. Вспомним:

...Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию...

Лишь теперь, «сделавшись ремесленник», лишь убив в себе самую способность творчества, решается пушкинский Сальери «предаться неге творческой мечты». И кажется, по такому же точно пути к последним, темным глубинам тиранства — убийству Богом данного властителя — идет и Пестель. И именно этой мысли исподволь касается насмешливо горькая и очень пронизательная острота самоейловского Пушкина.

Но, возникши в условиях достоверности живого стихотворного мига, мысль эта кажется уже не косвенной историко-литературной догадкой, а прямым намеком, обращенным Пушкиным к спутнику по стихотворному контексту. И потому является все-таки ответом именно Пестелю, который, исходя из того же контекста, понят Пушкиным не только как заговорщик, но и как идеолог и будущий глава обреченного на преобразование государства. То есть — в первоначальном смысле древнегреческого слова — как тиран. Но тиран и серьезно романтический, и серьезно морализирующий одновременно. И потому искрометная отповедь Пушкина — не просто блестящая политическая острота. Это сожалеющий о человеке ответ (или

совет?) «сердечного материалиста» фанатично далекому от жизни идеологу и безжалостному честолюбицу.

Сквозь веселый скепсис и меткое лукавство пушкинского ответа проглядывает, кажется, и простодушно философская (и потому нечаянно провидческая) искренность отклика Моцарта на слезы Сальери:

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни...

Мы уже не раз сопоставляли самойловского Пестеля и пушкинского Сальери — и делали это, в известной мере, интуитивно. Попробуем же теперь правомерность такого сопоставления обосновать. Попробуем обосновать вероятное сходство не только духа и буквы идейного строя Сальери и Пестеля, но и их существенных ценностей, стремлений и средств.

Итак, и тот и другой являются читателю не просто сторонниками «первейшей заботы сменить основы власти и закон» ради благой цели. Благоя же эта цель состоит в том, чтобы упорядочить и, так сказать, ограничить «самородную» жизнь. Убеждения же обоих простираются много дальше простых этических положений, они ширятся и углубляются вплоть до исповедания веры, что делает этих литературных героев не только убежденными приверженцами идеи, но и, прежде всего, философски последовательными идеологами порядка. Что же до средств, то, чтобы устанавливать новый порядок социума или восстанавливать искаженный порядок бытия, они готовы стать (Пестель) или становятся (Сальери) еще и прямыми деятелями, способными свою идеологию действенно воплощать.

Сальери одержим идеей гармонии, которую понимает как иерархический порядок не только в мелодии, но и среди ее творцов в «музыке». Именно этот порядок нарушен «гулякой праздным», и справедливому восстановлению его препятствует «деспотическое» пребывание на троне «самодержавно» незаконного Моцарта. Пребывание, прервать которое, и призван выше именно Сальери:

...я избран, чтоб его
Остановить — не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки...
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?..
...Что пользы в нем?

Подобно Сальери, «останавливающему» гения ради идеи возрождения порядка, Пестель, жестко и скрупулезно проводящий в «Русской Правде» идею «равенства» и идею «одного народа», идею деления людей на «повелевающих и повинующихся» и идею «благочинного призора», тоже затевает все это ради устройства цельного (гармонического) порядка в обществе. Поэтому, «если трон находится в стране в руках деспота», то царевийство — это не более чем неприятное, но неизбежное средство достигнуть, так сказать, порядка в общественной гармонии. (Вероятность такого решения «дворян-

ства, сменившего основы власти и закон», возникающая в сочинениях Пестеля, достаточно прозрачна.)

Вслушаемся внимательно в стихотворение Самойлова: ведь разговор, неспешно протекающий между Пушкиным и Пестелем, по сути, идет о гармонии. Как, впрочем, и разговор между Сальери и Моцартом. Но в обоих случаях один из собеседников под гармонией понимает свободную соразмерность частей (музыки ли, жизни ли), другой же — «алгебру» четко, вплоть до «разъятой, как труп, музыки» и «в рамки введенной любви», отлаженного порядка и неукоснительной иерархии.

Согласно автору «Русской Правды», гармония есть совершенное равенство всех всем — кроме «повелевающих», которые избраны и особо одарены. Но «люди идеи» именно себя, обыкновенно, и мнят «повелевающими», единственно способными сотворить и дать «повинующимся» правильно устроенные законы. Причем обязанности свои они чтят не только как тяжкий, но праведный труд, но прежде всего как предназначенье свыше. Как Пестель. Как Сальери.

«Но тупость рабства сокрушает гений!» — скажет самоеловский Пестель.
«На гения отыщется злодей», — ответит ему Пушкин¹⁵.

Отметим и еще одну особенность сходства откровений Сальери и Пестеля. Символы веры обоих — эти порождения честолюбивого разума — не оставляют какого бы то ни было сомнения в их вящей точности. Так, в случае Сальери за это говорит само сравнение ясной очевидности непорядка на небесах с ясностью «простой гаммы».

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.

Именно отсутствие сомнений в окончательной правоте добытого рассудком побуждает Сальери вмешаться в дело высшей правды — то есть посягнуть на правоту Бога. Неподалеку отсюда пребывает и холодно неистовая мысль Пестеля. Но гораздо ближе друг к другу оказываются некие онтологические смыслы обоих утверждений. Темпераментное восклицание Пестеля являет собеседнику не только страстный энтузиазм, но и претензию на осведомленность в карающей справедливости высшей правды. «Но тупость рабства сокрушает гений!» — это упоенный идеей клич самонадеянности и упования. Упования на «сокрушающего» гения, могущество которого сродни всемогуществу Бога и которому Бог поэтому будет спешествовать. Так полагает идейно непогрешимый и всезнающий разум, «противящийся материализму сердца». Того отзывчивого сердца, что ведает жизнь, ей не пеняя и ее не калеча.

Но — и по Сальери, и по Пестелю — абсолютны и бесспорны лишь властительная правота разума и уверенного знания, что «правды нет и выше». Именно сознание такой власти и придает этим литературным героям рве-

¹⁵ В одном из последних прижизненных изданий — худлитовском «Избранном» (М., 1989, т.1) находим другую формулу пушкинского ответа: «В политике кто гений — тот злодей». — *Прим. ред.*

ние и решимость. Рвение к переустройству порядка в пространстве социума и решимость по наведению порядка в полях Божьего промысла. Спор у Сальери и Пестеля идет не столько с Моцартом и Пушкиным, сколько с Провидением и самим устройством мира Божьего. Ибо что для одного, что для другого собеседник явлен, прежде всего, «беззаконной кометой среди расчисленных светил» и спорить приходится именно с ним, доступным. Ведь пушкинские вопросы Пестелю воплощают неисчислимость жизни, а моцартов дар, по мнению Сальери, самим своим существованием постоянно воспроизводит беззаконность среди алгебраически расчисленной гармонии бытия. Однако «закон суров, но это закон» — и жизнь ему не указ.

Потому и уходит своей «разъезженной» дорогой, так и не поколебленный вопросами Пушкина, так и не услышавший Анну, Пестель, что расслышать *правду как жизнь* способен лишь «русский гений». Покорствующий же *идею правды* как собранию законов «русский Брут» ее музыке не поддается.

Потому и оказывается бесповоротно решенной земная судьба Моцарта, что в своей нетерпимости к вольной жизни празднующегося гуляки идеология строгого равенства и строя не растворима ничем — даже слезами восторга.

Возвращаясь к отрывку «славного разговора» о гении и злодее из стихотворения «Пестель, Поэт и Анна», попытаемся понять, отчего Самойлов так смело вводит во время раннее, кишиневское (1821 год) почти дословную цитату из времени гораздо более позднего, болдинского (год 1830). Представляется, что парафраз на тему «гений и злодейство» вплетен в ткань беседы узором скорее полемическим по отношению к «Моцарту и Сальери». И оттого звучит как иронично приземленная житейская мудрость, а не бытийно-философская максима. Однако происхождение у Самойлова анахронизма «На гения отыщется злодей», конечно, не случайно и вполне может быть связано с трагически недоуменным вопросом Сальери:

Но ужель он прав, и я не гений?

«Несносное наблюдение» самойловского Пушкина о тиране-дилетанте может быть соотнесено с еще одним — более тонким — замечанием Сальери о природе ремесла. Имеется в виду утверждение, что Бомарше «слишком был смешон для ремесла» отравителя. «Смешон», то есть не состоятелен «для ремесла такого», потому что смешное несовместимо с обстоятельно выверенным и рассудительно решенным воплощением непрерываемо обдуманной идеи. В этой реплике Сальери читателю опять предстает «ремесло», предстает недвусмысленно серьезно, полновесно и не прячась. Здесь стоит заметить, что сам Сальери остается сугубо (а по отношению к Моцарту еще и полемически) серьезным на всем протяжении пушкинских *сцен*.

Пестель на всем протяжении *сцены* самойловской тоже остается неколбимо серьезным — серьезным тотально и даже вдохновенно. За исключением единственного эпизода, когда не улыбнуться в ответ вольной мужской шутке он как мужчина попросту не мог (хотя как раз эта шутка и вызывает к беседе тот самый парадокс «о разуме и сердце», благодаря которому стихотворение Самойлова и написано). В остальном же времени

разговора его словесное поведение не просто серьезно или почтительно к «матерям важным» — оно серьезностью и «важностью материй» дышит.

Здесь стоит ненадолго отвлечься и напомнить, что поле стихотворения при всей его редкой по стиховой красоте цельности отчетливо размежевано на три «уголья». Во-первых, собственно разговор — реплики, произнесенные вслух. Во-вторых, разговор внутренний, про себя — угаанный отзыв о словах и поведении собеседника. И наконец, область, где живут неразделимо согласно и песня Анны, и «деревья, как зеленые кувшины», и «день, наполняющийся нежной синевою». То есть удел собственно жизни, на фоне которой этот внешне-внутренний разговор происходит. Проявляются же герои в этом поле в долях не равных. Если разговоры меж собой все же сплетаются-расплетаются, порой даже ладят, перетекая друг в друга словами, то в «уголье» сердца Пушкин одинок. Разделить воодушевление и восторг перед свободной песней жизни ему не с кем, ибо в эту тему Пестель как «идейный» собеседник и «человек разума» не вхож и даже духа ее не ведает. Разговоры же, помимо разницы в признаках «вслух — про себя», отчетливо и беспримесно разнятся зримой психологической особенностью каждого из собеседников. Особенностью, настолько резко очерченной, что в пору говорить о разных душевных языках, на которых изъясняются Пестель с Пушкиным.

Дело идет о том, что не только интонация, словесный ряд или смысловые узлы, но и сама стилистика языка Пестеля, то есть существеннейшие признаки его языковой индивидуальности укоренены и покоятся в почве абсолютной и важной серьезности всего произносимого. Ни в одном его высказывании нет и тени не то чтобы веселости, но и простой улыбки: Пестель — сугубо, обстоятельно, *одержимо серьезен*. Его серьезность глубока и, так сказать, узко профессиональна. Он красноречив как оратор; яростен как трибун и беспрекословен как вожатый. Но и романтичен как идеалист, и стоек как политически несгибаемый законодатель. Однако при этом и резонер, в своих резонах настолько цельно и ярко убежденный, что под их неподвижным знаком живет не только его ум, но и его сердце. Улыбается он, повторимся, лишь единый раз, да и то невольно, увлеченный-таки пушкинской шуткой о «любви, введенной в рамки». И потому немудрено и знаменательно, что именно «с улыбкой он казался светлоглазым». То есть, попытаемся понять Самойлова, — именно в этот единственный миг разговора Пестель светлеет не только глазами, но и душой и умом. Ибо, сопровождая лишь *такую* умную самоиронию, какой полна записанная Пушкиным пестелевская фраза, глаза могут светлеть и улыбаться. Но миг самоиронии так и остался мигом, и более в речах Пестеля не повторился. Так же, впрочем, как не сподобились эти речи и иронии пушкинской, да и высокой иронии беседы в целом. Ибо ирония Поэта — суть проникающая природу человека божественная ирония жизни, а сугубая степенность и страстная рассудочность Пестеля — это приобретения фатальной идеи и надменного разума.

Пушкина же, — персонажа самойловской *сцены* — свободная, жизнелюбивая ирония не оставляет ни на единый миг разговора — он, в отличие от собеседника, широко и щедро *несерьезен*. В своем свободном стихотворном

течении пушкинская ирония ступшевывается лишь однажды, да и то в рассеянную «грусть без причины». Добавим в скобках, что как замкнутая на себе серьезность одного, так и открытая миру несерьезность другого не только отчетливо мотивированы психологически, но и, прежде всего, обоснованы философски. Это состояния полярные по всему своему именно философски первородному составу.

Но, в отличие от *состояния* цепкости и цельной, идейной серьезности, в котором пребывает Пестель, Пушкина почти не покидает *настроение* ироничной и пестрой несерьезности, ибо *состояние* его целиком связано с жизнью, с «песней, долетающей со двора». Однако и от цепкости он свободен: язвителен или весел, насмешлив или восторжен, шутлив или саркастичен, улыбчив или ликующ не только до конца разговора, но и до самого конца стихотворения, что напоследок вновь освещается именем Анны:

Стоял апрель. И жизнь была желанна.

Он вновь слышал — распевает Анна.

И задохнулся:

«Анна! Боже мой!»

Так смеховая стихия, жизнелюбие поэта и красота «матерьяльной» любви взаимно полнятся друг другом и потому составляют гармонию, порождая, в свой черед, неразрывное согласие разума с сердцем. Именно таким — гармоничным, ясным и свободным, как вздох, но и философически неспешно прозорливым, а глубиной поэтического звука соразмерным глубине рассудительной мысли — и явилось читателю 60-х это, истинно высокой пробы, исповедальное стихотворение.

СЕРЫЙ МУТИРОВАННЫЙ ГОТ С ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЯ

«Серый» — это код. Разоблачение тайны, вскрытие комплексующего и вождедующего «Оно», одушевление тени. В своем романе «Энциклопедия русской жизни» Виктор Ерофеев предложил разгадку всех бед России: Серый. Не то резонерствующий персонаж, не то судимый демон, не то обычный «русский мужик», типаж из анекдотов. Найти и обезвредить — такую, вполне триллерную, задачу ставит Ерофеев перед своим героем. Вот убьют они Серого, палача и революционера, бродягу и пьяницу, подминающего нашу страну под свое подобие, — и славься, отечество наше свободное.

Охота на ведьм — многообещающий сюжет. Для романа — и для критической статьи.

Пока писатель Виктор Ерофеев охотится за метафизическим героем по кличке «Серый» — колдовским врагом русской жизни, — я прицеливаюсь в самого Ерофеева — колдовского врага русской литературы. Возведем его на черный пьедестал позора и примем всерьез. Представим, что, подобно тому как после гибели Серого начинается на Руси праздник живота (см. ерофеевскую «Энциклопедию русской души»), так и после свержения Ерофеева с постаamenta славы (успеха, шума и тиражей) русская словесность объявит именины сердца и на радостях тако-ое откаблучит...

Ибо не возлюбил он много, и за то ему не простится.

А не возлюбил он, граждане присяжные заседатели, все, что дорого и мило душе истинно-русской (-духовной, -просвещенной, -добродетельной). И о том, не стеснясь, дает показания в каждом произведении, демонстрируя себя человеком как бы противоположной души.

Как бы?..

Виктор Ерофеев живет по совсем отличным, не принятым — не приятным у нас (в стране, словесности, менталитете) — законам. Ему предъявимы обвинения в заигрывании с жесткой эротикой и садизмом, в попрании основ и символов русской культуры, в ополчении на духовность, в богохульстве.

А также в банальности мышления, бедности слова, автоплагиате и бесхудожественности.

Ерофеев дерзок — и тривиален. А это сегодня — стопроцентная гарантия успеха.

И если вы захотите увидеть, как расходится земная слава, пройдите вслед за мной вот к этой полке в одном из центральных книжных магазинов, целиком заставленной гладко-блестящими, стильно оформленными книга-

**Валерия
ПУСТОВАЯ**

— родилась в 1982 году в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Печаталась в журналах «Новый мир», «Знамя» и в «Русском журнале». Живет в Москве.

ми издательства «Зебра Е». «Энциклопедия русской души», «Страшный суд», «Русская красавица», «Роскошь», «Бог Х», сборники ранних рассказов и «Лабиринты» статей — полное собрание! Но вместо заголовка на всю обложку и строгой нумерации томов на переплете красуются серийная буква Е и сам автор, то ноздреватым демоном выглядывающий из-под нимба ангела с русской иконы, то головой закрывающий солнце, то плывущий в розовой водичке со следами бурной ночи на многомудром лице.

1. Нежность к мешку костей

Осудить легче — но понять интереснее. Что такое Виктор Ерофеев в русской жизни? Масштаб вопроса можно не занижать: что бы ни говорили о Ерофееве как писателе (и я скажу — несколько страниц терпения), его мировоззренческую позицию нельзя игнорировать. Ерофеев талантлив как публицист. В этом смысле он — явление скорее злободневное, чем злокачественное. И вполне достоин исследования.

Виктор Ерофеев — контр-эго русской души.

Заметно, что книги этого автора, несмотря на видимое различие повествовательных форм, сюжетов, героев и заявленных в подзаголовках тем, строятся вокруг одних и тех же оппозиций: Россия — Европа, духовность — роскошь, несчастье — счастье, народ — индивидуум. А они, в свою очередь, исходят из базового противопоставления духа и тела. К развязыванию конфликта между «земным» и «небесным» можно свести абсолютно все мыслительные движения Ерофеева. Родись он в другой стране, может быть, и не получилось бы из него автора романов и эссе. Но русская действительность пришла в такое очевидное противоречие с его представлением о жизни, что ему не осталось ничего иного, как озвучить свой протест.

Свою веру Виктор Ерофеев нашел не сразу. Об этом говорят его ранние произведения (помещенные, кстати, и в новой книге «Роскошь») и рассказы, которые снискали ему славу постмодерниста. Именно более поздние произведения Ерофеева, разбору которых хотим мы посвятить эту статью, демонстрируют зрелый этап его творчества: не ученическую обыкновенность, как в ранних повестях (например, переизданные в книге «Роскошь» произведения 70-х гг. «Трехглавое детище» и «Коровы и божьи коровки»), не «юношеский» манифестальный вандализм, как в рассказах (типа «Жизнь с идиотом», «Девушка и смерть», «Ватка», «Дядя Слава», «Мать» и т.п.), а установившуюся творческую (взрослость («Русская красавица», «Энциклопедия русской души», «Пять рек жизни», «Мужчины» и, так уж и быть, «Страшный суд», хотя это действительно роман-страхолюдина). Дальше расти некуда, дальше потолок возможностей и — сгорбленность под пудом уже обыгранных и обжеванных тем (что отчасти заметно в книге «Бог Х» и очевидно в «Роскоши»)¹.

¹ Для краткости в дальнейшем будут делаться ссылки на книги издательства «Зебра Е» со следующими обозначениями:

5РЕК — «Пять рек жизни»,

БХ — «Бог Х»

РКрас — «Русская красавица»,

РО — «Роскошь»,

«Зрелый» период творчества Ерофеева целиком посвящен апологии тела.

«У Бога есть воинство душ, это его дети, хорошие и не очень, у него на них свои виды, свои с ними счета. А тело — мешок костей и производитель новых мешков, случайное убежище, исправительная колония души. Тело он не берет во внимание. Поэтому оно такое дырявое, скоропортящееся. За телом нужно следить самим» (Э).

Ерофеев с готовностью принимает земные правила жизни, согласно которым тело — единственное, что зависит от человека, и потому служит удобным критерием человеческого развития. Бедность, битость, некрасивость, неловкость, неустроенность — как очевидно и легко такие «грехи» подводят человека под приговор в жизненной несостоятельности! И дело здесь не только в высокомерии обласканного фортунной писателя, не признающего ценность менее благополучной судьбы, но и в изначальной неоднозначности правды. Идея о двойственности истины и пути — основа не одной мировоззренческой системы. Столкновение «телесной» и «душевной» (или, выше, «жизненной» и «духовной») правд — проблематика, возникающая почти во всякой ситуации серьезного выбора. Грехопадение ли виновато, или это особые условия свободы, или полярность — свойство создавшего мир Божества — каждому вольно верить как угодно, ясно одно: на предельном выборе из двух «правд» основана вся наша жизнь и всякая неординарная судьба. Противостояние правды «земной» и «небесной», а также попытки разрешить его в гармоническом соединении отражены, в частности, у таких писателей, как Гессе, Толстой, Мережковский, Достоевский, в судьбе манновского Ашенбаха, в конфликте героев «Трамвая “Желание”» Уильямса... Кем же выглядит Ерофеев в этом ряду блестящих перечислений?

Увы, — как писатель он не поднимается ни до философского осмысления собственной проблематики, ни до полноценного художественного отражения двойственности бытия.

Но она его задевает — как человека. И в человеческом отношении Ерофеев вполне тянет на одного из последовательных и в чем-то символических *носителей* земной (телесной, жизненной — хотя до последнего он все-таки не додумывается) правды бытия. Этакая самодовольная ограниченная половинка, желающая стать абсолютом.

Взглядами Ерофеева можно возмущаться — а можно принять их как неистребимую часть истины, памятуя о том, что горделивая ограниченность духа может быть ничуть не менее противна, чем высокомерие абсолютизированного тела.

2. «Почему она так мерзка?»

Для таких людей, как Виктор Ерофеев, гармоничное развитие тела является залогом правильного строя души, неухоженность для них — грех, равный закапыванию таланта в землю, ведь краса и удобья мира — тоже вышние дары, достойные человеческого внимания: *«Роскошь благотворно ска-*

СС — «Страшный суд»,

Э — «Энциклопедия русской души».

зывается на мне. Хочется быть светлым и здоровым — желание, которое редко забредает в русскую голову» (РО); «В Москве висят рекламные щиты со словами: у кого нет вкуса, у того нет совести. Это новый для многих взгляд на вещи. Вкус связан с совестью по принципу “красота спасет мир”» (БХ).

Эти высказывания смотрелись бы совсем невинно, если бы не были началом пропаганды против любого выхода за пределы туловища. Тело единовластно правит миром: «роль шоколада в культуре Франции не меньше готики и Виктора Гюго» (РО), СССР развалила легковушка «Лада», привившая советским людям новое отношение к вещам и частной жизни и ставшая в этом смысле «диссидентнее диссидентов» (РО), а демонстрация женских гигиенических средств явилась «компасом новой жизни» (БХ). И «реабилитация Дантеса» в одноименном рассказе происходит по логике тела, материальной справедливости: «Дантесы нужны жизни не меньше Пушкина. Иначе исход дуэли был бы другой». Пушкин — Дантесу: «— Будем снова стреляться? — Я снова тебя убью. <...> Все нормальные люди, — Дантесы. Правда жизни на моей стороне» (РО). В полемическом запале Ерофеев обзывает духовность — «духовкой» (БХ) и попирает ветошью — смерть (об экипировке американской армии времен Второй мировой войны): «Что за ботинки! В таких ботинках и умирать не страшно» («Мужчины»).

Если принять позицию Ерофеева за точку отсчета линии телесного *х*, то наперерез ей тут же помчится линия духовного *у*, исходящая из непознанно-нулевой мифологемы России. Общего графика не получается: Ерофеев и Россия живут в разной системе координат — для разгадки русской судьбы нужен другой, «духовный» писатель-*х*, для Ерофеева нужна другая, «телесная» родина-*у*. Россия — страна не вполне реализованная, даже не вполне нашедшая себя, но ее предполагаемая культурная индивидуальность отчасти уловлена некоторыми русскими поэтами, писателями и мыслителями (Гончаров, Блок, Бердяев, Достоевский...). Ерофеев, сопоставив эти черновые наброски культурного облика России с непосредственным опытом проживания в российской действительности, вынес приговор: Россия до невозможности антителесна, а русские ценности постоянно выходят за пределы правды земной — той, которая одна ему по сердцу и по плечу.

Забавно иллюстрирует позицию Ерофеева тот факт, что демонстрируя пренебрежение к духовным основам русской жизни, он не отказывается от русскости как параметра породистого тела — русскости на все кровяные 100. «Я чистокровная русская», — с достоинством произносит героиня «Русской красавицы», «Я — русский на все 100%», — вторит ей сам писатель (РО). Но телесно-национальная принадлежность ничего не значит в сфере культурного менталитета, и Ерофеев, как и большинство его главных героев, оказываются духовными чужеземцами, проклинаящими дикие диковинки Руси с видом, ясно говорящим: «а черт-ть-его знает, как нас сюда занесло!».

Возможно, Ерофееву не дает покоя слава великого антипророка отечества Чаадаева. Он хочет встряхнуть засидевшуюся в девках Русь и выдать ее за мистера Мировое сообщество. Смешав тезис «Русские — позорная нация» (Э) с антитезисом «Россия нужна для продолжения человеческого проекта» (Э), Ерофеев синтезирует образ России, вполне годный для пропаганды в широких массах заграничных читателей. В их глазах Ерофеев может видаться

как имиджмейкер России, которому удалось запатентовать ее бредовый бренд и получить прибыль с рекламной кампании: *«Я учился смотреть на Россию как на иностранное государство. <...> Я торговал перегаром, запахом “Примы” и мочи. Мне крупно повезло. Я умудрился продать обвалившуюся родину, которой никому не надо»* (Э).

Как в большинстве рекламной продукции, в брендовом образе России очень мало подлинной оригинальности: Ерофеев, претендуя на дерзкий вызов потребителю, на деле не выходит за рамки его веками сложившихся страхов и упований. В ерофеевской «России» собраны самые внешне-популярные, поверхностно-всплывшие представления и предрассудки о русском национальном облике.

Очевидно, что Ерофеев оценивает свое отечество с точки зрения европейской, которая в то же время выступает и как точка зрения «тела». П. Басинский в статье «Перемелется — мука будет?» («Октябрь», 1999, № 3) сопоставил два суждения о русском народе. Одно — Ерофеева: *«Что с ней (с русской людской массой. — П. Б.) делать? Обманывать? Отмывать? Перевоспитывать? Ждать, пока она перемрет? Но последнее иллюзорно — старики тащут [орфография сохранена] за собой внуков, правнуков. <...> После первого петушиного крика молодости от них больше нечего ждать, кроме рабской зависимости от вечного повторения. Все идет по кругу. Остается одно — поместить их в концлагеря. Но они там уже и так»*. Противоположное по мысли высказывание принадлежит священнику о. Дмитрию Дудко: *«Господи, не могу судить мой народ, не суди его и Ты. Прости его за муки, вольные и невольные. Великомученик мой народ — он свят. Он кается в своих грехах, я не раз слышал: “Какие мы люди теперь...” Ты смиренным даешь благодать. Дай благодать моему народу, очисти его, убели. Да будет свят! А я дерзну назвать его святым, великомучеником»*.

Басинский, процитировав, заключает в недоумении: *«Каким образом могут существовать одновременно два таких высказывания? Как они в принципе могут друг с другом уживаться? <...> Они будут созидать “новую Россию”. Что ж это будет за страна? Как в такой стране население сможет договориться друг с другом, выбрать власть по уму, читать какие-то общие книги, <...> любить какие-то общие святыне или хотя бы просто славные места на географической карте, женить своих детей — словом, заниматься всем тем, что делает страну страной — местом жизни некой общности»*.

Между тем Ерофеев и Дудко не взаимоисключающи — и просто противостоят друг другу как апологеты «тела» и «души». В «телесном» контексте святость России оборачивается жизненной несостоятельностью (*«русский — вынужденный аскет. Не справившись с миром, он говорит о тщете мира. Он отворачивается от мира, обиженный, и культивирует в себе обиженность, подозрительность к миру как дорожную истину в последней инстанции»* — Э; *«национальная идея русских — никчемность <...> Никчемность — пустоцветная духовность, близость к религиозному сознанию, но с противоположной стороны. Крайности склонны путать»* — Э; *«Если бестолковость — духовность, то мы духовны»* — Э); презрение к телу — презренным телом (*«Русские, как правило, незстетичны. Неряшливы. С пятнами. <...> Пятнистые гады. Плохо пахнут»* — Э); широта души — катастрофичностью, покаяние — униженностью, героизм —

зверством, высота — бездной, мессианство — болезненной утопичностью («русский наливается утопией, как гноем. Потом он лопається» — Э).

Ерофеев озвучивает внешнее впечатление о России, органичное прежде всего для Европы, «страны» восходящего тела, каковой она предстает в произведениях писателя. Именно такая Европа — ее взгляд извне — задает норму в таком суждении о русских: «избыточное воображение и недостаточная рефлексия» (Э). Ерофеевская Европа — страна обездуховленного быта, где тело взяло на себя функции духа и хочет одно, само по себе обеспечить человеку полноту бытия: в Европе «культура растворилась в каждодневном быту, быт — в культуре» (Э), европейцы выступают как «профессиональные комфортщики» (5РЕК), а «комфортный абсолютизм» — как «грядущая европейская неизбежность» (5РЕК).

А теперь представьте, по каким параметрам «страна»-тело может оценивать страну духа? Ей важны продуманность интерьера («Не хватает русскому дому красивых вещей. Есть склонность к тесноте, как склонность к полноте. <...> Дело не в цене — в отношении. В русском доме много случайных вещей. Эти случайные вещи засоряют наше сознание своей необязательностью» — БХ), приглушенность дурных запахов и изысканность белья, наконец, удобство каждодневного уединения в храме тела.

(Сравните: «Общественные сортиры в России — это больше, чем тракт по отечественной истории. Это соборы. С куполами не вверх, а вниз. Россия дяденька-проруби-окно-либералов уже не первый век стесняется своих сортиров — считает своим слабым местом. <...> Я много видел чудесных сортиров, они все так или иначе недействующие, подспудно обличающие философскую суету Запада, но нигде больше не видел такого византийского чуда, как в Вышнем Волочке. Там перегородка между женским и мужским отделениями идет не по низу, а по верху, от потолка. Голов не видно, а все остальное — как на витрине. <...> Эротический театр, торчи сколько хочешь, хотя вони, конечно, много» — (Э) — с описанием японских угодий: «Я попробовал кнопку <...> Унитаз понимающе заурчал; щелкнул датчик: фонтан воды с ароматной пеной ударил мне в задницу и чьи-то маленькие нежные лапки принялись меня подмывать как родного и близкого им человека» — (РО) — описать можно от умиления!).

Тело одухотворено, когда оформлено, — тело одушевляет стиль. Ерофеев не один абзац посвящает проблеме русской неформальности («Нет стиля, нет и человека. Бесстилье — страшный русский бич» — «Мужчины»). Он воспеваает европейскую «cool»-стилистику. Если вжиться в перечисленные Ерофеевым свойства ««кул»-сознания» («не оставляет в человеке неотрефлексированных, «темных» сторон <...> свойственны открытость, прозрачность, внутренняя эротичность, ироничность, подчеркнутая стильность» — Э), можно остро и верно прочувствовать, насколько «кул»-существование противоречит любимым и основополагающим у нас параметрам настоящей жизни: отсутствие «темных» сторон, которых современное общество чужается с подачи Фрейда, — влечению к тайне, декларируемая открытость — широте натуры, внутренняя эротичность — способности глубоко полюбить, ироничность — вере, внешняя стильность — идейной сформированности человека.

Европа, в изображении Ерофеева, видит в духовной устремленности России не внутренне обусловленную судьбу, а причину внешних, неприят-

ных или непонятных для других государств, последствий: Россия непредсказуема, опасна (*«если Россия не войдет в цивилизацию — будет плохо для нее и других — кровь — дикость — нехорошо, — но если она войдет, будет чудовищно! — будущего не будет!»* — СС), аномальна (*«мне не нравится историческое движение России к нормальности <...> — нормальность и Россия несовместимы»* — СС; *«Россия продемонстрировала крайности человеческой натуры, разрушила представление о золотой середине»* — Э), нецивилизована (*«Нам надо отрезать хвост. Мы — хвостатые»* — Э), отвратительна (*«почему она [Россия] так мерзка?»* — СС; *«Будь я поляком, я бы все русское ненавидел и презирал до бесконечности. Хаос, грязь, помойка мира — а при этом весь мир хотят переделать по собственному образцу»* — «Мужчины»).

Если Европа, по словам Ерофеева, *«это счастливый брак по расчету. Удача в удаче»* (СПЕК), — то Россия — это мучительная связь по нелепой любви, и беда бедой погоняет. Россия для этого автора — символ неизбежной антителесности, а следовательно — и нежизненности: *«Россия — чем больше думаешь о ней, тем меньше чувствуешь жизнь»* (рассказ «Карманный апокалипсис»); *«Русская жизнь призвана отвлекать людей от жизни»* (Э); русское государство — это *«сквозная империя слова и образа, которым должна подчиняться жизнь»* (БХ). Ерофеев представляет подавление тела как *«главный секрет России»*: мол, русский национальный характер вылез из запрета на тело, из обязаловки святости — *«тем самым создалось напряжение, необходимое для бурного развития русской культуры»* (БХ).

Ерофеев считает Россию страной, по существу своему обреченной на недостижимость счастья (*«Ошибка и западников, и славянофилов в том, что они желают России счастья. <...> Вечная и беспомощная идея вытащить Россию за волосы вопреки ее воле встречается из книги в книгу и становится, по крайней мере, назойливой»* — Э). И потому он отказывает ей в праве на реализацию своей судьбы, на такое вот свое, особенное, несчастливое существование. Он сравнивает Россию с Африкой, тоже дикой и жестокой стороной с *«открытым настежь будущим»* (БХ), и по аналогии предлагает следующие пути русского развития: колонизация и унификация — или распиаривание местного колорита в расчете запугать и обобрать цивилизных туристов (*«Но своеобразие останется. Как у африканцев. Те все равно едят руками. <...> Носят божественные одежды бубу с королевским достоинством. Чем Россия хуже Африки? А если хуже, раз у нас нет бубу, нет умения достойно носить одежду, нет гибкости в пальцах и танцах, что тогда?»* — Э). «Что тогда?» — Ерофеев, человек без культурологического вкуса, не представляет себе судьбу, основанную на оригинальном, не унифицированно-европейском, но и не на товарно-диалектном, образе жизни. Вот что он пишет о культуростроительных возможностях Африки — с прицелом на Россию: *«Котел модернизма и традиции, но уже сама разгерметизация культуры смертельна для традиции. Поздно! Мир выбрал модернизацию. Отказ смешон. Потери огромны. Куда ехать? Вторжение французов было делом всемирного промысла, поворота жизни от природного календаря к индивидуальному существованию»* (СПЕК). Подчеркнутые слова близоруки и выдают одномерный взгляд на развитие культур, в последних же словах скрывается логическая нелепость: к какому же это «индивидуальному» существованию может прийти ценностно колонизованная страна с «разгерметизированной» культурой?..

Не исключено, что Ерофеев, отказывающий России в возможности успешного жизнестроительства, прав, и духовный расцвет нашей страны никогда не совпадет с процветанием свобод, торговых лавок, семей и производств. Это, конечно, обидно, однако не закрывает нам будущего: духовные движения как способ самореализации — чем не судьба? По крайней мере, выстраивать такую судьбу гораздо интереснее, чем жить в уже отстроенных и реализовавшихся цивилизациях, где ты не можешь быть ни новью, ни пророком, ни странником — ничего не открывая, не проповедуя, не ища, ты займешь там место очередного метра кабеля, компьютерного узла и продукта в потребительской корзине рекламодателя.

3. О двух разновидностях «духовки»

Об отношении Виктора Ерофеева к религии и интеллигенции можно было догадаться по предыдущему тексту. В самом деле, оба эти явления, по своему духовному происхождению, вызывают апологета тела на бой. Нельзя сказать, что Ерофеев достойно ведет поединок. Он норовит распороть на противнике штаны, отхлестать его по щекам — в общем, разбить его достоинство в пух и обвалить в перьях. Не исключено опять-таки, что Ерофеев прав, скажем, когда пишет о нытье, жизненной несостоятельности, лицемерной пафосности и социальной безрезультативности оппозиционной интеллигенции — при том, что он никогда не удостоится понимания отдельной интеллигентной личности как духовного явления.

Ерофеев очень прав, когда говорит об оппозиционном имидже как ложной (но укрепившейся в традиции) гарантии интеллигентского достоинства («Серый прикинулся интеллигентом и долгое время ныл по каждому поводу. <...> Интеллигенцию отменила свобода. Они боролись за освобождение. Допустим. Они победили. Справились. Оказались катастрофически беспомощными. <...> Серому нечего было сказать при свободе. Цензура была спасением для прикрытия бесплодия, оформила множество липовых карьер» — Э). Ерофеев говорит полуправду, когда выявляет в рыцарях духа — ржавость лат и нечесаность патл: «Или интеллигенция: о Джойсе-Борхесе рассуждают, а сами одеты, причесаны — совки совками» («Мужчины»), — и неспособность вкушать плоды земного Эдема: «У меня с интеллигенцией вкусовая несостыковка. Интеллигенция любит арбузы, а я — винегрет. Она — за разум, а я — за океанский бриз. Интеллигенция любит повести, а я — рекламные щиты» (Э). Но он опускается до нарочитого обеднения истины, до прямого оскорбления (не помянуть ли нам Булгарина?..), когда сживает противников с лица земли такими словами: «Наравне с геморроем, любимым заболеванием интеллигенции до сих пор остается боль за народ» («Мужчины»); «Апостолы не чистят ни зубов, ни ботинок <...> Косые, кривобокие, горбатые, перекуранные, похмельные, нестильные <...> импотентные, боящиеся минета, не умеющие спросить, где здесь туалет, где — притон с б...ми. Оценщики, судьи, запретители, паникеры <...> с тухлой энергией, не умеющие любить тело» («Мужчины»).

Такой же разнос грозил бы и религии — если бы она не понадобилась Ерофееву как эффектная тема, которой легко можно поразить воображение массового читателя. Ерофеев спекулирует на рубежно-вековых ожиданиях

ях человечества, на новых религиозных настроениях, заявляя практически в каждой книге о необходимости обновить христианство, о пришествии нового Бога, о движении человечества к новой, одной на всех, вере. *«Главным событием XXI века будет рождение нового, планетарного Бога. <...> локальные религии уйдут»* (Э); *«Рождение нового единого бога так же неминуемо, как сведение компьютерных программ воедино <...> Просто это на очереди. Смешно видеть дешевую конкуренцию разных религий»* (СПЕК); *«Возникновение одного божества. Первая по времени метафизическая революция двадцатого века»* (СПЕК).

В этих высказываниях, помимо спекуляции на фантомах массового сознания, есть опять-таки проявление культурологической безграмотности. *«Дешевая конкуренция разных религий»* на самом деле является отражением того факта, что Единый Бог преломляется на земле в душах людей и народов, порождая тысячи божественных образов. Все люди и так верят в Одного Бога — потому что всякая религия исходит из представления о Божественности как творящем изначальном Свете, организующем гармоничное мироустройство. Но в то же время буквально-единая религия невозможна, так как даже двое людей верят по-разному, — что уж говорить о веках складывавшихся культурах разных стран.

Ерофеев, высокопарно и легко рассуждающий о религии, на деле не понимает ее сущности, а подчас не брезгует и богохульством.

Еще можно увидеть попытку самостоятельно осмыслить розановские идеи в следующем рассуждении апологета тела о религии: *«Я наконец понял, в чем ошибка Папаша [по сюжету “Страшного суда”, главный герой Сисин — сын Иисуса Христа] — он звал всех скорее наверх, потому что ничего тут не понял, не полюбил»* (СС); *«по-моему, то, что ты [Иисус] предложил, касалось только смерти»* (СС). Это — пропаганда на уровне профанации. Розанов воспекает неуловимую мистику жизни — Ерофеев радуется о ее доступных повседневных радостях. Он не понимает, как можно совмещать жизнь и религию, смысл которой, на «телесный» взгляд, состоит в том, чтобы утешить человека, когда не станет у него ни зубов, ни потенции — ничего того, что обеспечивает крепкое вкушение земных блаженств.

Прочие высказывания Ерофеева о религии откровенно банальны и не достойны даже войти в библиотечку атеиста. *«Сущность христианской сделки была гениальна: предопределение смерти в обмен на выполнение моральных норм. Просто и понятно»* (Э); *«Сисин знал, что Отец, давая, отбирал свободу воли, а это посерьезнее двадцати долларов — давая, он приобретал право суда, а это совсем серьезно»* (СС), — суждения на уровне счета на пальцах. В призыве обновить православие слышится что-то бердяевское, в мысли об исчерпанности бесполой религии — что-то розановское. И все как-то уныло-посюсторонне, как будто религия — это не метафизический полет к истине, а техинструкция для космонавта. *«Многочастная система богов»* (СПЕК), *«обладал ли Иисус Христос полным набором Божественности или был обделен как наследник»* (СС), *«Вселенские соборы, утвердившие Папин имидж»* (СС), — не слишком ли это элементарно для провозвестника новой религии XXI века?

Наконец, о поклепе и напраслине. Осмелюсь ли процитировать что-нибудь «горяченькое»? Ну, замечания о том, что *«среди верующих народец мел-*

кий, низкорослый» (РКрас), что в церкви агрессивный, понимаешь ли, *персонал* («Уборщицы, заправив за пояс подолы [т.е. задрав юбки в храме — воображение немеет!], с угрожающими рожами приближались» — РКрас), что «Ветхий вообще похож на бульварную литературу» (СС), а новый Бог будет «попсово-придурочным, как все прошлые Боги» (Э), — это лепечут уста самой невинности. Но вот когда я стала перепечатывать описание Иисуса Христа из романа «Страшный суд», то есть такое предельно подробное и неканоничное описание... как бы это сказать, короче, у меня завис компьютер. Я посчитала это знаком свыше и вбивать перестала. Так что если вам захочется рассмотреть во всех подробностях даже не раны, а органы вышеозначенного Персонажа, а может быть, и узнать нечто новое о Его сексуальной ориентации — милости просим на 340-е страницы романа уже упомянутого издания, а мне позвольте отвернуться.

4. Два альтер эго Ерофеева. Романы мужской и женский.

Сказать о позиции писателя — все равно что охарактеризовать человека по его профессии. Истинное своеобразие творчества, как и внутренняя суть личности, — почти неуловима. Его предназначение познается разве что по энергетической мощи создаваемого им мира. Способность, что называется, «вкладывать душу» в произведение зависит не от желания автора, а от его творческой одаренности.

Оживит ли Ерофеев прах собственных слов и концепций?..

В большинстве произведений Ерофеева главный герой отсутствует. Есть либо карикатурные персонажи, на идеях, потенции и жизни которых автор вовсю экспериментирует, либо неприкосновенное публицистическое «я», изрекающее авторские мысли. Поэтому попытка создать целостного сюжетообразующего героя, предпринятая Ерофеевым в романах «Русская красавица» и «Страшный суд», уже сама по себе обращает на себя внимание, выделяя эти произведения как наиболее значимые для писателя. Но присмотревшись к претенциозно-роковой фигуре Сисина (СС) и породистой фигурке Ирины Таракановой (РКрас), замечаешь, что их образы, взгляды на жизнь и судьбы подозрительно схожи. Более того, постепенно начинаешь понимать, что герои похожи не только между собой, но смахивают и на самого автора — мироощущением, принципами, суждениями. Русская Красавица, страдающая за любовь и отечество, и Сисин, сын, хм, Сына Божьего, выступают как alter ego Ерофеева, в мужском и женском воплощении, и потому так же являются апологетами тела, борются за право человека на личное половое счастье, презируют интеллигенцию, страдают за Россию — а на деле за себя в России и т.п.

Оба героя наделены сходной миссией — решить судьбу мира и, в частности, нашей страны.

Сисина высшие силы проводят через пару-тройку кругов земного рая (женщины, слава, потребление), чтобы потом его, пресыщенного, вынудить согласиться на второй всемирный потоп или любую другую катастрофу, которая покончит с неудавшимися образцами «юманите» (СС). Как ни странно, кроме этого «да», от Сисина ничего не требуется и потому на

протяжении всего романа он вынужден делать вид, что страшно занят бабами, опровержениями на критики (Сисин — автор нашумевшей книги «Век П...» и теории о роли этой самой П... в мировой культуре) и рассуждениями о том, достойна ли Россия спастись при «общем сбросе» и нужен ли этот «сброс» вообще.

Ирина Тараканова, совсем не пресыщенная благами мира, а напротив, дорвавшаяся до них после переезда из родного провинциального городка в Москву, мечтает о простом женском счастье — выйти замуж за любящего мужчину, или о непростой женской славе — заманить в свои сети, скажем, маститого советского писателя (любовная кличка — Леонардик, так его и будем называть) и с помощью его могущества вознестись над толпой, *«осыпать своей милостью, щедростью, добротой, я бы смогла, <...> если кутеж, так кутеж, а когда благородная цель, то цветы, моя родина!»* (РКрас). Однако ни один из любовников Русской Красавицы не решается полюбить ее и связать с ней свою судьбу, а престарелый Леонардик отказывается развестись и сделать ее законной королевой земного бала. Ирина умудряется вернуть Леонардiku былую мужскую силу — и в тот же миг он, на радостях, умирает в ее постели. Ее подозревают, ей завидуют, ее выгоняют с работы, ее интервьюирует зарубежная пресса. Наконец, к ней обращается интеллигенция, которая и подталкивает героиню на первый акт мессианства. В романе появляется неопределенный образ колдовского врага России, правящего нашей страной по чертовским законам и не дающего нам расцвести-развестись (позже этот образ оформится в менее демоническую фигуру Серого из «Энциклопедии русской души»). Ирина, заметившая в себе сверхъестественную способность *«всю нечисть в себя всосать»* (РКрас), решается стать *«новой Жанной Д'Арк»* (РКрас) и принести себя в жертву через насилие — предполагалось, что она победит по мистически-историческому полю, привлекая мужское внимание колдовского «врага» России, и когда тот овладеет ею — она погибнет, но поглотит своею плотью и его колдовскую силу. Далее — воплощение ваших самых радужных фантазий о румяной, толстой, сытой, экспортирующей ананасы России.

Однако, как выяснилось, для нашей страны *«колдовство охранительно»* (РКрас), и потому нечистая сила не поддается на соблазнительный бег героини, которая, выходит, *«была не спасительница, а посягала на разрушение, бежала против России»* (РКрас). «Врага» она не приворожила — зато открыла путь к себе покойному Леонардiku. Тоже ведь сила темная. Кающийся номенклатурный писатель, неудачливый любовник. От его посмертного посещения Ирина понесла. Эта беременность — второй акт мессианства Красавицы. Она знает, что ее ребенок — будущий губитель мира, а-ля Гитлер или кто похуже. И вот она размышляет, как будет размышлять ее брат по духу Сисин, — стоит ли, родив, отомстить миру за все обиды и унижения — или нужно убить плод и спасти человечество? Роман заканчивается самоубийством героини в день замогильной свадьбы с призраком Леонардика — видать, только поэтому мы все до сих пор и живы.

При сюжетном сходстве романов, при сопоставимости образов их главных героев, я хочу предположить, что только роман «Русская красавица» и ее героиня могут претендовать на какую-то беллетристическую художествен-

ную ценность, на человеческое читательское сочувствие. В романе о Русской Красавице Ерофеев, видимо, впервые высказал наболевшее — о попирании тела в родной культуре, о неустроенной отчизне, о любви. В этой книге есть что-то личное, лирическое, к тому же более или менее удачно передана типично-женская психология и речь, и потому из всех произведений Ерофеева я бы оставила любопытному читателю будущего только ее. Привлекательность Ирины Таракановой, в отличие от абсолютно холодного и неумного образа Сисина, заключается в том, что она — героиня страдающая, с последовательно выстроенной судьбой, а Сисин — герой наказующий и претенциозный, при этом без лица и судьбы, с привычками и характером самого обычного, среднего, сытого и удовлетворенного мужика. В сцене бег Красавицы по полю есть драматичность, боль героини реальна, пусть и смешна со стороны — а всерьез подготовленное фарсовое «распятие» Сисина на цепях «не смотрится», оставляя желать лучшего воображения автору романа.

Тараканова — все-таки относительно живая (женщина), Сисин — только ходячий (слоган).

Ирину, как и Сисина, можно назвать любимой героиней Ерофеева. Она — воплощенная апология тела, не понятая красота. Ее судьба трагична. Ни один мужчина не осмеливается полюбить ее, хотя счастливый брак, в общем-то, является самой нежной ее мечтой, так что к концу романа она уже чуть ли не вымаливает его у первого попавшегося знакомого (*«Я могу только тогда, когда любовь. <...> я всегда искала любви»; «Я не машину, я счастья хотела»; «Андрюш, ты хороший, ты уступил мне свою полку, сам полез на третий этаж, ты хороший, женись на мне! Мы будем спать с тобой, прижавшись друг к другу спинами, мы будем слушать красивую музыку, а твои делишки — да ради Бога! Они меня не волнуют. Я буду верна тебе, Андрюш, а захочешь ребеночка, такого маленького-маленького, который будет похож на тебя, слышишь, Андрюш, я тебе рожу <...> — Разве это, милая, выход? [-] Ну, я что? Я и не такое прощала. Я простила. Накрылась с головой и простила»* — РКрас). Ее детство и юность отмечены трагическими событиями, в будущем ей предсказана смерть. Драма Русской Красавицы в том, что она живет в стране, где, по мысли Ерофеева, телесную красоту не умеют ценить по достоинству, а также в том, что эта красота, это тело — весь ее капитал. Ирина — *«глянцевый деликатес, который <...> тащил на себе тяжкий крест»* (РКрас). *«Ксюша, бесспорно, красота, только я красавица, я — гений чистой красоты, так меня все прозвали, и Владимир Сергеевич тоже говорил: — Ты — гений чистой красоты! — то есть без примесей, но красота твоя не бульварная, не площадная, красота твоя благородная, мочи нет оторваться!»*; *«Потому что сила моя в красоте — так писали в газетах и так же считал Леонардик, называя меня в этом отношении гением»* (РКрас).

Неизвестно, понимает ли сам автор этих слов трагиду тела, «крест» гения красоты. Ирина — гений не творчества, обеспечивающего человеку свободу выражения и самостоятельность реализации, а обладания. Гений «по обладанию» зависит от удачной продажи своего капитала, от достоинств покупателя, от степени удовлетворения своих потребностей. Ирина блюдет свою гордость, боясь сойти за «дешевку» (РКрас), но в одной из рецензий на роман я с легкой обидой увидела, что ее назвали куртизанкой. К сожалению, та или

иная форма продажности — ее неизбежная судьба. Весь роман, в каком-то смысле, о том, что Красавица не находит покупателя своей гениальной красоты: замуж ее не берут, в блестящие фаворитки не пускают, замыслила принести свою красу в жертву интеллигентским мечтам о благе отчизны — так ведь и тут неудача, неустребованность. Нет человека, достойного владеть гением красоты. Лепится к Ирине только всякая нелюдь и нежить: все уродство (в том числе и моральное) мира лезет кусочек от красавицы отобладать. Ерофеев недаром заставляет героиню во время молитвы услышать такой ответ Бога: *«Дано тебе <...>, чтобы ты ходила среди людей и высвечивала из-под низа всю их мерзость и некрасоту!»* (РКрас), — эти слова созвучны упоминанию о способности героини «всосать» в себя нечистую силу. Красавица провоцирует людей на тоску по обладанию ею, а следовательно, на самые нечистые помыслы и поступки, насилие и предательство.

Помимо намеченной в романе философии красоты — намеченной, но отнюдь не выстроенной, так что я при осмыслении судьбы героини скорее додумала ее, чем проанализировала, есть в романе и тема красивого Тела как вызова русскому менталитету — и как его жертвы. Ерофеев не раз дает нам понять, что в стране с таким эстетическим безвкусием, как наша, красавица обречена на прозябание и напрасную гибель. *«У меня были красивые пальцы ног, почти столь же музыкальные, как и на руках, <...> я посмотрела на пальцы ног и сказала себе: эти пальцы никто не сумел оценить по достоинству, ни один человек... да меня и вообще никто не оценил по достоинству»; «у него были красивые уши, породистые <...> Я сразу заметила эти уши, хотя у нас уши — избыточный предмет беседы, и нет на них моды — народ неизбалованный — им бюст подавай да бедро, большие охотники бюста»; «редкий мужчина у нас не мужик, поистине: бюст и бедро — их убогий удел, хотя никогда не допускала вольности нахалу, нигде не бывала так одинока, как в его атакующем обществе, и с грустью глядела на низкопробные лица коммунального транспорта, пригородных электричек, стадионов, скрипучих рядов кинотеатров: им мои щиколотки и запястья, как мертвому — баня! <...> я оставалась непонятой в лучшем, что было в моем существе»* (РКрас).

В отличие от Русской Красавицы, герой «Страшного суда» вполне благополучный, удовлетворенный жизнью и многими женщинами человек. Сисин наделен голословной божественностью, которая никак не проявляется в его существе, да и в сюжете едва заметна. Он искусственно набивает себе цену, как можно более свысока рассуждая о человечестве: *«Сисин поморщился: — чем люди гордятся? — начальник похвалил! — отчего у них портится настроение? кто-то их не заметил, не так посмотрел — я без труда перерос человечество»* (ср.: «однажды Манькина мама увидела Сисина по телевизору — я думала, он симпатичнее — сказала она дочери — я просто устал тогда — но Сисина это задело»); *«Сисин готов был начать человеческую породу заново», «вдоль дороги стояли покосившиеся автомобили мелких торговцев — <...> кто родил — кто неудачно порезал вены — тренировочные костюмы — <...> нет — думал медленно Сисин — проезжая все это мимо — нужен полный, исчерпывающий геноцид»; «Берман <...> продолжал учить Сисина, как жить — Сисин думал: — мудак! — учит Бога!»; «он спокойным, неторопливым взглядом смотрел на юманите — оно его не устраивало»* (СС). «Ты

жесток, Сисин — жесток и необычен», «он сеял безумие вокруг себя» (СС), — подпевает Сисину его оппонент по роману Жуков, — «они все считали его бесчеловечным» (СС). Эти авторские подтасовки смешны: даже читателю с самой малой способностью к анализу будет очевидно, что Сисин как раз обыденен, рационален и человечен в самом земном смысле этого слова.

Сисин обыкновенен и даже хуже, он, прямо скажем, не лучший образец человека. Обидчив, привязан к благам, уныло-развратен, скуп на чувства и на подарки любимой женщине, боится обязательств и проблем, способен избить любовницу и убить идейного оппонента. Вот ряд цитат, характеризующих этого *«Внука Божьего»: «в раю <...> я <...> четко понял — люблю комфорт и свою квартиру»; «почему царапина на моей машине для меня важнее любви, за которую я только что бился?»; «Сисин дал задание Крокодилу и Бормотухе унижить Маньку <...> — насыть ей, девки, в рот»; «он был плохо приспособлен к любви — он не был циником — он просто полагал, что другие ниже его, и потому относился к ним с циничным чувством»; «Сисин закурил сигарету — ему было приятно убить знакомого человека — ему показалось, что он посадил дерево» (СС).*

И вместе с тем Сисин еще больше, чем Ирина Тараканова, близок автору. Лично с Ерофеевым не знакома, но по его высказываниям, по повторяющимся в книгах мотивам и суждениям, наконец, даже по его лицу, выставленному на обложках, я рискую предположить, что автор относится к своему «божественному» персонажу без особой критики и вполне разделяет его взгляды на любовь, женщину, брак, человечество, родину и религию. Сисин не раз повторяет от своего имени ерофеевские мысли. Есть случай и почти дословного совпадения: *«Сисин вел машину в сторону Европы <...> для того, чтобы несколько лучше понять свою уязвленную родину» (СС) и «наездившись по миру, чтобы лучше понять Россию» (Э), — слишком точно для случайности. Сисин — автор скандально-эпохального романа «ВП» — не исключено, что Ерофееву хотелось бы создать нечто подобное или что он думает, будто все его книги складываются в аналогичный труд мирового масштаба о нашей современности. И не исключено, что Ерофееву так же хочется принести в мир некое псевдо-божественное откровение — слишком уж часто в его произведениях появляются персонажи-предтечи и мотивы новой веры, новой истины и т.п.*

В конце концов, не вырастает ли Ерофеев до фигуры сисинского масштаба, когда говорит: *«Я испытываю боль за русский народ, потому что он вял и сир, а я излучаю энергию. Когда-нибудь я поделюсь с ним своей энергией, но еще не настало время» («Мужчины»).*

Да минует нас этот котел. Аминь.

5. Тема любви в творчестве Виктора Владимировича Ерофеева

Любовь постоянно присутствует на страницах книг Виктора Ерофеева — во всяком случае, его герои постоянно ее *делают*, ею *занимаются*. Он даже книгу издал с подзаголовком «рассказы о любви» («Бог X»). Между тем, как это ни прискорбно, тема любви находится вне кругозора этого писате-

ля. Я имею в виду любовь в настоящем, философском смысле, ту, которую воспел еще... — ну, вы меня понимаете. Ерофеев думал, что он тоже воспел. То и дело в его эссе и рассказах появляются рассуждения о любви, призывы отказаться от половой любви — или полюбить весь мир, и тому подобное (БХ). Все это голословное великопение не отменяет сути: любовь, как феномен духовной жизни человека, остается непонятой Ерофееву как апологету тела.

Ерофеев, что очень органично для него, заостряет проблему тела в любви: *«Преодоление газов, вони, пердежа, самого вида говна и грязной, запачканной говном любимого человека туалетной бумаги — может быть, самое высочайшее достижение любви, доступное единицам. <...> Примириться с тем, что любимая женщина срет, непросто. <...> Такая милая, нежная, трепетная — и срет»* (БХ). И повезло же, елки-палки, фетишистам, чьи предметы обожания ведут себя куда более пристойно!

Ерофеев вполне наивно-подростково смешивает любовь и страсть, любовь и расчет, любовь и любовь к себе. Усердному читателю предлагается провести самостоятельный анализ состава странных любвеи, при которых возможны такие высказывания: *«слабая любовь порождает эротику, сильная — порнографию»* [мой, прошу прощения, личный опыт подсказывает мне, что все обстоит ровно наоборот]; *«новое тело Сашеньки волновало мое любопытство — оторвавшись от надоевших объятий Маньки, в которую я, очевидно, влюблялся»* [очевиднее некуда!]; *«он долго растирал ей ноги — волнуясь будто бы о том, чтобы она не простудилась»* [а это уж, товарищи, такая низость — без задних мыслей не растереть возлюбленной ноги — что я даже комментировать отказываюсь] (СС).

Рассказы же «о любви», собранные в книге «Бог Х», при ближайшем рассмотрении оказываются эссе о нелюбви, включая, само собой, и манифестационный текст «Как быть нелюбимым». Эссе очень прочувствованные и даже местами красивые, чего у Ерофеева, даром что автора «Русской красавицы», отродясь не бывало. Но все они, увы, о нелюбви, о переживании мужской оставленности и оскорбленности, об уязвленном самолюбии, наконец. Ерофеев отлично описывает психологию нелюбящей женщины, но вот психологию любящей (-щего) не умеет разгадать.

Любовные отношения изображаются Ерофеевым как непрерывная война полов, соревнование в правильности расчета, взаимное использование. И все это — без осуждения, а так, словно эта любовь и есть истинная, и никакой другой любви человек испытывать не может. Голос мужчины: *«если он уклонится от признания [в любви], будут осложнения с последующим допущением к е...»* (СС); голос женщины: *«была растерянность, неверие в себя — боязнь проиграть — лучше не любить, но не проиграть — чтобы не было больно — гордость — и подозрение, что Сисин — говно — и неверие в Сисина»* (СС); и вот они вместе: *«он хотел Маньку если не подчинить, то унижить — она успешно, упорно защищалась — с самого начала»* (СС).

Ерофеев и его герои претендуют на выход за пределы традиционного русского менталитета. Так, в книге «Мужчины» писатель осуждает женское бесправие в России, мужское рукоприкладство, неуважение к женщине. Однако весь смысл любовных отношений ерофеевских героев сводится к

древней народной догадке о том, что все мужики — козлы, а все бабы — дуры. Сисин вполне удостоивается указанного уподобления, когда, сам изменяя Маньке, бьет ее за попытку отомстить ему тем же способом или когда жмотится (иначе не скажешь) купить ей в подарок цветы или кофточку, выставляя ее требовательной стервой. Автор охотно поддерживает своего героя, призывая: *«В любовной драке бей изю всех сил. Не щади эту сволючю. Мужчину бьет женщину в учебных целях, в назидание»* (БХ).

6. О том, как слово х.. «облегчает тяжелое дело русской е..»² и об иных способах облегчиться

Ну вот, мы добрались и до «клубнички», а также до гнильцы и блевотинки. Сисин, помнится, мечтал «сочинить энциклопедию новейшего цинизма» (СС) — и в цинических выходах самого Ерофеева есть определенный энциклопедизм. Исходя из этого, памятуя, что каждый встреченный вами на его страницах «х..» — вовсе не х.., а символ Откровения от Виктора Ерофеева. И все сцены соития, насилия и испражнения в его творчестве — это не просто эпизодические хулиганства, а, видите ли, концептуальная энциклопедия новой жизни.

«Ваши книги похожи на раскаленный паяльник, который вы засовываете читателю в жопу» (СПЕК), — такую автохарактеристику озвучивает Ерофеев устами персонажа-поклонника. В этих словах есть метафорическая претензия — с помощью «раскаленного паяльника» раскрыть читателю глаза на *правду*. Ерофеев претендует на открытие в человеке чего-то нешуточно нового: *«Он стремится развенчать чересчур, на его взгляд, оптимистическое представление о человеке. Для Ерофеева и для писателей его поколения, с которыми он солидаризируется, человек — “неуправляемое животное”, он “способен на все”*» (Е. Ермолин, «Русский сад, или Виктор Ерофеев без алиби» — «Новый мир», 1996, № 12).

В этой *правде* от Виктора Ерофеева сомнительны три вещи: ее достоверность, долговечность и эффективность избранного писателем способа ее «проповедовать».

Ерофеев — пророк 90-х. Он их предвестник и их орудие. 90-е — *его* время. В произведениях этого автора 90-е годы поданы как время революционного воцарения «русского тела», а вместе с ним — и особой воли к земному потребительскому счастью, к полнокровной жизни, к свободе от телесных оков, будь то запретная ориентация, нецензурная лексика, неудобное белье или секс вне закона. В 90-е годы мы, как говорится, дорвались: *«Это было десятилетие русского тела»* (Э); *«Россия рванулась к счастью»* (СС); *«сегодняшняя Москва производит впечатление абсолютно праздничной катастрофичности. Жизнь прет из всех дыр, бьет кровавыми фонтанами»* (БХ); *«Русская духовность уходит в небеса. В архив сдаются рулоны светлых помыслов. Сворачиваются в трубу миллионы стихов, прогрессивных рецензий, статей с направлением. Разорвалось сердце поэзии, отказывается работать печень прозы. Остановились миллионы часов кухонных бесед»* (Э).

² Из романа «Русская красавица».

Ерофеев рисует нам образ масштабной материальной революции, с чуть ли не блоковским подтекстом, мол, *«все стало новым; ажывая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью»*³. Чем не переворот в идеологии? Однако когда пламенный революционер пытается на конкретном примере показать нам масштаб совершенного воцарившимся телом идейно-психологического сдвига, изменения не кажутся столь уж существенными. Ерофеев сравнивает двух женщин — Агату, падчерицу переходного периода, для которой 90-е были сломом и вызовом, и Женьку, дочь новой России, для которой 90-е стали идеологической колыбелью. Естественная прогрессивность Женьки по сравнению с нарочитой продвинутостью Агаты выигрывает в том смысле, что «ее [Агаты] тело бежало из тисков власти. Женькино — убежало» (БХ). Женька, что называется, свободу тела впитала с кока-колой. Авторские симпатии несомненно на стороне Женьки, которая кажется и раскованной, и цивилизованной, и перспективной, но если вчитаться, то получится, что самоуверенную Женьку от потерянной в эпохе Агаты отличает только... отказ от ношения трусов.

Впрочем, нет смысла отрицать, что если для кого творчество Ерофеева и может быть некоторым «откровением» о человеке, то только для поколения Агаты и старше. Пока Россия «бежала из тисков», печатное сопряжение матерно названных органов и извращенно-садистские забавы их владельцев еще могли претендовать на некоторую свежесть. На излете советской эпохи тексты Ерофеева видятся как поворот винта в несмазанном совковом сознании, поворот мучительный, рождающий тоскливый скрип, ржавые кровавые брызги и скрежет любовный. Ранние рассказы Ерофеева, построенные на литературных полемизирующих аллюзиях, цитатах, стыдящихся самих себя, аналоанализе и шизошике, направлены на разрушение образа так называемого «хомы советикуса». Психолог найдет в них своеобразную умиленность подросткового бунта против запретов старших не ковырять в носу и не подглядывать за девочками. Правда, однако, не в зауженно-добропорядочном образе советского человека и не в демонстративно-маниакальном образе человека «ерофеевского» — правда в самом Человеке, который *вмещает в себя все* и для изображения которого требуются гораздо более сложные формы и тонкие краски, чем у вооружившегося отверстиями и фекалиями Виктора Ерофеева.

Его Откровение о Теле постепенно превращается в бесстыдную банальность. Можно сколь угодно глубокомысленно рассуждать о мистическом значении мата, декларирующего протест русского тела против церковных запретов и государственных пыток (БХ), но постоянное употребление эпитета «*ох...тельный*» наводит на мысль о бедности даже матерного писательского лексикона. Можно принять фразу о том, что русский «*лежит на кровати, яйцами болтает*» за удачное выражение высшей степени легкомыслия, но «*Серый на землю серит*» — это сомнительная находка (Э). Можно предположить, что в сценке «Дети Пушкина» автор аллегорически изобразил современное русское общество, предавшее память о великом поэте, но фраза одной из дочерей: «*Пушкин — это говно нации, которое любит де-*

³ Из статьи А. Блока «Интеллигенция и революция».

лать порнографические снимки самого себя» (БХ), — по стилю и тематике метафор падет исключительно на совесть самого писателя. Я не говорю уже о романе «Страшный суд», который явно указывает на то, что Ерофеева в человеке интересуют только потенция, пищеварение и мастурбационная жизнь. Герои почти всех книг Ерофеева испытывают абсурдную радость от немотивированного насилия и хоть раз да устроят перед читательским взором какое-нибудь фарсовое Сад-шоу. Особый шик — поглумиться над дочерьми Николая II и перебить нос (заметьте эстетическую точность садистского вкуса) Ахматовой (Э).

Искусство строится на конфликте. Уже тот факт, что произведение претендует на создание вторичной реальности, создает между ним и реальной жизнью поле поэтического напряжения. Когда Ерофеев писал свои первые скандальные тексты (о вожделеющей к сыновьям матери, счастливом некрофиле-убийце, голове, отрубленной секатором, тяге интеллигенции к сексуальному унижению через властолюбивого «идиота» — читай: вождя...), напряжение между табуированной советской реальностью и его миром абсолютной вседозволенности было значительным. Эффект усиливала литературоведческая неординарность Ерофеева (автора небезыntenесных статей, которые, сдастся мне, в плане стиля и мысли достойны пережить его художественные тексты), использовавшего в роли оппонента не столько даже советскую реальность саму по себе, сколько ее образ, сконструированный в канонизированной режимом литературе. Есть известная доля вызова и в его замечаниях о России — опять-таки, не о действительно-современном облике ее, а о некотором традиционно-философском предании о ней. Постепенно, однако, ресурс напряжения стал иссякать. Книга «Роскошь» уже отдает откровенной творческой нищетой: новой российской реальностью Ерофееву нечего противопоставить, он вполне успешно сливается с ней, превращаясь из ведущего актера в элемент декорации.

Когда кончаются революции — их провозвестники уходят в бессрочный отпуск. Нулевые годы Россия встретила с дезодорированными подмышками, удобными тампонами, в новом лифчике и без трусов. *Правда* Ерофеева была намотана на ус, а ус сбрит. Мы стали ерофейскими-европейскими, викторизованными-цивилизованными. И патриарха тела, пока он не оброс марксовой бородой, готовы сдать в «букинист» — с пометой «устаревшее».

7. «Дуракам надо сказать, что они — дураки»

«Критика писала гадости — его приемы надоедливо, однообразны» (СС), — ясный взор Ерофеева угадывает мои подлые критические мыслишки и рубит ростки негодования на корню. Мне же не остается ничего лучшего, как признать правоту писательских прозрений: да, надоело, да однообразно, и вообще, сами Вы гадости пишете.

Ерофеев на удивление вооружен против возможного оппонирования, и фоторобот своего «врага» составил на славу. В «Мужчинах» это некий писатель К., прославившийся при советской власти, а после смены режима потерявший доход и популярность, в «Страшном суде» это оппонент «ав-

торского» героя Сисина патриотический писатель Жуков (Ерофеев, чтобы оттенить Сисина и придать ему хоть какую-то творческую значительность, вводит в роман сальерианские мотивы). Ерофеев явно вымещает на этих образах давние обиды писательского самолюбия. Он мстит «пай»-литераторам за ту репутацию и востребованность, которая когда-то отличала их от вестников «зла»: *«Писатель К. <...> задумался о правде и добре, как, может быть, и полагается русскому писателю. Он меньше стал ходить по мастерским, а больше — в лес, за грибами, за свежим воздухом, за свежими мыслями»* («Мужчины»); *«Жуков завел дневник по борьбе с деструкцией — <...> дневник постепенно принимал романские очертания — антицинического направления — против ерничества, душевного гнойника и глумления <...> — роман имел поразительный успех — Жуков разбогател»*; *«Жуков обрастал новыми знакомствами — он нравился себе в роли предателя цинизма»* (СС). Жукова Ерофеев не раз сюжетно унижает — будь то намеки на его зависть по отношению к «гениальному» Сисину (хотя последнее и не доказано) или назойливое напоминание о том, как Сисин совершил над Жуковым гомосексуальный половой акт.

В развенчании писателя К. Ерофеев более прямолинеен: мол, во время размежевания в литературе 70-х годов *«одни пошли навстречу словесной вакханалии, может быть, даже наркомании зла, а другие решили прижаться [заметьте лексическую оценочность!!] скорее к добру, к идеалу. Среди последних оказался и писатель К.»*; *«Во время перестройки <...> вся литература добра провисла. Зато русский постмодерн оказался созвучен каким-то всемирным настроениям и его стали печатать повсюду, и меня тоже»*; *«Сатанисты купили себе машины, а добрые писатели продолжали ездить на метро. <...> Казалось, божественной справедливости настал конец»* («Мужчины»). Это злопыхательское бахвальство Ерофеев неосторожно заключает словами: *«Писатель К. недавно умер. <...> Он шел наперекор времени. А мы, выходит, плывем по течению? Или как?»*, которые дают нам возможность ответить устами Е. Ермолина: *«Принципиальный вопрос: хотим ли мы чего-то большего от себя, от людей, которые вокруг нас, от эпохи и страны — или мы удовлетворимся историческим прозябаньем и партикулярным нытьем. Будет ли литература фактором духовного роста — или только подвидом блажи. <...> Жизнь настоящего художника сегодня — поединок с тотальным нивелиром бездарной эпохи. Вызов текущего момента — самоуменьшение, минимализация рисков, соглашательство вплоть до капитулянтства, пиар вместо жизни. Если художник смирится с этим — пиши пропало. Он просто совпадет с эпохой в ее сущностном определении»* (статья «Поворот руля» в «Ex libris-НГ», 2004, № 8).

В систему излюбленных ерофеевских оппозиций (дух — тело, «добрый» писатель — «злой» писатель) оказывается встроен и однофамилец нашего героя Венедикт Ерофеев, который подан как один из символов русского духа (см. БХ). Проблема однофамильства столь противоположных по репутации литераторов занимала и их самих, и читающую публику. Кому-то в этом виделось нечто оскорбительное для Венедикта Е. и незаслуженно-удачное для Виктора Е. Наш герой посвящает этой проблеме несколько драматично-находчивых страниц, показывая, что ему самому не так уж приятно бывает вляпываться в комизм однофамильства. По чести говоря, одинаковые фами-

лии при очевидном творческом несходстве — слишком малый повод для такого шума. Однако если исходить из предположения О. Дарка о том, что «*писательская омонимия*» не может быть случайной (см. его очень остроумную по замыслу статью «В. В. Е., или Крушение языков» в журнале «НЛО», 1997, № 25), то я осмелюсь заметить, что в историко-литературном отношении Виктор Е. от Венедикта Е. не так уж далеко падает. Венедикт (лат.) — благословенный, Виктор (лат.) — победитель. Венедикт Е. — первое оправдание благословенной юродивости, благой слабородности, первое всепрощающее низведение человека (в противовес настырной советской героизации личности). Виктор Е. уже победа Благословенного, когда всепрощение переходит во вседозволенность, благодать — в блажь, а трагическая динамика низведения — в угробовавшуюся плоскость самодовольного цинизма.

Как бы ни старался Ерофеев изобразить себя наместником зла и проводником мировой цивилизации, в противовес принятым в отечественную литературную традицию идеалистам русской ментальности, его тексты говорят о том, что нечего ему противопоставить этой самой традиции. Для полноценного спора необходим более высокий уровень аргументации — стили, повествования, мировосприятия.

Ерофеев не выдерживает большой (от рассказа до романа) повествовательной формы. Его романы построены на ретроспективном объяснении одного события (демонической беременности в «Русской красавице» и убийства Сисина Жуковым в «Страшном суде»). Все остальные книги — это собрания малюсеньких эссе на заданную тему («Энциклопедия...», «Пять рек жизни», «Мужчины»), причем заявленная тема довольно быстро исчерпывается и Ерофееву приходится дополнять книгу текстами совершенно иной проблематики: так, в «Боге X» полкниги вовсе не о любви, а в «Роскоши» немалую долю страниц занимают старые произведения, по настроению плохо стыкующиеся с новыми. Последний факт, кстати, не только явный симптом «исписанности», но и злосчастный повод убедиться в том, что Ерофеева как писателя создали постмодернистские приемы и описательное бесстыдство — т.е. антисоветская стратегия поведения, своевременность которой позволила забыть о том, *как* досточтимый автор писал прежде. Теперь-то мы можем напомнить себе об этом, перечитав в «Роскоши» произведения 70-х гг. «Трехглавое детище» (выбранное Ерофеевым для публикации в альманахе «Метрополь») и «Коровы и божьи коровки». Тексты эти написаны совсем традиционно, основаны на стандартно поданном конфликте частного и общественного (советского). Серодоброкачественный стиль, стандартные выражения: «*Борис улыбнулся бледной хрупкой улыбкой человека, выздоравливающего после вконец измотавшей его болезни*» («Коровы...»). Такое ощущение, что в последующих, прославивших его, произведениях Ерофеев вытравлял из себя эту серость, трезвость, неотличимость, придумывал свой имидж скандального писателя. Но эффект отрицания заканчивается, когда нечего становится опровергать. В новой литературной ситуации, свободной от прежних предрассудков и ложных канонов, Ерофееву оказалось не с чем воевать — а значит, и нечего предложить.

Ерофеева сделала идея, и даже не *его*, заметьте, собственная идея, а удачно уловленные общие места. Слом отечественного сознания, произошедший в

90-е гг., обнажил месторождение русских стереотипов — и Ерофеев оформил на них монополию. Это открыло ему путь в литературу через публицистику. Отсюда пошли все его «реки», «энциклопедии» и «новые откровения». Как публицист Ерофеев может быть интересен. У него есть добротная журналистская поверхностность миропонимания — это когда не хватает глубины, чтобы понять и оценить, но зато вдоволь остроты, чтобы уловить и уличить. Ерофеев не художественен — аналитичен. Он удачно и порой символично осмысляет детали быта, слова, анекдоты, пословицы, слухи и факты. Ему не откажешь в мастерстве придумывания заголовков, в нетривиальности композиции, в эффектном употреблении факта-иллюстрации. Ерофеев любит применять несложную газетную образность: представить, скажем, отечественную историю как футбольный матч (Э), описать «*юбилейный банкет Иисуса Христа*» (БХ), настрочить очерк от лица машины (РО) и вообразить свидание умершего Пушкина с умирающим Дантесом (РО). Стил Ерофеева тоже бойкий, газетно-публицистический. Ему удаются краткие, анекдотичные эпизоды, афоризмы в картинках. Большинство его мыслей аксиоматичны: *«Не важно, ошибочны или нет <...> [эти] амбициозные афоризмы. Важно то, что они — бесспорны. Просто есть определенный уровень человеческого сознания (нередко именуемый обывательским), где востребовано именно такое красное словцо. Оно не возбуждает, но намертво припечатывает мысль — что и требовалось доказать»* (О.Славникова «Шествие голого короля», «Октябрь», 2000, № 5). Ерофеев мыслит упрощенно, ярлычно. Он любит показную парадоксальность сравнений: вот, скажем, сортиры — это соборы «с куполами не вверх, а вниз» (Э), а «икона — это русский телевизор» (СПЕК). Для аргументации выбирает самые расхожие символы в сознании читателя: матрешку, чукчу, бабульку, анекдот (Э), тему реинкарнации, как самый культовый элемент в восприятии Индии (СПЕК).

В последних книгах Ерофеева немало серьезных опечаток и стилистических погрешностей. Корректор ли это виноват, или сам автор не дружит с орфографией, но в текстах его постоянно возникает путаница в употреблении не и ни, мягкого знака в третьем лице глаголов на -ся, возникают ошибки в падежных окончаниях существительных. Вот самое примечательное: «*загнанная в проскуртово ложе святости*» (БХ), «они хотят от меня не поступки, а завоевания» (РО), «в вновь» и «во невкусном салате», «шопотом» (СПЕК), «кашелот» (БХ), «даостская» (БХ). И — в копилку стилистических жемчужин: «глубинное залегание неведения о нормативах людского общения» (Э), «историческая дестабилизация как следствие снижения пассионарного напряжения этнической системы» (Э), «сирень машет зелеными ветками с гроздьями сирени», «он не встретил больше ни одной встречной машины», «с маленькими аристократическими ручками плебей», «враги не обращали на Жукова никакого пристального внимания» (СС), «ход российской цивилизации от власти казенной власти к власти свободных денег» (БХ) — виртуознейше!

Наконец, нельзя не отметить лексические, тематические и образные повторы как излюбленный прием Ерофеева. То ли он хочет вбить таким образом в читателя свои истины, то ли боится, что никто не заметит однажды сказанной находки, а сам он в другой раз так ловко выдумать не сможет, — неизвестно. Однако единообразие произведений Ерофеева очевидно —

скажем, для О. Славниковой: *«Вообще “Энциклопедия русской души” как-то очень похожа на другие книги Виктора Ерофеева — больше, чем это обычно бывает между детищами одного и того же автора. “Энциклопедию” можно, например, принять за свежую порцию книги “Мужчины”»* (статья та же). Дошло до того, что, открыв по ошибке книгу «Бог Х» вместо «Энциклопедии...» (обе книги изданы в «Зебре Е»), я обнаружила, что рассуждения о сходстве России и Африки помещены в них на одних и тех же — по нумерации — страницах!

Ерофеев поднимает одни и те же темы (скажем, Россия и Европа, страдание как судьба России, русский народ против роскоши, новая религия, тема женской измены). Тиражирует слова и фразы, так что научная *«энтропия»* по частоте употребления конкурирует с площадным *«ох..ительно»*, а сисинское *«Между нами нет менструации!»* не только повторено, но даже занесено в реестр мирового уровня писательских достижений: *«Что остается от писателя? Три фразы. Шагреневая кожа. Красота спасет мир. Между нами нет менструации»* (СС). Наконец, и сам Сисин скопирован из раннего рассказа «Болдинская осень».

Как литературовед, Виктор Ерофеев как будто четко представляет себе границу между качественной, перспективной литературой и массовым чтением — знает, что в искусстве хорошо и что плохо. Но самые правильные рассуждения оказываются скомпрометированы его литературной практикой как голословные. В книге «Бог Х» он много говорит о *«беде наших писателей»*, о *«каждый настоящий писатель знает»*, о *«литература требует от человека»*, с иронией упоминает о *«массовом, антиинтеллигентском сознании»* и, наконец, заключает с оптимизмом: *«Маскультуре надо указать на ее подлое место. С ней лучше не церемониться. Дуракам надо сказать, что они — дураки»* (БХ).

Не поймать ли его на слове?..

...Ерофеев, создавший образ колдовского врага России, не раз проводил мысль о том, что в русских несчастьях виновата не метафизическая сила, не «Серый» — а сами русские: *«Зачем вступила ты в преступный сговор? зачем хотела ворошить эту жизнь? Не нужно никого спасать, потому что от кого! от самих себя?»* (РКрас).

Вернувшись к началу статьи и сопоставив Ерофеева с Серым, я так же спросу: от кого спасать нашу литературу? От Ерофеева — или от нее самой? Выход — не в уничтожении Серого (Ерофеева) как враждебного феномена русской жизни (литературы), а в созидании новой жизни (словесности). Ерофеев существует, пока никто ничего лучшего не пишет, пока Жуков менее талантлив, чем Сисин. Ерофеев словно подмигивает нам и говорит: мол, если я настолько плохой, то почему мне не могут предложить ничего равносильно-хорошего? Указав ему на его «подлое место» в искусстве, мы повысили донельзя упавшую планку творческого мастерства. Перепрыгнете?..

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ В ЛИЦАХ

Трифонов, Солженицын, Твардовский и журнал «Новый мир»

«Юрий и Ольга Трифоновы вспоминают»

Москва, «Коллекция — Совершенно секретно», 2003

Эта книга разом всколыхнула во мне массу больших и малых воспоминаний о делах давно минувших дней. Воспоминаний двоякого рода: одни связаны с общественной атмосферой в Советском Союзе 60-70-х годов прошлого века, другие — с литературным процессом тех лет.

Два текста из этой книги — «Записки соседа» (1972) Юрия Трифонова и «Попытка прощания» (1982) его вдовы Ольги Мирошниченко-Трифоновой — давно вошли в мою жизнь. Но — по-разному.

Трифоновский мемуар о Твардовском многократно публиковался и в сборниках прозы писателя, и в периодике. Но всякий раз — в новой редакции. Так, в книге «Как слово наше отзовется...», где, как сказано в аннотации, «впервые собрано публицистическое наследие писателя», «Записки соседа» даны (это выяснилось впоследствии) со многими купюрами и искажениями. Оно и неудивительно: книга вышла в 1985 году, первом «горбачевском», но готовилась в предшествовавший глухо-застойный период. Год спустя появилась новая, «огоньковская» версия «Записок», где некоторые (но не все) цензурные изъятия были восстановлены. А по прошествии еще трех лет, в октябрьской книжке журнала «Дружба народов», прошла третья редакция этой многострадальной вещи, снабженная пометой: «Публикуется впервые по авторскому варианту». Наконец, в новой книге, в короткой врезке к «Запискам», Ольга Трифонова признается, что, отдавая их в «Дружбу народов», согласилась на очередные сокращения. И добавляет: «И вот теперь, впервые, они печатаются без цензурных изъятий».

Что же касается «Попытки прощания», то мечтал прочесть ее давно — с тех пор как она анонсировалась на обложке нескольких номеров «Дружбы народов», в том числе и № 10 за 1989 год — того самого, что в разделе «Из литературного наследия» представил упомянутую третью редакцию «Записок соседа». Но 1990 год был последним в *той* моей жизни, а последним номером «Дружбы...», полученным мною по подписке, — был июльский. Так что не далась мне тогда вожделенная «Попытка», и прочел я ее впервые только теперь.

**Михаил
КОПЕЛИОВИЧ**

— родился в 1937 году в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт, работал по специальности. Как литературный критик и публицист выступает с 1960-х гг. Печатался в журналах «Звезда», «Знамя», «Континент», «Нева», «Новый мир» и др. С 1990 года живет в Израиле.

Время, отразившееся в «Записках соседа», — это два десятилетия моей собственной жизни, от тринадцати до тридцати трех. А в жизни страны — можно сказать, три эпохи: поздняя сталинская — со всеми ее уродствами, хрущевская — с ее взлетами и падениями и начало брежневской — с ее осторожным, но все более ощутимым поворотом к реставрации сталинизма (в несколько смягченном варианте).

...Итак, все начиналось в 1950 году. Только что (декабрь 1949) оттремело семидесятилетие Сталина. Приветствия и поздравления юбиляру печатались в «Правде» еще чуть ли не целый год, наряду с победными реляциями с фронтов социалистического строительства и противостояния гниющему капитализму. Между прочим, в первом, новогоднем (1950), номере «Правды» была помещена статья И. Эренбурга «Полвека», где были такие слова: «Мы живем идеями Сталина о том, что нет ничего ценнее и выше звания человека»...

В том же году сорокалетний трижды лауреат Сталинской премии поэт А. Твардовский был назначен главным редактором журнала «Новый мир», а двадцатипятилетний начинающий Ю. Трифонов выступил в этом журнале со своим первым сочинением — романом «Студенты». Так они встретились — маститый поэт, к которому уже в те годы литераторы младшего поколения «отписались как к классику» («Записки соседа»), и недавний (1949) выпускник Литературного института. «Помню — горы сырого снега, мокрый асфальт, солнце, предчувствие весны... В этот день я познакомился с Александром Трифоновичем Твардовским» («Записки»).

Твардовский, как известно, «правил» в «Новом мире» с 1950 по 1954 год, затем был снят и вернулся в кресло главного редактора в 1958-м. Трифонов после «Студентов» снова появился в журнале лишь через шестнадцать лет (1966). А за два года до того Трифоныч и Трифонов оказались соседями по дачному поселку Красная Пахра. Как не без юмора повествует автор «Записок соседа», «Александр Трифонович купил дом недавно умершего Дыховичного, я почти одновременно приобрел недостроенную дачу Слободского. Участки находились рядом и соединялись калиткой: соавторы, как видно, часто бегали друг к другу»¹. Тут, в Красной Пахре, между новыми владельцами постепенно и завязались дружеские, доверительные отношения. Но именно и только дружеские. До поры до времени они не осложнялись профессионально-служебными. «Я ничего не давал в «Новый мир», было несколько рассказов, но дать их не решался». Все дело в том, что во второе «царствование» Твардовского, особенно с начала 60-х, «журнал Александра Трифоновича набирал высоту и силу» и отбор прозы становился все строже. Новую планку задал Солженицын с его «Одним днем Ивана Денисовича» и «Матрениным двором». Тем сильнее «литераторы, хоть чуть себя уважавшие, стремились стать авторами журнала Твардовского. То было всеобщее писательское вождение. Не обошло оно и меня».

«Новый мир» шестидесятых! Целая гора голубых книжек — чего в них только не было! Даже сейчас, спустя тридцать пять-сорок лет, когда мне надо что-то разыскать в одном из журнальных новомирских номеров (а такая надобность возникает нередко) и я снимаю с полки этот номер, иногда

¹ Эта пара — Дыховичный и Слободской — писала в соавторстве комедии в стихах вполне сервильного толка.

поврежденный, порой подлатанный и подклеенный, я непременно начинаю его перелистывать и, случается, читаю (в который раз!), не отрываясь, тот или иной рассказ, повесть, стихи или какую-нибудь другую публикацию. Стоит ли объяснять, что человеку, исследующему литературный процесс той эпохи, «Новый мир» Твардовского неизменно дарит изобилие тем, образов и стилей. Причем объектом пристального внимания для литературного критика могут оказаться не только тексты собственно художественные, но равным образом и сама критика. К примеру, Сергей Чупринин (ныне главный редактор журнала «Знамя») в своей книге «Критика — это критики. Проблемы и портреты» (Москва, «Советский писатель», 1988) отдельную статью посвятил именно новомирской критике 1958-1970 годов, назвав ее «Позиция». (В связи с этим мне вспоминается примерно сорокалетней давности разговор с молодым Л. Аннинским в редакции «Знамени», где он тогда работал. «Если вы хотите писать для «Знамени», учтите специфику нашего журнала. У «Нового мира» — позиция. Да и у «Октября» — тоже в общем-то позиция, пусть нас с вами и не устраивающая. А у нас — диспозиция!»²)

Я не стану перечислять здесь имена всех сколько-нибудь заметных авторов журнала: такой перечень занял бы непомерно большое место (список одних только критиков расположился на пятнадцати строках статьи С. Чупринина!). Я поступлю иначе. Дело в том, что, когда «Новый мир» Твардовского был окончательно разгромлен, я написал «Отходную по “Новому миру”» (начал писать в феврале 1970-го, закончил в апреле), в которой распределил весь материал по трем разделам: 1. Как на них нападали. 2. Чего они не дали. 3. Что они дали.

Первый раздел основывался на материалах современной периодики, как правило, недружественной (и это еще мягко сказано) — по отношению к журналу Твардовского.

Второй — на невыполненных обещаниях «Нового мира», а также на информации, почерпнутой в литературной среде тогдашнего Ленинграда.

Третий — ну, тут особых объяснений не требуется. Он начинался словами изумления и восхищения: несмотря ни на что, констатировал я, «Новый мир» давал читателю так много и столь доброкачественной литературной продукции, что иной раз казалось, будто цензура умерла или по крайней мере потеряла зубы. И добавлял: если брать только самое запомнившееся, и то насчитаешь свыше пятидесяти имен и чуть ли не сто названий.

Далее я последовательно перечислял наиболее дорогие мне имена и названия: из отечественной прозы и поэзии; из критики; из публицистики (не собственно литературной); из переводных вещей. А сегодня смотрю я на эти перечисления — увы, они похожи на мартирологи, ибо из живших и творивших тогда писателей большинство ушли из жизни. Но вот что важно: почти все литературные лидеры 60-х, печатавшиеся в «Новом мире», не изменили своим нравственным и эстетическим принципам³. Более того —

² Главными редакторами «Октября» и «Знамени» были в ту пору соответственно В. Кочетов и В. Кожевников.

³ Исключения немногочисленны: Ю. Бондарев, В. Катаев, П. Палиевский... Может, кого-то забыл.

ряд авторов журнала и в последующие годы самоотверженно «бодались с дубом» советской власти: тут, помимо самого Солженицына, следует назвать Г. Владимирова, В. Войновича, Ф. Светова, А. Синявского. Другим более или менее успешно затыкали рты. Тут можно вспомнить Ф. Абрамова, Ф. Искандера, Б. Можая, А. Яшина, а из публицистов и критиков — Ю. Буртина, И. Виноградова, В. Лакшина, Ж. Медведева. Досталось и самому Твардовскому, так и не увидевшему при жизни полностью опубликованной поэмы «По праву памяти».

Несколько слов о том, «чего они не дали». «Раковый корпус» А. Солженицына. Военные дневники К. Симонова. Роман В. Дудинцева «Невидимый солдат» (опубликован в годы перестройки под заголовком «Белые одежды»; но уже не в «Новом мире», а в ленинградской «Неве»). Повесть В. Семина «Исполнение надежд» (ранее этот талантливейший ростовчанин выступил в «Новом мире» с прекрасной повестью «Семеро в одном доме»). Пьесу Г. Троепольского «Гнилой корень». «Чуму» А. Камю. Знаю, как туго проходили цензуру «Две зимы и три лета» и «Деревянные кони» Ф. Абрамова: роман опубликован с серьезными цензурными искажениями, а повесть планировалась на один из первых номеров 1970 года, причем борьба шла едва ли не за каждый абзац текста. Но этот год в судьбе журнала оказался переломным (Твардовского «ушли» в феврале 1970).

«Новый мир» продолжал выходить и без Твардовского. Писатели уныло шутили: «Отречемся от “Нового мира”, отряхнем его прах с наших ног...”»

Как обстояло дело с публикацией в «Новом мире» вещей Трифонова? При Твардовском были напечатаны: пять рассказов и повесть «Обмен». Любопытно замечание в «Записках соседа» по поводу публикации рассказа «В грибную осень»: «Рассказ вышел в августовском номере. Этот номер был сдан в набор тридцатого мая, а подписан к печати девятнадцатого октября. Подписчики получили его в ноябре».

Трифонов не перестал публиковаться в «Новом мире» и после ухода Твардовского, напечатав в журнале повести «Предварительные итоги» (1970, № 12), «Долгое прощание» (1971, № 8), «Другая жизнь» (1975, № 8) и роман «Нетерпение» (1973, № 5). Но Твардовский, скончавшийся в декабре 1971 года, уже не успел огорчиться по этому поводу. Правда, в том, что отдал «Предварительные итоги» в бывший журнал Твардовского, Трифонов признался соседу по даче. Реакция бывшего редактора оказалась иной, чем, по-видимому, ожидал «кающийся грешник»: «Что же, Юрий Валентинович, время прошло... Первые полгода было как-то трудно примириться, а теперь что ж — мне все равно. А вам, я понимаю, тяжелее идти к Кожевникову, чем к этим людям, вам неизвестным...»

Как отмечено в «Записках», некоторые сотрудники снятого редактора остались работать в журнале, другие ушли. «Атмосфера была нервная, — вспоминает Трифонов. — Кто-то с кем-то перестал здороваться, кто-то с кем-то порвал отношения».

Из других источников, в частности из солженицынского «Теленка», знаем: «Одиночество Трифоныча (после его ухода из «Нового мира». — М.К.) было полно горечи всеобщего, как ему ощущалось, предательства: он годами жертвовал собою для всех, а для него теперь никто не хотел

жертвовать: не уходили из «Нового мира» сотрудники, и лишь немногие отхлынули авторы»⁴.

Интересно, что до некоторой степени позиции Трифонова и Солженицына по поводу журнала Твардовского в час его гибели совпадали. И тот, и другой считали, что «“Новый мир” погиб без красоты, с нераспрявленной спиной»⁵; «Это было грустное зрелище. Недавние творцы и охранители “Нового мира” спешили как можно скорее его разрушить» («Записки соседа»).

Но лишь до некоторой степени. Солженицын полагал, что работники журнала должны были взбунтоваться, звонить во все колокола. Трифонов же, напротив, стоял за то, чтобы «не уничтожать, а всеми силами продолжать громадное дело Александра Трифоновича — собирание русской литературы!».

Что ж — оба были и правы, и неправы. Последующие годы показали: с одной стороны, новый («огрязненный», по выражению Солженицына) «Новый мир» продолжил публиковать хорошие сочинения хороших писателей, в том числе Трифонова, и, следовательно, не стал «отвратнее всех других, давно грязных журналов». (Так ведь и кожевниковское «Знамя» время от времени давало приют честным и сильным авторам.) Но, с другой стороны, «разумеется, старый “Новый мир” умирал» («Записки»).

А вместе с ним умирал и тот, кто сделал «Новый мир» наследником великой журнальной традиции старой, дооктябрьской России, начиная с пушкинского «Современника». Имя Пушкина появляется в этих заметках далеко не случайно. Пушкин — Некрасов — Твардовский. Тут не только преемственность самого феномена — ведения толстого литературного журнала выдающимся поэтом. Тут и собственная, внутритроическая непрерывающаяся цепь. Трифонов напоминает о том, что Твардовский был поэт «громадной мощи, может быть, самый большой сейчас на этой планете, занятой шумом вокруг его журнала».

В годы перестройки появилось немало воспоминаний об Александре Трифоновиче и его журнале. Помимо Трифонова и Солженицына, свои версии представили Федор Абрамов и Алексей Кондратович. Кроме того, была полностью опубликована и закатная поэма Твардовского — «По праву памяти». Мне посчастливилось напечатать в ленинградской «Неве» (1988, № 2) статью «Твардовский живет сегодня», в которой прокомментированы как сама поэма, так и перечисленные мемуарные сочинения (за исключением, разумеется, солженицынского «Теленка», опубликованного на родине, как уже упоминалось, гораздо позже).

Сравниваю свои впечатления от поэмы с тем, как восприняли ее (в авторском чтении) Трифонов и общий приятель и опять же сосед его и Твардовского — Иосиф Дик. Цитирую «Записки»: «Стихи были замечательные и ударили нас с Диком в самое сердце. У Дика на глазах были слезы. Ведь это о нас, об мне и Дике (оба были из семей «врагов народа», как и сам автор поэмы. — М.К.). <...> Да, все, о чем говорилось в стихах, мы трое знали не понаслышке. И это знание горестной солидарностью и любовью к нашим

⁴ Солженицын А. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни. Москва, «Согласие», 1996. С. 266.

⁵ Там же. С. 263.

отцам внезапно соединило нас — на миг — в тот майский день с солнцем, пеньем птиц...»

Когда я читал поэму, я тоже испытывал сходные чувства: у меня отец и дядя попали в ту же мясорубку; отец спасся, а дядя получил «десять лет без права переписки».

Трифонов вспоминает в «Записках» и другую, гораздо более раннюю, встречу с Твардовским, когда младший впервые рассказал старшему о судьбе своей семьи. А Твардовский заговорил о своем отце. Трифонов поразили не столько сам рассказ, сколько «открытая боль» и слезы в голосе рассказчика. Сам-то Юрий Валентинович думал о своем отце «гораздо спокойней. Боли не было, засохла и очерствела рана. А он плакал. <...> Он плакал, не замечая меня».

Встреча эта относится к тому времени (1951), когда после появления в «Новом мире» «Студентов» между автором и редактором возникли первые, еще очень непрочные отношения. И вот что пронзило будущего мемуариста: «Ведь он и старше меня (на целых полтора десятилетия. — М. К.), и разлука с отцом произошла давно, двадцать лет назад», а вот поди ж ты: плакал.

«О чем он плакал? О безвозвратном детстве? О судьбе старика, которого любил? Или о своей собственной судьбе, столь разительно отличной от судьбы отца? С юных лет слава, признание, награды, и все за то, что в талантливых стихах воспел то самое, что сгубило отца.<...>

А я подумал: мы оба дети лишенцев⁶. И пусть он наверху, на Олимпе, а я внизу, в жалоте, в коммунальной гуще, но некая печать отверженности лежит на нас обоих. От этого вовсе не было горько, наоборот — было как-то покойно, тепло».

Характерная для Трифонова парадоксальность. Даже в унижении — и именно в унижении — мы пуше, чем в славе, склонны радоваться тому, что это унижение разделяет с нами более значительный человек, не нам чета. Не по присловью: чужая беда — половина утешения, а потому, что под крылом старшего, более опытного и почитаемого, подвергшегося сходному испытанию и, как бы там ни было, выдержавшего его, собственное горе растворяется в сострадании к нему...

Впоследствии Твардовский рассказал об этой своей боли в поэме «По праву памяти» и в книге «Из лирики этих лет», вышедшей в 1967 году (то есть еще при жизни поэта) и сплошь состоявшей из стихотворений пронзительных, покаянных, раздумчивых. Не могу не сказать хотя бы вкратце о самых любимых.

Прежде всего это тетраптих «Памяти матери», где есть потрясающие строки о горькой мечте-сновидении смоленской крестьянки, высланной за тридевять земель от родных мест:

И ей, бывало, виделись во сне
Не столько дом
И двор со всеми справками,
А взгорок тот в родимой стороне
С крестами под березами кудрявыми.

⁶ В тексте книги «Как слово наше отзовется...» весь этот эпизод, понятно, отсутствует. Но и в варианте «Дружбы народов» выразительное словечко «лишенцы» — из советского «новояза» — заменено более общеупотребительным: «репрессированные».

Такая то краса и благодать,
Вдали большак, дымит пыльца дорожная.
— Проснись, проснись, — рассказывала мать, —
А за стеною — кладбище тажное...

Я не знаю во всей русской поэзии ничего подобного. Эти «кладбищенские» стихи и тоскливы, и просветлены. В них отсутствует надрыв, а есть лишь горькое смирение, и ни одна фальшивая нота не вкралась в этот плач сына по матери. И даже «советизмы» («прописаться», «квартира коммунальная»), коими Твардовский иногда злоупотреблял, здесь не портят мотив, а делают его еще безутешнее. И эта бередящая душу, ласковая «пыльца» — не цветочная, дорожная... И трезво-беспощадная концовка — с березами, под которыми мечтала быть похороненной мать поэта...

А тех берез кудрявых — их давно
На свете нету. Сниться больше нечему.

В книгу входят также три прекрасных стихотворения о минувшей войне: «Ночью все раны больнее болят...», «Лежат они, глухие и немые...», «Я знаю — никакой моей вины...». И гениальная миниатюра (тринадцать строк) «И жаворонок, сверлящий небо...» — про детские сапожки. И еще превосходный дольник «На дне моей жизни, на самом доньшке...».

А в стихотворении 1968 года «В чем хочешь, человечество вини...» совсем не случайно, я думаю, мимолетное упоминание пражского парка (в «Записках соседа» засвидетельствовано, как тяжело отозвался в душе поэта август 1968-го — подавление советскими танками чешской свободы). И тем более не случайно буквальное совпадение зрелого (за три года до смерти) Твардовского со зрелым же (за четыре года до смерти) Пастернаком в заключительном (завещательном) тексте книги «Из лирики этих лет» (второго, посмертного, издания) «К обидам горьким собственной персоны...».

Со всем этим и предстояло Александру Твардовскому войти в XXI век. И навеки остаться в русской поэзии.

...«Записки соседа» завершаются мощным гневным аккордом, посвященным последним дням Твардовского, его смерти и похоронам. «Борьба с болезнью длилась год и три месяца. <...> На последнем в его жизни праздновании дня рождения (всего-навсего — шестьдесят первого! — М.К.) он сидел в кресле, с пледом на коленях, перед накрытым столом, и встречал всех входивших добрым, мечтательным взглядом, а к некоторым тянулся лицом, и мы его целовали. Говорить он уже не мог. Слишком тяжело обо всем этом вспоминать, и я умолкаю. Скажу лишь: могучий организм, задуманный на столетие, сопротивлялся с отчаянной и поражающей медиков силой. Но что можно сделать с болезнью, смертью и злобой людской? В декабре семьдесят первого он умер. И о похоронах писать нет сил. Напишут другие, людей было очень много. Я сидел в фойе на втором этаже, смотрел на полумертвые лица писателей и каких-то неведомых людей, толкавшихся в скорбных кучках, и думал: “Господи, да ведь это какой-то знакомый ужас! Ведь с Россией все это уже было! Почему же снова? Зачем же? И неужели никто, никто, никто, никто не может понять, что так нельзя?”»

И другие написали — и о похоронах, и о предшествовавшей им гражданской панихиде в ЦДЛ. Солженицын — в «Теленке»: «Перегорожены были издали прилегающие улицы, не скупясь на милиционеров, а у Новодевичье-

го кладбища — и войска (похороны поэта!), отвратительно командовали через мегафон автомобилям и автобусам, какому ехать. Кордон стоял и в вестибюле ЦДЛ»⁷.

А поэт Борис Чичибабин в ту же пору посвятил памяти Твардовского одно из лучших своих гражданственных стихотворений. Оно большое — четырнадцать катренов. Напомню лишь три концевочных:

Бесстыдство смотрит с торжеством.
Земля твой прах сыновний примет,
а там Маршак тебя обнимет,
«Голубчик, — скажет, — с Рождеством!..»

До боли в горле жаль того нам,
кто был эпохи эталоном —
и вот унижен, слеп и наг,
лежал в гробу при орденах,

но с голодом неутоленным, —
на отпеванье потаенном,
куда пускали по талонам,
на воровских похоронах⁸.

Пришло время сказать и о моих отношениях с Трифоновым — разумеется, в пределах известной формулы «писатель пописывает, читатель почиывает». Но — без иронии, ее окрашивающей; напротив — с любовью и пристрастием. Позволю себе сослаться здесь на А. Луначарского, к критическому наследию которого питаю, в общем, достаточно прохладные чувства, но одно из высказываний которого представляется мне очень удачным, очень точно схватывающим нечто существенное в пресловутой трехчленной связке «писатель-читатель — критик». Вот оно:

«Критик — это, по сути, человек из публики. Критик — это страстный читатель».

Нужно только добавить, что такие страстные читатели могут и не быть критиками, если их руки не страдают зудом писания. В «Подробностях», еще одной составляющей книги «Юрий и Ольга Трифоновы вспоминают», вдова писателя рассказывает о некоем эпизоде, приключившемся с нею в Боткинской больнице спустя много лет после смерти мужа. Заведующая отделением, к которой обратилась Ольга Романовна, «вдруг догадавшись, что я его вдова, тихо сказала: “Я сделаю все, что в моих силах, ведь любовь к Трифонову у меня в анамнезе”». Вот страстный читатель, хотя и не критик! И мне, критику, хочется, признаюсь, поцеловать руку этой женщины — в благодарность за то, что наши чувства к Трифонову так совпадают.

Разумеется, не только к Трифонову. У каждого из нас, критиков и просто страстных читателей, «в анамнезе» любовь ко многим замечательным прозаикам и поэтам. У меня, как видно и из этой статьи, — еще и к Солженицыну с Твардовским. И к твардовскому «Новому миру» — тоже своего рода личности, только коллективной.

⁷ «Бодался теленок с дубом». С.299.

⁸ Стихотворение «Памяти А. Твардовского» — одно из тех, за которые автор в 1973 году был исключен из Союза писателей.

Я писал о них обо всех, о Трифонове — не однажды. И даже о книге, посвященной его прозе (автор — Наталья Иванова). Трифоновские сочинения я даже коллекционировал, так что в моей домашней библиотеке некоторые его вещи имеются в двух, а то и в трех экземплярах — в разных изданиях, для меня памятных. Но — мимо... Находясь в ясном уме и твердой памяти (во всяком случае, я очень на это надеюсь), хочу сказать без обиняков, что считаю Трифонову великим русским прозаиком позднесоветского периода — прозаиком, в чьих сочинениях отразилось наше и наших отцов нелегкое время, но отразилось не так фронтально и бескомпромиссно, как в больших вещах Солженицына или в колымской эпопее Шаламова, и не так, как в полупублицистических повестях такого современника Трифопова, как Тендряков (тоже, на мой взгляд, сильный писатель), а через психологически точные, художественно объемные образы людей этой эпохи, ее социальных слоев и, как это ни покажется странным, распадающейся связи времен. В этом смысле Трифонов больше всего напоминает мне — пусть и это не покажется странным — Шекспира, у которого тоже злобу дня не расцепить с вечностью, а конкретные злодеяния конкретных (больших и малых) преступников — с безличным и бескорыстным разрушителем человеческих судеб, имя которому Историческое Время. Права Татьяна Бек, откликнувшаяся на книгу «Юрий и Ольга Трифоновы вспоминают» в «Новой газете», назвав свою рецензию «Не бодался теленок с дубом, но и не поддался ему». Понятно, что у рецензента и в мыслях не было дезавуировать Солженицына: речь у Т. Бек идет, как я полагаю, о том же, о чем и я здесь толкую. И еще она называет позднюю прозу Трифопова немеркнувшей — я воспроизвожу этот точный эпитет с большим удовлетворением.

В заключение хочется сказать несколько слов и о воспоминаниях О. Трифоновой. Прочитав их, я убедился в том, что не зря так ждал ее «Попытку прощания» полтора десятилетия назад, еще живя в стране моего рождения и созреваия.

Быть женой великого писателя — удел не из легких. «Любить иных — тяжелый крест...» (Б. Пастернак). Это как раз тот случай. Случай Достоевского. Случай Трифопова. (Кстати, есть здесь и какие-то удивительные биографические переклички. Годы их смерти разделяет ровно век. Анна Григорьевна Достоевская прожила с мужем четырнадцать лет. И примерно столько же продолжался роман Юрия Валентиновича и Ольги Романовны, включая «предбрачный» период. А воспоминания вдов о покойных мужьях сходны предельной исповедальностью и высокой благодарностью судьбе, давшей им счастье жить рядом с ними.)

Так вот, обе мемуарные вещи О. Трифоновой («Попытка прощания» и «Подробности») помогают понять главное: соответствие масштабов личности и творчества Трифопова. И лучшей похвалы мемуаристу я не знаю. Кстати, воздействие мощной писательской индивидуальности Трифопова, вполне выразившейся не только в проблематике обоих этих текстов, но и в самом их стиле (мы помним: «Стиль — это человек»), особенно явственно ощущается в пассажах, ему посвященных.

Вот, к примеру (из «Попытки прощания»): «Можно понять вселенную, но нельзя понять человека, даже любимого. Нельзя понять себя».

Или (оттуда же) такая прицельная характеристика, найденная О.Трифоновой для своего гениального мужа: «Он смотрел всегда, всю жизнь, даже когда смотреть было невыносимо, и он видел то, чего никто другой, кроме него, не умел видеть».

Или еще — уже из «Подробностей»: «Только живя рядом с Юрой, я поняла, что быть независимым от мнения людей близких, людей своего круга, гораздо труднее, чем быть независимым от мнения начальства».

А еще говорят, что любовь слепа!.. Этому веришь, это воистину Трифонов. Потому что женщина, способная понять такое, была ему под стать.

И еще одна, последняя цитата:

«И опять среди ночи проснулась, как просыпалась теперь каждую ночь, будто кто-то привычно и злобно будил ее толчком: думай, думай, старайся понять! Она не могла. Ни на что, кроме самомучительства, не было способно ее существо. Но то, что будило, требовало упорно: старайся понять, должен быть смысл, должны быть виновники, всегда виноваты близкие, жить дальше невозможно, умереть самой. Вот только узнать: в чем она виновата? И еще другое, тайное и стыдное: неужели на этом все кончилось?»

Вы, конечно, узнали этот сбивчивый, захлебывающийся, полный раскаяния и жажды смысла монолог. Так начинает счеты с самою собой только что овдовевшая Ольга Васильевна в повести Юрия Трифонова «Другая жизнь». Тетка этой героини, Ольга Романовна Трифонова, всю жизнь без мужа, умершего 28 марта 1981 года, в возрасте пятидесяти пяти с половиной лет, тоже все доискивается смысла и тоже, быть может, в иные минуты хотела бы умереть, но чувство долга перед самым близким человеком, что всем своим творчеством упорно и неотступно требовал: Старайся понять! — заставляет ее вновь и вновь садиться за его письменный стол...

Вот на какие размышления навела одного, отдельно взятого страстного читателя эта книга двух авторов, эти исповеди двух любящих сердец, по какой-то неизъяснимой странности «залетевшие» в коллекцию «Совершенно секретно», более подходящую для всякого рода триллеров и детективов. Впрочем, в подсоветской России что только ни было предметом государственной тайны! И болезни вождей⁹. И личные слабости «государственных» писателей (как, скажем, страсть к питию Фадеева и того же Твардовского). И тем более их уклонения от «генеральной линии».

Пришло время раскрыть все эти и многие другие секреты. (Хотя иные, может статься, так и останутся нераскрытыми до скончания времен. Например, обстоятельства смерти Сталина.)

Однако давно уже не секрет, что кровавая эпоха большевистского владычества обернулась для русской литературы не одними только потерями. В том числе и для литературы подцензурной.

Явления Твардовского, Солженицына и Трифонова — тому бесспорное свидетельство.

⁹ Помните, с какой формулировкой был снят в октябре 1964 года Н.С. Хрущев? «В связи с плохим состоянием здоровья и преклонным возрастом». А ему было семьдесят, как Сталину в 1949-м.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА

(Второй квартал 2004 г.)

1. Художественная проза

А. «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь»

СОВРЕМЕННЫЙ ГЕРОЙ — кто он? Прозаики отвечают на этот вопрос по-разному.

Анастасия Чеховская из Ульяновска в рассказе «Имечко» («Октябрь», № 5) предъявляет авантурную историю дояркиной дочки. Поехала девица из своей деревни в Москву искать судьбу и немедленно нашла ее в лице потрепанного немца, прибывшего в страну чудес за невестой. В итоге героиня оказывается в немецком захолустье, которое все же лучше расейского. Хотя и там — скотина и пьющий муж... Анекдот да и только.

Дмитрий Бавильский в романе «Ноделма» («Новый мир», № 5) рассказал историю офисной девушки, современной москвички. На социальную значимость роман не претендует. Довольно серая, монотонная жизнь неудовлетворенной героини описана в констатирующей объективистской манере. Банальное ее существование скрашено двумя романами, преимущественно виртуальными. Оба избранника оказались тайными педофилами. Еще есть связь с подругой — физическая в том числе. «Никаких угрызений совести или моральных проблем — если случилось, так тому и быть: не следует слишком серьезно относиться к собственной участи. Дождь по капал и прошел, солнце в целом свете...» Пунктиром — офисные будни и клубная жизнь Москвы, слегка как будто даже документированная. Затем невнятные интрижные осложнения, прямоком выводющие к убогому хэппи-энду, изображенному с обычным для автора отстранением, так что эту прозу можно уверенно принимать и за просто умело скроенную и сшитую беллетристику (хотя тогда вещь несколько затянута), и за иронический кунштюк эпигона-постмодерниста. Разница, впрочем, не столь уж и велика.

Роман Сенчин в повести «Вперед и вверх на севших батарейках» («Новый мир», № 4) изобразил, как часто у него бывает, героя, страшно похожего на самого автора. Тоже писателя. Да и по форме это исповедь от первого лица. Герой не щадит ни себя, ни других, причем многие персонажи имеют узнаваемых прототипов. Впрочем, мера вымысла в принципе не оговорена. Герой Сенчина загнал себя в тупик — жизненный и творческий. Занятия литературой для него вроде последнего лекарства от ужаса бытия. Они держат на плаву, мобилизуя силы и давая ничтожные средства для выживания. Перманентная кризисность сенчинского мира, впрочем, не столько личное достояние героя, сколько характеристика эпохи, выбросившей человека на мелководе. Как однажды замечает Сенчин в другой своей вещи, «быть придурком — не грех в той жизни, в которой приходилось кантовать»

ся». Это — из рассказа «Друг человека... (История из скорого завтра)» («Дружба народов», № 6). Футуристический сюжет. Антиутопия. Дикий мир. Отщепенство героя. Фатализм. Обреченность на одиночество и вообще на все плохое. Тяга к женской любви. Перегоревшая социальная злость (да и просто нутряная). Неприязнь к людям. Впрочем — и характерные для сенчинского персонажа качели: «...слушая, Юрий от злобы к этим конструкторам-спецам сошел на сочувствие. Будто рядом сидели калеки или нищие и вели убогий, от скуки, разговор». Фантастического в истории мало, а достоверность ощутима. Достоинство Сенчина — умение точно схватить и передать в диалогах, в потоке мыслей и переживаний героя очень многое: и способ жизни, и логику человеческих взаимоотношений — не конфликтных, но основанных на *принципиальном* непонимании людьми друг друга. Сюжет истории в меру нелеп, а повествование, пожалуй, чрезмерно растянуто.

Нелюбовный роман Александра Хургина «Кладбище балалаек» («Дружба народов», № 4) — интеллигентский монолог. Герой — как будто бы журналист. Значительного в его рассказе мало. Вязкое, унылое письмо. Полно рассуждений, лишнего ума. Хотя есть тихий юмор. Эссе, а не проза, как свойственно это Хургину. «...И женщина Леля — многократная моя жена и подруга — именно из этих, нежелательных и невыносимых людей. Из людей, превращающих в кошмар мою личную жизнь...» Долго длится этот заунывный монолог о невыносимой Леле. О прочих житейских перипетиях. О том и о сем. «В общем, по мне, так нет и не будет ничего лучше хаоса. Хаос устроен мудро. И самая яркая представительница хаоса в моей окружающей действительности — это Леля». Небезынтересны, впрочем, подробности о предках на фоне эпохи.

Родион Белецкий в повести «Путешествие в Иваново автора, Коврова и Баранова» («Новый мир», № 5) поведал о довольно бедной жизни рассказчика, нестарого симпатяги-москвича, который с приятелями отправляется в подмосковный дом отдыха и потом по всякому поводу вспоминает, что еще с ним и его знакомыми случалось в жизни. Получается такая слегка обрамленная повесть. Только вот случалось, увы, мало значительного. Так, мелочи, всякая чепуховина. Быть может, в повести есть элемент автобиографический, но автор неглупо поступил, что в этом не признается: такая мелкая жизнь компрометирует. С другой стороны, автор не оставил иных следов своего присутствия. Так что рассказчик варится в собственном скучном соку. Впрочем, иной раз степень рефлексии позволяет предположить, что замышлялся философический портрет героя один на один с существованием, со всякими там разочарованиями и неудачами: «...мне казалось, что мир — это мой дом. Что он благожелательно ко мне настроен. Нет, я не убедился в обратном. Я просто понял, что мир ко мне безразличен. Безразличен, и все». Справедливости ради нужно добавить, что не обходится Белецкий и без забавных подробностей, иногда приятного юмора, обращенного рассказчиком и на себя, и на других.

Прозу молодого красnodарца *Александра Карасева «Запах сигареты», «Капитан Корнеев», «Своя позиция»* («Дружба народов» № 4) предваряет вступительное слово Владимира Маканина. Будни контрактников в Чечне описаны как рутинная лямка, да и вся армейская жизнь такова, ее тянешь-

потянешь, но вытянуть нельзя. Столбняк жизни. Иной раз — хорошие люди. И всегда — хреновые обстоятельства. «Война была работой. Нашей работой, и больше ничем — если не вдаваться в рассуждения о ее бессмысленности и преступности». Интонация бывалого солдата. Честное, спокойное, внутренне уверенное письмо. Лирические акценты. Точность слова. Тщательность и бескомпромиссная точность. «На гауптвахте встретили меня радушно, как старого доброго знакомого, отобрали ремень, оторвали лычки, хоть я и оставался еще младшим сержантом. Мест в сержантской камере не оказалось, и проще было из меня сделать рядового, чем досрочно выпустить зарвавшегося служаку, какого-нибудь гвардии авиатора из вертолетной эскадрильи». Карасев умеет по-своему рассказать об обыденной беспощадности армейщины, так что чудится в этом уже некое экзистенциальное обобщение.

Самый плодовитый русский романист современности **Юрий Буйда** выдал на-гора очередной многостраничный опус, «Домзак» («Октябрь», № 6). Страшилка еще та — в коронном буйдовском стиле постсоветского барокко. Домзак — это дом заключенных. Энкавэдэшник-дед в незапамятные тридцатые сотнями гнобил арестантов, а параллельно неустанно употреблял при всяком удобном случае женский пол. Внучек отличился (знаем мы — чем) в Афгане и Чечне, смердящая семейка. Теперь престарелого деда-палача зарубили топором, а внучка настигла саркома. Этого внука зачем-то зовут Байроном, а потому он еще состоит в инцестуозной связи с родной теткой. Словом, «весь этот сраный мир — Домзак». Попутно в романе неумолимо Буйды возникают и другие перипетии, долженствующие в основном иллюстрировать грубость и жестокость жизни. Пишет Буйда почти брезгливо, отстраненно. На автомате. Много надуманного, примышленного.

Сценка: «...подпираемая сзади толпа, тупо стремившаяся к лестнице, которая вела из узкого тоннеля к выходу на платформу, вдруг остановилась, закричала, заругалась, словно проклятия могли что-то изменить, — на ступеньках, лицом к людям, раскорячилась обмотанная лохмотьями женщина с задранной выше лиловых колен юбкой, из-под которой била струя мочи. Самые нетерпеливые, продолжая ругать этих чертовых беженцев, засравших Москву, прижимаясь к стенам и отворачиваясь, бросились наверх, норовя поскорее миновать это чудовище, как вдруг и раздался взрыв. Никто не понял, что произошло. Слово граната, разорвавшая грязную бабу в клочья, находилась у нее в животе. Но явно не в руках, которыми она поддерживала юбку. Клочья мяса и брызги крови ударили во все стороны — в стены, в потолок, в лица. Обтянутая синей тряпицей рука упала в лужу мочи. На мгновение Байрон замер, уставившись на судорожно сжимавшиеся пальцы с криво обкусанными ногтями, но тут его толкнули, кто-то диким голосом взвопил: “Шахиды!”; и он побежал в беснующемся и ревушем стаде вверх по лестнице»...

Сергей Пылев из Воронежа в «Нулевом цикле» («Москва», № 5) многословно повествует о жизни новых русских. Как-то так: «Это мощное, горнее президентство легко и быстро возросло в молодом инженере, еще недавно трусовато выходившем покурить на заплыванную лестничную площадку КБ с дешевым, бомжово вонючим “Памиром”. Сплеывая горькие табачинки с языка, он как о великом счастье мечтал, чтобы его не сослали в колхоз на картошку или не запихнули на овощную базу утрамбовывать в кирзовых са-

погах серую, вонючую капусту — под заквас. Игорешка ни сном ни духом не ведал, что через несколько лет, когда стране как красного петуха подпустят инфляцию и безденежье, он, играючи, даже без приложения особых умственных усилий, сделает на взаимозачетах мощные, непоколебимые деньги».

Владимир Медведев изобразил нравы обнаглевших олигархов юмористически. В рассказе «Изоolda» («Дружба народов», № 4) он пишет о любви миллионера и его собаки. Миллионер намерен на собачке жениться, чему мешает только его смерть в результате теракта. Рассказ составлен из фрагментов, имитирующих публикации в СМИ.

За пределы Москвы уводит проза **Михаила Тарковского**, давно обитающего в Сибири. Пишет Тарковский неровно, но повесть «Бабушкин спирт» («Новый мир», № 6) можно считать удачей. Поселенье в тайге. Тщательно выписаны человеческие судьбы и весь захолустный обиход. Одни выживают, работая через силу, другие — подсели на дешевый спирт, который привозит сюда предприимчивый коммерсант. Всюду приметы вырождения. А автор не столько судит, сколько пытается понять.

«Оранжевый Гришка» питерца **Вильяма Козлова** («Москва», № 4) — рассказы дачника о деревне Петухи и ее обитателях. Проза минорная, ведь деревня приходит в упадок. «Думал ли Виктор Иванович, что деревня, в которой он поселился, за эти последние двадцать лет на его глазах будет медленно умирать? ... Когда началась всенародно проклятая горбачевская перестройка, а потом пришли к власти демократы-западники, в Петухах очень скоро начали сказываться последствия этих губительных для большинства народа перемен». Пишет Козлов стертым, суконным языком.

В повести **Елены Долгопят** «Фармацевт» («Новый мир», № 4) простодушный поселковый паренек Васенька смешивает порошки, проверяя на себе действие смесей. Иногда эффект замечательный, но однажды герой своей смесью расстраивает пищеварение у местных мафиози и вынужден спасаться бегством. Васенька бежит из поселка и находит приют в московском Музее кино. Здесь он моет полы, пьет чай и смотрит кино. «Как ни странно, но Васенька впервые ясно понял, что никто и никогда в будущем не будет восстанавливать картину его жизни, что он, как безымянная былинка, сгинет без следа. Никто и никогда ни в каких архивах не будет читать, мучительно разбирая почерк, бумаги, освещающие темные, неизвестные углы его жизни. Не будет просто таких бумаг на всем свете. И даже свидетельство о рождении (а было уже и свидетельство о смерти, о чем Васенька, конечно, и не догадывался) сгинет. Даже для статистики он никто. Был — не был. Никто не спросит». Другая повесть Долгопят, «Физиики» («Знамя», № 6), — замысловато выстроенный любовный треугольник; время действия — 60-е годы. Мир Долгопят причудлив и не весьма правдоподобен. Фрагментированное повествование интересно подробностями.

Сибиряк **Роман Солнцев** в рассказе «Ключи» («Новый мир», № 5) набросал ряд семейных сцен. Старушка потеряла ключи, ее близкие в заботах: нужно менять замки, ходить по следам бабуся в храм и в совет ветеранов. В итоге ключи найдут в церкви. Но... «Так и живем — в тайном ожидании, не использует ли кто копии ключей. Будем надеяться, что нет. Люди в церкви добрые и честные. А если кто-то в совете ветеранов нашел и за-

бросил в церковь — тоже хочется верить, что не использовал находку во зло. Воспитание старых людей все-таки было хорошим. Этот кто-то отнес не для того, чтобы мы успокоились и оставили старые замки, а потом бы к нам явился без нас нехороший человек. Отнес для того, чтобы мать думала — именно в храме ключи и пролежали... Так что живем без страха. С надеждой. С открытыми для кого-то дверями». Трогательная история, где на горизонте маячит образ уходящего советского поколения, уносящего с собой не примиренные противоречия и больную память.

Незамысловаты **рассказы** нижегородца **Евгения Эрастова** («Москва», № 5). У воспитательницы детского сада менты украли деньги, а саму ее забрали в вытрезвитель. Качели жизни. В другом рассказе новая секретарша оказывается... смертью. Ее появление предваряет уход из жизни богатенького персонажа. Этот слегка доморощенный символизм размножен писателем-многогостаночником и в «Нашем современнике» (тот же рассказ опубликован там в № 5). А в «Новом мире» (№ 4) появилась подборка стихотворений Эрастова. Стихи, кстати, неплохие.

Пермичка **Нина Горланова** в «Знамени» (№ 5) предварила подборку своих рассказов следующим рассуждением: «...теперь я думаю, что больше всего люблю свободу! На выборах в Думу я голосовала за СПС, но случилось то, что случилось. После подведения итогов я потеряла сон. Неужели Россия опять скатится к тоталитаризму? Да, знаю: вектор развития мира — демократический и рано или поздно моя родина встанет в ряд свободных стран, но... сейчас-то что делать? Пока каждое утро начинаю с молитвы: “Господи, помилуй нашу бедную Россию — помоги ей стать цивилизованной и демократической страной!!! Прошу Тебя горячо-горячо!!! Горячее некуда!!!”» А **рассказы** Горлановой — о том, как по-разному случается счастье, какая странная, нелепая и таинственная штука жизнь. И что есть еще в холодном и грубом мире и любовь, и нежность. И это очень вдохновляющее чтение. Много и настоящего, незлого, немрачного, диккенсовского колорита, юмора. Два рассказа Горлановой в соавторстве с Вячеславом Букуром опубликованы и в «Октябре» (№ 6). Похождения американца в Перми. Здесь преобладает очерково-анекдотическая тональность.

О любви и **рассказ** ростовчанина **Дениса Гуцко** «**Осенний человек**» («Октябрь», № 5). Любовь слепца автор явил в роскошной образно-метафорической раме. «Она (героиня. — ред.) появилась, конечно, осенью. В начале этой осени, когда в аллеях, как толпа на похоронах — возбужденно и трагично, — гудят деревья и по утрам туман по-собачьи лижет твои щеки». Вещь для Гуцко неожиданная, очень красивая, максимально тонкая.

Ищут средства любви к миру и людям и герои **рассказа** **Сергея Щербак** «**Другая зимовка**» («Наш современник», № 4). Встретились где-то на русской дороге два мужика, разговорились. У обоих непростой житейский опыт, оба не нашли себя в нынешнем социуме. Один другому посоветовал искать спасения от душевной мути в монастыре. Совет оказался кстати, и оба героя остались довольны.

И даже **Людмила Петрушевская** занялась анализом ресурсов любви в мире (**рассказы** из книги «**Богиня Парка**» — «Октябрь», № 4). Вперемешку репортаж и лаконичная хроника. Люди друг с другом. Вне истории, вне

вечности. Но их любви не мешает коммунальная стесненность быта, бедность, корыстный умысел, интриги властей... Ничего ей не мешает, она растет, как сорная трава. В чем и состоит, может быть, надежда. Однако, с другой стороны, искомая любовь зачастую проявляется слабо, это у Петрушевской мир разряженных энергетических взаимодействий. Иногда любовь с тем же успехом может быть названа привычкой или амбициями... Авторский стиль полон несомненного обаяния: энергичен, лишен выкрутас, отжата влага. Зато как-то и сухо у Петрушевской все, банально даже. Умно, со знанием просто человеческого, но без сокровенного. Нет тайны. Мир рассматривается с некоей тревожной дистанции и подразумевает налет иронии — ведь невозможно же ныне простодушие и чистосердечие. Это теперь атавизм, обезьяний хвост. По крайней мере, такой вывод напрашивается. Впрочем, Петрушевская уже готова дарить героям утешение в страданиях и бедах существования. Максимум Петрушевской — трогательность.

Встречаются в прозе и выходы **за границы отечества**.

О сочинениях авторов из Саранска, таящихся под псевдонимом **Юрий Самарин** («Москва», № 6; «Наш современник», № 5), дает представление такой отрывок: «...Брикман обрелся в основном в Гамбурге — выехал туда как пострадавший в нежные, детские, колыбельные годы от фашистов представитель самой угнетенной нации на свете — на вечное денежное довольствие. Однако подвижный, сухой человек в годах вокруг шестидесяти резец из рук не выпустил и, как ласковое теля, доил и вторую дойную матку — имел кой-какие заказы и заказишки в постсоветской России». Гадкий вонючий Брикман в финале подойдет на Западе, как поганая безродная и родства не помнящая собака. А подпавший было под его влияние славный русский паренек Дима исправится и найдет других учителей. «И так как-то, само собой прибрислся Дима к Владимиру Ивановичу. Сошлись крепко, единомыслие творческое обнаружилось, и сквозь него проступила полнота жизни: всех этих лиц, судеб, характеров, мест, как-то глубоко объединенных и помимо тебя, и в тебе самом. Фотография — это страсть. Так Дима теперь понимает. Страсть увидеть, проникнуть, понять, запечатлеть, владеть, сродниться.... Все это множество жизни, конечно, невозможно в себя вместить, но невозможно и отказаться от этого желания. И на будущее лето они с Владимиром Ивановичем наметили поездку в Эск, ведь уже объявлено о визите туда Патриарха».

А Юрий Кондратьев в «Москве» (№ 5 — «Канада. Газетный мальчик») рассказывает о том, как чертовски плохо жить русскому в Канаде. Кто ж его заставляет там обитать? Об этом Кондратьев не сообщает.

Юлия Винер в повести «Снег в Гефсиманском саду» («Новый мир», № 6) вывела несколько экзотических персонажей, живущих в современном Иерусалиме. Ее герои — молодой палестинец-деревенщина, мечтающая о любви еврейка из России, непрактичный голландец по имени Ангелус, пожилой священник «эзотерической, почти отмершей ветви христианства». У Ангелуса открылась способность летать, но это никого не сделало счастливей. Эта беллетристическая вещь хороша живописью сцен и умным изображением межкультурного диссонанса, являющегося нормой иерусалимской жизни.

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

Очерк тюремного быта Григория Пасько «Человек с венком на шее» («Знамя», № 4) — сказ, где автор и рассказчик уже почти неразличимы. Журналист Пасько хорошо вошел в тюремно-лагерную тему — ценой нескольких лет жизни.

«**Коричневый блокнот и три страницы писчей бумаги**» Александра Тимофеевского («Дружба народов», № 6) — о побеге рассказчика в Европу. «Ночью в гостинице возник и мой бессовестный план. Что значит возник? Это был сон. Я был не волен в своих действиях и знал, что должно случиться. А случиться должно было ровно в восемь, здесь, на Монмартре, я встаю и говорю жене: “Сейчас я сделаю вам сюрприз...” Так оно все и происходит. Восемь. Стрелки на башенных часах сомкнулись. В кулаке у меня зажата сотенная купюра. Я встаю и говорю жене: “Сейчас я сделаю вам сюрприз”. Жена не успевает ничего ответить, а я уже отошел к художникам, уже разглядываю какую-то картинку, словно собираюсь купить, но, раздумав, качаю головой. Подхожу к другому, третьему. Когда мои исчезают из глаз, я рывком ныряю в узкий переулок. Бегу вниз. Поворачиваю налево и снова вниз с горки. В руках у меня сто евро. Сколько дней я смогу на них прожить? Пять дней, неделю? Все это не имеет значения. Я хохочу. Я совершил подлость? Но я уже не я. Свершилось то, что было предопределено во сне. Я забыл свое имя. Я совокупился с городом. Я часть Парижа. Бонжур, Пари».

О ПРОШЛОМ

«**Связник Рокоссовского**» Анатолия Азольского («Дружба народов», № 5) — исторический очерк о Варшавском восстании 1944 года и о самозваном посланце к восставшим от генерала Рокоссовского капитане Русской освободительной армии Константине Калугине. Взгляд скептический, с элементами даже социодарвинизма. Умно о розни русских и поляков: «Но надо иначе глянуть на планы Коморовского, признав их гениальными: на долгие десятилетия, если не на века, между русскими и поляками углубилась историей проложенная межа вражды, чего и добивалась Армия крайова, предвидевшая свою физическую и политическую гибель. В своих мемуарах идейный вдохновитель АК генерал Пельчиньский (Гжегож) подвел итог: “...и я зажег этот большой пожар для того, чтоб его огонь вел через темноту будущие поколения: мне удалось вкопать пропасть между российским и польским народами по крайней мере на 10 поколений”. Он прав. Стратегические цели Армии крайовой достигнуты».

Обжигают душу многие страницы последнего романа Георгия Владимова «Долог путь до Типперэри», посмертная публикация которого осуществлена в «Знамени» (№ 4; публикатор Евгений Сабельников). Редакция извещает, что Владимир так рассказывал о замысле романа: «Автобиографический роман-трилогия охватывает события с августа 1946-го по август 1991 года... я решил взять как бы три дня... и внимательнейшим образом их рассмотреть... А названием стала очень популярная, еще времен Первой мировой войны, когда англичане были нашими союзниками, солдатская песня. Когда-то мы с моим другом, два 15-летних оболтус-суворовца (это с ним мы ходили в августе 1946 года к Михаилу Зошенко выразить свое

сочувствие), выдумали страну, в которой все было не так, как у нас, и написали утопический роман “Типперэри”. В общем, сегодня для меня Типперэри — это символ возвращения на Родину, в Отечество». Журнал публикует первую часть романа. Вторая и третья его части сохранились в отдельных фрагментах. Да и в первой что-то прописано, а что-то только намечено. Много выразительных подробностей. В центре повествования как раз визит юных суворовцев и их подруги к опальному Зошенко. Попытка спасти честь (чью?). «...Я вижу, я вижу, как идут по каналу Грибоедова два мальчика в черной униформе с голубыми погонами и девочка в цветах польского флага, идут, холодея от страха, но также и от сознания, что иначе они поступить не могут. Человеку плюнули в лицо, и брызги этого плевка попали в них. Не отговаривайте их от этого пути, не говорите, что этот путь ошибочен и бесполезен». Потом честные лопухи заложили подругу. И во всем признались сами. Прямо как декабристы на следствии. И мальчиков обломали, толкнули на компромисс: что-де они были у Зошенко ДО Постановления. А девочка не отреклась от правды. «С тем обмиранием сердца при виде любимой, какое лишь в юности бывает, я стоял за каким-то огнетушителем или пожарным краном, прислонясь к стене. Она прошла, не повернув ко мне головы, только бросила через плечо: «Тряпка!» И это осталось в душе тем колюще-режущим предметом, который не дает о себе забыть и саднит по сии дни. И кажется мне, и тогда показалось, что предпочтительнее были бы плац, общее построение и барабанный бой».

Многовато в прозе сезона монологических припоминаний тех или иных обстоятельств прошлого, как-то связанных с личностью автора.

Рассказ **Марка Харитонов** «Игра с собой» («Знамя», № 5) — монолог-воспоминание. Упущенная возможность, пропущенное счастье... Туманно-меланхолические рассуждения о недоигранных играх ранней молодости.

И «Парад облаков» **Дмитрия Шеварова** («Новый мир», № 6) — фрагментированные воспоминания и наблюдения сентиментально-ностальгического стиля.

«Глиняные человечки» владимирца **Аркадия Пастернака** («Москва», № 5) — история-воспоминание о старике-азиате, инвалиде войны, торгующем на рынке. Он делает глиняных солдатиков для ребятни. «В магазине купить такие было невозможно. У солдатиков Фархата были лица, осунувшиеся или, наоборот, толстые. Одни из них улыбались, другие скалили зубы, от боли или от злобы — не ясно. Тут был простор для фантазии, в этих солдатиков можно было играть, сочиняя им судьбы, видя характеры, игры в них не были кровопролитны, «убивать» их было жалко».

«Ленинградская история» **Эллы Медяковой** («Знамя», № 6) — полный страсти монолог-воспоминание. Любовь, протез, встреча с Ахматовой и ее стихи как аккомпанемент к жизни. Мучительный роман. Пережитая, изболелая страсть. Старые люди. «В автобусе говорят мальчику — сынок, уступи место бабушке. Ей трудно стоять с палочкой... И это обо мне! Но оказывается, совсем не страшно, когда наступает старость». Фарсово-саркастические интонации, тотальная ирония и острые чувства, которые могут факкультативно за этим угадываться. «...Я вздрогнула, услышав его голос: “Ты меня еще не разлюбила?” Честно ответить сил я в себе не нашла. “А каким

я должен быть, чтобы ты меня опять полюбила?» Я же задумалась, обозревая знакомую майку. Да, действительно, каким? Но одно мне было ясно — он таким уже никогда не будет, потому что не сможет. И непонятно, отчего так ноет сердце. «Непонятно, отчего так ноет сердце! — сказал он, отхлебывая этот жуткий чай. — Ведь это простой мускульный мешочек...»»

В рассказе **Бориса Иванова «Ночь длинна и тиха, пастырь режет овец»** («Знамя», № 6) изображен авангардный художник из питерского андеграунда позднесоветских времен, Корзухин. Герой творит искусство наощупь, постепенно приобретая известность и сам становясь поводом для рассуждений об искусстве, каковых в рассказе немало. Автор извещает во врезе, что рассказ входит в состав цикла «Невский зимой», связанного с судьбами героев независимого культурного движения и нравами окружающей среды. «...Что нужно всем этим людям в невообразимых одеждах, бритым и длинноволосым юношам, девицам с отрешенными лицами, бородатым, священнического вида мужчинам у холостого и глухого кровельщика жилконторы, из комнаты которого годами не доносилось ни звука, а теперь — гул непрерывного заседания и очевидно неуместный смех? Каждый вечер идут и идут, и топчут пол к туалету и на кухню, где один чайник сменяет другой, как после совещания. В коридоре курят, говорят непонятными словами, но если присмотреться, то получается — фарцовщики и наркоманы или баптисты: банда».

«Дружба народов» (№ 4) публикует очередную порцию **мемуаров** профессора МГУ **Чингиза Гусейнова «Лета к воспоминаниям клонят»** (начало: 2002, № 4). Колорит советского Востока. Баку, род, семья. «Признаюсь, я и после XX съезда еще долгие годы убежденно верил в идеальный социализм. Однако считал (это отражено в моих сочинениях, но более по принципу — показывать современность через историю), что с годами, особенно в пору Сталина, страна выродилась в деспотическую, а хорошие идеи социализма исказились, что так не должно быть, что рано или поздно непременно случатся перемены, они неизбежны, а потому до поры до времени надо изыскивать легальные формы выражения протеста, что, как наивно полагал, я и делал. К примеру, подробно описывал времена правления иранского деспота Шах Аббаса, всякого рода церемониалы встреч, награждений, так похожие на “политбюрошные”, брежневские, которые нам часто показывали по телевидению».

«**Международники не стреляют**» **Владимира Орла** («Москва», № 4) — история о конгрессе борцов за мир в Скандинавии, куда отправилась и официальная советская делегация. А тут диссиденты приперлись без спросу. Столетней давности история. Невнятно-суконные интриги. КГБ, «Штази». Горбачев... Проза заслуженного пенсионера. Расхожая публицистика в образах, косноязычная местами.

«**Выбранные места из дневников 70-х годов**» **Владимира Крупина** в «Нашем современнике» (№№ 4-5) представляют любопытные материалы к портрету среднего советского писателя-почвенника, члена партии — натурально, православного патриота и юдофоба. Ценит он из современников только Распутина и Белова. Не может понять Владимирова, который — дурашка — борется против цензурных изъятий. Ругмя ругает евреев. «Как же не любят нас, как же хотят хоть чем-то, как-то укусить!» Потихоньку от

партии молится. Ворчлив. Семейственен. Беден. Мелковатая, полная компромиссов жизнь, несколько все-таки облагороженная новообретенной церковностью. «От Михаила новость: в Кильмези наш школьный учитель Бернгард Иосифович Брошинский — единственный еврей на весь район — уехал в Израиль... Этот Бернгард давным-давно учил меня немецкому языку. Еще в юношеском дневнике есть запись: «Ходил к кл. рук., советует читать Эренбурга». Еще тогда он затаенно плохо относился к русским, написал мне такую характеристику, что противно. Он думал навредить, а спасибо, что бы было из меня, если б сразу поступил в институт? Уехал, значит? Забавно. Кому он нужен там? Почему, когда ему из жалости наши матери носили молоко, отбирая у детей, он не лил на землю? Неужели бы какой русский в чужой земле скрывал свою тоску по родине?»

Питерец **Валерий Шубинский** в **рассказах** из цикла **«Переводные картинки»** («Октябрь», № 4) повествует о колоритных людях, которых то ли встречал, то ли придумал.

Девяностые годы как специфическая историческая эпоха, оставшаяся в прошлом, пока еще редко появляются в литературе и художественно осмыслены крайне слабо. И вот матерый социальный реалист **Анатолий Курчаткин** в **романе «Солнце сияло»** («Знамя», №№ 4-5) по-своему подошел к этой проблеме. Роман карьеры. Очерк побед и поражений. Герой сам рассказывает о себе, а попутно нам явлены картины постсоветской жизни в метрополисе. «Москва безжалостно крестила меня огнем и мечом, я выжил, но отныне должен был носить на себе знаки ее крещения до конца дней». Юный талант покоряет Москву, становится опытным телевизионщиком, гонит джинсу, занимается всяким бизнесом, не забывая о личной жизни и о творческих мечтах. Всегда на грани искусства и коммерции. Снимает клипы. Потом делает рекламные ролики. Теряет друга. Начинает снова писать попсовую музыку. Входит в новую тусу. Ищет и находит себя. У него крадут его музыку. Победить на конкурсе жизни герою в итоге не удастся, хотя что-то у него и получается: «Я работаю копирайтером, придумываю сюжеты для роликов, пишу тексты для всяких рекламных буклетов, выдаю слоганы — труднее чего не знаю никакой другой рекламной работы. О том, что я клипмейкер и за плечами у меня полтора десятка роликов, никто в агентстве не знает». Скромный результат. Роман крепко сбит, плотно и умно, как умеет это Курчаткин. Хотя многовато случайных подробностей, и письмо нередко излишне вязкое.

Сцены минувшей эпохи с забросом в современность представил и **Лев Тимофеев** в **романе-хронике «Играем Горького»** («Октябрь», № 4). Театральная среда, а рядом и бизнес, и мафия, и кремлевские небожители на фоне Москвы конца прошлого и начала нынешнего века. Артистка, влюбленная в режиссера. Редактор газеты, влюбленный в артистку. Нувориш, влюбленный в артиста, а потому меценатствующий. Артист, влюбленный в искусство. Спириты. Писатель-патриот, ставший бомжом-приживалой. Бандиты. Президент с ледяной ладошкой. Кого-то убьют, кто-то собирается в Париж (или уже раздумал). Все события развиваются в бывшем доходном доме в Кривокошюшенном переулке близ Арбата. Это и есть новогорьковское «дно». Умная, красивая беллетристика о театре и жизни с элементом театрализованной драматизации и даже демонизации.

ФЭНТЕЗИ И ПРОЧЕЕ

«Люди сверху, люди снизу. Текст, распадающийся на пазлы» **Натали Рубановой** («Знамя», № 6) — искусное словоплетение, довольно забавное. Авторская рефлексия разложена на голоса. «На работе мамо и папо гнобили за колейи — долго и у-порно; они разговаривали с железом на его, железном, языке — они ведь были инженерами-программерами, умными, острыми на язык инженерами-программерами с окладом 160 (М) и 140 (Ж) советских целковых эпохи застоя за одни и те же операции: в этой стране никогда не было дискриминации, касающейся вопросов пола. На эту зарплатку неплохо сохранившейся мамо было трудно одеваться неплохо; шитье и вязанье срослись с мамо, как вечная папироса — с папо. После шести вечера мамо бегала по магазинам — вдруг где чего выкинут, — а папо сидел с паяльником в своей “мастерской”, отгороженной от любовной лодки, разбившейся о быт кооперативной хрущобы, бамбуковой шторкой с изображением дальневосточной птицы самого высокого полета». Порой обаятельный, порой многословно-диарейный полуфабрикат.

Мюнхенец **Борис Хазанов** в новеллах цикла «Сад отражений» («Дружба народов», № 5) многословно повествует про разного рода измененные состояния сознания. Попытка приживить к русской прозе то ли Борхеса, то ли Павича.

«Спаситель Петрограда» соликамца **Алексея Лукьянова** («Октябрь», № 5) — «альтернативная история» на темы полуфольклорной легенды о том, как по улицам Питера ходила большая Крокодила, а мальчик Ваня Васильчиков спас город от яростного гада. Веселая комическая фантазия абсурдирует российскую историю XX века. Напридумывал Лукьянов немало. «...Ульянов, известный также как Ленин, был случайно задержан казачьим разъездом в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое октября... с Урала с триумфом возвращалось в Петроград семейство Николая Второго... на сегодняшний день Германия на добровольных началах — российская провинция, что не мешает ей быть центром развития оптико-информационных технологий и аграрных наук, а Берлин по праву является столицей мировой этнографии... вершиной столыпинских реформ стал небывалый подъем российской экономики в середине сороковых...» В повести фигурируют телеоператор Саша Призоров по кличке Трупоед, Георгий Ювенальевич Шепчук, лидер рок-группы «ДНК», программист Пендель и его подруга Манюня (прототип — Масяня), которая написала восторженное сочинение о родном Петербурге, за что удостоилась монаршей аудиенции... И так далее. Скажете, зачем все это? А низачем. Просто так.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

В. «Звезда», «Нева»

Роман екатеринбурженки **Анны Матвеевой** «Небеса» («Звезда», № 6) затрагивает тему взаимоотношения христианства и различных религиозных лжеучений. В «Небесах» такое лжеучение представлено некой «Космией» — сектой, почитающей бога Вишну. В эту-то секту и вступают сначала мать, а потом сестра героини, которую зовут редким именем Аглая. Действие

романа разворачивается как бы в двух пластах. Пласт первый — история Аглаи (Глаши), молоденькой журналистки, пишущей на религиозные темы. Она влюбляется в симпатичного юношу и едва не выходит за него замуж, но вдруг с ужасом узнает, что ее родная (замужняя!) сестра ждет от него ребенка. Новорожденного племянника Глаша полюбит как родного сына. Зато настоящей матери, целиком погруженной в сектантскую жизнь, будет не до ребенка. А потом кроха и вовсе останется сиротой — бизнесмена, мужа Глашиной сестры, убьет кто-то из поделщиков, а овдовевшая сестра кончит жизнь самоубийством. И тут автор еще раз заставит вздрогнуть читательское сердце: ребенка украдут. Глаша будет метаться, не находя себе места. Но ребенок найдется: он у сектантов, и похитительница — родная бабушка, мать Глаши... Вплетется сюда и неудачная любовь Глаши к юноше и скандальному депутату местной Думы. Второй же пласт романа разворачивается в сфере духовной. Видимо, противостояние любви истинной, христианской, которую олицетворяет собой Глаша, и любви ложной (соответственно, ее сестра и мать) и есть нерв повествования. Возразить было бы нечего, будь в романе побольше психологизма. Но события лишь констатируются, а идея дана «в лоб». Автор, правда, сдерживается и не впадает в сентиментальность. Но живых, полнокровных людей, а не только выразителей тех или иных идей, роману ощутимо не хватает.

Мария Рыбакова в романе «Братство проигравших» («Звезда», № 5) создает удивительный мир странных людей, странных отношений, мир зыбкий, туманный, увиденный как бы сквозь подернутое дымкой стекло. Это — всемирное, даже, быть может, вселенское братство проигравших. Глубоко несчастные персонажи создают себе условный, сказочно-призрачный мир, где сквозь реальных людей просвечивают выдуманные. И все они, окруженные плотной стеной одиночества, отнюдь не просто неудачники. Они не только несчастны. Они все — едины, они — братья. Банальная фраза «братья по несчастью» обретает в романе вполне зримый и осязаемый характер. Что и входило в авторскую задачу. Умная, серьезная, необычная проза.

Любопытна повесть **Николая Львова** «Лубянская справка» («Звезда», № 4). Время действия — конец 60-х, место — Москва. Герой, названный И.О., вернувшись из Румынии, подозревает у себя нехорошую болезнь — запросто мог заразиться от какой-то из тамошних прелестниц. Страх болезни сводит его с ума. Муки на тему «болен» — «не болен» составляют первую половину повести. В дальнейшем выясняется, что И.О. совершенно здоров: это советские спецслужбы постарались сделать ему «страшно». С середины повести события несутся вскачь: герой знакомится с дочерью бразильского миллионера, страстно в нее влюбляется, как и она в него. Но те же спецслужбы сообщают бразильской красотке, что ее жених — шизофреник. Понятно, что отец-миллионер молниеносно увозит дочку домой. Самого же героя запирают в сумасшедший дом, где залечивают до того, что он сходит с ума уже по настоящему. К недостаткам этого небезынтересного полотна отнести стоит явную расплывчатость, какую-то размытость главных героев. Если читатель и начинает испытывать к И.О. что-то вроде симпатии, то исключительно за смутную его «антисоветскость». Никакими другими зримыми чертами он не наделен. Так — обычный юноша (или взрослый мужчина?), человек неопре-

деленных занятий и неясных привязанностей. Да и антисоветчик-то он лишь постольку, поскольку таким в недавние времена был любой, кто осмеливался полюбить иностранку (иностранца) и не отказывался от своей любви в угоду политике, т.е. патриотизму по-советски. Злокозненные же спецслужбы, ставящие ему палки в колеса, представлены просто некоей смуглой злой силой, которой нормальные люди боятся исключительно в силу ее всездущности и неохватности. Такой вот антисоветский импрессионизм.

Времена первого постсоветского разброда, их сумбур и сумятица — тема повести Леонида Жуховицкого **«Жить, чтобы выжить»** («Нева», № 5). Легкое перо, летучий стиль, узловые, самые болезненные моменты современности — это всё Жуховицкий, узнаваемость моментальная. Но на сей раз кажется почему-то, что автор извлек повесть из дальнего ящика стола, куда давным-давно не заглядывал и где хранил не самые удачные свои писания. Ну, бывает так: писалось вдохновенно, перо само бегало по бумаге, а перечитал — и сморщился. Не то. Вроде все в повести есть: распавшаяся в перестроечные годы какая-то кафедра каких-то точных наук, новоявленные деляги, хапнувшие институтское помещение «для аренды» и устроившие там бордель, стычки-междусобойчики еще желторотых, но уже хищных бизнесменов... Словом, капитализм по-постсоветски. Что же смущает? А смущает, во-первых и в главных, сам герой. Сюжет построен на том, что оказавшийся не у дел человек науки вынужден подрабатывать частным извозом на стареньком «Москвиче». Оно понятно — жить-то надо: семья, дети, пусть и взрослые. Однако герой — отставной ученый, автор шести зарубежных публикаций (что неоднократно в повести подчеркивается), став таксистом на подхвате, ни единым словом, ни единой мыслью об оставленной им науке не помышляет. Его, похоже, вполне устраивает нынешняя его, такая денежная, жизнь; нравится, что в любую кафешку можно заходить без дрожи в коленках, нравится, что можно без напряга купить любовнице шоколадный торт плюс дорогое вино... Ну и слава Богу. Быть может, повесть о том и призвана рассказать — был, мол, ученый так себе, звезд с неба не хватал, а теперь нашел себе достойное и денежное занятие? Но зачем тогда все эти горестные размышления о ставшей никому не нужной Науке? Где она тут, эта Наука? Где ученый, который — как следует по логике вещей — без своего дела и жить не может? Науки в повести нет, зато радостей бытия, обрушившихся на героя могучим потоком, — в избытке. Бывшая секретарша раньше и не смотрела в его сторону, а теперь с радостью становится его любовницей; семнадцатилетняя пугана столь же радостно помогает ему в запутанных делах на прежней работе. Имеется и третья женщина — правда, не такая молоденькая, зато настоящая американка... Что же смущает «во-вторых»? Смущает, разумеется, поспешность, непродуманность. То ли о тяжелой судьбе науки речь идет — то ли о плотских радостях стареющего мужчины, наконец-то от души вкусившего прежде недоступного. Отчего бы и не порадоваться вместе с героем?.. Да фамилия автора смущает. Почему-то думается, что всегда интересный, острый, точный Жуховицкий и в самом деле имел серьезные основания не выставлять этот труд на читательское обозрение. Пусть бы он и дальше лежал в столе: иным произведениям это только на пользу.

Повесть Якова Ланды «Последний звонок» («Звезда», № 4) рассказывает о любви. Притом любви запретной. Сказать, что ли, о бесконечности этой темы?.. Так никто в том и не сомневается. Эта грешная, страстная, плотская любовь хлещет со страниц повести с всесозидающей силой. Маленький какой-то городок. Мальчик, школьник. Тайком, прячась, подглядывает он за любовью своей пионервожатой и немолодого, как ему кажется, завуча. Мужа и жены. Ему, мальчику, невыносимо стыдно — стыдно подсматривать, стыдно стоять рядом. Но он любит эту женщину. Любит так, как любят, вернее всего, лишь раз в жизни. Потом эту супружескую пару ждут страшные передряги: она, мужа своего не любившая, отдается другому мужчине, законный ее муж про то узнает и избьет ее до полусмерти; потом умрут они оба — и муж, и она сама. А теперь, спустя десятилетия, тот мальчик, уже давно взрослый, безнадежно больной, седой, возвращается в родной городок. И там всё, что он видит, — это рассказ о Ней. «О Господи, как совершенны дела Твои...» Этими строками — воистину бессмертными — заканчивает автор свою повесть, в противовес самой горестной теме.

Роман Авигодора Дагана «Петушиное пение» (перевод с чешского В. Каменской — «Звезда», №№ 5-6) тоже рассказывает о любви. О любви старого человека к умершей жене. А вместе с ней — к жизни, к своему дому, к живым существам. Только одно существо — петух по кличке Педро — слушает беседы старого доктора с собственной душой. Только это теплое земное создание внимает размышлениям хозяина о необратимом ходе времени, которое стирает в прах и лучшие, и худшие мгновения человеческой жизни. «Я ношу одиночество, — размышляет доктор, — словно теплое пальто, я спокойно могу в него укрыться от ударов ветра». И обычное петушиное пение словно призывает человека услышать и почувствовать дыхание мира, примириться с самим собой. Петух, терпеливо и участливо выслушивающий старика, — словно барометр его одиночества, один из его внутренних голосов. «Сквозное действие» жизни, ее вечный круг не дано переменить никому. Удивительно гармоничная — спокойно-мудрая проза.

Роману **Виктора Широкова «Случайное обнажение»** («Нева», № 4) даже предпослан подзаголовок — *«роман о любви»*. Несколько рассказов соединяются одной ностальгической темой: чего только у безусого юнца любовью не называлось, как хороши, как свежи были розы и как все-таки жаль, что отшумела бурнокипящая молодость. С одной несостоявшейся любовью автор-герой познакомился исключительно для того, чтобы с ее помощью достать «Доктора Живаго»; в другой разочаровался, увидев, что некогда сексапильно-худощавое ее тело превратилось в массивное бабье тулово. Ну, и другие схожие истории, каждая из которых заканчивается рифмованным текстом, записанным почему-то в строчку.

Нестареющий и непоколебимый **Валерий Попов** продолжает потешно-шутковскую свою *водную феерию* под заглавием **«Городские цветы»** («Звезда», № 5) — мнимое путешествие с друзьями по петербургским рекам и каналам с заходом в Ладогу. Начало этого путешествия именовалось повесть «Свободное плавание» и печаталось год назад («Звезда», 2003, № 5). Все те же друзья, те же слегка обтрепанные словесные штучки и набор фирменных хохм.

«Записки ретроразведчика» **Дмитрия Каралиса** («Нева», № 6) посвящены излюбленному автором отысканию корней собственной фамилии. Изыскания эти не лишены были бы занимательности, если бы не сквозила в них столь неумемая любовь к себе. В принципе, никому из нас не грех знать свою родословную, но уж ежели ты решил поделиться результатами исследований с читателем, неплохо было бы позаботиться о краткости, а также занимательности.

Интересные переводные записки **Жана Катала** «**Ни ружья, ни цветка**» («Звезда», № 5, перевод Э. Кушкиной), в которых рассказываются подробности присоединения к СССР трех прибалтийских республик. Большевицскую власть автор сравнивает с дьявольской. обстоятельно рассказывается обо всех «прелестях» советского строя и о принципе *двойного мышления* — «нечто вроде спокойной шизофрении советского человека, который в частной беседе отрицает то, что с такой же искренностью утверждает публично». Вторая часть очерка повествует о закулисной дипломатической войне между Советами, западными странами (в том числе о существенных разногласиях между ними) и Польшей, свергнутое правительство которой из эмиграции настаивало на возвращении Польше отторгнутых областей.

Живо написаны и интересны **мемуарные заметки Кирилла Ковальджи** «**Мозаика**» («Нева», № 5). Это действительно «мозаика» — тут и работа автора в правлении СП СССР (оказывается, там водились и талантливые литераторы), и встречи с Анастасией Цветаевой, и смешные (а также не очень) эпизоды из времен господства соцреализма. Вот выбирали, например, для какой-то иностранной антологии наиболее выдающихся советских поэтов. Всем секретариатом СП выбирали. Требовалось всего-навсего пять поэтов. Ну как же тут без членов самого секретариата обойтись?! Никак. А в секретариате поэтов их как много — Грибачев, Софронов, Прокофьев... Замучаешься выбирать. Но, наконец, справились, составили список. А составитель той антологии глянул в этот список, плюнул и, проявив махровый буржуазный субъективизм, самочинно выбрал Ахматову, Пастернака, Заболоцкого, Твардовского и Евтушенко...

Рассказ Татьяны Розиной «**Потерпи немного**» («Нева», № 4) посвящен, как указано автором, бесконечному «терпению русских женщин». Здесь воспроизведены несколько эпизодов из жизни пожилой женщины, причем каждый заканчивается неизменным «потерпи немного...» Наконец, не вытерпев последнего несчастья, героиня-таки умирает. Все бы и ничего, — такой российская жизнь и была, и осталась, — но слишком уж выпирает в рассказе умозрительный каркас, слишком навязчиво морализаторство.

Озорной бессмыслицей под заглавием «**Жизнь, конечно, нас не стоит**» делится с читателем **Андрей Тат** («Нева», № 6). Бегают в тексте всякие Саши, Веры, Миши, Алеши, очень мило между собой толкуют, ходят друг к другу в гости, а также без конца совокупаются. По прочтении понимаешь, что главное достоинство этого **рассказа** — краткость. А то бы — повесть! Или не дай бог — роман!

Сюрреалистичную картинку в **рассказе** «**Сатурновы сани**» придумал и нарисовал **Алексей Смирнов** («Нева», № 6): кто-то похищает мальчика, катающегося на санках. Памятуй «Снежную королеву», читатель уж готов испу-

гаться, но тут выясняется, что автор шутит. Можно сказать, балуется. Правда, шутка отдает второй свежестью, чтоб не сказать плагиатом. На сей раз в роли похитителя выступает языческий Сатурн — Кронос, а смысл рассказа настолько глубоко многозначителен, что не поддается ни пересказу, ни осмыслению. Попробуешь разобратись — и увязнешь, как в болоте.

Рассказ «Военные песни» Б. Краснова («Нева», № 6) — вещь неприятная, но теплая. Восьмилетний мальчишка попал «в плен» к дворовым ребятам. Совсем уж было приуныл парень, — а как спел обидчикам «По долинам и по взгорьям», так сразу его и отпустили. В рассказе «**Козий внук**» сопоставлены спокойный внутренний мир ребенка и уродливые взаимоотношения взрослых.

Рассказ Веры Калашниковой «Сквозь грозовые облака» («Звезда», № 5) целиком построен на одной только горестной интонации. Героиня — обыкновенная женщина, в прошлом уборщица, вышла замуж за англичанина. Тот оказался дрянью — забрал деньги и выгнал жену из дому. Теперь она живет в отеле для бездомных и тяжело страдает.

Клип-роман о звездах и любви Аркадия Бартова называется так: «**Сокровища звездного неба, или Недолгое знакомство Ивана Васильевича Мерзлякова и Антонины Ивановны Тупоухиной**» («Нева», № 4). Собственно, в название содержание этого произведения целиком и уложилось. Главки-игрушки, вероятно, призваны рассказать об этой весьма недолгой любви условных героев, но в том-то и дело, что ни о чем они на самом деле не рассказывают. Это имитация действия, имитация любви — причем грубоватая и местами скабрзная. Кто ж его знает, что автор хотел всем этим сказать...

Любопытный **рассказ «Дерущиеся человечки»** представляет **Олег Тарасов** («Нева», № 4). У героя странные глаза. Да и выражение лица какое-то не такое. Из-за этого на бедолагу постоянно сыплются неприятности. Вот, скажем, украл у женщины кошелек какой-то воришка, а подумали, само собой, на нашего героя. И удар ножом он тоже получил — за кого-то другого...

Обзор подготовила Евгения Щеглова

2. Литературная критика

А. «Арион», «День поэзии», «Дружба народов», «Знамя»,
«Наш современник», «Новое литературное обозрение»,
«Новый мир», «Октябрь», «Урал», Сеть

Почему слово «либерал» зачастую стало употребляться как бранное? Не скомпрометировали ли себя **ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ИДЕИ**? Существует ли единое поле действия литературной критики вне зависимости от деления критиков на традиционалистов и постмодернистов? Эти и подобные вопросы содержала анкета, разосланная ряду писателей и критиков. С некоторыми ответами знакомит читателей журнал «Знамя» («**Либерализм: взгляд из литературы**» — № 6). Так, **Роман Арбитман** полагает, что презрение к либеральным ценностям, декларируемое значительной частью «критиков нового призыва», порождено исключительно политической девственностью

и элементарным невежеством этих критиков. Сбылась вековечная диссидентская мечта о «непороте поколения», да только весь позитив, вымечтанный «отцами», для «детей» — уже не ценность, а обыденность. И как ни стараясь битое поколение объяснить небитому, что любые игры с коммунизмом после ГУЛАГа — то же, что игры с фашизмом после Освенцима, всё впустую. Радикальные и левацкие идеи начинают культивироваться в массовой детективно-приключенческой литературе. И авторы, сами того не понимая, с пугающим энтузиазмом подрывают основы хрупкой стабильности, жизненно необходимой им же. «Похоже, — вздыхает Арбитман, — либеральная идея вновь войдет у нас в моду лишь тогда, когда общество лишится всех либеральных завоеваний». Идиосинкразию к выражению «либеральные ценности» **Мария Ремизова** считает вполне понятной: слишком много гадостей прикрывали. Сегодня все как будто забыли, что идеи либерализма изначально были замешаны на идеалах и к материальным ценностям несводимы. **Павел Басинский** утверждает: «либерализм» — понятие в России традиционное, хорошо знакомое уже двести с лишним лет. А вот то, что имело место в 90-е годы XX столетия, — вовсе не либерализм, а безответственность, подлый криминальный передел государственной собственности. И стоит ли удивляться, что у народа — и литературных критиков в том числе — всё это вызывает оскормину и тошноту! На единое поле современной русской литературы всякий смотрит со своей колокольни. Дело не только во вкусах, а в мировоззрении, в образе жизни. Взгляд зависит от того, сидит человек на месте безвыездно или полжизни проводит за границей; воспринимает литературу как «игру», забаву — или для него это «жизнь»... Журнальная и газетная критика давно не отражает сшибки идей и мнений. Печатаются только «свои» — так проще работать. Вот если бы в «Новом мире» опубликовали разгромную статью о Макашине, а в «Нашем современнике» — о Распутине, можно было бы поверить, что критика у нас еще есть. **Татьяна Бек** полагает, что в России имеет место временная компрометация либеральных идей: российская действительность явила миру тот «свирепый либерализм», который граничит уже с «социальным дарвинизмом». Что же до живого поля литературной критики, оно «дышит только там, где... способны услышать *другого*, не подозревая его заведомо в каверзе и бездарности». **Сергей Гандлевский** заметил, что чуткий критик реагирует прежде всего на талант и только потом на знамя, под которым этот талант хочет себя видеть. А конфликт либеральных и антилиберальных настроений — это, ко всему прочему, и вечное возрастное противостояние. **Никита Елисеев** предположил, что причины антилиберальной традиции в России кроются в нашем правовом нигилизме. Либерализм возрастает на почве уважения к закону, мы же, как правило, предпочитаем судить не по закону, а по совести. **Игорь Клех** заметил, что в мировой литературе достижения «реакционеров» ничуть не меньше достижений «революционеров». Впрочем, никакого нового идеологического размежевания в литературной области он не усматривает, а видит «лишь конкуренцию на почве братания у кормушки». Единое литературное поле могла бы обеспечить квалифицированная критика, сумевшая приподняться над своими партийными, тусовочными и меркантильными интересами. Но толстожурнальная критика все

так же неповоротлива, а суждения ее архаичны. Книгоиздатели с успехом подменяют критику назойливым пиаром, читатели ориентируются на несколько более или менее авторитетных сетевых изданий и сайтов, а аннотации в массовой бумажной периодике почти вытеснили жанр книжных рецензий. **Григорий Кружков** напомнил, что в основе либерализма лежит простое человеколюбие, желание защитить человека от гнета государства, от предрассудков и несправедливостей. Причина же нового наступления на либеральные ценности — в стихийном заговоре коллективной безответственности. Во все большем захламлении вещами, все большем замусоривании голов ненужной информацией и одновременной очистке их от всяких идеалов. **Марк Липовецкий** считает, что либеральная идеология оказалась модой, а не внутренней революцией, и сегодня прочных иерархий, традиции и порядка хочется не только «массам», но и «мастерам культуры». Эстетические же разногласия начинают приводить к идеологическим конфликтам: такова деятельность «Идущих вместе», так выступления Басинского против Королева, Пелевина, Сорокина и прочих развратителей молодежи быстро переросли в требования административных мер. Делая различие между либерализмом как политической ориентацией и либеральностью как обязательным условием культуры вообще, **Михаил Эпштейн** замечает: литература, искусство и философия нужнее всего обществу именно тогда, когда оно несвободно. **Владимир Новиков** заметил, что при всех его недостатках либерализм подобен кислороду: его отсутствие в общественной атмосфере убивает духовную жизнь. Но «провалился амбициозно-бездушный СПС, увяло худосочное “Яблоко”», и что делать теперь «нам, беспартийным либералам»? Впрочем, даже в самой Академии русской современной словесности Новиков насчитывает лишь восемь либералов (из 38 членов АРС'С) — именно столько подписались под статьей в защиту Сорокина. А ведь не так давно техника «введения единомыслия» отработывалась именно на литературе и искусстве, и после уничтожения эстетического плюрализма можно смело переходить и к реставрации однопартийной системы, и к созданию «единогласного» парламента. «Традиционалисты» же, как полагает Новиков, не в состоянии понять нового в искусстве, поскольку оценивают новое по законам старого, устоявшегося. Как сегодня они не вычитывают смысла верлибров Геннадия Айги и не понимают, что все «безобразия» прозы Сорокина — материал, преобразованный по законам искусства, так сто лет назад они писали о несценичности чеховских пьес, а «Стихи о Прекрасной Даме» называли прескверными. **Александр Мелихов** напомнил, что в искусстве язвой радикализма является шарлатанство, а язвой консерватизма — эпигонство. Так что на сегодня дискредитированы оба проекта: от «новаторства» немедленно веет выпендрежем, а от «традиционализма» — провинциальной затхлостью. По мнению **Ольги Седяковой**, то, что мы реально получили под именем либерализма, ничуть не похоже на книжное представление. Скольким развенчаниям, крушениям кумиров и «репрессивных норм» радовались мы в эти годы! От всего освободились — даже от безразличности к антилибералам (свидетельство тому — премии Проханову, симпатии к национал-коммунизму). Что осталось? — остались Сорокин и Бурдые. Осталось изнурительное однообразное шутовство: пришел, увидел, наплевал. Все это считает себя просве-

щенным западничеством — но представляет собой «дремучий угрюмый степной цинизм». Понять же, что у нас имеется в виду под словом «консерватизм», еще труднее: прошлых у нас как минимум два. А сконструированное, мифическое прошлое (ведь консервативными себя называют и фашизоидные движения, и неокосмолоськие) — призрак, который страшной любовью реальности. «Любовь к “священным камням” и верность им ничего не даст. Потому что как вере нужны не только святыни — но живая святость... так и культуре нужно живое вдохновение», именно оно спасет «священные камни» от крушения и надругательства.

«Более или менее активная и устойчивая **ЧИТАЮЩАЯ АУДИТОРИЯ** составляет сегодня порядка 18-20 % населения страны», — пишет социолог **Борис Дубин**. В его статье «**Читатель в обществе зрителей**» («Знамя», № 5) обильно приводятся данные социологических опросов. И вырисовывается картина, в целом совпадающая с тем, что любой из нас наблюдает собственными глазами: россияне в массе своей проводят досуг у телеэкрана; массовые библиотеки все хуже снабжаются и все меньше посещаются; образованный читатель все чаще пользуется услугами Интернета, а на книжном рынке тон задают издания, не рассчитанные на хранение и передачу потомкам. В стране значительно сократился тот культурный слой, который располагал — и нередко уже не в первом поколении — самостоятельными культурными капиталами и который мог бы стать основой воспроизводства национальной элиты.

«**Вместороманье**» **Аллы Марченко** («Новый мир», № 4) — обширная статья о **КРИЗИСЕ РОМАНА**. Кризис этот сопровождается любопытным явлением: «чем меньше романов, тем больше вестороманов». И так же как в стихотворчестве поэмы повсеместно заменяются новым жанром — *книга стихов*, так в прозе то и дело возникают попытки «*романа из отдельных рассказов*». В ряду таких *вместороманов* — проза Ирины Полянской, Анны Бердичевской, Ольги Ильницкой, Ольги Грабарь, Владимира Березина, Олега Павлова, Евгения Шкловского, Дины Рубиной и т.д. Однако рядом другие авторы продолжают производить, публиковать и раскручивать «мнимороманное суперинтеллектуальное громадьё». К этому ряду критик относит *псевдороманы* Юрия Буйды, крупноформатные импровизации Анатолия Кима и Анатолия Королева и прочие романоподобные ребусы, самая возможность разгадки которых исключена: тут не шкатулка с секретом, а калейдоскоп то ли «созерцательной красоты», то ли «созерцательного непотребства» — что в данном случае равнозначно. Просто здесь налицо сдвиг того, что М. Бахтин называет «ценностной атмосферой». Все это уже не ново, а интерес к длинному роману все падает и падает, поскольку наша сегодняшняя жизнь и полнометражный правильный роман — вещи несовместные. Какой роман, если все смешалось, все перепутано, все поставлено с ног на голову?! Но, задается вопросом Марченко, не сходные ли вещи происходили в пореформенной России лет сто назад? Толстой вот писал романы, а Чехов — уже нет, зато создал «четыре полифонических многоголосых весторомана» — предельно лаконичных произведения для сцены, где авторский текст сокращен до степени ремарок, а остальная ткань прозы разбита на реплики и поделена между персонажами. Кстати, Игорь Клеж не так давно заметил, что

письма самого Чехова, «собранные, изданные, снабженные пространным, разветвленным комментарием, отсылками и сносками, обширным справочным аппаратом — представляют собой в жанровом отношении эпистолярный новый роман» — *вместороман*. И это действительно так. Вектор, по которому следует русская проза, направлен «от Милорада Павича к Антону Павловичу». Настоящий роман должен быть непременно очень коротким. Как «Белое на черном» Рубена Гальего. Как «Лето в Бадене» Леонида Цыпкина. Как «Письма без конвертов» Евгения Бестужина.

В статье **«Пьесы на два голоса в декорациях времени»** (НЛО, № 67) **Елена Калашникова** рассматривает жанр «интервью писателя» как подвид литературы non-fiction. Автора статьи в первую очередь интересуют интервью-беседы, где озвучены обе точки зрения — интервьюируемого и интервьюера. Ведь интервью — это всегда спектакль, у участников которого, как правило, заранее готовы и маски, и реплики для «парадного портрета». Но важнейшее условие жанра — интерес к Другому, и если это интерес взаимный, возможны самые блестящие результаты. Недаром наиболее содержательными и интересными оказываются диалоги с достойным собеседником. В статье рассмотрены: «Большая книга интервью» Иосифа Бродского и «Диалоги с Иосифом Бродским» Соломона Волкова, «До свидания, алфавит» Татьяны Бек, «Набоков о Набокове и прочем», «30 интервью» Ярослава Могутина и другие книги интервью.

Объект статьи лингвиста **Максима Кронгауза «Раздвигающие язык: “эф-фект хонтуя”»** («Новый мир», № 5) — **ИГРЫ С ЯЗЫКОМ** — стилизация, нарочитое расширение лексики за счет историзмов, топонимов, этнонимов, диалектизмов, «брайтонского диалекта» и англо-русских словечек («Новый сладостный стиль» Василия Аксенова), компьютерного сленга («Паутина Мерси Шелли») и т.п. Кронгауз замечает: язык перестал быть характеристикой писателя; сегодня приходится говорить не о языке автора, а о языке отдельного романа. Так, к примеру, ни одна лингвистическая экспертиза не покажет, что романы «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил» принадлежат перу одного и того же **Алексея Иванова**. Зачем писатели расширяют язык, спрашивает автор статьи, — не хотят ли они сузить собственную аудиторию? Нет, дело вовсе не в этом. Автор не рассчитывает на то, что используемые им слова войдут в литературный язык, а читатель — на то, что полностью поймет читаемый текст. Потому что «стратегия читателя таких романов — это в действительности наша сегодняшняя стратегия понимания русского языка и мира, в котором мы живем. И мир, и язык изменяются настолько быстро, что мы в принципе не можем понять все». Так современный роман приучает нас к тому, что можно назвать «неполным пониманием» жизни.

Негативно отзываться об **ОТЕЧЕСТВЕННОМ МАССЛИТЕ** не принято, утверждают **Елена и Надежда Иваницкие**, авторы статьи-обзора **«Контора кривых зеркал?»** («Знамя», № 6). Не принято говорить, что сегодняшний боевик, детектив или фэнтези зачастую представляют собой пропагандистские подделки — агрессивные, пропитанные шовинизмом, ксенофобией, антидемократизмом, тоской по «железной руке» и презрением к закону и праву. На защиту масслита уже поднимались **Владимир Бондаренко**, **Иван**

Smith и Павел Басинский, заявивший: «Если массовое чтение угрожает демократии, то не надо все-таки забывать, что оно и есть ее порождение». Философ Вадим Руднев считает: массовая культура нужна обществу для того же, для чего второе полушарие человеческого мозга. Масслит помогает задуматься и выжить — таково мнение Марины Зигидуллиной: «Читают — значит, хотят знать. Пишут — значит, есть что сказать». Позитивную роль массовой культуры признают Елена Тихомирова и Татьяна Венедиктова. Однако, взывают мать и дочь Иваницкие, масскульт масскульту рознь: есть Шерлок Холмс, а есть Нат Пинкертон — не говоря уже о каком-нибудь «гении русского сыска» Иване Путилине!

Иваницкие приводят образцы современного масслита. С сатанистами, детоубийцами и вампирами всех мастей — от чеченцев до либералов и бизнесменов — борется Илья Деревянко, автор повестей «Перевернутый крест» и «Корень зла» (собственно, таких корней три — чеченцы, евреи и психологи). О том, как команда *хороших парней* «мочит гадов», вступая в схватку без правил с глубоко законспирированной в России «Группой», «Канторой», «Орденом» etc., любят писать авторы, представляющие «мужской масслит» — Александр Афанасьев, Сергей Алексеев, Андрей Ильин, Олег Маркеев, Александр Трапезников (последний в «ЛГ» назван «автором философских романов о духовных исканиях»). Вот, к примеру, хороший парень из сочинения Андрея Ильина «Ревизор 007» при помощи обычных в таких случаях методов — грабежа, воровства, убийств и провокаций — отстоял ни много — ни мало целостность России. Конечно, иной раз случается такому герою замочить не только «гадов», но подобные мелочи его не трогают: во имя великой цели и не такое совершишь... Кроме хороших парней масслитовские детективы любят изображать *инвалидов* — особенно психически больных. Что интересно, инвалиды никогда не попадают в число жертв, напротив, это закоренелые преступники, самым типичным занятием которых является убийство. Таковы «Живописец» Натали Орбениной (автор наделяет убийцу сразу двумя гнусными качествами — психическое нездоровье и любовь к модернизму), сочинения Юрия Кривоногова, Александра Духнова, Дили Еникеевой, Александры Марининой, Виктории Платовой... Еще одна характерная особенность детективно-фантазийного масслита — его постоянная (если не принципиальная) безграмотность: «спасая Россию», сочинители и герои патриотических боевух по ходу дела безжалостно топчут и реалии российской культуры, и факты из российской истории, и самый русский язык. Есть и другие противоречия: так, проклятия «рыночным временам», деньгам и несправедному богатству наивно совмещаются с восторгом перед дорогим, престижным и хамским презрением к дешевому.

Массовая литература и массовый читатель — сиамские близнецы. Недаром высказала свою тревожную гипотезу Наталья Иванова: сочинения Марининой столь популярны благодаря тому, что читателям импонирует полицейская проза, где в качестве ангела-хранителя выступает тайный агент. «Рынок беллетристики в России, — утверждает Лев Гурский, — держится на трех китах: подлости издающих, жадности издаваемых и безволии потребляющих». Параноидная картина враждебного мира прочно сидит в наших головах, и масслит без устали твердит о том же. Но неужели именно

этого нам хочется? — задаются вопросом авторы статьи. «От тебя, публика, от твоей серьезности действительно зависит судьба литературы; и, косвенно, судьба страны», — писал сто лет назад Василий Розанов...

Внятным критерием, позволяющим отличить масслит от литературы, **Елена Иваницкая** в статье «**Капкан для читателя**» («Дружба народов», № 4) называет абсолютную *незапоминаемость*: купил — проглотил — забыл — купил — проглотил — забыл — купил... Секрет прост: если наша память не будет избавляться от информационного мусора, некуда будет запихивать новые порции этого мусора. Какими же способами авторы добиваются искомой незапоминаемости? Понятно, что не запоминаются названия — одинаковые до полной неразличимости. Понятно, что структура и содержание тоже неразличимо однообразны. Но это далеко не все. А еще здесь действует тот самый механизм, благодаря которому генсек часами жевал слова на трибуне, потом средства массовой информации и целая армия пропагандистов жевали, пережевывали и вкладывали в наши головы ту же неоднократно прожеванную массу, а в головах — полнейший ноль, невозможность даже в общем виде сформулировать, о чем, собственно, шла речь. «Что-то в них есть столь лживое, что и не запоминаются», — писал в «Новомиромском дневнике» Алексей Кондратович. Пустоговорение злокачественно. И, подобно тому как от советской лжи осталась ныне уязвленная «особая гордость», так и продукция масслита оседает на душе гаденькой пленкой. Обращаясь к реальной трагической проблематике (Иваницкая более подробно останавливается на проблеме детей-сирот и ВИЧ-опасности), изготовители массовой продукции никогда не касаются реальных аспектов темы. Причина — все та же: то, что не укоренено в реальности, но опирается на стереотипы обыденного сознания, скорее будет извергнуто из памяти. Зато где-то глубоко на дне сознания зацепятся истерические мифы — представление о том, что со всяким, кто решается усыновить сироту, что-то не в порядке, как не в порядке и с самим сиротой, а любой ВИЧ-инфицированный спит и видит, как бы перезаражать побольше здоровых. Или, вопрошает автор статьи, масслиту правда вообще противопоказана?

О ПРОЗЕ И ПРОЗАИКАХ

Определить место «акунинского» проекта, понять, к «высокой» или «низовой» литературе относятся романы о Фандорине и не тот ли это случай, когда элитарный постмодернистский текст выдает себя за феномен «массовой» словесности, берется **Андрей Ранчин** («Роман Б. Акунина и классическая традиция» — «НЛО», № 67). Вывод Ранчина таков: тексты Акунина — это криминальное чтиво и интеллектуальное чтение «в разных флаконах, но в одной упаковке». Авантюрный сюжет и система аллюзий у этого писателя существуют отдельно. Это уникальные случаи: и набоковская «Лолита», и «Имя розы» Умберто Эко, и «Парфюмер» Зюскинда будут безнадежно искажены, если прочесть их как произведения «низовой» литературы, а тексты Акунина такую возможность дают. Они насквозь ироничны, это игра на многих уровнях. Начиная с самого очевидного — заимствований, переключек, аллюзий («Я беру классику, вбрасываю туда труп и делаю из этого детектив», — это слова самого писателя). Особое удовольствие для

подготовленного читателя — находить рассыпанные в тексте цитаты, отсылки и намеки. Не меньшее удовольствие — ловить сочинителя на исторических ошибках, подсыпанных в текст с той же целью — потешить читательскую эрудицию. Акунин играет с литературными жанрами, мотивами и ситуациями, историческими событиями и именами. У него иронично даже противопоставление «литературности» и «действительности» — так, «литературный» псевдоним «Коломбина» избирает себе героиня, которая «в жизни» носит не менее литературное имя — Маша Миронова. Акунинская ирония зачастую имеет двойное дно, она сама — аллюзия на символистский текст, на автопародию. Почвенники наперебой изобличают в Акунине либерала, тайного японца (слово «акунин» по-японски означает «злой человек, не лишенный определенных принципов»), друга чеченцев и очернителя России; либералы обличают его пристрастие к идее всемирного заговора, недоброе к иноземцам и антипатию к чеченцам. Акунин же откровенно подтрунивает и над теми, и над другими — «на прогрессистский заговор из “Азazel” у него всегда найдется охранительный заговор из “Смерти Ахиллеса”». Но главное, что сочиняет он вовсе не детективы — уж скорее авантурные романы, сам же иронизируя над неправдоподобностью такого рода произведений. Да и писано все это вовсе не про XIX век, а про современную реальность. Вернее, романист использует не реальность, а современный миф о ней — трафареты сознания, в которых преломляется история нашего времени — что, по мнению Ранчина, позволяет если не преодолеть эти мифы, то отстраниться от них... «Читайте Акунина, господа, — восклицает автор статьи, — это чтение утешительное».

Тему постмодернистских переключек с классикой продолжают две статьи о «Лете в Бадене» Леонида Цыпкина («Знамя», № 6). «**Вскрик обиды и боли**», «стенограмма одинокой надламывающейся души» — такие ассоциации вызывает этот роман у **Карена Степаняна**. Критик отмечает, что тема «Достоевский и евреи», так болезненно переживавшаяся Цыпкиным, сегодня вновь на авансцене общественного внимания, хотя абсолютно ясно, что Достоевский разделял людей вовсе не по крови, а по их служению той или иной идее. Однако для романиста антисемитизм Достоевского несомненен, и Цыпкин находит следующий выход из положения — он изображает великого писателя как «человека закомплексованного, невзрачного, постоянно внутренне униженного... и потому мечтающего унижить окружающих, лицемерно религиозного, скрывающего свои тайные вожделения и пороки». По мнению Степаняна, весь текст «Лета в Бадене» — не что иное, как «записки из подполья» — так о своем создателе мог бы написать сам персонаж Достоевского.

Книга Цыпкина породила ряд устойчивых мифов, утверждает **Михаил Эдельштейн** («Русский роман, американская сборка»). Говорят о шедевре стиля, превозносят манеру повествования. Существуют мифы о паразитической эрудиции автора, о безукоризненном воспроизведении им деталей и об уникальном синтаксическом эксперименте (в романе всего 11 абзацев и 34 точки). На поверку же всё перечисленное не вполне соответствует действительности. Кроме того, не согласуются между собой стиль и жанр книги. Если этот роман — беллетризованная биография из серии ЖЗЛ, зачем от-

влекать читателей столь сложной манерой письма? Если же у книги другие задачи, для чего столько подробностей, заимствований из дневника и биографических деталей? Эдельштейн считает, что самостоятельного произведения у Цыпкина не получилось, и называет «Лето в Бадене» упражнением в стиле, образцово графоманской книгой. Популярность же ее на Западе объясняется просто: «представления Цыпкина о православии, антисемитизме, религиозной философии, да и вообще о русском XIX веке... совпали с мифологизированной Россией американских и европейских леволибералов». Однако Достоевский совсем не то же самое, что Dostoevsky, а закомплексованный Федя из «Лета в Бадене» в качестве творца «Братьев Карамазовых» непредставим.

Михаил Эдельштейн подробно разобрал сочинения финалистов премии «Национальный бестселлер» в статье «**Русский ковчег**» (www.russ.ru, 12 апреля). Крайне низко он оценил повесть Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». «Выбранная автором манера требует отказа от любого усложнения художественной структуры, поэтому повесть строится на четкой системе простейших оппозиций (чистая вода Ангары — ржавая вода из крана в городской квартире). Ни о каком богатстве психологического рисунка речь тоже не идет — Распутину нужны идеальные былинные герои и не менее условные злодеи». Пожалуй, точно замечено: «И монологи героев, и речь повествователя пропитаны странной интонацией усталой ненависти. Конкретным предметом ненависти могут быть кавказцы, китайцы, телевизор, реклама, валеологи — не суть. Настоящим ее объектом является, конечно, жизнь как таковая, слишком далеко отступившая от почвенного проекта. Симпатию у автора вызывают только скинхеды и — еще больше — ряженные в казачью форму уголовники с нагайками». Роман Ильи Масодова «Черти» — коктейль из Платонова, маркиза де Сада, пионерлагерных страшилок, рассказов «Детям о Ленине» и прочих «Восставших из ада» и «Воспламеняющих взглядом»; «...корпус масодовских текстов — это одна бесконечная пародия на Мамлеева. Но пародировать Мамлеева невозможно — все его творчество и без того сплошная самопародия». Вместо мифологического бурлеска получился «производственный роман из жизни чертей, упырей и прочей разнокалиберной нечисти». Роман Веры Галактионовой «На островах Буяне» — фантазия с геополитической программой. «Против нехороших людей, живущих по Старому Завету, объединяются православные и мусульмане. И наступит тогда отступникам полный Армагеддон. И поделом». «Мессыяч Аркашон» Андрея Тургенева (псевдоним Вячеслава Курицына) — это типичная «проза критика». Художественное высказывание в ней, по сути, подчинено теоретическому заданию. То есть критик Вячеслав Курицын видит в русской словесности незанятую нишу и предлагает прозаику Вячеславу Курицыну эту нишу занять. Курицын-прозаик пишет книгу и издает ее под псевдонимом Андрей Тургенев. «Грамотность вообще главный отличительный признак этого романа. Курицын-прозаик честно осуществил давнюю мечту Курицына-критика — написал текст без всяких признаков сверхзадачи». Лучшей вещью в шорт-листе Эдельштейн считает «кинороман» Александра Червинского «Шишкин Лес». Произведение, сочетающее элементы детектива, фарса, мелодрамы и семейной саги. «...Узнаваемость про-

тотипов — сходство семьи Николкиных с семьей Михалковых очевидно — гарантирует роману интерес широкого читателя». «“Шишкин Лес” можно прочесть как произведение политическое, апологию инстинкта государственничества. Не случайно настоящим героем оказывается искренний приспособленец Степан Николкин, а не его старший сын, невозвращенец и западник Макс». Это профессионально сделанная крепкая беллетристика — не более, но и не менее. И фабула, и характеры, и философия — все здесь на уровне хорошего сериала.

Статью о сходстве новых произведений двух непохожих прозаиков — либерала Зорина и «почвенника» Распутина — **Дмитрий Быков** ловко назвал «**Зори над распутьем**» («Новый мир», № 4). По мнению критика, повести «Забвение» и «Дочь Ивана, мать Ивана» одна без другой немыслимы, т.к. высвечивают главное друг в друге. Роднит их отчетливый антигосударственный пафос. Роднит и непоправимое одиночество главных героев. И то обстоятельство, что у обоих авторов действует женщина, а мужчина пассивен — потому что слишком слаб (у Валентина Распутина) или слишком умен (у Леонида Зорина). Но самое главное сходство заключается в том, что оба прозаика хоронят XX век, обоим ясно: «ни жить по прежним правилам, ни мыслить в прежних терминах уже невозможно». Кончился век идеологий и технологий. У Зорина внятно артикулируется: все идеологии в России относительны, безотносительна только этика. Тут же и Распутин, ведь в его повести самые страшные враги — вовсе не кавказцы, а следователи, работники прокуратуры, «продажные шкуры... этнически свои, этически — безнадежно чужие». Да и что это такое — «свои»? Ясно, что это вовсе не самые агрессивные и тупые (как это нередко бывает у «патриотов») и вовсе не самые извращенные и циничные (как это случается у «демократов»). Спасение — в поисках новой культурной идентичности, которыми и занят действительный герой распутинской повести — Иван, сын главной героини, первый настоящий интеллигент у Распутина. К этой новой идентичности надо идти не через отрицание всего чужого и «нерусского», а через выработку нового понятия «русского». Именно этим путем и движутся протагонисты обеих повестей.

На вопрос «**За что Игорь Сахновский получил Гран-при “Русского Декамерона”?**» отвечает **Юлия Рублева** («Урал», № 6). В большинстве случаев «описание любовных сцен в их земной кульминации, — пишет критик, — предсказуемо и скучно, как рецепт салата “оливье”». И скука эта представлена в широком диапазоне — от грубых физиологических текстов до возвышенных штампов или стандартной отписки типа «через несколько минут, показавшихся им вечностью...» Принято также прибегать к безыскусным описаниям перечня механических действий, используя при этом медицинскую терминологию (а в случаях особой безыскусности — обычный мат). Так, процитированный в статье фрагмент из рассказа Ирины Денежкиной лишний раз подтверждает «законность выбора подростками слова “трахать”». И немудрено, что большинство участников всероссийского конкурса «Русский Декамерон» в качестве «*произведений любовно-эротической тематики*» прислали творения, где сексуальная сцена — цель, смысл и едва ли не единственный герой повествования. На этом фоне отрадным показалось

уже и то, что получившие премию рассказы Игоря Сахновского не были написаны специально для конкурса. Любовные сцены Сахновский наделяет тайным волшебством, возвращая им утраченное — любовный смысл. «Неуловимые ощущения, которые и назвать-то трудно», в его прозе названы и узнаваемы, а обычные слова «превращаются в любовные, будто специально для этой цели предназначенные».

Статья **Сергея Белякова** «Александр третий, или Шурик в женском царстве» («Урал», 5) посвящена роману «Искренне ваш Шурик». Критик замечает, что профессиональный биолог Людмила Улицкая «на этот раз ушла от излишних физиологизмов» и многочисленные сексуальные сцены подает едва ли не с целомудренным изяществом. Главное же, что в романе отражена социальная болезнь века. Герой романа, «удобный» Шурик — мужчина, не способный отказать ни одной из волевых и мужественных женщин, — истинный продукт современности, плод генетической деградации. В обществе, где самые сильные, храбрые и решительные легли в братские могилы, сгнили на лесоповалах, ушли из городов в таежные экспедиции или попросту спились; в обществе, где утомленные учительницы поощряли тихих очкариков и энергичных отличниц, — в нашем обществе родился и вырос социальный тип «удобного» мужа при бизнес-леди.

Не фантастика, не антиутопия, а некий *футурологический коктейль* — такое определение получает у Аллы Латыниной мир романа Линор Горалик и Сергея Кузнецова «Нет» («Люди как люди. Работа как работа» — «Новый мир», № 6) — мир, где полное торжество ислама сосуществует с полным же торжеством китайского языка, легализацией порнографии и выращиванием человеческих эмбрионов в инкубаторах. Задуманный, по признанию самих же авторов, как коммерческий порнороман, «Нет» — действительно прекрасный образец остро сюжетной беллетристики. Но кроме этого книга свидетельствует о неизменности человеческой природы — какими бы жестокими и фантастическими ни были условия реальности, как бы ни менялись моральные нормы и представления о прекрасном и безобразном.

О повести Дениса Гуцко «Там, при реках Вавилона» пишет **Сергей Беляков** «Время чумы» («Урал», 5). Распад СССР уподоблен здесь вавилонской каре — в людях, прежде занятых общим делом, проснулась ненависть к чужаку. Лейтмотив повести — чужим быть страшно. Действие же ее происходит в Азербайджане во время армянских погромов 1990 года. Страшно быть армянином-мусульманином; страшно быть русским из Тбилиси и говорить с акцентом; страшно носить в себе смесь еврейской и азербайджанской крови; страшно в казарме оказаться москвичу — уроженцу ненавистной всем чванливой столицы. Ненависть — как чума, и каждый в этом мире может стать чужаком.

«Экс-разведчик» **Михаил Любимов** («Бэбэшники и кагэбэшники» — «Независимая газета», 25 марта) весьма одобряет роман Анатолия Наймана «Б.Б. и др.» за то, что писатель вывел там тип предприимчивого диссидента. Однако, как утверждает Любимов, Найман «побоялся» рассказать о том, что таковые диссиденты процветали при поддержке ЦРУ.

Всеволод Бродский в статье «Одежка для божества» (www.polit.ru, 23 апреля) размышляет об изображении божественных предметов в современной

прозе. В основном — в западной, но в порядке исключения привлечен и «Современный патерик» Майи Кучерской. Оценка Бродского такова: «Порой это натуральный, хоть и несколько удешевленный Хармс, порой Козьма Прутков, порой — полупародийные буддийские коаны, порой типичные хасидские притчи — во всей их прекрасной нелепости. На самом деле, разумеется, никакой пародией тут и не пахнет; хармсовщина для Кучерской — метод мимикрии, единственный способ, который она нашла для демонстрации умиления при виде первозданной святости. Искренность нынче пробирается в литературу по кривой дуге, по пути порой сильно видоизменяясь, превращаясь в стилизованного уродца. Тонкое ироническое тело имеет склонность затвердевать — тогда и вылезает на свет Божий настоящий, монстрообразный Козьма Прутков, не творение Алексея Толстого с братьями Жемчужниковыми, а подлинный служащий Пробирной Палаты. Примерно так и случилось с Кучерской — ее удивительные игумены... превращаются в хармсовских Кошкиных-Мышкиных, довольно-таки страшных, если вдуматься».

Кинокритик **Игорь Манцов** в заметке «**Равные богам**» (www.russ.ru, 12 апреля) поделился соображениями, навеянными телевыступлениями Эдварда Радзинского. Как и положено закоренелому визуалисту, Манцов презирает слово, считая его (а следовательно, и литературу) чем-то архаическим. Особенно устное слово. Успех Радзинского он объясняет как раз архаизацией общества: «Страна не успела превратиться в более-менее городскую, не успела вполне усвоить письменную культуру: социальные эксперименты 90-х заново деклассировали вчерашних номадов, горожан в первом поколении. Растерянные, испуганные, утратившие даже те минимальные навыки адаптации, которые приобрели в эпоху советского застоя, эти люди вновь стали нуждаться в отеческом голосе. Конечно, именно человеческий голос, идущий “от сердца к сердцу”, из сахарных уст в растопыренные уши, — самая архаичная и наиболее авторитетная форма коммуникации. Письмо или кинематограф не скрывают своей технологической изнанки и тем самым разоблачают себя в качестве “рукотворных” форм. Но “голос”, устная речь — магия в чистом виде». Вместо того чтобы смотреть на жизнь воочию, «полуграмотный номад» слушает, впитывает «авторитетную речь из уст “хорошо информированного гражданина”, на роль которого в России лучше всех годится так называемый писатель». «Хочу, — объявляет Манцов, — чтобы жизнь воспроизводила себя сама, изъясняла яркими образами и занятными сюжетами, а не местечковыми приколами. Предлагаю в мягкой форме дезавуировать производителей речи, шаманов». Писатель — существо мелкое и жалкое, и нечего превращать его в оракула и пророка с «назойливым учительским голосом».

«В нынешние годы пустоцветения торопливого поверхностного “пост-модернизма”» родилось произведение, внесшее, по мнению **Александра Солженицына**, весомый вклад в русскую историческую романистику. Но ярчайшая эта повесть осталась незамеченной критиками. Очередной экспонат «Литературной коллекции» Солженицына так и назван: «**Леонид Бородин — “Царица смуты”**» («Новый мир», № 6). В повести Бородина воссоздан «поздний образ» Марины Мнишек — Марины после восьми лет

неудач и страданий, «неслыханных мытарств по Московии». Марины истово (или неистово) религиозной, свято верящей в собственное предназначение, иступленно жаждущей обратиться в истинную католическую веру дремучее русское племя — «в соответствии с Божьим замыслом о нем». Марины обезумевшей и кончившей безумием. «При обломках исторической достоверности, — пишет Солженицын, — тут вся правота за художником... И хотя надо всей повестью автор не мог... не видеть пушкинского образа Марины-авантюристки... но повесть эта — не спор с ним... а яркое продолжение и развитие...»

К восьмидесятилетию со дня рождения Виктора Астафьева приурочена публикация «**Это голос далекого друга**» — две беседы Светланы Васильевой с художественным руководителем московской «Новой оперы» **Евгением Колобовым** («Октябрь», № 4). Вторая из бесед состоялась 23 февраля 2002 года — Астафьева уже не было; Колобову оставалось жить год с небольшим. «Писательство, — говорил дирижер, — великая музыкальная способность... “Прокляты и убиты” — это какая-то мощная, трагическая и *неоконченная* симфония о России... Да какая там симфония! Это эпос. Военный эпос... Астафьев, мне кажется, из тех, кто не сочиняет — *записывает* то, что им шепчут откуда-то отсюда. Провидение ли, Бог ли, птицы, небо... И литература его — пророческая. Есть в его книгах такие особые, “темные” и страшные места, но от которых идет ослепительный свет»...

Опубликованные в «Дружбе народов» (№ 5) фрагменты из «*долгой переписки*» **Валентина Курбатова** с **Александром Борщаговским** «**Уходящие острова**» тоже посвящены Астафьеву и тоже написаны не «по случаю», — этими письмами литераторы обменивались на протяжении полутора десятилет. С болью, тревогой, искренней любовью и заинтересованностью следят оба «собеседника» за литературной и человеческой судьбой Астафьева, рассказывают друг другу о личных встречах с ним, обмениваются мнениями о его новых книгах. О только что написанных «Печальном детективе», «Последнем поклоне», «Веселом солдате», романе «Прокляты и убиты» говорится очень чутко, профессионально и человечно.

Станислав Рассадин в статье «**Пришелец**» («Новая газета», № 15) по поводу 75-летия Фазиля Искандера пишет: писатель создал две Утопии — Чегем и мир детства. И в трагической «постчегемской» прозе он не отказался от «своей светоносности».

Увлекательное исследование **Арнольда Каштанова** «**Право на жизнь. Сёмин и Селин**» публикует журнал «Дружба народов» (№ 5). Жизнь, творчество и мировоззрение знаменитого француза Луи Фердинанда Селина («Смерть в кредит», «Путешествие на край ночи») автор рассматривает через призму романа Виталия Семина «**Нагрудный знак OST**», находя в судьбах и произведениях своих героев множество точек соприкосновения и отдаления, множество совпадений и противоположностей — так, словно два этих писателя, разделенные пограничными кордонами и десятилетиями, сознательно оппонировали друг другу. Именно строки Семина помогают понять, каким образом Селин, с самого начала искренне ненавидевший фашизм и при фашистах запрещенный, в конечном итоге оказался если и не фашистом в полном смысле, то уж во всяком случае духовным коллабо-

рационалистом. Стиль, литературная манера, пишет Каштанов, — не вольный выбор писателя, а квинтэссенция всего его опыта, в том числе и нравственного. Селин и Семин и в этом смысле составляют очень интересную пару. «До конца жизни Луи Фердинанд Селин не мог понять, каким образом он оказался в тупике. Обвинения в фашизме и расизме настолько не соответствовали его собственному самоощущению, что он видел причину в недопониманиях, мстительности и абсурдности мира». Да он и всегда исходил из внутренней установки, что «всё дерьмо», а «от мыслей вши заводятся» — и сметал табу, и освобождал литературу от этических проблем, и изощрял стиль — но так и не сумел оторвать эстетическое от нравственного.

Анна Кузнецова в статье «**Этнография переходного времени**» (www.russ.ru, 5 мая) многословно рассуждает о книге **Александра Кабакова** «**Все поправимо: Хроники частной жизни**» (М., Вагриус, 2004). Многое автору не удалось, считает она, но впечатление яркое оттого, что портрет переходного времени получился. Перебирание вещей есть основной сюжет романа, это и запоминается, поскольку вызывает удивление: носильные вещи в этом грубом послевоенном быту живут своей жизнью. Черты производственного романа, мелкий герой.

Та же **Анна Кузнецова** («**О сегодняшнем и современном**»: www.russ.ru, 5 апреля) хвалит роман **Александра Мелихова** «**Чума**» (М., Вагриус, 2004). «Мне трудно понять, как можно не считать этого прозаика первоклассным. Последние романы Александра Мелихова — редчайший сегодня образец высшего уровня психологической прозы». Далее показано, какой артист, какой расчетливый виртуоз явился читателям. Упрекает же Кузнецова Мелихова за его самоповторы. «Метафора чумы у Мелихова неоднозначна, не эмблематична: это и наркомания... и прочие удовольствия, вызывающие привыкание и заставляющие человека совершать безответственные поступки, — такой невеселый ракурс приобретает адюльтер в свете большой беды»... У **Владимира Новикова** («**Недуг, которого причину...**» — www.russ.ru, 5 апреля) свой взгляд на роман Мелихова — «активно мыслящего писателя-антрополога, чуткого социального историка современности». Чуму Мелихов прочитывает как универсальную метафору нашего бытия. «Из этой невыносимой жизни выхода нет». «Чума — субстанция не таинственно-индивидуальная, а общительная, общественная, рождающаяся и развивающаяся в отношениях между людьми. И реальная ей антитеза — любовь, причем не только родственно-супружеская, но и запретно-греховная. Но не хватает любви — в жизни одной семьи, в жизни целой страны. Люди становятся по отношению друг к другу «аллигаторами» (основная категория мелиховской социальной мифологии). А самые уязвимые (в том числе — и самые незаурядные) внутренне ломаются, делаясь бесчувственными «куклами»».

Борис Кузьминский в статье «**Пупсы; петроглифы**» (www.russ.ru, 28 мая) с присущим ему снисходительным остроумием пишет о новинках прозы. Начинает с новой прозы **Людмилы Петрушевской** («**Номер Один, или В садах других возможностей**» — М., ЭКСМО). «Роман не нравится практически никому. Примат тела над духом — фирменный мотив Петрушевской. В «Номере Один» под него впервые подведена «теоретическая база» — мифология вымышленной сибирской народности. Бескомпромиссно экс-

периментальный опус на грани коммерческого самоубийства. Восприятие текста нарочито затруднено, блистательная нарративная техника по-джойсовски враждебна реципиенту. Концентрация жути в кульминационной главе «Вечер и ночь» превосходит все когда-либо явленное русской литературой. От подобного чтения можно буквально посесть, потребитель этого не любит». Прекрасно поняли ситуацию и маркетологи «ЭКСМО»: тираж Петрушевской — 7100, тираж романа Людмилы Улицкой «Искренне Ваш Шурик», почти синхронно вышедшего в том же издательстве, — 75 тыс. «Шурик» — «безотносительно приятный, но притом отбирающий у читателя немислимый объем времени текст», «типичный рецепт западного «психологического» novel средней руки — ремесло весьма и весьма респектабельное, даром что потное, и не больно претенциозное». Михаил Веллер в сборнике «Б. Вавилонская» (СПб., Пароль) — философ-парадоксалист, бестактный разрушитель мифов, создатель притчевых парабол, равно виртуозных по концепции и словесному оформлению. Россып дискурсивных манер «Вавилонской» впечатляет, но, в отличие от «Номера Один», является не экспериментальным, а сугубо коммерческим приемом. Веллер обрушивает на читателя один интеллектуальный аттракцион за другим, стремясь заполнить единой книжкой все ниши соответствующего рыночного сегмента. «Рубашка» Евгения Гришкова (М., Время) — современная «Капитанская дочка» (Гришковец на пушкинскую повесть прямо ссылается). Ну или, чтоб не перегибать палку, «Хочу быть честным».

Одну из полос «Свежая кровь» Сергей Шаргунов целиком посвятил Василине Орловой («Независимая газета», 8 апреля). Пишет он о ней так: «невеста витязей, дочь полков, одуванчиковый пух»...

Фигура читателя — одно из «высоких» понятий в русской культуре — утверждает Наталья Корниенко («Душою плачешь и смеешься от души» — «Наш современник», № 5). Доказательством тому — письма читателей. А за всю историю русской литературы больше всего таких писем было написано в тридцатые годы. Вопреки расхожему мнению, «новый читатель», на идеологическую обработку которого тратились огромные средства, упорно демонстрировал склонность к буржуазной теории чистого искусства. Крестьяне критиковали «новую прозу», не желая считать правдой искусства ни сквернословие, ни блатные «смехульки», ни натуралистические сцены. «Роман о колхозной жизни, но я, колхозник, ничему в нем не верю», — писал читатель о «Брусках» Федора Панферова. Наиболее объемна читательская почта — о романах Шолохова. И если на страницы советской периодики попадали лишь мнения «сознательных» читателей, то в реальности картина была значительно сложнее: «Поднятая целина» не только не облегчала, как это принято считать, но скорее осложняла отношения Шолохова с советским литпроцессом. Читатель же очевидное предпочтение отдавал «Тихому Дону» (по спрашиваемости в библиотеках и издательствах — на первом месте после классики). Не осведомленный в хитросплетениях литературной борьбы, массовый читатель, не ведавший о разгроме социологической и формальной школ, после выхода каждого нового тома заваливал издательство письмами и в отзывах о текущей литературе являл себя прирожденным социологом и формалистом. «Фантастической достоверностью шолоховского текста только и можно

как-то объяснить, почему в середине 1930-х (!) читатель, знавший, что гражданская война окончилась в конце 1920 г., вновь и вновь задавал Шолохову странный вопрос о сроках окончания “кровопролитной” гражданской войны»... Шолохов работал медленно, стараясь учитывать замечания читателей о допущенных в романе неточностях, и, как предполагает автор статьи, не читательские ли письма стали причиной того, что финал романа стал именно таким — тем самым финалом, к которому так негативно отнеслись ведущие советские писатели. Корниенко публикует объемную подборку читательских писем Шолохову (1933-1938 года) — «рассказы о жизни и от жизни, уникальный читательско-писательский роман XX века».

О статье **Льва Аннинского «Ком в горле Шендеровича»** («Дружба народов», № 5) хотелось рассказать подробнее. Вот уже два года, как Виктор Шендерович стал постоянным автором «Континента». Мы любим этого писателя, высоко ценим злость его сатиры, изумительную остроту и точность его слова и присущее Шендеровичу безошибочное чутье — настоящий нюх на всяческую фальшь. Так что статья, посвященная выходу трехтомного Собрания сочинений нашего любимого сатирика, не могла нас не порадовать: ведь критика (и критика особенно!) — свидетельство популярности, а антиреклама — едва ли не лучший вид рекламы. Однако нам пришлось огорчиться: не зная, о каких текстах Шендеровича идет речь, мы, увы, почти ничего из выступления Льва Аннинского не поняли. Поняли, конечно, что Шендеровича ругают, — но не поняли, за что. На беду, для своей статьи критик выбрал тот же самый жанр сатиры, афоризма, едкого и точного слова — но, не в обиду ему будь сказано, до уровня Шендеровича не дотянул. Тот все-таки обладает достоинствами, которые, к несчастью, отсутствуют у Аннинского, — это полная вразумительность и доказательность текста и фирменное отсутствие мелкой злобности. О том же, что получилось у Аннинского, можно судить хотя бы по следующей цитате (одной из немногих понятных): «...Шендерович — работяга. Пришпилен к земле с названием кратким “Русь”, стоит на нашем безрыбье раком и ядовито перекликается с косяком евреев, отлетающих на историческую родину: “Неужели обратно в Бердичев?”» Так что предоставим читателю самостоятельно судить, кому в данном случае сделана антиреклама.

О ПОЭЗИИ

Когда-то Пушкин сетовал, что **РИФМ** в русском языке слишком мало и «пламень» неминуемо тащит за собой «камень». Однако, пишет **Аркадий Штыпель** («Звонкая подруга» — «Арион», № 2), именно такие расхожие, «назойливые» рифмы оказываются *харизматическими* и образуют некую целостную систему смысловых полей, так что «десяток-другой случайных созвучий таинственным образом определили характер русской поэзии в целом». Но те классические рифмы сегодня почти полностью вышли из обихода, уступив место рифмам по преимуществу штучным. Однако рифмуются вовсе не слова, рифмуются целые строчки. Рифма — это лишь гребень волны. Или как у Мандельштама:

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин,

где конечные слова, взятые отдельно, представляют собой очень бедную рифму, даже совсем почти не рифму. В контексте же рифма звучит «не просто полноценно, а даже звонко и щегольски» — две строки перекликаются, отражая друг в друге многократно. И это не разговор о технике стиха — «у хороших поэтов никакой техники нет». Просто у них *так* получается — так овеществляются в стихе Божий дар и поэтическая воля. А «как делать стихи», это все мы знаем — «но никто, к счастью, не знает, как сделать одно стихотворение».

«Поэзия, — говорит в интервью Татьяна Бек **Александр Кушнер**, — не одинокое дерево, а роща или лес, со своею сложно переплетенной корневой системой» (**«Не дерево, а роща»** — «Новый мир», № 6). Вся совокупность русской поэзии составляет поэтическую родину любого стихотворца, и без этой родины невозможны собственные стихи. Потому-то поэты формируются сегодня долго, лет до сорока — удлинилась «взлетная полоса», прибавился XX век и вбирать в себя приходится уже не два, а три века русской поэзии.

В центре внимания **Николая Работнова** (**«Война, в которой все — перебежчики»** — «Знамя», № 4) — конфликт между литературными поколениями, особенно обострившийся в первое постсоветское десятилетие. Автор полемизирует с критиками нового поколения — Ильей Кукулиным, Антоним Нестеровым, Псоем Короленко (псевдоним Павла Лиона), Игорем Вишневецким, Георгием Сваном и другими. Работнов отмечает, что молодая поэзия (равно как и критика), будучи не в состоянии скрыть гордость от собственной эрудиции, тяжело поражена «вирусом филологичности», а также напоминает, что долг критика в числе прочего — «называть претенциозную чепуху претенциозной чепухой». В статье подробно разобран «казус Шиша Брянского» (под таким псевдонимом творит кандидат филологических наук Кирилл Решетников). Шиша Брянского — «антисолнце русской поэзии» — критики представляют в качестве поэта трагического, протестующего, терзаемого мрачными страстями и оттого не стесняющегося в выражениях*. Работнов замечает, что «аспирантско-кандидатский мат», бушевание страстей и прочие отличительные особенности поэтических изделий высокопрофессионального филолога холодно и расчетливо сконструированы. Сконструированы по простейшим пиаровским рецептам «в соответствии с бизнес-планом», согласно которому «на злобу дня» следует писать именно злобно: ведь если чувства выражаются нецензурно — стало быть, это очень сильные чувства. Впрочем, как полагает автор, с чем пришли поэтические маргиналы, с тем они, потоптавшись, и уйдут.

О **ГРАФОМАНИИ** как эстетической катастрофе нашего времени пишет **Анна Кузнецова** (**«О необъяснимом»** — «Арион», № 2). Кто кроме читателя, спрашивает она, может быть тут судьей? На рациональном языке говорить о поэзии бессмысленно: именно из таких разговоров поэзия все время и усколь-

* Цитировать Шиша затруднительно: если с купюрами — получатся одни отточия, и абсолютно ничего не поймешь, а без купюр — не позволяют приличия. Впрочем, единственный глагол и несколько существительных, которые бесконечно эксплуатирует этот автор, и без того хорошо всем известны.

зает. Отличить поэта от неопэта было легко разве что в советские времена, когда поэты имели при себе соответствующие корочки с фотографией и печатью. Научных критериев тут нет. Поэзия сама по себе есть точная наука, имеющая дело с неуловимым и ускользающим — с реальностью, не тождественной словам, а только заштриховываемой ими. Но, пишет автор статьи, «никогда еще в русской поэзии не было столько стихов высочайшего версификационного уровня, которые от поэзии отличаются только самодостаточностью слов». И поскольку наука тут бессильна, вся надежда на критиков, то есть тех же читателей — только профессиональных.

Два критика высказывают свое мнение о поэзии Геннадия Русакова («Дружба народов», № 4). Статья Евгения Ермолина «Плач и зов» посвящена всему творчеству Русакова. По мнению Ермолина, Русаков тем больше знает, чем сильнее страдает, «именно страдание и боль утраты сделали из него крупного поэта». Когда же жизненные обстоятельства меняются к лучшему (о чем свидетельствуют публикации 2003 года), поэт *теряет тему*, а его стихи — напор и силу. «Должность поэта безжалостна, — резюмирует Ермолин. — Страдание и боль рождали хорошие стихи. А радость и ее затеи — не рожают». Владимир Губайловский категоричен: «Стихи — не слезы», одной силы плача для поэзии недостаточно. Этим искусство и отличается от частного письма. Да и нельзя жаловаться на жизнь сразу всему свету (Ермолин в этой связи вспоминает «ветхозаветный и ахейский миры публичного мужского плача»). Губайловский пишет о сборнике «Разговоры с богом». Этот критик от поэзии Русакова не в восторге, она представляется ему неким «средним, необязательным выражением», существующим «в приблизительном общелитературном поле» и питающимся чужими находками: когда «все в порядке, все на месте, версификация иногда просто виртуозная... а стихи не рождаются». Ермолин убежден в обратном: «Естественность и простота не отменяют виртуозности... Русаков — поэт бесхитростный, он ничем не прикрыт и совершенно беззащитен»; это голос из души, дыхание словами... У ермолинского Русакова всё становится мелким в свете вечности. У Русакова губайловского — в сравнении с самим поэтом. Ермолинский Русаков занят поисками Бога, поисками Смысла, оттого-то и «препирается» с «богом» своих стихов. Русаков Губайловского никакого Бога не ищет, о собственном же «боге» знает абсолютно всё — бог Русакова зол, мелок, мстителен, недалек, это абсолютная противоположность поэту: поэт любил жену, а бог ее убил; поэт мал и слаб, бог — велик и силен; поэт творит словом, бог — грубой силой; бог — это тот, кто убивает, а поэт — тот, кого убивает бог. «Это не богохульство и богоборчество», — пишет Губайловский. Богохульник знает, Кого хулит и перед Кем несет ответ за свои слова; Русаков же «говорит сам с собой и вообще никого, кроме себя, не видит», да и сам его «бог» — не что иное, как сам поэт, взятый со знаком «минус» (уж не alter ли ego? — пронизательно спрашивает критик). «Это не богоборчество, — вторит оппоненту Ермолин. — Обращение к богу (Богу) у Русакова — это попытка заковать одиночество и отчаяние бунтом и покайанием». По Губайловскому выходит, что книга Русакова не удалась именно потому, что поэт так и не сумел забыть о самом себе, приподняться над собственной болью, кроме себя заметить в мире и Бога. По Ермолину же

получается, что Русаков оставался крупным поэтом, пока десять лет оплакивал Людмилу, и перестал быть таковым, когда начал воспевать Татьяну. Кто бы из критиков ни оказался ближе к истине, почему-то обозначившийся в их статьях образ поэта, творящего в «жанре рыдания» (Ермолин), особой симпатии не вызывает.

О петербургском поэте Игоре Булатовском по поводу выхода его книги «Полуостров» пишет **Олег Юрьев** («И т.д.» — «Октябрь», № 6). В поэзии Булатовского есть самое главное — дыхание. Что же до технической стороны дела, — филологическая искушенность этого поэта так велика, что почти незаметна, а его стихотворческая оснащенность так естественна, что порой вызывает подозрение в намеренной наивности. Неиссякаемая традиция *петербургской поэтической культуры* представляются автору статьи в виде своеобразного родословного древа, где предшественники помещаются наверху, а последователи — ближе к земле: «Весьма сомнительное удовольствие сидеть на последнем, самом нижнем суку... — шавки подпрыгивают и норовят ухватить за штанины, и не в кого самортизировать, падая. Просто для наглядности: Некрасов, падая и помня Бозию, зацепляется ружейным ремнем за оглушенного революцией Блока, а тот, когда приходит его черед, растопыривается на весу, растянут между “жидочком” Мандельштамом и “соблазнительной” Ахматовой. Соскользнувший “французский каблук” Ахматовой всей тяжестью вонзается в рыжее пролетарское плечо Бродского и т.д.»... Вот так у них там, в Северной Пальмире — как сказал по другому поводу не-петербургский поэт:

не листочки на нем, не цветочки на нем...

Книге **Олега Чухонцева** «**Фифиа**» в шестом номере «Нового мира» посвящено две статьи. **Дмитрий Полищук** («**На ветру трансцендентном**») рассматривает 28 стихотворений сборника как своего рода совокупное высказывание, где каждая из составляющих самодостаточна. Почти любое стихотворение здесь может быть отнесено к вершинам поэзии Чухонцева, и композиция «**Фифиа**» подобна «кристаллу-многограннику, где отдельные стихи — вершины, связаны между собой гранями и сечениями тем-смыслов». Книга пронизана множеством внутренних переключений, и чтение подряд — «лишь один из возможных маршрутов по ее мифопоэтическому космосу».

О «**Фифиа**» надо писать с чистого листа, — утверждает **Ирина Роднянская** («**Горит Чухонцева эпоха**» — там же), отмечая поразительную, оркестровую многозвучность этой тоненькой книжки. Техничность Чухонцева, виртуозность его в ремесле версификации, прежде отмечавшиеся критиками лишь вскользь, на сей раз требуют отдельного разговора. Роднянская пишет: «Впечатление такое, что все инструменты стихописания, подспудно освоенные за прожитую в поэзии жизнь, но до поры — без нужды — не действовавшие, расцехлены и оживлены. В родной просодии Чухонцеву... давно было доступно что угодно, но вполне понадобилось только нынче, в ансамбле этой книжки». А понадобилось потому, что «**Фифиа**» знаменует собой разлом времени — движение «справа налево», против часовой стрелки. Она и сама написана — «справа налево» и вспять. Движение вспять —

это движенье к устью, к истоку, к цели. «Вот так, в преддверии времен “после лирики, после эпоса”, Чухонцев явил в горстке страниц некий лироэпос густейшей концентрации...» Здесь есть всё: мысль, объемлющая эпоху, век, мир, судьба, отчизна, родимый погост; ожесточение, молитва. И подвижная грань между этим и тем бытием...

Глеб Шульпяков в статье «**Чертов палец**» («Арион», № 1) так фиксирует самобытность позднего Чухонцева: «...все — превращается, мутирует, перерождается, причем происходит это прямо на наших глазах... лирика перетекает в эпос и драму и застывает в странной и причудливой форме... В «Фифия» это перерождение явлено в конечной поэтической форме. Главное событие книги — те стихи, где жанры перемешаны и переплавлены. Где стихи текути и принимают очертания того, о чем они говорят».

О «Книге лирики» Ильи Фаликова пишет **Анастасия Ермакова** («Без ручного фонарика» — «Знамя», № 6), отмечая изящную небрежность этого поэта, его способность быть громким без крика, трагичным без патетики, искренним без надрыда и суровым без аскетизма.

Виктор Куллэ пишет о сборнике Максима Амелина «**Конь Горгоны**» («Плодоносящая смоковница» — «Новый мир», № 4). В название своей книги поэт вложил мысль об изначальной связи вдохновения и ужаса (ведь «конь Горгоны», Пегас — посмертное отродье чудовища — возник из крови, которой истекала отрубленная голова матери). Куллэ пишет об Амелине как об архаисте и новаторе одновременно, как о поэте, по самой своей «весовой категории» несоизмеримом с ровесниками-сотоварищами по цеху. Этот поэт существует для того, чтобы, по словам другого критика, «самой своей жизнью создать... еще один кирпич для той самой стены, что экранит человека от вселенского холода и адского зноя». Максим Амелин спокойно и без ажитации подновляет эту кладку, поскольку поэзия — то, без чего невозможно и само наше существование. Сказал же Амелин однажды: «Поэзия, как никакое другое искусство, своим существованием доказывает бытие Божье».

Сборнику Виталия Пуханова «**Плоды смоковницы**» посвящена статья **Александра Мызникова** «**Горькая трезвость самооценки**» («Знамя», № 6). Критик отмечает как истинно поэтическое качество присущую Пуханову трезвость самооценки, беспощадность к себе. И хотя в лирике этого поэта многовато и тяжеловатой риторики, и досадного умствования, и обычного сегодня выворачивания наизнанку хорошо знакомых фраз, — но есть у него главное: строчки если не волшебные, то приближающиеся к волшебству. Стихи Пуханова отличает «некая трудная глубина», способная дотянуться до неба — хотя бы до самого краешка.

Владимир Бондаренко в статье «**Лирический жест Владимира Соколова**» («День литературы», № 3) пишет: с конца пятидесятих Соколов «становится, на мой взгляд, первым лирическим поэтом России, таковым и остаётся лет двадцать, не менее». Верный своему политангаменту, Бондаренко использует Соколова для нападков на Евтушенко.

В статье «**Женский поэт Вера Павлова и ее “Совершеннолетие”**» («Арион», № 2) **Николай Александров** пишет: поэтессе удалось главное — создать собственный мир. Основополагающее же условие существования этого

мира — теургическое мужское воздействие, сотворение самой поэтессы мужчиной-важателем. Еще для мира Павловой характерны «призрачная физиологичность», сквозная тактильность («Давай друг друга трогать, / пока у нас есть руки»), настойчивое смешение телесности и душевности. Свойственно поэтессе также проверять поэзию практикой — как свидетельство особой ревности к строкам предшественников:

Свеча горела на столе,
а мы пытались так улечься,
чтоб на какой-то потолок
ложились тени... Бесполезно!
Разве что стоя у стола,
о стол локтями упираясь
и нависая над свечой...

Впрочем, автор статьи предупреждает: откровенностям лукавой поэтессы не стоит доверять. Она лишена наивности. Даже в самых простых признаниях, таких, к примеру:

С похмелья я похожа на Джоконду.
А выпавшись — на первую любовь...

О КРИТИКЕ

Слишком часто современную художественную литературу читать куда скучнее, чем литературу о современной художественной литературе, пишет **Борис Хазанов** («Король умер. Да здравствует король!» — «Октябрь», № 6). И к такой нескучной критике рецензент относит книгу Натальи Ивановой «Скрытый сюжет» — «нечто вроде краткой энциклопедии новейшей российской словесности».

Михаил Эдельштейн продолжает портретировать литературных критиков («Это критика», www.russ.ru). В 26-м выпуске 9 апреля представлена Алла Латынина. Она говорит: «Упало значение литературы — упал и статус писателя. У меня нет аргументов, чтобы убедить людей читать современную русскую литературу. Я сама не уверена, так ли уж им нужно знать, что пишут Андрей Дмитриев или Марина Вишневецкая, Виктор Пелевин или Владимир Сорокин. Сегодня живет только один писатель, место которого в литературе XX века прочно зарезервировано, — Александр Солженицын. Что ж до остальных — тут все зыбко и подлежит пересмотру». В 27-м выпуске 30 апреля представлен Самуил Лурье. Эдельштейн пишет о нем: «Кажется, все критики сходятся на том, что падение читательского интереса к сегодняшней русской литературе связано с отсутствием в ней адекватного изображения современности и современного героя. Не то Лурье. Он полагает, что такой прозы, “в которой отразился век, и современный человек изображен”... переизбыток, а “читатель (наш, нынешний) чувствует отвращение к современности — к доставшемуся нам для проживания историческому эпизоду. Читателю неинтересен современный герой” — вот он от новой русской литературы и отвернулся. И сегодняшнее диссидентство Лурье, конечно, не столько политический протест, сколько частный случай все той же меланхолии и неудовлетворенности наличным состоянием бытия».

Нашему постоянному автору Евгению Ермолину крепко достается от **Юлии Качалкиной** («Купание красного быка. Новая и старая искренность молодых писателей России» — «Октябрь», № 5). Речь в статье — о форуме молодых писателей «Липки-2003», где Ермолин был «главным флагманом критики» и где он «проговорился» — а именно сказал: «Нам нужна новая серьезность», то есть «практически констатировал смерть теоретической критики как гуманитарной дисциплины». Все это побудило автора статьи немедленно встать на защиту чуть не убитой дисциплины и пылко призвать поэтов говорить о поэзии грамотно, а критиков помнить о своем долге и необходимости научного инструментария. Но, согласитесь, интересно все-таки узнать и другое: в чем же провинился Ермолин, давший Качалкиной столь славный повод показать себя? В чем смерть критики-то — в серьезности? Но разве серьезность не совместима со знанием теории? Вот ведь у самой-то Качалкиной с теорией вроде более или менее (на двух страничках своего текста она очень прилежно это демонстрирует), но серьезности-то еще больше. Не новой, правда, а совершенно обычной. Этой искренней детской серьезности, местами переходящей в запальчивость, так много, что по большей части и в толк не возьмешь, о чем речь-то — мысль скачет, а фраза безнадежно увязает в дебрях родительных падежей. Или мы, старичье, совсем уже разучились понимать двадцатилетних — особенно когда они забивают эрудицией — сразу тебе и Деррида, и Горнфельд, и Фрейд, и Хализев, и «Менины» Веласкеса, и «Пушкинский Дом» Битова?... То-то профессор Ермолин, поди, и не слыхивал...

Выход трех томов Полного собрания сочинений Тютчева пятым номером «Нового мира» отмечен дважды. **Алексей Балакин** в статье «Первый том академического Тютчева» (где речь идет не только о первом — а уже о двух томах) замечает: комментарии к изданию столь субъективны, что заставляют думать о рождении некоторой новой «импрессионистической» текстологии. К тому же Тютчев предстает здесь в виде полузабытого поэта, биография и творчество которого уже лет пятьдесят никем не изучались. Так что слишком ретиво взявшиеся за дело комментаторы ПСС несколько поспешили, продемонстрировав миру «кустаршину и неразбериху», а также длинный ряд перлов, которые Балакин старательно выписал. Таким образом, солидный тираж — единственное достоинство, которое автор статьи обнаруживает у нового издания, оборачивается едва ли не недостатком. **Сергей Бочаров** («Тютчевская историософия: Россия, Европа и Революция») размышляет над опубликованной в третьем томе статьей Тютчева «Россия и Революция». Оставляя без особенного внимания апологетический пафос «нынешнего православного комментария» к тютчевскому «православному империализму», Бочаров пишет об актуальности предвидений Тютчева-мыслителя, о его хилиастической утопии и о том, как эта утопия была политически реализована.

В Пскове издан сборник статей **Дмитрия Галковского**, пишет **Алла Латынина** («Десять лет спустя» — «Новый мир», № 4). Вышла в свет книжка, где собраны скандальные публикации — те самые, в свое время больно задевшие едва ли не все слои постсоветского общества. И вот вышел сборник — и остался не замеченным ни книготорговыми фирмами (в Москве его не купишь), ни широкой прессой...

Статью Латыниной в 101-м выпуске своего «Голода» (6 апреля) комментирует Александр Агеев (www.russ.ru). Феномен успеха Галковского в начале 90-х объясняется умелым автопиаром — Галковский первым, наверное, грамотно «подставился» ради популярности, и... интеллигентная публика, задевая за живое его экстравагантностями, «просто-напросто влюбилась в него — отсюда такая быстрая реакция на всякий его чих, отсюда такой накал полемики».

Михаил Гаспаров в статье «Памяти **Сергея Аверинцева**» («Новый мир», № 6) приводит слова самого С.С. Аверинцева: «Мысль... дает не указание пути, а образец поступи. Хорошо, когда читатель дочитывает книгу с безошибочным ощущением, что теперь он не знает больше, чем не знал раньше». Но, добавляет Гаспаров, добиться такого незнания у читателей (а особенно слушателей) Аверинцеву не удавалось: «наоборот, всех переполняло ощущение окрыляющего понимания». В его словах слушатели, задышавшиеся в атмосфере советской неволи, безошибочно улавливали дыхание «большого времени» — то свободное дыхание, которое, по словам Аверинцева, и дает история литературы. Но не это было главным для самого Филолога. Однако «его аудитория, утомленная позднесоветской догматичностью, пленялась иррациональной одушевленностью и пропускала мимо уха рациональную строгость». Вслед за коллегой Гаспаров предупреждает: «Избегать рациональности, избегать рефлексии — значит отдаляться от взаимопонимания: иррационализм опасен» — и приводит еще одну цитату из Аверинцева: «Нынче в обществе нарастает нелюбовь к двум вещам: к логике и к ближнему своему». Это вещи взаимосвязанные.

Обзор подготовили:

Ирина Дугина (журналы) и Евгений Ермолин (газеты, Сеть)

В. «Звезда» и «Нева»

Петербургская критика, увы, заметно отстает и от столичной, и даже от периферийной. Ни тебе зубастых статей, ни острой полемики. Так, скучный штиль. Критическая мысль питерцев то забирается в заоблачные выси, то отделяется дежурно-бодрым анализом книг, подаренных авторами благожелательным критикам. Разве что продолжающаяся авторская рубрика профессора Петербургского университета И. Сухих «Книги XX века» («Звезда») да серия блиц-рецензий под заглавием «Печатный двор» таинственного автора, выступающего под именем С. Гедройц (тоже «Звезда») прорезают эту гладь-благодать. С них и начнем.

И. Сухих публикует как всегда острую и увлекательную, насыщенную множеством фактов статью под заглавием «**“Московский текст” бродяги Гиляя**» («Звезда», № 4). Посвящена она, разумеется, Гиляровскому. Чего он только не выделял дядя Гиляй, знаменитая «московская достопримечательность»! В пятнадцать лет он убил первого медведя. В восемнадцать — с бурлацкой артелью таскал баржи по Волге. Он оказался в толпе людей, давивших друг друга на Ходынке, он издавал спортивную газету и водил дружбу с жандармами, градоначальниками и жокеями. Удивительный писатель, удостоившийся, при всей своей экстравагантности, благожелатель-

ного внимания Советской власти. А было ему тогда уже за семьдесят... Наивно, конечно, думать, что новая власть была особенно заинтересована в таких колоритных бытописателях старомосковской жизни, каким был дядя Гиляй. А вот поди ж ты! И. Сухих усматривает определенную аналогию между поведенческой политикой не такого уж малого круга бывших советских журналистов — в прошлом яростных бойцов идеологического фронта, в постсоветской России прямо-таки молниеносно ставших ярыми антисоветчиками, — и поведением «дяди Гиляя», сумевшего-таки отыскать и в новых условиях для себя удобную и теплую нишу. Исходило это, разумеется, от определенной поверхностности писателя, точнее, от его всегдашней погруженности исключительно в быт, который он — тут надо отдать ему должное — описывал на редкость аппетитно, вкусно, со вкусом. К тому же в писаниях его читателя всегда подкупала топографическая точность. Впрочем, все-таки непонятно, как это бурнокипящий, восторженный, но простодушный Гиляровский умудрился так уж понравиться советским властям: не склонны те были гладить по головке даже преданных им творцов. Тут ведь все была воля случая. Скорее власть как бы тасовала карты — и разве угадаешь, какая кому выпадет?.. Ну что ж, вытащил писатель Гиляровский, значит, карту счастливую. А читать его, отмечает И. Сухих, крайне интересно, особенно если пишет он про красоту разрушенной, разоренной, *исчезнувшей* Москвы. И где еще сейчас прочтешь про то, как выглядели Охотный ряд или Покровские ворота? Про то, как в небе парили бумажные змеи с трещотками?

В последнее время «Звезду» интереснее всего открывать с самого конца — с рубрики «Печатный двор». Остро, точно, лаконично — и к тому же бьет, что называется, не в бровь, а в глаз. Вот, например, коротенькая — на две машинописные странички — рецензия на книгу Ольги Орловой «Гайто Газданов» («Звезда», № 4). Приведу довольно длинную, но весьма выразительную цитату: «Дела советские: нафталин, ДДТ, “Роман-газета”, портвейн “Три семерки”, “Блокнот агитатора”... В этом же благовонном ряду — обложки книжной серии “Жизнь замечательных людей”. (А была, говорят, и другая: “Пионер — значит первый!”). Пятьдесят лет на контртитule писали: серия основана М. Горьким. Теперь вспомнили, что Павленковым. А остальное — все такое же, точнее — то же самое. Главное — голос такой почтительно-ласковый, точно дальний, бедный родственник покойного втирается в семью».

Вот так — бык сразу ухвачен за рога. Как будто умудрился ты всего-навсего несколько минут поговорить с умным, дельным и толковым человеком, и стало тебе с того момента крайне интересно рыться в огромных книжных развалах. **С. Гедройц** советует, разбирая, — и, советуя, тут же разбирает, и одно от другого не отодрать. Эмоциональный анализ, да еще остроумный и едкий, — дело в критике нечастое.

Вот как охарактеризован в рецензии роман А. Мелихова «Чума» («Звезда», № 5). Он, то есть А. Мелихов, пишет автор, есть «один из немногих в дельте Невы, кого можно читать, — один из совсем немногих, кого читать стоит, — на этот раз написал, наконец-то, вещь, которую прочитать надо, и даже почти нельзя — не».

А в знаменитой московской красавице Нине Воронель, авторе недавно вышедших в «Воспоминаний», критик усматривает такой вот редкостный дар, точнее, взгляд: «обесценивающий сквозь уменьшительное стекло» («Звезда», № 6). То есть обнаруживается в новенькой книжке масса банальностей, а также удивительное свойство автора «запоминать неинтересное». То, чем люди не различаются. В чем они мельче самих себя. Эту гуляющую по странице только что вышедшей книги публику, состоящую из людей знаменитых и не очень, Н. Воронель использует, написано в рецензии, «в качестве косметических приспособлений. Ими подводят глаза, румянят щеки, красят губы». Рассказывая о знаменито-позорном процессе Синявского и Даниэля, та же мемуаристка занята обоснованием идеи, согласно которой этих диссидентов «судили и посадили понарошке, с их согласия, специально для того, чтобы один из них впоследствии сделался за границей так называемым агентом влияния». Тут же отмечен и намек автора на то, что покойная Лариса Богораз участвовала в демонстрации протеста против вторжения советских войск в Чехословакию специально для того, чтобы ее отправили в ссылку и тем самым избавили от встречи с Даниэлем. Вот такая книга: сплошные «милые сплетни».

Его же, то есть С. Гедройца, рецензия на повесть Нелли Аркан «Шлюха» («Звезда», № 6) начинается со слов: «Название, сами понимаете, магнит. И художник обложки расстарался, не ударил в грязь лицом: глицериновая такая Барби, силиконовая, в исподнем черном и зловещем, как пластырь на глазнице». Дело, конечно, не в названии и не в обложке, а в том, что книга, отмечает рецензент, написана до неприличия кокетливо, перед нами верх безвкусицы и пошлости. А книга меж тем, как утверждает издательская аннотация, во Франции и Канаде разошлась тиражом аж 100 000 экземпляров. Самое же примечательное в том, что автор сего труда сама о себе так и пишет: она, дескать, в жизни то же самое, что вынесено в заголовок книги. Виноваты «папа и мама, — пишет С. Гедройц, — разумеется, виноваты вообще во всем. И хочется умереть. А также денег».

Охват С. Гедройца, хоть и характеризуется неизбежной случайностью (а как же без нее в нынешних книжных морях), весьма широк. В парижской книге Вл. Мрамзина «Сын отечества» рецензент видит «два отброшенных варианта жизни» — петербургский, автору родной, и парижский, названный, как старинный петербургский журнал. «Историю нашей литературы, — сказано в рецензии, — писала тайная полиция — топором дровосека» («Звезда», № 5). Книгу Владимир Шилейко. Последняя любовь. Переписка с Анной Андреевной Ахматовой и Верой Андреевой и другие материалы» читать нам всем, написано в рецензии, пожалуй, рано, — ибо от этой супружеской переписки отделяет нас меньше чем одна жизнь. В страшных обстоятельствах жизни тех людей, о ком рассказывает книга, жизни, пожалуй, безнадежной, люди эти умудрялись мучить себя то ревностью, то тревогой («Звезда», № 5). О книге Хосе Ортега-и-Гассета «Этюды о любви» написано: «Сад-то (т. е. эта благоухающая проза. — *Е. Ш.*) он действительно оказался сад, и ухоженный. И афоризмы произрастают в большом количестве. Но представьте, какая странность: вся эта флора шелестит профессорским таким занудным тенорком. Причем интонируя кокетливо-задушевно: ни дать ни взять, мы на лекции в клубе рабочей молодежи» («Звезда», № 5).

Но — пора перейти к критике менее интересной, но по-своему примечательной.

Не особенно, по-моему, удалась **Андрею Иконникову-Галицкому** статья «**Отпускаешь ныне твоего скитальцо...**» **Неуслышанные поэтические голоса 80-х**» («Нева», № 4). Посвящена она трем поэтам, друзьям юности критика, в сущности, поэтами так и не ставшим. Добрая память о друзьях-товарищах — дело, конечно, похвальное, но вряд ли украшают статью чрезмерно категорические заявления — такое, например: «Человеку же, наделенному внутренней свободой, политические и всяческие внешние права ни к чему». Или такой вот пассаж: герои статьи привыкли искать свободы внутренней и именно потому оказались ныне никому не нужны. Поскольку общество забыло, «что внутреннее существует». Нет, видимо, мы с автором живем в разных странах. И читаем разную поэзию. Как это Иконников-Галицкий умудрился не заметить, что ныне здравствуют А. Кушнер или О. Чухонцев, а не так давно были Е. Блажеевский или Вл. Корнилов?

Почему-то в раздел литературной критики попала пространная статья **А. Секацкого «Партитура неслышимой музыки»** («Нева», № 4), посвященная, естественно, проблемам музыки. Не будучи в вопросе этом специалистом, не осмелюсь судить о глубине раскрытия темы. Приведу одну только цитату: «Неразвитость метамызыкального слуха в отношении минимальной идентификации персонального мотива, темы присутствия, приводит к таким же хроническим недоразумениям в кругу близких, какие вызывают нечувствительность к гармонии сфер в политическом измерении...» На этом месте хочется почтительно встать, не правда ли?!

Небольшая заметка **Б. Никольского**, посвященная памяти Аркадия Эльяшевича, озаглавлена «**Остается слово**» («Нева», № 4). Почтить память недавно ушедшего патриарха литературоведения, многолетнего теоретика соцреализма, хорошо известного в питерских литературных кругах, конечно, нужно. А может быть, и нет. Тут, право слово, теряешься. Вспоминаются безразмерные статьи покойного автора, посвященные хоть «деревенщикам», хоть авторам прозы «военной». Все как надо, как требуется, все отмерено, вычерчено, кто-то, как и положено, обруган, а кто-то вознесен. Так как же сегодня быть? Как быть с критическими разносами, с одной стороны, и с доброй памятью о человеке, который был натурой сложной, не лишенной теплоты и сердечности, с другой? Б. Никольский деликатно отмечает, что покойный прошел путь от ортодоксальных установок до поиска «собственного, новаторского взгляда на историю советской литературы». Позволю заметить, что с последним, то есть с новаторством, дело у А. Эльяшевича обстояло не так просто. Да и как так уж враз перестроиться литературоведу, разменявшему девятый десяток? Словом, А. Эльяшевич, родившийся в 1921-м, принадлежал к несчастному поколению, из которого сегодня в живых осталось, дай Бог, один процент. А то и столько не наберется.

Сложную проблему — переход от советского (и антисоветского) противостояния стилей к эстетическому эклектизму как языковой парадигме современности — рассматривает **Аркадий Бартов** в статье «**Эпоха и стиль**» («Нева», № 6). Автор, правда, несколько злоупотребляет теоретизированием: только выкарабкаешься из одного «метареализма», как угодишь в какую-

нибудь «деконструкцию». То ли статья предназначалась для издания специфического, вроде «Вопросов философии» (но в таком случае ей вредит явная поверхностность), то ли надо было конкретизировать все эти «гиперреальности», «культурные универсалии» и «демаркации мира».

Об известном прозаике Павле Крусанове пишет Евгений Звягин в статье **«Знаки отличия и сродства»** («Нева», № 6). Критик замечает, например, с каким «потрясающим вкусом и смаком» в *метаисторическом романе «Укус ангела»* описан стародворянский быт. Впрочем, роман этот назван в статье скорее аналитическим, нежели собственно «импрессионистическим». Звягин необыкновенно захвачен чтением прозы Крусанова, отмечая немало счастливых минут в процессе своего общения с книгой. Право, в этой захлестнувшей автора увлеченности есть что-то очень трогательное... Настораживает лишь, что произведения Крусанова почему-то особенно милы сердцу людей явно националистических наклонностей.

Довольно любопытный анализ словаря Т. Забозлаевой «Драгоценности в русской культуре XVIII-XX веков» дает Е. Зиновьева в статье **«Не счесть сокровищ»** («Нева», № 6). Книга, по всей видимости, действительно интересна: масса историко-культурных сведений, весьма подробный рассказ о модах и нравах романовской России, об императорских регалиях и семейных украшениях.

В статье **«Был такой город»** та же Е. Зиновьева («Нева», № 5) рассматривает книгу В. Савицкого «Моленый град Петров» — эссе с элементами воспоминаний самых разных авторов. Тут и императорский Петербург, и блокадный Ленинград, и Ленинград, так сказать, чисто советский (хотя Ленинград другим и не был), — времен многочисленных питерских «чисток». Главное, как считает Зиновьева, то что в книге раскрыта «душа Ленинграда».

В этом же номере «Невы» Е. Зиновьева рассказывает и о книге В. Бубновой «Кулибин: Историко-биографический роман». Рецензия названа **«Талант ко украшению России. Талант, украсивший Россию»**. Издание, отмечает рецензентка, крайне любопытное: колоссальная насыщенность книги персонажами, так или иначе связанными с Кулибиным; обширные материалы из архивов Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, — все это не может не радовать. В книге рассказывается о том, что многие идеи Кулибина рождались от доброты сердца — так, инвалидное кресло было придумано для соседки-калеки, а протезы — для инвалидов турецкой войны. Кулибин, несомненно, предвосхитил многие изобретения будущего, а проекты у него, между тем, поворывали. Однако ни в какие распри механик-самоучка не ввязывался, терпеливо перенося придирки сменяющих один за другим директоров Академии наук.

Наконец, еще одна рецензия Е. Зиновьевой посвящена книге Т. Горышиной «Зеленый мир старого Петербурга» («Нева», № 5). «Зеленый мир» — это оттого, что 300 лет назад в дельте Невы, действительно, находилась самая настоящая тайга с мшистыми болотами, поросшими багульником и клюквой. Увидит читатель этой книги, отмечает рецензентка, и березовую рощу, что росла на месте Гостиного Двора, и ольховый лес, вытесненный позже Казанской церковью, и вязкие болота на месте Коломны (так называется

местность вокруг Театральной и Сенной площадей). Надо думать, что первый этот путеводитель по «зеленому Петербургу» есть действительно, как убеждена Е. Зиновьева, путешествие во времени и пространстве.

С довольно любопытной статьей «**Культовое значение советской песни**» выступает **Наталья Малаховская** («Звезда», № 5). Тексты песен, утверждает автор, — едва ли не самая живая и подвижная часть литературы. Во всяком случае, наиболее популярные песни своей эпохи, как барометр, показывают внутреннее состояние общества. (Только такой возникает вопрос: а не пели ли случайно в *живой жизни* люди вовсе не то, что воспроизводилось во всяких песенных сборниках? Вообще вопрос этот явно сложнее, чем представляется на первый взгляд.) Интересно, что песни 20-х годов ушедшего века строились почти исключительно на заимствованном музыкальном материале. Почти что чудом названы песни И. Дунаевского 30-х годов — знаменитые, любимые едва ли не всеми. Красота их, пишет автор, глубоко чувственная, земная. Но нельзя забыть и песни автора менее известного — Венедикта Пушкина — из фильмов «Семеро смелых» или «Тайга золотая». Словом, как справедливо отмечал В. Розанов, «религия может быть ложной, но верующая душа — истинна». Верующая душа, на этот раз, — мы с вами, и по сей день любящие, например, «Москву майскую». Малаховская убеждена, что «Подмосковные вечера» есть «первая песня о счастливой любви» (тут, впрочем, соглашаешься с трудом). Рассказывается в статье и о песнях 60-х, причем связываются они с тогдашней политической атмосферой советского общества, и — пожалуй, это главное, — вспоминаются автору песни Окуджавы, звучащие, написано в статье, *ошеломляюще*. То была, говорит автор, подлинная революция в судьбе жанра...

Обзор подготовила Евгения Щеглова

Корректор *Е. Феоктистова*

ЛР № 066469

Подписано в печать 04.10.2004. Формат 60х90/16. Бумага типографская.

Гарнитура «Таймс». Печ. л. 31,00. Усл. печ. л. 29,8. Тираж 3500 экз.

Заказ № 10843

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»

121099, Москва, Шубинский пер., 6



«КОНТИНЕНТ» № 121, 496 стр., подписные индексы 73218 и 71682 (каталог Роспечати)
и 15706 (Объединенный каталог «Пресса России»)